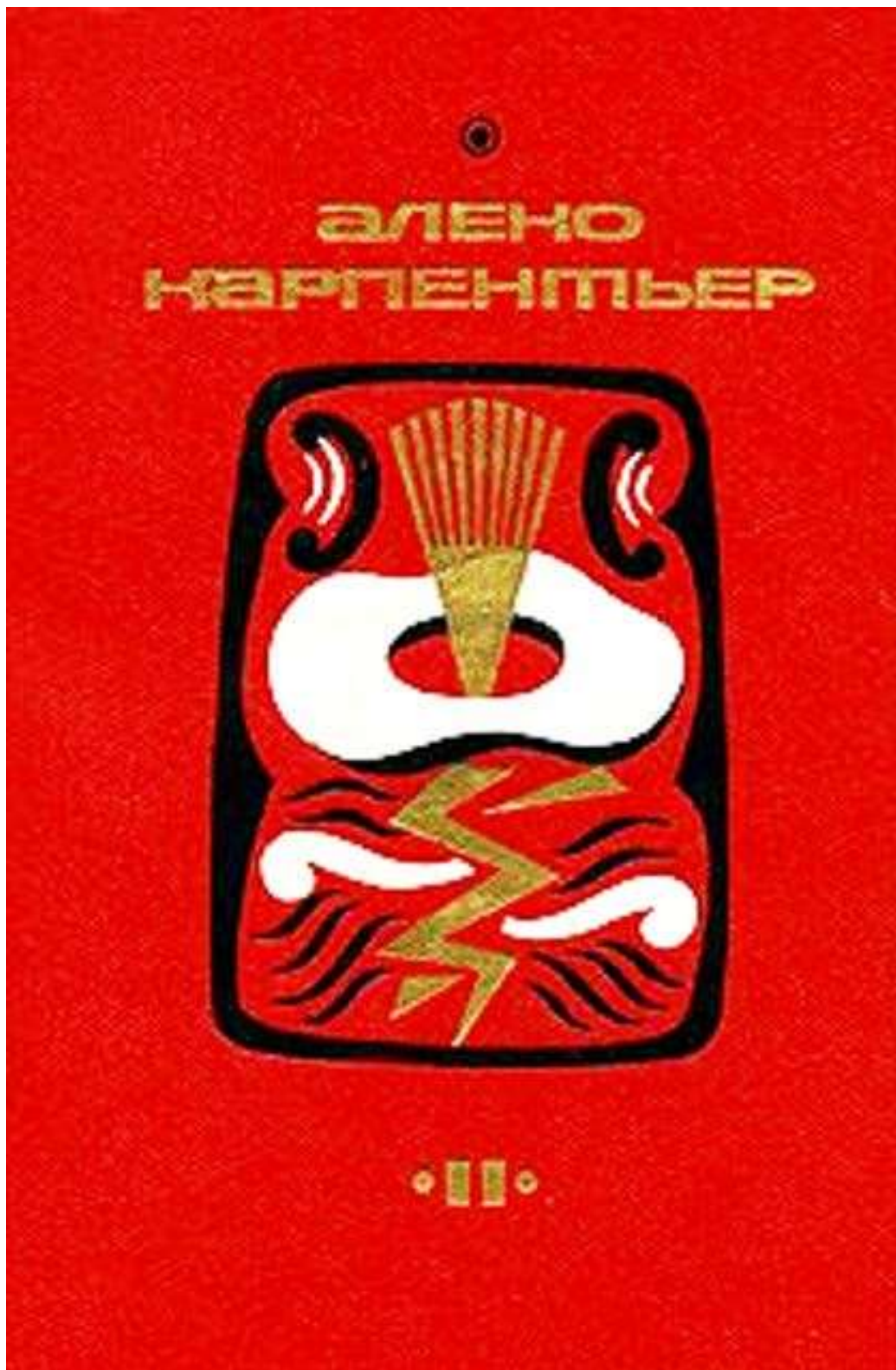


Алехо Карпентьер

ИЗБРАННОЕ



НОВАЯ ЗЕМЛЯ АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА

«Игра воображения, — подумал он. — Игра воображения, какой были для меня Западные Индии. Однажды, возле мыса на побережье Кубы, названного мною Альфа и Омега, я сказал, что здесь кончается мир и начинается другой: другое Нечто, другое качество, какое я сам не могу до конца разглядеть... Я прорвал завесу неведомого, чтобы углубиться в новую реальность...» Так заканчивается последняя книга Алехо Карпентьера «Арфа и тень», посвященная делу жизни Великого Адмирала, Первооткрывателя Христофора Колумба. Кода, увенчивающая историю жизни другого первооткрывателя — самого Алехо Карпентьера. В 1980 г., через год после выхода «Арфы и тени», он умер, оставив нам свою «новую землю», тот новый «Imago Mundi» — «Образ Мира», которого доискивался Христофор Колумб: «Придут поздние годы мира некие времена в какие Море-Океан ослабит связи вещей и откроется большая земля...» Новая земля, порожденная писательской «игрой воображения».

Только ли метафора — сопоставление Алехо Карпентьера с Колумбом? Далеко нет, ибо Карпентьер — как и многие писатели Латинской Америки, его предшественники и современники — всю жизнь был занят именно «открытием Америки» в художественном слове, продолжая дело, начатое в 1492 г. Колумбом, который описал в своем восторженном письме чудесные земли, представшие его взору. Открытие это становилось начиная с XVI–XVII вв. все более полным, по мере того как на землях Нового Света развивались культура, литература новых — латиноамериканских — наций, формировавшихся в смешении различных расово-культурных потоков — процессе, особенно бурном в американском Средиземноморье, как называл Карпентьер Антильскую зону, сравнивая характер и размах расово-культурного синтеза в этом районе с теми, что породили в прошлом великую культуру европейского Средиземноморья. В творчестве своем каждый крупный писатель в той или иной степени совершает новое открытие, но для Карпентьера «открытие» было сознательной творческой установкой, особым художественным методом, глубоко продуманным, детально разработанным теоретически и воплощенным в художественной практике.

В окончательном виде Карпентьер сформулировал свой метод художественного «открытия» на рубеже 50–60-х гг. в статье «Проблематика современного латиноамериканского романа»¹, а первые поиски начались за тридцать лет до того, когда, испробовав себя в журналистике и в художественной прозе (роман о жизни кубинских негров «Экуэ Ямба о!»), в политике (первый вариант романа был написан в тюрьме: в 1928 г. он был арестован за участие в акциях протеста против диктатуры Х. Мачадо), в композиторстве и музыковедении (Карпентьер обладал значительным музыкальным даром), он уезжает с Кубы во Францию, в Париж, где живет более десяти лет, жадно впитывая все новации западноевропейской культуры (сюрреализм, экспрессионизм, абстракционизм, мифологические теории, а затем и экзистенциализм) и богатства мирового наследия (Карпентьер, свободно владевший гигантским культурным материалом — от античности и испанского барокко до русской классики, — несомненно, может считаться одним из самых эрудированных писателей

¹ Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. М., 1984.

XX века). Бретон, Арагон, Деснос, Превер, Тцара, Танги, Пикассо, Кирико — все эти представители западноевропейского авангарда были его собеседниками в то время; другой круг творческого общения составляли мексиканские художники Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско, бразильский композитор Эйтор Вила Лобос, позже — выдающиеся кубинские живописцы Вифредо Лам и Рене Портокарреро; кроме них, жившие и работавшие в Европе, в Париже крупные представители русской культуры: балетная труппа С. Дягилева, Стравинский, известные театральные художники; с жадным интересом поглощал он и все новинки искусства новой — советской — России: Всеволод Иванов, Сергей Эйзенштейн, Пудовкин... (Подчеркнем, что особый интерес Карпентьера к русской культуре был связан и с тем, что по крови он был наполовину русским: его мать приходилась родственницей поэту Константину Бальмонту.)

Но именно тогда, в Европе, Карпентьер впервые ощутил себя латиноамериканцем — представителем другого мира, другого «света», который вошел в орбиту всемирной истории современности и который в XX в. нельзя более изображать замкнутым в самом себе, каким он предстал в этнографических романах той поры. Равнодействующей всех исканий Карпентьера стали, как он писал тогда, поиски «меридиана Америки», а позднее — «американской точки зрения», нового видения американской действительности. Истоки же этой идеи лежат... в старинных хрониках времен открытия Америки и конкисты. По словам самого Карпентьера, в течение нескольких лет главным его чтением были сочинения хронистов Западных Индий, которые преподали ему важнейший этический и эстетический урок: быть настоящим латиноамериканским писателем — значит быть «хронистом Истории», то есть сделать литературу средством постижения мира Америки и ее истории, глядя на континент новым взглядом, таким, каким глядели на него первооткрыватели, взглядом человека, способного поразиться, ощутить чудо открытия. Колумб мечтал открыть неведомые земли, и он воспринял обнаруженные острова как чудо — это ключевое слово его первого письма. Чудо станет одним из ключевых слов и писательского словаря Карпентьера, начинающего свой самостоятельный путь с формулирования концепции нового постижения Америки, — концепции, соединившей его специфические интересы с исканиями европейского искусства того времени. Ведь обновленный взгляд на мир — это фундаментальная идея искусства XX века, связанная с глубокими общественными сдвигами, с кризисом буржуазной цивилизации и утверждением новой исторической перспективы, с распадом духовного комплекса «классической» буржуазной идеологии (позитивизм, натурализм, механистический рационализм), — идея, по-разному воплощающаяся и в реализме, и в авангардизме, и в модернизме.

Плодом этого переосмысления и стал первый теоретический манифест Карпентьера, справедливо считающийся одной из отправных точек «нового» латиноамериканского романа, — «Пролог», предваряющий его роман «Царство земное» (1949). Как и в первом романе «Экуэ Ямба о!», в центре внимания писателя — мир тех, кто составляет «соль земли» Антильских островов и в значительной мере символизирует своеобразие Нового Света: народные низы, негры, мулаты, их мифология, культура, история, — но в эстетическом отношении между двумя романами — пропасть. Первая книга принадлежит как раз к «старой» локально-замкнутой, этнографической литературе, вторая воплощает идею нового видения Америки — концепцию «чудесной реальности», которая станет исходной точкой его теории художественного открытия Нового Света.

Реальность Америки чудесна — так формулирует Карпентьер сущность своего нового взгляда. «Чудесна» здесь означает не только «прекрасна», но необыкновенна: она таит в себе явления, из ряда вон выходящие, небывалые, поразительные — чудо. Эта идея оказывается связанной у Карпентьера и с опытом хронистов Западных Индий, и с сюрреализмом — ведь понятие «чудо» было ключевым в теории основателя сюрреалистического течения Андре Бретона. По признаниям Карпентьера, он испытал себя в сюрреалистическом «автоматическом» письме, регистрирующем хаотическое движение подсознательных импульсов сознания в состоянии «сна разума», в результате чего и возникают «чудесные» — небывалые — сочетания искаженных подсознанием феноменов реального мира. «Встреча зонтика со швейной машинкой на анатомическом столе» — приводит Карпентьер в «Прологе» один из классических образов сюрреалистического абсурдизма. Но, быстро поняв, что на этом пути не найти «меридиана Америки», он отказался от него, хотя опыт сюрреализма, конечно, не был им забыт. Если сюрреализм полагает «чудо» свойством сверхреального, то натурализм ограничивается видимым, эмпирически данным, вовсе отвергая возможность «чуда». И оба сходятся в том, что реальность бесплодна, неспособна к радикальной трансформации, метаморфозе, к рождению нового, небывалого качества, в котором она обретала бы новое состояние. Карпентьер же утверждает, что чудо свойственно самой действительности Америки, которая порождает его самопроизвольно, стихийно на каждом шагу. «Неожиданное преобразование действительности (чудо)» — так писал он в «Прологе», излагая свое понимание действительности как вечно творящейся метаморфозы. Именно такое поэтическое видение Америки было присуще первооткрывателям, перед которыми предстала новая, небывалая, чудесная в сравнении с знакомым Старым Светом реальность, то есть мир, таящий таинственное Нечто, открывающее новые горизонты будущего... В самой концепции обновленного взгляда на действительность сокрыты и истоки его метода поэтического реализма, ставшего важнейшим истоком всего «нового» латиноамериканского романа, в котором заключена сущность видения Америки как мира нового и уже потому чудесно-небывалого, — мира, где писатель находится в роли Адама, дающего названия вещам, а значит, дающего им «форму». Это ключевые моменты художественной позиции Карпентьера.

В «Арфе и тени» есть эпизод, где Колумб, пишущий письмо-отчет об увиденном, в растерянности останабливается — у него нет слов, которыми можно было бы назвать небывалые вещи — растения, животных, людей... Конечно, рассуждает он, можно придумать какое-нибудь звукосочетание, но ведь оно ничего не скажет тому, кто не видел нового. И Колумб принимается называть то, что он увидел, привычными ему именами, если эти новые вещи хоть немного напоминают известное. Так поступали вслед за Колумбом и первооткрыватель и завоеватель Мексики Эрнан Кортес, который тоже жаловался на нехватку слов, и известный историк открытия Америки Гонсало Фернандес де Овьедо, и многие другие. В итоге американский ягуар становился тигром, пума — львом, лама — верблюдом...

Открытие? Скорее, подмена одного другим, сокрытие. «Истина не в этом, — думает архитектор Энрике, один из главных героев „Весны Священной“, позднего романа Карпентьера, подводящего многие итоги его исканий. — Все очень просто: нужна метафора... Вот мой удел, мое владение». Метафора — универсальное средство постижения неизвестного путем переноса свойств известного на новое, но не для подмены его старым, а для выявления его необычности.

В сущности, карпентьеровское открытие «новой земли» и есть как бы новое открытие самого метода художественного освоения действительности путем ее поэтической метафоризации. В творческой установке кубинца, латиноамериканца Карпентьера парадоксальным образом «известное», как и для Колумба, — это Старый Свет, а «неизвестное» — Свет Новый. И прием метафорического сопоставления «там» и «здесь» (постоянные, ключевые понятия) по принципу контраста или сходства, то есть образного открытия Нового Света, пронизывает все его творчество, охватывая все стороны или «контексты» действительности, как писал он в начале 60-х гг. в статье «Проблематика современного латиноамериканского романа» — втором манифесте, обобщающем эстетический опыт уже зрелого писателя: природа во всех ее проявлениях, история, народные традиции, культы, верования, быт, культура во всех ее видах (архитектура, литература, музыка, живопись), политика, экономические отношения и т. п. В этом его метод чрезвычайно сходен с методом «тотального» описания всех «вещей» Нового Света хронистами Западных Индий — не случайно, например, название такой типовой энциклопедии XVI века, как «Всеобщая история вещей Новой Испании» Бернардино де Саагуна. Так поступал практически каждый крупный хронист, по-своему открывая Новый Свет, так поступает и Алехо Карпентьер, поднимаясь от природной, бытовой, культурной специфики до уровня культурфилософии, где определяется своеобразие всего природно-человеческого единства Латинской Америки на мировой карте.

Художественное мышление Карпентьера по-своему так же системно и всеохватно, как и мышление его учителей, хронистов Индий, людей Ренессанса, пытавшихся целостно осмыслить открытое «чудо» Нового Света. Истоки этой системности — в структуре классического европейского гуманистического сознания, основу которого составляет «восхождение» от материально-вещественной и животно-растительной бытийственной «горизонтальности» к «вертикали» человеческого мира, духа, культуры. Именно в таком «восхождении» и возникает карпентьеровское Чудо Нового Света, исполненное ренессансной гармонической всеохватности, полноты, пронизанное пафосом радостного изумления перед богатством мира. «Как прекрасен мир, и столько в нем вещей!» Эти слова хрониста Индий историка Франсиско Лопеса де Гомары мог бы произнести сам Карпентьер или какой-нибудь его персонаж. Дух светлого гуманистического идеала всегда освещает его описания.

Оставаясь связанным родовой пуповиной с ренессансной системой мышления, художественный мир Карпентьера лишен, однако, мировоззренческого утопизма и статики. Это мир, близкий к барокко с его мощной контрастностью и бесконечным превращением форм. (О связи творчества Карпентьера с эстетикой барокко писала советский литературовед С. И. Пискунова в статье «Алехо Карпентьер и проблема необарокко в культуре XX века», опубликованной в сборнике «Литература в контексте культуры» [М., 1986]). В зрелые годы Карпентьер как раз и будет утверждать эстетику барокко как необходимую основу для воссоздания мира Нового Света, потому что, как он говорил, барочен сам мир Америки — мир трансформаций и симбиозов: если в Европе, по словам Гёте, «природа успокоилась», то природа Америки все еще «переживает бурные волнения» и активные первотворческие процессы здесь идут на всех уровнях — ведь здесь происходит великий человеческий симбиоз в смешении рас и народов, а следовательно, рождается новое «человечество» и его культура. «Великая Перемена», «Творение Форм», «Чудо» как плод этого творчества — ключевые понятия барочного мира Карпентьера. Однако в отличие от барокко классического в

художественном «космосе» Карпентьера нет трагического разрыва между бытийственным «низом» и «верхом» человеческого духа, нет того отчуждения человека от природы, что наметилось в барочном мышлении после ренессансной утопии, а впоследствии — после новой просветительской утопии «естественного» человека — нарастало в романтизме и утвердилось в различных вариантах в европейском натурализме, авангардизме и модернизме XX века. Художественное мирозерцание Карпентьера драматично, но оно питается той оптимистической идеей, что нет непреодолимого разрыва между материально-чувственным «низом» и духовным «верхом», что мир таит возможность чуда гармонии. Человек у Карпентьера — и природное, и духовное существо одновременно, средостение, соединяющее «горизонталь» природы и «вертикаль» духа. Вот здесь-то, в этом средостении Великий Театр Вселенной (этим классическим образом барокко постоянно пользуется писатель) превращается в Великий Театр Истории, творимой человеком, причем История у Карпентьера, как и у других крупнейших поэтов Латинской Америки, скажем Пабло Неруды, — это не только череда политических событий или социальных явлений, но часть всего природно-человеческого круговорота, часть Великой Метаморфозы. Потому и человек у Карпентьера подлинно историчен в своем единстве природного и социального начала. И в этом единстве заключена для писателя возможность становления более совершенного человеческого мира через революцию — высшую в этом мире форму качественной Великой Перемены. Ведь, исходя из идеи гармоничного человека, карпентьеровский «космос» строится на отрицании буржуазного и перспективе социалистического общества, опираясь на старинную гуманистическую традицию, согласно которой Америка — исторически молодой континент, где, как в первотворческом «котле», бурлит плазма «нового человечества», которое обретет себя в ином, справедливом общественном устройстве. Туда, за завесу неведомого, где человека ищущего ожидает «новая земля», «царство земное», где будет построен, как говорил Карпентьер, Град Человека, и устремляется его взгляд первооткрывателя. Именно поэтому на ключевых моментах истории и Нового, и Старого Света постоянно концентрируется мысль Карпентьера: XVI век — столетие великого переворота в истории человечества, вступающего с открытием Земли в ее единстве в современную эпоху; конец XVIII — начало XIX века, когда происходит следующая Великая Перемена в жизни человечества — Французская революция 1789 года, пробуждающая к исторической жизни и молодые американские народы, которые сбрасывают цепи колониализма; Великая Перемена XX века, оказывающая решающее воздействие на судьбы континента, пробуждающегося к новой жизни с Кубинской революцией 1959 года, и открывающая новые, еще неизвестные возможности для мира... Каждая из этих эпох запечатлелась в произведениях Карпентьера, а в единстве они составляют его «Образ Мира», увиденный с американской точки зрения — с того кубинского мыса, который был назван Колумбом Альфа-Омега...

Наметив общие границы художественного космоса Карпентьера в его зрелом состоянии, попробуем войти в него и посмотреть, как рождался и развивался его Театр Истории.

Как и во всяком театре, о начале действия и смене актов нас известит звуковой сигнал. В начале карпентьеровского «космоса» было не слово, а музыка, музыкальный звук — звук природы или звук человеческий, возвещающий о начале движения к Великой Перемене. В «Царстве земном» поет морская раковина, природная труба, которой раньше пользовались индейцы, а теперь негры, зовущие к восстанию; в «Арфе

и тени» Ветер «вышней Арфы» играет на струнах — снастях корабля Первооткрывателя; в «Потерянных следах» из короткого всхлипа-плача рождается исток мечтаемой композитором симфонии «Освобожденный Прометей»; в «Веке Просвещения» гулкой дробью барабана судьбы раздаются удары дверного молотка или кулака в дверь; в «Концерте барокко» и в «Весне Священной» звучит пророческий зов трубы. И почти всегда еще один звук — рев циклона, Карибского урагана, которым возвещает миру сама природа Нового Средиземноморья о Великой Перемене.

От трубы-раковины до трубы-горна — на протяжении всей истории карпентьеровского «театра» господствуют два конструктивных и стилевых принципа, две неразрывно связанные, переплетающиеся линии диалектики Изменения: Порядок и Беспорядок — воплощения Хаоса и Гармонии. Универсальные ритмы, порождающие внутренние ритмы композиции и образной драматургии, напоминают нам о музыке. Карпентьер, композитор и музыковед, особое внимание уделял афрокубинской музыке и инструментам, сам новаторски вводил в профессиональное искусство самобытные негритянские ритмы. Для него музыкальная стихия — одно из наиболее полных воплощений «музыки» творения жизни, наиболее полный образ вечного преобразования в сцеплении, симбиозе, переплетении, взаимодействии явлений, вещей, людей — всего, что хаотически перемешивает Беспорядок, устремленный к новой гармонии. А потому музыкальное начало оказывается организующим в поэтике карпентьеровского «космоса». По мнению кубинского музыковеда и литературоведа Л. Акосты, романы Карпентьера строятся на основе классической музыкальной сонатной формы с ее четким членением: экспозиция, разработка, реприза и кода, где в финале синтезируются на новом уровне все темы и мотивы произведения. Особое значение для Карпентьера имел барочный «Concerto Grosso» («Большой концерт») с его вольной стихией музыкальных превращений, выливающихся в итоге в строгую и гармоничную форму. Нередки и вполне справедливы также сравнения композиции и внутреннего строения романов Карпентьера с архитектурой — ведь он изучал архитектуру и навсегда сохранил к ней глубокий интерес, в первую очередь к архитектуре барокко с ее динамичной пластикой, сменой ритмов и контрастами. И зодчество — «застывшая музыка», и музыка — «звучащая архитектура» впоследствии также станут источником глубочайших символов, которые в «Царстве земном» угадываются в ритмичности смены контрастов, в жестких ритмах Беспорядка, что ворвался в человеческий мир с пением раковины-трубы, когда вслед за великими переменами 1789 года во Франции, в Европе, до острова Гаити доходят взрывчатые воззвания и приказы революционной власти, отменяющей рабство в колониях и ломающей старую иерархию отношений рабов и господ, черных и белых... Старый порядок сломан, но что придет ему на смену, какое чудо родит Великая Перемена? Пока перед нами «разнузданный разгул» превращений, «Святой Бедлам» — так называется одна из глав романа. Распались связи вещей, бурлит плазма истории. Метаморфоз множество, но есть перемена высшего порядка, обнимающая все более частные, — это столкновение и взаимопроникновение двух миров: мира Европы, мира белых людей — и рождающейся новой Гаити, мира черных людей. Сломаны старые общественные и расовые границы, а вместе с ними и границы расово-культурные, рушатся барьеры сознаний, верований, обрядов, мифологий (христианской и воду — синкретической религии гаитянских негров), они начинают взаимодействовать, взаимоосвещать и взаимообъяснять друг друга. «Тот» и «этот» миры вступили в бурное драматическое

общение, в сотворчество, в диалог — происходит действие на сцене Театра Истории.

Старинная метафора барокко «мир — это театр» у Карпентьера оказывается коренным композиционно-стилевым принципом, организующим все романное пространство — сцену, и реализуется полнее всего в идее о том, что человек — актер на сцене истории. Поэтому особое идейно-художественное значение имеет момент переодевания персонажей, когда герои, меняя роли, не только надевают новые костюмы, но и по зову раковины-трубы примеряют новые духовные наряды — мысли, лозунги, убеждения. Но каждый из героев обязательно окажется в чужом одеянии, в чужой маске. Особенно ярко решающая роль этого принципа обнаруживается в картинах маскарадной, ярмарочной жизни эмигрантов-рабовладельцев, бежавших с Гаити от восставших рабов в соседний Сантьяго-де-Куба, или, например, в шокирующем эпизоде «Святого Бедлама», где занесенная судьбой на Гаити родственница Наполеона Полина Бонапарт во времена эпидемии (универсальный символ апокалипсического состояния мира — пир во время чумы!) приобщается к черной магии гаитянского воду и начинает переодеваться в новые одежды. Но все эти частные переодевания и смены масок черных и белых героев романа имеют общий знаменатель, обобщающий образ: Гаити — страна черного люда, переодевающаяся в ходе Великой Перемены в костюм Европы, откуда прозвучал сигнал к началу действия, повторенный раковиной-трубой негров. Здесь идея переодевания, тема смены масок обретают глубинный идейный смысл. Тот наряд, который примеряет американский черный люд, — «свобода, равенство, братство!» — оказывается всего лишь шутовской и зловещей маской оборотня.

Негр Анри Кристоф, бывший кухмистер, выдвинувшийся в руководители восстания, как и Наполеон Бонапарт, превращается из революционера в монарха. Новоявленный деспот, который устанавливает новое рабство, наряжен писателем в нелепо сидящий на нем европейский костюм и наполеоновскую треуголку. По распоряжению Анри Кристофа вновь ставшие рабами негры волокут в гору тяжелые каменные глыбы — там воздвигается небывалая мрачная цитадель, что-то вроде гигантской тюрьмы — воплощение нового Порядка. Герой романа, бывший и новый черный раб Ти Ноэль тащит в гору камень. Здесь просматривается прямая и много раз отмечавшаяся связь с образом Сизифа, который получил завершенную экзистенциалистскую трактовку в творчестве Альбера Камю: тяжкий и бессмысленный труд как символ абсурда бытия и истории.

Казалось, втащили глыбу Истории на вершину, где, возможно, будет построен Град Человека, а она сорвалась к подножию. И так будет всегда, согласно мифу о Сизифе, обреченном вечно свершать тяжкие труды, возвращаясь к началу. Более того, вместо Града Человека на вершине воздвигается тюрьма.

То, что нам казалось социально-психологической драмой, обретает новые очертания, потому что карпентьеровский реализм — инструмент для изучения не отдельных характеров, а Характера Истории как процесса, человеческий же характер оказывается включенным во всеобъемлющее целое художественной философии истории, где действуют «характеры» народов, цивилизаций, культур. Центральный вопрос, который Карпентьер задает Истории: вечный ли она абсурдный повтор — или движение? Ведет ли куда-нибудь Великая Перемена? Или это Великое Оборотничество и не более? Художественная мысль ближе к финалу наполняется все более грозным смыслом. Вот опять поет раковина-труба, и начинается новый мятеж

негров, который разрушает декорации новой монархии. И уже нет Анри Кристофа, новый беспорядок и новое переодевание — и снова оборотничество. Теперь уже сам Ти Ноэль надевает камзол, утащенный из разгромленного дворца, приминает соломенную шляпу на манер бонапартовской треуголки, вместо скипетра вооружается веткой гуаявы, создает свой, какой-то гротескный шалаш-дворец, где подкладывает под себя для удобства во время трапезы... три тома Французской энциклопедии, той самой, которая выковала идеалы «свободы, равенства, братства»... Но вот и «доброе правление» безумного доброго короля Ти Ноэля сметено новым беспорядком — реальной жизнью. И Ти Ноэль прибегает к последнему средству. Как и первый вождь восставших негров Макандаль, он использует чудо своего мифологического сознания, претерпевает воображаемую метаморфозу и бежит из «царства человеческого» в «царство земное» животных, птиц, насекомых, просит гусей, которые живут общиной равных, принять его к себе. Это переодевание в костюм дезертира Истории оказывается верхом гротеска, ведь гусь — символ глупости. Нет, не скрыться человеку от Истории, ее грозных и неясных метаморфоз...

В финале, построенном (как и во всех последующих романах) по принципу музыкальной коды, сходятся в философское обобщение все мотивы и темы романа, выливающиеся (и так будет и впредь!) в формульную итоговую идею. Вновь обретя человеческое обличье, Ти Ноэль достиг высшего прозрения: вопреки всему человек должен возлагать на себя бремя Деяний, он должен снова поднять камень Истории, свалившийся с вершины, и отправиться в путь наверх... Новый Сизиф? Согласие с Камню? Маскарадная маска экзистенциализма? Нет, ведь ответ на роковой вопрос дает не герой Камню, не отчужденный индивидуум, упершийся в «абсурд бытия», а «американский человек», органически соединенный с природой — источником вечной Великой Перемены. Но пока ответ дается на уровне художественности: роман заканчивается ревом карибского циклона, вносящего новый хаос, вновь крушащего установившийся было рабский порядок, и вместе с ним летят в воздух тома Французской энциклопедии...

Итак, роман о революции оказался романом об историческом Времени. Время — вот загадка Истории, вот ее секретный механизм. Как он работает: движение по кругу или вперед? Вечная, так сказать, «горизонталь» или «вертикаль» подъема на вершину? В первом же романе Карпентьер поставил под вопрос экзистенциалистское время, время «по-европейски», а в следующем пустился в путешествие по дебрям Нового Света, чтобы исследовать время «по-американски», каким оно предстает в континентальной сельве — чреве Вечной Метаморфозы. Мы не останавливаемся на романе «Потерянные следы» (1953), не входящем в настоящий сборник, выделим только основное. Композитор, носитель кризисного сознания, живущий в европейском мире утраченных иллюзий о прогрессе цивилизации, попав в сельву, спускается по «шкале» исторических времен от современности к палеолиту и еще глубже — к «первокотлу» жизни. В него он заглядывает, когда видит в какой-то яме то ли человеческие существа, то ли зародыши, еще не отделившиеся от мира растений и животных. «Американская точка зрения» вырабатывается через осознание специфики действительности Нового Света, где сосуществуют пражизнь и каменный век, средневековый мир и буржуазная современность; через изучение метаморфоз времени, его бесконечных и сложнейших структур и движений, его способности застывать, оборачиваться и идти назад — к самым началам: к личинке, ракушке, зародышу, — его способов самопреобразования, прогрессивных и попятных движений, синхронного

кружения на месте в великом Беспорядке постоянной Перемены, ведущей от простейшего к сложному. Композитор познает законы времени, услышав, как рождается из плача индейцев дух музыки, единый на всем пути ее истории: от короткого плача-всхлипа до трубы-раковины, а затем — к симфонической поэме «Освобожденный Прометей», которую мечтает написать композитор. Как и Ти Ноэль, он готов взвалить на себя Сизифову глыбу и тащить ее наверх, — правда, если «не случится ему оглохнуть и потерять голос от грохота молота галерного надсмотрщика». Кто он, «галерный надсмотрщик»? Это — время, это его грохот.

Именно этот «грохот молота» отдается в романе «Век Просвещения» (1964) стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, только сцена в сравнении с «Царством земным» много обширней; снова перед нами события времен Великой французской революции, только художественно-философская мысль Карпентьера максимально укрупняется, достигает предела, доступного ему в конце 50-х — начале 60-х годов, когда писался роман.

Сила «Века Просвещения» в тонком сочетании конкретно-исторического начала (ведь Карпентьер, всегда работавший с историческими первоисточниками, предельно точен во всем), социального психологизма и начала культурфилософского, символического. «Век Просвещения» как литературное явление необычен и особенно значителен тем, что его художественная система вырастает из стройной теории эстетического «открытия Америки», об основных положениях которой, дополняющих и развивающих концепцию «чудесной реальности», мы уже говорили: это «контексты» латиноамериканской действительности, барочность как ее основная черта и соответственно стилевая доминанта, позиция писателя — Адама в мире симбиозов и превращений.

В «Веке Просвещения» Карпентьер широко воссоздает бытийственную специфику Америки, воплощая образ Нового Света в прихотливо разветвляющемся стиле, стремящемся передать всю сложность диалектики рождения, переплетения и симбиозов форм и феноменов растительного и морского мира Антиль. Между Великим Театром природы и Великим Театром Истории Америки — полное созвучие, постоянное перетекание из одной сферы в другую. Предваряет историю Великого Беспорядка «маленький» беспорядок в доме юных гаванцев, где висит картина «Взрыв в кафедральном соборе»: мощный взрыв поднял в воздух часть колоннады, рассыпающуюся, но еще не рухнувшую на землю, а часть колонн осталась стоять, поддерживая своды полуразрушенного собора. Это символ — взрыв порядка, начало Перемены; взрыв, подготовленный Просвещением, уже произошел в Европе, эхо его взорвало старый порядок на Гаити, зреет взрыв и в Испанской Америке, где юные гаванцы уже репетируют, примеряют новые роли и одеяния: возбужденные посланцем из мира революции Виктором Югом, они, вытащив из шкафов устаревшие одежды, устраивают веселую и страшноватую игру — «великое избиение» старого мира. Чем оно закончится, когда игра обернется реальностью?

В роли Адама, познающего мир и историю и дающего названия вещам, выступает Эстебан, которому дано пройти вместе с Виктором Югом или рядом с ним все перипетии революции, осознавая смысл происходящих событий, постигая «механизм

Истории», вырастающей из самой природы. Антильский мир, по которому скитается Эстебан, как и континентальная Америка в «Потерянных следах», — своего рода «кухня жизни», где идут бурные первичные процессы творения. Великолепные красочные описания таинственной жизни Антильского моря, где происходит чудо зарождения жизни, имеют свою строгую художественную логику. Море — это стихия протоплазматического состояния, «чуждая всяким коэффициентам, теоремам, уравнениям». Из глади этой первоначальной, вечной, изменчивой и таинственно дышащей «горизонтالي» бытия вырастают вверх по «вертикали» острова — земля людей. В море нет времени, вернее, здесь вечное время бурлящей плазмы жизни. Время движущееся начинается на земле, в мире уже отвердевающих, обретающих форму вещей, где обитает человек, где он творит свои Деяния. Здесь сцена Театра Истории, в центре которой растет Дерево — символ человеческой ступени бытия, универсальный мифологический образ Древа жизни, играющий ключевую роль в романе и имеющий многозначный смысл. Вспомним, как Эстебан, познавая роскошную растительность Антильских островов, влезает на Дерево и переживает полное чувственно-духовное слияние с вечным бытием. Дерево в символике Карпентьера — это также и «вертикаль» духа, духовной деятельности человечества — а значит, исторического творчества, — вырастающая из «горизонтали» бытийственной материальности, чувственности. Но каков его секрет, каково уравнение Истории?

Ответ на этот вопрос подсказывает Эстебану ракушка-улитка, родственница той раковины, которая в начале Истории служит трубой, возвещающей о намерении человека совершить Деяние — творить Историю. Это существо, порожденное морем, обладает «земной» твердостью и как бы таит секретный знак, в котором зашифрована формула исторического времени. Спираль раковины из исходной точки поднимается вверх, расширяясь, и устремляется в бесконечность; спускаясь по спирали вниз, можно вернуться к первоначалу человеческого бытия и культуры. Именно так, повторяя спиралевидное переплетение ветвей, поднимается Эстебан, наблюдающий спектакль Истории и постигающий ее тайну, на символическое Древо жизни. Наконец Дерево у Карпентьера — символ человеческого духа, Собор человеческой культуры. Эта ипостась образа Древа поясняется писателем в том же эпизоде: ведь не случайно хлынувший жизнетворный ливень стекает с крон пальм, как хлещет вода из «водосточных труб кафедрального собора». Здесь корень и другого важного символа: колонна Собора есть воплощенный в архитектурной форме ствол Древа.

Сохранность Древа жизни и культуры есть для Карпентьера мерило человеческих деяний и исторических событий. А ход истории оказывается трагическим — то, что, казалось, должно было способствовать росту Древа, губит его. Пронесся по Антильским островам афрокубинский бог смерчей Осаин Одноногий (другая ипостась карибского бога циклонов Хуракана — также символ времени, имеющий спиралевидную форму завихрения), разметал старый Порядок, но все снова осело на свои места. Дерево свободы, посаженное по приказанию Виктора (т. е. Победителя) на Площади Победы в гаитянском городке — куда он, посланник якобинцев, привез Декларацию об отмене рабства и Декларацию прав человека, провозглашающую принципы «свободы, равенства, братства», — усыхает, а на этой же площади воздвигаются подмости для зловещего Театра Гильотины. Те, кто нес свободу, снова стали угнетателями, и, как и в «Царстве земном», вернулось рабство. «Эпоха деревьев уступила место эпохе эшафотов». Наверное, среди произведений, раскрывающих социальный смысл трагедии Великой французской революции, книга Карпентьера —

одна из самых суровых. Писатель срывает всякий ореол романтики со всех носителей идеи террора как метода революции, отвергает революционный «активизм», не одухотворенный мыслью о сохранении жизни (любимая фраза Виктора: «О революции не рассуждают — ее делают!»). Перерождаясь вместе с революцией, Виктор из якобинца превращается в палача, в морского разбойника-пирата, в коммерсанта, в маленького наполеона, наконец, в плантатора-рабовладельца. Метафора Театра Истории в «Веке Просвещения» развернута широко и полно. Перед нами трагический гротескный театр, зловещий балаган с бесконечными сменами ролей, масок, одеяний, ярмарка идей, лозунгов, деклараций. В конце пути Виктор, всю жизнь меняющий костюмы, так и не знает, какой ему больше всего подходил. Из Беспорядка родилось не Чудо, а Чудовище. На отмытом от крови эшафоте заезжей трупой ставится опера «Деревенский Колдун» Жан-Жака Руссо, свободолюбивые арии из которой звучат жуткой издевкой среди царства террора и смерти. Вершина гротеска — ярмарочное путешествие гильотины по острову: заваленная фруктами, плодами — подношениями перепуганных жителей, — она напоминает богиню Плодородия. Теперь-то раскрывается смысл картины «Взрыв в кафедральном соборе». Если Собор — очеловеченная ипостась Древа жизни, храм духа, культуры, общества, коллективного, «соборного», бытия, то закон ли революции — разрушение Собора? Нет, такого ответа Карпентьер не дает. Эта революция — такая, другая может быть иной. Эстебан раздумывает: «на сей раз революция потерпела неудачу, быть может, следующая добьется большего». Все зависит от человека, творящего Великую Перемену: она принесет прекрасное Чудо лишь в том случае, если Великая Перемена произойдет в нем самом. Иначе общественные, политические изменения будут всего лишь сменой маски, а неизменившаяся сущность человека взорвет, сбросит эту маску, чтобы вернуться к исходному состоянию.

Ведь человек в концепции Карпентьера — это средостение, соединительное и переходное звено между вещественным, материально-чувственным миром природы и сферой духа — также имеет свой «низ» и свой «верх». Целая система тонкой символики помогает нам осмыслить ту игру губительных и животворных сил бытия, что идет в самом человеке. Если присмотреться внимательно, мы заметим, сколь часто в «Веке Просвещения» возникает мотив и образ подвала: склады в доме Софии и Карлоса, подвалы и склады коммерсанта Виктора Юга, подвал собора, где печатаются псевдореволюционные прокламации революционера-палача Виктора. Конечно, это подвал человеческой натуры, символ материально-чувственного «низа», эгоистически-животного начала в человеке. Диалектика чувственно-плотского и духовного начал тонко проведена во взаимоотношениях Софии и Виктора. София (т. е. Мудрость) соединяется с победительной Силой, и это соединение окрашено кровавыми тонами. Не случайно соитие Софии и Виктора происходит в корабельном подвале — в каюте; не случайна перед этим эпизодом сцена зверского избиения матросами акул, за которой наблюдает София, и ее платье оказывается испачканным акульим жиром и желчью; не случайно перед вторым соединением Софии с Виктором, когда он уже становится маленьким наполеоном и плантатором-рабовладельцем, проникшие в дом свиньи пачкают платье Софии; не случайны кусочки сырого мяса, которые в лечебных целях прикладывает к своим глазам слепнувший Виктор, и не случайно в этом эпизоде София называет его Эдипом — он, рубящий Древо жизни, поправ закон жизни, слепнет, как и Эдип...

Чтобы обрести подлинную мудрость, Софии надо было пройти путь испытаний. А

этот путь мыслится Карпентьером, наследником классического европейского гуманизма, как путь от материально-чувственного «низа» по «вертикали» духа, но, как уже отмечалось, в отличие от трагической логики западноевропейской традиции выход он видит не в губительном разрыве двух начал и не в преодолении природного, а в его гармонизации с рационально-духовным. В оптимистической культурфилософии Карпентьера именно в Новом Свете, где идет Творение Форм и бурный рост Древа жизни и Собора культуры, в противовес отчужденному и «механическому» возникнет новый тип человека.

Наиболее полно антиномия «человек механический» — «человек человеческий» раскрывается, хотя и не прямо, в споре мулата с Гаити, доктора Оже, с Виктором — сначала его другом, а потом антагонистом. Оба они революционеры-атеисты, оба отвергают религию, однако если Юг отмечает и органическое духовно-животворное начало в человеке, оставляя голый рационализм, то Оже — воплощающий новое мирозерцание, рождающееся в симбиозе культур (гротескный и символический образ — бюст Сократа, окруженный магическими символами сантерии, афрокубинского ведовства, соотносится с Оже), — утверждает идею, которая Югу кажется мистикой: надо высвободить в человеке дремлющие в нем, неизвестные ему самому трансцендентные силы. Так формулируется в «Веке Просвещения» вставшая во весь рост в XX веке проблема «природы человека»: человек может достигнуть Собора (гармонии) общего бытия лишь при условии совершенствования не только политических форм, но и его собственной природы как существа общественно-природного. Он должен уметь приносить в жертву собственный эгоизм, собственное хотение (вспомним это понятие Достоевского!). В сознании Эстебана, которого испытания вновь приводят к религии, эта идея воплощается в христианско-пантеистической символике: средостением между морем — стихией изначального бытия, откуда рождается твердь, — и землей, где растет Древо жизни человечества, помимо спиралевидной раковины, оказывается Крест, который напоминает ему и якорь (символ моря), и крест (дерево), на котором был распят принесший себя в жертву во имя человека Христос. Вот эта-то тема способности человека на жертву во имя истинной Великой Перемены, истинной революции станет впоследствии важнейшей, ключевой в романе-гимне революции «Весна Священная».

В системе гуманистической культурфилософской концепции Карпентьера «американский человек», творящийся природой и историей, сможет соединить и гармонизировать расколовшиеся начала, а «американской точкой зрения» становится для него взгляд с позиций тех, кто олицетворяет «бурлящую плазму истории», — это те негры, мулаты, что символизируют собой Великую Метаморфозу рас и культур, те, кто составляет «соль земли», те, кто стремится к Великой Перемене общества, к революции. Гуманистический идеал «полного» человека, который вырастит Древо жизни, не расколото на две несоединимые части. На основе неправого мира тоже можно выстроить Собор, но это будет уже не собор, а пародия на него, зловещая маска. Именно такой гротескный собор строит Виктор, став маленьким наполеоном. Сюрреалистический дворец с колоннадами и статуями, для которого расчищается место в тропической сельве. Безжизненные, искусственные колонны в окружении естественных колоннад деревьев. Виктор уничтожает деревья и отлавливает в лесу негров, но война против людей-деревьев оказывается безнадежной. Лес поглощает нелепую храмину. Символика «колонна — дерево — негр» помогает нам, вернувшись к «Царству земному», оценить, сколь последовательна мысль Карпентьера. Ведь и в

первом романе есть человек-дерево, что растит Древо жизни, — это Ти Ноэль, берущий на себя ответственность за будущее, а значит, готовый принести себя в жертву.

Люди-деревья Ти Ноэль, доктор Оже, носитель идеи соединения сократовской мудрости с мудростью природы, София — «Кубинка», как ее будет называть писатель в финале романа, — все они воплощают идеальную перспективу истории. Особенно важен в этом отношении образ Софии — ведь в ней после испытаний соединяются два начала: вечно женственной первостихии жизни (ее символ — пеннорожденная Афродита и одновременно Йемайа, афрокубинская богиня, связанная с морской стихией) и духовность (София — Мудрость). Сливаясь, эти начала и образуют подлинный Собор культуры — не случайно и само имя героини соотносится автором со знаменитым византийским собором св. Софии. Но подлинной Софией она становится, только став способной на жертву.

Влекомый Софией, приносит себя в жертву и Эстебан, идущий за ней на верную смерть в Мадриде, занятом войсками Наполеона, завершившего перерождение революции. Век Просвещения закончился трагедией. Последние сцены в романе написаны в манере офортов Гойи «Бедствия войны».

Как и в «Царстве земном», сизифы снова приносят себя в жертву во имя будущего, но что же происходит с временем? Снова порочный круг? Не раз писалось о том, что в «Веке Просвещения» историческое время осознается и воплощается писателем как спираль — универсальный знак диалектического развития через «отрицание отрицания» и достижение нового качества². Это безусловно верно в общей форме, но, как справедливо отметил кубинский историк Х. Ле Риверенд, на каждом отрезке спирали время далеко не линейно, оно чревато множеством сложных метаморфоз. Общий вывод Ле Риверенда состоит в том, что карпентьеровское время можно сформулировать как «настоящее возврата, но преодоленное». То есть новым качеством после испытаний оказывается новый драматический опыт, дающий новое знание о том, как двигаться к будущему. Циклон потряс порядок в «царстве земном», и время, пробежав по трагическим кругам, поднялось на виток спирали и снова оказалось разомкнутым в будущее, к пока еще неведомому Нечто, будущему человечества... Не случайно излюбленный императив Софии: «Надо что-то делать!» Что? Пока неведомо, но только когда что-то делается, рождается Нечто. И оно уже готовится в Америке, напитанной идеями, потерпевшими крах в Европе, но сыгравшими роль детонатора: в Новом Свете начинается война за независимость и возникают государства, вступающие на путь самостоятельного исторического творчества...

Глубоко закономерно и символично, что «Век Просвещения», один из лучших романов XX века, создан был писателем в то время, когда на его родине шла революционная борьба за новое будущее Кубы и всего латиноамериканского континента. Революция имела решающее значение для дальнейшего развития художественной мысли Карпентьера, хотя первые после «Века Просвещения» произведения появились лишь в 70-х годах. Известно, что писатель начал, но оставил роман «1959-й год» — видимо, Великая Перемена, что произошла на его родине, требовала осмысления нового опыта. Вехами на пути этого осмысления стали такие

² См.: Осповат Л. С. Человек и история в творчестве Карпентьера. — В кн.: Приглашение к диалогу. Латинская Америка: размышления о культуре континента. М., 1986.

произведения, как «Превратности метода», «Концерт барокко» и «Весна Священная».

В произведениях 70-х годов Карпентьер переходит от концепции времени, сформулированной Х. Ле Риверендом, к концепции, которая совмещает точку зрения настоящего со взглядом на события из будущего, то есть с позиции идеалов революции. При этом время оказывается свободно разверстым и устремленным вперед, хотя механизм исторической «спирали» ничуть не стал менее сложным. Расширяющиеся витки времени — это одновременно и расширяющееся пространство. Карпентьеровский Театр обретает все более обширную сцену в смысле и географическом, и историческом, охватывая и Старый, и Новый Свет, и весь мир в своем видении с новой, американской точки зрения, которая есть точка зрения кубинской, латиноамериканской революции и, более того, универсальных преобразующих процессов XX столетия. Таким образом, Куба является для Карпентьера, как и для Первооткрывателя, Альфой и Омегой, исходной точкой нового действия Театра Истории.

Новое ощущение времени определяет идейно-художественную структуру романа «Превратности метода», который обычно рассматривается в общем ряду латиноамериканских романов 70-х годов о диктаторах. Однако если взглянуть на эту книгу в контексте развития художественной мысли Карпентьера, то она предстает как следующая фреска, запечатлевшая следующий этап истории Латинской Америки.

Обретенная историческая перспектива меняет художественное видение мира, и отличительной чертой «Превратностей метода», как и ряда других произведений Карпентьера, становится тот специфический дух карнавальности, пародийного пересмешничества, что характерен для творчества и некоторых других крупнейших романистов, выросших на волне бурного революционного подъема в Латинской Америке. Собственно, в карпентьеровском гротескном Театре всегда жила возможность смеха, а теперь он зазвучал, одолевая трагизм Истории. Писатель обращается к ресурсам такой классической романной формы эпохи позднего Ренессанса и барокко, как пикареска, к универсальному типу плута. Глава Нации, главный герой романа «Превратности метода», — диктатор и плут, паяц и шарлатан, постоянно меняющий одеяния в зависимости от обстоятельств. «Превратности метода» — это культурно-идейная травестия зависимой и второсортной латиноамериканской буржуазии начала XX в. В деградировавших потомках метод классического рационализма выродился в хищнический и ублюдочный прагматизм. Именно это означает пародийное обыгрывание в романе названия знаменитого труда Декарта «Рассуждение о методе».

Центральные в идейном отношении эпизоды романа — установление в некоей обобщенной латиноамериканской столице (напоминающей многие антильские и континентальные столицы, в том числе и Гавану) Гигантской Матроны (статуя Свободы) с фригийским колпаком на голове, и сооружение здания конгресса — Капитолия (точно такой был сооружен в Гаване по вашингтонскому образцу). Капитолий — это новый фальшивый храм, собор Золотого Тельца, достойный наследник фальшивого собора Виктора Юга, тоже по-своему плута. Еще выше Капитолия на холме воздвигается мрачная цитадель, заставляющая вспомнить роман «Царство земное», — Образцовая Тюрьма (именно так и называлась знаменитая кубинская тюрьма, через которую прошло несколько поколений революционеров). Новые «соборы» подавляют приютившийся рядом храм Святого сердца (знак

культуры), но выше их всех — природный собор, Вулкан-Покровитель (природное начало, знак сокрытой энергии истории). Не случайно тень этого Вулкана как бы присутствует при встрече Главы Нации с арестованным Студентом: этот человек с открытым и спокойным лицом без маски — руководитель революционной молодежи, противопоставляющей разложившемуся Порядку единственно возможное средство его лечения, революционный взрыв фальшивого «собора».

Одновременно, в 1974 году, выходит повесть «Концерт барокко» — одно из самых блистательных произведений Карпентьера, обобщающее новое видение истории и новое ощущение времени. Название произведения составлено из основных понятий карпентьеровской теории: концерт — это музыкально-театральное действие на сюжет Истории; барокко — это, как говорил Карпентьер, «способ преобразования материи», то есть форма реализации и художественного воплощения Истории. «Концерт барокко» — по-своему уникальное не только в латиноамериканской, но и в мировой литературе произведение по степени обобщенности художественно-философской мысли, как бы показывающее возможности и одновременно пределы нагрузки художественного образа символическим содержанием. Писатель подходит к грани, но не переступает ее. Герои, индивидуализированные настолько, чтобы олицетворять типы, характерные для той или иной страны (Хозяин — Мексика, Слуга, негр Филомено, — Куба), являются символами-масками культур, а их путешествие из Мексики через Гавану в Европу воплощает развитие во времени человеческой культуры, увиденной с «американской» и теперь уже универсальной точки зрения.

Музыкальное начало, всегда игравшее конструктивную роль в мире Карпентьера, выходит здесь на первый план. Историческое время принимает образ музыки — образ свободной, пластичной и изменчивой стихии. Радостно-светлое, летящее звучание классического концерта Вивальди неотделимо от этого произведения, как неотделима от него и нота шутливо-пародийная. Вместе с героями мы попадаем на веселый карнавал мировой культуры, где действуют законы карнавального времени, где все чревато любым превращением и неожиданностью. На карпентьеровском карнавале встречаются маски различных и далеких культур, разных эпох, смешиваясь в едином действе, как взаимодействуют и смешиваются они, образуя единый ствол всеобщего Древа культуры.

Взаимодействие, синтез — вот, по мысли Карпентьера, путь становления культуры, а самый процесс этот предстает как сплошная череда концертов, объединяющих музыкальные инструменты, мелодии разных времен и народов. В повести музыкальное начало олицетворяет кубинский негр Филомено, внук отважного негра-креола, героя поэмы XVI в. «Зерцало Терпения» Сильвестре Бальбоа, стоявшего у истоков кубинской литературы. Он описал, как под кронами вечнозеленого кубинского леса в честь победы над неприятелем состоялся первый барочный концерт, исполненный на европейско-испанских, негритянских и индейских инструментах. Их звучание сливается в единую мелодию нарождающейся кубинской культуры.

Возможна ли такая гармония? Скорее, это адская какофония, сомневается Хозяин, которому рассказывает эту историю Филомено, негр родом из гаванского предместья Регла — традиционного центра афрокубинской музыкальной культуры. Но скоро хозяин убеждается, что только так и рождается гармония.

Следующий барочный концерт происходит в Европе во время карнавала в Венеции,

на перекрестке культур европейского Средиземноморья. И здесь время начинает течь с удивительной быстротой, а о смене актов — или, вернее, частей концерта барокко, то есть эпох в развитии культуры, — возвещают мавры с молоточками на Часовой башне Венеции. Обратим внимание на этот символ: мавры (в которых негр Филомено узнает своих собратьев, призванных сыграть свою роль в мировой истории) с молоточками (вспомним стук дверного молотка, что будил время и звал его к движению).

Мавры отбили молоточками время, и в начале XVIII века, в Венеции, в приюте Скорбящей Богоматери, в зале, похожей на церковь без алтаря (собор культуры!), сливаются в новом согласии европейская классика (Гендель, Вивальди, Скарлатти) и афроамериканская музыка. Звучит новый барочный «Большой концерт», причем Филомено начинает задавать ему джазовые ритмы (потом он так и назовет их ночной концерт — джазовой музыкой!). А кончается все разудалым хороводом наподобие кубинского карнавала, в котором с большим удовольствием участвуют европейские маэстро.

Карпентьевский барочный концерт звучит все мощнее, все шире. В вихре карнавала мировой культуры кружатся великие композиторы и писатели разных времен и народов (одни из них названы, других надо угадать: «Маска, кто ты?»). По законам карнавального искусства, очутившись после веселья на кладбище, отдыхая и закусывая вместе с Вивальди, Скарлатти и Генделем, Филомено обнаруживает, что они пристроились рядом с могилой... Игоря Стравинского. Этот эпизод имеет особый смысл.

Стравинский принадлежал к особо ценимым Карпентьевом художникам XX века. Ярчайший представитель всемирно отзывчивой русской культуры, Стравинский в музыке к балету «Весна Священная» первым из европейских композиторов использовал афрокубинские музыкальные инструменты. Он был для Карпентьева своего рода моделью художника современности, владеющего богатством всей мировой культуры, и прообразом художника будущего, синтезирующего искусство всех народов...

Время идет к современности. Филомено уже обзавелся джазовой трубой — наследницей той раковины, которая объявила Великую Перемену в начале исторического пути Латинской Америки. «Труба вострубит» — таков библейский эпиграф к последней главке. Какая труба? Не тот ли это пророческий инструмент, что возгласит Конец Времен? — думает Хозяин. Нет, утверждает Филомено, это Начало Времен, то есть нового Нечто, нового будущего, которое возвестит труба Великой Перемены — революции. Те, которые были каждый сам по себе, станут «мы», единым человечеством. В последнем «Concerto Grosso» под сводами зала, напоминающего барочный собор, сливаются в единый хор все инструменты и мелодии с древности до наших дней. О Начале Времен возвещает потомок мятежной раковины из «Царства земного» — труба выдающегося музыканта-негра Луи Армстронга, задающая ритм новой музыке. Рождается Чудо нового мира, шумит разросшаяся крона Древа всечеловеческой культуры и единения.

Тема Начала Времен, нового будущего становится центральной в крупнейшем романе Карпентьева «Весна Священная» (1978), идейно-художественная структура которого основывается на сюжете и партитуре одноименного балета Игоря Стравинского. Карпентьев встретился с ним в Бразилии еще в 50-х годах, и

композитор дал согласие на просьбу использовать его произведение.

Снова перед нами Беспорядок и снова Великая Перемена, но отмеченная знаком возрождения — Весны Священной. Действо Театра Истории с его маскарадными переодеваниями разыгрывается на просторах и Америки, и Европы, охватывает революционную Россию, Францию, Испанию, Германию. Театральный сюжет заложен в самую структуру произведения, основанного на древнем языческом поверье и обряде: чтобы весна пришла, надо принести в жертву девушку-избранницу. Снова возникает метафора Древа жизни — здесь это типично латиноамериканское дерево сейба. Герои нового романа тоже прошли тяжкий путь разочарований, исканий и обретений. Энрике — архитектор, и это значит, что он — носитель мечты о новой жизни, новом Соборе. У его спутницы в испытаниях говорящее имя Вера (вспомним Софию — без веры не бывает мудрости). Русская балерина, дочь эмигрантов, бежавших из России от революции, она мечтает поставить «Весну Священную», но, чтобы понять, как надо поставить этот балет, ей предстоит прожить целую жизнь. И наконец, друг Энрике и Веры, кубинец-мулат из Реглы (как и Филомено), революционер и музыкант Гаспар Бланко, с которым неизменно его труба, та, что возвещает всемирный концерт барокко Начала Времен. Именно такой концерт звучит в Испании, где сражаются с фашизмом интернационалисты, где, исполняемый на разных инструментах, звучит на разных языках «Интернационал», утверждающий веру в возможность Града Человека в царстве земном.

Писатель далек от наивного оптимизма. Революция — это всегда трагическое действие, взрыв в старом Соборе есть взрыв, и Великая Перемена требует жертв. Не случайно идея постановки «Весны Священной» зарождается у Веры еще в революционном Петрограде, где в страданиях рождается новый мир, но ей еще надо понять диалектику рождения жизни через жертву. Идея жертвы как высшей мудрости, как этической нормы поведения человека в истории обретает в новом романе открыто жизнеутверждающий смысл. Жертва — это и мера подлинного искусства. Тридцать три минуты длится балет Стравинского — цифра настойчиво повторяется: это возраст Христов, мотив великой жертвы. Изменить время звучания — а именно это искушение одолевает Веру — значит предать душу Золотому Тельцу. Но, пройдя все круги «хождения по мукам», Вера сама становится избранницей, готовой принести себя в жертву во имя Чуда обновления жизни. Ведь она родом из России, где началась Великая Перемена XX века. Как и София, она познает мудрость истории, жизни как Чуда вечного превращения. Пройдя все испытания эпохи Великой Перемены, герои встречаются с будущим, которое открывает для них Кубинская революция. Энрике, строивший многоэтажные коробки доходных домов, храмы Золотого Тельца, принеся искупительную жертву в сражении на Пляя-Хирон, чувствует, как в нем возрождается «дух истинного зодчества». Можно строить Собор...

Увенчивает путь Карпентьера «Арфа и тень» — последний великолепный трехчастный «концерт барокко». Идет разбирательство «дела Колумба». С одной стороны — догмат церкви, с другой — суд человеческий, в карнавально-пародийном духе его опровергающий.

Первая часть — монолог папы римского Пия IX, мечтающего канонизировать в интересах церкви Первооткрывателя, Колумба, который открыл для веры другой Свет и само имя которого содержит божественный знак: Христофорос, то есть «несущий

Христа»... Во второй части перед нами на смертном одре сам Колумб, в ожидании монаха исповедующийся перед своей совестью, и это исповедь плута и шута, владельца Балагана Чудес, всю жизнь вравшего направо и налево, не брезговавшего никакими, даже самыми низкими, средствами во имя удовлетворения своего тщеславия и корысти. Ведь искал-то он вовсе не Землю Обетованную, а Землю Золотого Тельца. В бурлескной исповеди перед нами не святой, а «обычный человек, подверженный всем слабостям своего естества». Но, добавляет Карпентьер, «таким рисовали его некоторые историки рационалистического (курс. мой. — В. З.) толка». А такой взгляд не учитывает «поэзии поступков» и потому не может быть подлинной мерой человеческого деяния. Подлинный Колумб предстает перед нами лишь в третьей части, где в Ватикане происходит фантазмагорическое заседание, на котором рассматривается вопрос о канонизации Первооткрывателя. Показания дают живые и мертвые, историки и писатели, апологеты и хулители Колумба, присутствует здесь и тень самого Адмирала. Адвокат Дьявола добивается своего: Первооткрыватель не будет канонизирован — слишком много грехов за ним! Он осужден «быть человеком — как все». Но человек не двухмерен, и подлинная его мера выявляется только в соотношении человеческого деяния с «большим смыслом» бытия. Не святой и не плут, а Человек, творящий Историю. Нет, не только Золотого Тельца искал Колумб, гнала его и жажда открытия, Чуда, то есть Великой Перемены, а значит, жажда будущего.

Разбирательство «дела» Великого Адмирала увенчивается торжественной кодой: это светло-торжественный финал барочного Concerto grosso, в котором сливаются и взаимоосвещают друг друга давние символы и образы. Якорь — знак моря, первостихии бытия; его другая ипостась (вспомним «Век Просвещения») — крест, символ жертвы и одновременно стилизованный знак Древа жизни, вырастающего из первостихии бытия в человеческую историю, культуру. Как Тифис из «Медеи» Сенеки, ведущий аргонавтов на поиски золотого руна, Колумб пустился на поиски Золотого Тельца, но, не обрета его, открыл новую землю. Он принес себя в жертву, но сотворил Деяние...

Последняя мизансцена: Рим, знаменитый собор св. Петра, колоннада выдающегося зодчего барокко Бернини. Меняется освещение, и Колумб видит, как ее колонны сливаются в одну. Колонна — символический образ Древа жизни, опоры Собора человеческой культуры и Театра Истории, открытого в будущее, где ждет человека новое Нечто...

Таков великолепный в своей завершенности карпентьеровский «Образ Мира» — чудо искусства, созданное другим первооткрывателем новой, небывалой земли и строителем культуры человечества.

В. Земсков

Царство Земное

© Перевод А. Косс

Введение

...А что до всех этих превращений людей в волков, так есть такая болезнь, именуемая врачами ликантропия...³
(Странствия Персилеса и Сихисмунды)

В конце 1943 года мне довелось побывать во владениях Анри Кристофа⁴, — я видел развалины Сан-Суси⁵, исполненные поэзии, видел громады цитадели Ла-Феррьер⁶, сохранившие в целости свое грозное величие наперекор всем молниям и землетрясениям, посетил я и город Кап — Кап-Франсэ во времена французского владычества⁷, — доньше не утративший своего норманского своеобразия, и под длиннейшими балконами, что тянутся вдоль фасадов, я прошел к белокаменному дворцу, где жила некогда Полина Бонапарт⁸. Я испытал на себе ничуть не преувеличенное молвою очарование пейзажей Гаити, я находил магические знаки на красноземе дорог Центрального плато, я слышал барабаны культов Петро и Рада⁹, и невольно напрашивалось сопоставление: с одной стороны, полная чудес действительность, только что мне открывшаяся, а с другой — мир чудесного как плод жалких потуг, характерных для некоторых течений европейской литературы последнего тридцатилетия. Мир чудесного, который пытались вызвать к жизни при помощи старых штампов: лес Броселианды, рыцари Круглого стола, волшебник Мерлин, цикл о короле Артуре¹⁰. Мир чудесного, убого представленный профессиональным штукачеством и профессиональным уродством ярмарочных фигов, — неужели молодым французским поэтам еще не приелись диковины

³ Эпиграф к «Введению» взят из романа М. Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихисмунды» (1616). Ликантропия — форма помешательства, при которой больной считает, что превращен в волка. В средние века в некоторых странах Европы, особенно во Франции, эта болезнь была очень распространена.

⁴ Анри Кристоф в 1807–1811 гг. был пожизненным президентом, а в 1811–1820 гг. — королем так называемого Государства Гаити, расположенного в северной части острова.

⁵ *Здесь*: Сан-Суси — королевский дворец, построенный Анри Кристофом в 1811–1812 гг. и названный так в подражание знаменитому дворцу Фридриха II в Потсдаме.

⁶ *Цитадель Ла-Феррьер* — крепость, построенная во время правления Анри Кристофа.

⁷ Теперь — город Кап-Аитьен.

⁸ *Полина Бонапарт* (1786–1825) — сестра Наполеона Бонапарта, жила на Гаити в 1801–1802 гг.

⁹ Культы, входившие в состав вуду (синкретическая политеистическая религия гаитянских негров, в основу которой легли языческие верования и прежде всего культ предков). Культ Рада — африканского происхождения. Культ Петро возник на Гаити и ведет свое начало от полумифического доня Педро, уроженца испанской части острова.

¹⁰ Имеется в виду цикл французских рыцарских романов о короле Артуре, основанный на кельтских сказаниях о легендарном короле Британии, велевшем, согласно преданию, соорудить у себя во дворце круглый стол, чтобы все рыцари его королевства чувствовали себя равными. Волшебник Марлин (или Мерлин) — герой романов артуровского цикла. Лес Броселианды — лес, в котором жил волшебник Марлин.

балаганов на *l'été foraine*¹¹ и ярмарочные паяцы, с которыми распрощался уже Рембо в своей «Алхимии глагола»?¹² Мир чудесного, созданный по принципу циркового фокуса, когда рядом оказываются предметы, в действительной жизни никак не сочетающиеся: старая и лживая история о том, как зонтик и швейная машинка случайно повстречались на анатомическом столе, порождающем ложки из меха горноста; улитки в такси, из потолка которого хлещет дождь; львиная морда между раздвинутыми ногами вдовы и прочие изыски сюрреалистических выставок. Или, наконец, мир чудесного в литературной традиции: король из «Жюльетты» маркиза де Сада¹³, сверхмужчина Жарри¹⁴, монах Льюиса¹⁵, реквизит ужасов из черного английского романа: призраки, замурованные священники, оборотни, отрубленные кисти рук, прибитые к воротам замка.

Но в своем стремлении любыми средствами воссоздать мир чудесного чудотворцы превращаются в чинуш. В ход идут избитые формулы, на основе которых создаются картины, уныло перепевающие все те же мотивы: желеобразные часы, манекены из швейной мастерской, скульптуры неопределенно-фаллического вида; и тогда мир чудесного сводится к тому, что зонтик, либо омар, либо швейная машинка, либо еще какой-то предмет оказываются на столе анатома, в унылой комнатухе, среди скал пустыни. Бедность воображения, заметил Унамуну¹⁶, состоит в том, чтобы вытвердить наизусть свод правил. А в наши дни существуют своды правил в области фантастики, основанные на принципе: смоква пожирает осла; этой формуле, заимствованной из «Песен Мальдолора»¹⁷ и предельно искажающей реальные отношения, мы обязаны всяческими «детьми, подвергшимися нападению соловьев» либо «лошадьми, пожирающими птиц», вышедшими из-под кисти Андре Массона¹⁸. Но заметьте: когда тот же Андре Массон попытался изобразить джунгли острова Мартиники, причудливое переплетение их зарослей, странные плоды, непристойно

¹¹ Ярмарка, народное гулянье (*франц.*).

¹² «Алхимия глагола» — глава из книги французского поэта А. Рембо (1854–1891) «Сквозь ад».

¹³ Имеется в виду роман французского писателя Альфонса Франсуа Донасьена, маркиза де Сада (1740–1814). «Жюльетта» — продолжение наиболее известного романа де Сада «Новая Жюстина, или Несчастья добродетели». Для героев его романов характерно сочетание жестокости и сексуальной патологии.

¹⁴ Жарри, Альфред (1873–1907) — французский писатель. «Сверхмужчина» — главный герой эротико-фантастического романа Жарри «Сверхсамец».

¹⁵ Монах Льюиса — герой романа «Монах» английского писателя Мэтью Грегори Льюиса (1775–1818), вместе с Анной Радклиф (1764–1823) представляющего жанр так называемого готического, или черного, романа. Этот жанр западноевропейского и американского романа второй половины XVIII — начала XIX века, изобилующего изображениями сверхъестественного и страшного, именуют также «романом ужасов». В романе «Монах» описываются преступления испанского монаха Амброзио, ставшего жертвой демонических сил.

¹⁶ Унамуну, Мигель (1874–1936) — знаменитый испанский философ и писатель.

¹⁷ «Песни Мальдолора» — поэма в прозе французского поэта, предшественника сюрреализма, Лотреамона (1846–1870; настоящее имя — Изидор Дюкас). Герой «Песен Мальдолора» (слова *mal dolor* означают по-испански «злая скорбь») — фантастический злодей и садист — представляет собой ироническую гиперболизацию абсолютного отрицания, свойственного романтической литературе.

¹⁸ Массон, Андре (р. 1896) — французский художник-сюрреалист.

жмущиеся друг к другу, полная чудес реальность изображаемого пожрала художника, которому оказалось не под силу перенести ее на полотно. И только латиноамериканский живописец, кубинец Вифредо Лам ¹⁹, сумел показать нам магию тропической растительности, буйное Сотворение форм, характерное для нашей природы, — со всем присущим ей многообразием мимикрии и симбиоза, — на своих монументальных полотнах, по силе и выразительности стоящих особняком в современной живописи ²⁰. Когда я сталкиваюсь с плачевной скудостью воображения какого-нибудь Танги ²¹, например, который вот уже двадцать пять лет изображает все тех же окаменелых личинок под тем же серым небом, мне хочется повторить фразу, составлявшую предмет гордости зачинателей сюрреализма: «Vous, qui ne voyez pas, pensez à ceux qui voient» ²². Слишком много еще на свете «юнцов, которые познают наслаждение в соитии с неостывшими трупами красивых женщин» (Лотреамон), не сознавая, что мир чудесного открылся бы им в соитии с живыми. Но многочисленные любители пощеголять в облачении волхва, купленном по дешевке, забывают, — а в этом суть, — что мир чудесного лишь тогда становится безусловно подлинным, когда возникает из неожиданного преобразования действительности (чудо), из обостренного постижения действительности, из необычного либо особенно выгодного освещения сокровищ, таящихся в действительности, из укрупнения масштабов и категорий действительности, и при этом необходимым условием является крайняя интенсивность восприятия, порождаемая той степенью экзальтации духа, которая приводит его в некое «состояние предельного напряжения». Итак, для начала, дабы познать мир чудесного в ощущении, необходима вера. Если ты не веришь в святых, не жди исцеления от их чудес, и если ты — не Дон-Кихот, тебе не уйти в мир «Амадиса Галльского» либо «Тиранта Белого» ²³ так, как ушел он, — отдав этому миру свою душу, и тело, и достояние. В «Странствиях Персилеса и Сихисмунды» слова об оборотнях, вложенные в уста Рутулио ²⁴, звучат с поразительной достоверностью, поскольку во времена Сервантеса верили в то, что есть люди, страдающие ликантропией. И столь же достоверно путешествие героя из Тосканы в Норвегию на плаще ведьмы ²⁵. Марко Поло допускал, что существуют птицы, способные унести в когтях слона ²⁶, а Лютер видел воочию дьявола и швырнул ему в

¹⁹ Лам, Вифредо (1902–1982) — кубинский художник.

²⁰ Стоит отметить, что глубиной и своеобразием произведения Вифредо Лама выделяются — весьма выгодно для престижа латиноамериканской живописи — среди работ прочих художников, репродуцированных в специальном номере «Cahier dʼArt», вышедшем в 1946 году и посвященном обзору современных изобразительных искусств. — *Прим. автора.*

²¹ Танги, Ив (1900–1955) — американский художник-сюрреалист французского происхождения.

²² Вы, незрячие, подумайте о тех, кто наделен зрением (*франц.*).

²³ «Амадис Галльский», «Тирант Белый» — испанские рыцарские романы (XV–XVI вв.).

²⁴ Рутулио — персонаж из романа Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихисмунды».

²⁵ Речь идет о приключениях Рутулио.

²⁶ Поло, Марко (1254–1323) — итальянский путешественник, посетивший Малую Азию, Персию, Афганистан, Индию и Китай и оставивший подробное описание своего путешествия, в котором много фантастического.

голову чернильницу ²⁷. Виктор Гюго, на которого то и дело кивают счетоводы от литературы, пытающиеся втиснуть мир чудесного в графы гроссбуха, верил в привидения, ибо был убежден, что видел на Гернси призрак Леопольдины ²⁸ и говорил с ним. Ван-Гогу достаточно было уверовать в Подсолнух, чтобы запечатлеть на полотне его истинный образ ²⁹. Таким образом, мир чудесного, когда его пытаются вызвать к жизни в безверии, как столько лет делали сюрреалисты, — был и будет всего лишь литературным трюком, который в конечном итоге оказывается столь же малоинтересным, как некоторые произведения той литературной школы, которая берет в качестве материала сновидения, но организует их по законам логики, и как панегирики безумию, всем давно прискучившие. Разумеется, из всего сказанного отнюдь не следует, что правы сторонники *возвращения к реализму*, — в контексте термин приобретает примитивно политический смысл, — поскольку они просто-напросто подменяют фокусы иллюзионистов общими местами «завербованной литературы» либо экзистенциалистским смакованием грубо натуралистических подробностей. Но нет сомнения, что едва ли можно найти оправдание поэтам и художникам, которые славословят садизм, но отнюдь ему не предаются, восхищаются мощью сверхмужчины, поскольку страдают импотенцией, вызывают духов, не веря, что те повинуются заклинаниям, и основывают тайные общества, литературные секты и философские группировки неопределенного направления, вырабатывая для них особый язык и сокровенные цели, — которые им не суждено достичь, — но при этом не способны прийти к сколько-нибудь целостной мистической системе либо отказаться от самых ничтожных своих привычек во имя избранной веры, поставив душу на роковую эту карту.

С особенной отчетливостью убедился я в этом во время своего пребывания на Гаити, когда повседневно соприкасался с реальностью, которую можно определить как реальный мир чудесного. Я ступал по земле, помнившей время, когда тысячи жаждущих свободы людей уверовали в то, что Макандаль наделен даром обращаться в животных, и настолько уверовали, что коллективная их вера сотворила чудо в день казни однорукого. Я уже познакомился с удивительной историей Букмана ³⁰, негра с острова Ямайки, обладавшего даром ясновидения. Я видел цитадель Ла-Феррьер, сооружение, подобного которому до той поры не знала ни одна архитектура и которое возвещали лишь «Фантазии на тему темниц» Пиранези ³¹. Я живо представлял себе атмосферу, которую создал в стране Анри Кристоф, монарх с невероятными притязаниями, поражающий воображение куда сильнее, чем все жестокие короли

²⁷ По преданию, дьявол явился Мартину Лютеру в замке Вартбург в то время, когда Лютер работал над переводом Библии на немецкий язык.

²⁸ Речь идет о Леопольдине Гюго, дочери Виктора Гюго, утонувшей во время морской прогулки. Гернси — остров в Ла-Манше.

²⁹ Имеется в виду излюбленная тема полотен знаменитого голландского художника Винсента Ван-Гога (1853–1890).

³⁰ Букман, Александр — вождь негритянского восстания 1791 г., которое стало началом войны за независимость на Гаити.

³¹ Серия гравюр знаменитого итальянского архитектора и гравера Джованни Баттисты Пиранези (1720–1778), на которых изображены фантастические архитектурные композиции.

сюрреалистов, столь охотно живописующих невероятные формы деспотизма, порожденные их фантазией, отнюдь не личным опытом. На каждом шагу я открывал реальный мир чудесного. И в то же время мне думалось, что реальный мир чудесного во всей его жизненности и жизнеспособности не составляет исключительной привилегии Гаити, а является достоянием Америки вообще; ведь недаром, например, еще не описаны полностью все космогонические системы народов этого континента. Реальный мир чудесного вторгается на каждом шагу в жизнь людей, вписавших страницы в историю Латинской Америки и оставивших родовые прозвища, которые и поныне носят в ее странах, — в их перечень можно включить имена испанцев, участвовавших в поисках Источника Вечной Молодости и золотого города Маноа, имена первых наших повстанцев, имена живших еще так недавно героев наших войн за независимость, иные из которых словно вышли из легенды, как, скажем, полковница Хуана де Асурдуй³². Мне всегда казалось весьма многозначительным то обстоятельство, что в 1780 году несколько вполне здравых рассудком испанцев из Ангостуры³³ отправились на поиски Эльдorado, а в дни французской революции — да здравствует разум и Верховное Существо! — Франсиско Менендес, уроженец Сантьяго-де-Компостела, блуждал по землям Патагонии в поисках Очарованного Града Цезарей³⁴. Рассматривая тот же вопрос под другим углом зрения, мы увидим, что если в Западной Европе танцевальный фольклор, например, утратил начисто характер магии либо священнодействия, то в Латинской Америке едва ли найдутся массовые пляски, не заключающие в себе глубокого обрядового смысла, к которому подводит сложный процесс приобщения и посвящения: сошлюсь хотя бы на пляски кубинских сантеро³⁵ или на поразительный ритуал празднования тела господня, явно восходящий к африканской обрядности и до сих пор соблюдающийся в селении Сан-Франсиско-де-Яре, в Венесуэле.

В поэме Лотреамона (песнь шестая) есть эпизод, когда герой, преследуемый полицией всех стран мира, ускользает от «полчища шпионов и агентов», принимая облик различных животных, и, пользуясь своим даром, мгновенно переносится в Пекин, Мадрид либо в Санкт-Петербург. Это «литература чудесного» в самом чистом виде. Но в Америке, литература которой не создала произведения, сопоставимого с этой поэмой, жил когда-то негр по имени Макандаль, силою веры своих современников наделенный теми же сверхъестественными свойствами, что Мальдолор, и вдохновивший благодаря своей славе чародея одно из самых трагических и необычных восстаний в истории. Мальдолор — по собственному признанию Дюкасса — был всего лишь «поэтический вариант Рокамболя»³⁶. После него осталась только литературная школа, притом весьма недолговечная. А после

³² Асурдуй де Падиля (1781–1862) — национальная героиня Боливии, участница войны за независимость.

³³ *Ангостура* — старинное название города Сьюдад-Боливар в Венесуэле.

³⁴ *Очарованный Град Цезарей* — город Маноа, легендарная столица Эльдorado.

³⁵ *Сантеро* — последователи сантерии, синкретического афро-католического культа, распространенного среди кубинских негров.

³⁶ Имеется в виду «Приключения Рокамболя» — серия романов французского писателя Понсона дю Террайля (1829–1871). Образ Рокамболя стал нарицательным для обозначения дерзкого и удачливого авантюриста.

Макандаля остался законченный мифологический цикл с соответствующими магическими гимнами, которые целый народ передает из поколения в поколение и которые до сих пор поются во время священнодействий воду ³⁷. (С другой стороны, весьма примечательна странная случайность, по милости которой Изидор Дюкасс, человек, поразительно чувствующавший поэзию фантастического, родился в Америке, чем он похвалялся с таким пафосом в конце одной из песен, именуя себя «le Montevideen» ³⁸.) Девственность природы Латинской Америки, особенности исторического процесса, специфика бытия, фаустианский элемент в лице негра и индейца, само открытие этого континента, по сути недавнее и оказавшееся не просто открытием, но откровением, плодотворное смешение рас, ставшее возможным только на этой земле, — все эти обстоятельства способствовали созданию богатейшей мифологической сокровищницы Америки, далеко еще не исчерпанной.

В книге, которую я предлагаю вниманию читателя, нашли отражение все эти проблемы, хотя в процессе работы над нею я не задавался намеренно подобной целью. В этой книге излагается ряд необыкновенных событий, которые произошли на острове Сан-Доминго ³⁹ за определенный промежуток времени, более краткий, чем срок человеческой жизни, и мир чудесного возникает в ней самопроизвольно, порождаемый действительностью, за которой я следовал неотступно и во всех ее подробностях. Ибо нужно сказать заранее, что предлагаемая повесть строится на сугубо документальной основе и верность исторической правде соблюдена не только в изложении событий, в именах персонажей — вплоть до второстепенных, — в топонимике и даже в названиях улиц, но и в тщательно выверенной хронологии, ибо за мнимой вневременностью повествования скрыты точные даты. И тем не менее из-за драматической необычности событий, из-за фантастичности духовного склада действующих лиц, столкнувшихся в определенный момент на магическом перекрестке Капа, стихия чудесного насквозь пронизывает эту историю, которая была бы немислима в Европе, но тем не менее столь же реальна, сколь любой поучительный исторический эпизод из тех, что с воспитательно-дидактической целью приводятся в школьных учебниках. Но что такое вся история Латинской Америки, как не хроника реального мира чудес?

А. К.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дьявол

Разрешат ли мне войти?

Провидение

Кто ты?

Дьявол

Запада владыка.

Провидение

Знаю, кто ты, окаянный.

Что ж, входи.

(Дьявол входит.)

³⁷ См.: Jaques Roumain. Le sacrifice du tambour Assoto (Жак Румен. Заклание барабана Ассото — франц.; прим. автора).

³⁸ Уроженец Монтевидео (франц.).

³⁹ Экспедиция Христофора Колумба, которая открыла остров Гаити в 1492 г., назвала его Эспаньола. В конце XVII в. западная часть острова перешла к Франции и стала называться Сен-Доменг, или Сан-Доминго, а восточная, испанская, часть — Санто-Доминго.

Дьявол

Судья великий,
Неусыпный, неустанный!
Ты куда, на горе мне,
Флот Колумба снаряжаешь?
Испокон веков, ты знаешь,
В той царю я стороне. 40

Лопе де Вега

I. Восковые головы

Из двадцати племенных жеребцов, доставленных в Кап-Франсэ капитаном корабля, который вел дело на половинных паях с одним нормандским коннозаводчиком, Ти Ноэль, не раздумывая, выбрал белоножку со свислым крупом, отменного производителя, который должен был улучшить породу, ибо кобылы жеребились недомерками и молодняк год от году мельчал. Мосье Ленорман де Мези, зная, что раб разбирается в лошадях, выбор одобрил и выложил звонкие луидоры. Связав из пеньковой веревки уздечку, Ти Ноэль удобно расположился на широкой спине крепкого, осыпанного гречкой першерона; кожу обнаженных ляжек охлаждал скользкий конский пот, выступавший на густой шерсти и быстро превращавшийся в солоноватую пену. Раб пустил коня следом за гнедым своего господина, статным и тонконогим, особенно по сравнению с першероном; они миновали квартал мореходов и рыбаков, где склады пропахли рассолами, где кипами лежала парусина, залубеневшая от сырости, где торговали морскими сухарями, такими твердыми, что их приходилось дробить кулаком, и выехали на Главную улицу, которая в этот утренний час пестрела яркими клетчатými фулярами чернокожих служанок, возвращавшихся с рынка. Проехала губернаторская карета, изукрашенная позолоченными завитушками рокайля, и мосье Ленорман де Мези, сняв шляпу, почтительно ею повел. Затем раб и хозяин привязали лошадей возле заведения цирюльника, выписывавшего «Лейденскую газету»⁴¹ в утеху своим просвещенным клиентам.

Пока хозяина брили, Ти Ноэль мог наглядеться всласть на четыре восковые головы, красовавшиеся в окне возле входа в цирюльню. Завитки париков окаймляли недвижные лица, ниспадая каскадом буклей на алую ткань, устилавшую подоконник. Головы были словно настоящие — и в то же время словно мертвые из-за остановившегося взгляда, — они напоминали Ти Ноэлю говорящую голову, которую несколько лет назад показывал в Кап-Франсэ заезжий шарлатан, заманивавший с ее помощью покупателей: он торговал эликсиром от зубной боли и от ревматизма. По прихоти насмешника случая в окне соседней лавки, мясной, были выставлены телячьи головы, освежеванные, со стебельком петрушки на языке; они, казалось, тоже были из воска, как и головы в окне цирюльни, и как будто подремывали, а вокруг были разложены красные телячьи хвосты, блюда с заливным из телячьих ножек и горшочки с потрохами по-кайеннски. Оба окна разделяла лишь деревянная перегородка, и Ти Ноэль тешил свое воображение, представляя себе, как головы белых господ подают к

⁴⁰ Эпиграф к первой части повести взят из пьесы Лопе де Веги «Открытие Нового Света Христофором Колумбом» (акт I, сцена 5).

⁴¹ «Лейденская газета» — газета, которую издавали французские эмигранты в Голландии. Она выходила с 1680 по 1814 г. и отличалась дерзкими нападениями на нравы французского двора и аристократии.

столу, кладут на ту же скатерть, что и бескровно-бледные телячьи головки. Подобно тому, как декорируют перьями птичью тушку, готовя блюдо к званому обеду, так и головы белых господ какой-то повар, искусник и малость каннибал, разукрасил самыми пышными париками. Не хватало только гарнира из листьев салата либо из ломтиков редьки, нарезанных в виде бурбонской лилии. Впрочем, в окне цирюльни виднелись баночки с притираниями, флаконы с лавандовой водой, коробочки с рисовой пудрой, а в окне мясной лавки — миски с требухой и подносы с почками, и в очертаниях сосудов и склянок тоже было что-то общее, придававшее законченность этой картине омерзительной трапезы.

В это утро голов было великое множество, поскольку другой сосед цирюльника, книготорговец, развесил на проволоке недавно полученные из Парижа эстампы, закрепив их бельевыми прищепками. По крайней мере, на четырех изображался лик короля Франции в обрамлении из солнц, шпаг и лавров. Но немало было и других голов в париках, принадлежавших, нужно полагать, самым важным вельможам Франции. Полководцев можно было узнать по их позе — манием руки они посылали в бой войска. Законники внушительно хмурились. Люди мысли тонко усмехались над виньеткой из перекрещивающихся гусиных перьев, под которой виднелись столбцы стихов, ничего не говоривших Ти Ноэлю, ибо рабы не разумели грамоте. Были там и раскрашенные гравюры менее торжественного свойства; на них изображались празднества с потешными огнями в честь взятия неприятельского города, комический балет в исполнении лекарей, вооруженных громадными клистирами, общество в саду, развлекающееся игрой в жмурки, молодые повесы, рука которых блуждает за вырезом корсажа горничной, или — излюбленный сюжет — хитроумный любовник, который прилег на траву и созерцает в экстазе тайные прелести дамы, в невинности души раскачивающейся на качелях. Но в этот момент внимание Ти Ноэля привлекла гравюра на меди, последняя в ряду и отличавшаяся от прочих и темой и исполнением. На ней был изображен некий француз, то ли адмирал, то ли посол, он стоял перед негром, восседавшим на троне, вокруг негра колыхались опахала из перьев, а трон был разукрашен резьбой, представлявшей обезьян и ящериц.

— Это что за люди? — дерзко осведомился Ти Ноэль у книготорговца, который, стоя на пороге своей лавки, раскуривал длинную глиняную трубку.

— Это король из твоих краев.

Подтверждение было лишним, молодой раб догадался и сам, сразу припомнив рассказы Макандаля, которые он слышал на мельнице, где мололи сахарный тростник; самая старая лошадь в поместье Ленормана де Мези ходила по кругу, вращая цилиндры, а Макандаль рассказывал нараспев, монотонно. С деланной усталостью в голосе, позволявшей особо выигрышно подавать заключительные фразы, мандинга повествовал о событиях, совершившихся в могучих государствах народов попо, арада, наго и фула ⁴². Он говорил о великих переселениях народов, о вековых войнах, о диковинных битвах, когда лесные звери оказывали помощь людям. Он знал историю Адонуэсо, короля Анголы, а также историю короля Да, Великого Змея, который воплощает вечное и непреходящее начало и мистически предается любовным утехам с Королевою Радугой ⁴³, повелевающей всеми водами и родовыми муками всех тварей.

⁴² *Попо, арада, наго и фула* — народности Западной Африки.

⁴³ Король Да (сокращенное от Дамбалла) — один из главнейших водуистских богов, бог источников и озер, хозяин дождя. Символ Дамбалла — змея. В космогонии воду Дамбалла и его жена Аида отождествляются с радугой. Макандаль

Но всего обстоятельнее повествовал Макандаль о деяниях Канкана Музы, отважного Музы, основателя непобедимого государства народа мандинга; кони этого монарха были украшены расшитыми попонами и сбруями из серебряных монет, и ржанье их покрывало лязг оружия, а под кожей двух барабанов, свисавших с хребтины, таился гром. Эти короли мчались в бой с копьем наперевес во главе своих ратников, ибо искусство ведунов сделало их неуязвимыми и рана повергала их наземь лишь в том случае, если они каким-либо образом оскорбили божества Молнии или божества Кузницы. Да, это были короли, истинные короли, не чета венценосцам, что щеголяют в накладных волосах, развлекаются игрою в бильбоке, а богами могут быть лишь на подмостках своих придворных театров, где по-женски жеманно перебирают жидкими ногами под звуки ригодона. Эти белокожие короли услаждают свой слух напевами скрипок и наветами пасквилянтов, трескотней любовниц и трелями заводных птичек, а не грохотом пушек, обстреливающих неприятельский люнет. Хотя сам Ти Ноэль был малосведущ, он познал эти истины благодаря великой мудрости Макандаля. В Африке король был воином, охотником, судьей и жрецом; его драгоценное семя приумножало род героев. Не то во Франции и в Испании: там король посылает сражаться генералов, не властен творить суд, покорно слушает поучения какого-нибудь монаха-исповедника, а что касается мужской силы, то ее хватает монарху лишь на то, чтобы зачать хилого принца, который не способен справиться с оленем без помощи ловчего и в самом титуловании которого кроется невольная ирония, ибо французы именуют его дофином и тем же словом обозначают дельфина, а ведь дельфин — просто морское животное, безобидное и не внушающее страха. Напротив, в том краю — в том Великом Краю — королевские сыновья были тверже наковальни, там были принцы-леопарды и принцы, ведавшие язык деревьев, и принцы, обладавшие властью над четырьмя сторонами света, повелители туч и семени, бронзы и огня.

Ти Ноэль услышал голос хозяина: мосье Ленорман де Мези выходил из цирюльни, щеки его были густо напудрены. Теперь лицо хозяина удивительно походило на бескровные восковые лица, которые улыбались за окном цирюльни дурацкой улыбкой. По дороге мосье Ленорман де Мези купил в мясной телячью голову и передал ее рабу. Сидя верхом на першероне, явно стосковавшемся по корму, Ти Ноэль ощупывал холодную белую кожу телячьего черепа и думал, что на ощупь его поверхность ничем, наверное, не отличается от лысины, которую господин его прячет под париком. Улица между тем наполнилась людом. Возвращавшихся с базара негритянок сменили дамы, выходившие из церкви от утренней мессы. Нередко за какой-нибудь кварталонкой, сожительницей разбогатевшего чиновника, следовала горничная, цвет лица которой был ничуть не темнее, чем у ее госпожи; горничная несла пальмовый веер, молитвенник и зонтик от солнца с кистями из золотой канители. На углу кукольник показывал пляшущих марионеток. Какой-то моряк предлагал дамам купить у него бразильскую обезьянку, наряженную по испанской моде. В тавернах откупоривали бутылки с вином, бутылки для охлаждения были поставлены в бочки, набитые мокрым песком с солью. Отец Корнехо, священник из Лимонадского прихода, подъехал к зданию Кафедрального собора на своем мышастом муле.

Мосье Ленорман де Мези и его раб выехали из города и пустили коней по дороге вдоль берега моря. Над бастионами крепости загремели пушки. На горизонте

у Карпентьера называет водуистских богов королями, потому что, по мнению некоторых исследователей, слово «лоа» — божество, дух — в культе воду происходит от французского слова «roi» — «король» и, кроме того, потому что большинство водуистских лоа являются обожествленными предками — умершими королями или старейшинами племен.

показался «La Courageuse»⁴⁴, фрегат королевского военного флота, возвращавшийся с острова Ла-Тортю. Над бортами фрегата забелели дымки ответных выстрелов. Мосье Ленорман де Мези, припомнив времена своей молодости, когда он был всего лишь неимущим офицером, стал насвистывать походный марш. Ти Ноэль, в пику хозяину, мысленно замурлыкал не в лад матросскую песенку, которую часто пели портовые бондари и в которой они честили почем зря короля Англии. Песенка была на французском, не на креольском, но Ти Ноэль точно знал, что там чествуют короля. Он за то ее и выучил. К тому же он в грош не ставил английского короля, и все они стоят друг друга, что английский, что французский, что испанский, который правит другой половиной острова⁴⁵ и жены которого — по словам Макандаля — румянят себе щеки бычьей кровью и хоронят принцев-недоносков в монастыре, а в подвалах монастыря лежат грудями скелеты тех, кого отвергло истинное небо, ибо оно заказано мертвым, не ведающим истинных богов.

II. Ампутация

Ти Ноэль сидел на перевернутой бадье и слушал Макандаля, перестав следить за старой лошадей, которая привычным безукоризненно размеренным шагом ходила по кругу, вращая вал мельницы. Макандаль брал охалками сахарный тростник и пропихивал между железными цилиндрами. Глаза мандинги, всегда налитые кровью, его мощная грудь и поразительно тонкий стан странно завораживали Ти Ноэля. Шла молва, что глуховатый низкий голос Макандаля действует на негритянок безотказно. И к тому же он такой мастер рассказывать всякую всячину и строить устрашающие гримасы, представляя свои истории в лицах, что и мужчины слушают его, затаив дыхание, особенно когда мандинга заводит речь о путешествии, которое совершил много лет назад, когда враги захватили его в плен, чтобы потом продать работорговцам в Сьерра-Леоне⁴⁶. Слушая Макандаля, молодой негр понимал, что Кап-Франсэ с его колокольнями, каменными зданиями, домами в нормандском вкусе, вдоль которых тянутся длинные галереи, ничего не стоит по сравнению с городами Гвинеи. В тех городах есть алые глиняные купола, венчающие мощные крепостные сооружения с зубчатыми стенами; есть базары, слава о которых гремит за пределами пустынь, доходя до племен, живущих не на земле, а на воде, в свайных поселках. В тех городах искусные оружейники ведают тайны металлов и умеют ковать мечи, которые острее бритвы, а весят в руке воина меньше пушинки. Полноводные реки, низвергающиеся с неба, лижут ноги людей, и не нужно привозить соль из Соляного края. В огромных строениях хранится пшеница, кунжут, просо; меновая торговля ведется с самыми отдаленными краями, и даже из Андалусии везут сюда вина и оливковое масло. Под навесами из листьев пальмы спят гигантские барабаны, прародительницы всех барабанов, с изображениями человеческих ликов и с ножками, выкрашенными красной краской. Ливни повинуются заклинаниям мудрецов, а на

⁴⁴ «Отважный» (франц.).

⁴⁵ Восточная часть острова была испанской колонией под названием Санто-Доминго до 1795 г.

⁴⁶ Сьерра-Леоне — страна в Западной Африке. В XVII–XVIII вв. ее чаще, чем другие страны, посещали корабли работорговцев.

празднике обрезания пляшут юные девушки, их ноги до колен вымазаны блестящей кровью, и они пляшут под звонкий перестук гладких камушков, напоминающий своим звучанием гул мощных, но укрощенных водопадов. В священном граде Вида⁴⁷ воздаются почести Кобре, мистически олицетворяющей вечное круговращение, и божествам, что управляют миром растений и являются людям на берегах соленых озер, мелькая в зарослях камыша влажным блестящим телом.

Передние копыта старой лошади подогнулись, она повалилась на колени. Послышался вопль, такой пронзительный и громкий, что он разнесся по всем окрестностям, всполошив голубей в голубятнях. Кисть левой руки Макандаля застряла между перемалывавшими тростник цилиндрами, которые внезапно завертелись с непривычной быстротой, затягивая руку до самого плеча. В бадье с соком сахарного тростника расплывалось кровавое пятно. Схватив нож, Ти Ноэль перерезал постромки, закрепленные на стояке мельницы. На мельничный двор сбегались рабы из дубильни, впереди спешил сам хозяин. Подоспели также те, кто работал на коптильне и на сушильне для зерен какао. Теперь Макандаль пытался выдернуть истерзанную руку, вращая цилиндры в обратном направлении. Правой рукой он ошупывал локоть и запястье левой, переставшие ему повиноваться. Казалось, он не понимает, что случилось, в глазах его застыло недоумение. Ему перетянули плечо веревочным жгутом, завели жгут под мышку, чтоб остановить кровотечение. Хозяин велел принести точильный камень и наточить мачете, который должен был служить орудием ампутации.

III. Что нащупала рука

Макандаль, непригодный для тяжелых работ, был определен в пастухи. До рассвета он выводил стадо со двора и гнал к тенистым склонам горы, поросшим густою травой, в которой роса держалась до позднего утра. Приглядывая за коровами, медлительно бродившими в высоком клевере пастбища, он стал обращать внимание на некоторые растения, которых не замечал прежде, но которые теперь вызвали у него странное любопытство. Лежа в тени рожкового дерева и упираясь в землю локтем уцелевшей руки, он перебирал знакомые травы, выискивая всевозможные диковинные порождения земли, прежде несколько его не занимавшие. С удивлением открывал он потаенную жизнь причудливых трав, растеньица, которые хитрили, играли в прятки, сбивали с толку, растеньица, состоявшие в дружбе с мелким чешуекрылым народцем, избегавшим муравьиных тропок. Рука приносила россыпь безымянных семян, колючие стелющиеся кустики, пахнущие серой, крохотные стручки дикого перца; ползучие побеги, опутавшие сетью камни; одинокие стебли с ворсистыми листьями, которые ночью потеют; растения-недотроги, которые увядают от одного звука человеческого голоса; семенные коробочки, которые в полдень лопаются, сухо щелкнув, словно блоха, прижатая к ногтю; вьющиеся лозы, сплетающиеся в липкие заросли подальше от солнечных лучей. Была одна лиана, от которой на коже оставались ожоги, а запах другой дурманил голову всякому, кто вздумал бы прилечь поблизости. Но больше всего теперь занимали Макандаля грибы. Грибы, от которых пахло трухой, аптечным снадобьем, подземельем, хворью, грибы, похожие на ослиное ухо или на бычий язык, морщинистые толстые шляпки, покрытые омерзительной

⁴⁷ Вида — город в Дагомее.

слизью, пятнистые зонтики, прятаящиеся в холодных сырых выемках, где ютились жабы, которые не то смотрели немигающим оком, не то спали. Мандинга растирал мякоть гриба между пальцами, подносил пальцы к ноздрям — кожа пахла ядом. Затем он совал руку под храп корове. Если животина отводила морду, глубоко втягивая воздух, и в глазах у нее появлялся испуг, Макандаль старался набрать побольше таких грибов, складывал их в суму из сыромятной кожи, которую носил на груди.

Под предлогом купанья лошадей Ти Ноэль часто отлучался из усадьбы Ленормана де Мези и проводил с одноруким долгие часы. В такие дни они вдвоем направлялись к тропинке, которая шла по долине; места здесь были овражистые, и отроги гор были изрыты глубокими пещерами. Они заходили к старой негритьянке, которая жила одна, хотя дом ее навещали люди из очень дальних мест. На стенах жилья висели сабли, ярко-красные полотнища знамен на тяжелых древках, подковы, метеориты и кресты из стянутых проволокой ржавых ложек, чтобы отвадить барона Самди, барона Пикана, барона Лакруа и прочих властителей кладбищ⁴⁸. Макандаль показывал матушке Луа⁴⁹ листья, травы, грибы, лекарственные растения, лежавшие у него в суме. Она их тщательно разглядывала, одни растирала пальцем и нюхала, другие отбрасывала. Иногда заходил разговор про зверей, прославленных преданьями и положивших основания людским племенам. Поминались и люди, силою заклинаний умевшие оборачиваться волками. Были известны случаи, когда твари из рода кошачьих силою брали женщин, и с тех пор эти женщины в ночную пору теряли дар речи и могли только рычать. Однажды в самом занятом месте рассказа на матушку Луа напала странная немота. Повинуясь таинственному приказу, она подбежала к печи и погрузила руки в котел с кипящим маслом. Ти Ноэль заметил, что лицо ее при этом выражало величайшее безразличие и, самое удивительное, когда матушка Луа вытащила из котла руки, на коже не было ни волдырей, ни следов ожогов, хотя несколькими мгновениями раньше, когда она опускала руки в масло, слышался жутковатый треск лопающейся кожи. Поскольку Макандаль, казалось, отнесся ко всему происходящему с полнейшим спокойствием, Ти Ноэль постарался скрыть удивление. Старая колдунья и мандинга продолжали беседу как ни в чем не бывало, прерывая ее время от времени долгими паузами, во время которых оба глядели вдаль.

Однажды они поймали кобеля в поре, из своры Ленормана ди Мези. Ти Ноэль, сидя на нем верхом и притиснув его к земле своей тяжестью, придерживал морду за уши, а Макандаль в это время, выдавив на камень немного бледно-желтого соку из какого-то гриба, тер этим камнем щипец животного. Кобель судорожно поджался всем телом. Затем задергался в сильнейших корчах и упал на спину, растопырив окоченевшие лапы и обнажив клыки. В тот вечер, воротившись в поместье, Макандаль долго стоял, разглядывая мельницы, сушильни для зерен какао и кофе, хранилище индиго, кузницы, водоемы и коптильни.

— Пора приспела, — сказал он.

Тщетно звали его на другой день. Хозяин устроил облаву, черномазым в острастку, но особо усердствовать не стал. Раб с одной рукой — не бог вещь какая ценность. Кроме того, как известно, в любом негре из племени мандинга сидит будущий симаррон — беглый бунтовщик. Если мандинга — стало быть, смутьян, ослушник,

⁴⁸ Барон Самди, барон Пикан, барон Лакруа — божества смерти в культе воду.

⁴⁹ Матушка Луа (или по-испански Лоа) — обычное бытовое название жрицы культа воду.

дьявол. Потому-то рабы из этого племени и шли на невольничьем рынке по столь низкой цене. У всех у них одно на уме — податься в леса. Кроме того, вокруг столько поместий, однорукому далеко не уйти. Когда его приведут, надо будет расправиться с ним покруче и на глазах у всех рабов, чтобы прочим было неповадно. Но однорукий — он однорукий и есть. Было бы глупо рисковать попусту парой породистых сторожевых псов, еще пропорет им брюхо ножом, с него станется.

IV. Список

Исчезновение Макандаля глубоко опечалило Ти Ноэля. Если бы мандинга предложил ему совместное бегство, молодой раб с радостью взялся бы служить ему. Теперь он думал, что однорукий не очень-то высоко его ставил, раз не пожелал посвящать в свои намерения. Ночами эта мысль не давала рабу покоя. Ти Ноэлю не спалось в яслях, служивших ему постелью, и время тянулось слишком долго; тогда он вставал и, плача, обнимал шею нормандского жеребца, зарываясь лицом в теплую гриву, от которой пахло конем и речной свежестью. С исчезновением Макандаля исчез целый мир, оживавший в рассказах мандинги. С ним ушли Канкан Муза, Адонуэсо, истинные короли и Радуга, владычица града Вида. Утратив то, что скрашивало ему жизнь, Ти Ноэль изнывал от скуки в часы воскресных досугов и проводил все время с лошадьми, холил их, выбирал клещей из ушных раковин и из подпашья. Так прошел весь период дождей.

Однажды, в ту пору, когда реки уже вернулись в свое русло, Ти Ноэль встретил неподалеку от конюшен старуху из хижины на горе. Она принесла ему вести от Макандаля. На рассвете молодой негр пробрался к узкой расселине в горах и, протиснувшись внутрь, оказался в сталагмитовой пещере, уходившей вниз, где она становилась шире, а по стенам, уцепившись лапами за выступы, висели гроздь летучих мышей. Под ногами лежал толстый слой затвердевшего помета, в который вросли обломки примитивной утвари и рыбы кости, превратившиеся в окаменелости. Сырой полумрак был пропитан тяжелым удушливым запахом, и, заметив посреди пещеры несколько глиняных сосудов, Ти Ноэль понял, что запах этот идет оттуда. Шкурки ящериц, наваленные грудой, прикрывали пласты сыра. На большом валуне явно только что растирали травы с помощью нескольких камешков поменьше, круглых и гладких. На древесном стволе, по всей длине стесанном и выструганном с помощью мачете, лежала приходо-расходная книга, украденная у эконома мосье Ленормана де Мези, на ее страницах виднелись крупные закорючки, выведенные углем. Ти Ноэлю невольно вспомнились аптечные заведения в Кап-Франсэ с их большими медными ступками, томом фармакопеи, покоящимся на особой подставке, со склянками, содержащими рвотный орех и асафетиду, и со связками корешков алтея, укрепляющих десны. Не хватало только колб с заспиртованными скорпионами, пузырьков с розовым маслом и вивария для пиявок.

Макандаль спал с тела. Казалось, он состоит лишь из костей да мускулов, выступающих под кожей мощными, рельефно изваянными выпуклостями. Но лицо его, приобретшее оливковый оттенок при свете масляного фитиля, выражало спокойную радость. Голова была повязана пунцовым платком, украшенным низкими бус. Однако более всего поразился Ти Ноэль, узнав, какую долгую и кропотливую работу проделал мандинга со дня своего бегства. Похоже было, что однорукий обошел одно за другим все поместья Равнины, вступив в прямые сношения с трудившимися

там рабами. Так, Макандалю было известно, что на плантации индиго в долине Дондон можно считать верными людьми Олаина — огородника, Ромену, кухарку, стряпавшую на черных, кривого Жана-Пьерро; в поместье Ленормана де Мези он известил троих братьев Понге, недавно купленных рабов из племени конго, колченогого негра из племени фула и Маринетту, мулатку, которая раньше спала в хозяйской постели, а теперь вернулась к котлам прачечной, поскольку в поместье прибыла некая мадемуазель де ла Мартиньер, перед отъездом в колонию заочно обвенчанная с мосье Ленорманом де Мези в одном гаврском монастыре. Однорукий сговорился также с двумя неграми из племени ангола, работавшими в поместье по ту сторону горы, прозванной Епископской Митрой; на ягодицах обоих среди рубцов, оставленных розгами, красовались клейма, выжженные каленым железом в наказание за кражу водки. Знаками, расшифровать которые был в состоянии он один, Макандаль пометил у себя в списке имя Бокора из Мийо и даже имена проводников, переправлявших караваны через горный хребет, ибо он рассчитывал при их посредничестве вступить в сношения с людьми из долины реки Артибонит.

Во время этой встречи Ти Ноэль услышал, чего хочет от него однорукий. В то же самое воскресенье, вернувшись от мессы, хозяин узнал, что две лучшие в стаде молочные коровы — белохвостки, вывезенные из Руана — вот-вот околеют на кучах собственного навоза, а из горла у них хлещет желчь. Ти Ноэль объяснил хозяину, что животные из дальних земель не разбираются в здешних растениях и, случается, щиплют ядовитые травы, сочные с виду, отчего отравы проникает им в кровь.

V. De profundis 50

Яд растекался по всей Северной равнине, не минуя ни одной конюшни, ни одного коровника. Неведомым путем проникал он в мятлик, в испанский клевер, пробирался в охапки сена, оказывался в яслях. Во всяком случае, коровы, быки, молодой, лошади, овцы околевали сотнями, и над краем навис неистребимый запах тления. В сумерках зажигались огромные костры, над которыми стлался низкий жирный дым, а когда костры выгорали, на их месте оставались кучи почернелых бычьих черепов, обугленные ребра, порыжевшие в пламени копыта. Тщетно опытнейшие знатоки трав из Кап-Франсэ искали листья, соки, смолы, в коих могла таиться отравы. Животные околевали одно за другим, и над вздувшейся падалью, жужжа, роились зеленые мухи. На кровлях сидели стаями большие черные птицы с лысым черепом, ждали своего часа, чтобы камнем прыгнуть вниз и, прорвав ударом клюва натянувшуюся до предела шкуру, добраться до новой порции разлагающегося мяса.

Вскоре стало известно, ко всеобщему ужасу, что яд проник в дома. Как-то после полудня владелец поместья Кок-Шант надкусил плюшку и вдруг повалился на пол, даже не почувствовав боли и сбив своей тяжестью стенные часы, которые в этом миг заводил. Новость еще не успела облететь соседние поместья, а яд уже косил их хозяев с молниеносной быстротой, притаившись, чтоб разить навверняка, в стакане воды на ночном столике, в миске супа, в пузырьке с лекарством, в хлебе, вине, плодах, соли. День и ночь слышался жутковатый стук — то заколачивали крышки гробов. Из-за любого поворота могло появиться погребальное шествие. В церквях Кап-Франсэ служили только зауспокойные мессы, и причт со святыми дарами всегда приходил к

смертному одру слишком поздно, а вдали гудели колокола, снова и снова звоня по усопшим. Священникам пришлось сократить отпевание, ибо слишком длинна была траурная очередь. Над Равниной стоял скорбный гул отходной, но то была не просто молитва, то был еще великий гимн ужаса. Ибо ужас высосал колонистам лица, перехватил глотки. Под сенью серебряных крестов, качавшихся над похоронными процессиями, зеленый яд, яд желтый и яд бесцветный, бесследно растворявшийся в воде, творил свое дело, просачиваясь по дымоходу в кухонный очаг, пробираясь сквозь щели запертых дверей, словно выюнок, неутомимо дающий побегу, но ищущий мрака, ибо мраку могил обрекает он все живое. Хоры певчих, не умолкая, выводили леденящие душу антифоны, от «*Miserere*»⁵¹ до «*De profundis*».

Озлобившись от страха, ошалев от вина, ибо никто не решался более утолять жажду водой из колодца, белые господа пытали и истязали рабов, чтобы выведать тайну яда. Но яд по-прежнему хозяйничал в семьях белых, унося взрослых и детей, и ничто — ни молебны, ни наставления лекарей, ни благочестивые обеты, ни бесплодная ворожба моряка-бретонца, знахаря и чернокнижника, не могли остановить потаенное шествие смерти... Мадам Ленорман де Мези успела, хоть и не по своей воле, занять последний свободный уголок на кладбище; она скончалась в воскресенье, пришедшееся на троицын день, прельстившись на редкость красивым апельсином, который чрезмерно услужливая ветка совала ей прямо в руки. По всей Равнине было объявлено осадное положение. Согласно распоряжению властей солдаты могли без предупреждения стрелять из мушкетов во всякого, кто будет замечен в полях или поблизости от жилья после захода солнца. Гарнизон Капа промаршировал по всем дорогам Равнины смехотворным предупреждением неуловимому противнику, которому угроза смертью была нипочем, ибо он сам был ее носителем. Яд по-прежнему самым неожиданными путями находил доступ к устам. Семейство дю Периги, состоявшее из восьми человек, он настиг, забравшись в бочонок с сидром, а между тем бочонок был доставлен в дом членами семьи собственноручно прямо из трюма корабля, лишь недавно ошвартовавшегося в порту. Трупный запах висел над провинцией.

В один прекрасный день колченогий фула, которому пригрозили вбить в зад заряд пороха, заговорил. Властитель яда — однорукий Макандаль, он стал унганом⁵² культа Рада и обладает необычайным могуществом, ибо верховные божества не раз переселялись в его плотскую оболочку. Волею потусторонних владык облеченный высшей властью, он объявил белым великую и беспощадную войну, ибо он избран богами, дабы покончить с белыми и создать на острове Сан-Доминго великое государство свободных негров. Среди рабов его приверженцы насчитываются тысячами. Никому не остановить победного шествия яда. После этого сообщения по всей усадьбе замелькали, засвистели бичи. И не успело еще остыть то, что осталось от не в меру говорливого негра, — порох все-таки запалили, просто от ярости, — как в Кап-Франсэ уже мчался нарочный. В тот же день собрали всех мужчин, способных держать оружие, и снарядили отряды на поиски Макандаля. Равнина, смердящая тухлятиной, жженым рогом, червивой падалью, огласилась лаем собак и кощунственной бранью.

⁵¹ «*Miserere*» — латинское название пятидесятого псалма царя Давида («Смилуйся»).

⁵² Унган — жрец воду.

VI. Метаморфозы

Несколько дней подряд солдаты столичного гарнизона и отряды, состоявшие из колонистов, их управляющих и экономов, обшаривали провинцию роцца за роццей, овраг за оврагом, камышник за камышником, но на след однорукого так и не попали. Впрочем, как только стало известно, откуда взялся яд, его триумфальное шествие прекратилось, и он вернулся в сосуды, которые Макандаль скорее всего зарыл в земле где-нибудь в тайном месте, и там, во тьме земных недр, от яда, отправившего в эти недра и в эту темь столько жизней, остались лишь пузырьки пены. Собаки и люди возвращались из лесу в сумерках, ошалев от усталости и досады. Теперь, когда смерть снова стала собирать свою дань в обычных пределах, возраставших разве что в январскую непогоду да в период дождей с его непременными лихорадками, колонисты предавались игре и пьянству, ибо вынужденное житье бок о бок с солдатней сказывалось на них не лучшим образом. Распевая непристойные куплеты и не упуская случая передернуть карту, собутыльники тискали груди негритянкам, подававшим чистые стаканы, и вспоминали подвиги дедов, которые приняли участие в разграблении вест-индской Картахены⁵³ и запустили лапы в испанскую королевскую казну, когда Пит Хейн, по прозвищу «Деревянная Нога», обстригал в кубинских водах знаменитое дельце, почти два столетия занимавшее воображение корсаров. Над залитыми вином столами под стук игральные кости сдвигались бокалы в честь д÷Эснамбюка, Бертрана дʼОжерона, дю Россе⁵⁴, в честь удальцов, которые создали колонию на свой страх и риск, возведя собственную волю в закон, как подобает мужчине, и нимало не считаясь с изданными в Париже эдиктами и умеренными предостережениями Черного Кодекса⁵⁵. Собаки, избавленные от строгих ошейников, спали под скамьями.

Облавы на Макандаля затевались все реже и велись весьма нерадиво, с передышками, во время которых люди бражничали либо дремали в тени под деревьями. Прошло несколько месяцев, но вестей об одноруком не было. Иные полагали, что он скрывается далеко от побережья, в затянутых облаками кряжах Центрального плато, где негры пляшут фанданго под стук кастаньет. Другие возражали, что унган уплыл на шхуне и теперь занимается своим делом в краю Жакмель, куда часто попадают люди после смерти и где они обречены возделывать землю, пока им не удастся вкусить соли⁵⁶. Как бы то ни было, негры вели себя с

⁵³ Вест-индская Картахена — город в Колумбии, на побережье Карибского моря. В марте 1697 г., когда Франция воевала с Испанией и Англией, французский флот с помощью кораблей буканьеров из Сан-Доминго захватил испанский порт Картахену. После возвращения военных кораблей во Францию город подвергся жестокому разграблению буканьерами, оказавшими до этого помощь французскому флоту. Буканьеры — первоначально французские колонисты, поселившиеся в XVII в. на острове Сан-Доминго и занимавшиеся разведением скота. Попытка испанцев согнать буканьеров с занятых ими земель заставила буканьеров присоединиться к пиратам. В дальнейшем буканьер — синоним пирата.

⁵⁴ Имеются в виду французские мореплаватели, колонизовавшие в XVII в. различные острова Антильского архипелага и установившие там власть Франции.

⁵⁵ *Черный Кодекс* — свод правил, регулировавший систему рабовладения в Северной Америке; был издан в 1685 г.

⁵⁶ Имеется в виду существующее на Гаити поверье, что некоторые люди после смерти остаются жить среди живых и ведут себя как живые до тех пор, пока не попробуют соли и не поймут, что мертвы. Жакмель — область на южном побережье Гаити.

вызывающей веселостью. Невольники, которые должны были задавать темп во время обмолота кукурузы или рубки сахарного тростника, никогда еще не били в барабаны с таким упоением. По вечерам в своих лачугах и хижинах негры с великим ликованием передавали друг другу диковинные вести: на крыше табачной сушильни грела спину на припеке зеленая игуана; кто-то видел, как среди бела дня пролетел ночной мотылек; большой взъерошенный пес промчался во всю прыть по господскому дому и утащил олений окорок; на задний двор залетел пеликан, — а ведь от моря до этих мест недалеко, — сел на беседку, увитую виноградной лозой, и затряс крыльями так, что посыпались вши-пухоеды.

Все знали, что зеленая игуана, ночной мотылек, приبلудная собака, удивительный пеликан — всего лишь обличья. Одаренный властью превращаться в зверя, в птицу, в рыбу и в насекомое, Макандаль то и дело наведывался в поместья Равнины, приглядывал за своими приверженцами, проверял, ждут ли они еще его возвращения. В непрерывной смене обличий однорукий становился вездесущим и, переходя в тела животных, вновь обретал целостность членов вопреки своему увечью. Сегодня у него были крылья, завтра плавники, он то мчался галопом, то полз на брюхе, ему принадлежали потоки подземных вод, и прибрежные пещеры, и вершины деревьев — он был владыкой всего острова. Власть его отныне была безгранична. Он мог покрыть кобылу, мог плескаться в прохладном водоеме, опуститься на тонкую ветку акации, влететь в дом сквозь замочную скважину. Псы на него не лаяли, своей тенью он распоряжался как хотел. По его прихоти у одной негритянки родился мальчик с кабаньей головой. В ночную пору Макандаль обычно являлся на дорогах в обличье черного козла; рога козла унизаны были раскаленными угольками. Придет день, когда по знаку мандинги начнется великое восстание, и Властители Иного мира, предводимые Дамбалла, и Хозяином Дорог ⁵⁷, и Огуном, Господином Железа ⁵⁸, пошлют громы и молнии и обрушат на остров бурю, которая довершит дело, начатое людьми. В тот великий час, говорил Ти Ноэль, кровь белых потечет ручьями и лоа, охмелев от восторга, припадут к тем ручьям и будут пить, пока не напьются вволю.

Четыре года длилось напряженное ожидание; не теряя надежды, рабы настороженно вслушивались, ибо в любой миг мог прозвучать с гор трубный зов больших раковин, возвещая, что Макандаль прошел до конца путь превращений и снова, поджарый и крепкий, стоит, гордясь мужской силой, на своих человеческих ногах.

VII. Обличье человека

На некоторое время прачка Маринетта вернулась в господскую опочивальню, но вскоре мосье Ленорман де Мези вступил в брак вторично, женившись на одной вдове, богатой, хромой и богобоязненной, с которой свел его священник из Лимонада. По сей причине, когда наступил декабрь и задули северные ветры, домашняя челядь, повинувшись мановениям хозяйкиной клюки, принялась расставлять прованские

⁵⁷ *Хозяин Дорог* — лоа Легба, один из главных богов водуистского пантеона. Известен как бог плодородия и хранитель дорог, перекрестков и дверей каждого дома. Легба выступает как посредник между человеком и другими божествами, и к его услугам верующие прибегают очень часто. Перед началом всякого ритуального обряда необходимо обратиться к лоа Легбе, чтобы он открыл дверь и другие лоа могли бы войти в храм. В Африке символом Легбы является фаллос, но на Гаити его представляют обычно веселым хромым старичком-бедняком.

⁵⁸ *Огун, Господин Железа* — бог войны у водуистов. То же, что Огун Бадагри и Огун Феррайль.

статуэтки святых вокруг грота из папье-маше, от которого все еще пахло непросохшим клеем, — этот грот хозяйка собиралась выставить к рождеству под навесом одного из парадных входов с колоннадой и осветить свечами. Столяр Туссен выточил из дерева царей-волхвов, но они оказались слишком большими по сравнению со всеми остальными фигурками, их было никак не приладить, и к тому же глаза у Валтасара получились жутковатые: белые глазные яблоки — Туссен специально их подкрасил — тарасились из тьмы черного дерева, страшные и выкаченные, словно белки удавленника. Ти Ноэль и прочие рабы мосье Ленормана де Мези наблюдали за тем, как продвигается сооружение рождественских яслей, памятуя, что близится время подарков и торжественных месс, время, когда хозяева будут сами ездить в гости и принимать гостей, так что рабам заживется вольготнее и нетрудно будет стянуть свиное ухо на кухне, приложиться к крану винной бочки либо прокрасться ночью в барак к негритянкам из Анголы, которых недавно купили и которых хозяин собирался отведать только после праздников, как подобает доброму христианину. Впрочем, Ти Ноэль знал, что в этом году не увидит, как зажгутся свечи, украшающие грот, и заблестит сусальное золото. Он собрался отлучиться в эту ночь, отправиться в дальнее поместье Дюфрене, рабы которого будут праздновать рождение первого сына в господском доме и получают по чарке испанской водки на брата.

Roulé, roulé, Congo, roulé!

Roulé, roulé, Congo, roulé!

A for ti fille ya dansé congo ya-ya-ró! 59

Более двух часов гремели барабаны при свете факелов, и женщины, поводя плечами, без конца имитировали движения прачки, полощущей белье, когда от неожиданности голоса поющих на мгновение дрогнули. За Главным Барабаном возник Макандаль в своем прежнем виде. Мандинга. Человек. Однорукий. Макандаль Возвратившийся. Макандаль Долгожданный. Никто его не приветствовал, но все взгляды встретились с его взглядом. И замелькали чарки с водкой, переходя из рук в руки на пути к единственной руке мандинги, ибо каждый понимал, что унгана томит великая жажда. Ти Ноэль видел его впервые после всех его превращений. Казалось, в облике однорукого осталось что-то от его таинственных странствований из тела в тело, от той поры, когда его облежала чешуя, щетина либо руно. В очертаниях заостренного подбородка было что-то кошачье, а уголки глаз немного приподнимались к вискам, как у птиц, в обличье которых он побывал. Женщины хороводом проплывали перед Макандалем, удаляясь и возвращаясь, и тела их изгибались в пляске. Но воздух наполнило такое множество немых вопросов, что внезапно, без всякого сговора, голоса слились в гимн «янвалу», жалобным воплем вознесшийся к небу под торжественную дробь барабанов. Четыре года ждали они, и гимн напоминал о бесчисленных муках:

Yenvalo moin, Papá!

Moin pas mange qʼm bambó!
Yanvafou, Papá, yanvalou moin!
Ou vlai moin lavé chaudier?
Yenvalo moin! 60

До каких пор мне скрести котлы? До каких пор мне жевать бамбук? Вопросы рвались словно из самого нутра, перебивали друг друга, и в хоре голосов слышался надрывный стон, испокон веков звучащий в напевах племен, угнанных на чужбину и обреченных воздвигать там мавзолеи, башни либо бесконечные стены. Отче, о мой отче, нет дороге конца! Отче, о мой отче, нет мукам конца! Всецело отдавшись жалобам, Ти Ноэль позабыл, что у белых тоже есть уши. А уши у белых были, и потому в это самое время во дворе перед господским домом мужчины семейства Дюфрене прилежно заряжали все мушкеты, мушкетоны и пистолеты, которые украшали прежде ковры на стенах гостиной. А для вящей надежности был припасен целый арсенал дубинок, ножей и рапир, переданный в распоряжение женщин, которые уже творили молитвы и обеты, прося бога о пленении мандинги.

VIII. Великий полет

В один из понедельников января незадолго до рассвета первые партии рабов из поместий Северной равнины вступили в Кап-Франсэ. Впереди верхами ехали хозяева и управляющие, по бокам шли стражники, вооружившиеся, как перед боем, и черная масса медленно заполняла Городскую площадь под торжественную дробь армейских барабанов. Несколько солдат складывали охапки поленьев у подножия столба из кебрачо, в то время как другие раздували угли, тлеющие на жаровне. На паперти Кафедрального собора под траурным пологом, натянутым на жерди и поперечные брусья, в высоких красных креслах восседали члены капитула, а также сам губернатор, королевские судьи и должностные лица. Балконы пестрели легкими зонтиками, зонтики колыхались, яркие и беспечные, словно цветы, выставленные на подоконник. Дамы в митенках и с веерами громко переговаривались, словно из разных лож обширного театра, и голоса их от волнения очаровательно вздрагивали. Обитатели домов, выходявших окнами на площадь, заранее велели приготовить для своих гостей прохладительные напитки — лимонад и оршад. Внизу толпа все прибывала; обливаясь потом, невольники ждали, когда начнется зрелище, задуманное специально для них, парадное представление для черных, которое белые люди обставили весьма пышно, не пожалев затрат. Ибо на сей раз учить уму-разуму собирались не розгами, а огнем, и нужно было, чтобы рабам навсегда запомнилась иллюминация, которая обошлась весьма недешево.

Внезапно все веера разом закрылись. Грохот барабанов сменился глубокой тишиной. Обнаженный до пояса, в полосатых штанах, стянутый и опутанный веревками, блестя незапекшейся кровью свежих ран, к столбу, высившемуся посреди

площади, шел Макандаль. Хозяева испытующе поглядели на рабов. Но лица последних являли возмутительное равнодушие. Что понимают белые в делах негров? Во время своих превращений Макандаль не раз проникал в таинственный мир насекомых, и тогда взамен утраченной руки у него отрастали членистые лапки, жесткие надкрылья и перепончатые крылья либо длинные усики. Он был мухой, сороконожкой, пяденицей, термитом, тарантулом, божьей коровкой и даже крупным зеленоватым светляком. В решающий момент мандинга станет невидим — путы, которыми прикрутят его к столбу, мгновение будут сжимать воздух, храня очертания исчезнувшего тела, а затем, скользнув вдоль столба, падут к его подножию. Сам же Макандаль, обратившись в тонкоголового комара, сядет прямо на треуголку самого начальника гарнизона, чтобы вдоволь натешиться смятием белых. Хозяева не знали, что так будет, потому и истратили кучу денег на бесполезное представление, которое докажет, что им не под силу тягаться с помазанником великих Лоа.

Макандаль был уже прикручен к пыточному столбу. Палач щипцами взял из жаровни раскаленный уголек. Повторяя движение отрепетированное накануне перед зеркалом, губернатор обнажил парадную шпагу и распорядился приступить к исполнению приговора. Огонь стал подбираться к телу однорукого, лизнул ему голень. И тогда культия, которую не удалось прикрутить к спине, дернулась в угрожающем движении, страшном при всей своей незавершенности, и Макандаль что было мочи рванулся вперед, выкрикивая непонятные заклинания. Путы упали, тело негра взметнулось в воздух и, пролетев над головами рабов, исчезло в черных людских волнах. Единый крик заполнил площадь:

— Mackandal sauvé! б1

И поднялись шум и суматоха. Стражники молотили прикладами по вопящей черной толпе, рабы, казалось, уже не вмещались в пространстве между домами, многие карабкались по стенам к балконам. И таковы были гомон, и грохот, и давка, что лишь немногие видели, как солдаты, числом не менее десятка, навалились на Макандаля, как его бросили в огонь, как пламя взметнулось высоко вверх, охватив волосы мандинги и заглушив его предсмертный вопль. Когда рабы опомнились, костер горел, как горит любой костер, если дрова попались хорошие, и добрый дым стоял над костром, и морской бриз относил этот дым к балконам, где дамы, потерявшие сознание, — а таковых было немало, — уже приходили в себя. Смотреть было больше не на что.

В тот день, возвращаясь в поместья, рабы смеялись на протяжении всего пути. Макандаль сдержал обещание, он остался в царстве земном. Могучие Силы Иного мира еще раз провели белых людей. И в тот час, когда мосье Ленорман де Мези в ночном колпаке беседовал со своею благочестивой супругой о том, сколь бесчувственны негры к мукам себе подобных, и на сем основании делал философические заключения о неравенстве рас человеческих, каковые заключения собирался изложить подробнее в речи, обильно уснащенной латинскими цитатами, — в тот самый час Ти Ноэль наградил близнецами одну из кухонных девчонок, троекратно познав ее на сене яслей в конюшне.

б1 Макандаль спасен! (креол.).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Дщерь Миноса и Пасифаи 62

Вскоре после кончины второй супруги мосье Ленормана де Мези Ти Ноэлю случилось отправиться в Кап за траурной сбруей, выписанной из Парижа. В те годы город похорошел на диво. Почти все дома были двухэтажные, балконы под широкими маркизами огибали углы зданий, двери были высокие, арочные, украшенные изящно сработанными засовами либо петлями в форме трилистника. Стало больше портных, шляпников, плюмажистов, цирюльников; открылась лавка, где продавались виолы и флейты, а также ноты контрдансов и сонат. Книготорговец выставил последний номер «*Gazette de Saint Domingue*»⁶³, отпечатанный на тонкой бумаге, с заставками и виньетками. И вдобавок ко всем прочим роскошествам на улице Водрей открылся театр, где давали драмы и оперы. Всеобщее процветание оказалось особенно благотворным для улицы Испанцев, ибо самые состоятельные приезжие останавливались в помещавшейся там гостинице «Корона», которую Анри Кристоф, непревзойденный кухмистер, недавно откупил у мадемуазель Монжон, бывшей своей хозяйки. Кушанья, состряпанные негром, стяжали похвалы изысканностью приправ — когда нужно было ублажить посетителя, прибывшего из Парижа, либо обилием ингредиентов в олье-подриде⁶⁴ — когда приходилось угождать вкусам зажиточного испанца, из тех, что приезжали с другой оконечности острова и рядились в костюмы столь старомодные, что они смахивали на одеяния буканьеров былых времен. Равным образом следовало признать, что, когда Анри Кристоф, водрузив себе на голову высокий белый колпак, трудился в дымной кухне, он не имел себе равных в искусстве запечь черепаху в тесте либо протушить в вине витютня. А когда он брался за скалку, из рук его выходили пирожные, благоухание которых разносилось далеко за пределами улицы Трех Ликов.

Вторично овдовев, мосье Ленорман де Мези не сохранил ни малейшего почтения к памяти покойной и зачастил в городской театр, где настоящие парижские актрисы пели арии Жан-Жака Руссо либо скандировали с отменным благородством александрийский стих трагедий, отирая пот в цезуре меж полустышьями. Анонимный памфлет в стихах, клеймивший непостоянство иных вдовцов, поведал в ту пору всем и вся, что один богатый землевладелец из Северной равнины имеет обыкновение услаждать свои ночи пышными фламандскими прелестями некоей мадемуазель Флоридор, без успеха подвизающейся на ролях наперсниц, значащейся неизменно в конце афиши, но великой искусницы по альковной части. По ее наущению в конце театрального сезона хозяин внезапно отбыл в Париж, оставя поместье на попечение одного родственника. В Париже, однако, с ним приключилась престранная вещь: весьма скоро он ощутил, что ему все более и более недостает солнца, простора, изобилия, власти, негритянок, которых можно прижать на берегу у ручья, и он понял,

⁶² Дочь крита царя Миноса и его жены Пасифаи была Федра, главная героиня одноименной трагедии Жана Расина, отрывки из которой декламирует мадемуазель Флоридор.

⁶³ «Сен-Доменгская газета» (франц.).

⁶⁴ Олья-подрида — испанское национальное блюдо.

что это «возвращение во Францию», во имя которого он старался столько лет, не составит более его счастья. И как ни клял он колонию, как ни поносил ее климат, как ни возмущался неотесанностью иных колонистов с темным прошлым, он вернулся к себе в имение вместе с актрисой, отвергнутой всеми театрами Парижа по причине скудости ее сценических дарований. Таким-то образом в воскресные дни на дорогах Равнины вновь появились два великолепных экипажа, которые направлялись в Кафедральный собор Капа, с лакеями в парадных ливреях на запятках. В коляске мадемуазель Флоридор — комедиантка требовала, чтобы ее именовали театральным псевдонимом, — на заднем сиденье теснилась и ерзала ее свита, десять мулаток в голубых юбках, щебетавших без умолку в чисто женском возбуждении от движения и от вольного воздуха.

Так миновали двадцать лет. Ти Ноэль прижил дюжину детей от одной из кухарок. Имение процветало, как никогда, дороги были обсажены ипекакуаной, виноградники уже давали первое вино. Однако с годами мосье Ленорман де Мези превратился в самодура и пьяницу. Находясь постоянно во власти маниакальной похоти, он все время подстерегал еще не вышедших из отрочества невольниц, цвет кожи и запах которых действовал на него возбуждающе. Все чаще и все с большим удовольствием подвергал он телесному наказанию мужчин, особенно тех, кто был уличен в прелюбодеяниях. Что до актрисы, увядшей и замученной малярией, она так и не утешилась после неудачи, постигшей ее на подмостках, и, вымещая злость на негритянках, которые купали ее и причесывали, отправляла их под розги по малейшему поводу. Иногда вечерами она напивалась допьяна. Тогда случалось, что она среди ночи приказывала поднять всех рабов и, рыгая мальвазией, декламировала, разыгрывая перед ними великие роли, которых ей не пришлось исполнить на сцене. Драпируясь в покровы наперсницы, робкой прислужницы, следующей за госпожой, она своим надтреснутым голосом пыталась одолеть славные монологи трагических героинь:

Mes crimes desormais ont combi#233; la mesure.
Je respire #224; la fois l#700;inceste et l#700;imposture.
Mes homicides mains, prompts #224; me venger,
Dans le sang innocent br#251;lent de se plonger ⁶⁵.

Негры дивились и ничего не понимали, но, уловив несколько слов, которые и в креольском наречии обозначают провинности, караемые всевозможными наказаниями, от обычной порки до отсечения головы, рабы в конце концов пришли к убеждению, что дама в белом, по-видимому, совершила когда-то немало злодеяний и, возможно, укрывается в колонии от преследований французской полиции, подобно многим девицам легкого поведения из Кап-Франсэ, за коими в метрополии числятся разные дурные дела. Слово «грех» на жаргоне рабов звучало почти так же, как по-французски;

все знали, как будет на языке белых «судья», что же касается ада, где обитают черти, краснорожие и с рогами, о нем негры были наслышаны от второй супруги мосье Ленормана де Мези, суровой блюстительницы нравов. Признания женщины в белом одеянии, просвечивающем при факелах, вряд ли могли учить добродетели:

Minos, juge aux enfers tous les pales humains!
Ah, combien fr#233;mira son ombre #233;pouvant#233;e,
Lorsqu#700;il verra sa fille #224; ses yeux present#233;e,
Contrainte d#700;avouer tant de forfaits divers
Et de crimes peut-#234;tre inconnus aux enfers! 66

Столь великие непотребства претили рабам из поместья Ленормана де Мези, и они, как прежде, чтили Макандаля. Ти Ноэль пересказывал своим детям предания, которые слышал от мандинги и учил их нехитрым песенкам, которые сложил в честь однорукого в те часы, когда чистил скребницей лошадей и расчесывал им навис. Притом же нелишне было поминать Макандаля почаще, потому что Макандаль, хоть он и оставил эти края ради дел великой важности, вернется, и как раз тогда, когда его менее всего будут ждать.

II. Великий договор

Раскаты грома, казалось, сыпались грохочущей лавиной со скал Морн-Руж, отдаваясь долгим эхом в глубине оврагов, когда посланцы рабов из всех поместий Северной равнины сошлись в чащобе Буа-Кеман, по пояс вымазавшись в жидкой грязи и дрожа в своих мокрых рубахах. Вдобавок ко всему, после вечернего отбоя еще сильнее припустил августовский ливень, то теплый, то холодный, в зависимости от направления ветра. Штаны Ти Ноэля прилипли к бедрам, голову он пытался прикрыть джутовым мешком, сложенным наподобие капюшона. Несмотря на темень, можно было поручиться, что среди собравшихся не затесалось ни одного лазутчика. Посланцев оповестили в самый последний миг и через надежных людей. Разговоры велись шепотом, и все же лес наполнился гулом голосов, сливавшимся с шумом ливня, который безостановочно барабанил по листьям деревьев, содрогавшихся от ветра.

Внезапно среди сборища теней раздался чей-то мощный голос. Голос, обладавший даром переходить внезапно от самых низких регистров к самым высоким, что придавало словам удивительную силу выражения. Речь звучала гневом, переходила в крик — говоривший, казалось, творил заклинания, выкликал магические слова. Голос этот принадлежал Букману, негру с острова Ямайки. Гром заглушал целые фразы, но все-таки Ти Ноэль разобрал, что во Франции будто бы что-то произошло и очень важные господа объявили, что надо дать свободу неграм, но богачи из Кап-Франсэ, все сплошь монархисты и сукины дети, не хотят. Дойдя до этого места, Букман смолк, словно выжидая, ибо над морем полыхнула молния; несколько мгновений слышно

было только, как шумит дождь в ветвях. Затем, когда гром отгремел, Букман поведал, что великие африканские Лоа и те из негров, кто сопричастен их тайнам, заключили меж собой договор, дабы война началась при благоприятных знамениях. И, покрывая слышавшиеся отовсюду возгласы ликования, прозвучали заключительные слова:

— Бог белых велит им совершать преступления. Наши боги требуют мести. Они направят наши руки и помогут нам. Разбейте образ бога белых, он жаждет наших слез; вслушайтесь в самих себя, и вы услышите зов свободы.

Посланцы забыли про дождь, хотя потоки воды стекали по лицам на грудь, ползли к животу и отсыревшая кожа поясов врезалась в тело. Неистовый вопль прорвался сквозь грохот бури. Рядом с Букманом худощавая негритянка, длинноногая и длиннорукая, вращала в воздухе ритуальным мачете:

Fai Og#250;n, Fai Og#250;n, Fai Og#250;n, oh!
Damballah m#700;ap tir#233; canon!
Fai Og#250;n, Fai Og#250;n, Fai Og#250;n, oh!
Damballah m#700;ap tir#233; canon! 67

Огун повелитель железа, Огун воин; Огун повелитель наковальни, Огун кузнец; Огун владыка копий, Огун Чанго, Огун Канканикан, Огун Батала, Огун Панама, Огун Бакуле — ко всем ипостасям божества взывала жрица культа Рада, а хор теней гремел:

Og#250;n Badagri,
Gen#233;ral sanglant,
Saizi z#700;orage
Ou scell orage
Ou fait Kataoun z#700;#233;clai! 68

Мачете внезапно вонзился в брюхо черного борова, боров трижды взвизгнул, и из зияющей раны вывалились потроха. Тогда посланцы, сменяя друг друга, по одному предстали перед Букманом — их вызывали по именам хозяев, поскольку фамилий у рабов не было, — и смочили губы кровью борова, пенившейся в большой деревянной миске. Затем они простерлись ниц на мокрой земле. Ти Ноэль, как и все остальные, принес Букману присягу на вечную верность. Негр с Ямайки обнял Жана-Франсуа, Биассу, Жанно, этим троим уже не нужно было возвращаться к хозяевам. Так был создан штаб мятежников. Через неделю будет подан сигнал. Вполне возможно, что удастся заручиться некоторой помощью со стороны испанских колонистов, живущих

67

Фэ Огун, Фэ Огун, Фэ Огун, о!
Прогремели пушки Дамбалла!
Фэ Огун, Фэ Огун, Фэ Огун, о!
Прогремели пушки Дамбалла! (креол.)

68

Огун Бадагри,
Воитель кровавый,
Громы обрушь,
Громом греми,
Кинь молнию, Катаун! (креол.)

на другой половине острова и люто ненавидящих французов. А так как нужно было составить воззвание, писать же никто не умел, вспомнили про гибкое гусиное перо аббата-вольтерьянца по фамилии де ла Э, приходского священника из Дондона, который, ознакомившись с Декларацией прав человека, стал проявлять самые убедительные признаки приязни к чернокожим.

Поскольку от дождя вода в реках поднялась, Ти Ноэлю пришлось пуститься вплавь через зеленый от водорослей ручей, чтобы поспеть в конюшню раньше, чем проснется управляющий. Когда зазвенел колокол утренней побудки, Ти Ноэль сидел в яслях и распевал песню, зарывшись по пояс в ворох свежесрезанного дрека, пропахшего солнцем.

III. Зов раковин

Со времени своей последней поездки в Кап мосье Ленорман де Мези пребывал в прескверном расположении духа. Губернатор Бланшланд ⁶⁹, разделявший его монархические убеждения, был крайне раздосадован праздными бреднями безмозглых утопистов, которые сокрушались в Париже об уделе чернокожих рабов. Разумеется, легко и приятно мечтать о равенстве людей всех рас во время прогулки по галереям Пале-Рояля либо за столиком кафе «Режанс» меж двумя партиями в фараон. Если судить по эстампам с видами портовых городов Вест-Индии, украшенным розой ветров и пухлощековыми тритонами; по гравюрам Авраама Бруниаса, изображающим томных мулаток, нагих негрятенок, занятых стиркою, либо послеобеденный отдых в банановой роще; если начитаться стихов Парни ⁷⁰ и откровений савойского викария ⁷¹, — куда как просто вообразить себе Сан-Доминго в виде райского вертограда Поля и Виргинии ⁷², где дыни потому только не растут на деревьях, что могли бы зашибить прохожих насмерть, сорвавшись с такой высоты. Еще в мае Учредительное собрание ⁷³, состоящее из всякого сброда, — либеральная сволочь, почитатели энциклопедистов, — приняло решение предоставить политические права неграм, родившимся от вольноотпущенников. А теперь вот, когда владельцы поместий в колониях явили их взорам призрак гражданской войны, сии любомудры в духе Станислава Вимпффена отвечают: «Да сгинут колонии, но да пребудет принцип!»

Было около десяти вечера, когда удрученный такого рода размышлениями мосье Ленорман де Мези направился к сушильне Для табака с намерением опрокинуть какую-нибудь чернокожую Девчонку, ибо в эту пору родители посылали их туда разжиться табачными листьями, которые негры жуют. Откуда-то издали послышался

⁶⁹ Бланшланд, Филипп-Франсуа (1735–1793) — губернатор французской колонии Сан-Доминго.

⁷⁰ Парни — дю Парни, Эварист Дезире (1753–1814) — французский поэт, автор сборника «Эротические стихотворения» (1778).

⁷¹ Имеется в виду «Исповедание веры савойского викария» — философский трактат Ж.-Ж. Руссо, включенный в состав его романа «Эмиль» (часть IV); трактат представляет собой апологию «естественного» состояния.

⁷² «Поль и Виргиния» — sentimentalный роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), герои которого живут на тропическом острове.

⁷³ Учредительное собрание — высший представительный и законодательный орган Франции с 1789 по 1791 г.

трубный звук большой раковины. Удивительно было то, что на ее протяжный рев откликнулись другие раковины в лесах и на горах. Им глухо вторил рокот, доносившийся со стороны моря, с плантации близ Мийо. Можно было подумать, что все мурексы, сколько их есть на побережье, все конусообразные «флоридские тритоны», служившие некогда индейцам чем-то вроде рога, все гигантские стромбы⁷⁴, подпирающие двери хижин, чтобы они не распахивались сами собою, все раковины, что покоятся, пустые и обызвествленные, на косе Моль, запели единым хором. Внезапно из самого большого барака в поместье загудела еще одна раковина-рог. Ей ответили более высокие голоса с плантации индиго, из табачной сушильни, куда направлялся мосье Ленорман де Мези, из конюшен. Встревоженный, мосье Ленорман де Мези притаился за зарослями бугенвиллей.

Все двери барачков разом рухнули под напором изнутри. Вооружившись дрекольем, рабы окружили дома надсмотрщиков, расхватили металлический инструмент. Эконом, выбежавший на шум с пистолетом в руке, рухнул первым, мастерок каменщика раскроил ему горло снизу доверху. Омочив руки в крови белого, негры ринулись к господскому дому, выкрикивая угрозы и суля гибель хозяевам, губернатору, господу богу и всем французам на свете. Но большинство, истомившись слишком долгой жаждой, устремилось в погреб промочить горло. Из кадушек с соленьями ломом вышибли днища. Молодое вино, пенясь, хлынуло из расклепанных бочонков, обдало красными брызгами юбки женщин. Гомоня и толкаясь, рабы рвали друг у друга из рук оплетенные бутылки с водкой, фляги с ромом; опорожнив, разбивали об стену. Слышался хохот, шум перебранок, ноги оскальзывались на куске душистого майоранового мыла, на маринованных помидорах, каперсах, селедочной икре, позолоченной прогорклым оливковым маслом, которое лилось на плиты пола из прорвавшегося бурдючка. Какой-то негр, раздевшись догола, смея ради влез в огромную кадущку со смальцем. Две старухи переругивались на языке конго, предметом спора был глиняный горшок. С потолочных балок срывали окорока и связки копченой трески. Не вмешиваясь в давку, Ти Ноэль нашел бочонок с испанским вином, приложился губами к крану и долго тянул; кадык ходил ходуном. Затем вместе со старшими сыновьями он направился в господский дом и поднялся на второй этаж, ибо давно уже не прочь был изнасиловать мадемуазель Флоридор, разглядев во время ночных спектаклей под туникой с узором меандра груди, на которые время так и не смогло наложить свой неизгладимый отпечаток.

IV. Догон в ковчеге 75

Просидев два дня на дне высохшего колодца, неглубокого, но оттого не ставшего уютнее, мосье Ленорман де Мези, бледный от голода и страха, опасливо высунулся из-за закраины колодезного сруба. В усадьбе стояла тишина. Орда устремилась к Капу, оставляя на своем пути костры, к каждому из которых можно было подобрать название, если приглядеться к обгорелым стенам, служившим основанием дымному

⁷⁴ Мурексы, «флоридские тритоны», стромбы — разновидности морских раковин.

⁷⁵ Догон — божество филистимлян, древнего народа, владевшего Палестиной до возвышения государства Израиль в X в. до н. э. Ковчег — обиталище бога Яхве у древних израильтян. Название этой главы повести намекает на историческую ситуацию, сходную с той, что существовала на Гаити: культ бога победителей навязан побежденным, но в рамках этого культа они воздают почести старым божествам.

столпу; высоко в небе эти столпы сливались друг с другом, образуя арочные своды. Облачко пыли исчезло за перекрестком Святых отцов. Обойдя вздувшийся труп эконома, хозяин направился к дому. От пожарища, оставшегося на том месте, где прежде были псарни, тянуло чудовищным смрадом: негры свели давние счета, намазав двери варом, чтобы ни одна тварь не смогла уйти. Мосье Ленорман де Мези вошел к себе в спальню. Мадемуазель Флоридор покоилась на ковре, ноги ее были широко раскинуты, из живота торчал серп. Мертвые пальцы еще сжимали ножку кровати, и этот жест злой издевкой перекликался с жестом спящей прелестницы, изображенной весьма вольно на гравюре, которая называлась «Сон» и украшала альков. Мосье Ленорман де Мези, разразившись рыданиями, рухнул наземь подле тела бывшей актрисы. Затем он схватил четки и стал читать все молитвы, какие знал, не пропустив и той, которой выучился в детстве и которая помогает от цыпок. Так прошло несколько дней, он жил в непрерывном страхе, не смея носа высунуть из дома, а дом был незащищен, был обречен на полное и окончательное разорение; но однажды в окно, выходящее на задний двор, он увидел верхового курьера, курьер осадил коня так резко, что тот ткнулся храпом в стекло и из-под копыт полетели искры. Вести, которые курьер прокричал в окно, вывели из оцепенения мосье Ленормана де Мези. Орда раздавлена. Голова негра Букмана, позеленевшая голова с отвисшей челюстью, уже кишит червями, красуясь на том самом месте, где некогда обратилась в зловонный пепел плоть однорукого Макандаля. Приняты все меры, дабы полностью истребить бунтующих негров, от коих уцелели отдельные шайки, грабящие одинокие усадьбы. Курьер спешил, и мосье Ленорман де Мези, не располагая временем на то, чтобы предать земле останки супруги, взгромоздился на круп его лошади, которая потрусилась по дороге в Кап. Вдали слышались ружейные залпы. Курьер дал шпоры коню.

Хозяин поспел как раз вовремя, чтобы спасти от мачете Ти Ноэля и еще дюжину рабов, меченных его клеймом; связанные попарно, спина к спине, они вместе с прочими неграми ждали во дворе казармы казни, которую решено было произвести холодным оружием, ибо благоразумие требовало беречь порох. Только эти тринадцать рабов у него и остались, а на невольничьем рынке в Гаване за всю компанию можно было выручить по меньшей мере шесть с половиной тысяч испанских песо. Мосье Ленорман Де Мези требовал самых мучительных телесных наказаний, но просил отложить казнь, пока он не переговорит с губернатором. Дрожа от бессонницы, от нервного возбуждения, от неумеренного потребления кофе, мосье Бланшланд расхаживал взад и вперед по своему кабинету, украшенному портретом Людовика XVI и Марии-Антуанетты ⁷⁶ с дофином. Трудно было извлечь точный смысл из его беспорядочного монолога, в котором он то ополчался на философов, то приводил на память выдержки из собственных пророческих писем, отосланных когда-то в Париж, но так и оставшихся без ответа. Мир становится добычей анархии. Колонии грозит гибель. Негры изнасиловали почти всех девиц из лучших семейств Равнины. Они изорвали немало кружевных сорочек, перемяли немало простыней тончайшего полотна, немало перерезали надсмотрщиков, теперь их не уймешь. Мосье Бланшланд был за полное и всеобщее истребление рабов, равно как и свободных негров и мулатов. Всяк, у кого в жилах течет африканская кровь, будь то кварталон, терцерон,

⁷⁶ Имеются в виду французский король Людовик XVI (1754–1793) и его жена королева Мария-Антуанетта (1755–1793). Казнены во время Великой Французской революции.

мамелюк, гриф либо марабу ⁷⁷, подлежит уничтожению. И не следует обольщаться бурной радостью, изъявляемой рабами при виде рождественских огоньков в святую неделю. Сказал же отец Лаба ⁷⁸ после первой своей поездки по Антильским островам: негры ведут себя подобно филистимлянам и чтут Догона в ковчеге. И тут губернатор произнес слово, которое мосье Ленорман де Мези до той поры всегда пропускал мимо ушей: «Воду». Теперь колонисту припомнилось, что несколько лет назад некто Моро де Сен-Мери ⁷⁹, красноречивый адвокат из Капа и большой ерник, собрал кое-какие сведения о ритуальных действиях горных колдунов, отметив при этом, что среди негров встречаются змеепоклонники. Когда это обстоятельство пришло ему на память, мосье Ленорман де Мези почувствовал беспокойство, ибо понял, что какой-нибудь барабан в иных случаях — не просто козья шкура, натянутая на выдолбленный чурбак, а нечто большее. Стало быть, у рабов есть какая-то тайная религия, связующая их воедино и толкающая на мятежи. Как знать, может статься, все эти годы они у него под носом соблюдали обряды этой религии и в переключке воскресных барабанов был тайный смысл, а он ничего не подозревал. Но разве могут занимать человека просвещенного нелепые верования дикарей, поклоняющихся змее?...

Совсем пав духом от пессимистических речей губернатора, мосье Ленорман де Мези до сумерек бродил без цели по улицам города. Он долго разглядывал голову Букмана и осыпал ее ругательствами, пока ему не надоело твердить одни и те же непристойности. Сколько-то времени он провел в доме толстухи Луизон, где в патио среди горшков с малангой сидели девицы в белых муслиновых юбках, обмахивая веерами голые груди. Но всюду чувствовалась какая-то тревога. По этой причине мосье Ленорман де Мези направился на улицу Испанцев с намерением выпить в заведении Анри Кристофа под вывеской «Корона». При виде запертой двери он вспомнил, что Анри Кристоф незадолго до того сменил поварскую куртку на мундир артиллериста колониальных войск. После того как с дома сняли корону из позолоченной латуни, столько лет служившую кухмистеру вывеской, в Капе не осталось места, где порядочный человек мог бы как следует поесть. Перехватив в какой-то таверне стаканчик рому и малость прибодрившись, мосье Ленорман де Мези вступил в переговоры с владельцем шхуны, которая перевозила уголь и уже несколько месяцев стояла в Капе на приколе, но должна была сняться с якоря и отплыть в Сантьяго-де-Куба, как только ее проконопатят, теперь уже скоро.

V. Сантьяго-де-Куба

Шхуна обогнула мыс Кап. Где-то вдали остался город, живший под непрерывной угрозой, ибо мятежные негры уже знали, что испанцы готовы снабдить их оружием, а среди якобинцев есть друзья человечества, которые рьяно встали на их защиту. Покуда

⁷⁷ *Квартерон, терцерон, мамелюк, гриф, марабу* — потомки от смешанных браков. Квартерон — от брака белых с терцеронами; терцерон — от брака белых и мулатов; мамелюк — от брака индейцев и мулатов; гриф — от брака индейцев и негров; марабу — от брака метисов и мулатов.

⁷⁸ Имеется в виду Жан-Батист Лаба (1663–1738), французский миссионер, который несколько лет провел на Антильских островах и оставил описание своего путешествия.

⁷⁹ *Моро де Сен-Мери, Медерик* (1750–1819) — французский колониальный чиновник, автор первого обширного описания колонии Сан-Доминго.

Ти Ноэль и его спутники, запертые в кубрике, обливались потом на мешках с углем, пассажиры высшего ранга, собравшись на корме, наслаждались мягким бризом, веявшим над Наветренным проливом ⁸⁰. Здесь была певица из новой труппы Капа, в ночь мятежа ее гостиница сгорела, и от всего гардероба у нее остался только костюм покинутой Дидоны ⁸¹; был музыкант, эльзасец родом, ему удалось спасти свои расстроенные клавикорды, пострадавшие от здешнего воздуха, насыщенного морской солью; время от времени он прерывал пассаж из сонаты Жана-Фредерика Эдельмана ⁸², чтобы полюбоваться летучей рыбой, взметнувшейся над отмелью, усеянной желтыми съедобными ракушками. Список пассажиров довершали маркиз-монархист, два республиканских офицера, владелица кружевной мастерской и священник-итальянец, прихвативший с собой церковную дарохранительницу.

По прибытии в Сантьяго-де-Куба мосье Ленорман де Мези в тот же вечер направился в «Тиволи», увеселительное заведение самого высшего разбора, недавно открывшееся стараниями первых французов-эмигрантов: мосье Ленорман де Мези не выносил кубинских таверн с их мухоловками и неизменными мулами на привязи возле входа. После всех треволнений, страхов, пертурбации он воспрянул духом, почувствовав, что очутился в родной стихии. Лучшие столики были заняты его старыми друзьями, все они тоже владели поместьями и тоже предпочли бегство лезвию мачете, которое рабы вострили с помощью сахарной патоки. Но вот что было поистине странно: эти люди лишились состояния, Разорились, не ведали, что случилось с половиною их близких, их Дочери, изнасилованные неграми, до сих пор не вполне оправились, — еще бы! — а эмигранты не только не предавались скорби, но словно бы помолодели. В то время как наиболее дальновидные из колонистов, те, кто успел вывезти капиталы из Сан-Доминго, перебирались в Новый Орлеан либо обзаводились кофейными плантациями на Кубе, все прочие, те, кому ничего не удалось спасти, просто радовались жизни, живя беспорядочно, сегодняшним днем, не зная обязательств и ища повсюду только удовольствия. Вдовец познавал прелести холостой жизни; почтенная матрона с восторгом первооткрывательницы упивалась супружеской неверностью; военные ликовали, ибо не нужно было больше вскакивать с постели, едва забьют зорю; барышни из протестантских семейств извелись соблазнами подмошток, где они появлялись нарумяненные и с мушками на ланитах. Иерархия общественных положений, принятая в колонии, разом рухнула. Теперь превыше всего ценилось умение играть на трубе, вторить на гобое звукам менуэта, пусть даже бить в треугольник, лишь бы гремел оркестр в «Тиволи». Бывшие нотариусы переписывали ноты; сборщики налогов трудились над декорациями, малевали двадцать колонн храма Соломонова на полотне в двенадцать пядей шириной. В часы сиесты, когда весь Сантьяго спал крепким сном за своими деревянными решетками и коваными дверьми, среди неуклюжих статуй, пылившихся со времени последней процессии в праздник тела господня, в «Тиволи» шли репетиции, и никому не было в диковину, что мать семейства, еще недавно славившаяся благочестием, поет с томностью в движениях и в

⁸⁰ *Наветренный пролив* — пролив между островами Куба и Гаити.

⁸¹ Имеется в виду героиня оперного либретто «Покинутая Дидона», написанного итальянским драматургом П. Метастазиио (1698–1782) на сюжет некоторых эпизодов поэмы Вергилия «Энеида». По Вергилию, Дидона — царица Карфагена, приютившая Энея после гибели Трои и лишившая себя жизни, когда Эней ее покинул.

⁸² *Эдельман, Жан-Фредерик* (1749–1794) — французский композитор.

голосе:

Sous ses lois l'amour veut qu'on jouisse
D'un bonheur qui jamais ne finisse!.. 83

На ближайшее время был назначен праздник в пасторальном вкусе, который в Париже сочли бы весьма старомодным; дабы подготовить костюмы, перевернули содержимое всех сундуков, не доставшихся грабителям-неграм. Артистические уборные, сооруженные из листьев королевской пальмы, служили приютом сладостных встреч, благо муж, баритон, до крайности увлеченный ролью, не мог покинуть сцены, где он исполнял бравурную арию из «Дезертира» Монсиньи ⁸⁴. Впервые в Сантьяго-де-Куба зазвучала музыка контрдансов и бретонских пассапье. Последние парики века, которые донашивали дочери колонистов, кружились в такт быстрым менуэтам, уже предвещавшим вальс. В городе повеяло новым ветром, духом вольных нравов, фантазии, беспутства. Молодые креолы ⁸⁵ стали подражать эмигрантам в манере одеваться, предоставляя вечно отстающие от моды испанские наряды членам городского совета. Иные кубинские дамы потихоньку от своих исповедников учились французской утонченности, совершенствовались в искусстве показывать ножку, щеголяя изящной туфелькой. Вечером по окончании спектакля мосье Ленорман де Мези, пропустивший немало стаканчиков, вставал из-за стола вместе с остальными и пел гимн святого Людовика и «Марсельезу» ⁸⁶, как требовал обычай, заведенный самими эмигрантами.

Предаваясь праздности, не в состоянии заставить себя думать о делах, мосье Ленорман де Мези делил теперь время меж картами и молитвами. Одного за другим он спускал по дешевке своих рабов, чтобы проиграть деньги в каком-нибудь притоне, заплатить по счетам в «Тиволи» или угоститься черной шляшкой из тех, что промышляли в порту, натыкав туберозы в мелкие завитки волос. Но в то же время, глядя на свое отражение в зеркале, старившееся с неудержимой быстротой, он понимал, что скоро бог призовет его к себе, и ему становилось страшно. Прежде он был масон, но теперь вспоминал с опаскою символические наугольники. По этим причинам Ти Ноэль сопровождал теперь хозяина в собор Сантьяго, где тот обычно проводил долгие часы, перемежая пламенные обращения к господу стонами и вздохами. Негр в это время спал, устроившись под портретом какого-то епископа, либо шел поглядеть, как репетируют очередной вильянсико ⁸⁷; репетициями

83

Любовь своею благодною властью
Зовет нас вечному предаться счастью!. (франц.)

⁸⁴ Монсиньи, Пьер-Александр (1729–1817) — французский композитор, один из создателей жанра комической оперы.

⁸⁵ Креолы — здесь: уроженцы Кубы.

⁸⁶ Гимн святого Людовика — гимн французских роялистов. «Марсельеза» во времена Французской революции 1789–1794 гг. была песней революционной Рейнской армии, позже — национальный гимн Франции.

⁸⁷ Вильянсико — народная испанская песня на религиозную тему. Вильянсико поются обычно во время рождественских праздников.

заправлял старичок, которого называли дон Эстебан Салас ⁸⁸, шумный, сухонький, темнолицый. Было совершенно невозможно понять, чего добивается этот капельмейстер, к которому, как ни странно, все относятся с наружным почтением; чего ради он вводит своих хористов в общий хор поочередно, ведь из-за этого одни поют то, что другие уже спели, а те поют новое, и получается такая разноголосица, что хоть вон беги. Но, видно, все это было по вкусу причетнику, особе коего Ти Ноэль приписывал весьма высокие церковные полномочия, поскольку тот был при оружии и носил штаны, как все мужчины. Однако же, как ни докучала негру эта нестройная музыка, в которую дон Эстебан Салас вплетал партии валторн, фаготов и дисканты служек, Ти Ноэль находил в испанских церквах что-то очень ему близкое и схожее с «водоу», чего никогда не ощущал в храмах Капа, верных заветам святого Сульпиция. Позолота на барочных украшениях, парики из человеческих волос на статуях Христа, таинственность исповедален, сплошь покрытых лепниной, пес — эмблема доминиканцев, псов господних ⁸⁹, дракон, попираемый святыми стопами, хряк святого Антония ⁹⁰, смуглый лик святого Бенедикта, черные статуи богоматери и статуи святого Георгия в котурнах и коротких туниках, в каких французские актеры играли героев классицистической трагедии, пастушьи рожки и свирели, звучавшие во время рождественских ночных богослужений — все это обладало притягательной силой, захватывало воображение, ибо символы, знаки, атрибуты и персонажи были схожи с теми, которых Ти Ноэль помнил по ритуалам у алтарей хунфоров ⁹¹, алтарей, воздвигнутых в честь Дамбалла, бога-змея. И к тому же Сантьяго, святой Иаков, — он и есть Огун Фэ, кузнец, кующий молнии, под знаком которого восстали приверженцы Букмана. Поэтому Ти Ноэль часто на свой лад молился святому Иакову, повторяя слова древнего гимна, который он слышал от Макандаля:

Сантьяго, я сын войны,
Сантьяго,
Поверь мне, я сын войны!

VI. Корабль с собаками

Однажды утром порт Сантьяго-де-Куба огласился лаем. Сотни псов, сосворенных по дюжине, беснуясь, рвались на цепи, скалили пасти, стянутые намордниками, норовя куснуть своих псарей и соседей по своре либо кинуться на людей, глазевших из-за оконных решеток; челюсти смыкались, хватая воздух, и вновь размыкались в тщетном оскале, а псари тащили собак к сходням стоявшего в порту парусника, хлыстом

⁸⁸ *Салас, Эстебан* (? — 1803) — известный кубинский композитор. С 1764 г. был капельмейстером кафедрального собора в Сантьяго; автор вокального цикла «Вильянсико».

⁸⁹ В названии ордена игра слов: доминиканцы — «псы господ» («*Domini canes*», лат.). Герб ордена святого Доминика изображает собаку, которая несет во рту горящий факел. Эмблема ордена выражает его назначение: охранять церковь от ереси и просвещать верующих.

⁹⁰ Согласно христианской легенде, отшельник Антоний всюду водил с собой борова в знак своего смирения.

⁹¹ *Хунфор* — святилище воду.

загоняли в трюмы. И все новые своры появлялись, все новые, их приводили надсмотрщики с плантаций, гуахино — белые кубинские крестьяне, егеря в высоких сапогах. Ти Ноэль, по поручению хозяина отправившийся в порт купить султанку, с рыбиной в руке подошел поближе к странному судну, поглядел на огромных псов, которые все шли и шли сворами, по дюжине в каждой, на французского офицера, который считал собак, быстро перекидывая костяшки на счетах.

— Куда их везут? — крикнул Ти Ноэль матросу-мулату, который разворачивал сеть, собираясь затянуть ею отверстие люка.

— Негров жрать! — ответил с хохотом мулат, перекрывая сильным голосом собачий лай.

Ответ мулата, говорившего на креольском наречии⁹², был откровением для Ти Ноэля. Со всех ног помчался он к собору, близ паперти которого собирались негры французских колонистов, поджидая, пока хозяева вернутся от мессы. Три дня назад в Сантьяго как раз прибыло семейство Дюфрене, утратив всякую надежду сохранить за собою плантации и покинув поместье, прославившееся тем, что там был схвачен Макандаль. Негры Дюфрене привезли из Капа великие вести.

С самого начала путешествия Полина чувствовала себя почти королевой на борту этого фрегата, который должен был доставить войска в колонии и шел теперь к Антильским островам, скользя по широким отлогостям волн и ритмично поскрипывая такелажем. Роли державных героинь были не чужды Полине, ибо актер Лафон, ее любовник, не раз декламировал ей, подвывая, самые царственные строки из «Баязета» и «Митридата»⁹³. Память у Полины была короткая, ей смутно припоминалась строка «под веслами у нас вспененный Геллеспонт» или что-то в этом роде, строка эта вполне могла быть отнесена к белопенной кильватерной струе, которую оставлял за собою «Океан», шедший под всеми парусами и с развернутыми вымпелами. Впрочем, теперь с каждой переменной ветра из памяти Полины вылетало несколько александрийских двустиший. Ей следовало поразмыслить о более существенных предметах во время этого путешествия, начало которого — и отправка целого войска — несколько задержалось из-за невинной прихоти Полины, решившей путь из Парижа в Брест проделать в портшезе. В запечатанных сургучом плетеных корзинках хранились фуляры, привезенные с острова святого Маврикия, корсажи в пасторальном стиле, полосатые муслиновые юбки, которые Полина собиралась обновить в первый жаркий день, ибо располагала подробнейшими сведениями о модах в колонии, полученными от герцогини д'Абрантес. За всем тем путешествие было не лишено приятности. Когда фрегат миновал негостеприимные воды Бискайского залива, на первую мессу, которую капеллан служил на баке, собрались все офицеры в парадных мундирах во главе с генералом Леклерком⁹⁴, супругом Полины. Среди офицеров были красавцы хоть куда, и Полине, которая при всей своей молодости знала толк в мужчинах, сладостно льстило растущее вожделение, скрывавшееся за знаками почтительного

⁹² *Креольское наречие* — язык, на котором говорят негры на Гаити, во французских колониях Америки; представляет собой смесь испорченного французского языка и заимствований из других языков.

⁹³ «Баязет» и «Митридат» — трагедии Ж. Расина.

⁹⁴ *Леклерк, Шарль-Виктор* (1772–1802) — французский генерал, который в 1801 г. возглавил французскую карательную экспедицию в Сан-Доминго. Умер во время эпидемии желтой лихорадки.

восхищения и изъявлениями учтивости. Она знала, что ночами — все более и более звездными, по мере того как корабль удалялся от берегов Европы, — когда высоко на мачтах качаются фонари, сотни мужчин мечтают о ней в каютах, на баке, в кубриках. Потому-то она и любила в утренние часы стоять в притворной задумчивости на носу фрегата возле фок-мачты, не обращая внимания на ветер, который трепал ей волосы и плотно обтягивал тело тканью платья, обрисовывая гордые линии груди.

Несколько дней спустя после того, как остались позади Азорские острова с видневшимися вдали белыми церквушками португальских деревень, Полина обнаружила, что вид моря изменился. Теперь на поверхности воды появлялись странные водоросли, они были похожи на желтые виноградины и гроздьями дрейфовали в восточном направлении; проплывали какие-то игловидные твари, словно отлитые из зеленого стекла; за голубыми пузырями медуз волочились длинные пунцовые нити; отталкивающего вида рыбы разевали зубастые пасти; вокруг кальмаров колыхались расплывающиеся смутные покровы, окутывая их подвенечной фатой. Началась жара, вынуждавшая офицеров расстегивать мундиры, впрочем, с дозволения Леклерка, допустившего эту вольность ради того, чтобы иметь возможность самому ходить в мундире нараспашку. Как-то ночью, когда было особенно душно, Полина в ночной сорочке вышла из каюты и прилегла на шканцах, где обычно проводила долгие часы сестры. Странные зеленоватые огоньки светились над морем. Звезды, которые с каждым переходом становились все крупнее, казалось, излучали легкую свежесть. На заре марсовой обнаружил с приятным волнением, что под бизань-мачтой на свернутом парусе лежит нагая женщина. Полагая, что перед ним одна из горничных генеральши, он уже собирался было соскользнуть к ней по канату. Но женщина шевельнулась во сне, видимо, перед самым пробуждением, и ее движение открыло марсовому, что он созерцает наготу Полины Бонапарт. Она протерла глаза, смеясь, как ребенок, и, не сомневаясь, что никто ее не видит за парусами, которые отгораживали от нее остальное пространство палубы, вылила несколько ведер пресной воды себе на плечи, покрывшиеся пупырышками от утреннего ветра. С той ночи Полина неизменно спала на шканцах, и об ее великодушной неосмотрительности стало известно столь многим на судне, что даже не склонный к чувствительности мосье д'Эсменар, коему поручено было учредить карательную полицию на Сан-Доминго, грезил наяву перед классическим совершенством нагой натуры, сравнивая ее мысленно с Галатеей античного мифа ⁹⁵.

Панорама Капа и Северной равнины с горами вдали, которые смутно проступали из марева, поднимавшегося над плантациями сахарного тростника, очаровала Полину, недаром она прочла историю любви Поля и Виргинии и запомнила мелодию премилого креольского контрданса с необычным ритмом; контрданс назывался «Островитянка», ноты были изданы в Париже, на улице Сальмон. В своих муслиновых юбках она ощущала себя то ли райской птицей, то ли птицей-лирой среди невиданных растений, дивясь то затейливости узора здешних папоротников, то сочности бурой мякоти кизила, то величине листьев, которые могли служить опахалом. Вечерами Леклерк, хмуря брови, говорил ей о мятежах рабов, о том, сколь трудно прийти к согласию с монархически настроенными колонистами, о грозящих бедах. На случай серьезной опасности он распорядился купить дом на острове Ла-Тортю. Но Полина не придавала его словам особого значения. Она, как прежде, умилялась, читая слезливый

⁹⁵ Галатеея в греческой мифологии — нимфа, дочь Нерея.

роман Жозефа Лавале ⁹⁶ «Негр, который сердцем был чище многих белых», и безмятежно упивалась роскошью и изобилием, которых не знала в детстве, когда пробавлялась по преимуществу вялеными смоквами, козьим сыром да прогорклыми оливками. Она жила неподалеку от Кафедрального собора в просторном белокаменном доме с тенистым садом. По ее распоряжению под сенью тамариндов для нее был устроен бассейн, облицованный голубыми изразцами, и она там купалась нагая. Вначале ее массировали горничные француженки, но потом ей пришлось на ум, что мужская ладонь шире и сильнее, и она заручилась услугами негра Солимана, прежде состоявшего при ванном заведении; Солиман не только ее массировал, но еще холил ей кожу миндальными притираниями, удалял волосы на теле, полировал ногти на ногах. Когда негр купал ее, Полина время от времени словно ненароком прикасалась под водой к мощному торсу прислужника, испытывая при этом злорадное удовольствие, ибо она знала, что негра беспрестанно мучит вожделение; Солиман смотрел на нее всегда искоса, и в глазах у него была деланная кротость пса, которого ожгли сильным ударом плети. Иногда Полина небожно хлестала негра прутиком и смеялась при виде его притворно страдальческих гримас. В сущности, она была ему признательна, ведь он так влюбленно и ревностно радел обо всем, что было на пользу ее красоте. Поэтому, когда негру случалось особенно ей угодить либо с особым проворством выполнить поручение, она в награду иной раз позволяла ему облобызывать себе ноги, что Солиман совершал коленопреклоненно и в позе, каковую Бернарден де Сен-Пьер истолковал бы как знак благодарной признательности простодушного дикаря в ответ на бескорыстные труды просвещения ⁹⁷.

Так она проводила время в безмятежных снах и блаженных досугах, чувствуя себя отчасти Виргинией, отчасти Аталой ⁹⁸, что не мешало ей, когда Леклерк бывал в отъезде, наслаждаться юношеским пылом какого-нибудь пригожего офицера. Но однажды после полудня француз-цирюльник, который причесывал ее с помощью четырех чернокожих подмастерьев, рухнул наземь у ее ног, и изо рта у него хлынула стутками зловонная кровь. Страшный москит с серебристыми прожилками на спине испортил праздник ⁹⁹, ворвавшись своим неотвязным жужжанием в тропический Эдем Полины Бонапарт.

VII. Святой бедлам

Утром следующего дня Полина в сопровождении негра Солимана и горничных, нагруженных пожитками, спешно перебралась на остров Ла-Тортю по настоянию Леклерка, который только что вернулся из поездки по городам и селениям, опустошенным моровым поветрием. В первые дни она развлекалась, купаясь в бухте с

⁹⁶ Лавале, Жозеф (1747–1816) — французский писатель.

⁹⁷ Бернарден де Сен-Пьер был последователем Ж.-Ж. Руссо и считал, что негры, как и другие «первобытные» народы, обладают «естественной добродетелью», бескорыстием и простодушием.

⁹⁸ Виргиния — героиня романа Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния»; Атала — индейка, героиня повести Франсуа-Рене Шатобриана (1768–1848) «Атала».

⁹⁹ Имеется в виду так называемая стегомия — переносчик вируса желтой лихорадки.

песчаным дном и листая записки лекаря Александра Оливье Оксмелена ¹⁰⁰, великого знатока нравов и злодеяний американских корсаров и буканьеров, от бурной жизни которых на острове остались развалины неказистой крепости. Она смеялась, когда зеркало в спальне сообщало ей, что ее бронзовая от солнца кожа стала точь-в-точь как у красавицы мулатки. Но безмятежная жизнь продлилась недолго. Как-то раз Леклерк вернулся на остров, дрожа в изнуряющем ознобе, не предвещавшем ничего доброго. Глаза его были желты. Состоявший при нем армейский лекарь прописал ему ревеня в огромных дозах.

Полина была в ужасе. На память ей приходили полустершиеся впечатления той поры, когда в Аяччо властвовала холера. Мужчины в черных капюшонах выносили на плечах из домов гробы; женщины под черными покрывалами выли в тени смоковниц по умершим мужьям; девушки в черных платьях пытались броситься в могилу отца или матери, их приходилось волоком тащить с кладбища. Иногда Полину охватывало мучительное ощущение, которое она часто знавала в детстве, ощущение, что она сидит взаперти и выхода нет. В эти мгновения ей казалось, что остров Ла-Тортю ничем не отличается от ее родного острова: та же иссохшая почва, те же красно-бурые скалы, те же пустоши, где нет ничего, кроме кактусов да цикад, и море, которое видно отовсюду. Укрыться было негде. За дверью предсмертным хрипом хрипел человек, которого угораздило занести в дом смерть, запутавшуюся в шитье генеральского мундира. Убедившись в бессилии врачей, Полина слушала теперь только Солимана, по его совету в покоях курили ладаном, индиго, лимонной коркой; он же научил Полину молитвам, обладавшим чудодейственной силой, то были молитва Великому Судие, молитва святому Георгию и еще молитва святому Бедламу. Она распорядилась вымыть двери дома настоями ароматических трав и лучших сортов табака. Стоя на коленях перед распятием, выточенным из темного дерева, она молилась с шумной, несколько крестьянской истовостью, выкрикивая вместе с негром после каждой молитвы: *malò, presto, pasto, effacio, amen* ¹⁰¹. Заклинания, таинственность обрядов, один из коих состоял в том, что нужно было вбить гвозди крестом в ствол лимонного дерева, — все это пробуждало в ней голос древней корсиканской крови, которой всеодушевляющая космогония негров была ближе, чем лживое пустословие Директории ¹⁰², хотя именно в безверии той поры Полина обрела и ощутила полноту своего бытия. Но теперь она раскаивалась, что так часто шутила святыми вещами, платя дань моде и времени. Когда у Леклерка началась агония, страх ее усилился, страх заводил ее все дальше и дальше в мир сверхъестественных сил, которые Солиман заклинал своей ворожкой, ибо он был истинный хозяин острова, единственный возможный защитник от мора, грозившего с берега Сан-Доминго, единственный надежный целитель, когда стала явной никчемность рецептов. Дабы злотворные начала не проникли морем на остров Ла-Тортю, негр спускал на воду кораблики из скорлупы кокосового ореха, убранные лентами из Полининой шкатулки для рукоделия; кораблики были данью Агуасу, Владыке Моря. Как-то среди вещей

¹⁰⁰ Александр Оливье Оксмелен — врач, служивший на кораблях буканьеров; автор книги «Буканьеры в Америке» (1678).

¹⁰¹ Злодей, быстрее, насыться, отринься, аминь (*итал. диал.*).

¹⁰² Директория — правительство французской республики в 1795–1799 гг.

Леклерка Полине попалась модель военного корабля. Она тотчас побежала на берег передать модель Солиману с тем, чтобы он присоединил это чудо искусства к прочим приношениям. Чтобы уберечься от недуга, все средства были хороши: обеты, покаяния, власяница, пост, а пуще всего — молитвы и заклинания, кто бы им ни внял, пусть даже подставит волосатое ухо Лживый Враг, которым ее стращали в детстве. Вдруг Полина стала ходить по дому странным образом, стараясь не ступать на швы между плитами, ведь прямоугольная форма придается плитам только из-за нечестивых козней франкмасонов, это всем известно, масоны хотят, чтобы люди беспрестанно попирали стопами святой крест. Солиман больше не умащал тело Полины благовониями, не освежал мятной водой, теперь в ход пошли притиранья из водки, толченых семян, бурого сока каких-то растений, птичьей крови. Как-то утром француженки-горничные с ужасом увидели, что Полина с распущенными волосами стоит на коленях посреди комнаты, а негр отплясывает вокруг нее какой-то причудливый танец. На Солимане был только кожаный пояс, с которого свисал белый платок, прикрывая срамные части, шею украшали синие и красные бусы, он птицей взлетал в воздух, потрясая заржавленным мачете. И Солиман и Полина испускали долгие вопли, глухие и нутряные, словно вой псов в лунную ночь. Петух с перерезанным горлом еще дергал крыльями на кучке кукурузных зерен. Увидев у порога одну из прислужниц, негр в ярости пинком захлопнул дверь. В тот же день после полудня под потолочными балками повисли вниз головой статуэтки святых. Полина ни на миг не расставалась с Солиманом, он спал у нее в спальне, на красном ковре.

Смерть Леклерка, унесенного желтой лихорадкой, чуть не довела Полину до помешательства. Теперь тропики вызывали у нее отвращение, и всего омерзительнее были терпеливые грифы, она знала, если они сидят на кровле дома, значит, в доме кто-то исходит предсмертной испариной. Распорядившись обрядить тело супруга в парадный мундир и положить в кедровый гроб, Полина поспешила отплыть на борту «Свитшура»; она похудела, под глазами темнели круги, грудь была увешана ладанками. Но вскоре восточный ветер, ощущение того, что с каждой пройденной милей Париж становится ближе, запах морской соли, разъедавшей металлические украшения на гробе, заставили молодую вдову расстаться с власяницей. И как-то в предвечернюю пору, когда киль скрипел под ярим натиском волн, ее траурные вуали запутались в шпорах молодого офицера, облеченного почетной миссией сопровождать и охранять останки генерала Леклерка. В одной из корзин среди выцветших маскарадных нарядов в креольском вкусе лежал выточенный Солиманом амулет в честь великого Легба¹⁰³, повелителя дорог, этот амулет должен был открыть Полине Бонапарт все пути, которые, как и положено, в конце концов привели ее в Рим.

С отъездом Полины в колонии пришел конец всякому благоразумию. В период губернаторства Рошамбо¹⁰⁴ последние колонисты Равнины, утратив надежду вернуться к процветанию былых времен, предались самому разнузданному разгулу, не зная ни отдыха, ни удержу. Ни для кого больше не существовало времени суток, ночи не кончались с рассветом. Нужно было вкусить всех радостей вина — до отвращения, всех радостей плоти — до бессилия, нужно было пресытиться наслаждениями прежде,

¹⁰³ Амулетом Легбы на Гаити чаще всего является посох.

¹⁰⁴ *Рошамбо, Донасьон-Мари-Жозеф* (1750–1813) — губернатор Сан-Доминго в 1802–1803 гг.

чем великое крушение навсегда отнимет самую возможность наслаждаться. Губернатор расточал милости тем, кто поставлял ему женщин. Дамы из Капа издевались над эдиктом покойного Леклерка, гласившим, что «белые женщины, предающиеся блуду с неграми, должны быть отосланы во Францию, независимо от их сословной принадлежности». Среди представительниц прекрасного пола весьма распространилась лесбийская любовь, многие являлись на балы в обществе мулаток, которых именовали своими *socottes* ¹⁰⁵. Дочери рабов подвергались насилиям в пору самого нежного детства. При таком положении вещей весьма скоро наступило страшное время. В дни праздников Рошамбо завел обычай угощать своих собак плотью негров, и если псу недоставало решимости вонзить клыки в человеческое тело под взглядом блистательных господ, разодетых в шелка, губернатор приказывал исколоть жертву шпагой, дабы раззадорить животное видом и запахом крови. Полагая, что такого рода меры приведут негров к повиновению, губернатор выписал из Кубы сотни огромных псов: «*On leur fera bouffer du noir*» ¹⁰⁶.

В тот день, когда корабль с собаками, который увидел в порту Сантьяго Ти Ноэль, подошел к капскому рейду, туда же подошел другой парусник, шедший с острова Мартиники и тоже груженный живым грузом — ядовитыми змеями; генерал намеревался выпустить этих змей на Равнине, дабы они жалили крестьян, живших по хуторам и помогавших неграм-бунтовщикам с гор. Но змеям, этим детищам Дамбалла, была суждена гибель, они даже не отложили яиц и исчезли одновременно с колонистами старого режима. Теперь великие Лоа покровительствовали оружию черных. Битвы выигрывали те, кто поклонялся богам-воителям. Огун Бадагри бросал свою рать в сабельные атаки на последние рубежи, которые еще удерживало божество, именуемое Верховный Разум. И так же, как в битвах былых времен, по праву оставшихся в людской памяти тем, что кто-то остановил солнце, а кто-то обрушил стены трубным гласом ¹⁰⁷, в те дни были люди, обнаженной грудью прикрывавшие жерла вражеских орудий, и люди, обладавшие властью отводить от своего тела свинец неприятеля. Тогда-то и появились среди восставших негры, которые исполняли обязанности священников, хотя у них не было ни тонзуры, ни духовного сана; их называли отцами из Саванны ¹⁰⁸. Пробубнить латинские молитвы над одром умирающего они умели не хуже французских кюре. Но понимали их лучше, ибо в их устах «Отче наш» и «Аве Мария» и по интонации и по ритму звучали так же, как гимны, всем хорошо известные. Отныне важные дела, касающиеся жизни и смерти, решались между своими.

¹⁰⁵ *Здесь: курочки, цыпочки (франц.).*

¹⁰⁶ *Они нажрут негритянского мяса (франц.).*

¹⁰⁷ По библейской легенде, солнце остановил молитвой святой Иисус Навин. От трубных звуков пали стены Иерихона — города в Ханаане, который осаждали евреи, руководимые Иисусом Навином.

¹⁰⁸ Речь идет о помощниках жрецов воду, знающих католическое богослужение. В их деятельности офажается синкретический характер культа воду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Повсюду валялись королевские короны, все они были золотые, и между ними попадались столь тяжелые, что поднять их можно было лишь с трудом». 109

Карл Риттер, свидетель разграбления Сан-Суси

I. Знаки

Со шхуны, пришвартовавшейся к причалу святого Марка, сошел негр; он был уже стар, но твердо ступал по земле босыми ногами, потрескавшимися и шишковатыми. Очень далеко, на севере, вырисовывались гребни горной цепи, засиненные чуть погуще, чем небо, и очертания их были негру знакомы. Не мешкая попусту, Ти Ноэль взял в руки тяжелую гваякановую палку и покинул город. Много воды утекло с того дня, когда один помещик из Сантьяго, удачно спонтировав, выиграл его в карты у мосье Ленормана де Мези, который вскоре после того умер в величайшей бедности. У нового хозяина, кубинца, Ти Ноэлю жилось куда легче, чем некогда жилось рабам, принадлежавшим французам из Северной равнины. Откладывая из года в год монетки, которые хозяин дарил ему к рождеству, он накопил как раз столько, сколько требовал шкипер рыбацкой шхуны за место на палубе. И хотя на коже Ти Ноэля осталось два клейма, он был свободным человеком. Он ступал теперь по земле, где рабство было упразднено навсегда.

За первый день пути он дошел до реки Артибонит и устроился на ночлег на берегу под деревом. На рассвете он двинулся дальше по дороге, пролегавшей меж зарослями бамбука и дикого винограда. Табунщики, купавшие коней, кричали ему что-то, он плохо различал слова, отвечал на свой лад, плел, что приходило на ум. Ти Ноэль никогда не чувствовал себя одиноким, как бы ни был он одинок. Уже давно выучился он искусству вести беседы хоть со стульями, хоть с кухонной утварью, а то и с коровой, с гитарой либо с собственной тенью. В здешних краях народ был веселый. Но за поворотом какой-то тропинки деревья и кусты вдруг словно высохли, превратились в остовы кустов и деревьев, и земля под ними была уже не красная и комковатая, как раньше, а сухая и сыпучая, словно пыль в подземелье. В этих местах Ти Ноэлю уже не попадались чистенькие кладбища с миниатюрными надгробиями из белого алебаstra, напоминавшими классические храмы размером с собачью конуру. Здесь мертвых хоронили по обочинам дорог, в земле недоброго и безмолвного дола, заросшего кактусами и акацией. Иной раз перед Ти Ноэлем возникало строение, крыша на четырех столбах, означавшая, что люди ушли из этих мест, спасаясь от гнилой заразы. Все здешние растения были вооружены колючками, иглами, шипами, едким млечным соком, все были вредоносны. Редкие прохожие, встречавшиеся Ти Ноэлю, не отвечали на приветствие и продолжали путь, уставившись в землю, и так же понуро плелись за ними псы. Внезапно негр остановился, глубоко втянул воздух. На суку покрытого шипами дерева висела туша козла. На земле появились предупреждающие знаки: три камня лежали полукругом, перед ними торчал прут, он был надломлен посередине и воткнут обоими концами в землю, образуя подобие арки. Немного впереди на смазанной жиром ветке покачивалось несколько черных петушков, каждый был подвешен за лапу, вниз головой. И наконец знаки привели его к дереву особо

109 Эпиграф взят из книги известного немецкого географа Карла Риттеа (1779–1859).

зловещего вида, ствол ошетинился длинными черными иглами, а вокруг лежали приношения. Между корнями дерева были воткнуты деревянные амулеты, искривленные, узловатые, обломанные — то были посохи Легбы, Владыки Дорог.

Ти Ноэль упал на колени и возблагодарил небо за то, что ему дарована радость возвратиться в края Великих Договоров. Ибо он знал, — как знали все французские негры в Сантьяго-де-Куба, — что своим торжеством Десалин ¹¹⁰ обязан был долгим предварительным волхвованиям, и в этих волхвованиях ему помогали Локо ¹¹¹, Петро, Огун-Феррайль, Бриз-Пимба, Каплау-Пимба, Маринетта Буа-Шеш ¹¹² и все божества огня и пороха, они вселялись в людские тела и завладевали ими с таким неистовством, что одержимые взлетали в воздух либо бились оземь, когда звучали заклятия. А еще в котле замешали вместе кровь, порох, пшеничную муку и растертые кофейные зерна, и такое поднялось тесто, что от его запаха предки насторожились в земле, а священные барабаны гремели, и копыта посвященных стучали, скрещиваясь над костром. Когда же экстаз достиг предела, божество снизошло в плоть Избранника, и он вскочил на спины двух негров, и они заржали, и диковинных очертаний кентавр горячился, и ржал, и вот понесся галопом, как добрый конь, к морю, ведь море уходит в ночь, и по ту сторону ночи, по ту сторону многих ночей воды его лижут берега мира, где обитают Вышние Силы.

II. Сан-Суси

Через несколько дней Ти Ноэль вышел к знакомым местам. По привкусу воды он распознал ручей, в котором купался когда-то, только ниже по течению; но ручей был тот самый, излучистый, уходящий к побережью. Старый негр прошел недалеко от пещеры, где Макандаль некогда готовил свои настои из ядовитых трав. В растущем нетерпении он спустился в тесную долину Дондон и вышел наконец к Северной равнине. Там он зашагал берегом моря к бывшему поместью Ленормана де Мези.

Увидев три сейбы, как бы отмечающие вершины треугольника, он понял, что пришел. Но перед ним лежал пустырь: ни красильни, ни сушилен для табака, ни конюшен, ни коптилен. От дома уцелел лишь сложенный из кирпича кухонный очаг, вокруг него вился плющ, оставшийся от прошлых времен, но выродившийся, ибо солнца было слишком много, а тени не было совсем; от кладовых уцелели плиты пола, вросшие в отвердевшую глину, от часовни — железный петушок флюгера. Там и сям торчали обломки стен, похожие на огромные искореженные литеры. Пинии, виноградные лозы, европейские плодовые деревья исчезли, исчез и огород, где некогда белела спаржа и закручивались кочешки артишоков и пахло то мятой, то майораном. Поместье превратилось в пустошь, перерезанную дорогой. Старый негр сел на камень, когда-то один из краеугольных в фундаменте господского дома, а теперь обычный камень — в глазах всякого, кто не знал столько, сколько знал Ти Ноэль. Он повел было беседу с муравьями, как вдруг неожиданный шум заставил его повернуть голову.

¹¹⁰ *Дессалин, Жан-Жак* (1758–1806) — негр-раб, поднявший в 1804 г. восстание против Франции; Дессалин провозгласил независимость Гаити и объявил себя императором под именем Якова I.

¹¹¹ *Локо* — у водуистов один из главных лоя, божество леса, мудрец, знающий лечебные свойства трав.

¹¹² *Маринетта Буа-Шеш* — водуистское божество мести.

Прямо на него неслись во весь опор несколько всадников в ослепительных воинских уборах: голубые доломаны, сплошь расшитые снурками и канителью, ворот в позументах, эполеты с пышными аксельбантами, лосины с галунами, кивера с лазоревым плюмажем и гусарские сапоги. Ти Ноэль привык к незатейливым мундирам колониальных войск и теперь дивился невиданному великолепию; мундиры были в наполеоновском вкусе, но соплеменники Ти Ноэля довели их пышность до пределов, неведомых генералам корсиканца. Офицеры промчались мимо, словно в облаке золотой пыли, и исчезли за поворотом дороги, что вела к городу Мийо. Старый негр как зачарованный побрел по следам, оставленным копытами их коней.

Он миновал рошу, и ему показалось, что он очутился в дивном вертограде. Земли, прилегавшие к городу Мийо, были возделаны с той же тщательностью, с какой огородники возделывают свои поливные участки, расчерчены на квадраты оросительными канавами, расцвечены нежной зеленью рассады в деревянных ящиках. На полях работало множество людей, их сторожили солдаты с бичами в руках, и время от времени бичи опускались на спины нерадивых. «Заклученные», — подумал Ти Ноэль, видя, что стража состоит из чернокожих; но работавшие тоже были чернокожие, и это не соответствовало представлениям, которые Ти Ноэль приобрел в Сантьяго-де-Куба на ночных празднествах Братства Французских Негров, куда ему иной раз удавалось вырваться и где плясали тумбу и ката. Но тут старый негр остановился, потрясенный зрелищем, самым удивительным, самым величественным из всех, что случалось ему видеть за всю его долгую жизнь. На фоне гор, прорезанных фиолетовыми полосками глубоких расселин, высился, розовея, замок, королевский дворец с арочными окнами, словно вознесенный в воздух высоким цоколем в виде итальянской лестницы. С одной стороны виднелись обширные постройки, крытые черепицей, — по всей вероятности, службы, казармы и конюшни. С другой — стояло круглое здание, увенчанное куполом, который поддерживали белые колонны; оттуда выходили духовные особы в белых стихарях. Подойдя ближе, Ти Ноэль увидел террасы, статуи, аркады, сады, беседки, увитые зеленью, лабиринты из подстриженных кустарников. У подножия мощных колонн, которые поддерживали огромную солнечную сферу, выточенную из черного дерева, несли стражу два бронзовых льва. На плац-параде сустились военные в белых мундирах, молодые капитаны в треуголках ходили взад и вперед, позвякивая саблями, и солнце играло бликами на золоте шитья. В распахнутое окно было видно, как стараются оркестранты, разучивая музыку перед балом. В дворцовые окна выглядывали дамы, увенчанные султанами из перьев, пышные груди вздымались в вырезах платьев, опоясанных слишком высоко, как того требовала мода. Во дворе два кучера в ливреях мыли огромную карету, покрытую рельефными изображениями солнца и сплошь вызолоченную. Приблизясь к круглому зданию, откуда вышли духовные лица, Ти Ноэль понял, что это церковь, а внутри, среди множества занавесей, хоругвей и балдахин, он увидел большое изображение пречистой девы.

Но более всего поразило Ти Ноэля то, что этот диковинный мир с его пышностью, неведомой французским губернаторам Капа, был миром черных. Ибо черны были лица вельможных красавиц с упругими ягодицами, что в тот миг плясали в хороводе вокруг фонтана с тритонами; и черны лица двух министров в белых чулках, что спускались по главной лестнице, зажав под мышкой портфели из телячьей кожи; черен был повар в колпаке, украшенном хвостом горноста, разглядывавший тушу оленя, что принесли на плечах крестьяне, которыми распоряжался главный егермейстер; черны были

гусары, гарцевавшие на манеже; черен главный мундшенк ¹¹³ с серебряной цепью на шее, который в обществе главного сокольничего созерцал черных актеров, репетировавших на сцене летнего театра; черны были лица лакеев в белых париках, в ливреях с позолоченными пуговицами, которые пересчитывал мажордом в зеленой куртке, тыча в них пальцем; черным, наконец, совершенно черным был лик пречистой девы, образ которой высился над главным алтарем в часовне и которая кротко улыбалась черным музыкантам, разучивавшим «Salve» ¹¹⁴. Ти Ноэль понял, что находится в Сан-Суси, любимой резиденции короля Анри Кристофа, того самого Анри Кристофа, что был некогда поваром, потом содержал гостиницу «Корона» на улице Испанцев, а теперь чеканит монету со своим вензелем и гордым девизом: «Бог, мое право, моя шпага».

Старый негр почувствовал, что его больно огрели палкой по спине. Он вскрикнуть не успел, как стражник погнал его к казарме, подталкивая пинками в зад. Когда дверь камеры захлопнулась и Ти Ноэль оказался взаперти, он стал кричать, что лично знаком с Анри Кристофом и жену его тоже знает, она ведь и есть та самая Мария Луиза Куадавид, что доводится племянницей одной кружевнице, а эта кружевница, вольноотпущенница, была частой гостьей в поместье Ленормана де Мези. Но никто его не слушал. После полудня вместе с другими заключенными его погнали к горе, которая звалась Епископской Митрою и у подножия которой был свален лес и камень для строительных работ. Ему сунули в руки кирпич.

— Неси наверх! Вернешься, возьмешь еще!

— Слишком стар я для этого.

Ответом был удар по голове. Не переча более, Ти Ноэль стал взбираться по крутому склону, заняв свое место в длинной веренице детей, беременных женщин, старух, седых стариков; у всех в руках было по кирпичу. Старый негр поглядел в сторону Мийо. В сумерках дворец казался еще розовее. Подле бюста, изображавшего Полину Бонапарт и украшавшего некогда ее дом в Капе, играли в волан юные принцессы Атенаис и Аметиста в платьицах из переливчатого атласа. Чуть поодаль капеллан королевы — единственный из всех присутствующих обладатель светлой кожи — читал Плутарховы «Жизнеописания» ¹¹⁵ наследному принцу под благосклонным оком Анри Кристофа, который прогуливался в сопровождении своих министров по садам королевы. Мимоходом его величество рассеянно обрывал лепестки белой розы, только что распустившейся на кусте: кусты были подстрижены в форме короны и птицы-феникса, а над ними белели мраморные аллегии.

III. Заклание быков

На вершине Епископской Митры второю горой — гора на горе — вздымалась, ошестинившись строительными лесами, цитадель Ла-Феррьер. Контрфорсы и простенки уже оделись в красное, их словно обтянул фантастически разросшийся лишайник, парчево гладкий и плотный, и этот лишайник все расползался, карабкался

¹¹³ *Мундшенк* (нем.) — виночерпий.

¹¹⁴ «*Salve*» (лат.) — «Спаси», молитва в честь девы Марии.

¹¹⁵ Имеется в виду книга греческого историка Плутарха (I в. н. э.) «Жизнеописания знаменитых мужей древности».

вверх по главной башне, красной охрой окрасил крепостные стены, увенчал их зубцами, словно колониями кораллов. Громада из красного кирпича высилась над облаками, и с башен ее открывались дали, которых не мог охватить глаз, а в подземельях змеились потайные переходы, галереи, коридоры, туннели, погруженные в густую тьму. Свет, проникавший через бойницы и слуховые щели, пробивался сквозь туман испарений, словно сквозь толщу вод, его струйки извилистостью и цветом напоминали листья папоротника и сливались в воздухе в единый зеленоватый поток. Лестницы, круто уходявшие вниз, точно лестницы преисподней, связывали три главные батареи с пороховыми погребами, с часовней артиллеристов, с поварнями, с хранилищами для пресной воды, с кузницами, с литейной мастерской, с застенками. Дабы крепость была неуязвима, каждый день на крепостном плацу закалывали несколько быков. В том крыле замка, которое выходило к морю, нависая на головокружительной высоте над панорамой Равнины, штукатурки уже трудились над отделкою королевских покоев, над помещениями для фрейлин, трапезными и бильярдными. На тележных осях, вделанных в стену, закреплены были перекидные трапы, по этим трапам кирпич и камень доставляли на верхние площадки крепости, за которыми и под которыми разверзались бездны, вызывая у строивших тошноту и головокружение. Случалось, что негр срывался в пустоту, так и не выпустив из рук бадьи с известковым раствором. Его тотчас сменял другой, никто не думал об упавшем. Сотни людей трудились под кнутом и ружейным дулом, возводя колоссальную крепость, творя архитектурные формы, которые до той поры можно было увидеть лишь на листах, рожденных воображением Пиранези. В крепости уже появились артиллерийские орудия, их втащили на канатах по горным склонам, и теперь они стояли на лафетах кедрового дерева в полутьме, постоянно царившей в сводчатых залах, сквозь бойницы которых были обозримы все тропы и все перевалы острова. Здесь были «Сципион», «Ганнибал» и «Гамилькара», гладкоствольные орудия, отлитые из светлой, почти золотистой бронзы, а рядом с ними стояли пушки, отлитые после восьмидесяти девятого года, с еще не получившим завершения девизом: «Свобода, равенство». Была здесь испанская пушка, на стволе которой красовалась меланхолическая надпись: «Верна, но несчастлива», и еще несколько орудий с более широким дулом и с обильными украшениями на стволах: то были пушки, отлитые при Короле Солнце и дерзко провозглашавшие его девиз: «Ultima ratio regum» 116.

Когда Ти Ноэль положил свой кирпич у подножия одной из крепостных стен, было около полуночи. Тем не менее работа продолжалась при свете костров и факелов. Сон валил людей тут же, при дороге; они засыпали, пристроившись на больших камнях, на лафетах пушек, а рядом спали мулы с пролысынами на лбу, образовавшимися от беспрестанных падений при подъеме в гору. Изнемогая от усталости, старый негр прилег во рву, под подъемным мостом. На заре его разбудил удар хлыста. Где-то выше ревели быки, они будут заколоты, как только забрезжит день. За ночь на пути холодных облаков встали новые строительные леса, и уже близился миг, когда вся гора огласится ржанием, криками, звуками рожков, свистом бичей, скрипом канатов, разбухших от утренней росы. Ти Ноэль стал спускаться в Мийо за следующим кирпичом. Спускаясь, он видел, что по всем дорогам и тропам, пролегающим вдоль склонов горы, взбираются плотными вереницами женщины, дети, старики, и каждый

116 Имеется в виду французский король Людовик XIV (1643–1715), прозванный Королем Солнце, царствование которого было временем расцвета французского абсолютизма. Латинский девиз гласит: «Последний довод королей».

тащит по кирпичу, чтобы опустить его у подножия крепости, возносящейся все выше и выше, словно муравейник либо термитник, ибо крепость слагается из этих кусочков обожженной земли, безостановочно ползущих вверх по склону в ненастье и в ведро, в будни и праздники. Вскоре Ти Ноэль узнал, что так продолжается уже более двенадцати лет и всех жителей Северной равнины силою принудили строить невиданную цитадель. Всякая попытка протеста пресекалась мечом. И вот во время бесконечных странствий то вверх, то вниз, то вверх, то вниз старому негру пришло на ум, что камерные оркестры Сан-Суси, и великолепие мундиров, и белая нагота статуй, греющихся под солнышком на покрытых рельефами пьедесталах среди стриженных кустов партерного сада, оплачены ценою рабства, и бремя этого рабства так же невыносимо, как то, которое он изведal некогда в поместье мосье Ленормана де Мези. Оно даже тяжелее, потому что становится горше горького, когда тебя бьет негр, такой же черный, как ты, такой же губастый, и курчавый, и плосконосый, как ты, по всем статьям тебе равный, такой же бедолага, может стать, такой же клейменный, как ты. Словно ссорятся члены единой семьи, дети поднимают руку на родителей, внук на бабу, невестка на свекровь, что стряпает у плиты. И вдобавок в былые времена колонисты остерегались, не убивали рабов — разве что ненароком, под горячую руку, — ведь смерть раба — прямой убыток, и немалый. А государственной казне смерть негра гроша не стоит: покуда есть негритянки, способные рожать, — а за ними дело не станет, — будет кому носить кирпичи на вершину Епископской Митры.

В сопровождении свитских офицеров верхами часто наведывался в цитадель король Кристоф, проверял, как подвигаются работы. Приземистый, крепко сбитый, курносый, монарх шел, выпятив бочковатую грудь и уткнувшись подбородком в расшитый ворот мундира; он осматривал батареи, кузницы, мастерские, звенел шпорами, взбираясь по нескончаемым лестницам. На его наполеоновской треуголке птичьим глазом поблескивала двухцветная кокарда. Иногда одним движением хлыста он приказывал предать смерти застигнутого в праздности ленивца либо отправить на казнь нерасторопных негров, которые слишком медленно волокли каменную глыбу вверх по отвесному склону. Посещение неизменно завершалось тем, что король приказывал поставить кресло на верхнюю площадку, выходящую на море и нависшую над бездной, перед которой жмурились глаза самые бесстрашные. И, сидя на краю площадки, где ничто не давило его сверху, ничто не отбрасывало на него тени, а его собственная тень была у него под ногами, сидя там, где он был выше всех и вся, он мог измерить свою власть во всей ее беспредельности. Попытайся французы вернуть себе остров, он, Анри Кристоф, «Бог, мое право, моя шпага», сможет продержаться здесь под облаками столько времени, сколько понадобится, вместе со всем двором, армией, капелланами, музыкантами, африканскими пажами, шутами. Пятнадцать тысяч человек смогут прожить за этими циклопическими стенами, ни в чем не зная нужды. Стоит убрать подъемный мост Единственных Ворот — и цитадель Ла-Феррьер сосредоточит в себе всю страну, здесь будет ее независимость, ее монарх, ее казна, ее роскошь и пышность. И негры, обитатели Равнины, будут, задрав головы, снизу смотреть на крепость с ее великими запасами кукурузы, и пороха, и железа, и золота, и, позабыв о том, скольких мук она стоила, они будут думать, что там, высоко-высоко, выше чем птицы летают, там, куда жизнь Равнины доносится лишь дальним звоном колокольным да петушьим криком, король, их соплеменник, сидит под самым небом, а небо одинаково всюду, и король ждет, когда загремят бронзовые копыта десяти тысяч коней Огуна. Недаром вознеслись эти башни под неистовый рев жертвенных быков, и

быки истекали кровью и валялись на спину, являя солнцу свою силу производителей; строители ведали сокровенный смысл жертвоприношения, хоть и говорилось непосвященным, что это всего лишь новый способ приготовления известкового раствора.

IV. Замурованный

Когда работы по возведению цитадели близились к завершению и потребны были не столько подносчики кирпича, сколько люди, владеющие ремеслом, надзор малость поослаб, и хотя mortarы и кулеврины все еще ползли по склонам горы к ее далекой вершине, многие женщины получили дозволение вернуться к кухонным горшкам, заросшим серой паутиной. Среди тех, кто был отпущен за ненадобностью, оказался в одно прекрасное утро Ти Ноэль, и старый негр без промедления двинулся в путь, даже не обернувшись, чтобы поглядеть на крепость, уже свободную от лесов с того крыла, где стояла батарея принцесс крови. Вверх по склону с помощью талей волокли бревно для столярных работ внутри помещений. Но все это не занимало более Ти Ноэля, помышлявшего лишь о том, как бы найти себе пристанище в бывшем поместье Ленормана де Мези, куда он теперь возвращался, как угорь возвращается в тину реки, в которой родился. Снова очутившись в усадьбе, он почувствовал себя словно бы владельцем этих мест, ибо только он один был в состоянии прозреть некий смысл во всех впадинах и выступах почвы, а потому он принялся орудовать мачете, расчищая заросли вокруг развалин. Два куста акаций, упав наземь, явили глазу обломок стены. Из-под листьев дикой тыквы показались на свет божий голубые изразцы, которыми некогда был выложен пол столовой в господском доме. Старик заткнул пальмовыми листьями трубу уцелевшего кухонного очага — решетка очага была выломана — и у него получилась спальня, пролезать в которую приходилось на четвереньках; но зато под очага он выстлал метелками злака, что зовется в народе индейской бородой, и теперь ему было где отлеживаться от тумачков, перепавших ему на склонах Епископской Митры.

Там перетерпел он зимние ветры и период дождей, там дождался лета, утоляя голод водянистыми плодами манго и прочей зеленью, от которой пучило живот; дорог он по возможности избегал, опасаясь солдат Кристофа, шнырявших повсюду в поисках людей, — видно, король собрался строить еще дворец, может, тот самый, о котором ходили слухи, что поставят его на берегу Артибонита и окон там будет столько, сколько дней в году. Но миновало еще несколько месяцев, новостей никаких не было, и Ти Ноэль, в досталь намаявшись, решил наведаться в Кап; он пустился в путь, держась берега, по заросшей тропинке, по которой некогда возвращался из города в поместье, трусая следом за хозяином на молодом жеребчике; у таких зубы еще не смыкаются как следует, цоканье копыт напоминает треск выдубленной кожи, которую складывают пополам, а на холке еще остались милые жеребьячьи складки. Хорошее место — город. В городе длинная палка с крючком на конце всегда найдет, что подцепить, что опустить в мешок, переброшенный через плечо. В городе есть гулящие бабенки, что по доброте сердечной дают милостыню старым людям, базары есть, где музыка играет, где показывают ученых зверей и говорящих кукол, где торговки снедью к тем благоволят, кто не жалуется на голод, а поглядывает на бутылки с водкой. Ти Ноэлю все время было холодно, неумный холод пробирал его до мозга костей. И он с тоской вспоминал бутылки былых времен — те, что стояли в погребе господского

дома — граненые, толстостенные, с водками, настоянными на разных корочках, на травах, на тутовых ягодах, на крессе; букет у этих настоек был удивительно тонкий, а цвета их ласкали глаз.

Но город, который нашел Ти Ноэль, жил одним — ожиданием смерти человека. Казалось, все окна и двери домов, все проемы, все створки решетчатых ставен воззрились на Архиепископский дворец, на один и тот же его угол, и фасады домов, словно человеческие лица, гримасничали в напряженном ожидании. Скаты кровель тянулись вперед, углы домов выдвигались ближе, разводы сырости чертили на стенах извилины ушных раковин. В том углу на стене Архиепископского дворца виднелся свежeweыложенный кирпичный квадрат, уже отвердевший и составлявший единое целое с кладкой стены, и в этом квадрате была оставлена узкая щель. Из этой щели, черной, точно беззубый рот, вырывались временами вопли, и так ужасны они были, что все в городе вздрагивали, а дети плакали в комнатах. Заслышав такой вопль, беременные женщины прикрывали ладонями чрево, и редкие прохожие пускались бежать, беспрестанно осеняя себя крестным знаменем. А из щели в стене Архиепископского дворца все неслись завывания, бессмысленные выкрики, пока кровь не подступала к горлу, надрывавшемуся в анафемах, невнятных угрозах, пророчествах и проклятьях. И тогда слышался плач, плач шел из глубины груди, срывался на всхлипы младенца, но голос был старческий, и слышать этот плач было еще мучительнее. Плач переходил в предсмертный хрип, трехтактный, замиравший в астматическом удушье, слабевший до чуть слышного вздоха. День и ночь доносились эти звуки из щели в стене Архиепископского дворца. Никто в Капе не знал сна. Никто не решался пройти по близлежащим улицам. В домах люди молились шепотом, укрывшись в самых потаенных комнатах. И ни у кого не хватало духу хоть словом перемолвиться о страшном деле. Ибо в Архиепископском дворце умирал человек, монах из ордена капуцинов, и капуцин этот, замурованный, заживо погребенный в своей молельне, был Корнехо Брейль, герцог дʼАнс, духовник Анри Кристофа. Он был осужден умереть у себя во дворце у подножия свежeweыложенной стены за преступление, состоявшее в том, что он собрался уехать во Францию и увезти с собой все тайны короля, все тайны цитадели, в красные башни которой уже не раз ударяла молния. Тщетно молила короля королева Мария Луиза, тщетно обнимала ботфорты своего супруга. Анри Кристоф не побоялся недавно возвысить голос против святого Петра, когда тот наслал на цитадель еще одну бурю, — ему ли пугаться бессильных анафем французского капуцина. И вдобавок необходимые меры были приняты, в Сан-Суси появился новый любимец: испанский капеллан в широкополой шляпе, великий искусник по части нашептывания и лести и не менее искусный мастер служить мессу звучным басом; звался же он отец Хуан де Дьос. Лукавому монаху прискучили горох и сало, пища варваров-испанцев с той окончности острова; ему жилось куда слаще при гаитянском дворе, где дамы наперебой потчевали его глазированными фруктами и португальскими винами. Поговаривали, что причиной беды, постигшей Корнехо Брейля, были несколько слов, которые испанец обронил словно бы невзначай в присутствии короля Кристофа, когда тот учил своих борзых бросаться на изображение французского короля.

По истечении недели голос замурованного капуцина стал чуть различим и замер в последнем хрипе, который люди не столько расслышали, сколько угадали. И тогда за угловой частью стены Архиепископского дворца настала тишина. Тишина стояла долго, слишком долго для города, переставшего верить, что тишина когда-нибудь

настанет, и лишь новорожденный в своем неведении отважился нарушить ее первым своим криком, но этот крик вернул жизни обычную гамму звуков, и снова слышались выкрики разносчиков, приветственные возгласы, трескотня кумушек и песни прачек, развешивающих белье. Тогда-то и удалось поживиться Ти Ноэлю, вытянуть из пьяного матроса столько монеток, сколько как раз хватило на пять стаканов водки, которые он опорожнил один за другим. Пошатываясь, побрел он при лунном свете в обратный путь, и на память ему пришли обрывки песенки, которую в былые времена он певал, возвращаясь из города. В той песенке честили какого-то короля. Короля, вот что главное. Всю дорогу старый негр поносил Анри Кристофа, до хрипоты суля беду и позор и короне его, и всему его роду, зато дорога показалась ему такой короткой, что, растянувшись наконец на своей подстилке из метелок индейской бороды, он не мог понять, неужели и вправду он побывал в Кап-Франсэ.

V. Хроника пятнадцатого августа

— *Quasi palma exaltata sum in Cades, et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi oliva speciosa in campis, et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Sicut cinamonum et balsamum aromatizans odorem dedi; quasi myrrah electa dedi suavitatem odoris* 117.

Королева Мария Луиза не понимала латинского текста, который Хуан де Дьос Гонсалес произносил на самых глубоких нотах своего звучного голоса, действовавших неотразимо, но она улавливала отдельные слова литургического поучения, обозначавшие благовония, которые ей были известны, ибо их названия она видела на фарфоровых баночках у аптекаря Сан-Суси; нынешним утром королеве казалось, что есть некая таинственная связь между этими словами и ароматом ладана, к которому примешивалось благоухание померанцев, долетавшее со двора по соседству. Напротив, Анри Кристоф был не в состоянии должным образом сосредоточиться на богослужении, потому что грудь ему сдавливало необъяснимое беспокойство. Наперекор всем он изъявил желание, чтобы в праздник успения мессу служили в Лимонадской церкви, ибо мрамор ее стен, серый и в тонких прожилках, создавал восхитительное впечатление пролады и не так разило потом из-под застегнутых мундиров, увешанных тяжелыми орденовыми знаками. И все-таки король чувствовал, что окружен враждебными силами. Народ, который встретил его появление приветственными кликами, таил недобрые помыслы, припоминал ему урожаи, которые можно было бы собрать на плодородных землях острова, но собрать не пришлось, ибо людей согнали строить цитадель. Где-нибудь в уединенном доме — он почти не сомневался — висит его изображение, истыканное булавками либо перевернутое вниз головой и с ножом в сердце. Откуда-то, очень издалека, временами доносился бой барабанов, и едва ли барабаны молили богов о том, чтобы продлить ему жизнь. Но вот зазвучали первые слова офертория 118:

— *Assumpta est Maria in caelum; gaudent Angeli, collaudantes benedicunt Dominum,*

117 Я словно вознесенная в небо пальма в Кадете и словно насаждение роз в Иерихоне. Словно прекрасное масличное дерево в полях и словно высокий платан у родника при дороге. Будто киннамон и благовонный бальзам источали уста мои, будто сладостный запах мирры источали они (*лат.*).

118 *Оферторий* — молитва, которой сопровождается часть мессы, предваряющей причащение.

alleluia! 119

Внезапно Хуан де Дьос Гонсалес попятился к королевским креслам, неловко споткнувшись о три мраморные ступени. Король схватился за эфес шпаги. Пред алтарем, обратя взор свой к верующим, предстал другой священник, как бы возникший ниоткуда, плечи и руки его вырисовывались еще неясно, кусками. Но лик постепенно обретал очертания и выражение, и вот отверзся рот, безгубый, беззубый, черный, словно та щель в стене, и раздался голос, подобный грому, заполнил своды, словно орган, звучащий на полную мощь, так что задрожали витражи в свинцовых переплетах:

— Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum... 120

Имя Корнехо Брейля застряло у Кристофа в горле, лишив его дара речи. Ибо перед главным алтарем стоял замурованный епископ, хотя все знали, что он умер и истлел; он стоял во всей пышности парадных облачений и возглашал *Dies irae* 121. И когда гласом кимвальным загревели слова: «*Coget omnes ante thro-num*» 122, Хуан де Дьос Гонсалес с воем покатился к ногам королевы. Анри Кристоф, выкатив белки, держался, пока не грянуло: «*Rex tremendae majestatis*» 123. И тогда загрохотал гром, который услышал лишь он один, и молния ударила в колокольню, и все колокола разом дали трещину. Пали долу певчие, обрушились алтарь и кафедра, покатались кадилницы. Король лежал на полу, разбитый параличом, не сводя глаз с балок потолка. Ибо призрак огромным прыжком переместился на одну из балок, на ту, в которую вперился Кристоф, и он восседал там, раскинув руки, словно похваляясь кровавым блеском широких парчовых риз. В ушах у Кристофа стучало все громче и громче; может быть, то стучала его собственная кровь, может быть, то стучали барабаны на горе. Офицеры на руках вынесли из церкви своего короля, невнятно твердившего проклятия и грозившего, что, если запоет петух, всех лимонадских прихожан постигнет смерть. Пока Мария Луиза и принцессы хлопотали вокруг короля, крестьяне, напуганные тем, что сказал в бреду монарх, бросились ловить петухов и кур, сажать их в корзинки, опускать поглубже в колодцы, чтобы там, в темной темени, птицы думать забыли о кудахтанье и петушином задоре. Ослов градом колотушек загоняли подальше в лес. Коням стянули храпы намордником, чтобы монарху не примерещилось чего-нибудь в их ржанье.

И вот шестерик коней галопом вкатил тяжелую королевскую карету на плац-парад перед дворцом Сан-Суси. Короля в расстегнутой сорочке отнесли в апартаменты. Он рухнул на постель, словно мешок, набитый цепями. Глаза его, выкаченные так, что почти не видно было радужной оболочки, — одни белки, — выражали ярость бессилия, ибо он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лекаря принялись растирать недвижимое тело составом из водки, пороха и красного перца. Во всех гостиных дворца,

119 Вознесена Мария на небеса; ликуют ангелы и согласным хором славословят господу, аллилуйя! (лат.).

120 Избави, господи, души всех усопших верных рабов твоих от оков всяческих прегрешений... (лат.).

121 День гнева (лат.).

122 Всех приведет к подножию трона (лат.).

123 Царь, облеченный властью грозною (лат.).

переполненных чиновниками и сановниками, было душно и жарко, пахло снадобьями, настоями, притираньями, ароматическими солями. Принцессы Атенаис и Аметиста рыдали на декольтированной груди гувернантки из Северо-Американских Штатов. Королева, которую в эти минуты мало заботили предписания этикета, склонилась над жаровней, поставленной в углу комнаты, смежной с опочивальней ее супруга, ждала, когда закипит на раскаленных углях отвар из кореньев, и отсветы настоящего пламени придавали поразительное правдоподобие краскам гобелена на стене, изображавшего Венеру в кузнице Вулкана. Ее величество потребовала веер, дабы раздуть угли, тлевшие слишком слабо. Что-то недоброе было в свете сумерек, тени сгущались, спешили прильнуть к предметам, окутать их мраком. Никак нельзя было узнать, действительно ли бьют на горе барабаны или это только мерещится. Но иногда мерный стук, доносившийся издали и сверху, странным образом смешивался со словами молитв, которые твердили придворные дамы в Парадной гостиной, и у многих в груди сердце втайне стучало в лад тем барабанам.

VI. *Ultima ratio regum*

В следующее воскресенье, к закату, Анри Кристоф почувствовал, что огромным усилием воли сможет принудить к повиновению все еще недвижимые колени и суставы рук. Пытаясь выбраться из постели, он тяжело заворочался, свесил ноги на пол и, словно надломившись в поясе, привалился спиной к подушкам. Солиман, его камердинер, помог ему встать. Король смог дойти до окна, он шагал деревянно, словно большая заводная кукла. Слуга позвал королеву с принцессами, они вошли неслышно, остановились в темном углу под конным портретом его величества. И королева и принцессы знали, что сейчас в О-ле-Кап спиртное течет рекою. На перекрестках стояли столы, дымились котлы с похлебками, с копченым мясом, потные поварихи постукивали по столешницам шумовками и черпаками. В проулке слышался хохот и крики, крутились в пляске праздничные платки на головах негрятюнок.

Король втягивал вечерний воздух, чувствуя, что тяжесть, сдавившая ему грудь, понемногу отпускает его. Ночь уже надвигалась из-за горных отрогов, размывая очертания деревьев и лабиринтов в садах королевы. Вдруг Кристоф увидел в окно музыкантов из часовни, они шли по плац-параду, таща свои инструменты. Род занятий причудливым образом сказался на очертаниях фигур. Арфист, согнувшийся под тяжестью арфы, казался горбуном; другой оркестрант, до крайности тощий, нес свой барабан, как беременная женщина чрево; третий словно запутался в кольцах геликона. А замыкал шествие карлик, почти невидимый под китайским музыкальным зонтиком, бубенцы которого позвякивали в такт его шагам. Король удивился было, что в такой час его музыканты отправились со своими инструментами неведомо куда, словно собираясь дать концерт где-нибудь у подножия одинокой сейбы, как вдруг разом грянуло восемь полковых барабанов. Было время сменять караулы. Его величество сосредоточил внимание на своих гренадерах, желая убедиться, что и во время монаршего недуга они соблюдают строжайшую дисциплину, к которой приучены. Но внезапно августейшая ладонь взлетела в жесте, выражающем изумление и гнев. Уставная дробь смолкла, сломав ритм, и послышались три глухих, неравномерных удара, их отбивали не палочками, а костяшками пальцев.

— Сигнал мандукумана! — воскликнул Кристоф, швырнув треуголку оземь.

И тотчас ряды караулов расстроились, солдаты беспорядочной толпой рассеялись

по плац-параду. Забегали офицеры с саблями наголо. Распахнулись окна казарм, и оттуда гроздьями посыпались люди в расстегнутых мундирах и панталонах, не заправленных в сапоги. Грянули выстрелы — кто-то палил в воздух. Знаменщик полка принца крови разорвал полковое знамя с изображением корон и дельфинов. Среди всеобщей суматохи промчался во весь карьер уланский эскадрон, позади мулы тянули фуру со сбруями и прочим конским снаряжением. Люди в мундирах толпами покидали дворец, повинувшись приказу полковых барабанов, по коже которых молотили чьи-то кулаки. Из лазарета выбежал солдат, серый от малярии; мятеж захватил его врасплох, он успел только завернуться в простыню и теперь на бегу поправлял подбородный ремень кивера. Пробегая под окном, возле которого стоял Кристоф, он сделал непристойное телодвижение и умчался со всех ног. Затем в сгущавшихся сумерках наступила тишина, только где-то вдалеке жалобно прокричал павлин. Король повернул голову. Королева Мария Луиза и принцессы Атенаис и Аметиста плакали во тьме опочивальни. Теперь понятно было, почему нынче спиртное текло рекою в О-ле-Кап.

Хватаясь за перила, занавеси и спинки стульев, Кристоф побрел по дворцу. Отсутствие придворных, лакеев, караула придавало жутковатую пустоту переходам и покоям. Стены словно раздались вширь, потолок словно поднялся выше. В бесконечности отражающих друг друга перспектив Зеркальной гостиной виднелась одна только человеческая фигура — фигура короля. И какое-то разноголосое гудение в тишине, какие-то прикосновения, и потом еще сверчки, они стрекотали где-то вверху, в лепнине плафонов, никогда раньше их не было слышно, а теперь своими паузами и перемежающимися ритмами они придавали тишине особую многоступенчатую глубину. Свечи медленно оплывали в канделябрах. Ночной мотылек кружился в аудиенц-зале. Какие-то насекомые ударялись о золоченые рамы, падали на пол, там и сям слышалось характерное сухое потрескивание надкрыльев летучих жуков. В большой приемной, распахнутые окна которой выходили на оба фасада, Кристоф слышал только стук собственных каблуков, и от этого еще острее ощутил неизбежность своего одиночества. По служебному входу он спустился в поварни; огонь еле теплился под вертелами, на которых не было мяса. На полу, подле стола для резки овощей, валялось несколько пустых бутылок из-под вина. Исчезли связки чеснока, висевшие над очагом, снизки грибов дьон-дьон, окорока, подвешенные коптиться. Дворец был пуст, был предан во власть безлунной ночи. Он принадлежал любому, кто пожелал бы им овладеть, — челядинцы увели даже охотничьих собак. Анри Кристоф вернулся в свои апартаменты. При свете люстр в белизне лестницы было что-то мертвенно холодное и безысходное. Сквозь слуховое окно ротонды влетела летучая мышь, кружилась бестолково под тусклым золотом потолочной росписи. Король оперся о мрамор балюстрады, ища опоры в его незыблемости.

Там, внизу, на самой нижней ступени парадной лестницы, сидели пятеро молодых негров, их полные тревоги лица были обращены к королю. В этот момент Кристоф почувствовал, что любит их. То были его потешные телохранители: Деливранс, Валантен, Ля-Куронн, Джон, Бьен-Эме, африканские юноши, которых Анри Кристоф купил у работоторговца и которым даровал свободу, дабы они обучались тонкому камер-пажескому искусству. Кристофу всегда было чуждо мистическое преклонение перед африканскими культами, свойственное провозвестникам независимости Гаити, он старался придать своему двору европейский отпечаток во всем, вплоть до мелочей. Но теперь, когда он оказался в одиночестве, когда его предали те, кого он сделал

своими герцогами, баронами, генералами и министрами, верность ему сохранили только эти пятеро африканцев, пятеро юношей из племени конго, фула или мандинга, и точно верные псы сидели они на лестнице, мрамор которой холодил им ягодицы, и ждали, когда прозвучит *ultima ratio regum*, на сей раз из уст самого короля, ибо орудия королевской артиллерии отныне бессильны были выполнить это свое назначение. Кристоф долго смотрел на своих камер-пажей, потом ласково кивнул им, они ответили печальным поклоном, и король прошел в тронный зал.

Он остановился перед гобеленом, на котором красовался его герб. Два льва в коронах поддерживали щит с главной геральдической фигурой: венценосный феникс с девизом: «Возрождаюсь из пепла». По складкам развевающейся ленты летели слова «Бог, мое право, моя шпага». Кристоф поднял крышку тяжелого ларца, незаметного под кистями бархатной драпировки. Вынул пригоршню серебряных монет со своим вензелем. Затем швырнул наземь одну за другой несколько корон литого золота, разной толщины. Одна корона докатилась до самых дверей, покатила по лестницам, громяхая на весь дворец. Король сел на трон, поглядел на желтые огоньки свечей, догоравших в канделябре. Губы его бессознательно твердили слова, коими открывались все королевские рескрипты и указы: «Мы, Генрих, божьей милостью и государственными конституционными уложениями король гаитянский, державный владыка островов Ла-Тортю, Гонаив и прочих близлежащих, Искоренитель Тирании, Спаситель и Благодетель гаитянской нации, Создатель ее статутов, нравственных, политических и воинских, Первый Коронованный Монарх Нового Света, Столп Веры, Основоположник Королевского Рыцарского Ордена святого Генриха, ко всем нашим подданным, сущим и будущим, обращаем свое приветствие...» Кристоф внезапно вспомнил про цитадель Ла-Феррьер, про свою крепость, вознесшуюся над облаками.

Но в то же мгновение ночь наполнилась грохотом барабанов. Призывая друг друга, ведя переключку с гор, поднимаясь с побережья, выбираясь из пещер, проплывая под деревьями, спускаясь по теснинам и пересохшим руслам, гремели барабаны Рада¹²⁴; барабаны конго, барабаны Букмана, барабаны Великих Договоров, все барабаны воду¹²⁴. То был единый мощный раскат, надвигавшийся со всех сторон, зажимавший Сан-Суси в кольцо. Громы, обложившие круг горизонта и неумолимо приближавшиеся. Буря, обрушившая свою ярость на трон, близ которого не было более ни герольдов, ни жезлоносцев. Король вернулся в опочивальню, подошел к окну. Его угодья, его службы, его плантации уже пылали. Барабаны все наступали, но теперь впереди летело пламя, оно перебрасывалось с постройки на постройку, с поля на поле. Занялся амбар, обуглившиеся искрасна-черные доски рухнули на сарай, где держали корм для скота. Северный ветер подхватывал горящие соломинки на кукурузных полях, нес их к самому дворцу. Раскаленный пепел сыпался на террасы.

Анри Кристоф снова подумал о цитадели. *Ultima ratio regum*. Но эта крепость, не имевшая равных в мире, была слишком велика для одного человека, а монарх никогда не думал, что наступит день, когда он останется совсем один. Бычья кровь, напитавшая толщу стен цитадели, была надежной защитой против оружия белых. Но кровь эта никогда не обращалась против черных, а крики черных слышались все

¹²⁴ Пляски под барабан занимают существенное место в религиозном ритуале воду. Во время негритянских восстаний XVIII–XIX вв. барабаны использовались для связи между повстанцами, которые жили на отдаленных друг от друга плантациях.

ближе; они шли, оставляя за собой движущиеся зарева, и зывали к Вышним Силам, которые требуют кровавых жертв. Кристоф, преобразователь, звать не хотел воду, ударами хлыста создал он сословие господ католического вероисповедания. Но сейчас он понимал, что истинными предателями его дела оказались в эту ночь святой Петр-ключарь ¹²⁵, и капуцины святого Франциска, и черноликий святой Бенедикт, и смуглая приснодева в лазоревом плаще, и евангелисты, книги которых должны были целовать его подданные, принося присягу, и все мученики, хоть он повелел ставить им свечи, в каждую из которых было вложено тринадцать золотых монет. Бросив гневный взгляд на белый купол часовни, где было столько изображений, отвернувших от него лицо свое, столько символов, перешедших в неприятельский стан, король велел подать свежее белье и благовония. Приказав принцессам выйти, он облачился в самый пышный из своих парадных мундиров. Через плечо перекинул широкую двухцветную ленту, знак своей королевской власти, концы завязал бантом на эфесе шпаги. Барабаны били совсем близко, — казалось, они грохочут за решеткой плац-парада, у подножия фундамента в виде итальянской лестницы. В этот миг запылали зеркала во дворце, запылали бокалы, подвески из граненого хрусталя, и хрусталь ваз, и хрусталь светильников, запылали стаканы, стекла, запылали перламутр консолей. Языки пламени были повсюду, и нельзя было разобрать, где настоящее пламя, а где — отражение. Все зеркала Сан-Суси запылали разом. Здание исчезло в этом холодном пламени, которое разрасталось в ночи, окутывая стены бушующим разливом огня.

Выстрела почти не было слышно, барабаны гремели слишком близко. Рука Кристофа выронила пистолет, дернулась к простреленному виску. Мгновение он стоял выпрямившись, словно замер на ходу, затем рухнул вниз лицом, зазвенев всеми своими орденами. На пороге появились пажи. Король умирал, лежа ничком в луже собственной крови.

VII. Единственные ворота

Африканские пажи поспешно выбежали через заднюю дверь, что выходила на Епископскую Митру, на плечах они самым первобытным образом тащили жердь, наскоро оструганную с помощью мачете, а с жерди свисал гамак, сквозь прорехи которого торчали шпоры монарха. За ними, то и дело оборачиваясь и спотыкаясь о корни фламбуаянов, торопились принцессы Атенаис и Аметиста, удобства ради обутые в сандалии своих горничных, и босая королева — туфли она сбросила, когда сломала каблук о камни дороги. Солиман, камердинер короля, некогда массажист Полины Бонапарт, замыкал шествие с ружьем через плечо и садовым мачете в руке. По мере того как они во тьме поднимались все выше по лесистому склону, языки пламени внизу представлялись глазу все более слитными, смыкались в единое зарево, хотя на подступах ко дворцу огонь присмирел. Со стороны Мийо, однако же, загорелись мешки с люцерной на конском дворе. Издалека доносилось ржание, похожее скорее на стократ усиленные вопли истязуемых детей; с грохотом рушились целые стены в смерче раскаленных углей, и обезумевший жеребец вырывался на волю с опаленной гривой, с хвостом, обгоревшим до репицы. Внезапно по дворцовым покоям во множестве забегали огоньки. То была пляска факелов, они мелькали в поварнях, на чердаках, взбирались по балюстрадам, по водосточным трубам,

¹²⁵ По христианской легенде, святой Петр считается хранителем ключей от ворот рая.

проникали в открытые окна; казалось, полчище светляков наводнило дворец. Грабеж начался. Пажи ускорили шаг, они знали, что это занятие надолго отвлечет мятежников. Солиман проверил ружейный затвор, зажал под мышкой приклад.

Перед самой зарей беглецы добрались до ближних подступов к цитадели Ла-Феррьер. Идти становилось все труднее, слишком крут был подъем, слишком много пушек перегораживало тропу; этим пушкам не суждено было занять свое место на крепостных бастионах, им суждено было рассыпаться ржавой трухой на склонах Епископской Митры. Море уже посветлело со стороны острова Ла-Тортю, когда цепи подъемного моста задвигались, траурно побрякивая о гранит. Медленно распахнулись окованные створы Единственных Ворот. И черные камер-пажи внесли тело Анри Кристофа в его Эскуриал¹²⁶, все в том же гамаке, сапогами вперед. Они спускались по внутренним лестницам, а тело становилось все тяжелее, и низкие своды роняли на труп частые холодные капли. Утренние рожки нарушили рассветную тишь, вступили в переключку со всех концов крепости. Вся одетая красным лишайником, еще погруженная в ночь, вставала цитадель — кроваво-красная сверху, ржаво-бурая снизу — над серыми тучами, что впитали столько дыма, поднимавшегося над пожарищами Равнины.

Стоя посреди крепостного плаца, беглецы рассказывали коменданту крепости о своей великой беде. Вскоре новость, прошмыгнув сквозь слуховые щели, переходами и подземными путями добралась до казарм и служб. Повсюду замельтешили мундиры, солдаты напирали друг на друга, сбегали вниз по лестницам, бросая на произвол судьбы батареи, спускались со сторожевых башен, пренебрегая долгом караульной службы. Во дворе главной башни слышался ликующий гомон: стражники выпустили из темниц заключенных, и они, самым вызывающим образом изъясняя свою радость, ринулись туда, где находились члены королевской фамилии. Толпа теснилась, надвигаясь на пажей, круглые шапочки которых утратили былую нарядность, на королеву, которая стояла босая, на принцесс, которых Солиман несмело защищал от бесстыдных прикосновений, и пажи с Солиманом, королева с принцессами пятились, отступая к горке свежезамешенного известкового раствора, предназначенного для последних доделок; в серовой массе торчали мастерки, только что воткнутые каменщиками, бросившими работу. Видя, что положение становится опасным, комендант распорядился очистить двор. Взрыв хохота был ему ответом. Один из заключенных, до того оборванный, что штаны не прикрывали срама, ткнул пальцем в шею королевы:

— Кое-где у белых, когда вождь умрет, его жене отрубают голову.

Комендант понял, что в памяти его подопечных слишком свеж урок, который почти тридцать лет назад с самыми благими намерениями преподали вожди французской революции, и он подумал, что дело плохо. Но в этот самый миг пронесся слух, что караульная рота в полном составе отправилась в Сан-Суси, и это известие круто изменило ход событий. Толпа, теснясь, рванулась к лестницам и подземным переходам, ибо каждый спешил скорее добежать до Единственных Ворот. Прыгая с камня на камень, оскальзываясь, падая, съезжая на спине, солдаты и заключенные устремились вниз по горным тропам, торопясь кратчайшим путем Добраться до Сан-Суси. Воинство Анри Кристофа распалось, лавиной тел скатилось вниз по горе.

¹²⁶ Эскуриал — дворец-монастырь, построенный под Мадридом испанским королем Филиппом II в 1584 г. Внутри Эскуриала находятся усыпальницы испанских королей. Здесь — в значении «усыпальница».

Впервые громадное сооружение было безлюдно, и тишина, воцарившаяся во всех закоулках крепости, придавала ей траурную торжественность королевской Усыпальницы.

Комендант раздвинул края гамака, чтобы взглянуть на его величество. Отсек ножом мизинец на руке, вручил королеве, которая сунула его за вырез платья и вздрогнула, почувствовав, как что-то холодное, извиваясь червяком, скользнуло к ее животу. Затем, повинуясь приказу, пажи опустили тело в кучу известкового раствора, и оно стало медленно погружаться, словно его затягивали внутрь невидимые пальцы, присосавшиеся к спине. За время подъема в гору труп несколько прогнулся в позвоночнике — прислужники положили его в гамак еще теплым. Поэтому прежде всего в раствор погрузились живот и ляжки. Руки и кончики сапог колыхались, словно в нерешимости, выступая из вязкой серой гущи. Затем на поверхности осталось только лицо, словно его удерживала плоскость треуголки, надетой с поля. Опасаясь, что раствор затвердеет прежде, чем голова погрузится полностью, комендант слегка надавил на нее, приложив ладонь к монаршему лбу тем движением, каким проверяют, нет ли у больного жара. Наконец раствор затянул глаза Анри Кристофа; труп короля медленно опускался вниз, в глубины влажной, постепенно твердеющей массы.

Но вот спуск прекратился, труп стал частью сжимавшей его каменной тверди. Анри Кристоф сам избрал себе смерть, и плоти его не грозило тление, ибо плоть эта слилась воедино с материей крепости, стала частицей ее громады, элементом контрфорса, выступающего над склоном горы. Епископская Митра стала гробницей первого короля Гаити.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я тех видений страшился,
Но вот я узрел другие —
И был уstraшен стократно. 127

Кальдерон

I. Статуи в ночи

Руки мадемуазель Атенаис бегали по клавишам недавно купленного фортепьяно; позвякивая браслетами и брелочками, она аккомпанировала сестрице Аметисте, которая жидковатым голоском выводила арию из «Танкреда» Россини, разливаясь в томных фиоритурах. Королева Мария Луиза в белом капоте и фуляре, на гаитянский лад повязанном вокруг головы, вышивала покров, предназначавшийся в дар монастырю капуцинов в Пизе, и журила котенка, гонявшего клубок шерсти. После трагических дней казни дофина Виктора, после отъезда из Порт-о-Пренса, ставшего возможным благодаря заступничеству английских коммерсантов, прежних поставщиков двора, впервые за все время жизни в Европе принцессы почувствовали, что лето действительно похоже на лето. Рим жил, распахнув двери настежь, и под ярким солнцем мрамор палат и статуй казался ослепительнее, крики торговцев прохладительными напитками — звонче, смрад монашеских ряс — острее. Все десять сотен колоколов Вечного Города с непривычною томностью перезванивались под безоблачным небом, напоминавшим небо Равнины в январе. Наконец-то Атенаис и

Аметиста снова наслаждались теплом, обливаясь потом, ступая босые ступни о плиты пола, расстегнув крючки юбок; они проводили дни за игрою в гусек, за приготовлением лимонадов либо рылись на полках этажерки, перебирая ноты модных романсов, изданные в новейшем вкусе, в обложках, украшенных гравюрами на меди, на которых изображались кладбища в полночный час, шотландские озера, сильфиды, порхающие вокруг юноши-охотника, девицы, опускающие любовное послание в дупло старого дуба.

Солиман также чувствовал себя счастливым в летнем Риме. Когда он впервые появился в населенных простонародьем кварталах — на улочках, где от развешанного белья стояла влажная духота, а ноги скользили на капустных листьях, гнилых объедках и кофейной гуще, — там поднялся настоящий переполох. Самые слепые лаццарони мгновенно прозрели и во все глаза разглядывали негра, позабыв про свою мандолину либо органчик. Прочие представители нищей братии неистово размахивали кулечками, выставляли напоказ все свои традиционные язвы и лохмотья, полагая, что перед ними посол какой-то заморской державы. Теперь, куда бы ни шел Солиман, за ним гурьбой бежали ребятишки, величая его волхвом Валтасаром ¹²⁸, дудя в дудки и гремя трещотками. Трактирщики потчевали его вином. Завидев его, ремесленники выходили из своих мастерских-лавчонок, совали ему кто помидор, кто пригоршню орехов. Давно уже на фоне фасада Фламинио Понцио ¹²⁹ или портика Антонио Лабакко не чернел подлинно негритянский профиль. А потому Солимана частенько просили поведать его историю, каковую он расцвечивал всяческими небылицами, вроде того, что он-де — племянник Анри Кристофа и чудом спасся в ту ночь, когда в Капе началась резня, а одного из королевских бастардов солдатам карательного взвода пришлось прикончить штыками, потому что, сколько в него ни стреляли, пули были ему нипочем. Простофили, что слушали его развеса уши, не знали толком, где совершались эти события. Одни полагали, что в Персии, другие — что на Мадагаскаре, третьи — что в краю берберов. Когда на коже Солимана проступал пот, всегда находились пытливые наблюдатели, которые отирали ему щеки платком, проверяя, не линяет ли негр. Как-то вечером шуточки ради его привели в один из тесных и зловонных театриков, где даются комические оперы. Когда отзвучала финальная часть истории, повествовавшей о злключениях итальянцев в Алжире, его вытолкнули на подмостки. Неожиданное появление Солимана вызвало в партере такую бурю восторга, что антрепренер труппы предложил ему посещать их театр бесплатно и выходить на сцену всякий раз, когда ему заблагорассудится. Вдобавок Солиману выпала любовная удача, у него завязались шашни с одной служанкой из Виллы Боргезе ¹³⁰, пышнотелой пьемонткой, которая не жаловала худосочных мужчин. В самые знойные дни Солиман обычно уходил на Форум, где всегда паслись стадами овцы, и там он подолгу спал в траве. Развалины отбрасывали мягкую тень на густую зелень, а немного покопавшись в земле, можно было найти то мраморное ухо, то

¹²⁸ Валтасар, один из трех волхвов, которые, по евангельской легенде, пришли приветствовать новорожденного Христа, был негром.

¹²⁹ *Фламинио Понцио (1555–1610)* — известный итальянский архитектор, принимавший участие в строительстве дворца Боргезе.

¹³⁰ *Вилла Боргезе* — дворец-усадьба семьи Боргезе в Риме. В XIX в. дворец Боргезе имел богатейшую библиотеку, коллекции старинных рукописей и произведений искусств.

резной камень, то потемневшую от времени монетку. Случалось, сюда забредала гуляющая девка с семинаристом, занималась на мягком дерне своим ремеслом. Но чаще сюда наведывались люди ученые — священники под зелеными зонтиками, англичане с холеными руками — восторгались обломком колонны, списывали стершиеся надписи. В сумерках негр с черного хода пробирался в Виллу Боргезе и знай себе откупоривал бутылки красного в компании пьемонтки. Особняк, впрочем, пришел в крайнее запустение из-за отсутствия хозяев. Фонари при входе были засижены мухами, ливреи засалены, кучера вечно пьяны, карета облезла, а в библиотеке, это знали все, развелось столько паутины, что туда годами никто не заглядывал, боясь ощутить омерзительное прикосновение паучьих лап на затылке, а то и за корсажем. Если бы в одной из верхних комнат не жил молодой аббат, племянник князя, челядинцы давно перебрались бы в покои бельэтажа и спали бы на старинных кроватях кардиналов.

Как-то ночью, в поздний час, когда на кухне оставались только Солиман и пьемонтка, негр, хватив лишку, пожелал осмотреть всю виллу. По длинному коридору пьемонтка вывела его в просторный внутренний двор, выложенный мраморными плитами, которые в лунном свете казались голубоватыми. Двойной ряд колонн шел вдоль всего двора, отбрасывая на стены тени капителей. То поднимая, то опуская фонарь, с какими жители Рима ночью ходят по улицам, пьемонтка явила взгляду Солимана царство статуй, заполонивших одну из боковых галерей. Все статуи изображали женщин, и притом нагих, хотя все почти прикрыты были легким флером, который под дуновением воображаемого ветерка ложился так, как того требует благопристойность. А еще Солиман увидел много зверей и птиц, ибо дамы эти то обвивали руками шею лебедя, то обнимали быка, то бежали со сворой борзых, то спасались от козлоногих людей с рожками, которые, верно, приходились сродни самому дьяволу. Это было царство холода, белизны, неподвижности, но тени статуй в свете фонаря вытягивались, оживали, словно все эти существа с глазами без зрачков двигались хороводом вокруг полуночных гостей, глядя на них невидящим взглядом. С пьяных глаз частенько мерещится всякая нечисть, и Солиману почудилось, будто одна из статуй чуть повела рукой. Ему стало не по себе, и он потащил пьемонтку к лестнице, которая вела наверх. Теперь вокруг были картины, и они тоже, казалось, отделялись от стен и оживали. То перед Солиманом возникал юноша, с улыбкой отдергивающий занавес, то увенчанный виноградом отрок подносил к устам безмолвную свирель либо прижимал к ним указательный перст. Миновав галерею с зеркалами, стекла которых украшала роспись масляными красками, изображавшая цветы, горничная с плутовской ужимкой отворила узкую дверь орехового Дерева и опустила фонарь.

В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно нагой женщины, которая покоилась на ложе, Держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Солиман неверными шагами побрел к статуе, от изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело, тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями. Провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка. Погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он

уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла-Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее. И внезапно, повинувшись властному зову чувственной памяти, Солиман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажала в тиски смерть, и он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом, перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал, кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась, и отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо, так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьедестал в страхе скатился вниз по лестнице, оставя Солимана наедине с Венерой Кановы ¹³¹.

Во дворе замелькали огоньки свечей и масляных плашек. Разбуженные неистовыми воплями, гремевшими в бельэтаже, кучера и лакеи выскакивали из своих каморок в исподнем, на ходу влезая в панталоны. Раскатисто ударил подвесной молоток по воротам, и ворота растворились, пропуская жандармов ночного дозора, они вошли гуськом, а следом протиснулись встревоженные соседи. Увидев, как запольхали зеркала, негр резко обернулся к окну. Огни во дворе, люди, толпившиеся внизу среди белых мраморных статуй, слишком знакомые очертания треуголок, мундиры со светлой выпушкой, холодный блеск сабли наголо — все это мгновенно напомнило ему ночь смерти Анри Кристофа, и его пробрала дрожь. Высадив окно стулом, Солиман выскочил на улицу. И под благовест заутрени, дрожа в ознобе, — он подхватил малярию, занесенную в Рим из Понтийских болот, — негр взывал к Великому Легбе, молил помочь ему найти путь обратно в Сан-Доминго. В ладонях и пальцах у него осталось непереносимое ощущение, словно он притронулся к призраку. Ему казалось, что Вышняя Сила, войдя в его тело, швырнула его на могильную плиту, как случалось с иными неграми у него на родине, с одержимыми, которых боятся и почитают крестьяне, ибо они состоят в самых тесных сношениях с Хозяевами Кладбищ. Тщетно пыталась королева Мария Луиза облегчить его муки успокоительным питьем из горькой травы *eupatorium villosum*, которую доставляли ей из Капа через Лондон по особой милости президента Буайе ¹³². Солиман дрожал от холода. Мрамор римских палат и статуй заволкло нежданным сырым туманом. Летнее небо час от часу мутнело. Обеспокоенные недугом камердинера, принцессы послали за доктором Антоммарки ¹³³, который состоял при Наполеоне на острове

¹³¹ После смерти генерала Леклерка Полина Бонапарт в 1803 г. вышла замуж за князя Камило Боргезе. В 1805 г. знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова (1757–1822) создал статую Венеры, известную под названием «Торжествующая Венера», моделью для которой послужила Полина Бонапарт.

¹³² После смерти Анри Кристофа северная и южная части острова Гаити образовали единую республику, во главе которой стоял Жан-Пьер Буайе (1776–1850).

¹³³ *Антонмарки, Франческо* (1780–1838) — корсиканец, врач Наполеона I.

святой Елены: он слыл медиком весьма сведущим и пользовался особою славой как гомеопат. Но выписанный им рецепт так и остался лежать в ящике ночного столика. Повернувшись ко всем спиною, надсадно дыша в стену, оклеенную зеленой бумагой в желтых цветах, Солиман искал пути к богу, что остался в далекой Дагомее, стоял там где-нибудь в тени на перекрестке, и красный фаллос его покоился на посохе, который он для того повсюду носил с собою.

Papa Legba, ouvri barri; -a pou moin, ag;
y; ,

Papa Legba, ouvri barri; -a pou moin, pou moin passer 134.

II. Королевский дворец

Ти Ноэль в числе первых бросился грабить дворец Сан-Суси. По этой-то причине и были меблированы столь причудливым образом развалины бывшей усадьбы Ленормана де Мези. Подвести их под кровлю по-прежнему не представлялось возможным, поскольку отсутствовали поверхности, могущие служить опорами для балки либо бревна, но старик, орудуя мачете, высвободил из зарослей еще несколько каменных останков различных частей здания, и на свет божий появились глыбы фундамента, подоконник, три ступеньки, кусок стены, на кирпичах которой сохранился алебастровый лепной карниз, каким обыкновенно украшали столовые в нормандском вкусе. В ту ночь, когда по Равнине сновали мужчины, женщины, дети, таща на голове кто часы с маятником, кто стулья, кто балдахины, кто жирандоли, кто скамеечки для молитвы, кто лампы и тазы для умывания, Ти Ноэль несколько раз наведывался в Сан-Суси. Таким образом он стал обладателем наборного столика работы Буля; столик стоял перед кухонным очагом, который служил старому негру опочивальней и труба которого была заткнута соломой, а вокруг Ти Ноэль расставил ширмы из далекого Короманделя ¹³⁵, затканые смутными фигурами по тусклому золоту фона. На уцелевших плитах пола, разрушенного травами и корнями, покоилось чучело луны-рыбы, некогда поднесенной в дар принцу Виктору королевским ученым обществом Лондона, а рядом стояла музыкальная шкатулка и толстостенный графин зеленого стекла с застывшими внутри пузырьками, которые переливались всеми цветами радуги. Еще Ти Ноэлю досталась кукла в наряде пастушки, мягкое штофное кресло и три тома Французской энциклопедии, которыми он пользовался как сиденьем во время трапез, состоявших из стеблей сахарного тростника.

Но больше всего радости доставляло старику обладание камзолом Анри Кристофа, зеленым шелковым камзолом с нежно-розовыми кружевными манжетами, в котором Ти Ноэль щеголял постоянно; наряд его довершала соломенная шляпа, сплюснутая и примятая наподобие треуголки, и шляпа эта, украшенная алым цветком вместо

¹³⁵ *Коромандель* — район на восточном побережье полуострова Индостан. В XVIII в. французы и англичане вели оживленную торговлю с городами Короманделя.

кокарды, придавала Ти Ноэлю поистине королевский облик. В послеполуденную пору он похаживал среди своей мебели, расставленной под открытым небом, возился с куклой, умевшей закрывать и открывать глаза, либо заводил музыкальную шкатулку, без конца наигрывавшую все тот же немецкий лендлер. Теперь Ти Ноэль говорил без умолку. Он говорил, остановясь посреди дороги и размахивая руками; говорил, обращаясь к обнаженным до пояса прачкам, стоявшим на коленях в мелких ручьях с песчаным дном и полоскавшим белье; говорил, обращаясь к детям, водившим хоровод. Но больше всего говорил он, когда усаживался за свой наборный столик и брал в руку ветку гуайявы, которую держал наподобие скипетра. На память ему приходили смутные обрывки историй, которые рассказывал однурукий Макандаль столько лет назад, что он сам запамятовал, когда это было. Постепенно в нем крепла уверенность, что ему предстоит свершить некое деяние, хотя суть этого деяния не была ему открыта ни знамением, ни вещим голосом. Во всяком случае, деяние будет великое, достойное человека, который прожил столько лет на этой земле и наплодил столько детей по ту и по сю сторону моря, а они об отце и думать забыли, помнят только о собственных детях. И по всему явно было, что близится время великих дел. Когда за поворотом тропинки ему встречались женщины, они махали ему светлыми платками в знак почтительного приветствия, склоняясь перед ним, как пальмы, что в день воскресный склонились перед Христом, радуясь Спасителю. Когда он проходил по деревне, старухи приглашали его присесть на пороге хижины, угощали глотком прозрачного рома в плошке из выдолбленной тыквы либо только что скрученной сигарой. Однажды, под перестук барабанов, в плоть Ти Ноэля вселился дух монарха, властителя Анголы, и старик произнес длинную речь, полную недомолвок и посулов. А потом на земли его пришли стада. Ибо все эти коровы, и козы, и овцы, что щипали траву среди развалин, служивших ему дворцом, были поднесены ему в дар подданными, тут не могло быть сомнения. Развалясь в кресле, расстегнув камзол, нахлобучив соломенную треуголку и неспешно почесывая голое брюхо, Ти Ноэль отдавал распоряжения в пространство. Но то были эдикты благодушного правителя, ибо свободе, им установленной, казалось, не грозил деспотизм ни со стороны белых, ни со стороны черных. По воле старика пустырь меж обломками стен становился вместилищем множества прекрасных вещей, прохожему он жаловал сан министра, а крестьянину с серпом — генеральский чин; он даровал титулы, раздавал венки, благословлял девушек, а за верную службу награждал своих подданных полевыми цветами. Так учредил он Орден Горькой Метелки, как в народе зовут чернобыльник, и Орден Рождественского Дара, белого вьюнка-колокольчика, что растет в полях, и Орден Доброго Моря, пышноцветной тропической мальвы, и Орден Ночного Красавчика, называемого еще ночным жасмином. Но самым почетным и желанным был Орден Подсолнуха, ибо он был ярче и крупнее всех прочих. Остатки изразцового пола в его аудиенц-зале под открытым небом были местом, весьма удобным для танцев, а потому во дворец частенько заглядывали крестьяне, и они приносили с собою бамбуковые свирели, чача и литавры. В расщепленных толстых сучьях были зажаты горящие лучины, и Ти Ноэль, кичась пуще прежнего своим зеленым камзолом, восседал во главе стола между Отцом из Саванны, представителем церкви мятежных негров, и старым солдатом, участником битвы при Вертьере, в которой был разбит Рошамбо ¹³⁶; в торжественных случаях он облачался в походный мундир, некогда

¹³⁶ Битва при Вертьере произошла 18 ноября 1803 г. между французами, которыми командовал Рошамбо, и повстанческой армией Дессалина.

синий, а теперь блекло-голубой, да и отвороты из красных стали розоватыми, ибо крыша его хижины немилосердно текла.

III. Землемеры

Но однажды утром пришли землемеры. Нужно видеть землемеров за делом, чтобы представить себе, какой испуг могут нагнать своим присутствием эти существа, занятые деятельностью, сходной с деятельностью насекомых. Землемеры, появившиеся на Равнине, прибыли из далекого Порт-о-Пренса, перевалив через подернутые туманом кряжи; то были немногоречивые люди с очень светлой кожей и одетые — должно сознаться — самым заурядным образом; но они растягивали по земле длинные ленты, вбивали колышки, укрепляли отвесы и поминутно пускали в ход линейки и угольники. Когда Ти Ноэль увидел, что эти подозрительные господчики шныряют по его землям, он обратился к ним с гневной речью. Но землемеры не стали его слушать. Они нагло ходили где вздумается, все измеряли и толстыми плотницкими карандашами заносили пометки в свои серые книги. Старик с негодованием отметил, что они изъясняются на языке французов, ненавистном языке, который он успел позабыть с тех пор, как мосье Ленорман де Мези проиграл его в карты в Сантьяго-де-Куба. Назвав землемеров сукиными детьми, Ти Ноэль повелел им убраться прочь и так возвысил голос, что один из пришельцев схватил его за шиворот и, хлопнув линейкой по животу, отшвырнул в сторону, чтобы старик не торчал в поле зрения его окуляра. Ти Ноэль укрылся у себя в кухонном очаге и, высунув голову из-за Коромандельской ширмы, выплевывал проклятья. Но на другой день, блуждая по Равнине в поисках пропитания, он обнаружил, что землемеры кишат повсюду, негры сотнями трудятся на полях, расчищая их и размежевывая, а за их работой наблюдают мулаты верхами, в рубахах с отложным воротником, широких шелковых поясах и ботфортах. Навстречу ему во множестве попадались крестьяне на осликах, навьюченных коробами с курами и поросятами; бросив свои хижины, они перебирались в горы, а женщины вопили и плакали. Один из беглых рассказал Ти Ноэлю, что работа на полях снова стала принудительной, а плеть теперь в руках у мулатов-республиканцев, новых хозяев Северной равнины.

Макандаль не мог предвидеть такой напасти, как принудительный труд. И Букман, негр с острова Ямайка, тоже не мог. Власть мулатов — это было что-то новое, не входившее в замыслы Хосе Антонио Апонте ¹³⁷, который был обезглавлен по приказу маркиза де Сомеруэлоса, — историю его мятежа Ти Ноэль узнал, когда был рабом на Кубе. Даже Анри Кристофу едва ли пришло бы в голову, что земли Сан-Доминго станут добычей этой сомнительной аристократии, этой касты полукровок, прибравших к рукам имения, привилегии и должности. Старик поглядел в ту сторону, где высилась цитадель Ла-Феррьер. Но туман стоял у него в глазах, он уже не видел так далеко. Слово Анри Кристофа претворилось в камень и не звучало более в мире живых. От единственного в своем роде монарха остался только палец, он хранился в далеком Риме, плавал в хлебном вине, налитом в сосудец горного хрусталя. И, следуя добросовестно примеру супруга, королева Мария Луиза распорядилась в

¹³⁷ Апонте, Хосе Антонио (? — 1812) — кубинский негр, руководитель заговора, целью которого было создать на Кубе государство негров.

завещании, чтобы после смерти ей отсекали правую ступню и, положив в спирт, хранили бы оную в Пизе, в часовне капуцинов, возведенной ее благочестивыми щедротами; завещание же она составила после того, как вместе с дочерьми побывала на водах в Карлсбаде. Как ни ломал себе голову Ти Ноэль, он не мог ничего измыслить, дабы выручить своих подданных, обреченных гнуть спину под бичом новых господ. Отчаяние охватывало старика, ибо цепи, словно лианы, непрерывно давали побеги, железа непрерывно множились, беды следовали за бедами, и слабые духом, усматривая в том доказательства тщеты всякого мятежа, смирились со своей участью. Ти Ноэль побаивался, что его тоже могут заставить работать на полях, невзирая на его годы. И тут ему снова вспомнился Макандаль. Раз человеческое обличье навлекает столько невзгод на своего обладателя, лучше уж на время избавиться от него и следить за событиями на Равнине под видом менее заметных тварей. Придя к такому решению, Ти Ноэль диву дался, как легко превратиться в животное, когда на то обладаешь властью. Для пробы он вскарабкался на дерево, пожелал стать птицей — и тотчас стал птицей. Сидя высоко на ветке, он косился на землемеров и расклевывал мякоть плода каймито. На следующий день он пожелал стать ослом — и стал ослом; но ему пришлось во всю прыть улепетывать от какого-то мулата, который собирался стреножить его и выхолостить кухонным ножом. Он сделался было осой, но ему вскорости приелось геометрическое однообразие восковых построек. Когда же он по недомыслию обернулся муравьем, ему пришлось таскать невероятные тяжести по бесконечным дорогам под надзором головастых особей, слишком живо напоминавших ему надсмотрщиков Ленормана де Мези, стражников Кристофа, нынешних мулатов. Случалось, что целая колония насекомых гибла под копытами коня. Не тратя времени попусту, головастые особи снова строили выживших в ряды, снова прокладывали путь, и хлопотливая суета продолжалась своим чередом. Поскольку Ти Ноэль был всего-навсего ряженный и никоим образом не почитал себя обязанным блюсти интересы Вида, он отстал от прочих и спрятался у себя под столом, где в ту ночь нашел прибежище от назойливого мелкого дождика, щедро поливавшего иссушенный солнцем дрок, отчего над полями запахло прелой соломой.

VI. Agnus dei 138

День обещал быть душным, тучи повисли над самой землей. Утренняя роса еще не просохла на паутине, когда великий гомон, обрушившись с неба, огласил владения Ти Ноэля. Спотыкаясь и падая, по траве ковыляли гуси из тех, что содержались некогда в птичниках Сан-Суси; неграм их мясо не пришлось по вкусу, и потому, грабя дворец, они не тронули гусей, которые переселились в лес, в тростниковые заросли, где жили все это время на полной свободе. Старик был чрезвычайно рад гостям и принял их изъяснениями живейшего восторга; ему ли было не знать, какая это умная и жизнерадостная птица, ведь он имел случай познакомиться с высокими достоинствами гусяного племени, когда мосье Ленорман де Мези предпринял малоуспешную попытку разводить гусей у себя в именье, надеясь, что они приспособятся к новому для них климату. Гуси плохо переносили жару, а потому гусыни неслись раз в два года, откладывая всего по пяти яиц. Но событие это обставлялось сложными

обрядами, передававшимися и соблюдавшимися из поколения в поколение. Брачное торжество праздновалось на берегу, где-нибудь на отмели, в присутствии всего клана гусынь и гусаков. Молодой гусь на всю жизнь соединялся со своей подругой и покрывал ее под ликующее гоготание сородичей, которые освящали брак обрядовыми танцами, кружась, притоптывая и поводя шеей. Затем весь клан приступал к сооружению гнезда. Пока наседка сидела на яйцах, ее охраняли гусаки, и они были настороже постоянно, даже ночью, когда прятали круглый глаз под крылом. Если неуклюжим гусятам в желтом пуху грозила опасность, самый старый гусак защищал их грудью и клювом, без колебаний нападая на овчарку, на всадника, на повозку. Гуси были народ основательный, склонный к порядку, рассудительный; форма их бытия исключала возможность порабощения одних представителей племени другими. Принцип власти, олицетворяемый вожаком, был необходим лишь для поддержания порядка внутри клана, и в этом отношении власть вожака была того же свойства, что власть царька или старейшины в древних африканских общинах. От прежних опрометчивых превращений Ти Ноэлю было мало проку, а потому он воспользовался своим сверхъестественным даром, дабы превратиться в гуся и стать членом птичьего племени, поселившегося в его владениях.

Но когда он пожелал занять свое место в клане, на него угрожающе нацелились высокомерно вытянутые шеи и клювы с твердыми зубцами по краям. Его не подпустили к общему выпасу, и белая стена из встопорщенных перьев отгородила от него равнодушных самок. Тогда Ти Ноэль попробовал стушеваться, не докучать своим обществом, поддакивать прочим. В ответ гуси презрительно пожимали крыльями. Он пытался снискать расположение гусынь, показав им известное ему одному местечко, где рос кресс с удивительно нежными корешками, но труды его пропали даром. Серые хвосты досадливо подергивались, желтые глаза смотрели с надменно недоверчивым выражением, которое повторяли, казалось, пятнышки глазков у затылка. Клан предстал перед Ти Ноэлем в виде некой общины избранных, отвергавшей всех чужаков без изъятия. Великий Гусак из Сан-Суси никогда не снизошел бы до каких бы то ни было сношений с Великим Гусаком из Дондона. Если бы они столкнулись друг с другом, разразилась бы война. И тут Ти Ноэль понял, что, домогайся он годы и годы, ему не удастся приобщиться ни к обязанностям, возлагаемым на членов клана, ни к его обрядам. Ему недвусмысленно дали понять: дабы уповать на равенство всех гусей меж собою, мало быть просто гусем. Никто из гусей общины не плясал и не пел у него на свадьбе. Никто из ныне живущих не был свидетелем его появления на свет. Он не мог предъявить хоть сколько-нибудь убедительной родословной, а перед ним были представители четырех поколений с безупречно чистой кровью. Словом, он был метек 139.

И тогда Ти Ноэль смутно осознал, что презрение гусей было ему карою за малодушие. Ведь если Макандаль долгие годы жил в образе разных животных, то лишь ради того, чтобы сослужить службу людям, не ради того, чтобы спастись из их мира бегством. И вот, вновь обретя обличье и долю человека, Ти Ноэль достиг высшего прозрения. За время единого содрогания прожил он главные часы своей жизни и вновь увидел героев, что возвестили ему силу и мощь его далеких африканских предков и поселили в нем веру в грядущее, ростки которого они

139 *Метек*. — В Древней Греции метеками называли чужестранцев, которые жили в Аттике, но не обладали правами афинского гражданина.

провидели. Он ощутил себя таким древним, словно прожил века и века. Вселенская усталость грузом целой планеты с горами и скалами легла ему на плечи, утратившие былую силу в непрестанных трудах, мятежах и муках. Ти Ноэль расточил наследство, что досталось ему, и все же, дойдя до предела нищеты, он оставлял людям все вверенное ему достояние в целостности и сохранности. Лишь плоть его была подвластна времени. И теперь он понимал, что человеку не дано знать, ради кого страдает он и надеется. Он страдает, и надеется, и трудится ради людей, которых никогда не узнает, а они, в свой черед, будут страдать, и надеяться, и трудиться ради других людей, которые тоже не будут счастливы, ибо человек никогда не удовлетворится долей счастья, ему отпущенной, и всегда жаждет большего. Но в том и состоит величие человека, что он стремится улучшить сущее. Что он возлагает на себя бремя Деяний. В Царстве небесном человеку нет причины искать величия, ибо там всё — вечная иерархия, непостижимая в простоте своей, и нет там предела бытию, и нет нужды в самопожертвовании, а есть лишь отдохновение и улады. И потому человек, изнуренный бедами и Деяниями, прекрасный в нищете своей, не утративший способности любить среди мук своих, может обрести свое величие во всей мере и полноте его лишь в Царстве земном.

Ти Ноэль взгромоздился на свой стол, попирая задубелыми ступнями узоры маркетри. В той стороне, где был Кап, небо потемнело, словно его заволокли дымом пожаров, как в ту ночь, когда запели все раковины на горе и по побережью. Старик возвестил войну новым господам и повелел своим подданным идти в бой на мулатов, самочинно присвоивших власть и творящих беззаконные дела. В то же мгновение могучий ветер, рожденный над зелеными водами Океана, неистово взвыл и, протиснувшись сквозь долину Дондон, нагрянул на Северную равнину. И взревели в ответ жертвенные быки на Епископской Митре, и закружились в воздухе штофное кресло, тома энциклопедии, музыкальная шкатулка, кукла-пастушка, рыба-луна, и рухнули последние развалины бывшей усадьбы. Все деревья полегли кронами на юг, а корневища их обнажились. И всю ночь напролет море, дождем обрушившееся на землю, хлестало отроги гор, оставляя на них соленый след.

И с той поры никто ничего не знал о дальнейшей участи Ти Ноэля и его зеленого камзола с нежно-розовыми кружевными манжетами; знал о том разве что большой кондор, птица, живущая чужой смертью; раскинув намокшие крылья, дожидаясь он солнца, подобный кресту из перьев, а потом очертания креста сместились, кондор взмыл в небо и, вытянувшись в черную черту, исчез в чащах Буа-Кеман.

Каракас, 16 марта 1948 г.

Век просвещения

© Перевод Я. Лесюк

Моей жене Лилии

Слова не падают в пустоту. 140

«Зогар»

В ту ночь я вновь увидел грозную Машину. Она высилась на носу, как дверь, распахнутая в широкий небосвод; ветер уже доносил до нас запахи земли: они плыли над океаном, таким спокойным, так размеренно катившим свои волны, что послушный рулю корабль, казалось, замер в своем движении, застыл между «вчера» и «завтра», которые словно перемещались вместе с нами. Время остановилось между Полярной звездой, Большой Медведицей и Южным Крестом, — не знаю, ибо я плохо разбираюсь в астрономии, так ли назывались на самом деле многочисленные созвездия над нашей головой: их полный таинственного значения мерцающий блеск то угасал, то снова загорался при свете полной луны, побледневшей от белизны Млечного Пути... А дверь без створок высилась на носу, она состояла лишь из опоры и стоек, меж которых виднелся наполовину срезанный и повернутый фронтоном, черный треугольник со стальным и холодным лезвием. Страшный остов стоял тут, голый и ничем не прикрытый, он вновь нависал над сном людей, как предупреждение, которое в равной мере относилось ко всем нам. Мы оставили эту грозную Машину на корме, далеко-далеко, мы оставили ее в пору северных апрельских ветров, и вот она теперь опять возникла перед нами уже на носу корабля, возникла как вожатый, — благодаря безукоризненной точности своих параллелей, благодаря безжалостной верности своих геометрических линий она походила на гигантский навигационный прибор. Теперь вокруг нее уже не развевались стяги, не слышна была барабанная дробь и клики толпы; она не ведала ни волнения, ни гнева, ни слез, ни опьянения тех людей, что окружали ее там наподобие хора античной трагедии, когда скрипели колеса тележек, катившихся к одному и тому же месту, и ритмично били барабаны. Теперь Машина, точно дверь, открытая в ночь, одиноко возвышалась над резной фигурой, укрепленной на носу корабля, и ее освещали отблески широкого косоугольного лезвия, а деревянный каркас, казалось, обрамлял звездную панораму. Волны быстро набегали и расступались, они лизали корпус судна, а потом сходились за кормой с таким долгим и мерным рокотом, что он постепенно начинал походить на безмолвие, вернее, на то, что человек именуется безмолвием, когда не слышит звуков, похожих на звуки его собственной речи. То было живое, трепещущее и размеренное безмолвие, которое пока еще не стало безмолвием людей, обреченных и застывших от ужаса... Когда косоугольное лезвие вдруг со свистом обрушилось вниз и горизонтальная переключательная планка ясно обозначилась, точно дверная притолока над боковыми стойками, Облеченный Властью человек, рука которого привела механизм в действие, проворчал сквозь зубы: «Надо уберечь ее от морской соли». И он затянул зловещую Дверь большим просмоленным полотном, которое было заброшено на нее сверху. Ветер принес

140 «Зогар» — одно из произведений средневековой еврейской религиозно-мистической литературы, комментарий к «Пятикнижию», составленный, вероятно, в XIII в. испанским евреем Моисеем из Леона.

запахи земли — перегноя, навоза, колосьев, древесной смолы, он принес их с острова, несколько веков назад поручившего себя покровительству пресвятой девы Гваделупы: в Касересе (в Эстремадуре) и в Тепейаке (в Америке) она возносила свой силуэт над полумесяцем, который держал в руке архангел.

Позади осталась юность с ее милыми сердцу картинками, которые ныне — три года спустя — казались мне столь же далекими, сколь далеким казалось мне слабое и бессильное существо, каким я был до того, как однажды вечером к нам в дом под грохот дверных молотков вошел Незнакомец; и таким же далеким казался мне теперь этот свидетель великих событий, который некогда был вожатым, светочем, а ныне превратился в угрюмого человека, облеченного властью; перегнувшись через борт, он погрузился в раздумье возле черного прямоугольника, прикрытого защитным чехлом и раскачивавшегося в такт волнам, точно стрелка злоеущих весов... Вода порою освещалась от блеска рыбьей чешуи или проплывавшего мимо венка из саргассовых водорослей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Душеприказчик позади него все говорил и говорил; скорбным тоном он описывал зауспокойную службу, рассказывал о том, кто нес крест в похоронной процессии, о том, какие собрали пожертвования, вспоминал об одеждах и больших восковых свечах, о цветах и покровах, о реквиеме — один, мол, пришел на похороны в парадном мундире, другой плакал, а третий сказал, что мы из праха возникли и в прах обратимся, — однако мысль о смерти не вызывала должной скорби здесь, на борту суденышка, которое рассекало волны бухты под палящим дневным солнцем: лучи его поблескивали на гребне каждой волны, пена и водяные брызги ослепляли, солнце настигало и на открытой палубе, и под парусиновым навесом; оно лезло в глаза, проникало во все поры тела и нестерпимо жгло руки, искавшие покоя на фальшборте. Завернувшись в наспех сшитый траурный плащ, еще пахнувший краской, молодой человек обозревал город: в этот час, когда тени предметов, отражавших солнце, становились длиннее, город удивительно походил на гигантский канделябр в стиле барокко, зеленые, красные и оранжевые стеклянные подвески которого бросали разноцветные отблески на затейливое нагромождение балконов, аркад, куполов, бельведеров и галерей со спущенными жалюзи; город этот с тех пор, как его обитателями, нажившимися на последней войне в Европе, овладела строительная лихорадка, постоянно ощетинивался лесами и украшался праздничными шестами и мачтами, которые устанавливают каменщики в знак окончания работ. Он был вечно открыт ветрам, он жаждал этих ветров с моря и с суши — все ставни, жалюзи, створки окон и дверей, фрамуги распахивались навстречу первому же свежему дуновению, проносившемуся над ним. Тогда мелодично звенели хрустальные подвески на люстрах и канделябрах, обшитые стеклярусом абажуры на лампах, занавеси из бисерных нитей, шумно вертелись флюгера, возвещая о спасительном ветерке. Веера же из плотных мясистых листьев, из китайского шелка, из цветной бумаги застывали в бездействии. Но после короткой передышки люди снова возвращались к своему привычному занятию — приводили в движение застоявшийся в непомерно высоких покоях воздух. Свет тут превращался в сгустки зноя уже с самой зари, когда солнечные лучи

врывались даже в наиболее недоступные спальни, пронизывая занавеси и пологи от москитов; и особенно душно было в тот день — в самый разгар дождливого сезона — после неистового ливня, разразившегося в полдень, когда под раскаты грома и вспышки молний на землю обрушились потоки воды, влага стремительно излилась из туч, и теперь мокрые после дождя улицы курились, ибо опять вернулся зной. Как ни кичились дворцы своими гордыми колоннами и высеченными в камне гербами, но в дождливые месяцы они стояли в грязи, которая прилипала к их стенам, — так прилипает к телу неизлечимая болезнь. Достаточно было проехать карете, и тучи брызг взлетали над лужами, облепляя грязью порталы и ограды особняков: все мостовые и тротуары были в колдобинах, а застаивавшаяся в них вода переливалась из одной ямы в другую, издавая зловоние. Хотя здания были отделаны драгоценным мрамором, украшены изысканной лепкой и мозаичным орнаментом, хотя их окна были забраны такими изящными решетками, что завитки на них походили скорее не на железо, а на бледные металлические растения, прильнувшие к стеклам, — все же дома эти не были защищены от вязкой грязи, напоминавшей о том, что некогда тут тянулись болота: она проступала из почвы, как только с крыш начинала стекать вода...

Карлос подумал, что люди, пришедшие посидеть возле усопшего, вынуждены были переходить улицы, ступая по доскам, переброшенным через лужи, или перепрыгивать с камня на камень, — в противном случае они рисковали оставить башмак в непролазной грязи. Иностранцы, попадая в город на несколько дней и посещая балы, таверны и всевозможные значные места, где многочисленные оркестры обрушивали громовые звуки на щедрых моряков, а женщины раскачивали бедрами в такт неистовой музыке, с похвалой отзывались о красочности и заразительной веселости здешних мест; но тем, кому приходилось проводить тут весь год, были хорошо знакомы уличная пыль и грязь, а от селитры неизменно покрывались зеленью дверные молотки, ржавело железо, тускнело столовое серебро, на старинных гравюрах появлялся грибок, постоянно запотевали стекла рисунков и офортов, так что изображения, покоробившиеся от сырости, видны были как бы сквозь вуаль. Неподалеку от набережной Святого Франциска только что пристал к берегу североамериканский корабль, и Карлос машинально прочел по складам его название: «Эрроу»¹⁴¹. А душеприказчик все еще описывал погребальную церемонию, которая, разумеется, была необыкновенно пышной, — так и положено, когда провожают в последний путь столь достопочтенного человека: сколько там собралось одних только ризничих да служек, как богато было облачение священников, как все торжественно проходило! И все служащие фирмы глотали скупые мужские слезы, они плакали с той минуты, когда зазвучали псалмы зауспокойной мессы, и вплоть до поминовения усопших... Однако юноша словно не слышал этих слов, он был крайне раздосадован и утомлен, так как ему пришлось ехать верхом с самой зари — то по большой дороге, то по извилистым тропинкам, которым, казалось, не будет конца. Но не успел он прибыть в имение, где одиночество создавало некую иллюзию независимости, — ведь там можно было играть сонаты всю ночь при свете мерцающей свечи, никому не причиняя беспокойства, — как его догнала печальная весть, и Карлосу пришлось скакать домой во весь опор; однако как он ни спешил, но к похоронам не поспел.

— Мне не хотелось бы входить в тягостные подробности, — проговорил душеприказчик, — но ждать долее было невозможно. Только я да Софи^{#769};я, это

¹⁴¹ «Стрела» (англ.).

чистое создание, оставались в последнюю ночь возле гроба...

Карлос между тем ушел в мысли о трауре: из-за траура новая флейта, доставленная из тех мест, где изготавливают самые лучшие инструменты, пролежит теперь целый год в своем обитом черной клеенкой футляре, потому что надо считаться с принятыми в обществе обычаями, с нелепым представлением о том, будто музыка не должна звучать в доме, где поселилось горе. Кончина отца лишала его всего, что он любил, нарушала все его планы, вынуждала распротиться с заветными мечтами. Отныне ему предстояло заниматься делами торговой фирмы, а ведь он ничего не смыслил в цифрах! Облачась в черный костюм, он будет просиживать с утра до вечера за конторкой, закапанной чернилами, в обществе счетоводов и приказчиков, этих унылых людей, которым нечего сказать друг другу, ибо каждый все знает о соседе. Юноша мысленно оплакивал свою участь и дал себе слово при первом же удобном случае удрать отсюда на каком-нибудь подходящем корабле, никого не предупредив и ни с кем не простившись; но в эту минуту суденышко причалило к берегу, где их уже поджидал Ремихио; вид у него был печальный, а шляпу украшала траурная кокарда. Как только экипаж покати по городской улице, разбрасывая направо и налево комья грязи, морские запахи остались позади — их вытеснили иные запахи, поднимавшиеся от просторных складов, набитых кожами, вяленным мясом, кругами воска, бочонками с патокой, связками лука, хранившегося в темных углах так давно, что он пустил ростки, запахи кофе и какао, наваленного на весы. Вокруг слышался звон колокольчиков, возвещавший под вечер о возвращении на загородные пастбища подоенных коров. В этот предзакатный час, когда небо готово было вспыхнуть на несколько минут и затем словно растаять в объятиях быстро надвигающегося мрака, все пахло необычайно остро: плохо разгоравшиеся дрова и утопанный коровий помет, влажная парусина навесов, кожи в шорных мастерских и канареечное семя в клетках, висевших на окнах. От мокрых крыш пахло глиной; от непросохших стен — старым мхом; с лотков уличных торговцев на перекрестках доносился запах растительного масла, в котором кипели мясо и овощи; над Островом пряностей от печей и жаровен, на которых поджаривали кофе, валил темный дым, он толчками поднимался к строгим карнизам, забирался на крышу, окутывал теплым облаком статую какого-нибудь святого на колокольне и медленно таял. Но острее всего пахло, без сомнения, вяленое мясо; оно было повсюду, во всех подвалах, на всех складах, его едкий запах господствовал над другими городскими ароматами, он наполнял дворцы, пропитывал занавеси, проникал в зал, где шло представление оперы, спорил с запахом церковного ладана. Вяленое мясо, грязь и мухи были сущим проклятием этого города, куда заходили корабли всех стран света, но где, подумал Карлос, чувствовали себя хорошо разве одни только статуи, стоявшие на пьедесталах, измазанных красною глиной. Внезапно, как некое противоядие этому вездесущему запаху вяленого мяса, из какого-нибудь тупичка доносился благородный аромат табака, сложенного под навесом; его толстые кипы были туго связаны веревками из пальмового волокна, на плотных, еще сохранявших жизнь листьях виднелись, точно ссадины, светло-золотистые пятна, а вокруг табачных кип и даже между ними груды лежало все то же вяленое мясо. И Карлос с удовольствием вдохнул наконец приятный аромат табака. Но тут из-за часовни опять потянуло дымком от жаровен с зернами кофе. Он вновь с отчаянием подумал о безрадостном существовании, которое отныне ожидало его, о том, что флейта будет обречена на молчание, а ему самому придется жить в этом затерянном среди морей городе, на острове среди острова, который океанские валы окружают непроходимым

барьером, не позволяя никуда уйти; Карлосу казалось, что его уже похоронили заживо, и он теперь навсегда обречен вдыхать тошнотворный запах вяленого мяса, лука и рассола; он чувствовал себя жертвой и упрекал отца — какое кощунство! — в том, что тот столь внезапно и безвременно умер. В эти минуты юноша с прежде ему незнакомой болью ощущал, что остров может стать для него тюрьмой: ведь ты находишься в стране, откуда нет дорог в другие страны, дорог, по которым можно катить в коляске, мчаться верхом, брести пешком, переходить границы, ночевать то на одном, то на другом постоялом дворе, идти все вперед и вперед, повинаясь только собственной прихоти; нынче любоваться вставшей на пути горю, а завтра с пренебрежением вспоминать о ней, созерцая новую гору, устремляться вслед за обольстительной актрисой, с которой ты познакомился в городе, еще вчера тебе неведомом, и несколько месяцев волочиться за нею, присутствовать на всех представлениях, в которых она принимает участие, разделять с комедиантами их жизнь, полную превратностей...

Завернув за угол, экипаж проехал мимо стоявшего в нише креста, изъеденного морской солью, и остановился перед парадной дверью, обитой гвоздями; сбоку висел дверной молоток, обвязанный черной лентой. Плиты подъезда, крытого прохода и патио были усыпаны жасмином, туберозами, белыми гвоздиками и цветами бессмертника, выпавшими из венков и букетов. В большой гостиной их ожидала София, она осунулась, под глазами виднелись темные круги; на ней было траурное платье, слишком широкое и длинное, — девушка выглядела так, точно на нее надели футляр; вокруг суетились монахини ордена святой Клары, они разливали по пузырькам воду, настоянную на мелиссе, померанцевую эссенцию, отвары, насыпали нюхательную соль, желая обратить внимание вновь прибывших на свои неустанные хлопоты. Все они заговорили разом, призывая к мужеству, покорности и смирению тех, кто оставался здесь, в земной юдоли, в то время как другие уже приобщились к райской жизни, которая никогда не обманывает и не кончается.

— Отныне я стану вашим отцом, — плаксивым тоном говорил душеприказчик, стоя в углу под фамильными портретами.

На колокольне храма Святого Духа пробило семь. София подняла руку в знак прощания, посторонние поняли ее и со скорбными лицами попятнулись к выходу.

— Если вам что-нибудь понадобится... — сказал дон Косме.

— Если вам что-нибудь понадобится... — хором подхватили монахини.

Все засовы на входной двери были задвинуты. Пройдя через патио, где в окружении зарослей маланги, точно две колонны, чуждые всему архитектурному ансамблю, высились стволы двух пальм, кроны которых расплывались в сгущавшихся сумерках, Карлос и София направились в комнату, пожалуй, самую сырую и темную в доме, — к тому же она ближе всего была от конюшни; несмотря на это, именно здесь Эстебану удавалось подчас проспать целую ночь, не страдая от приступов болезни.

Но сейчас он висел, припав лицом к окну и уцепившись руками за самый верхний прут решетки, — от нечеловеческого усилия его тело вытянулось и напоминало распятие; он был почти голый, только на бедрах держалась шаль, а над нею выступали сильно выпиравшие ребра. Из его груди вырывался хриплый свист; свист этот как бы раздваивался и переходил в стон. Рука судорожно шарилась по решетке, словно ища более высокий прут, за который можно ухватиться, как будто больное тело, изборожденное фиолетовыми венами, стремилось вытянуться еще больше, стать еще тоньше. София, бессильная перед болезнью, от которой не помогали ни микстуры, ни

горчичники, провела влажным полотенцем по лбу и щекам страдальца. Почти тотчас же его пальцы выпустили железный прут, скользнули вдоль решетки, и Эстебан, подхваченный братом и сестрою, — это походило на сцену снятия с креста, — рухнул в плетеное кресло, глядя прямо перед собой широко раскрытыми потемневшими глазами; но хотя взгляд его казался пристальным, юноша ничего не видел. Ногти у него стали синие, голова по самые уши глубоко ушла в плечи. Он широко раздвинул колени, выставил вперед локти, его лицо и тело были воскового цвета, и он походил на аскета со старинных примитивов, подвергающего чудовищному умерщвлению свою плоть.

— А все этот проклятый ладан! — воскликнула София, понюхав траурную одежду Эстебана, брошенную на стул. — Когда я увидела в церкви, что он начал задыхаться...

Она внезапно умолкла, вспомнив, что ладан, запах которого не в состоянии был вынести больной, жгли на торжественных похоронах того, кто в надгробном слове соборного священника был назван горячо любящим отцом, зеркалом добродетели и образцовым семьянином. Эстебан между тем ухватился обеими руками за простыню, скрученную в виде веревки и прикрепленную к двум толстым металлическим кольцам в стенах. Юноша казался особенно слабым и жалким в окружении вещей, которыми София с детства пыталась развлечь его в часы приступов: музыкальной шкатулки, увенчанной фигурой пастушки; оркестра обезьян, механический завод которого был сломан; шара с воздухоплавателями, свисавшего с потолка, — его можно было поднимать и опускать, дергая за веревочку; часов, откуда выскакивала лягушка и плясала на бронзовой подставке; кукольного театра, декорации которого изображали средиземноморскую гавань, — на сцене попеременно валялись турки, солдаты, служанки и бородатые старички, у одного была свернута набок голова, у другого тараканы растрепали парик, из ноздрей и глаз забияки паяца сыпались опилки.

— В монастырь я не вернусь, — объявила София, поправив юбку и укладывая к себе на колени голову Эстебана, который медленно сползал на пол, стараясь охладить свой пылающий лоб о прохладные каменные плиты. — Мое место здесь.

II

Конечно же, смерть отца их сильно опечалила. И все-таки, когда они остались одни в залитой солнечным светом длинной столовой, где на стенах висели покрытые лаком натюрморты — фазаны и зайцы, обложенные гроздьями винограда; миноги, а рядом бутылки вина; пирог с подрумяненной корочкой, в которую так и хотелось впитаться зубами, — они не без внутреннего смятения ощутили почти приятное чувство свободы и принялись за обед, доставленный из соседней гостиницы, так как никому не пришло в голову послать слуг на рынок. Ремихио принес прикрытые салфетками подносы, на которых лежали серебристый мрежник, запеченный с миндалем, марципаны, голуби, жаренные на рашпере, и другие лакомые кушанья с трюфелями и засахаренными фруктами, — все это совсем не напоминало ни постный суп, ни нашпигованное мясо, обычно подававшиеся у них к столу. София спустилась из своей комнаты в халате и теперь отвлекалась от своих дум, пробуя все подряд, а Эстебан возвращался к жизни, воздавая должное красному виноградному вину, которое Карлос расхваливал на все лады. Дом, на который они прежде взирали как на что-то привычное, что-то одновременно хорошо знакомое и чужое, теперь, когда они чувствовали свою ответственность за его сохранность и за порядок в нем, приобретал в их глазах

огромную важность и словно бы предъявлял множество требований. Было очевидно, что отец — настолько ушедший в свои дела, что он даже по воскресеньям, перед мессой, отправлялся в порт, чтобы заключить сделки и, опережая других купцов, которые пожелают сюда только в понедельник, заполучить доставленные кораблями товары, — не обращал никакого внимания на жилище, рано покинутое их матерью: ее унесла грозная эпидемия инфлюэнцы, обрушившаяся на город. В патио не хватало каменных плит; статуи были покрыты пылью; уличная грязь упорно проникала в прихожую; обстановка гостиных и спален, состоявшая из разномастных предметов, напоминала скорее мебель, пошедшую с молотка, нежели украшение почтенного жилища. Фонтан с немymi дельфинами уже давно бездействовал, во внутренних дверях недоставало стекол. Несколько картин висело в потемневших от сырости простенках, но и тут царило полное смешение сюжетов и стилей; объяснялось это тем, что картины попали сюда случайно, из коллекции, проданной с аукциона. Правда, и эти картины имели, быть может, известную ценность, они, быть может, принадлежали кисти мастеров, а не копиистов; однако установить это здесь, в городе торгашей, было невозможно, ибо тут не было знатоков, способных оценить достоинства новой живописи или узнать руку великого художника прошлого при взгляде на потрескавшийся и потемневший от небрежного обращения холст. Вслед за «Избиением младенцев» — полотном, которое, возможно, написал кто-либо из учеников Берругете¹⁴², и «Усекновением главы святого Дионисия», созданным, должно быть, подражателем Риберы, виднелось полотно, изображавшее залитый солнцем сад, где резвились арлекины в масках; картина эта приводила Софию в восторг, несмотря на то что, по словам Карлоса, художники начала века злоупотребляли фигурой арлекина ради удовольствия, которое доставляла им игра красок. Сам Карлос предпочитал сюжеты, взятые из жизни, — жатву или сбор винограда, хотя признавал, что многие натюрморты, висевшие в передней — на них можно было увидеть чугунок, трубку, вазу с фруктами, кларнет рядом с листом нотной бумаги, — не были лишены своеобразной прелести, зависевшей исключительно от их фактуры. Эстебану же нравилось в живописи только то, что было рождено воображением, фантазией художника; он как зачарованный стоял перед картинами современных живописцев, которых влекли призрачные существа, сказочные кони и где нарушались все законы естества: то это был человек-дерево, пальцы которого переходили в побеги, то человек-шкаф, из живота которого торчали пустые ящики... Но любимой его картиной было большое полотно из Неаполя — работы неизвестного художника, — где в нарушение всех пластических законов было изображено апокалипсическое видение катастрофы. Называлась эта картина «Взрыв в кафедральном соборе», на ней была запечатлена взлетевшая на воздух, треснувшая на куски колоннада, однако колоннада эта сохраняла прежние очертания, казалось, она плавает в небе, грозя через миг стремительно упасть на землю, обрушив тяжелые глыбы камня на смертельно испуганных людей. («Не знаю, как можно смотреть на такие страсти», — часто говорила София, хотя на самом деле ее тоже завораживало это как бы замершее землетрясение, немой ужас, символ конца света, точно дамоклов меч нависшего над самой головой. «Это помогает мне подготовиться», — отвечал Эстебан, сам толком не зная почему, с тем безотчетным упрямством, которое побуждает человека из года в год повторять в одних и тех же обстоятельствах остроту,

¹⁴² Берругете, Алонсо (1480–1561) — испанский художник.

вовсе не забавную и ни у кого не вызывающую смеха.)

Хорошо еще, что немного подальше какой-то французский художник, запечатлевший на полотне плод своей фантазии — некий монумент посреди пустынной площади, сооружение в виде азиатско-римского храма, украшенного аркадами, обелисками и расписными сводами, — вносил этой картиной относительное успокоение, вселял в душу чувство незыблемости, столь необходимое после созерцания трагического бедствия. Рядом находилась столовая, где на стенах были развешаны натюрморты; мебели там было немного: два огромных буфета с посудой, устоявшие против термитов; восемь штофных стульев и большой обеденный стол с витыми колонками. Что касается остальной обстановки, то София безоговорочно заявляла: «Старье, которому место на толкучке!» При этом девушка думала о своей узкой кровати красного дерева, на которой ей приходилось спать, в то время как она всегда мечтала о широком ложе, где можно было бы спокойно поворачиваться с боку на бок, лежать, широко раскинувшись или свернувшись калачиком, словом, как тебе заблагорассудится. Отец, упорно придерживавшийся привычек, унаследованных от деревенских предков, всегда спал в своей комнате во втором этаже на походной кровати под распятием; по одну сторону его ложа высился большой ларь орехового дерева, а по другую сторону стоял мексиканский ночной сосуд из серебра, который хозяин дома поутру собственноручно величественным жестом сеятеля выливал на конюшне в яму для стока лошадиной мочи.

— Мои предки происходят из Эстремадуры¹⁴³, — заявлял он с таким видом, будто это все объясняло, и не упускал случая похвастаться своим суровым образом жизни и тем, что он никогда не ездил на балы и не целовал ручки дамам.

После смерти жены он неизменно ходил в черном, так он был одет и в тот день, когда апоплексический удар настиг его за конторкой: старик подписывал какую-то бумагу и упал лицом вниз, прямо на еще не просохший росчерк; дон Косме притащил в спальню его уже бездыханное тело. Лицо покойного сохраняло суровое и бесстрастное выражение человека, который никому никогда не делал одолжений, но зато и сам их ни у кого не просил. В последние годы жизни отца София лишь изредка виделась с ним по воскресеньям за домашней трапезой, ради которой ей разрешалось на несколько часов покидать стены монастыря святой Клары. Что же касается Карлоса, то с тех пор, как он окончил школу, отец постоянно посылал его в свое поместье, куда сын должен был отвозить распоряжения о начале сева, прополке или сборе урожая, — распоряжения эти вполне могла бы доставить почта, тем более что земли у них было очень мало и на ней произрастал главным образом сахарный тростник.

— Я преодолел верхом восемьдесят лиг только для того, чтобы привезти домой десяток кочанов капусты, — замечал юноша, опорожня переметные сумы после очередной поездки в деревню.

— Именно так и выковывается спартанский характер, — отвечал отец, который с такой же легкостью устанавливал связь между Спартой и кочанами капусты, с какой объяснял чудодейственную силу Симона-волхва, умудрявшегося подниматься над землей: старик выдвигал дерзкую гипотезу, согласно которой означенный маг обладал некоторыми познаниями в области электричества.

Отец все время противился желанию Карлоса изучать право, и делал он это из

¹⁴³ Эстремадура — одна из испанских провинций. Эстремадурские рыцари играли видную роль в завоевании Нового Света. Завоеватель Мексики Эрнандо Кортес и завоеватель Перу Франсиско Писарро были эстремадурцами.

безотчетного страха перед новейшими идеями и опасными политическими увлечениями, рассадником которых были, по его мнению, стены университета. Судьба же Эстебана его и вовсе не заботила; этот болезненный племянник, осиротевший еще в раннем детстве, рос в доме вместе с Софией и Карлосом на правах брата, его кормили и одевали так же, как их. Однако почтенного коммерсанта всегда раздражали люди со слабым здоровьем, особенно если они принадлежали к числу его родных, — и объяснялось это тем, что сам он никогда не болел, хотя круглый год занимался делами от зари до зари. Порою он заглядывал в комнату к юному страдальцу, и если заставал его в разгар приступа, то недовольно морщился и хмурил брови. Он что-то бормотал сквозь зубы о сырости, о том, что некоторые люди упорствуют в своем желании спать в каком-то логове по примеру древних кельтиберов, и, с тоской подумав о Тарпейской скале¹⁴⁴, обещал племяннику прислать только что привезенный с севера виноград, упоминал о калекках, ставших знаменитыми, а затем удалялся, пожимая плечами, скороговоркой произнося сочувственные и ободряющие слова, обещая достать новые лекарства и прося извинить его за то, что он не может уделить больше времени заботам о тех, кто по причине болезни не в состоянии принимать участие в полезной и созидательной деятельности... Они довольно долго просидели в столовой, пробуя различные кушанья в самой причудливой последовательности, лакомясь сперва фидами, а затем сардинами, запикивая в рот марципаны вместе с маслинами и сильно наперченной свиной колбасою; наконец «дети» — как их называл душеприказчик — отворили дверь, которая вела в соседнее помещение, где находились магазин и склад, ныне запертые на три дня по случаю траура. Миновав длинную вереницу конторских столов и несгораемых ящичков, они вошли в ряды, образованные горами мешков, бочек, тюков, прибывших сюда из разных мест. За Мучным рядом, где пахло заморской пшеницей, начинался Винный ряд, тут хранилось вино из Фуэнкарраля, из Вальдепеньяса и Пуэнте-де-ла-Рейна, из крана каждой бочки капала красная жидкость, распространяя вокруг ароматы погребка. Ряд Сетей и Такелажа заканчивался в темном углу, где остро пахло заготовленной впрок рыбой, — с хвоста каждой рыбины на землю стекали струйки рассола. Обрато молодые люди возвращались Кожевенным рядом, отсюда они попали на площадь Пряностей, — тут стояло множество ящичков, и достаточно было слегка втянуть в себя воздух, чтоб ощутить запах имбиря, лавра, шафрана и душистого перца из Веракруса. Ламанчские сыры, уложенные на тянувшихся одна над другой полках, вели к подворью Уксуса и Растительных масел, а дальше, в глубине, под сводами, хранились самые неожиданные товары: грудями лежали колоды карт, бритвенные приборы в футлярах, связки всяких замков, зеленые и красные зонты, небольшие мельницы для какао, а рядом были навалены доставленные из Маракайбо пледы, которые носят в Андах, и спрессованные в палочки краски, а также связки тонких золотых и серебряных пластинок, присланные из Мексики. Чуть поодаль на возвышении были уложены мешки с птичьими перьями, пышные и мягкие, как огромные пуховые перины, — Карлос бросился на них ничком, подражая движениям пловца. Старинная армиллярная сфера, кольца которой пришли в движение от рассеянного жеста Эстебана, возвышалась, точно символ торговли и мореплавания, посреди этого мира вещей, доставленных сюда из дальних и ближних заморских стран, а надо всем господствовал запах вяленого и копченого мяса,

¹⁴⁴ *Тарпейская скала* — утес на Капитолийском холме, откуда в Древнем Риме сбрасывали приговоренных к смертной казни.

тошнотворный запах, присутствовавший и тут, — правда, его еще можно было выносить, потому что мясо хранилось не здесь, а в самом удаленном подвале. Миновав Медовый ряд, молодые люди направились в помещение конторы.

— Какая гадость, — пробормотала София, прижимая платок к носу. — Какая гадость!

Взгромоздившись на мешки с ячменем, уложенные чуть не до самого потолка, Карлос обозревал складские помещения и со страхом думал о том дне, когда он начнет продавать все это, вновь покупать и опять продавать, заключать сделки, торговаться, ничего при этом не понимая в ценах, не умея отличить один злак от другого; ему надо будет добираться до сути вещей, перелистывая тысячи писем, квитанций, торговых заказов, расписок, накладных, хранящихся в ящиках конторских столов. От запаха серы у Эстебана запершило в горле, глаза его налились кровью, и он принялся чихать. Софию затошнило от смешанного запаха вина и сельдей. Поддерживая под руку двоюродного брата, которому угрожал новый припадок, девушка поспешно направилась к дому, где ее уже поджидала настоятельница монастыря святой Клары с душеспасительной книгой в руках. Карлос вернулся последним, прихватив с собой армиллярную сферу, которую он решил поставить у себя в комнате. Окна гостиной были затворены, в ней царил полумрак, монахиня вполголоса говорила о соблазнах и обманах мира сего и о блаженной жизни в монастыре, а юноши тем временем развлекались, перемещая тропики и эклиптики вокруг земного глобуса. Солнце припекало все сильнее, и предвечерняя духота становилась невыносимой, так как от зноя над уличными лужами поднимались зловонные испарения, — и в этой тяжелой атмосфере для молодых людей зарождалась новая жизнь. Они опять встретились за ужином под сенью натюрмортов, изображавших плоды и битую птицу, и принялись строить планы на будущее. Душеприказчик советовал им провести время траура в имени, обещая за этот срок внести полную ясность в запутанные дела их отца, — покойный, мол, привык заключать сделки на веру, он не составлял никаких контрактов и все держал в голове. Таким образом, Карлос по возвращении найдет все в полном порядке и сможет, как только пожелает, взять в свои руки управление торговой фирмой. Но София вспомнила, что все попытки вывезти Эстебана в деревню, где бы он мог «подышать чистым воздухом», всегда приводили к обострению болезни. В конечном счете он меньше всего страдал от приступов удушья в своей комнате с низким потолком, расположенной возле самых конюшен... И тогда они заговорили о всевозможных путешествиях. Тысячи куполов Мехико заманчиво сверкали на противоположном берегу залива. Однако Карлоса больше манили Соединенные Штаты с их умопомрачительным прогрессом, ему очень хотелось своими глазами увидеть Нью-Йорк, поле сражения у Лексингтона¹⁴⁵ и Ниагарский водопад. Эстебан мечтал о Париже, о его картинных галереях, о кофейнях, где кипели споры, о литературной жизни французской столицы; он бы охотно прослушал курс в «Коллеж де Франс»¹⁴⁶, где изучали восточные языки — знать их было полезно не столько для заработка, сколько для того, чтобы иметь возможность читать прямо в рукописи

¹⁴⁵ Под селением Лексингтон в современном штате Нью-Йорк американские патриоты завязали сражение с английскими солдатами. Этой битвой 19 апреля 1775 г. началась вооруженная борьба с Англией, в ходе которой была провозглашена независимость США.

¹⁴⁶ «Коллеж де Франс» — одно из стариннейших высших учебных заведений Франции, основанное в 1529 г. В XVIII в. был центром изучения восточных языков.

недавно обнаруженные тексты на различных азиатских языках, к чему он страстно стремился. А София сможет присутствовать там на представлениях оперы и театра «Комеди Франсез», в фойе которого можно было любоваться таким прославленным и прекрасным произведением искусства, как «Вольтер» работы Гудона. В своих мечтах они переносились с площади Святого Марка, по которой разгуливали голуби, в город Эпсом, известный своими скачками; из театра «Сэдлерс Уэллс» — в залы Лувра; из знаменитых книжных лавок они переходили в цирки, посещали развалины Пальмиры и Помпеи, любовались низкорослыми этрусскими лошадами и восхищались яшмовыми вазами, выставленными в зале на Григ-стрит, — они хотели все повидать, но ни на чем не могли остановиться; пробуждающаяся чувственность заставляла Эстебана и Карлоса втайне стремиться к миру легкомысленных развлечений, они рассчитывали на то, что будут предаваться любовным утехам, пока София станет делать покупки и осматривать памятники старины. Они так и не приняли никакого решения и, помолвившись, со слезами на глазах обнялись, жалуясь друг другу на то, что чувствуют себя совершенно одинокими в целом мире; им было особенно сиротливо в этом ко всему безразличном, бездушном городе, глубоко чуждом всякому искусству и поэзии, погрязшем в торгашестве и безобразии. Изнемогая от жары и не находя себе места от проникавшего с улицы запаха вяленого мяса, лука и кофе, они выбрались на плоскую крышу дома, предварительно облачившись в халаты и прихватив с собой одеяла и подушки: улегшись на спину, они долго созерцали небо и негромко говорили о других планетах, где, возможно, — ну, конечно же! — есть жизнь и где она, быть может, гораздо лучше, чем на Земле, так как здесь надо всем царит смерть; наконец незаметно для себя они забылись сном.

III

София чувствовала, что монахини задались целью непременно сделать из нее служанку господина бога, — они действовали настойчиво, но неторопливо, неотступно, но мягко; однако девушке приходилось бороться не только с ними, а и с собственными сомнениями, и потому она с особенным жаром предалась заботам об Эстебана и настолько вошла в роль матери, что, не задумываясь, раздевала его и обтирала влажной губкой, когда сам он был не в силах сделать это. Болезнь юноши, на которого она всегда смотрела как на родного брата, укрепляла ее нежелание удалиться от мира, — в самом деле, не могла же она оставить его одного! Мало того, делая вид, что она не верит в богатырское здоровье Карлоса, София — стоило только брату кашлянуть — немедленно укладывала его в постель и заставляла стаканами пить крепкий пунш, что приводило молодого человека в отличное расположение духа. В один прекрасный день она обошла все комнаты дома с пером в руках, — по пятам за ней следовала горничная-мулатка, которая несла в руках чернильницу с таким видом, будто это были святыне дары, — и сделала опись пришедшей в негодность мебели. Затем она старательно составила перечень вещей, необходимых для того, чтобы прилично обставить жилище, и вручила его душеприказчику, который усердно разыгрывал роль приемного отца, стремящегося выполнить малейшее желание сирот... И вот накануне рождества стали прибывать ящики и тюки, их как попало складывали в комнатах нижнего этажа. Все, начиная с большой гостиной и вплоть до каретного сарая, заполонила мебель, она оставалась нераспакованной, выглядывая из досок, соломы и стружек в ожидании того часа, когда ее расставят по местам.

Тяжелый буфет, который с трудом втащили шесть негров-носильщиков, загромождал прихожую, а прислоненный к стене ящик с лакированной ширмой так и стоял, заколоченный гвоздями. Китайские чашки все еще лежали в опилках, в которых они совершили далекое путешествие, а многочисленные книги из будущей библиотеки новых идей и новой поэзии высились стопками повсюду — на креслах и на столиках, еще пахнувших свежей краской. Сукно для бильярда протянулось, подобно зеленому лугу, от зеркала в стиле рококо до строгого письменного стола, присланного из Англии. Однажды ночью в каком-то ящике послышался звук, похожий на выстрел: это лопнули от сырости струны арфы, которую София заказала через неаполитанского торгового агента. В доме завелись мыши — они проникли сюда из соседних зданий; тогда пришлось принести кошек, и те безжалостно точили когти об изящные завитки мебели красного дерева и вытаскивали нитки из обивки, украшенной единорогами, попугаями и борзыми. Однако беспорядок достиг апогея, когда начали прибывать приборы для физического кабинета: Эстебан заказал их, желая заменить заводные куклы и музыкальные шкатулки предметами, которые не только развлекают, но и развивают ум. Чего тут только не было — телескопы, гидростатические весы, куски янтаря, буссоли, магниты, архимедовы винты, модели лебедек, сообщающиеся сосуды, лейденские банки, маятники и коромысла для весов, миниатюрные копры, к которым фабрикант, за неимением запасных частей, приложил набор измерительных инструментов, изготовленных на основе новейших достижений математической науки. И молодые люди были теперь до глубокой ночи заняты тем, что изо всех сил старались привести в действие самые замысловатые приборы, часами разбирались в описаниях, путались в различных теориях и с нетерпением ожидали зари, чтобы самолично убедиться в необыкновенных свойствах призмы, — они испытывали восторг, видя, как проходящий сквозь нее солнечный луч радугой отражается на стене. Мало-помалу они привыкли бодрствовать по ночам, приучил их к этому Эстебан, — днем он спал лучше и предпочитал оставаться на ногах до рассвета, потому что если он засыпал раньше, то именно перед восходом солнца у него начинались особенно долгие и мучительные приступы удушья. Росаура, мулатка, служившая в доме кухаркой, готовила для них завтрак к шести часам вечера и оставляла им холодный обед, за который садились под утро. Постепенно внутри дома образовался некий лабиринт из ящиков и тюков, каждый имел в нем свой угол, свое убежище, расположенное на различной высоте от пола: тут можно было уединиться или, напротив, собраться вместе, чтобы потолковать о какой-нибудь книге, подивиться на работу физического прибора, который вдруг начинал действовать самым неожиданным образом. В гостиной возникло нечто вроде крутой горной дороги, она начиналась от дверей, проходила над лежавшим на боку шкафом и достигала трех ящиков с посудой, поставленных один на другой: отсюда можно было обозреть все, что находилось внизу, а затем карабкаться дальше по «скалистым, опасным тропинкам» — обломкам досок и колючих, точно чертополох, реек, из которых наподобие шипов торчали гвозди; наконец путник добирался до ровной площадки, состоявшей из девяти ящиков с мебелью, но тут ему приходилось пригибать голову, чтобы не удариться затылком о потолочные балки.

— Какой прекрасный вид! — восклицала София, когда, смеясь и прижимая юбки к коленям, с трудом взбиралась на эту вершину.

Карлос, однако, утверждал, что сюда можно попасть иным путем, хотя и более опасным, — для этого надо влезть на груды ящиков с противоположной стороны, вскарабкаться по ним с ловкостью горца, а под конец проползти на животе, сопя и

волоча свое тело, по примеру благородного сенбернара. На тропинках и площадках, в укромных уголках и на мостиках, переброшенных с ящика на ящик, каждый читал все, что ему заблагорассудится: старые газеты и журналы, альманахи, путеводители, книгу по естественной истории или какую-нибудь классическую трагедию, а то и новый роман, который они похищали друг у друга, — действие в нем происходило в 2240 году; иногда Эстебан, забравшись на самый верх, кощунственно подражал манере известного проповедника, двусмысленно истолковывая пылкий стих из «Песни песней»; его немало забавлял гнев Софии, которая затыкала уши и вопила, что все мужчины свиньи. Солнечные часы в патио превратились теперь в лунные часы, вместо полудня они указывали полночь. На гидростатических весах проверяли вес кошек; небольшой телескоп, труба которого была выставлена в разбитое оконце, позволял наблюдать за такими вещами в соседних домах, что Карлос, одинокий астроном, сидевший на шкафу, игриво усмехался. Надо сказать, что и новая флейта была вынута из футляра: уходя в комнату, где стены были обиты матрасами, как в палате для умалишенных, Карлос играл там на ней, не боясь, что его услышат соседи. Стоя боком к пюпитру, среди партитур, разбросанных по ковру, молодой человек устраивал долгие ночные концерты, совершенствуя свое мастерство и добиваясь лучшего звучания инструмента; а иной раз, уступая внезапной прихоти, он играл деревенские танцы на недавно купленной свирели. Нередко, испытывая прилив нежности друг к другу, молодые люди клялись никогда не разлучаться. София, которой монахини сумели внушить еще в отрочестве отвращение к мужчинам, приходила в ярость, когда Эстебан шуточки ради — а быть может, чтобы испытать кузину, — говорил о ее будущем браке и о том, что ей предстоит растить целый выводок детей. Уже одна мысль о возможном появлении «мужа» приводила их в содрогание, они заранее видели в нем человека, посягающего на плоть, на священную собственность, принадлежавшую всем, а потому неприкосновенную. Они хотели вместе путешествовать, вместе знакомиться с огромным миром. Душеприказчик прекрасно управится со всей той «дрянью», которая хранилась за стеной, распространяя вокруг себя зловоние. Надо сказать, что дон Косме весьма благосклонно относился к их желанию отправиться в далекое путешествие, он заверял своих питомцев, что их повсюду будут ждать письма, обеспечивающие кредит.

— Вам непременно надо поехать в Мадрид, — говорил он, — посмотреть на тамошний почтамт и на купол храма святого Франциска, в наших местах и понятия не имеют о подобных чудесах зодчества.

К тому времени уже появились такие быстрые средства передвижения, что далекие расстояния как бы перестали существовать. И молодым людям надо было только набраться решимости и перестать слушать бесчисленные мессы, которые были заказаны за упокой их усопшего отца, — каждое воскресенье София и Карлос отправлялись после бессонной ночи по еще пустынным улицам в храм Святого Духа и присутствовали на богослужении. Но пока что братья и сестра не отваживались даже раскрыть ящики, распаковать тюки и расставить по местам новую мебель; мысль о том, сколько им еще предстоит хлопот, заранее угнетала их, и больше всего Эстебана — из-за болезни малейшее физическое усилие было для него трудным. К тому же, если бы в утренний час в дом вторглись обойщики, лакировщики мебели и прочие посторонние люди, это нарушило бы привычное течение жизни, столь непохожей на жизнь других обитателей города. Молодые люди считали, что они встают спозаранку, если им приходилось начинать свой день в пять часов вечера, чтобы принять дона

Косме, который все сильнее выказывал свои отеческие чувства к ним и свою предупредительность, едва лишь у них возникало желание еще что-то выписать из-за моря либо появлялась нужда в иных его услугах или оплате очередного счета. По его словам, дела фирмы шли как нельзя лучше, и он постоянно заботился о том, чтобы София не ощущала недостатка в деньгах и чтобы в доме жили на широкую ногу. Дон Косме не уставал хвалить девушку за то, что она, как нежная мать, опекает братьев, и не упускал случая мимоходом, но язвительно пройтись насчет монахинь, которые подстрекают девиц из благородных семейств идти в монастырь, с тем чтобы прибрать к рукам их добро. «Можно замечать такие вещи, оставаясь при этом добрым христианином», — приговаривал он. Затем дон Косме отвешивал учтивый поклон и удалялся, заверяя, что пока присутствие Карлоса в магазине и на складе совершенно не обязательно, а молодые люди возвращались в свои владения и лабиринты, где любое место имело особое название на их условном языке, понятном только посвященным. Так, груда ящиков, готовых вот-вот обрушиться, именовалась «Падающей башней»; сундук, переброшенный наподобие мостика с одного шкафа на другой, именовался «Тропинкой друидов»¹⁴⁷. Если кто-либо заговаривал об Ирландии, то он имел в виду угол, где стояла арфа; а если упоминалась гора Кармел, все понимали, что речь идет об убежище, образованном несколькими полураскрытыми ширмами, куда София имела обыкновение удаляться, чтобы читать там наводящие ужас романы, полные тайн. Когда Эстебан пускал в ход свои физические приборы, София и Карлос говорили, что Великий Альберт принялся за работу¹⁴⁸. Их игра ни на минуту не прекращалась, она все преображала внутри дома, все больше отгораживала его от внешнего мира; теперь жизнь тут подчинялась собственным законам, и шла она в трех различных плоскостях: на полу полновластно господствовал Эстебан, — по причине болезни он не любил забираться высоко, хотя и не переставал завидовать Карлосу, который мог перескакать с ящика на ящик под самым потолком, висеть, ухватившись за резные деревянные перекладыны, или раскачиваться в мексиканском гамаке, привязанном к балкам; София же занимала, так сказать, промежуточную сферу, расположенную примерно в десяти пядях от пола: каблуки ее туфелек раскачивались над самыми висками кузена, она прятала любимые книги в различных тайничках, которые называла «своими покоями», — тут она могла уютно расположиться, распустить корсет, сбросить чулки и подобрать подол юбки до самых бедер, когда становилось слишком жарко... Обедали они, как уже говорилось, на рассвете, при свечах, в столовой, где было полным-полно кошек; и словно из протеста против чопорности, всегда царившей в их доме за семейными трапезами, молодые люди вели теперь себя как варвары, — они безжалостно кромсали мясо, вырывали друг у друга лакомые куски, разламывали куриные косточки, загадывая при этом желания, пинали соседа ногами под столом, внезапно гасили свечи, чтобы стащить пирожное; к столу они выходили небрежно одетые и сидели, развалясь, положив локти на скатерть. Тот, у кого не было аппетита, раскладывал тут же, на обеденном столе, пасьянс или строил карточные домики; тот, кто пребывал в дурном расположении духа, читал во время еды какой-нибудь роман. Если София становилась жертвой заговора братьев, которые

¹⁴⁷ Друиды — кельтские жрецы. В конце XVIII в. интерес к кельтским древностям и преданиям был пробужден шотландскими поэтами-романтиками.

¹⁴⁸ Альберт Великий (1193–1280) — один из наиболее выдающихся ученых средневековья, известный своими оригинальными трудами в области физики, химии и ботаники.

любили подтрунивать над ней, она внезапно принималась осыпать их грубой бранью; однако в ее устах самые страшные ругательства звучали на редкость целомудренно, как будто они неожиданно утрачивали свой первоначальный смысл и превращались просто в слова, походившие на вызов, — казалось, девушка спешит вознаградить себя за бесконечную вереницу монастырских трапез, во время которых полагалось, прочитав благодарственную молитву, есть, не поднимая глаз от тарелки.

— Где ты научилась этим выражениям? — со смехом спрашивали ее братья.

— В публичном доме, — отвечала София с такой невозмутимостью, точно она и в самом деле там жила.

В конце концов, утомившись от бесчисленных проказ, устав катать орехи по скатерти, залитой вином из опрокинутого бокала, расходились по комнатам, прихватив с собой какие-нибудь фрукты, горсть миндаля или стакан вина; за окнами уже светлело, звонили к заутрене, и воздух оглашали выкрики уличных торговцев.

IV

Так оно всегда и случается.

Гойя

Первый год траура миновал, начался год полутраура, а молодые люди все больше привыкали к своему новому образу жизни, запоем читая книги, которые открывали им глаза на мир, и ничего не хотели менять в своем беспорядочном существовании. Они оставались в четырех стенах, забыв о городе, ни к кому не проявляя интереса; они узнавали о том, что происходит на свете, только случайно, когда в их руки с опозданием на несколько месяцев попадала какая-нибудь иностранная газета или журнал. Зная, что в этом всегда запертом доме живет девица на выданье и два выгодных жениха, некоторые добропорядочные семьи делали попытки сблизиться с ними, наперебой приглашая к себе «бедных сирот», чье одиночество, видимо, вызывало у всех сочувствие и жалость; однако неблагодарные отвечали на такие проявления дружбы вежливым, но холодным отказом. Молодые люди пользовались своим трауром как удобным предлогом, помогавшим им уклоняться от всяких светских знакомств и обязательств, они не желали устанавливать связи с обществом, которое возводило провинциальные предрассудки в непреложные правила поведения: все благовоспитанные люди прогуливались в определенные часы в одних и тех же местах, лакомились сладостями в одних и тех же модных кондитерских, проводили рождественские праздники на своих сахароварнях или же во владениях вблизи Артемисы — поместьях, принадлежавших богачам, которые, стремясь затмить друг друга, устанавливали статуи античных богов по краям табачных плантаций... Сезон дождей, из-за которых на улицах опять была непролазная грязь, уже подходил к концу; и вот однажды утром, когда Карлос только-только забылся сном, он вдруг услышал громкий стук дверного молотка у парадного подъезда. Юноша не обратил бы на это особого внимания, но через несколько мгновений сильно застучали в ворота, а затем град ударов обрушился и на все остальные двери дома: чья-то нетерпеливая рука стучала то здесь, то там, снова здесь и снова там, без передышки. Как видно, человек, настойчиво стремившийся попасть в дом, бродил вокруг, ища вход, через который можно было бы проскользнуть внутрь, — впечатление это усиливалось оттого, что удары как будто раздавались даже в тех местах, где не было дверей, и эхо прокатывалось в самых дальних закоулках. Дело происходило в страстную субботу, и по случаю праздника магазин, куда обычно заходили посетители, справлявшиеся о

юных затворниках, был заперт. Ремихио и Росаура отправились к пасхальной заутрене или же попросту пошли на рынок за провизией, а потому на стук никто не отзывался.

— Ничего, побарабанит и уймется, — пробормотал Карлос, зарываясь головой в подушку.

Однако, убедившись, что грохот не утихает, он в конце концов накинул халат и, взбешенный, спустился в прихожую. Выглянув на улицу, он успел различить какого-то человека с огромным дождевым зонтом, — незнакомец как раз поспешно заворачивал за угол. На полу валялась визитная карточка — ее, должно быть, просунули под дверь:

ВИКТОР ЮГ
НЕГОЦИАНТ
В ПОРТ-О-ПРЕНСЕ

Выбрав про себя незваного гостя, Карлос вновь улегся в постель и тут же забыл о нем. Когда юноша проснулся, взгляд его упал на карточку, она казалась зеленой, так как ее освещал последний луч солнца, проникавший сквозь зеленое стекло слухового окошка. Вечером молодые люди, как обычно, собрались в гостиной, загроможденной ящиками и тюками; Великий Альберт уже занялся своими физическими опытами, но тут в двери принялись стучать с таким же ожесточением, как утром. Пробило десять, — для них это был совсем ранний час, но по представлению обитателей города стояла уже ночь. Софию внезапно охватил страх.

— Мы не можем принять здесь постороннего человека, — сказала она, впервые поняв, какое странное впечатление должна произвести на всякого обстановка, ставшая для них уже привычной.

Больше того, допустить посетителя в недра их семейного лабиринта было все равно что выдать секрет, доверить чужому свою тайну, позволить, чтобы рассеялись чары.

— Не открывай, ради бога! — воскликнула девушка, умоляюще глядя на Карлоса, поднимавшегося с места с раздраженным видом.

Но было слишком поздно: стук молотка, висевшего у ворот, вырвал Ремихио из крепкого сна, и он уже вводил в гостиную какого-то незнакомца, держа в вытянутой руке канделябр. Возраст гостя нелегко было определить, — ему могло быть лет сорок или тридцать, а может, и того меньше, — лицо его, видимо, мало менялось с годами, как это бывает у людей с необыкновенно подвижной физиономией и преждевременными морщинами на лбу и на щеках; такие люди мгновенно переходят (и это стало понятно после первых же слов пришельца) от крайнего возбуждения к спокойной иронии, от неудержимого смеха к суровому и упрямому молчанию — свидетельству неукротимой воли человека, способного навязать другим свои взгляды и убеждения. Обожженная солнцем кожа и грива небрежно отброшенных назад волос, как того требовала последняя мода, дополняли облик этого крепкого, пышущего здоровьем мужчины. Из плотно облегавшего могучий торс платья выпирали мускулистые руки и крепкие ноги, судя по всему, не знакомые с усталостью. У него был грубый, чувственный рот, а очень темные глаза так сверкали, что их властный и надменный взгляд трудно было выдержать. Видно было, что это человек недюжинный, но при первом знакомстве он мог в равной мере внушить и симпатию и отвращение. «Такие вот мужланы способны разнести весь дом, если задумают проникнуть в него», — сказала себе София. Раскланявшись с церемонной учтивостью, которая не могла, однако, заставить позабыть о бесцеремонности, с которой он перед тем ломился в дом, посетитель заговорил столь быстро, что никто не мог и слова вставить; он

объявил, что приехал с письмами к их отцу, об уме и необыкновенных способностях которого ему рассказывали просто чудеса; в нынешнее время, присовокупил он, необходимо устанавливать новые связи и заключать новые торговые сделки, и здешние негоцианты, права которых никто не ограничивает, должны завязывать отношения с другими островами Карибского моря; он позволил себе привезти скромный подарок — несколько бутылок вина, оно в здешних краях неизвестно, и... Когда же молодые люди в один голос крикнули, что отец их уже давно умер и похоронен, чужестранец, изъяснявшийся на забавном жаргоне, состоявшем из испанских и французских слов, сдобренных малой толикой английских выражений, разом остановился и только растерянно вымолвил: «Ох!» В этом возгласе одновременно прозвучало и сочувствие и разочарование, он настолько не вязался с его предыдущей речью, что братья и сестра, не успев подумать, как неуместен смех при подобных обстоятельствах, дружно расхохотались. Все это произошло так быстро, так неожиданно, что негоциант из Порт-о-Пренса сперва несколько смутился, но тут же, в свою очередь, громко рассмеялся.

— Господи, да что ж это такое! — вырвалось у Софии, которая опомнилась первой.

При этих словах лица у всех вытянулись. Однако лед уже был сломан. Гость, не ожидая приглашения, прошел вперед; судя по всему, его несколько не удивил ни беспорядок в гостиной, ни странный наряд Софии, которая забавы ради надела на себя сорочку Карлоса, доходившую ей до колен. Незнакомец с видом знатока постучал пальцем по фарфоровой вазе, провел рукой по лейденской банке, похвалил качество буссоли, покрутил архимедов винт, пробормотав что-то насчет рычагов, которые могут перевернуть мир, а потом принялся рассказывать о своих путешествиях: сперва он поступил юнгой на судно и покинул Марсель, где его отец — сын этим очень гордился — был пекарем, и пекарем первоклассным.

— Труд пекаря весьма полезен для общества, — заметил Эстебан, обрадованный тем, что наконец-то он видит чужеземца, который, ступив на почву его родного острова, не кичится своими предками.

— «Лучше мостить дороги, чем мастерить безделушки из фарфора», — объявил гость, приведя классическое изречение.

После этого он заговорил о своей кормилице, черной, как вакса, уроженке острова Мартиника, — она была как бы предвестницей его будущих путешествий, потому что, хотя он с юных лет мечтал побывать в Азии, все корабли, на которые ему удавалось наняться, отправлялись на Антильские острова или в Мексиканский залив. Незнакомец с увлечением рассказывал о коралловых рощах на Бермудских островах; о необыкновенных богатствах Балтимора; о карнавале в Новом Орлеане, который мог поспорить даже с парижским карнавалом; о водке из Веракруса, настоящей на луговом кресле и мяте; так он постепенно добрался до залива Пария, посетив по пути Жемчужный остров и далекий Тринидад. Уже став лоцманом, он прибыл в Парамарибо, дальний город, которому могли бы позавидовать многие другие города, кичащиеся своею красотой; при этих словах гость указал пальцем на пол и прибавил, что в Парамарибо он видел широкие улицы, обсаженные апельсиновыми и лимонными деревьями, — стволы у них для пущего эффекта изукрашены морскими раковинами. На борту чужеземных кораблей, стоявших на якоре возле форта Зеландия, происходили пышные балы, и голландки, прибавил он, подмигивая юношам, не скупилась на знаки внимания к морякам. Вина и напитки со всего света можно было отведать в этом необычайно живописном заморском городе; на пирушках тут

прислуживали негротянки, увешанные браслетами и ожерельями, одеты они были в ситцевые юбки и легкие, почти прозрачные блузы, обтягивавшие высокую и упругую грудь; чтобы успокоить Софию, которая при этих словах нахмурила брови, он весьма ловко облагородил нарисованную им картину, приведя французский стих, где говорилось о рабынях-персиянках во дворце Сарданапала, носивших такой же наряд.

— Благодарю, — процедила сквозь зубы девушка, которая про себя не могла не согласиться, что ход был весьма искусный.

Впрочем, продолжал рассказчик, меня географические широты, Антильские острова представляют собою воистину чудесный архипелаг, где можно встретить необычайно редкие вещи: громадные якоря, брошенные на пустынных берегах; дома, прикованные к скале железными цепями, чтобы циклоны не унесли их в море; обширное сефардское кладбище на острове Кюрасао¹⁴⁹; целые острова, где женщины долгие месяцы и даже годы живут одни, в то время как их мужья работают на континенте; там можно увидеть затонувшие галионы, окаменелые деревья, невиданных рыб; на острове Барбадос до сих пор сохранилась гробница потомка Константина XI¹⁵⁰, последнего византийского императора, — его призрак в ветреные ночи является одиноким путникам... Внезапно София самым серьезным тоном спросила у гостя, не встречал ли он в тропических морях сирен. И прежде чем чужестранец успел ответить, девушка показала ему страницу старинной книги «Чудеса Голландии», где рассказывалось, как однажды после бури, разрушившей плотины на Западных Фризских островах, нашли русалку, наполовину затянутую илом. Ее привезли в город Гарлем, одели и научили прясть. Она прожила там несколько лет, но так и не овладела человеческой речью и навсегда сохранила инстинкт, властно увлекавший ее к воде. Плач ее походил на стоны умирающего... Нимало не смутившись, гость выслушал эту историю и рассказал, что несколько лет назад в волнах реки Марони была обнаружена сирена. Ее подробно описал весьма известный военный, майор Арчикомби, в докладе, который он направил в Парижскую академию наук.

— А майор английской армии не может заблуждаться, — прибавил рассказчик непререкаемым тоном.

Заметив, что посетитель, несомненно, вырос в глазах Софии, Карлос снова перевел разговор на тему о путешествиях. Однако теперь гость говорил только о городе Бас-Тер на острове Гваделупа, он упоминал о его источниках пресной воды и о домах, которые походят на дома, скажем, в Рошфоре или в Ла-Рошели.

— Моим юным собеседникам знакомы эти города?...

— Воображаю, какая там скучища, — откликнулась София. — К сожалению, нам придется там задержаться на несколько часов, когда мы отправимся в Париж. Уж лучше расскажите нам о Париже, ведь вы, должно быть, знаете его как свои пять пальцев.

Гость искоса взглянул на девушку и, ничего не ответив ей, стал рассказывать о том,

¹⁴⁹ Сефарды — потомки испанских евреев, изгнанных из Кастилии и Арагона в 1492 г. Им запрещен был доступ в испанские владения в Америке, но они пользовались всеми правами в голландских колониях, а остров Кюрасао, лежащий у венесуэльских берегов, с начала XVII в. принадлежал Голландии.

¹⁵⁰ *Константин XI Палеолог* — последний византийский император (1448–1453), пропавший без вести в дни штурма Константинополя турками в мае 1453 г.

как он ездил из Пуэнт-а-Питра в Сен-Доменг¹⁵¹, где хотели открыть дело; но в конечном счете он обосновался в Порт-о-Пренсе, там у него превосходный магазин, полный различных товаров, кож, всевозможных солений...

— Какая гадость! — прервала его София.

— ...в бочках и бочонках, пряностей, — невозмутимо продолжал гость, — словом, магазин приблизительно такой, *comme le votre*¹⁵², — закончил француз и, не поворачивая головы, ткнул большим пальцем в стену.

Этот жест показался девушке недопустимо развязным.

— А мы в дела не вникаем, — заметила она.

— Да, это было бы нелегко и обременительно, — пробормотал гость.

И, без всякой паузы, он стал рассказывать, что недавно вернулся из Бостона, большого торгового города, где без труда можно закупить пшеничную муку по более дешевой цене, чем в Европе. Как раз теперь он ждет груз муки, часть собирается продать на месте, а остальное отправит в Порт-о-Пренс. Карлос уже собирался вежливо выпроводить этого незваного гостя, который сперва так интересно рассказывал о своей жизни, а потом перешел на ненавистный им предмет — заговорил о купле и продаже, но тут посетитель непринужденно поднялся с кресла и с таким видом, будто он находится у себя дома, направился к стопке книг в углу гостиной. Перебирая томики, он бурно выражал свою радость всякий раз, когда имя автора было связано с какой-либо передовой доктриной — политической или религиозной.

— Я вижу, что вы *au courant*¹⁵³, — объявил он, завоевав этим расположение молодых людей.

И вскоре они уже показывали ему книги своих любимых авторов, а чужеземец снисходительно ощупывал эти издания, даже зачем-то нюхал бумагу и переплеты из телячьей кожи. Затем он направился к физическим приборам и стал собирать какую-то машину, разрозненные части которой валялись в беспорядке на столиках.

— Эта штука также служит для вождения судов, — проговорил он.

В комнате было очень жарко, и гость попросил разрешения снять сюртук; молодые люди были немало удивлены и обескуражены этой просьбой, видя, как бесцеремонно вторгается незнакомец в их заветный мир, который в тот вечер казался тем более странным, что возле «Тропинки друидов» или «Падающей башни» маячила фигура постороннего. София понимала — гостя следует пригласить к столу, однако ее смущало, что чужой человек разделит с ними трапезу: ведь они в полночь ели то, что обычно едят в полдень; но в это время гость, уже успевший наладить квадрант, назначение которого было для них до сих пор загадкой, выразительно посмотрел в сторону столовой, где еще до его прихода был сервирован завтрак, и сказал:

— Я, пожалуй, принесу свои вина.

Он отправился за бутылками, которые, входя в дом, оставил на скамейке, в патио; возвратившись, он торжественно водрузил их на покрытый скатертью стол и жестом пригласил молодых людей занять места. София опять пришла в негодование от неслыханной бесцеремонности пришельца, который, впервые попав в дом, сразу же

¹⁵¹ *Сен-Доменг* — французское название острова и колонии Санто-Доминго (или Сан-Доминго).

¹⁵² Как ваш (*франц.*).

¹⁵³ В курсе (*франц.*).

повел себя как *pater familias*¹⁵⁴. Однако братья с таким удовольствием смаковали молодое эльзасское вино, что, подумав о несчастном Эстебане, который только недавно перенес мучительный приступ болезни и теперь с нескрываемым интересом поглядывал на гостя, девушка решила играть роль чуть надменной, но любезной хозяйки и собственноручно передавала кушанья посетителю, называя его «господин Хьюг» и произнося эту фамилию с присвистом.

— Ю-ю-ю-ю-юг, — поправляя он ее, изо всех сил растягивая звук «ю» и резко обрывая его, перед тем как произнести звук «г».

Однако София произносила его фамилию по-прежнему; она отлично поняла, как ее надо выговаривать, но с некоторым злорадством коверкала, и каждый раз по-другому: «Иуг», «Хюк», «Югю»; девушка придумывала причудливые сочетания звуков, а братья весело смеялись, лакомясь при этом праздничными пирогами и марципанами, которые принесла Росаура; вкусные вещи вдруг напомнили Эстебану о том, что наступила страстная суббота.

— *Les cloches! Les cloches!*¹⁵⁵ — громко выкрикнул гость, с раздражением подняв указательный палец над головой, словно желая этим сказать, что большие и малые колокола в городе слишком уж трезвонят весь день.

Затем наступил черед второй бутылки — на сей раз это было вино из Арбуа. Уже слегка захмелевшие молодые люди встретили ее шумными проявлениями радости и подняли руки, как бы благословляя вино. Осушив бокалы, все направились в патио.

— А что у вас там, наверху? — спросил господин Хьюг, ступив на широкую лестницу.

Перепрыгивая через несколько ступенек, он мигом взлетел на второй этаж и очутился на галерее под самой крышей; галерея эта была ограждена колонками, между которыми шли деревянные перила.

— Пусть он только посмеет войти ко мне в комнату, я его мигом выпровожу оттуда, — пробормотала София.

Но бесцеремонный гость приблизился к последней двери и легонько толкнул ее полураскрытую створку.

— Здесь у нас что-то вроде чулана, — пояснил Эстебан.

Держа свечу над головой, юноша первый вошел в заброшенную комнату, куда он не заходил уже несколько лет. Вдоль стен выстроились баулы, ящики, дорожные сундуки, и царивший тут порядок составлял забавный контраст беспорядку в комнатах нижнего этажа. В глубине виднелся шкаф, где хранилась церковная утварь, он привлек внимание господина Хьюга своей великолепной резьбой.

— Прочно!.. Красиво! — негромко сказал гость.

Для того чтобы посетитель мог убедиться в прочности шкафа, София раскрыла его, так что стала видна толщина дверцы. Однако теперь внимание француза привлекли старые одежды, висевшие на металлической перекладине: они принадлежали родным со стороны матери, которые некогда построили этот дом; здесь оказались парадный костюм академика, облачение прелата, мундир морского офицера, судейская мантия; были тут и наряды дедушек и бабушек — строгие сюртуки, бальные платья из выцветшего атласа, украшенные кружевами, муслиновые платья, позеленевшие от

¹⁵⁴ Отец семейства (*лат.*).

¹⁵⁵ Колокола! Колокола! (*франц.*).

селитры, и перкалевые, и ситцевые; хранились здесь и маскарадные одежды — пастушки, гадалки, принцессы инков, дамы давно прошедших времен.

— Да это сущий клад для игры в живые картины! — вскричал Эстебан.

Не сговариваясь, все разом подхватили его мысль и принялись вытаскивать из шкафа запыленные реликвии, спугнув при этом целые тучи моли; потом они стали скатывать платья по навощенным перилам красного дерева, которые тянулись вдоль лестницы. Вскоре большая гостиная преобразилась в театральный зал, и все четверо начали представлять различные персонажи, становясь поочередно то актерами, то зрителями: достаточно было слегка заколоть одежду булавками, допустить, что ночная сорочка — это римский пеплум или греческая туника, и можно было изобразить какое-нибудь историческое лицо или героя романа, причем пучок латука заменял лавровый венок, курительная трубка играла роль пистолета, а тросточка, подвешенная к поясу, сходила за шпагу. Господин Хьюг, явно тяготевший к античности, поочередно представлял Муция Сцеволу, Гая Гракха и Демосфена, — зрители быстро разгадали в нем греческого оратора, когда он вышел в патио на поиски камешков¹⁵⁶. Как только Карлос взял в руки флейту, а на голову надел картонную треуголку, все хором признали в нем Фридриха Прусского¹⁵⁷, хотя он долго упорствовал и доказывал, что хотел изобразить флейтиста Квантца. Эстебан принес из своей комнаты игрушечную лягушку и принялся изображать опыты Гальвани. Однако юноше пришлось этим и ограничиться, ибо пыль, поднявшаяся от старого платья, заставила его расчихаться, а это грозило ему приступом. Предполагая, что господин Хьюг мало осведомлен в истории и искусстве Испании, София не без задней мысли изображала сначала Инес де Кастро, затем Хуану Безумную, потом знаменитую «Судомойку»¹⁵⁸; под конец девушка состроила ужасную гримасу, обезобразившую ее лицо и придавшую ему тупое выражение, — никто не мог понять, кого она представляет, а София под протестующие возгласы зрителей объявила, что имела в виду «некую инфанту из королевского дома Бурбонов». Уже перед самым рассветом Карлос предложил устроить «grand massacre»¹⁵⁹. Привязав костюмы нитками к проволоке, натянутой между стволами пальм, они приладили сверху ярко раскрашенные шутовские личины, вырезанные из бумаги, и принялись сшибать костюмы мячами.

— На приступ! — вопил Эстебан, давая сигнал к атаке.

И на землю падали прелаты, офицеры, придворные дамы, пастушки, а громовые раскаты хохота, поднимавшиеся к небу из узкого колодца патио, должно быть, слышны были на всей улице... Взошло солнце, но они все еще продолжали свою игру, швыряя пресс-папье, кастрюли, цветочные горшки, тома энциклопедии в

¹⁵⁶ По преданию, знаменитый афинский оратор Демосфен в молодости страдал косноязычием и, чтобы излечиться от этого недуга, упражнялся в красноречии, положив в рот мелкие камешки.

¹⁵⁷ Имеется в виду прусский король Фридрих II («Великий»; 1740–1786), который славился своим увлечением поэзией и музыкой.

¹⁵⁸ Инес де Кастро (1320–1355) — возлюбленная португальского принца дона Педро, умерщвленная наемными убийцами, подосланными его отцом, королем Афонсо IV. Хуана Безумная (1479–1555) — мать императора Карла V, сошедшая с ума после смерти своего мужа. До самой смерти считалась королевой Кастилии, хотя в безумие впала почти за полвека до кончины; «Судомойка» — жена испанского короля Карла IV, Мария-Луиса, любовница бездарного временщика Годоя, правившего Испанией с начала 90-х годов XVIII в. до 1808 г.

¹⁵⁹ Великое избиение (*франц.*).

раскачивавшиеся на проволоке костюмы, которые им не удалось сбросить наземь мячами, и бурно предавались какой-то неистовой радости.

— На приступ! — по-прежнему вопил Эстебан. — На приступ!..

В конце концов они кликнули Ремихио и приказали ему заложить экипаж, чтобы отвезти гостя в ближайшую гостиницу. Виктор распрощался с хозяевами, он в пышных выражениях благодарил их и обещал снова прийти вечером.

— Ничего не скажешь, это — человек! — объявил Эстебан.

Молодым людям пора было уже облачаться в траурную одежду и идти в храм Святого Духа, где им полагалось отстоять очередную заупокойную мессу ради вечного блаженства их отца.

— А что, если мы не пойдём? — спросил Карлос, зевая. — Мессу все равно отслужат.

— Я пойду одна, — холодно сказала София.

Однако после короткого раздумья она весьма кстати вспомнила о своем недомогании, задернула занавеси на окнах спальни и улеглась в постель.

V

Виктор, как они его теперь называли, ежедневно приходил под вечер, и мало-помалу обнаружилось, что он знает толк в самых неожиданных вещах. То он запуская руки в квашню, и на столе появлялись чудесные рогалики, какие мог испечь лишь заправский пекарь, то вдруг приготавливал необыкновенные соусы, употребляя такие приправы, которые, казалось, и соединять-то вместе нельзя. Кусок холодного мяса он превращал в изысканное русское блюдо, используя для этого укроп и молотый перец; в каждое кушанье он неизменно добавлял всевозможные пряности и подогретое вино, и все его кулинарные опыты носили пышные названия, связанные с именами знаменитых поваров. Среди редких книг, присланных из Мадрида, Виктор отыскал сочинение маркиза де Вильена «Искусство разделять дичь», и после этого в доме целую неделю ели кушанья, какие подавались к столу в средние века: самый обычный свиной филей вдруг приобретал вид изысканной дичи. Между делом он умудрился собрать и наладить самые сложные физические приборы — теперь они почти все были приведены в действие — и с их помощью подтверждал различные теории, изучал цвета спектра, получал необычайно яркие искры; он рассуждал обо всем этом на том красочном испанском языке, которому обучился во время своих путешествий по Мексиканскому заливу и к островам Карибского моря, — язык этот постоянно обогащался новыми словами и оборотами. Одновременно Виктор заставлял молодых людей упражняться во французском произношении: они читали вслух страницы из какого-нибудь романа или же комедию по ролям, точно в театре. София покатывалась со смеху, когда в сумерки, служившие для них рассветом, Эстебан декламировал с явственным южным выговором, которым он был обязан своему учителю, стихи из «Игрока»¹⁶⁰:

Il est, parbleu, grand jour. Déjà de leur ramage

¹⁶⁰ «Игрок» — комедия известного французского драматурга Жана-Франсуа Реньяра (1655–1709). В XVIII в. эта комедия была столь же популярной, как пьесы Мольера.

Однажды в ненастную ночь Виктора пригласили остаться в доме до утра. А когда молодые люди поднялись на закате — в эту пору соседские петухи уже прятали голову под крыло, готовясь ко сну, они увидели странную картину: совершенно растерзанный, в изодранной рубашке, потный, как портовый грузчик-негр, француз с помощью Ремихио вытаскивал из ящиков и тюков, вещи, уже несколько месяцев остававшиеся нераспакованными, и по своему вкусу расставлял мебель, развешивал ковры, размещал вазы для цветов. Поначалу это произвело на всех тягостное и грустное впечатление: словно бы исчезли волшебные декорации. Но постепенно юные хозяева дома стали испытывать удовольствие от внезапного преобразования их жилища: комнаты теперь казались просторнее, краски — ярче, так приятно было сидеть в глубоком и мягком кресле, смотреть на изысканную инкрустацию буфета, любоваться теплыми тонами тканей с Коромандельского берега¹⁶². София переходила из комнаты в комнату, не узнавая их, она смотрелась в новые зеркала, поставленные одно против другого, так что человека окружало множество его собственных изображений — от самых ярких до расплывшихся, как в тумане. В некоторых углах темнели пятна сырости, и Виктор, взобравшись на приставную лестницу, с таким старанием водил малярной кистью, что его брови и щеки были в известке. Внезапно молодых людей также охватило яростное желание навести порядок в доме, и они принялись вытаскивать то, что еще оставалось в ящиках, расстилать ковры, разворачивать портьеры, вынимать фарфор из опилок; при этом они швыряли сломанные предметы в патио и, казалось, сожалели, что негодных вещей так мало, — ведь до того приятно вдребезги разбить какую-нибудь тарелку о каменную стену! На заре в столовой состоялся торжественный обед, причем считалось, что он происходит в Вене, ибо София с некоторых пор зачитывалась статьями, где на все лады превозносили мрамор, хрусталь и стенную роспись этого самого музыкального города в мире, находившегося под покровительством святого Стефана, в честь которого и был наречен Эстебан, родившийся двадцать шестого декабря... Затем в гостиной, украшенной гранеными зеркалами, был дан «бал посланников»; раздались звуки флейты, на которой играл Карлос, — по случаю столь необычного торжества он решил не обращать никакого внимания на то, что подумают соседи. На подносах стояли бокалы с пуншем, пена в них была припудрена корицей, а приготовил этот пунш «придворный советник»; Эстебан, изображавший в тот день угрюмого дофина со звездой на груди, заметил, что участники бала танцевали один хуже другого: Виктор раскачивался, как моряк на палубе, София по вине монахинь вообще не умела танцевать, а Карлос, кружившийся под собственную музыку, походил на заводную куклу, которая вертится вокруг своей оси.

— На приступ! — завопил Эстебан и принялся кидать в них орехами и карамелью. Однако забавы эти, как видно, не пошли на пользу дофину, ибо внезапно свистящее

¹⁶² Коромандельский берег — восточное побережье полуострова Индостан на участке от реки Годовари до мыса Коморин. Из торговых городов Коромандельского берега англичане и французы вывозили в Европу и Новый Свет тонкие ткани местной выделки.

дыхание, вырвавшееся из его гортани, возвестило о начале приступа. За несколько минут лицо юноши покрылось морщинами, постарело и превратилось в страдальческую маску. На шее у него набухли жилы, он как можно шире раздвигал колени, выставлял локти вперед, судорожно приподнимал плечи, изо всех сил вдыхая воздух, которого ему не хватало даже в этой просторной комнате...

— Надо отвезти его в более прохладное место, — сказал Виктор.

Софии это никогда не приходило в голову. При жизни отца, отличавшегося суровым нравом, никто из домочадцев не смел выходить на улицу после вечерней молитвы. Подняв астматика на Руки, Виктор снес его в экипаж, а Карлос тем временем снимал с крюка сбрую и хомут. И София впервые в жизни очутилась в столь поздний час на улице, среди зданий, которые ночью казались больше, ибо темнота увеличивала тени, удлиняла колонны, как бы растягивала вширь кровли, и карнизы домов тяжело нависали над решетками, украшенными лирой, сиреной или козлиными головами: они рельефно выступали на фоне железных прутьев возле какого-нибудь герба с изображением ключей, львов и раковин святого Иакова. Молодые люди выехали на широкую улицу, где еще горело несколько фонарей. Слабо освещенная, улица эта была пустынна, все лавки — заперты, аркады окутаны тьмой, фонтан бездействовал, и только вдали, за молотом, на верхушках корабельных мачт, теснившихся, точно деревья в лесу, ярко светились огни. Над негромко плескавшейся водой, которая набегала на сваи пристани, плыл запах рыбы, оливкового масла и гниющих водорослей. В одном из уснувших домов закуковала кукушка на часах, ночной сторож нараспев объявил время, крик его возвестил, что небо безоблачно и ясно. Они трижды медленно проехали взад и вперед, и Эстебан знаком дал понять, что он не прочь продолжить прогулку. Экипаж покатило по направлению к корабельной верфи: недостроенные суда, каркасы которых вздымались над водою, походили на огромных ископаемых.

— Дальше ехать не надо, — сказала София, заметив, что мол, а вместе с ним и остовы кораблей остались уже позади и что навстречу экипажу то и дело попадаются люди с отталкивающими физиономиями.

Виктор, не обратив внимания на ее слова, слегка стегнул лошадь по крупу. Совсем близко замелькали огни, и, завернув за угол какого-то дома, они очутились на улице, где шумными ватагами бродили матросы; из открытых окон ночных кабаков вырывались звуки музыки и взрывы смеха. Под гром барабанов, под пение флейт и скрипок пары делали такие непристойные телодвижения, что у Софии вспыхнули щеки; онемев от возмущения, девушка, однако, не могла отвести глаз от людской толпы, запертой в четырех стенах и послушной пронзительным голосам кларнетов. Озорные мулатки вызывающе раскачивали бедрами, выставляли зад, дразня мужчин, а когда те с недвусмысленным жестом устремлялись за ними, поспешно ускользали от ими же распаленных партнеров. На небольшой эстраде негритянка, высоко подняв юбки, отбивала каблучками ритм старинного танца «гуарача», вновь и вновь повторяя припев: «Когда же, жизнь моя, когда?» Одна из женщин за стакан вина обнажала грудь, другая, повалившись на стол, подбрасывала свои башмаки к потолку и задирала юбку, показывая ляжки. Проходя в глубь таверн, мужчины различных профессий и рас норовили мимоходом ущипнуть женщин за ягодицы. Виктор, объезжавший пьяных с ловкостью заправского кучера, казалось, забавлялся при виде этого разгульного веселья, он узнавал североамериканцев по их раскачивающейся походке, англичан — по их песенкам, испанцев по тому, что они тащили на себе бурдюки и кувшины с вином. На пороге какого-то дощатого строения несколько гулящих женщин хватили за

руки прохожих, позволяя им щупать, тискать и обшаривать себя; одну из них какой-то чернобородый гигант с такой стремительностью повалил на кровать, что женщина не успела даже захлопнуть дверь. Другая раздевала худенького юнгу, который был слишком пьян, чтобы сбросить с себя одежду. Софии хотелось кричать от гнева и отвращения, причем страдала она главным образом из-за того, что все происходило на глазах у Карлоса и Эстебана. Ей самой этот мир был глубоко чужд, и она смотрела на все, что творилось вокруг, как на видение ада, как на что-то стоящее за пределами обитаемого мира. У нее не могло быть ничего общего с этой портовой клоакой, которая кишела людьми без стыда и совести. Но на лицах братьев девушка заметила какое-то смутное, непривычное, выжидательное, чтобы не сказать заинтересованное, выражение, и оно приводило ее в отчаяние. Казалось, все окружающее не отвращало их, как отвращало ее; казалось, между их чувствами и низменными страстями этих существ из чуждого мира могло даже возникнуть взаимопонимание. Девушка вдруг представила себе Эстебана и Карлоса в ночном кабаке, потом в логове проституток, — братья валялись на отвратительном ложе, их мальчишеский пот смешивался с остро пахнущим потом всех этих самок... Выпрямившись, она выхватила хлыст из рук Виктора и так стегнула лошадь, что та рванула вперед и понеслась галопом, опрокинув на скаку миски и тележку торговли требухой. На землю посыпались мелкая рыбешка, булки, пироги с мясом и ливером, шипя, полилось кипящее масло, и вслед за этим раздался громкий визг ошпаренной собаки: несчастный пес стал кататься в пыли, но тотчас же с воем вскочил, поранившись об осколки стекла и колючие рыбы хребты. На улице поднялся невообразимый шум. В темноте за экипажем погнались какие-то негрятки с палками, ножами и пустыми бутылками; женщины швыряли камни, которые залетали на крыши и падали вниз вместе с отбитыми кусками черепицы. Когда же преследователи увидели, что им не догнать экипаж, они разразились такими ругательствами, что преследуемые с трудом удержались от смеха, настолько брань показалась им дерзкой, бесстыжей, но и неповторимой.

— И все это должна выслушивать благовоспитанная девица, — сокрушенно проговорил Карлос, когда экипаж, сделав немалый крюк, снова покотился по широкой улице.

Дома София, даже не зажигая света и ни с кем не простившись, удалилась к себе.

Под вечер, как обычно, появился Виктор. После короткой передышки Эстебан снова почувствовал себя плохо, приступ продолжался весь день и все усиливался; несчастный юноша задыхался, у него начались судороги, и родные уже собирались послать за доктором, — принять такое решение домашним было не просто, так как больной уже не раз на своем горьком опыте убеждался, что если лекарства и оказывают какое-нибудь действие, то в конечном счете они только ухудшают его состояние. Вцепившись в решетку окна, выходившего в патио, юноша в тщетной попытке найти облегчение сбросил с себя всю одежду. Его ребра и ключицы так выпирали, что казалось, они вот-вот прорвут кожу; при взгляде на него в памяти вставали мертвецы из испанских гробниц — обтянутые кожей скелеты без внутренностей. Обессиленный от безнадежных попыток вздохнуть всей грудью, Эстебан тяжело рухнул на пол и привалился спиной к стене; лицо его приобрело синюшный оттенок, ногти почернели, он смотрел на окружающих угасшим взглядом. Кровь бешено стучала у него в висках. Больной покрылся испариной, во рту у него пересохло, язык был судорожно прижат к побелевшим деснам, зубы лязгали.

— Надо что-то делать! — крикнула София. — Надо что-то делать!..

Виктор, который несколько минут сохранял внешнее бесстрашие, встрепенулся, будто приняв наконец трудное решение, попросил заложить экипаж и объявил, что поедет к одному человеку, который с помощью сверхъестественных сил сумеет побороть недуг Эстебана. Через полчаса он возвратился в сопровождении плотного мулата, одетого с подчеркнутой элегантностью; Виктор представил его как доктора Оже, прославленного медика и известного филантропа, с которым он знаком по Порт-о-Пренсу. София слегка поклонилась вновь прибывшему, но руки не подала. Ее не обманула относительно светлая кожа врача: казалось, эту кожу наложили на темное лицо, на котором выделялся приплюснутый нос с широкими ноздрями; над лбом чернели густые курчавые волосы. В представлении девушки негр или цветной мог быть только слугою, грузчиком, кучером или бродячим музыкантом. Заметив недовольный взгляд Софии, Виктор пояснил, что доктор Оже принадлежит к зажиточному семейству в Сен-Доменге, что он получил образование в Париже, где ему и выдали диплом ученого медика. Одно было бесспорно — речь врача отличалась изысканностью, говоря по-французски, он употреблял старомодные, уже почти вышедшие из употребления обороты, а переходя на испанский язык, старательно выговаривал слова на кастильский лад; у него были учтивые манеры хорошо воспитанного человека.

— Но ведь это... негр! — прошипела София в самое ухо Виктора.

— Все люди рождаются равными, — ответил тот, легонько отстраняя ее.

Слова его только усилили скрытое недоброжелательство девушки. Разумеется, умозрительно она соглашалась с этим положением, но ее нельзя было убедить, что негр может быть опытным и знающим врачом и что позволительно доверить здоровье близкого родственника человеку с темной кожей. Никто не поручил бы негру строить дворец, защищать обвиняемого, вести теологический спор, управлять страной... Но в эту минуту послышался хрип Эстебана и такой отчаянный стон, что все бросились к нему в комнату.

— Предоставьте действовать врачу, — решительно потребовал Виктор. — Надо во что бы то ни стало прекратить приступ.

Мулат даже не взглянул на больного; не осмотрев и не выслушав его, он стоял, не шевелясь, и только с каким-то странным видом втягивал ноздрями воздух.

— Ведь это у него не первый приступ, — сказал он минуту спустя.

С этими словами врач поднял глаза к небольшому круглому оконцу, пробитому в толще стены под самым потолком, между двумя балками. Потом он спросил, что находится за этой стеною. Карлос вспомнил, что там расположен задний дворик, очень узкий и сырой, нечто вроде крытого прохода, где складывали старую мебель и ненужную утварь; от улицы его отделяла каменная ограда, покрытая вьющимися растениями, через него уже много лет никто не ходил. Оже настоял, чтобы его туда проводили. Они направились кружным путем, через комнату Ремихио, которого перед тем послали на поиски какого-то лекарства; открыв скрипучую дверь, выкрашенную голубой краской, врач и его спутники очутились во дворике. Глазам их предстала неожиданная картина: на двух длинных параллельных грядках росли петрушка и шильник, крапива, мимоза и какая-то лесная трава, а посередине пышно распустилась резеда. В нише, точно в алтаре, высился бюст Сократа, который София в детстве как будто видела в кабинете отца; вокруг бюста лежали странные приношения, похожие на те, какими пользуются во время заклинаний колдуны и знахари: тут были чашки с

маисом, куски серы, раковины, железные опилки.

— C'est ça ¹⁶³, — проговорил Оже, внимательно осматривая крохотный садик, словно придавал ему большое значение.

И вдруг он стал быстрыми движениями вырывать с корнем резеду и бросать ее в кучу между грядками. Затем отправился на кухню и тут же возвратился, неся совок с горящими углями; подпалив груды резеды, он начал швырять в огонь все растения, какие росли в узком дворике.

— Возможно, мы разгадали причину болезни, — снова заговорил врач, пускаясь в объяснения, которые показались Софии чем-то вроде лекции по черной магии.

По словам Оже, некоторые недуги таинственным образом связаны с тем, что по соседству произрастает какая-нибудь трава, цветок или дерево. У каждого человеческого существа есть «двойник» в растительном царстве. И нередко случается, что «двойник» этот безжалостно отнимает у связанного с ним человека жизненные силы: в то время как растение цветет или плодоносит, человек тяжело болеет.

— Ne souriez pas, Mademoiselle ¹⁶⁴, — прибавил врач.

И он стал рассказывать, что ему много раз приходилось убеждаться в этом: в Сен-Доменге астма жестоко терзала детей и взрослых, и они нередко умирали от удушья или упадка сил. Но порою достаточно было бросить в огонь растение, которое цвело поблизости от больного — либо в его доме, либо по соседству, — и страдальцы чудесным образом исцелялись...

— Колдовство, — пробормотала София. — Как и следовало ожидать.

В эту минуту появился Ремихио; увидев, что происходит, он внезапно пришел в ярость. Потеряв самообладание и забыв о привычном почтении к хозяевам, слуга швырнул наземь свою шляпу и принялся громко жаловаться на то, что сожгли его цветы и травы; что он выращивает их с незапамятных времен для продажи на рынке, ибо они — целебные; что не пощадили даже кайсимон, который с таким трудом принялся в этом климате, а ведь с его помощью можно излечить все болезни причинного места у мужчин: для этого надо только приложить листья кайсимона и прочесть молитву святому Эрменехильду, которого безжалостно лишили мужской силы по велению султана сарацинского; а ко всему еще, прибавил Ремихио, погубив растения, жестоко оскорбили повелителя лесов, того самого, чей «портрет» с жидкою бородкой, какой ни у кого больше не встретишь, — при этом он указал на бюст Сократа, — освящает это место, куда никто из домочадцев никогда и не заглядывал. После этой речи Ремихио разрыдался, а затем, все еще всхлипывая, заявил, что если бы покойный хозяин хоть немного верил в его целебные травы, — а ведь он, Ремихио, настойчиво предлагал их ему, заметив, что тот пошел по дурной дорожке и стал водить женщин в дом, когда Карлос отправлялся в имение, София уезжала в монастырь, а Эстебан бывал тяжело болен и ничего не замечал, — то он бы не умер такой смертью, потому как умер хозяин, взбравшись на бабу, да и вообще он слишком часто предавался утехам, которые не по силам старику.

— Завтра же убирайся вон из дому! — крикнула София, желая быстрее покончить с этой отвратительной сценой.

Она была подавлена и глубоко задета, хотя не могла еще до конца осознать

¹⁶³ *Здесь:* Так и есть (франц.).

¹⁶⁴ Не улыбайтесь, мадемуазель (франц.).

ужасную новость, на многое проливавшую свет... Все возвратились в комнату Эстебана; Карлос, который, судя по всему, еще не вполне уяснил себе смысл откровений Ремихио, огорчился, что так много времени потрачено на пустяки. Между тем с больным происходило нечто необъяснимое. Мучительные, свистящие хрипы, которые словно разрывали его гортань, стали раздаваться все реже и реже, передышка продолжалась иногда несколько секунд. Казалось, Эстебан каждый раз пьет воздух короткими глотками и это приносит ему явное облегчение, потому что его ребра и ключицы все больше опадали, занимая свое обычное место.

— Подобно тому как некоторые люди погибают от тлетворного влияния фламбойана или волчеца, расцветающего в страстную пятницу, — сказал Оже, — так и этот юноша медленно умирал из-за желтых цветов, питавшихся его жизненными соками.

Врач сидел теперь против больного, сжимая своими коленями колени юноши, пристально и властно глядя ему в глаза, и медленно, осторожно проводил пальцами по вискам Эстебана, будто хотел ослабить действие невидимого тока. На лице страдальца проступало выражение невероятного удивления и благодарности, кровь уже отхлынула от щек, но на лбу и шее все еще видны были набухшие синие жилы. Теперь доктор Оже изменил методу массажа: круговыми движениями больших пальцев обеих рук он проводил по надбровным дугам Эстебана. Потом вдруг отнял руки, отвел их немного назад, сплел пальцы и некоторое время держал кисти на уровне собственных щек, как будто заканчивал этим какой-то обряд. Больной между тем повалился на бок, — внезапное оцепенение охватило его, он лежал на плетеной кушетке, не шевелясь, и пот выступал из всех пор его тела. София прикрыла раздетого юношу одеялом.

— Когда он проснется, дайте ему настой ипекакуаны и листьев арники, — сказал доктор Оже, подходя к зеркалу, чтобы поправить слегка измявшийся костюм.

В зеркале отразился вопрошающий взгляд Софии, не сводившей глаз с медика. В его театральных жестах было что-то от колдуна и шарлатана. И тем не менее он только что совершил чудо.

— Мой друг принадлежит к «Обществу гармонии» в Кап-Франсэ, — пояснил Карлосу Виктор, откупоривая бутылку португальского вина.

— Что это, музыкальное общество? — спросила София.

Оже и Виктор посмотрели друг на друга и дружно рассмеялись. Этот непонятный взрыв веселости рассердил девушку, она повернулась и ушла в комнату Эстебана. Больной крепко спал, теперь он дышал размеренно, а ногти его постепенно приобретали обычный цвет. Виктор ждал Софию на пороге гостиной.

— Врачу надо уплатить за визит, — чуть слышно сказал он. Устыдившись собственной забывчивости, девушка поспешила принести из своей комнаты конверт, который она тут же протянула Оже.

— Oh! Jamais de la vie!..¹⁶⁵ — воскликнул мулат, с негодованием отталкивая ее руку.

И он быстро заговорил о современной медицине, которая в последние годы вынуждена признать, что некие пока еще мало изученные силы могут воздействовать на здоровье человека. София бросила разгневанный взгляд на Виктора. Однако ей не удалось встретиться с ним глазами: француз неотрывно смотрел на мулатку Росауру,

¹⁶⁵ О! Никогда в жизни!.. (франц.).

которая проходила через патио, раскачивая бедрами, обтянутыми прозрачным голубым платьем в цветах.

— Подумайте, как интересно! — пробормотала девушка, делая вид, что внимательно прислушивается к словам Оже.

— *Plais-t-il?*¹⁶⁶ — переспросил он.

Пальмовый лист с треском оторвался от дерева и упал посреди патио. Ветер доносил запах моря, такого близкого, что казалось, будто оно разлилось по улицам города.

— В этом году нам не избежать циклона, — проговорил Карлос, останавливаясь перед термометром Великого Альберта и стараясь перевести градусы со шкалы Фаренгейта на шкалу Реомюра.

Всеми владела какая-то неловкость. Слова, произносимые вслух, не отвечали истинным мыслям. Казалось, язык и губы не подчиняются, словно они принадлежат кому-то другому. Карлоса совсем не занимал термометр Великого Альберта; Оже понимал, что его не слушают; София никак не могла избавиться от смутного чувства неприязни и раздражения против Ремихио — ведь это он так неуклюже предал гласности то, о чем она уже давно догадывалась, то, что наполняло ее презрением к жалкому поведению мужчин, которые не способны спокойно и с достоинством сносить одиночество, налагаемое холостяцким положением или вдовством. И гнев, вызванный нескромностью слуги, все сильнее жег душу Софии, она чувствовала, что неосторожные слова негра заставили ее признаться самой себе, что она никогда не любила отца: поцелуи, неотделимые от запаха лакрицы и табака, которые он небрежно запечатлевал на лбу и щеках дочери, отвозя ее в монастырь после унылых воскресных завтраков дома, были ей противны с того самого дня, когда она из девочки превратилась в барышню.

VI

София не понимала, что с нею творится, она была выбита из колеи, ей казалось, что в ее жизни вот-вот должны произойти большие перемены. Нередко под вечер ей чудилось, будто предзакатный луч, вырывая из сгущавшихся сумерек то один, то другой угол комнаты, придает новый облик предметам. Из полумрака выступал Христос и смотрел на нее печальными глазами. Та или иная вещь, которую она раньше почти не замечала, вдруг привлекала к себе ее внимание высоким мастерством работы. В прожилках дерева на комодке угадывались линии парусника. Один из арлекинов, резвившихся в густой листве парка, внезапно окрашивался в более яркие тона, точно его недавно реставрировали, и вся картина воспринималась по-другому; в то же время полотно «Взрыв в кафедральном соборе» еще больше, чем прежде, выводило ее из равновесия, она не могла спокойно смотреть на треснувшие и взлетевшие на воздух колонны, которые так и повисли в пространстве, будто застыли, падали, да так и не могли упасть... Из Парижа присылали книги, которые всего лишь несколько месяцев назад ей так хотелось прочесть, что она спешно выписывала их по каталогу; теперь же пачки книг уныло лежали нераспакованными на полках в библиотеке. Девушка хваталась то за одно, то за другое, оба оставляла нужное дело и принималась за бесполезную работу — пыталась склеить разбитую вазу для цветов, сажала растения,

¹⁶⁶ *Здесь: Что вы сказали? (франц.).*

которые никак не приживались в тропическом климате, с увлечением читала трактат по ботанике, а потом рассеянно проглядывала книгу, где говорилось о подвигах Патрокла или Энея, со скучающим видом закрывала ее и начинала сосредоточенно рыться в сундучке с лоскутами; она ни на чем не могла надолго остановить свое внимание — начинала чинить одежду и тут же ее откладывала, бралась подсчитывать расходы и бросала, приступала к переводу, впрочем, никому не нужному, «Оды к ночи» англичанина Коллинза¹⁶⁷ и не заканчивала его... Эстебана тоже трудно было узнать; в характере и поведении юноши произошли большие перемены, связанные с его чудесным исцелением, — после той памятной ночи, когда был разорен заветный садик Ремихио, приступы болезни у Эстебана ни разу не повторялись. Он перестал бояться ночных припадков, с каждым днем просыпался все раньше и раньше и первый выходил из дому. Теперь он ел с аппетитом по многу раз в день, не ожидая других. Его постоянно мучил голод, — казалось, он хочет наверстать упущенное, ведь ему так долго пришлось просидеть на диете, предписанной врачами, — и он отправлялся на кухню, заглядывал в горшки, хватал слоеные пироги, только что вытасканные из печи, жадно поглощал фрукты, принесенные с рынка. Он не мог больше смотреть на ананасный сок и оршад, — они воскрешали в его памяти былые страдания, — и во всякое время дня, утоляя жажду, пил стаканами красное вино, от которого у него горели щеки. За столом он никак не мог насытиться, особенно когда, засучив рукава рубашки, завтракал один, в полдень, небрежно одетый, в домашних туфлях без задника, с загнутым кверху носком; вооружившись щипцами для орехов, он набрасывался на устриц и других моллюсков, грудой лежавших на блюде, с таким пылом, что осколки их панцирей разлетались во все стороны. Вместо халата Эстебан прямо на голое тело надевал лиловую сутану епископа, которую он извлек из шкафа, где висели одежды предков; он с наслаждением ощущал прикосновение прохладного атласа и щеголял в этом одеянии, перехваченном в поясе четками, нимало не смущаясь тем, что из-под сутаны выглядывали волосатые ноги. Этот «епископ» находился в постоянном движении: то он играл в кегли в галерее патио, то скатывался по перилам лестницы, то, ухватившись руками за балюстраду, повисал в воздухе, а то упрямо добивался, чтобы зазвонили часы, которые уже лет двадцать молчали. Софию, столько раз обтиравшую мокрой губкой кузена во время приступов удушья, прежде не смущал темный пушок на его теле, но теперь из вдруг возникшего чувства стыдливости она старалась не выходить на террасу, когда знала, что юноша моется там на свежем воздухе и обсыхает под солнечными лучами на разогретых кирпичках, даже не позаботившись обернуть полотенце вокруг бедер.

— А он уже становится мужчиной, — с удовольствием отмечал Карлос.

— Да, настоящим мужчиной, — соглашалась София, замечавшая, что с некоторых пор Эстебан по утрам старательно проводит по щекам и подбородку бритвой.

Эстебан первый стал постепенно возвращаться к нормальному распорядку жизни, нарушенному в доме за время траура. С каждым днем он поднимался все раньше и раньше и пил теперь утренний кофе вместе со слугами. София с удивлением наблюдала за юношей, ее тревожило, что кузен, который всего несколько недель назад был болезненным и хрупким существом, прямо на глазах превращался совсем в другого человека: он размеренно и ровно дышал, больше не захлебывался в кашле, не

¹⁶⁷ Коллинз, Уильям (1721–1759) — английский поэт; «Ода к ночи» — одна из его двенадцати лирических од, изданных в 1747 г.

страдал от приливов крови к лицу и был полон кипучей энергии, которая не вязалась с костлявыми плечами, худыми ногами и всем его сухопарым телом, истощенным долгими муками. Девушка беспокоилась, как беспокоится мать, замечая первые признаки возмужания в своем сыне. А «сын» этот все чаще и чаще хватал шляпу и, придумывая любой предлог, бродил по улицам; при этом Эстебан скрывал от всех, что по странному стечению обстоятельств он во время этих прогулок неизменно оказывался на портовых улочках или в переулках, лежавших в стороне от главной улицы, — возле старой церкви, недалеко от арсенала. Сначала он вел себя очень робко: в первый день дошел до перекрестка; на следующий день — до другого перекрестка; и так, постепенно преодолевая последние отрезки пути, он оказался на той улице, где помещались игорные притоны и ночные кабачки, непривычно тихие в эти дневные часы. На пороге уже появлялись женщины, только что вставшие, едва успевшие умыться; вдыхая табачный дым, они шуточно заигрывали с юношей, а он убегал от самых бесцеремонных и замедлял шаги перед дверьми тех, которые предлагали себя так тихо, что слышал только он. Из этих домов доносилась не только женская речь, оттуда исходил душный запах притираний, туалетного мыла, праздных тел, разомлевших в теплых постелях, он заставлял быстрее биться сердце Эстебана, понимавшего, что достаточно ему принять мгновенное решение, и он окажется в мире, полном таинственных возможностей. Одно дело — мечтать о близости с женщиной, совсем другое — осуществить мечту, между такой мыслью и ее претворением в жизнь лежит целая пропасть, и глубину этой бездны дано измерить только юному существу: не так просто впервые заключить в объятия женское тело, это неотделимо от смутного ощущения греха, опасности и чего-то еще никогда не изведенного... Десять дней подряд юноша появлялся на этой далекой улице, доходил до последнего дома и уже готов был переступить порог комнаты, где на низенькой скамеечке, не шевелясь, сидела с виду ко всему равнодушная девица, которая благоразумно решила молча ждать. Десять раз он проходил мимо, все еще не осмеливаясь войти, а женщина, уверенная в том, что нынче или завтра он непременно войдет, — она понимала, что он уже остановил свой выбор на ней, — терпеливо ждала. И однажды под вечер голубая дверь наконец-то затворилась за Эстебаном. То, что затем произошло в узкой и душной комнате, единственным украшением которой служили пестрые юбки, висевшие на гвозде, не показалось ему ни значительным, ни необычным. Современные романы, отличавшиеся неслыханной прежде откровенностью, уже помогли ему понять, что подлинное сладострастие требует более глубоких чувств и невозможно без взаимного тяготения. И все же на протяжении нескольких недель он всякий день возвращался сюда; ему необходимо было доказать самому себе, что он способен, не испытывая ни физических затруднений, ни нравственных укоров, совершать то, что, не задумываясь, совершают все его сверстники; кроме всего прочего, ему, как и всякому мужчине, хотелось приобрести побольше опыта в любовных делах.

— Что это от тебя пахнет такими гадкими духами? — спросила однажды Эстебана двоюродная сестра, брезгливо понюхав его шею.

А через некоторое время он обнаружил на ночном столике в своей комнате книгу, где говорилось об ужасных болезнях, которые посылаются человеку в наказание за плотский грех. Юноша сделал вид, что ничего не заметил, но книгу сохранил.

Теперь Софии приходилось подолгу оставаться одной: Эстебан по-прежнему где-то пропадал, а Карлос, которым овладела внезапная прихоть, отправлялся после полудня

на Марсово поле, в манеж, где знаменитый наездник показывал испанскую школу верховой езды: он обучал лошадей грациозно вставать на дыбы, так что они походили при этом на конные статуи, или красиво и ритмично переступать ногами, — для этого наездник натягивал поводья на португальский или на прусский манер. Виктор, как всегда, приходил с наступлением сумерек. Вместо приветствия София осведомлялась, когда же придет наконец груз муки из Бостона.

— Когда муку доставят, — отвечал негоциант, — я возвращусь в Порт-о-Пренс вместе с Оже, которого призывают туда важные дела.

Предстоящий отъезд врача сильно пугал девушку, — она боялась, как бы Эстебан не стал жертвой нового приступа.

— Оже готовит тут учеников, — успокаивал ее Виктор. Однако он не говорил подробно, где именно происходит обучение; умалчивал он и о том, как относятся к этому руководители медицинской корпорации, которые весьма неохотно допускали новых людей в свою среду. Юг часто нападал на дона Косме, которого он считал очень плохим коммерсантом.

Это *gagne-petit*¹⁶⁸, человек, который не видит дальше собственного носа.

И хотя Виктор знал, какое отвращение испытывает София к складу и магазину, расположенному за стеной, он стал давать ей советы: как только она и брат достигнут совершеннолетия, они должны избавиться от душеприказчика и доверить защиту своих интересов человеку более толковому, способному придать широкий размах их торговой фирме. Он перечислял новые товары, продажа которых может принести сейчас крупные прибыли.

— Мне чудится, будто я слышу голос моего почтенного отца, царство ему небесное! — сказала София, желая положить конец наскучившему ей разговору, но она проговорила эти слова таким ненатуральным и фальшивым голосом, что уже по одной интонации можно было понять, сколько сарказма вложила девушка в эту фразу.

Виктор расхохотался, как это всегда бывало, когда у него внезапно менялось настроение, и начал рассказывать о своих путешествиях; он называл места, которые посетил, — Кампече, Мари-Галант, Доминика, — и было заметно, что вспоминает он о них с явным удовольствием. В этом человеке поражало странное соединение вульгарности и изысканности. В зависимости от того, какой оборот принимала беседа, он мог сразу же перейти от шумной говорливости южанина к необыкновенной сдержанности и немногословию. В нем, казалось, одновременно уживаются несколько разных людей. Говоря о покупке и продаже товаров, он жестикулировал, как рыночный меняла, и руки его напоминали чаши весов. А уже через минуту он мог погрузиться в чтение книги и сидел не шевелясь, упрямо сведя густые брови, почти не мигая, и его темные глаза так пристально смотрели на страницу, что, казалось, пронизывали ее. Если ему приходило в голову заняться стряпней, то делал он это не хуже заправского повара: схватив первый попавшийся лоскут, он сооружал из него колпак, балансировал шумовкой, поставив ее на лоб, и лихо барабанил пальцами по котелкам. Бывали дни, когда его крепкие руки походили на загребущие лапы скупца, у него была привычка, сжимая кулак, прикрывать большой палец остальными, — София находила, что это выдает его истинную сущность. А бывали дни, когда эти же руки казались удивительно легкими и изящными; излагая волновавшую его мысль, он словно поглаживал ее пальцами, как можно гладить висящий в воздухе шар.

¹⁶⁸ Здесь: мелкий торговец (франц.).

— Я плебей, — любил он говорить с таким видом, будто называл свой титул.

Однако София заметила, что, когда они представляли шарады, француз охотнее всего изображал законодателей и трибунов древности, причем он исполнял их роли необыкновенно серьезно и торжественно, считая себя, должно быть, хорошим актером. Часто по его настоянию разыгрывали эпизоды из жизни Ликурга, человека, которым Виктор, по-видимому, особенно восхищался. Хотя Юг знал толк в торговле, хорошо разбирался в деятельности банков и страховых обществ и был опытным negociантом, он стоял за раздел земли и имущества, за то, чтобы детей воспитывало государство, считал, что не должно быть крупных состояний, и предлагал по образцу Спарты чеканить монету из железа, чтобы никому не приходило в голову копить деньги. Однажды, когда Эстебан был в особенно веселом настроении и чувствовал себя совершенно здоровым, Виктор уговорил всех без долгих сборов устроить в доме праздник, чтобы торжественно отметить «возвращение к общепринятым часам трапез». Пир должен был начаться ровно в восемь часов вечера, и всем его участникам надо было добежать до столовой из различных комнат дома — наиболее удаленных от нее — за то время, пока звонарь на колокольне храма Святого Духа пробьет восемь раз. Тот, кто не успеет занять свое место, будет подвергнут различным наказаниям. Одежды для праздника решено было выбрать в шкафу, где хранились костюмы предков. Софии пришла фантазия нарядиться герцогиней, разоренной ростовщиками, и она принялась с помощью Росауры нарочно обтрепывать подол юбки. В комнате у Эстебана уже давно висело облачение епископа. Карлос надел мундир офицера флота, а Виктор остановился на судейской мантии.

— Elle me va très bien¹⁶⁹, — объявил Юг, прежде чем отправиться на кухню, где он поджаривал лесных голубей ко второй перемене.

— Таким образом, у нас будут представлены знать, духовенство, флот и судейское сословие, — сказал Карлос.

— Не хватает только дипломатического корпуса, — заметила София.

И все, смеясь, решили поручить Оже роль полномочного посла королевства Абиссинии... Однако Ремихио, которого отправили за врачом, вернулся и сообщил ошеломительную новость: Оже рано утром ушел из гостиницы и больше туда не возвращался. А недавно в гостиницу явилась полиция с приказом обыскать его комнату и забрать все принадлежащие ему бумаги и книги.

— Не понимаю, — пробормотал Виктор. — Ничего не понимаю.

— Быть может, донесли, что он незаконно занимается медициной? — предположил Карлос.

— Эта *незаконная* медицина исцеляет больных! — вне себя от гнева крикнул Эстебан.

Взволнованный, не похожий на себя, Виктор торопливо искал свою шляпу и никак не мог ее найти; потом он быстро вышел, чтобы разузнать толком, что же именно произошло.

— Впервые вижу его в таком волнении, — сказала София, вытирая платком виски, на которых выступили капельки пота.

Было невыносимо душно. Воздух, казалось, неподвижно застыл, занавеси не шевелились, цветы увяли, трава была как из жести. Листья на пальмах в патио отяжелели, чудилось, будто они выкованы из железа.

¹⁶⁹ Она мне определенно к лицу (франц.).

VII

Виктор возвратился в начале восьмого. Ему ничего не удалось узнать об Оже, но он предполагал, что тот арестован. А может быть, заранее предупрежденный о доносе, — в чем состояла сущность этого доноса, никто не знал, — мулат сумел найти на время дружеский приют. Но в одном сомнений не было: полиция обыскала комнату врача и забрала бумаги, книги и чемоданы с его личными вещами.

— Завтра видно будет, что можно предпринять, — сказал Юг.

И вдруг он заговорил совсем об иных вещах, о том, что он услышал на улице: вечером на город должен налететь ураган. Об этом прямо было объявлено властями. На пристанях царило необыкновенное возбуждение. Моряки говорили о циклоне и принимали срочные меры для защиты своих кораблей. Жители запасались свечами и провизией. Повсюду заколачивали окна и обивали двери... Это известие мало встревожило Карлоса и Эстебана, но все же они отправились на поиски молотков, досок и брусьев. В эту пору года циклон — о нем неизменно говорили в единственном числе, потому что только один из циклонов обладал разрушительной силой, — не был неожиданностью для обитателей города. Все знали, что если на сей раз он, изменив свое направление, и минует их, то непременно обрушится на них в будущем году. Были только две возможности: либо он ринется прямо на город, снося кровли домов, разбивая церковные витражи, топя суда, либо пройдет стороною, опустошая окрестности. Жители острова смотрели на циклон как на грозную небесную стихию, которая рано или поздно настигнет их, — от нее не спастись. Каждая провинция, каждый город, каждое селенье хранили память о циклоне, словно предназначенном им судьбою. Можно было молить только об одном — чтобы ураган бушевал не слишком долго и был не слишком свиреп.

— *Ce sont de bien charmants pays*¹⁷⁰, — ворчал Виктор, укрепляя ставни на одном из выходящих на улицу окон и вспоминая, что в Сен-Доменге тоже всякий год со страхом ожидали циклона...

Внезапно в воздухе поднялся смерч, и хлынул чудовищный ливень. Потoki воды отвесно падали на росшие в патио деревья, кустарники и цветы, падали с такой яростью, что комья земли летели из клумб.

— Началось, — сказал Виктор.

Глухой рокот накатывал, наполнял дом, и стон кровли, скрип ставен, звон оконных стекол сливался то с ровным, то с прерывистым шумом воды: она каскадом низвергалась с крыши, брызгами разлеталась в стороны, вырывалась из водосточных труб, со свистом всасывалась люками. Потом наступила короткая передышка, на улицах стало теперь еще более душно и еще более тихо, чем вечерами перед дождем. А затем хлынул второй ливень — как вторичное предупреждение, — он был еще неистовее первого; на этот раз его сопровождали бурные порывы ветра, ветер постепенно крепчал, натиск его усиливался. Виктор вышел в патио на галерею, по которой, не задерживаясь, проносились воздушные вихри, устремляясь дальше, вперед, — ураган этот возник далеко-далеко над Мексиканским заливом или Саргассовым морем и, крутясь вокруг собственной оси, все ускоряя свое движение, с неодолимой силой увлекал с собою волны воздуха. Виктор, по примеру моряков, попробовал на язык дождевые капли.

¹⁷⁰ Просто благословенные края (франц.).

— Соленая. Морская вода. Pas de doute¹⁷¹.

Он только пожал плечами и возвратился в комнаты; как бы желая дать понять, что всем им предстоят нелегкие часы испытаний, он отправился за вином, стаканами и печеньем, а потом опустился в кресло, предварительно обложившись книгами. Возле ламп, которые при каждом порыве ветра грозили потухнуть, слуги поставили фонари и свечи.

— По-моему, ложиться не стоит, — сказал Виктор. — Какая-нибудь из дверей, чего доброго, не выдержит напора или оконная рама вылетит.

На полу лежали наготове доски и плотничьи инструменты, — они должны были находиться под рукой. Ремихио и Росауру также пригласили в гостиную, где было безопаснее всего, и они теперь хором возносили молитвы, в которых особенно часто упоминалось имя святой Варвары... Ураган ворвался в город вскоре после полуночи. Послышался чудовищный рев, и тотчас же со всех сторон донесся треск и грохот. По мостовым и тротуарам катились различные предметы. Другие предметы летали над шпилями колоколен. С неба падали обломки балок, сорванные с магазинов вывески, черепица, оконные стекла, обломившиеся ветви деревьев, фонари, бочонки, куски корабельных мачт. В двери домов оглушительно стучали невидимые молотки. В промежутках между порывами урагана дребезжали окна. Дома вздрагивали и сотрясались от фундамента до кровли, двери и рамы скрипели... Внезапно потоки грязной, бурой воды, вырвавшиеся из конюшен, с заднего двора, из кухни, с улицы, хлынули в патио, — в одну минуту все сточные отверстия были забиты грязью, навозом, золой, отбросами и опавшими листьями. Виктор, испуская отчаянные вопли, кинулся к ковру, покрывавшему пол гостиной, и начал скатывать его. Забросив ковер на верхнюю ступеньку лестницы, он остановился возле огромной лужи, которая с каждой минутой прибывала, уже проникла в столовую и подбиралась к другим комнатам. София, Эстебан и Карлос бросились спасать стулья и кресла, громоздя их на столы, на комоды, на шкафы, на буфеты.

— Нет, нет! — крикнул Виктор. — За мной!

И, ступив по щиколотку в зловонную воду, он распахнул дверь, ведущую на склад. Здесь уже тоже началось наводнение, и мимо фонаря одна за другой медленно проплывали самые неожиданные вещи. Виктор громко отдавал приказания, подгонял мужчин и мулатку, направлял их усилия, указывая, что именно надо спасти в первую очередь. Тюки с тончайшими тканями, штуки полотна, мешки с перьями, наиболее ценные товары были заброшены наверх, на груды кулей, куда не могла добраться вода.

— Мебель можно привести в порядок, — кричал Виктор, — а это погибнет безвозвратно.

Видя, что все его поняли и усердно трудятся, стараясь сберечь дорогие товары, он возвратился в дом, где охваченная страхом София скорчилась на диване, содрогаясь от рыданий. Вода уже подступала к ее ногам. Виктор подхватил девушку на руки, отнес ее в спальню и с размаху опустил на кровать, приказав:

— Не двигайтесь с места! А я займусь мебелью.

И он принялся бегать вверх и вниз по лестнице, перетаскивая ширмы, пуфы, стулья, гобелены — словом, все, что еще можно было спасти. Вода теперь доходила ему до колен. В эту минуту послышался сильный грохот, кровля над флигелем дома треснула, и черепицы, точно карты из колоды, веером посыпались в патио. Груда

¹⁷¹ Нет сомнения (франц.).

осколков, глины и земли завалила дверь склада, преграждая доступ в него. София, перегнувшись через перила лестницы, визжала от страха. Виктор вновь поднялся наверх, таща сундук, набитый различными мелочами; он почти силой втолкнул девушку в ее комнату, а сам, задыхаясь, рухнул в кресло.

— Больше у меня ни на что нет сил, — пробормотал он.

И чтобы успокоить Софию, жалобно глядевшую на него, он стал говорить, что циклон уже ослабевает, что братья ее в полной безопасности — они на складе, сидят себе на мешках под самым потолком, — и теперь надо спокойно дожидаться рассвета. Самое главное, двери и окна устояли под порывами урагана. Впрочем, дом построен на совесть, ему, видно, не впервой выдерживать ярость ветров. Затем почти насмешливым тоном он сказал Софии, что вид у нее, надо признаться, препротивный: платье перепачкано, чулки заляпаны грязью, а в мокрых, спутанных волосах торчат сухие листья. Девушка молча прошла к себе в туалетную комнату и почти тотчас же возвратилась, кое-как причесавшись и накинув халат. На улице циклон ревел уже не так свирепо, теперь налетали только отдельные порывы вихря — одни резкие, другие более слабые, и промежутки между ними становились все продолжительнее. С неба словно сочился водяной туман, пахнувший морем. Ветер все еще толкал, тащил, катил по мостовой, поднимал на воздух и сбрасывал на землю различные предметы, но шум постепенно утихал.

— По-моему, вам теперь самое время улечься в постель, — сказал Виктор, подавая девушке бокал выдержанного вина.

Проговорив это, он с поразительной бесцеремонностью стащил с себя рубашку и остался голым по пояс. «Ведет себя, словно муж», — подумала София, поворачиваясь к стене. Она собралась было что-то сказать, но сон уже сомкнул ее уста... Вдруг девушка пробудилась: было еще темно, она почувствовала, что кто-то лежит с нею рядом. Чья-то рука покоилась на ее талии. И эта тяжелая рука все сильнее сжимала ее стан, точно тисками. Сонное оцепенение еще владело Софией, и сначала она не поняла, что происходит: после пережитых страхов так приятно было ощущать, что тебя окутывает, охраняет, оберегает тепло какого-то живого существа. Она уже готова была снова забыться, но тут сознание вернулось к ней, по телу пробежала холодная дрожь, и девушка поняла всю недопустимость происходящего. София резко повернулась и вдруг ощутила рядом нагое тело постороннего человека. Она задрожала от возмущения и принялась молотить по нему кулаками, отталкивать его локтями и коленями, царапать, щипать; при этом она все время натывалась животом на что-то непонятное и твердое. А мужчина пытался схватить ее за кисти рук, горячее дыхание опаляло ее уши, он нашептывал ей в темноте странные слова. В борьбе их тела тесно соприкасались, сплетались, почти сливались, но ему никак не удавалось одержать над ней победу. София сопротивлялась упорно и ожесточенно, казалось, она черпает силы в самых недрах своего существа, которому угрожали. Каждым движением она стремилась причинить боль, вся съеживалась, сжималась в тугую комок, и он не мог укротить, покорить ее. В конце концов он отказался от дальнейших попыток и, как бы признавая поражение, отрывисто рассмеялся, тщетно пытаясь скрыть досаду. А она теперь яростно осыпала его упреками и насмешками, выказывая при этом удивительную способность унижать, ранить в самое болезненное место. Мужчина тяжело поднялся с постели. Он шагал по комнате и с мольбою в голосе просил не сердиться на него. Стараясь оправдаться, он приводил доводы, которые поражали девушку, одержавшую трудную победу: ей даже и в голову не могло прийти, что такой

мужественный и зрелый человек, столько переживший и придавший на своем веку, оказывается, видел в ней женщину, в ней, которая ощущала себя почти девочкой. И хотя непосредственная угроза ее целомудрию миновала, София чувствовала, что теперь ей угрожает, пожалуй, еще большая опасность, — из темноты до нее доносился голос, порою звучащий с невыразимой нежностью; голос этот обращался к ней и приоткрывал врата неведомого мира. В ту ночь для нее закончилось отрочество с его чистыми играми. Слова получали отныне необыкновенную весомость. То, что случилось, — вернее, то, чего не случилось, — приобретало огромное значение. Скрипнула дверь, и в ее проеме при свете зеленоватых предутренних лучей возникла человеческая фигура, — мужчина медленно удалялся, тяжело волоча ноги, угнетенный и подавленный. София осталась одна, сердце ее учащенно билось, волосы растрепались, она была охвачена тревогой и понимала, что прошла через тяжелое испытание. От ее тела исходил странный запах, — а быть может, ей это только казалось, — и она никак не могла отделаться от него; то был терпкий, животный, чужой запах, однако и она была к нему как-то причастна. В комнате посветлело. На кровати, рядом с Софией, виднелась вмятина, оставленная мужчиной. И девушка принялась приводить постель в порядок, она взбивала перину, чтобы уничтожить, заполнить перьями неровности, а когда работа была наконец закончена, София вдруг испытала острое чувство унижения: так, должно быть, взбивают свою перину гулящие женщины в том квартале возле арсенала, после того как они спали на ней с чужим человеком. И точно так же поступают наутро после брачной ночи вчерашние девственницы, которых осквернили, грубо проникнув в их лоно. Да, пожалуй, это и было самое неприятное: ведь, перестилая постель, разглаживая складки на простыне, она тем самым как бы становилась сообщницей, как бы одобряла случившееся; точно такими же робкими, осторожными, стыдливими движениями боязливая любовница спешит уничтожить следы греховных объятий. Побежденная усталостью, София легла в постель и забылась; она спала так крепко, что даже не слышала ни собственных рыданий, ни голоса брата, который тщетно пытался ее разбудить.

— Оставь ее в покое, — вмешался Эстебан. — У нее, верно, опять женские дела.

VIII

День занимался медленно, и солнечные лучи, словно бы запоздав к положенному часу, слабо освещали город, лишенный кровель, полный обломков и мусора: повсюду торчали голые балки, и город походил теперь на огромный скелет. От сотен жалких лачуг остались только стойки да шаткие деревянные полы, они возвышались над вязкой грязью, точно подмостки нищеты, на которых обездоленные семьи бедняков горестно оглядывали то немногое, что у них сохранилось: старушка уныло раскачивалась в венском кресле; беременная женщина со страхом ждала родовых схваток; чахоточный и астматик, завернувшись в одеяла, скорчившись, пристроились в уголке, словно балаганные актеры, уже исполнившие свой номер под открытым небом. В гавани из мутной воды торчали мачты затонувших парусников, а вокруг по волнам плавали гроздья перевернутых шлюпок. Море выбросило на берег труп матроса, руки его запутались в клубке веревок. Возле арсенала циклон произвел особенно сильные опустошения, он разметал бревна и доски на судовой верфи, повалил наземь непрочные стены таверн и ночных кабачков. Улицы превратились в топкие канавы. Несколько старинных дворцов, несмотря на свою прочную кладку,

уступили порывам урагана, их двери, оконные рамы, стекла не выдержали, и буйный вихрь, ворвавшись внутрь, обрушился на стены, ломая портики и галереи. Изделия расположенной возле причалов прославленной мебельной мастерской под вывеской «Иосиф Прекрасный» были подхвачены ветром и унесены в чистое поле — далеко за пределы города, за огороды предместий, туда, где ручьи вышли из своих берегов и сотни пальмовых стволов лежали, наполовину залитые водой, точно древние колонны, рухнувшие при землетрясении. И все же, несмотря на размеры стихийного бедствия, люди, привычные к тому, что такие катастрофы периодически повторяются, и считавшие их неизбежными конвульсиями тропиков, уже сновали, как неумолимые муравьи, — что-то запирали, что-то чинили, что-то штукатурили. Все было влажно; все пахло влагой; все увлажняло руки. В тот день жители были заняты одним делом: вычерпывали воду, не позволяли ей застаиваться, рыли канавки, осушали почву и дома. К вечеру, приведя в порядок собственные жилища, плотники, каменщики, стекольщики, слесари уже предлагали свои услуги другим. И когда София наконец проснулась, оказалось, что дом полон рабочих, которых привел Ремихио: одни покрывали черепицей разрушенный скат крыши, другие выносили из патио обломки и мусор. По переходам и галереям взад и вперед тащили бочонки с известью и гипсом, балки и брусья, а Карлос вместе с Эстебаном ходил со склада в дом и обратно, составляя опись попорченной мебели и пострадавших товаров. Надев костюм Карлоса, который был ему тесен, Виктор, усевшись в гостиной, погрузился в придирчивое изучение счетоводных книг магазина. Увидев девушку, он еще глубже уткнулся носом в бумаги, делая вид, что не замечает ее. София тоже решила заняться каким-нибудь делом и направилась в кухню и кладовые, где Росаура, всю ночь не смыкавшая глаз, очищала ножи и вилки, кастрюли и прочую кухонную утварь от грязи, которая на полу уже затвердела. У девушки голова шла кругом от всей этой сутолоки, от присутствия в доме посторонних людей, от беспорядка и неразберихи, из-за которых вновь разладился только недавно налаженный быт и в комнатах опять творилось бог знает что, совсем как в первые месяцы траура. В тот вечер сызнова возникли «Падающие башни», «Тропинки друидов», крутые горные тропы, проложенные между ящиками, столами, снятыми портьерами, свернутыми и заброшенными на шкафы коврами, — но только к этому еще примешивались теперь совсем иные запахи, каких тут прежде не было. Необычайность обстановки, грандиозность катастрофы, которая нарушила привычный ход жизни в городе, еще больше усиливали владевшее Софией беспокойство: с самого пробуждения ее терзали противоречивые и тревожные мысли, вызванные воспоминаниями о событиях прошлой ночи. Все случившееся составляло частицу величайшего беспорядка, который стал уделом обитателей города во время стихийного бедствия. Но один факт поразил ее больше всего, больше, чем рухнувшие стены, больше, чем разрушенные колокольни, больше, чем затонувшие корабли: она стала предметом *вожделения*. Это было так непривычно, так неожиданно, так тревожно, что девушка до сих пор сомневалась, не пригрезилось ли ей все во сне. За несколько часов она навсегда распрощалась с отрочеством, у нее было такое чувство, будто от палящего желания мужчины тело ее обрело зрелость. На нее смотрели как на Женщину, между тем как она сама не только не могла смотреть на себя как на женщину, но даже не могла вообразить, что другие могут возвести ее в ранг женщины.

— Я женщина, — шептала она, чувствуя себя так, будто ее оскорбили и одновременно взвалили на плечи груз, пригивавший к земле.

Она глядела на себя в зеркало, глядела словно со стороны, и ей становилось

тревожно, ее мучило предчувствие чего-то неотвратимого, ей казалось, что она чересчур высока, нескладна, непривлекательна, что у нее слишком узкие бедра, слишком худые руки, асимметричный бюст, — девушке впервые не понравились очертания ее собственной груди. Отныне мир был населен опасностями, она покидала гладкую дорогу и вступала на иной путь, где ее ждали испытания, где ее истинный облик будут непременно сравнивать с его внешним выражением, на путь, который невозможно пройти без душевных мук и горьких заблуждений... Быстро спустился вечер. Рабочие ушли, и глубокая тишина — такая тишина бывает только среди развалин или на похоронах — опустилась на разоренный город. Подали скудный ужин, состоявший из одних только холодных закусок; за едой все молчали, лишь изредка кто-нибудь упоминал об ущербе, причиненном ураганом. Потом София, Эстебан и Карлос, совершенно измученные, отправились спать. Виктор был необычайно сосредоточен, ногтем большого пальца он чертил на скатерти какие-то цифры, складывал их, вычитал, затем перечеркивал; когда молодые люди поднялись из-за стола, он попросил разрешения остаться в гостиной на несколько часов, а еще лучше — до утра. По улицам невозможно было ходить. Пользуясь темнотой, воры и грабители занимались своими темными делами. Кроме того, ему непременно хотелось закончить изучение счетоводных книг.

— Сдается мне, что я обнаружил кое-какие факты, и они представляют для вас немалый интерес, — сказал он. — Но об этом поговорим завтра.

На следующее утро, около девяти часов, Софию разбудил стук молотков, свистящий звук пил, скрип блоков и голоса рабочих, вновь наполнивших дом; она спустилась в гостиную и обнаружила, что там происходит нечто странное. Душеприказчик, криво усмехаясь, сидел в кресле, а напротив, на некотором расстоянии, точно судьи, восседали Карлос и Эстебан — хмурые, непривычно серьезные и настороженные. Виктор, заложив руки за спину, шагал взад и вперед по комнате. Время от времени он останавливался перед вызванным для объяснений доном Косме, пристально смотрел на него и заключал свою мысль, отрывисто произнося сквозь зубы слово «oui!»¹⁷², походившее на рычание. В конце концов Виктор опустился в кресло в углу гостиной. Заглянув в записную книжку, куда он, видимо, занес несколько цифр, Юг снова прорычал свое «oui!» и принялся рассеянно и небрежно говорить, полируя ногти рукавом, поигрывая карандашиком или же вдруг с интересом разглядывая мизинец левой руки, как будто он что-то внезапно обнаружил на нем. Начал он с заявления о том, что не принадлежит к числу людей, которые любят вмешиваться в чужие дела. Он отметил похвальное рвение, с каким господин Косме (Виктор произнес это имя «Ко-о-о-о-ме», немислимо растягивая звук «о») удовлетворял все желания своих питомцев, исполнял все их просьбы, заботился, чтобы в доме ни в чем не испытывали недостатка. Однако такое рвение — n'est-ce pas?¹⁷³ — могло ведь иметь и тайную цель: заранее усыпить всякое подозрение.

— Какое подозрение? — встрепенулся душеприказчик, с деланным безразличием слушавший речь Виктора, незаметно придвигая свое кресло поближе к молодым людям, словно он хотел таким способом показать, что входит в состав их семьи.

Однако Виктор поманил к себе братьев и, как бы давая понять, что дон Косме в

¹⁷² «Да!» (франц.).

¹⁷³ Не так ли? (франц.).

этом доме чужой, произнес подчеркнуто дружеским тоном:

— Поскольку, *mes amis*¹⁷⁴, мы читали с вами Реньяра, припомните, пожалуйста, следующие его стихи, которые вы нынче с полным основанием можете обратить ко мне:

Ah! Qu'ʼà notre secours a propos vous venez!

Encore un jour plus tard, nous etions ruinés!¹⁷⁵

— Bravo, нас, кажется, ожидает представление французской комедии, — проговорил душеприказчик, смеясь собственной остроте, которую остальные встретили тягостным молчанием.

— Иногда, по воскресеньям, — продолжал Виктор, — пока молодые люди спали, я заходил в соседнее помещение, — при этих словах он указал на дверь, что вела в магазин, — и кое-чем интересовался, смотрел, подсчитывал, сопоставлял, делал заметки. Таким образом — ведь у меня как-никак душа коммерсанта, этого нельзя отрицать, — я пришел к выводу, что на складе некоторых товаров гораздо меньше, чем числится в бумагах, которые дон Косме аккуратно вручал Карлосу.

Душеприказчик попытался что-то сказать, но Виктор не дал ему и рта раскрыть. Разумеется, он, Виктор, и сам понимает, продолжал Юг, что в нынешнее время торговать куда труднее, чем прежде, свободу негоциантов ограничивают, они сталкиваются со всякими препятствиями и помехами. Однако это не резон, — при этих словах его тон сделался угрожающим, — для того, чтобы подсовывать сиротам поддельные счета, зная к тому же, что они в эти счета даже не заглянут... Дон Косме хотел было подняться с кресла. Но Виктор предупредил его, он уже шел к душеприказчику большими шагами, тыча в него указательным пальцем. Теперь его голос звучал сурово, в нем слышался металл: ведь на складе и в магазине происходят просто скандальные вещи, и происходят они с того самого дня, когда скончался отец Карлоса и Софии. Он, Виктор, с цифрами в руках берется доказать в присутствии свидетелей, что человек, который втерся к молодым людям в доверие, их мнимый покровитель, бесчестный душеприказчик, сколачивает себе состояние, преступно обманывая несчастных сирот, простодушных детей, ведь человек этот знает, что из-за отсутствия опыта они не могут разобраться в состоянии своих дел. И это еще не все: ему, Виктору, известны некоторые рискованные спекуляции, в которые пускался сей «приемный отец», употребляя в корыстных целях деньги своих питомцев; он может рассказать о сделках, заключенных при помощи подставных лиц, — француз, с пафосом цитируя речь Цицерона против Верреса, назвал их «*canes venatici*»¹⁷⁶... Дон Косме снова попытался прервать этот поток слов, однако Виктор, все больше повышая тон, продолжал свою обвинительную речь, — казалось, он стал выше ростом, и на его вспотевшее лицо страшно было смотреть. Он судорожно рванул ворот своей сорочки,

¹⁷⁴ Друзья мои (*франц.*).

175

Вы подоспели к нам на помощь в самый раз!
Еще бы день прошел — и разорили б нас! (*франц.*)

¹⁷⁶ «Охотничьи собаки» (*лат.*).

она распахнулась, закрыв верхнюю часть жилета, и стала видна шея с набухшими жилами — его голосовые связки были напряжены до предела. Впервые Юг показался Софии красивым: он стоял в гордой позе трибуна и всякий раз, когда заканчивал ораторский период, с силой ударял кулаком по столу. Внезапно Виктор отступил в глубь гостиной и прислонился к стене. Величественным жестом он скрестил руки на груди, сделал короткую паузу, которой душеприказчик не успел воспользоваться, и отрывистым, резким голосом, полным высокомерного презрения, произнес:

— Vous êtes un misétable, Monsieur!¹⁷⁷

Дон Косме съехался, сжался в комок, словно вдавился в кресло, которое казалось слишком большим для его тщедушного тела. Губы у него беззвучно вздрагивали от гнева, пальцы впились в обитые бархатом подлокотники. Потом он внезапно выпрямился и, уставившись на Виктора, пролаял только одно слово:

— Франкмасон!

На Софию слово это произвело такое же впечатление, как картина «Взрыв в кафедральном соборе». А дон Косме еще громче, с угрожающими интонациями снова выкрикнул:

— Франкмасон!

Он все резче и пронзительнее повторял это слово, как будто его было достаточно, чтобы опорочить любого обвинителя, опровергнуть любое обвинение, снять любую вину с человека, в чьих устах оно прозвучало. Видя, что Виктор встретил его крик вызывающей улыбкой, дон Косме заговорил о грузе муки из Бостона, который все еще не прибыл, да так никогда и не прибывает; ведь это только предлог, чтобы замаскировать деятельность господина Юга, агента франкмасонов из Санто-Доминго, и его сообщника мулата Оже, магнетизера и колдуна, о котором он, дон Косме, непременно сообщит в медицинскую корпорацию, так как этот проходимец обманул доверчивых молодых людей, ослепил их своими шарлатанскими приемами, — Эстебан, увы, скоро убедится, что его зря обнадежили, приступ болезни, конечно же, вот-вот повторится. Теперь душеприказчик перешел в наступление, он кружил возле француза, как разъяренный овод, и вопил:

— Эти люди молятся Люциферу! Эти люди на древнееврейском языке поносят Христа! Эти люди плюют на распятие! Эти люди вместе со своими единомышленниками в ночь под страстную пятницу закалывают агнца в терновом венце, агнца, распятого на столе, где происходит гнусное пиршество! Вот почему святые отцы, папа Климент и папа Бенедикт, отлучили от церкви этих нечестивцев и обрекли их тем самым вечно гореть в аду...¹⁷⁸

С испугом в голосе, точно он разоблачает тайны шабаша ведьм, где ненароком присутствовал, дон Косме заговорил о святотатцах, не признающих Христа-спасителя; они поклоняются некоему Хираму-Аби, строителю храма Соломона, в своих тайных

¹⁷⁷ Вы просто негодяй, сударь! (франц.).

¹⁷⁸ Дон Косме обрушивается на масонов, приписывая им кровавые обряды и колдовские церемонии. Хотя в XVIII в. масонские братства еще объединяли людей вольного образа мысли, проповедовавших идеи веротерпимости и борьбы с религиозными предрассудками, тем не менее они уже не носили подлинно демократического характера, к которому стремились вначале. Масоны, чьи организации (ложи) действовали втайне, разработали мистический ритуал ведения своих собраний, приема новых членов, общения между сотоварищами, используя символику средневековых тайных обществ (см. главы XII, XIII). Церковь упорно преследовала масонов, и дон Косме не случайно упоминает о «папе Клименте и папе Бенедикте, отлучивших этих нечестивцев от церкви». Буллы 1738 г. Климента XII и 1751 г. Бенедикта XIV предавали анафеме членов масонских союзов.

церемониях они прославляют Озириса и Изиду, а себя каждый именует то владыкой Тира, то зиждителем Вавилонской башни, то рыцарем Кадошем, то великим магистром ордена тамплиеров, — они поступают так в память о Жаке де Моле¹⁷⁹, человеку противоестественных нравов, уличенном в ереси и сожженном на костре, так как он почитал сатану в образе идола по прозвищу Бафомет.

— Люди эти молятся не святым, а Белиалу, Астарте и Бегемоту! — истошно вопил дон Косме.

Он поносил франкмасонов, говоря, что члены этого сообщества проникают повсюду, ниспровергают христианскую веру и авторитет законных правителей во имя некоей «филантропии»; прикрываясь разговорами о том, будто они стремятся ко всеобщему благоденствию и демократии, франкмасоны на самом деле тайно готовят международный заговор, чтобы уничтожить существующий порядок. И, пристально глядя в лицо Виктору, дон Косме громко крикнул: «Заговорщик!» Он столько раз выкрикивал это слово, что под конец голос его пресекся и он закашлялся.

— Все это верно? — робко спросила София, которую одновременно поразило и ослепило столь неожиданное появление Озириса и Изиды на пышном фоне храма Соломона и замка рыцарей-тамплиеров.

— Верно только одно: ваша фирма накануне краха, — невозмутимо ответил Виктор и, повернувшись к Карлосу, прибавил: — Уже в римском праве предусмотрены меры против недостойных опекунов. Подайте на него в суд.

При слове «суд» душеприказчик взвился как ужаленный.

— Мы еще посмотрим, кто первый угодит в тюрьму, — прохрипел он. — Насколько мне известно, в скором времени произойдет облава на франкмасонов и нежелательных иностранцев. С нелепой терпимостью, которая допускалась в прошлом, будет покончено. — Схватив шляпу, он прибавил: — Выставьте этого авантюриста за дверь, не то вас *всех* арестуют. — Дон Косме поклонился и процедил: — Счастливо оставаться... *всем!*

В последнем его слове вновь прозвучала угроза. После этого он вышел из гостиной и так хлопнул дверью, что в доме задрожали стекла. Молодые люди ожидали от Виктора каких-либо объяснений. Однако он с сосредоточенным видом прикладывал сургучные печати к толстым шнурам, которыми скрепил счетоводные книги фирмы. Покончив с этим, он произнес:

— Сохраните их в целости. Тут ваши доказательства.

После этого Юг стал задумчиво глядеть в окно, выходящее в патио: внизу рабочие устранили повреждения, причиненные ураганом, а Ремихио, необычайно гордившийся своей ролью надсмотрщика, наблюдал за ними. Внезапно, словно испытывая потребность в движении, в том, чтобы к чему-нибудь приложить силы, Виктор спустился в патио, схватил лопатку каменщика и, смешавшись с рабочими, стал быстро и ловко заделывать и замазывать отверстия в стене патио, больше всего поврежденной упавшими с кровли черепицами. София смотрела, как он карабкается на леса, смотрела на его перепачканное известью и гипсом лицо и думала о мифе, героем которого был Хирам-Аби: несмотря на анафемы по его адресу, которые она не раз слышала в церкви, несмотря на агнца в терновом венце, на богохульные речи, произносившиеся на древнееврейском языке, и на грозные буллы пап, она чувствовала

¹⁷⁹ Здесь перечислены мифические предтечи масонства. Единственная реальная фигура — последний магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, казненный за «колдовство» и «сношения с дьяволом» в 1314 г.

себя слегка ослепленной ореолом тайны, которая отныне окружала Виктора, походившего в эту минуту на строителя храмов. Внезапно он предстал перед нею в облике человека, побывавшего в запретных пределах, человека, которому подвластны тайны, знатока Азии, обнаружившего никому не ведомую книгу Заратустры, — он немного походил и на Орфея, возвратившегося из подземного царства. И она теперь припоминала, с каким увлечением играл Юг во время представления живых картин роль древнего зодчего, предательски убитого ударом деревянного молотка. Он также охотно облачался в одеяние тамплиера и, накинув украшенный крестом плащ, изображал Жака де Моле, идущего на казнь. Обвинения, высказанные душеприказчиком, казалось, отвечали действительности. Но именно эта действительность влекла теперь девушку к себе благодаря атмосфере чего-то неведомого и загадочного, тайны, которой была окутана жизнь Виктора. Жизнь, поставленная на службу опасным убеждениям, была гораздо занимательнее, чем бездумное существование купца, ожидающего прибытия мешков с мукою. Уж лучше заговорщик, чем коммерсант! Юность всегда находит вкус в переодеваниях, во всякого рода парнях, тайниках, криптограммах, альбомах с застешками, куда вносят записи, понятные только посвященным, — и все это теперь виделось Софии в жизни Виктора.

— Но... в самом ли деле эти люди так ужасны, как утверждают? — спросила она.

Эстебан пожал плечами: так уж издавна повелось, что на тайные секты и на тайные общества неизменно возводят клевету. Ранних христиан обвиняли в том, что они будто бы убивали младенцев; баварских иллюминатов, единственным преступлением которых было то, что они желали человечеству добра, смешивали с грязью¹⁸⁰.

— Однако, судя по всему, они не в ладах с господом богом, — заметил Карлос.

— Ну, надо еще удостовериться, что бог существует, — отозвался Эстебан.

И тут София, словно ей не терпелось освободиться от тяжелого груза, разразилась отчаянными воплями:

— Я устала от бога! Устала от монахинь! От опекунов и душеприказчиков, от нотариусов и деловых бумаг, от жульничества и прочих гадостей! Я устала от всего этого и не желаю больше терпеть.

Вскочив на стоявшее у стены кресло, девушка сорвала большой портрет отца и с такой силой швырнула его на пол, что полотно вылетело из рамы. И на глазах у братьев, сохранявших наружное спокойствие, София принялась яростно топтать холст, так что засохшие чешуйки краски полетели во все стороны. Когда от злополучного портрета остались только лоскутья да щепки, София, задыхаясь, упала в кресло; лицо ее все еще оставалось хмурым. Виктор, только что отложивший мастерок, сделал удивленный жест: в патио торопливым шагом вошел Оже.

— Надо бежать, — сказал мулат и в нескольких словах поведал о том, что ему удалось узнать, пока он скрывался в доме одного из *братьев*.

Циклон заставил власти заняться самыми неотложными делами, и это приостановило уже начавшееся было преследование франкмасонов полицией. На этот счет из Испании пришли особые распоряжения. В настоящее время тут делать больше

¹⁸⁰ Союз баварских мистиков-иллюминатов, основанный в 1776 г. Адамом Вейсгауптом, выступал против засилья церковей (в равной мере как католической, так и лютеранской) и монархического образа правления, считая его противоестественным и безнравственным. Хотя иллюминаты были убежденными противниками революционных преобразований, их деятельность чрезвычайно обеспокоила баварские власти, и в 1785 г. курфюрст Баварский Карл Теодор принял решительные меры против Вейсгаупта и его последователей.

нечего. Самое умное — воспользоваться воцарившимся на время беспорядком и, пока все заняты восстановлением жилищ и расчисткой улиц, покинуть город; а потом из безопасного места можно будет наблюдать, какой оборот примут события.

— Для этого вполне подойдет наше имение, — объявила София твердым голосом и, не долго думая, отправилась в кладовую готовить провизию на дорогу.

Вскоре она возвратилась с корзиной, куда уложила холодное мясо, хлеб и горчицу; и тогда все согласились, что Карлосу следует остаться дома, — он постарается как можно скорее узнать новости. Эстебан пошел распорядиться, чтобы не мешкая закладывали экипаж, а Ремихио послали в контору дилижансов на площади Иисуса Христа, поручив ему раздобыть двух запасных лошадей.

IX

Под унылым морозящим дождем, который промочил до нитки сидевших на козлах Эстебана и Оже, под назойливым дождем, брызги которого при каждом порыве ветра достигали и заднего сиденья, экипаж, блестя черным клеенчатым верхом, с трудом продвигался по разбитым дорогам, скрипя рессорами, раскачиваясь и подпрыгивая на ухабах; иногда он так наклонялся, что казалось, вот-вот опрокинется; порою, когда приходилось переправляться вброд через какую-нибудь речушку, он так глубоко погружался в воду, что брызги долетали до фонарей; экипаж снизу доверху был заляпан грязью: не успевал он выбраться из красноватой почвы засаженного сахарным тростником поля, как тут же увязал в серой жиже бесплодных земель, уставленных кладбищенскими крестами, — завидев их, Ремихио, ехавший чуть позади на одной из запасных лошадей, осенял себя крестным знамением. И все же, несмотря на ненастную погоду, путешественники пели и смеялись, пили мальвазию, жевали бутерброды, грызли песочное печенье и карамель, — так приятен был воздух, напоенный запахами зеленеющих пастбищ, коров с набухшим выменем, сельских очагов, в которых весело потрескивали сухие дрова; их радовало, что далеко позади остались тошнотворные запахи рассола, вяленого мяса и проросшего лука, полновластно царившие на узких улицах города. Оже напевал креольскую песенку:

Dipi mon perdi Lisette,
Mon pas souchié Kalepda;
Mon quitté bram-bram sonnette,
Mon pas battre bamboula¹⁸¹.

София пела по-английски красивую шотландскую балладу, словно забыв о том, что Эстебан не упускал случая посмеяться над ее причудливым произношением. Пел и Виктор, безбожно искажая мелодию, но с полной серьезностью, он упорно начинал одну и ту же арию, но дальше первой фразы: «Oh! Richard! Oh! Mon roi!»¹⁸² — не

181

Я Лизетту потерял,
Счету дням теперь не знаю,
Танцевать я перестал,
Не пою и не играю (*креол.*).

182 «О! Ричард! Мой король!» (*франц.*).

шел, так как ничего больше не помнил. К вечеру дождь усилился, дороги сделались еще хуже, Эстебан стал покашливать, Оже слегка осип, а София никак не могла согреться в отсыревшей одежде. Мужчины поочередно переходили с козел на заднее сиденье под верхом, и это непрерывное перемещение внутри экипажа не позволяло путешественникам поддерживать связную беседу. Самый жгучий вопрос, самая жгучая тайна — вопрос о том, чем же на самом деле занимались Виктор и Оже, по-прежнему не был выяснен; никто не заговаривал об этом, быть может, по дороге так много пели именно потому, что обстановка была малоподходящей для разъяснения загадок... В имение добрались глубокой ночью. Дом был грубой каменной кладки, старый, запущенный, с потрескавшимися стенами, длинными переходами и бесчисленными аркадами; его широкая кровля обветшала и ходила ходуном на подгнивших балках. Несмотря на усталость и на страх перед летучими мышами, которые беспорядочно носились над головой, София занялась приготовлениями к ночлегу: велела достать постельное белье и одеяла, наполнить водой тазы для умывания, зашить дыры на пологаях от москитов; к следующей ночи она пообещала большие удобства. Виктор тем временем поймал во дворе двух кур; ухватив их за шею, он принялся крутить птиц в воздухе, так что они стали походить на игрушечные мельницы из перьев, а когда их шейные позвонки хрустнули, опустил кур в кипящую воду, проворно ощипал, разрезал на мелкие куски, чтобы на скорую руку приготовить фрикасе, причем в соус он добавил много водки и молотого перца — *pour r#233;chauffer messieurs les voyageurs*¹⁸³. Обнаружив, что в патио растут кустики укропа, Юг принялся разбивать яйца, возвестив, что угостит всех *omlette aux fines herbes*¹⁸⁴. София хлопотала вокруг стола, украсив его посредине баклажанами, лимонами и горькой тыквой. Войдя по приглашению Виктора на кухню, чтобы убедиться, как вкусно пахнет фрикасе, девушка вдруг почувствовала, что его рука легла на ее талию, но на сей раз он сделал это так непосредственно, так дружески, что она не усмотрела в его поведении ни назойливости, ни бесцеремонности и не сочла нужным оскорбиться. Охотно подтвердив, что кушанье удалось на славу, София сделала пируэт, легко высвободилась и вернулась в столовую, несколько не рассердившись. Ужин прошел весело, а после вкусной еды все пришли в хорошее настроение: так уютно и спокойно было сидеть в доме и слушать, как усилившийся дождь барабанит по крыше, стучит по листьям маланги, будто по натянутому пергаменту, сбивает плоды с гранатовых и миртовых деревьев в саду... Внезапно Виктор перешел на серьезный тон и заговорил без всякой патетики о том, что привело его к ним в город. Прежде всего коммерческие дела: если везти лионские шелка в Гавану и Мексику через Испанию, за них приходится платить очень высокую пошлину; но есть и другой путь: их можно везти через Бордо прямо в Сен-Доменг, а оттуда тайно переправлять сюда на североамериканских кораблях, которые возвращаются домой, доставив груз пшеничной муки на Антильские острова. Сотни штук шелкового полотна уже прибыли сюда в мешках, с виду ничем не отличавшихся от мешков с другими товарами: вольнолюбиво настроенные коммерсанты-креолы при содействии некоторых портовых чиновников ловко прибегали к контрабанде, полагая, что они имеют полное право бороться таким путем против злоупотреблений и

¹⁸³ Чтобы согреть господ путешественников (франц.).

¹⁸⁴ Омлетом с пряными травами (франц.).

вымогательства испанских властей, присвоивших себе исключительные привилегии в области торговли. Он, Виктор, заботился тут не только о собственных интересах, но и об интересах фабрик, принадлежащих Жану-Батисту Виллермозу («Должно быть, это весьма важная персона, — подумал Эстебан, — коль скоро его имя произносится столь торжественным тоном»), и доставил большие партии лионского шелка различным торговым фирмам города.

— А можно ли считать такую торговлю честной? — вызывающе спросила София.

— Это один из способов борьбы против тирании Испании, — ответил Юг. — А тиранию надо ниспровергать, какие бы формы она ни принимала.

Ведь с чего-то надо было начинать, продолжал Виктор, ибо люди тут какие-то сонные, косные, они живут в своем как бы застывшем мире, вдали от всего, их интересы ограничиваются ценами на табак и сахар. Напротив, в Сен-Доменге франкмасоны очень могущественны, они-то хорошо знают обо всем, что происходит на свете. Полагая, что франкмасонство распространено на Кубе так же широко, как в Испании, он, Виктор, взялся установить отношения со здешними *братьями* и создать тайное общество, наподобие тех, какие уже существуют в других местах. Однако его ждало полное разочарование. Филантропы в этом богатом городе крайне малочисленны и боязливы. Они, видимо, плохо себе представляют, что такое «социальный вопрос». Они в какой-то мере сочувствуют движению, которое приняло воистину всемирный размах, но отнюдь не склонны действовать. Из страха, из трусости они не решаются опровергать различные легенды и вымыслы о том, будто франкмасоны плюют на распятие, поносят Христа, святотатствуют и богохульствуют, — вымыслы, давно уже развеянные в других местах.

— *Nous avons autre chose à faire, croyez-moi*¹⁸⁵, — продолжал Виктор. — Здешние жители, — прибавил он, — даже не догадываются о том, какое значение для судеб мира будут иметь события, происходящие ныне в Европе.

— Революция началась, и никто уже не в силах ее остановить, — вмешался Оже.

Мулат произнес эту фразу необыкновенно торжественным тоном, какой был ему иногда свойствен. «Революция, — повторил про себя Эстебан, — та самая революция, о событиях которой местная газета сообщает в нескольких строчках между программой театральных представлений и объявлениями о продаже гитар. Даже Виктор признался, что со времени приезда в Гавану он утратил ясное представление о том, что творится в мире, а ведь в Санто-Доминго он с нетерпением ждал новостей из Европы».

— Для начала недавно был издан декрет, который дает право человеку с таким цветом кожи, как у меня, — снова заговорил Оже, прикоснувшись пальцами к своей щеке, более темной, чем лоб, — отправлять во Франции любую общественную должность. Мера эта имеет громадное значение. Гро-мад-ное!

Повысив голос, перебивая друг друга, Виктор и Оже горячо заспорили, перескакивая с предмета на предмет; из этого путаного, но весьма интересного разговора Эстебан усвоил лишь несколько ясных положений: «Мы оставили позади эпохи, отмеченные печатью религии и метафизики; мы вступаем ныне в эпоху науки», «Расслоение общества на сословия лишено смысла», «Надо отделить торговые интересы от пагубного стремления к развязыванию войн», «Человечество разделено на две части: на угнетателей и угнетенных. Привычка, нужда и отсутствие досуга мешают

¹⁸⁵ Поверьте, у нас есть иные занятия (*франц.*).

большинству угнетенных отдать себе отчет в собственном положении: как только они осознают свое положение, вспыхивает гражданская война». Слова «свобода», «благоденствие», «равенство», «человеческое достоинство» то и дело повторялись в этом беспорядочном споре, подтверждая неотвратимость грандиозного пожара, который в ту ночь казался Эстебану неизбежным очистительным пламенем; юноше страстно хотелось поскорее стать свидетелем этих грозных апокалипсических событий, чтобы тем самым начать жизнь взрослого человека уже в новом мире. Однако ему показалось, что, хотя Виктор и Оже употребляют одни и те же слова, они нередко по-разному смотрят на вещи, на людей и на то, как надлежит действовать в предвидении готовящихся событий. Врач заговорил о некоем Мартинесе де Паскуальи, известном философе, который умер несколько лет назад в Сен-Доменге; по мнению Оже, его взгляды оставили глубокий след в умах многих людей.

— Шарлатан! — презрительно воскликнул Виктор.

И он принялся с насмешкой говорить о том, что человек этот утверждал, будто может поверх материков и океанов вступать в духовное общение со своими учениками; для этого в дни солнцестояния или равноденствия философ и его ученики, как бы далеко они друг от друга ни находились, вставали на колени, очерчивали мелом магический круг, располагали по окружности горящие свечи и различные кабалистические знаки, жгли ароматические вещества и прибегали к иным подобным же азиатским фокусам.

— Мы хотим только одного, — с раздражением возразил Оже, — освободить трансцендентальные силы, дремлющие в человеке.

— Лучше разбейте прежде свои оковы, — ответил Виктор.

— Мартинес де Паскуальи, — с чувством продолжал врач, — разъяснил, что эволюция человечества осуществляется силами всего общества и, стало быть, творческая энергия каждого отдельного человека непременно входит составной частицей в энергию общества: тот, кто больше *знает*, тот больше и *сделает* для блага себе подобных.

На сей раз Виктор не стал спорить, так как эта мысль не слишком расходилась с его убеждениями. Софию смущало, что одни и те же идеи вызывают столь различные и даже противоречивые толкования.

— Такие сложные вопросы не могут быть поняты сразу, без глубокой подготовки, — уклончиво ответил Оже.

Перед девушкой словно на миг приподняли завесу, скрывавшую загадочный мир, который так и остался для нее тайной за семью печатями. Эстебану между тем вдруг показалось, что до сих пор он жил, как слепой, вдали от самых волнующих событий, не ведая о том, что было единственно важным в его время.

— А от нас скрывают самые главные новости! — возмутился Виктор.

— И впредь будут скрывать, ибо правительства испытывают страх, панический страх перед призраком, что бродит по Европе, — заявил Оже пророческим тоном. — Исполнились сроки, друзья мои. Исполнились сроки.

Два дня подряд они только и говорили что о революции, и София поражалась тому, какой захватывающий интерес приобрел для нее этот новый предмет беседы. Говорить о революционных переворотах, воображать эти перевороты, мысленно находиться в центре революционных событий — значит в какой-то мере становиться властителем мира. Все, кто говорит о революции, внутренне уже готовы совершить ее. Ведь им уже ясно, что ту или иную привилегию надобно упразднить, и они начинают думать, как

это лучше сделать; им уже понятно, что данная форма угнетения отвратительна, и они изыскивают способы для борьбы с нею; для них уже очевидно, что тот или иной правитель — негодяй, и его единодушно приговаривают к смерти. А после того, как почва расчищена, сразу же начинают строить Град будущего... Эстебан, например, высказывался за уничтожение католицизма и предлагал в назидание другим строго наказывать всякого, кто вновь станет поклоняться «идолам». Виктор полностью был с ним согласен, однако Оже защищал иную точку зрения. Поскольку, утверждал мулат, человек искони выказывал упорное стремление к тому, что можно назвать «подражанием Христу», надо преобразовать этот извечный порыв в страстную тягу к совершенству, тогда каждый будет стараться походить на легендарного Христа, будет пытаться достичь высот человеческого совершенства. Софию, однако, мало занимали чисто философские построения, и она заставила мужчин спуститься на землю: ее интересовало, какое положение займет в новом обществе женщина и как там станут воспитывать детей. Завязался шумный спор по поводу того, можно ли считать спартанское воспитание образцовым и применимо ли оно ныне.

— Нет, — утверждал Оже.

— Да, — заявлял Виктор.

На третий день обсуждали вопрос о распределении богатств в новом обществе, страсти сильно разгорелись, и Карлос, который после утомительного путешествия верхом прибыл наконец в имение, решил, что обитатели дома подрались. Его появление охладило пыл спорщиков. По лицу молодого человека было заметно, что он привез важные известия. Они и впрямь были важные: облава на франкмасонов и подозрительных чужестранцев началась. Если правительство метрополии заигрывало с либеральными министрами, то тут, в колониях, оно твердо решило искоренить передовые идеи. Дон Косме со злорадной улыбкой сообщил Карлосу, что уже подписан ордер на арест Оже и Юга.

— Décidement, il faut filer¹⁸⁶, — невозмутимо объявил негоциант. Он принес свой чемодан, вытащил оттуда карту и показал на ней точку на южном побережье острова. — Мы сейчас недалеко от этого места, — прибавил он.

Виктор рассказал, что еще в ту пору, когда он был моряком, суда, на которых он плавал, запасались углем и загружали трюмы кожами и морскими губками на этой якорной стоянке, где у него найдутся знакомые. Оже и Виктор отправились укладывать вещи, а остальные погрузились в глубокое молчание. Молодые люди и представить себе не могли, что отъезд Юга, этого чужестранца, пришельца, который необъяснимым образом вошел в их жизнь, может до такой степени потрясти их. Он появился под грохот дверных молотков, и было нечто демоническое в той самоуверенности, с какой он расположился у них в доме, в том, как он усаживался во главе стола, в том, как бесцеремонно рылся в шкафах... Внезапно начали работать все приборы и машины физического кабинета; мебель была извлечена из ящиков; больные исцелились, сидевшие сиднем — встали и пошли. И вот теперь братья и сестра опять останутся в одиночестве, без защиты, без друзей, они будут бессильны, попав в тенета медлительного и ненадежного судопроизводства, а ведь если они в торговых делах разбирались плохо, то в законах уж и вовсе ничего не смыслили. Если добросовестность опекуна вызывает сомнения, разъяснил Карлосу адвокат, суд назначает второго опекуна или учреждает опекунский совет, который должен

¹⁸⁶ Надо и впрямь удирать (франц.).

управлять всеми делами до тех пор, пока молодые люди не достигнут совершеннолетия. Так или иначе, им непременно придется обращаться в суд. Карлос нашел важного союзника в лице бывшего счетовода фирмы, недавно уволенного доном Косме; человек этот утверждал, что ему известны все жульнические проделки душеприказчика... Пока станут разбирать эти дела, преследование франкмасонов, возможно, уже прекратится. В политике испанских властей нередко наблюдались вспышки бурной деятельности, похожие на летние грозы; а затем наступало затишье, дело сдавали в архив, и вновь воцарялась обычная спячка. Надо будет постоянно поддерживать связь с Виктором. Пройдет несколько недель, и он, вероятно, сможет приехать, чтобы разобраться в положении фирмы и придать ей больший размах, найти новые пути торговли. Может быть, он даже согласится продать свое дело в Порт-о-Пренсе, куда более скромное, чем их торговый дом. О таком управляющем, как Виктор, они могли только мечтать; а потом, он ведь отличный коммерсант, так хорошо умеет считать, он, конечно же, без труда откроет собственное дело в их городе, где столь развита торговля... Однако пока что следовало считаться с жестокой действительностью: Юг и Оже должны бежать. Над обоими нависла угроза ареста и «высылки из пределов королевства» — так уже поступили со многими другими французами, хотя некоторые из них подолгу жили в Испании. София и Эстебан, конечно же, проводят Виктора и его спутника до якорной стоянки... Они прибыли туда без особых приключений три дня спустя, прибыли смертельно усталые, изнывая от жажды и страдая от пыли, которая забиралась буквально всюду: в волосы, в уши, под одежду. Во время этого злополучного путешествия они миновали немало поместий, где опасались останавливаться, проехали мимо умолкших сахароварен, где уже был переработан весь урожай тростника, мимо печальных селений, едва заметных на фоне однообразного пейзажа саванны, еще недавно затопленной водою... Рыбачий поселок тянулся вдоль илистого берега, покрытого мертвыми водорослями и залитого смолой; тут среди обломков мачт и весел, среди полусгнивших канатов ползали крабы. Дощатая пристань, прогнувшаяся под тяжестью мраморных глыб, выгруженных несколько дней назад, вдавалась в беспокойное море, — его поверхность, казалось, была залита маслом, так как над волнами не белела пена. Среди судов, занятых добычей морской губки, среди углевозов виднелось несколько каботажных шхун, груженых лесом и какими-то мешками. При виде корабля, стройные и высокие мачты которого поднимались над мачтами всех остальных, Виктор, уже несколько часов мрачно молчавший от усталости, пришел в хорошее расположение духа.

— Мне знакомо это судно, — сказал он. — Надо только узнать, возвратилось оно из плавания или же выходит в море.

Юга вдруг охватило нетерпение, и он быстро вошел в ворота дома, который служил одновременно и постоянным двором, и складом, и канатной мастерской, и трактиром. Там он спросил комнаты, но путешественникам могли предложить только какие-то узкие кельи, где помещалась лишь жалкая кровать да таз для умывания; беленные известью стены были покрыты малопрстойными, а то и вовсе непристойными надписями и рисунками. В этих местах имелась несколько более благоустроенная гостиница, но она находилась на некотором расстоянии от пристани, а София до такой степени устала, что предпочла остаться здесь, тем более что полы были довольно чистые, с моря дул легкий ветерок, в больших кувшинах стояла пресная вода и можно было смыть с себя дорожную пыль. Пока путешественники кое-как устраивались, Виктор отправился на пристань что-либо разузнать. Немного передохнув, София, Оже

и Эстебан собрались вокруг стола, где для них был приготовлен ужин — фасоль и рыба; над столом горел фонарь, о его стекла с негромким треском ударялись привлеченные светом насекомые. Едва приезжие собрались приняться за еду, как вдруг появилась туча мошкары, налетевшей с наступлением ночи с окрестных болот. Мошкара эта забивалась в уши, в нос, в рот, пробиралась за воротник и скользила по спине, точно мелкий холодный песок. Не обращая никакого внимания на дым, поднимавшийся от сухих кокосовых орехов, которые жгли на жаровне, чтобы прогнать насекомых, надоедливые москиты все налетали и налетали роями, тучами и больно кусали лицо, руки, ноги.

— Я больше не могу! — жалобно крикнула София, убегая к себе в комнату.

Там она забралась под полог от москитов, предварительно погасив обе свечи, стоявшие на табурете, который заменял ночной столик. Но и тут она слышала неотступное жужжание насекомых. Мука продолжалась и под дырявым, разъеденным сыростью грубым тюлем. Высокий пронзительный звук раздавался то у виска, то у плеча, то возле лба, то возле подбородка, затем наступала короткая пауза — москит садился на тело, и острый укол, пронзавший кожу, тут же давал об этом знать. София ворочалась с боку на бок, хлопала себя по лицу, ударяла по бедрам, по лопаткам, по икрам, по груди. В ушах у нее звенело от дрожавших в воздухе крохотных крылышек, и чем ближе подлетало насекомое, тем мучительнее становился этот назойливый звон. В конце концов девушка свернулась клубком под жесткой простынею, напоминавшей парусину, и укрылась с головой. Во сне она вспотела до такой степени, что и покрывало, поверх которого она легла, и жесткая подушка, к которой прижалась щекой, промокли от пота... Когда София открыла глаза, уже совсем рассвело: голенастые петухи с большими шпорами кукарекали в помещении для петушиных боев; тучи москитов исчезли, но девушка чувствовала себя совершенно разбитой и больной. Мысль о том, что придется провести еще один день — еще одну ночь — в этом месте, где даже пресная вода была солоноватой, где с самого утра стояла жара и духота, где так больно кусались москиты, показалась ей нестерпимой. Набросив халат, она спустилась в лавку за уксусом, чтобы растереть тело, покрывшееся волдырями от укусов. За столом сидели Оже, Эстебан и Виктор, они пили черный кофе в обществе какого-то капитана, который, несмотря на ранний час, был в форме: сходя с корабля, он надел свой синий форменный сюртук с позолоченными пуговицами. На его выбритых щеках виднелись свежие царапины — следы плохой бритвы.

— Калед Декстер, — представил его Виктор. И, понизив голос, прибавил: — Тоже филантроп. — Потом своим обычным тоном Юг решительно сказал: — Соберите свои вещи. «Эрроу» снимается с якоря ровно в восемь. Мы все направляемся в Порт-о-Пренс.

Х

И вот вокруг них — свежесть моря. Над ними — тень парусов. Северный ветер, дувший с суши, набирал силу над морским простором; он нес с собой запахи деревьев и трав, так что марсовые матросы на своих постах сразу же различали, когда ветер дул с Тринидада, а когда со склонов Сьерра-Маэстры или же с Кабо-Крус. Вооружившись шестом, к которому была прикреплена небольшая сеть, София извлекала из глубины вод самые диковинные вещи: гроздь саргассовых водорослей, плоды которых она с треском раздавливала между большим и указательным пальцами; ветку мангрового дерева, облепленную нежными устрицами; незрелые кокосовые орехи величиной не

больше грецких, ослепительно зеленые, будто их только что покрыли лаком. Судно проходило мимо отмелей, усеянных губками, — их темные скопления четко вырисовывались на светлом фоне; справа и слева мелькали белые песчаные островки, а чуть дальше виднелся подернутый туманом берег, постепенно он становился все более изрезанным и гористым.

София с радостью согласилась на это путешествие: ведь оно неожиданно избавляло от жары, от moskitov и от приводившей ее в уныние необходимости вновь возвратиться к повседневной, монотонной жизни — а жизнь эта угрожала сделаться еще более монотонной, так как из нее уходил человек, который обладал способностью в один миг преображать будничную действительность; она согласилась на это путешествие, как будто речь шла о простой прогулке по спокойному швейцарскому озеру с живописными скалистыми берегами. Еще накануне ни о какой поездке не было и речи, и вдруг, в самую критическую минуту, Виктор чудом устроил эту promenade en bateau¹⁸⁷ — так фокусник извлекает из своих рукавов самые неожиданные вещи. Юг для всех нашел место на борту корабля, а для нее даже отыскал отдельную маленькую каюту под палубой; по его словам, он дружески предложил им это морское путешествие, чтобы отплатить за радушие и гостеприимство, которое они столько времени оказывали ему. София и ее брат смогут пробыть несколько недель в Порт-о-Пренсе и возвратиться на том же судне — капитаном на нем франкмасон, филантроп, и потому им не нужен никакой особый пропуск, — разгрузившись в Суринаме, оно на обратном пути захватит их с собой. Молодые люди смотрели на эту поездку как на веселую шалость, как на затею, возвращавшую их к той милой сердцу беспорядочной жизни, которую они в последнее время вели; они отправили письмо Карлосу, сообщая о неожиданном приключении; Софии казалось, что оно им предначертано свыше, — ведь все их прежние мечты о путешествиях так и остались мечтами, дальше планов и сборов дело не пошло. Теперь же они, по крайней мере, увидят новые места. Порт-о-Пренс, разумеется, не Лондон, не Вена и не Париж; однако и такая поездка была для них уже событием. Они побывают почти что во Франции — в ее заморских владениях, где люди говорят не по-испански, да и жизнь там совсем другая. Они поедут в Кап-Франсэ и посетят театр на улице Водрей, непременно увидят «Единственного наследника»¹⁸⁸ или «Земиру и Азора»¹⁸⁹. Купят ноты самых новых музыкальных произведений для флейты, чтобы порадовать Карлоса, и книги, множество книг о современном экономическом преобразовании Европы и о нынешней революции — той, что уже разразилась... Шум голосов привлек внимание Софии, которая, растянувшись на животе в носовой части палубы и подставляя спину палящим лучам солнца, что-то вылавливала сетью из воды: стоя на юте в одних только коротких штанах, очень туго стянутых поясом, Виктор и Оже окатывали друг друга соленой водою — они наперегонки опускали в море привязанные к веревке ведра, вытаскивали их, опорожняли и снова наполняли. Мулат отличался великолепным сложением: у него были узкие бедра и мощные широкие плечи; под его блестящей темной кожей перекатывались упругие мускулы. У Виктора

¹⁸⁷ Морскую прогулку (*франц.*).

¹⁸⁸ «Единственный наследник» — комедия Ж.-Ф. Реньяра.

¹⁸⁹ «Земира и Азор» — опера французского композитора А. Гретри (1741–1813).

была еще более выпуклая и широкая грудь, и мышцы на его спине вздувались всякий раз, когда он поднимал полное ведро с водой и выплескивал его прямо в лицо Оже.

— Впервые в жизни я чувствую себя по-настоящему молодым! — воскликнул Эстебан.

— А я спрашиваю себя, были ли мы вообще когда-нибудь молодыми, — откликнулась София, возвращаясь к прерванному занятию.

Поверхность воды покрылась множеством медуз, отливавших всеми цветами радуги, их окраска менялась от колебания волн, неизменными оставались только густой синий цвет в центре и красные фестоны по краям. Медленно продвигаясь вперед, корабль рассекал полчища медуз, плававших у берега. Наблюдая за скоплением этих призрачных существ, София с изумлением думала о том, что природа и разрушает и творит с невероятной щедростью, не зная предела. Она порождает живые существа, чтобы потом их уничтожить! Она щедро созидает жизнь во всех ее формах, начиная от амебы и кончая человеком, этим венцом творения, а затем позволяет созданным ею существам пожирать друг друга! Издали, оттуда, где море сливалось с небом, в ярких праздничных одеждах плыли мириады простейших — полурастений-полуживотных, — которым предстояло быть принесенными в жертву Солнцу. Они будут выброшены на песок и там мало-помалу утратят свой блеск, высохнут, сморщатся, превратятся в зеленоватые лохмотья, в пену, в мокрое пятно, которое затем будет бесследно уничтожено зноем. Невозможно было представить себе более полное исчезновение — без следа и остатка, без малейшего доказательства, что тут некогда билась жизнь... Вслед за медузами появились какие-то стекловидные существа — розовые, желтые, полосатые, они переливались различными оттенками под ярким южным солнцем, и чудилось, будто корабль разрезает волны яшмового моря. У Софии горели щеки, волосы ее развевались на ветру, и она испытывала неведомое прежде блаженство. Девушка могла целыми часами сидеть в тени паруса и неотрывно смотреть на волны, ни о чем не думая, предаваясь сладостной неге: все мускулы ее тела были расслаблены, движения медлительны, казалось, она всеми порами впитывает в себя наслаждение. Во время этой поездки в Софии пробудилось прежде несвойственное ей гурманство — с тех пор как капитан приказал подавать для нее изысканные блюда, напитки, фрукты, она с удовольствием ощущала вкус незнакомых ей кушаний: лакомилась копчеными устрицами, знаменитыми бостонскими бисквитами, английским сидром, пирогами с ревенем — она ела их впервые, — сочным флоридским кизилом, созревающим в пути, и нью-йоркскими дынями. Все было ей внове, ничто не походило на то, к чему она привыкла, и девушка чувствовала себя в какой-то почти нереальной обстановке. Когда она спрашивала, как называется причудливый утес, или островок, или узкий пролив, то неизменно оказывалось, что ее географические познания, почерпнутые из испанских карт, расходятся со сведениями Калеба Декстера: он именовал утес — Портленд-Рок, островок — Нордест-Кэй, а пролив — Кейман-Брак. Для Софии и в самом корабле было что-то волшебное: ведь его капитан был «филантроп», он принадлежал к таинственному миру Виктора и Оже, то есть миру Озириса и Изиды, Жака де Моле и Фридриха Прусского, и капитан этот хранил свой фартук, украшенный изображением акации, храма с семью ступенями, двух колонн, солнца и луны, в застекленном шкафчике, рядом с мореходными инструментами. По вечерам, под натянутым на юте парусиновым навесом, Оже рассказывал о чудесах магнетизма, о банкротстве традиционной психологии или же начинал говорить о тайных орденах, которые

процветают в разных концах света; они именовались по-разному: Азиатские братья, Рыцари Черного Орла, Избранники Духа, Филалеты, Авиньонские иллюминаты, Братья Истинного Света, Филадельфы, Розенкрейцеры и Рыцари Храма; и все они стремились к общему идеалу, жаждали достичь равенства и гармонии, а кроме того, старались усовершенствовать человека, которому суждено при помощи разума и просвещения достичь небывалых высот и навсегда освободиться от гложущего его беспокойства и сомнений. Впрочем, София замечала, что атеизм Оже отличался от атеизма Виктора, по мнению которого христианские священники были «всего-навсего комедиантами в черном платье, дергавшими за ниточку марионеток»; что же касается Великого зодчего, то его можно было пока что сохранить в виде символа до той поры, когда наука окончательно разъяснит все загадки мироздания. А мулат нередко ссылался на Библию, он принимал некоторые из ее легенд, употреблял он также понятия, заимствованные из кабалы и учения платоников, а порою ссылался и на катаров¹⁹⁰, — их принцесса Эсклармунда была знакома Софии, потому что девушка недавно прочла занятный роман о ней. По словам Оже, первородный грех не только не повторялся во время соития, но, напротив, оно всякий раз смывало следы этого греха. Прибегая к намекам, к иносказательным выражениям, он утверждал, что всякая чета возвращается к первоначальной невинности, когда, сбрасывая с себя одежды и сливаясь в тесном объятии, влюбленные обретают сладостный покой и вкушают неземное блаженство: это ликование и безмятежность есть многократно повторяемый прообраз чистоты, в которой пребывали мужчина и женщина до грехопадения... Виктор и Калед Декстер, как полагается людям одной профессии, степенно беседовали об искусстве судовождения; особенно часто они возвращались к разговору о некоей мели под названием Роки-Шоул, которая, как указывалось во многих руководствах по морскому делу, расположена на глубине четырех морских сажен, однако никто из здешних моряков ни разу ее не встретил. Мистер Эраст Джексон, старший помощник капитана, время от времени подходил к собеседникам и принимался рассказывать страшные истории о морях; в одной из них шла речь о некоем капитане Энсоне, который, потеряв указанную ему долготу, целый месяц бороздил воды Тихого океана и все никак не мог найти остров Хуан-Фернандес; в другой истории говорилось о том, что неподалеку от острова Гран-Кайко была обнаружена шхуна — на ее борту не оказалось ни одного человека, между тем в камбузе еще горел огонь, в котле еще не остыл суп, предназначенный для офицерского стола, и на палубе сушилась недавно выстиранная одежда... Особенно красивы были ночи. Поверхность Карибского моря фосфоресцировала, волны медленно катились к гористому берегу, залитому слабым светом молодой луны. София забывала обо всем, созерцая картины, которые открывались ее взору во время этого необычайного и неправдоподобного путешествия, — она любовалась плывущими водорослями, странными рыбами, зелеными лучами и чудесными закатами, когда небосвод волшебным образом преображался, когда каждое облако походило на скульптурную группу: то это были битвы титанов, то — Лаокоон и его сыновья, то — мчащиеся квадриги, то — падшие ангелы. В одном месте девушка восхищалась коралловыми рифами; в другом — рокоющими

¹⁹⁰ Кабала — серия произведений средневековой еврейской литературы мистического направления. Катары — приверженцы одной из крупнейших средневековых ересей, их деятельность в XI–XIII вв. охватила Италию, южную Францию и Фландрию. Катары отрицали церковную иерархию и стремились возродить нормы раннего христианства. Учение катаров, проникнутое мистическими идеями и направленное против католической церкви, подверглось в XIII в. лютым гонениям.

островками: из их подземных пещер доносился низкий, глухой гул, там все время перекачивались мелкие камешки. Она никак не могла решить, следует ли ей верить, что голотурии заглатывают песок, а киты заплывают даже в зону тропиков. Однако во время этого путешествия ей все казалось возможным. Однажды под вечер Софии показали чудище с непривычным названием «нарвал»; глядя на этого морского единорога, девушка почему-то вспомнила, как Юг впервые появился в их доме под грохот дверных молотков. Желая подшутить над незванным гостем, она тогда спросила у него, встречаются ли в Карибском море сирены.

— В ту ночь, — заметил Виктор, — меня чуть было не выставили за порог.

— Мне несколько раз хотелось это сделать, — заявила София, как будто на что-то намекая.

Девушка ни за что не призналась бы даже самой себе, что теперь, сталкиваясь с Виктором в узких проходах или на крутых лестницах, она замедляла шаг и, краснея от стыда, ждала, не обнимет ли снова ее стан мужская рука. Пусть во всем случившемся и было что-то животное, но это было самое важное событие в ее жизни, единственное событие, касавшееся только ее... Она спустилась к себе в каюту и прилегла на постель. Липкий пот пропитывал ее плохо натянутые чулки, увлажнял грудь, стиснутую измятой блузой, покрывал все тело, раздраженное прикосновением грубого шерстяного одеяла, лежавшего на койке; в эту минуту с палубы донеслись крики и топот ног. Кое-как приведя в порядок свое платье, София поднялась, чтобы узнать, отчего поднялся такой шум. Судно проходило мимо отмели, на которой грелись черепахи; два матроса уселись в шлюпку и пытались поймать самую крупную из черепах, набрасывая на нее веревочные петли. Внезапно среди освещенных солнцем панцирей появились плавники акул, устремившихся к шлюпке. Незадачливые ловцы черепах вернулись на корабль; они сердито ругались, думая о том, сколько потеряно гребешков и гребней, ножей для разрезания бумаги, дорогих пряжек, и метали вправо и влево гарпуны. И вот уже все матросы, выбрав удобную позицию у борта, стали бросать в воду крюки, укрепленные на цепях; морские хищники так жадно заглатывали их, что острия крюков выходили наружу, пропарывая им глаза. Люди предавались этой охоте с яростью; и могло показаться, будто гибель нескольких акул может умерить давнюю ненависть, которую они питали ко всей этой кровожадной породе; несмотря на то что акулы свирепо содрогались и яростно колотили грозными хвостами, их вытаскивали из воды, подтягивали к борту и беспощадно забивали палками, шестами, железными прутьями и даже вагами, выдернутыми из кабестана. Из пропоротых акульих тел хлестала кровь, она окрашивала воду, обрызгивала паруса, бежала к отверстиям, проделанным в палубе для стока воды.

— Доброе дело! — кричал Оже, размахивая палкой. — Терпеть не могу этих гнусных тварей.

Весь экипаж принимал участие в бойне; одни сидели верхом на реях, другие цеплялись за снасти — каждый был вооружен колом, топором, пилой, коловоротом; каждый выжидал удобного случая, чтобы нанести удар ненавистной акуле, ранить ее; ярость матросов не утихала, в воду летели все новые цепи и крюки. София возвратилась к себе в каюту, чтобы сменить блузу, покрытую пятнами от акульего жира и желчи. Взглянув в маленькое зеркальце, подвешенное к круглому люку, сквозь который проникал свет, она увидела в дверях Виктора.

— Это я, — сказал он, поворачивая ключ в замке.

На палубе по-прежнему раздавались крики и проклятья.

Когда корабль вошел в порт Сантьяго, у Виктора, стоявшего на носу, вырвался жест удивления. Тут находились «Саламандра», «Венера», «Весталка», «Медуза» — суда, которые постоянно совершали переходы из Гавра в Кап-Франсэ или Порт-о-Пренс и обратно; стояло здесь и множество кораблей поменьше — грузовых суденышек, шхун, шлюпок, — они были знакомы Югу потому, что принадлежали негоциантам из Леогана, Ле-Кэ и Сен-Марка.

— Как видно, все корабли из Сен-Доменга собрались здесь? — спросил он у Оже, который также не мог понять причину столь неожиданного скопления судов.

Как только бросили якорь, путешественники поспешно сошли на берег, чтобы узнать новости. А новости были устрашающие: три недели тому назад в северной части острова взбунтовались негры. Восстание распространилось повсеместно, и властям до сих пор не удалось справиться с положением. Город был полон спасшихся бегством белых поселенцев. Ходили слухи о том, что их безжалостно убивают, что всюду пылают пожары, что ужасным жестокостям и насилию нет конца. Восставшие рабы вымещали злобу на дочерях своих господ, подвергая их самым неслыханным надругательствам. По всей стране происходили убийства, грабежи, бушевали низменные страсти... Капитан Декстер, который должен был оставить часть своего груза в Порт-о-Пренсе, решил задержаться на несколько дней в Сантьяго в ожидании более успокоительных известий. Если беспорядки будут продолжаться, он, не останавливаясь на Гаити, направится прямо в Пуэрто-Рико, а затем в Суринам. Виктор, сильно озабоченный судьбой своего торгового дела, пребывал в нерешительности. Оже, напротив, сохранял спокойствие: рассказы об ужасах, считал он, без сомнения, сильно преувеличены. Восстание не случайно совпало по времени с другими событиями, имевшими всемирное значение, а потому оно не могло быть простым бунтом варваров, одержимых жаждой жечь и насиловать. Ведь в свое время говорили же об обезумевших, опьяненных кровью толпах, вышедших на улицу четырнадцатого июля¹⁹¹, а между тем этот день стал началом преобразования всего мира. Одним из самых видных должностных лиц в колонии был его родной брат Венсан; он, как и сам Оже, воспитывался во Франции, был членом парижского Клуба друзей негров и весьма просвещенным филантропом, — уж если он не помешал восставшим выйти на улицы городов и селений, значит, был убежден, что требования их справедливы. А таких людей, как Венсан, постигших философский смысл вещей и хорошо понимавших нужды времени, теперь немало. Следовало только немного подождать, и в самые ближайшие дни события предстанут в истинном свете. Если же капитан Декстер все-таки не захочет останавливаться в Порт-о-Пренсе, то ведь корабли, укрывшиеся в Сантьяго, вскоре возвратятся туда. На одном из них они без труда доберутся до соседнего острова, и эта поездка покажется всего лишь приятной прогулкой... Но пока что путешественникам приходилось сносить жестокую жару. Жара эта как будто поднималась из кубриков, из трюма, из люков, она, казалось, исходила от всего корпуса «Эрроу», — ведь судно с убранными парусами стояло на якоре в порту, и не в каком-нибудь порту, а в Сантьяго, да к тому же еще в сентябре. Запах теплой смолы заполнял все каюты и переходы, однако он все же не мог

¹⁹¹ Имеется в виду 14 июля 1789 г., день взятия Бастилии и начала Великой Французской революции.

заглушить тошнотворные испарения от гниющей картофельной кожуры, от прогорклого жира и помоев, — они проникали из камбуза на палубу. Но ужаснее всего оказалось то, что и на суше нельзя было найти приюта, не приходилось даже мечтать о каком-либо прибежище в городе, так как все постоянные дворы, гостиницы и дома заняли беженцы; люди довольствовались вместо кровати бильярдным столом, а порою проводили ночь прямо в кресле, задвинутом в угол. Некоторые устроились даже на парадных лестницах кафедрального собора, и каждый яростно защищал от других прохладные каменные ступени, служившие ему ложем. Оже и Эстебан спали на палубе корабля; дождавшись рассвета, они прыгали в первую же шлюпку и спешили на берег в надежде найти прохладу на улицах, застроенных розовыми, голубыми и оранжевыми домиками; на окнах этих домов красовались деревянные решетки, а двери были усеяны гвоздями, напоминая о первых днях испанской колонизации, когда Эрнан Кортес, в ту пору еще скромный алькальд, сажал на недавно открытых Антильских островах виноградные лозы, привезенные из метрополии. Эстебан и его спутник завтракали в каком-нибудь кабачке — им приходилось довольствоваться малым, так как уже ощущался недостаток провизии, — а затем искали приюта в живописных балаганах под кровлей из пальмовых листьев: французские комедианты, сумевшие обратить себе на пользу создавшееся положение, устроили возле городских ворот Сантьяго нечто вроде увеселительного парка, который открывался для посетителей после полудня. К величайшему удивлению Эстебана, ни София, ни Виктор ни разу не пожелали сопровождать его и Оже в прогулках по городу. Юг и София, несмотря на изнурительную жару, предпочитали оставаться на борту корабля, на котором в дни вынужденной стоянки почти не было матросов: моряки при первой же возможности отправлялись на берег в шлюпках и возвращались на судно только поздно вечером или даже ночью, горланя пьяные песни. София объясняла брату, что жара не дает ей уснуть до рассвета и она забывается только на заре, сморенная усталостью, когда другие уже встают. Что касается Виктора, то он, устроившись на баке и поглядывая на город, уже с самого утра писал письма и просматривал пачки бумаг, имевшие отношение к его торговым делам. Так прошло несколько дней; Эстебан и Оже провели их на суше, а София и Виктор — на борту корабля, страдая от дурных запахов, которых их спутники даже не замечали. И вот однажды утром капитан Декстер сказал, что некий североамериканский моряк, прибывший накануне из Порт-о-Пренса, сообщил ему, что восстание там в полном разгаре. Он, Декстер, ждать больше не может; после обеда он снимается с якоря и двинется дальше; в Сен-Доменг он заходить не будет, а пройдет стороной. Собрав свои пожитки, путешественники позавтракали — им подали вестфальскую ветчину и такое теплое пиво, что пена прилипала к краям кружек, — после чего распрощались с капитаном-франкмасоном и экипажем корабля. Усевшись на набережной в крытой галерее, они принялись обсуждать создавшееся положение. Оже слышал, что на следующий день в Порт-о-Пренс отправляется небольшой кубинский парусник, — здешние коммерсанты зафрахтовали его для перевозки беженцев. По его мнению, Софии разумнее всего было остаться в Сантьяго, а он сам, Виктор и Эстебан выйдут в море на этом судне. Если положение в Порт-о-Пренсе не такое, как его описывают, — а мулат настаивал, что разыгравшиеся там события, конечно же, носят гораздо более сложный и возвышенный характер и уж никак не сводятся к простому желанию пограбить, — Эстебан вернется за сестрой на том же паруснике. Помимо всего прочего, Оже глубоко верил в авторитет своего брата Венсана; правда, он уже несколько месяцев не имел от

него вестей, но, по его сведениям, Венсан занимал не последнее место в управлении колонией. Что касается Виктора, то у него не было выбора — в Порт-о-Пренсе осталось его торговое дело, дом, имущество. София сначала рассердилась и потребовала, чтобы мужчины взяли ее с собой, она твердила, что не будет им обузой, что ей не нужна отдельная каюта и что она ничего не боится.

— Речь идет не о том, боишься ты или нет, — возразил Эстебан. — Мы не можем подвергать тебя опасности, ты ведь слышала, какая участь постигла там сотни женщин.

Виктор поддержал Эстебана. Если пребывание на острове окажется возможным, они приедут за ней. В противном случае он поручит Оже защиту своих интересов, а сам возвратится в Сантьяго и будет жить там, пока не утихнет буря. Сейчас в городе так много французских беженцев, что никто не станет доискиваться, тот ли это Виктор Юг, которого в Гаване хотели арестовать как франкмасона. В настоящее время в Сантьяго нашли себе приют сотни членов масонских лож из Порт-о-Пренса, Кап-Франсэ и Леогана. Девушке пришлось согласиться с доводами своих спутников; она уселась рядом с Виктором среди разбросанных вещей, а Оже и Эстебан отправились на поиски подходящего жилища для нее, что было делом нелегким. Возле берега все еще маячил стройный и гордый силуэт «Эрроу» с чуть наклонными мачтами; ванты были натянуты, вымпелы развевались на ветру, по палубе сновали матросы: корабль готовился выйти в море.

На следующий день ветхое кубинское рыболовное судно с залатанными парусами — словом, судно самого жалкого вида — вышло из гавани Сантьяго и заскользило вдоль берега, который становился все более гористым. Могло показаться, что парусник вовсе не продвигается вперед — так часто приходилось ему менять курс, преодолевая встречные течения... Бесконечно тянувшийся день сменился ночью, взошла луна, она светила необычайно ярко, и Эстебану, дремавшему в неловкой позе у подножия мачты, раз двадцать казалось, что уже наступил рассвет. Наконец суденышко вошло в узкую горловину залива Гонаив; и вскоре показались берега острова, где, по словам Оже, были водопады, которые обладали таинственным свойством: искупавшись в их струях, женщины вдруг становились ясновидящими. Вот почему они каждый год совершали паломничество к этому искрящемуся алтарю богини Плодородия и Вод и погружались здесь в пенный поток, ниспадавший с высоких утесов. Тотчас же многие женщины начинали корчиться и вопить, так как вселившийся в них демон властно внушал им предсказания и пророчества, — пророчества эти почти всегда сбывались.

— Самое поразительное, что врач верит в подобные рассказы, — заметил Виктор.

— Доктор Месмер чудесным образом исцелил в вашей просвещенной Европе тысячи больных, — саркастически возразил Оже, — подвергая действию магнита воду, налитую в ванны, и приводя таким способом своих пациентов в экстатическое состояние, которое с незапамятных времен знакомо здешним неграм. Но только он брал с них деньги. А боги залива Гонаив не требуют никакой платы. В этом вся разница...

Они плыли между подернутыми дымкой берегами вплоть до наступления сумерек. После скудного ужина, состоявшего из сельди и сухарей, Виктор, которого весь день терзало крайнее нетерпение, забылся тяжелым сном, точно совершенно изнемог от нервного напряжения. Перед самым рассветом Эстебан разбудил его. Суденышко уже приближалось к Порт-о-Пренсу. Весь город был охвачен пламенем. Зарево

гигантского пожара окрашивало небо, искры, казалось, долетали до окрестных гор. Виктор потребовал, чтобы немедля на воду спустили шлюпку, и вскоре он уже сошел на рыбацью пристань. В сопровождении Эстебана и Оже он торопливо зашагал по улицам; навстречу им попадались негры — они тащили стенные часы, картины, мебель, спасенную из пламени. Наконец трое путников очутились на каком-то пустыре; тут торчало несколько обугленных столбов, они еще дымились, и пепел, словно чешуя, покрывал их, а вокруг догорали костры и тлели кучи головешек. Негоциант замер как вкопанный, по его телу прошла дрожь, лицо исказилось, на лбу, на висках, на шее выступили крупные капли пота.

— Покорно прошу пожаловать в мой дом, — выговорил он. — Вон там помещалась пекарня; здесь — склад и магазин; а немного дальше — мое жилище. — Он подобрал с земли обугленную дубовую доску и прибавил: — Добрый был прилавок.

Виктор сделал шаг вперед и споткнулся о чашу весов, почерневшую от огня. Потом поднял чашу, долго смотрел на нее и внезапно швырнул на землю; раздался громкий звук, похожий на звук гонга, и хлопья сажи взлетели в воздух.

— Простите, — пробормотал Виктор и разразился рыданиями.

Оже немного помедлил и отправился на поиски своих родственников, живших в городе. Нарождался день. Над городом нависали низкие облака, тяжелые от дыма и будто сдавленные окаймлявшими залив горами. Виктор и Эстебан сидели на хлебопекарной печи — она одна только и уцелела во время пожара — и смотрели на груды развалин, где, однако, продолжалась обычная городская жизнь. К рынку, который уже перестал быть рынком, тянулись крестьяне с фруктами, сырами, кочанами капусты, связками сахарного тростника. По привычке они становились вдоль несуществующих прилавков и торговали под открытым небом, ведя себя точно так же, как и в былые дни. Можно было подумать, что восставшие подожгли город со всех концов, а потом словно бы растворились, исчезли. Повсюду догорали угли, тлели головешки, высились кучи остывшего пепла, земля была покрыта щебнем и обломками досок, и на этом фоне особенно буколически выглядели крестьяне, расхваливавшие молоко своих пятнистых коз, необыкновенный аромат жасмина, отменный вкус меда. Гигант, который стоял на самом краю волнореза и предлагал огромного кальмара, держа его на весу, походил на Персея работы Бенвенуто Челлини. Вдали монахи вытаскивали полусгоревшие леса из недостроенной церкви. Нагруженные ослики шагали по улицам, которые уже перестали быть улицами; животные по привычке шли своей дорогой, сворачивая там, где теперь можно было идти прямо, задерживаясь на воображаемом перекрестке, где хозяин сгоревшего кабачка вновь уставлял бутылками с тростниковой водкой доски, положенные прямо на кирпичи. Виктор не отрываясь смотрел на то место, где прежде находился его магазин; гнев Юга уже утих, и он испытывал теперь странное чувство освобождения — отныне он больше ничем не владел, у него не было теперь никакого имущества, ни мебели, ни контрактов, ни даже книги, ни даже пожелтевшего письма, строки которого могли бы привести в умиление. Жизнь его будто начиналась с нуля, у него не осталось ни обязательств, которые надо выполнить, ни долгов, которые надо уплатить, позади лежало уничтоженное без следа прошлое, впереди — будущее, которое он не мог предугадать... На ближних холмах вспыхнули новые пожары.

— Пусть все, чему суждено сгореть, сгорит сразу, — пробормотал Виктор.

До полудня он просидел, не двигаясь и глядя на ослепительно сиявшие белые облака, которые, точно полотнище, тянулись от одной горы до другой. И тут появился

Оже; лицо у мулата было суровое, на лбу залегли морщины, которых Эстебан прежде не замечал.

— Славно горит, — сказал Оже, обводя взглядом пожарище. — Вы лучшего не заслуживаете. — И, посмотрев на недоуменное и разгневанное лицо Виктора, он прибавил: — Мой брат Венсан был казнен на главной площади Кап-Франсэ, ему перебили руки и ноги железными прутьями. Говорят, кости его трещали, как ореховая скорлупа под ударами молотка.

— Кто это сделал? Восставшие? — спросил Виктор.

— Нет. Ваши, — ответил врач, глядя прямо перед собой мрачными невидящими глазами.

И, стоя на пожарище, Оже принялся рассказывать об ужасной судьбе своего младшего брата. Тот был назначен на важный административный пост, но вскоре столкнулся с отказом местных французов подчиняться декрету Национальной ассамблеи, согласно которому негры и мулаты, обладавшие определенным образовательным цензом, получили право отправлять общественные должности в Сен-Доменге. Устав доказывать и требовать, Венсан с оружием в руках выступил во главе отряда недовольных, которые, как и он, были возмущены непримиримостью белых, не желавших подчиняться закону. Вместе с другим мулатом, Жаном-Батистом Шаванном, он повел свой отряд на Кап-Франсэ. Мятежники были разбиты в первой же стычке, а Венсан и Жан-Батист укрылись в испанской части острова. Однако там они были арестованы властями, закованы в кандалы и под надежной охраной доставлены в Кап-Франсэ. Бунтовщиков посадили в клетку на городской площади и выставили на посмешище толпы: одни осыпали их ругательствами и плевали им в лицо, другие обливали помоями и забрасывали нечистотами. Потом осужденных вывели на помост и привязали к позорному столбу, после чего палач, схватив толстый железный прут, перебил им руки, голени, бедра. Когда эта жестокая пытка была закончена, пришел черед топору. А затем отрубленные головы молодых людей насадили на копыя и для устрашения негров и мулатов пронесли вдоль дороги, ведущей к Большой реке. Пьяные стражники, останавливавшиеся в каждом трактире, раскачивали в воздухе копыями, а стервятники, летевшие следом, клевали фиолетовые лица замученных, в которых не оставалось уже ничего человеческого, — лица эти походили теперь на окровавленные куски мяса с дырами на месте глаз и рта...

— Тут еще многое надо жечь, — прохрипел Оже. — Эта ночь будет страшной. Убирайтесь отсюда поскорее!

Все трое направились к пристани: деревянный ее настил во многих местах обгорел, и приходилось идти по сваям, — сваи были из дерева кебрачо и устояли против огня; на поверхности воды плавали трупы, обглоданные крабами. Кубинское рыболовное суденышко, до отказа набитое беженцами, отплыло какой-нибудь час назад, — им сказал об этом старик негр, который так усердно чинил свои изодранные сети, словно дыра в плетеном неводе заботила его больше, чем творившиеся вокруг ужасы. Все корабли уже покинули гавань, за исключением одного, — судно это только недавно бросило тут якорь, и экипаж его с изумлением узнал обо всем, что происходило в Порт-о-Пренсе. То был трехмачтовый фрегат с высокими бортами, и к нему, отчаливая от берега, со всех сторон спешили многочисленные лодки.

— Вот ваша последняя возможность, — сказал Оже. — Уезжайте, пока вам не выпустили кишки.

Они уселись в челнок рыбака-негра, такой дырявый, что им все время приходилось

вычерпывать воду жестянками, и подплыли к «Борею»; капитан корабля, перегнувшись через борт и изрыгая проклятия, отказался взять их на судно. Тогда Виктор сделал странный жест — он как будто что-то нарисовал рукой в воздухе, — и моряк сразу перестал браниться. Им бросили веревочную лестницу, и вскоре все трое оказались на палубе, рядом с капитаном, понявшим загадочный знак — безмолвную мольбу разоренного негоцианта. Корабль был битком набит беженцами, они были повсюду, прели в своей влажной, потной одежде, от которой дурно пахло, дрожали от лихорадки, изнемогали от бессонницы и усталости, расчесывали первые язвы, давили первых вшей; один стонал от побоев, другой от ран, изнасилованная женщина плакала от унижения... Судно уже готовилось поднять якоря и пуститься в обратный путь к берегам Франции.

— Иного выхода нет, — сказал Виктор, заметив, что Эстебан колеблется, — столь далекое путешествие не входило в его планы.

— Если вы тут останетесь, вас нынче же ночью убьют, — подтвердил Оже.

— Et vous?¹⁹² — спросил Виктор.

— Pas de danger¹⁹³, — ответил мулат, тронув свои темные щеки. Они обнялись. Однако у Эстебана осталось впечатление, что врач обнял его с меньшей сердечностью, чем прежде. Между ними словно встало нечто очень серьезное, возникла какая-то отчужденность, разрушившая былую близость.

— Я сожалею о происшедшем, — сказал Оже, обращаясь к Виктору, и слова его прозвучали так торжественно, будто он внезапно принял на себя ответственность за всю страну.

Сделав прощальный жест рукой, мулат спустился в челнок; сидевший в нем рыбак отпихивал в это время веслом принесенный волнами труп лошади... Несколько мгновений спустя над Порт-о-Пренсом разнесся грохот барабанов, — он докатился до окрестных холмов. Вспыхнули новые пожары, их зарево обагрило сумерки. Эстебан думал о Софии, которая тщетно будет ждать его в Сантьяго: она осталась там жить в доме почтенных коммерсантов, давних поставщиков ее отца. Впрочем, лучше, что так получилось. Оже как-нибудь сумеет известить ее обо всем, и Карлос придет за сестрою. Необычайное приключение, ожидавшее его впереди, было не из тех, в которых могут участвовать женщины: ведь на этом судне надо будет одеваться и умываться на глазах у всех, да и немало других вещей придется, увы, совершать на виду у посторонних. Самого Эстебана мучила тревога, терзали угрызения совести, и все же он был счастлив, что вступает на неведомый и опасный путь: рядом с Виктором Югом юноша чувствовал себя более сильным и крепким, он впервые ощутил себя мужчиной. Между тем, повернувшись спиной к городу и словно гордясь тем, что он оставил свое прошлое под грудой пепла, француз, казавшийся сейчас тем более французом, что он говорил по-французски с другим французом, узнавал о последних событиях, происходивших на его родине. Они и вправду представлялись не только интересными, но и необычными, из ряда вон выходящими. Однако самым важным, самым сенсационным событием была история бегства короля и его ареста в Варение. Новость эта поражала и пугала, — ведь слова «король» и «арест» плохо сочетались между собой, их трудно было поставить рядом. Подумать только: монарх арестован,

¹⁹² А вы? (франц.).

¹⁹³ Никакой опасности (франц.).

посрамлен, унижен и взят под стражу народом, которым он желал повелевать, хотя и был недостойн этого! Обладатель самой блистательной короны, самодержец среди самодержцев, державший в руках самый могущественный скипетр на свете, предан в руки двух жандармов.

— И в то время, как в мире происходили такие события, я был занят контрабандной торговлей шелками, — вымолвил Виктор, сжимая руками виски. — Люди, живущие там, присутствуют при рождении нового человечества...

«Борей», подгоняемый легким ночным ветерком, медленно продвигался вперед; на небе горели звезды, такие яркие, что горы в восточной части горизонта казались расплывчатыми темными пятнами, нарушавшими четкий рисунок созвездий. Позади остался город, подожженный повстанцами. А в туманной дали перед мысленным взором путешественников вставал огненный столб, который неизменно указывает путь к земле обетованной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ XII

Здоровые и больные.

Гойя

Когда Эстебан думал о родном городе, который из далекой Франции представлялся ему особенно необычным, город этот вставал перед его глазами, как офорт: безоблачное небо над ним внезапно покрывалось тяжелыми тучами, чреватými грозою, рядом с освещенными ярким солнцем площадями кривые переулочки казались особенно темными, по узким грязным улицам, где пахло смолой, табаком и вяленным мясом, торопливо сновали озабоченные негры. Теперь в картине тропического города было для него больше угольных теней, чем огненных пятен; отсюда, издали, он казался юноше статичным, унылым и однообразным, его буйные краски все время повторялись, сумерки были слишком короткими, а ночи — они так быстро опускались на землю, что в комнату не успевали внести зажженную лампу, — ночи тянулись бесконечно, люди засыпали, прежде чем тишину нарушал голос ночного сторожа, который возглашал, что пробило десять, и славил пресвятую деву, зачатую без греха в естестве своем...

Здесь, в Париже, он любовался пышными красками ранней осени, и они казались подлинным чудом ему, человеку, приехавшему с островов, где листва деревьев была всегда зеленой и не знала ни сангины, ни сепии; столица пестрела знаменами и флагами, яркими кокардами, цветами, которые продавались на всех перекрестках, а в легких накидках и женских юбках преобладали красные и синие тона, подчеркивая «гражданские чувства» их обладательниц. У Эстебана, долгое время жившего в уединении, в глуши, было такое ощущение, словно он внезапно попал на огромную ярмарку, где все — и костюмы, и уборы, и балаганы — задумано великим строителем зрелищ. Тут все мелькало перед глазами, привлекало внимание, оглушало: болтливые кумушки судачили, кучера, не слезая с козел, переговаривались друг с другом, иностранцы слонялись по улицам в поисках развлечений, слуги злословили о своих господах, лениво бродили зеваки, шныряли сводни; охотники до свежих новостей, усердные читатели газет, собираясь кучками, ожесточенно спорили. Кого здесь только не было! Этот все знал из первых рук, тот пользовался сведениями из самого верного источника, третий все видел своими глазами, четвертый сам при этом присутствовал и потому мог толком рассказать, а пятый просто распространял вздорные слухи...

Попадался тут пламенный патриот, чью любовь к отечеству подогревали винные пары, и газетчик, накропавший две-три статейки, сыщик, будто бы из-за простуды поднявший воротник, и враг республики, так назойливо рядившийся в патриотические одежды, что это сразу бросалось в глаза, — и каждый из них ежечасно ошеломлял жителей предместья какой-нибудь оглушительной новостью. Революция преобразила Улицу, вдохнула в нее новую жизнь, и это имело огромное значение для Эстебана, который буквально жил жизнью улиц, наблюдал тут революцию. «Радость освобожденного народа бьет через край», — говорил себе юноша, весь обратившись в слух и в зрение; в Париже его называли «чужеземец — друг свободы», и он гордился таким титулом. Возможно, кто-нибудь другой быстрее привык бы ко всему этому; но Эстебану, внезапно сбросившему оцепенение, будто сковывавшее его в тропиках, казалось, что он очутился в экзотической стране, — да, он нашел верное слово! — и здешняя экзотика была гораздо живописнее экзотики его родины, где росли пальмы и сахарный тростник, но где ему ни разу не приходило в голову, что самый обычный пейзаж может показаться чужеземцу необыкновенным. Здесь же ему казались экзотическими — именно экзотическими — и высокие шесты с цветными флажками, и различные аллегорические изображения, и знамена, и мощные лошади с широким крупом, напоминавшие создания Паоло Учелло и столь непохожие на костлявых худых кляч его страны, достойных потомков андалузских одров. Все заставляло его останавливаться, все приводило в восторг: кофейня в китайском стиле и кабачок, на вывеске которого был изображен Силен верхом на бочке; канатные плясуны под открытым небом, подражавшие номерам знаменитых акробатов, и собачий парикмахер, который устроил свое заведение на берегу реки. Все в этом городе было своеобразно, неожиданно, изящно: наряд торговца вафлями и лоток разносчика, продающего булавки; крашеные яйца и важные индюки, — рыночная торговка обзывала их «аристократами». Любая лавка напоминала ему театральную сцену, на которую можно было смотреть через окно; в мясной его внимание привлекала баранья нога, окруженная бумажными фестонами, в парфюмерной — хозяйка, слишком красивая, чтобы можно было поверить, будто она живет лишь на доходы от продажи скромных товаров, выставленных для всеобщего обозрения; не обходил он своим вниманием и лавчонку, где торговали веерами, и соседнюю лавочку, где смазливая хозяйка, навалившись грудью на прилавок, предлагала покупателям революционные эмблемы из марципана. Все было аккуратно упаковано, перевязано ленточками, украшено и отливалось всеми цветами радуги — карамель и игрушечный монгольфьер, оловянные солдатики и гравюра, изображавшая походы Мальбрука. Могло показаться, будто находишься не в самой гуще революции, а на грандиозном представлении, где аллегорически, иносказательно изображают ее, сама же революция совершается где-то совсем в другом месте, она сосредоточена вокруг каких-то невидимых центров, подготовлена на каких-то тайных собраниях, — и это сокрыто от глаз того, кто жаждет все знать. Эстебан, которому почти ничего не говорили новые, вчера еще никому не ведомые, а теперь постоянно упоминавшиеся имена, не мог толком понять, кто же творит революцию. Внезапно откуда-то возникли безвестные провинциалы, бывшие нотариусы и священники, адвокаты без практики и даже иностранцы, а потом за несколько недель они вырастали в настоящих исполинов. Юноша находился в такой непосредственной близости от событий, что они как бы ослепляли его, и он пытливо вглядывался в лица тех, кто только недавно стал появляться на трибунах и в клубах, — там порою громко раздавались голоса людей, которые были не намного старше его.

Заседания Национальной ассамблеи, где Эстебан часто присутствовал, смешавшись с публикой, мало что объясняли юноше: никто из выступавших не был ему знаком, и, потрясенный бурными потоками красноречия, он с замиранием сердца слушал ораторов, — должно быть, так же вел бы себя, например, лапландец, внезапно попавший в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки. Один оратор привлекал симпатии Эстебана своей суровой и язвительной речью, в которой звучал пыл молодости; другой — громовым голосом и простонародными оборотами; третий — потому, что с беспощадной иронией испепелял своих противников... От Виктора Юга он мало что мог узнать, так как в эти дни они почти не виделись. Оба жили в плохонькой гостинице, слабо освещенной и почти не проветривавшейся, где во всякое время дня сильно пахло бараниной, капустой, луковым супом, и к этому примешивался запах прогорклого масла, исходивший от потертых скатертей и ковров. Поначалу оба с головой окунулись в веселую жизнь столицы, посещали злачные места в поисках утех и развлечений, и Эстебан, изрядно опустошивший свой кошелек, усмирил наконец извечное вожделение, овладевающее иностранцами, когда они попадают на берега Сены. Однако через некоторое время Виктор, потерявший все состояние и располагавший лишь теми деньгами, которые он заработал на Кубе, начал думать о завтрашнем дне, а Эстебан написал Карлосу и попросил брата открыть ему кредит через посредство господ Лаффонов из Бордо, которые представляли интересы графа Аранды, продавая мускатные и прочие вина с принадлежавших ему виноградников. Теперь Юг завел привычку уходить рано утром и пропадал до позднего вечера. Хорошо изучив его, Эстебан воздерживался от расспросов. Виктор говорил о своих успехах только тогда, когда они уже были завоеваны, и не останавливался на достигнутом.

Предоставленный самому себе, Эстебан покорно плыл по течению: сегодня, привлеченный барабанной дробью, он следовал за марширующими солдатами, завтра отправлялся в какой-нибудь политический клуб, а то вдруг присоединялся к стихийной манифестации; юноша вел себя даже более пылко, чем французы, он был настроен более революционно, чем те, кто участвовал в революции, неизменно требовал самых решительных мер, самых суровых наказаний, самой примерной кары. Эстебан читал газеты только самого крайнего направления, он с восторгом внимал речам самых непреклонных ораторов. Стоило разнестись какому-нибудь слуху о заговоре против революции, и он бросался на улицу, схватив первое же попавшееся под руку оружие — чаще всего кухонный нож. К великому неудовольствию хозяйки гостиницы, юноша однажды утром появился во дворе в сопровождении всех мальчишек квартала и торжественно посадил молоденькую елочку, пояснив, что сажает новое Дерево свободы. Однажды Эстебан взял слово в каком-то якобинском клубе и ошеломил всех присутствующих неожиданным предложением: он заявил, что приобщить Новый Свет к революции вовсе не трудно, для этого надо только внушить идеал свободы иезуитам, которые, будучи изгнаны из заморских владений Испании и Франции, рассеялись по Италии и Польше... Книготорговцы квартала называли его «Гурон»¹⁹⁴: прозвище это, навеянное повестью Вольтера и представлениями об Америке, весьма льстило Эстебану, он всячески попирали правила учтивости,

¹⁹⁴ Книготорговцы отождествляли Эстебана с героем повести Вольтера «Простодушный», индейцем из племени гурунов, который из девственных лесов Канады попал во Францию и на своем горьком опыте познал «блага» европейской цивилизации.

порожденные старым режимом, разговаривал с подчеркнутой откровенностью и грубостью, а порою высказывал такие резкие суждения, что они коробили даже самих участников революции.

— Я горжусь тем, что кладу ноги на стол и не стесняюсь упоминать о веревке в доме повешенного! — заявлял он, не скрывая, что ему нравится слыть дикарем и грубияном.

Войдя в полюбившуюся ему роль «Гуруна», Эстебан посещал различные кружки и клубы, где все обсуждали и обо всем судачили, бывал он и в домах, где собирались жившие в Париже испанцы — франкмасоны и философы, филантропы, ненавидевшие церковников; все они строили тайные планы, стремясь перенести революцию на Пиренейский полуостров. Здесь наперебой говорили о вечных рогоносцах из династии Бурбонов, о распутных королевах и слабоумных инфантах; здесь в самых мрачных красках рисовали картину отсталой Испании — толковали о монахинях, покрытых язвами, о мнимых чудесах, о лохмотьях, о преследованиях и насилиях, которым подвергались все те, кто от самых Пиренеев до Сеуты влачил жалкое существование под игом спесивой знати. Эту спящую, стонущую под гнетом тирании, костенеющую в невежестве страну сравнивали с просвещенной Францией, где восторжествовала революция, которую приветствовали, воспевали и прославляли такие люди, как Иеремия Бентам, Шиллер, Клопшток, Песталоцци, Кант и Фихте¹⁹⁵.

— Но дело не только в том, чтобы перенести революцию в Испанию, надобно перенести ее и в Америку, — говорил Эстебан на этих собраниях.

Его неизменно поддерживал некий Фелисиано Мартинес де Бальестерос, прибывший из Байонны; этот человек сразу же понравился Эстебану, потому что он рассказывал остроумные анекдоты и порою исполнял веселые куплеты Бласа де ла Серна, очень мило аккомпанируя себе на стоявших в углу стареньких клавикордах. Стоило послушать испанцев, когда они, сгрудившись вокруг инструмента, согласным хором пели:

Когда Магомет напивался
(А жил он в далекую пору),
Он вмиг от земли отрывался,
И было летать ему впору,
Хотя он весьма нагружался,
Хотя он весьма нагружался...

Из молодечества все они носили жилеты, продажа которых была запрещена особым королевским указом на всей территории Испании и ее американских владений: на их подкладке было красной ниткой вышито слово «свобода». Во время этих вечерних собраний обсуждали планы вторжения, решали, где лучше высадиться — в Кадисе или в Коста-Браве — и как поднять мятеж в провинциях, назначали просвещенных министров, основывали воображаемые газеты, составляли воззвания;

¹⁹⁵ Бентам, Иеремия (1748–1832) — английский общественный деятель, правовед и философ, автор многочисленных трудов по теории уголовного права. В 1790–1791 гг. выступил в защиту идей Французской революции и получил по декрету Национального собрания от 26 августа 1792 г. звание французского гражданина. Клопшток, Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт; его выступления в защиту революции относятся к ее раннему этапу. Песталоцци, Иоганн Генрих (1746–1827) — великий швейцарский педагог; с энтузиазмом приветствовал Французскую революцию и одновременно с Бентамом получил от Национального собрания права французского гражданина. Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814) — выдающийся немецкий философ, ученик Канта.

все это давало возможность каждому послушать собственные речи, ораторы без конца говорили, призывая крушить престолы и срывать короны, и осыпали при этом отборной руганью всех членов Иберийской династии¹⁹⁶: короли неизменно именовались рогачами, а королевы — потаскухами... Некоторые жаловались на то, что пруссак Анахарсис Клоотс¹⁹⁷, апостол Всемирной республики, появившись в Учредительном собрании в качестве посланника рода человеческого, не включил ни одного испанца в свою свиту, состоявшую из англичан, сицилийцев, голландцев, русских, поляков, монголов, турок, афганцев, сирийцев, наряженных в национальные костюмы; Клоотс удовольствовался тем, что страну, которая в непосредственной близости от Франции изнывала в цепях и стонала под игом деспотизма, представлял какой-то статист. И поэтому во время достопамятной церемонии не прозвучал голос Испании, хотя слово было дано даже турку.

— Они совершенно правы, что презирают нас, ибо мы и впрямь еще ничего собою не представляем, — говорил Мартинес де Бальестерос, выразительно пожимая плечами. — Но наш час придет.

И он прибавлял, что ему уже сейчас известны весьма влиятельные люди, которые готовы приехать во Францию, чтобы поставить себя на службу революции. Среди них был молодой аббат Марчена, который, по словам Бальестероса, обладал выдающимся умом, насколько можно было судить по тем письмам и переводам латинских поэм, какие он ему присылал... Однако Эстебан не только проводил вечера на бурных собраниях, не только бродил целыми днями по улицам, любуясь парадами и гражданскими празднествами. В один прекрасный день он был допущен на собрание масонской ложи, объединявшей иностранцев, и проник таким образом в самые недра того братского и деятельного мира, который ему в свое время лишь едва приоткрыл Виктор. Теперь ради него, Эстебана, был зажжен таинственный и сияющий Храм, и он при блеске обнаженных шпаг, дрожа и ничего почти не различая от волнения, приблизился к колоннам Иоахима и Боаса, к всевидящему оку и к тетраграмме, к печати Соломона и к звезде из лунного цикла. Здесь, украшенные нимбами и эмблемами, стояли рыцари Кадоша и розенкрейцеры, рыцари медного змия и рыцари царского ковчега, князя скинии завета, князя Ливана и князя Иерусалима; был тут и Великий мастер-зодчий и Высокий князь тайного королевства: они были вершинами на том пути, по которому предстояло начать восхождение юноше, онемевшему от волнения и чувствовавшему себя недостойным такой чести; ныне он медленно приближался к таинствам чаши Грааля, вступал в тот мир, где неотесанный камень приобретает кубическую форму, где солнце вновь восходит над акацией, он проникал в самую сущность традиции, которую с благоговением хранили и постоянно обновляли: она восходила к пышным жреческим церемониям Древнего Египта и просуществовала века, к ней были причастны и Яков Бёме¹⁹⁸, и химические

¹⁹⁶ Имеются в виду испанские короли и принцы из династии Бурбонов. Младшая ветвь дома Бурбонов правила Испанией с начала XVIII в.

¹⁹⁷ *Клоотс, Анахарсис* — Жан-Батист де Валь де Грае, барон Клоотс (1755–1794), прусский подданный, большую часть жизни проживший в Париже. Из любви к древнегреческой демократии принял греческое имя Анахарсис; с самого начала революции стал ее активным деятелем. Мечтатель и мистик, он выдвинул проект соединения всех народов мира в единую семью и 19 июля 1790 г. явился с пестрой толпой иностранцев в Учредительное собрание с просьбой приобщить его адептов к освобожденному человечеству.

¹⁹⁸ *Бёме, Яков* (1575–1624) — немецкий философ-мистик, яркий и оригинальный мыслитель, получивший в XVII–XVIII вв. широкое признание в Европе.

сочетания Христиана Розенкрейца, и тайны рыцарей-храмовников. Эстебан ощущал свою связь со всем сущим, он чувствовал себя просветленным и озаренным, памятуя, что теперь он должен воздвигнуть в недрах своего существа некий ковчег, подобно тому как во время оно искусный мастер Хирам-Аби воздвиг храм. Ему чудилось, что он находится сейчас в центре вселенной — голова его касалась тверди небесной, а стопы попирали дорогу, ведущую с Запада на Восток. Выйдя из окутанной мраком комнаты для размышлений (рубашка на его груди, там, где расположено сердце, была распахнута, а икра правой ноги и ступня левой были оголены), новообращенный ответил на три ритуальных вопроса — его спрашивали о том, чем человек обязан богу, себе самому и своим ближним; после этого огни загорелись ярче, — то были священные огни века, века Просвещения, навстречу чудесному торжеству которого он шел ощупью, как слепец или человек с завязанными глазами, шел, словно его гнала вперед чья-то высшая воля, шел с того самого дня, когда перед его взором запылали грозные пожары в Порт-о-Пренсе. Теперь Эстебан, подобно Парсифалю, стремившемуся найти самого себя, отчетливо понимал смысл своего, похожего на галлюцинацию путешествия, целью которого был Град будущего; только на сей раз град этот помещался не в Америке, как вымышленные города Томаса Мора или Кампанеллы, а в стране, ставшей колыбелью новой философии... В ту ночь он не мог уснуть и до самого рассвета бродил по старинным, подернутым дымкой времени кварталам, извилистые улочки которых были ему незнакомы. На перекрестках перед юношей внезапно возникали дома с остроконечными крышами, они, казалось, плыли прямо на него, точно гигантские корабли без мачт и парусов, а дымовые трубы, выделявшиеся на фоне неба, принимали фантастический облик вооруженных всадников. Из мрака и полутени проступали неясные очертания строительных лесов, вывески, буквы, вырезанные из железа, дремлющие флаги. Здесь сгрудились рыночные повозки; там, на перепутанных прутьях наполовину сплетенных ивовых корзин, висело колесо. В глубине двора призрачный першерон шевелил мягкими губами, а рядом торчали вверх оглобли двуколки: в лунном свете она походила на чудовищное насекомое, которое замерло, готовясь вонзить в кого-то грозное жало. Эстебан шел той дорогой, по которой в прошлом шествовали пилигримы, принадлежавшие к ордену святого Иакова; там, где улица упиралась в небо, он остановился, и ему показалось, будто оно ждет приближения всякого, кто поднимается в гору, и уже посылает ему навстречу запах сжатых хлебов, нежный аромат клевера, влажное и теплое дыхание давлений. Юноша знал, что все это — чистейшая иллюзия, что там, наверху, вновь громоздились дома, что их было очень много, — ведь вдали тесно жались друг к другу городские предместья. Вот почему он стоял не шевелясь на том месте, откуда открывался этот великолепный, дивный вид, и созерцал ту же картину, какую на протяжении веков созерцали, напевая псалмы и сжимая в руках посох, люди в плащах с нашитыми на груди раковинами; шаркая сандалиями, пилигримы без усталости шли и шли, чувствуя, что они все приближаются к храму славы, — по мере того как им оставалось всего несколько дней пути до больницы святого Илария в Пуатье, до смолистых Ланд и до привала в Байонне: все эти места возвещали о том, что уже недалеко осталось идти до моста Королевы в долине Асп¹⁹⁹, — там встречаются четыре дороги, по которым бредут пилигримы... Пилигримы

199 *Асп* — долина во французских Пиренеях близ границы с Испанией.

проходили тут из года в год, одно их поколение сменялось другим, а они все шли, движимые негаснущим пылом, они стремились дойти до цели и увидеть величественное творение мастера Матео, который, конечно же, — в этом не могло быть никаких сомнений, — был франкмасон, как Брунеллески, Браманте, Хуан де Эррера²⁰⁰ или Эрвин из Штейнбаха, строитель Страсбургского собора. Думая о своем посвящении, Эстебан сознавал собственное невежество и легкомыслие. Существовала целая литература, необходимая для самоусовершенствования, а он ее не знал. Нет, он завтра же купит все нужные книги и таким образом самостоятельно углубит свои первоначальные познания... С этого дня его меньше, чем прежде, волновали события революции и шумная, вечно возбужденная толпа на улицах, ночами он усердно читал различные труды, постигая все лучше и лучше тайный, но надежный путь, которым движется сквозь века божественная идея троичности. Однажды — произошло это в семь часов утра — Виктор застал Эстебана бодрствующим: юноша грезил о звезде Полынь, упоминаемой в Апокалипсисе, — перед тем он, забыв обо всем, внимательно читал книгу «Приход мессии», принадлежавшую перу Иоханана Иосафата бен Эзры: под этим восточным именем скрывался деятельный американский заговорщик.

— Согласен ли ты работать для революции? — спросил Виктор у своего юного друга.

Выведенный из глубокого раздумья и возвращенный от умозрительных рассуждений к живой, бурлящей действительности, в которой впервые осуществлялись давние и великие устремления, юноша с гордостью и восторгом ответил утвердительно, прибавив, что никому не позволит усомниться в его пылком желании трудиться ради торжества свободы.

— Приходи к десяти часам утра в кабинет гражданина Бриссо и спроси там меня, — продолжал Виктор, на котором было новое, превосходно сшитое платье и только что купленные поскрипывающие сапоги. — Да! И если разговор случайно зайдет о франкмасонах, держи язык за зубами. Коли хочешь остаться с нами, забудь дорогу в масонскую ложу. Мы и так довольно времени потратили на эту чепуху.

Заметив на лице Эстебана удивление, Виктор прибавил:

— Франкмасоны — противники революции, это даже не подлежит обсуждению. Есть только одна достойная доктрина — доктрина якобинцев.

С этими словами француз схватил лежавший на столе «Катехизис новообращенного», сорвал с книги переплет и швырнул ее в корзину для бумаги.

XIII

В половине одиннадцатого Эстебана принял Бриссо, а в одиннадцать утра молодому человеку уже указали путь, которым ему надлежало следовать к испанской границе, — то была одна из старых дорог, по ней в свое время шли паломники, монахи ордена святого Иакова. «Свобода должна была бы дать мне сандали и кокарду вместо раковины святого Иакова», — сказал себе Эстебан, узнав, чего от него ждут, и этот

²⁰⁰ Матео — испанский зодчий XII в. С его деятельностью связаны архитектурные памятники в Сантьяго-де-Компостела, городе в испанской провинции Галисия, куда в средние века устремлялись на поклонение к гробнице апостола Иакова огромные толпы паломников. Брунеллески, Филиппо (1377–1446) — флорентийский архитектор, создатель купола храма Санта-Мария-дель-Фиоре. Браманте, Донато Лаццари (1444–1514) — великий итальянский зодчий, строитель храма святого Петра в Риме, завершеного после его смерти. Эррера, Хуан (1530–1597) — испанский архитектор, строитель Эскуриала.

риторический оборот понравился ему самому. В ту пору нужны были люди с твердыми убеждениями, умевшие хорошо писать по-испански и способные переводить с французского: им предстояло готовить для Испании революционные тексты, которые уже начали печатать в Байонне и во всех расположенных вблизи от Пиренеев местах, где только имелись печатные станки. Аббат Хосе Марчена, к мнению которого Бриссо прислушивался и чьи таланты, равно как вольтеровский сарказм, многих приводили в восторг, советовал не мешкая распространять революционную доктрину на Иберийском полуострове; необходимо было стремиться к тому, чтобы революция вспыхнула там одновременно с другими странами, где народам не терпелось разбить позорные оковы прошлого. По мнению Марчены, Байонна — при этом он не отрицал значения Перпиньяна — «была самым подходящим местом, именно там следовало собрать испанских патриотов, готовых трудиться ради возрождения своей отчизны»; прежде всего надо было опираться на людей разумных, способных понять, что «язык возрожденных и проникшихся республиканскими убеждениями французов еще не полностью доступен испанцам». Жителям Иберийского полуострова только предстояло «постепенно готовить себя к его пониманию», некоторое время еще надо будет считаться с «определенными предрассудками, бытующими по ту сторону Пиренейского хребта и несовместимыми с идеалами свободы, но столь глубоко укоренившимися, что разрушить их разом не представляется возможным».

— Все понятно? — спросил Виктор у Эстебана, как бы желая заверить Бриссо в том, что он, Юг, ручается за своего протеже.

Молодой человек воспользовался этим вопросом и ответил короткой, но убежденной речью, пересыпая ее испанскими выражениями: он хотел показать и то, что согласен с Марченой, и то, что не менее правильно изъясняется по-французски, чем на своем родном языке... Однако когда несколько часов спустя Эстебан обдумал на досуге все происшедшее, он пришел к заключению, что порученная ему миссия не так уж завидна: ведь в ту пору покинуть Париж означало удалиться от арены, где разыгрывались величайшие события эпохи, и прозябать в провинциальной глуши.

— Теперь не время жаловаться, — сурово сказал Виктор, узнав о его сомнениях. — Вскоре меня надолго отправят в Рошфор. Я бы тоже предпочел остаться в столице. Однако каждый должен ехать туда, куда его посылают.

Три дня мужчины кутили — пировали, развлекались с женщинами, — и это вновь сблизило их. Откровенно беседуя с Виктором, Эстебан не мог утаить, что хотя по его совету он и постарался выбросить из головы франкмасонов, но пребывание в ложе, объединявшей иностранцев, оставило в нем множество приятных воспоминаний. Там его называли «юным американским братом» и в день посвящения облачили в тогу мужа. Кроме того, нельзя было отрицать, что в ложе господствовал благодетельный дух демократизма: так, например, князь Карл Константин фон Гессен-Ротенбург дружески общался и с темнолицым патриотом с Мартиники, и с бывшим иезуитом из Парагвая, который скучал без привычных обязанностей исповедника, и с брабантским типографом, изгнанным из своей страны за распространение прокламаций, и с испанским эмигрантом, который днем торговал вразнос, а с наступлением сумерек превращался в пламенного оратора — он рассказывал, что франкмасоны действовали в Авиле уже в XVI веке, о чем свидетельствуют изображения компасов, наугольников и молотков, якобы найденные некоторое время назад в церкви Успения богородицы, воздвигнутой мастером-каменщиком иудеем Мосеном Руби де Бракемонте. Члены ложи часто слушали музыку вдохновенного композитора-масона, которого звали то ли

Мосар, то ли Моцар, то ли еще как-то в этом роде; баритон из Вены исполнял во время церемоний посвящения некоторые его гимны, обогащая продолжительными фермато мелодию песнопений «Союз священный верных братьев» или «Вы все, кто чтит зиждителя-творца под именем Иеговы, Христа, Конфуция или Брамь». В ложе можно было встретить необыкновенно интересных людей, — по их мнению, революция несла победу в сфере имущественной и политической, она должна была привести затем и к полной победе человека над самим собою. Эстебан невольно вспоминал Оже, когда некоторые датские и шведские братья рассказывали о пышном дворе князя Гессенского, а сам Карл Константин при этом одобрительно и величаво кивал головою: там ясновидящих вопрошали о грехопадении ангелов, о воздвижении храма и о том, как получить химическим способом яд Тоффаны²⁰¹. При дворе герцога Шлезвигского с помощью магнетизма добивались чудесного исцеления больных — там умудрялись преобразовывать березу, орешник и ель в источник благодетельного флюида. Сравнивая предсказания, полученные с помощью восьмидесяти пяти традиционных способов проникновения в будущее — в их число входило гадание по книгам, по зеркалу, по линиям руки и по кольцам на срезе древесного ствола, — там как бы проходили сквозь врата, скрывавшие грядущее. Здесь необычайно искусно умели толковать сны... Занимались тут и такими опытами: человек, не задумываясь, что-нибудь писал на листе бумаги и этим способом достигал общения со своим подспудным «я», которое хранило воспоминание о прежних жизнях, — ведь таков удел всех людей. Подобным путем удалось установить, что великая герцогиня Дармштадтская горько плакала на Голгофе у подножия креста, а великая герцогиня Веймарская находилась во дворце Понтия Пилата, когда он вершил суд над Спасителем; точно так же ученый Лафатер на протяжении многих лет ясно сознавал, что в далеком прошлом он был Иосифом Аримафейским²⁰². Иногда по вечерам люстры волшебного замка Готторп²⁰³ — окутанного туманами, от которых становились влажными повязки хранившихся в нем египетских мумий, — раскачивались в залах, где с царственной безмятежностью играли в карты граф фон Берншторф, некогда бывший апостолом Фомою, Людвиг фон Гессен, вспоминая о том, что в свое время он был Иоанном-евангелистом, и Христиан фон Гессен, в далеком прошлом живший в облике апостола Варфоломея. Князь Карл не часто присутствовал на этой вечерней игре в карты, он предпочитал *работать*, запершись у себя: он так упорно вперял взгляд в кусок металла, который греки именовали «электроном», что перед глазами у него возникали крохотные облачка — в их очертаниях можно было усмотреть загадочные знамения, дошедшие сюда из Иных Пределов...

— Бредни! — взорвался Виктор, возмущенный рассказами о чудесах. — Ныне нужно думать о множестве *действительных* задач, и тот, кто теряет время на

²⁰¹ Речь идет о сильном яде, имевшем распространение в Италии в XVI–XVII вв.

²⁰² Лафатер, Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский священник, получивший известность своими трудами, в которых он доказывал, что характер и духовный склад человека может быть определен по форме его черепа и строению лицевых мускулов. Лафатер полагал, что он одно из воплощений Иосифа Аримафейского, который в Евангелии выведен как тайный последователь Христа, с дозволения Понтия Пилата снявший с креста тело учителя.

²⁰³ Имеется в виду старинный замок Готторп в Шлезвиге близ города Фридрихсберга — резиденция шлезвиг-гольштейн-готторпских герцогов. Готторпский замок славился своими коллекциями древностей и различных произведений искусства.

подобную дребедень, уподобляется противникам революции. Мы вовремя разглядели, что скрывается за этим масонским маскарадом: предательское стремление повернуться спиной к нынешней эпохе и отвлечь людей от их непосредственных обязанностей. Кроме того, франкмасонские братства проповедуют преступную умеренность. А на всякого, кто придерживается умеренных взглядов, мы должны смотреть как на врага...

Мало-помалу Эстебану открылась тайна прежних связей Виктора Юга с франкмасонами: Жан-Батист Виллермоз, поставивший ему шелка, советник Ассамблеи франкмасонов Галлии, человек, которого весьма почитали князья Гессенские, был руководителем ордена, тяготевшего к мистике и орфизму под влиянием Мартинеса де Паскуальи, иллюмината, умершего в Сен-Доменге. Португалец иудейского происхождения Паскуальи основал франкмасонские капитулы в Порт-о-Пренсе и Леогане и покорила умы людей, склонных, подобно Оже, к мистике; но его отвлеченная доктрина разочаровала тех, кто, как бывший негодичант Юг, стремился к радикальному политическому перевороту. Виктор, признававший огромный престиж Виллермоза, филантропа и промышленника — на фабриках этого человека в Лионе трудились тысячи рабочих, — принял основы учения и был посвящен в масоны, согласно обряду Великого Востока, однако он отказывался (и отсюда возникали его споры с Оже) принимать всерьез методы, которые проповедовал Мартинес де Паскуальи, кичившийся тем, что он будто бы на расстоянии вступает в духовное общение со своими учениками, живущими в Европе...

— Все эти маги и иллюминаты — просто сборище emmerdeurs²⁰⁴. — говорил Виктор, который теперь похвалялся тем, что стоит обеими ногами на земле.

В Париже он часто выступал с речами в клубе якобинцев, ему доводилось встречаться там с Бийо-Варенном и Колло д'Эрбуа²⁰⁵; несколько раз случалось ему разговаривать даже с самим Максимилианом Робеспьером, которого он ставил выше всех трибунов революции; Виктор так страстно боготворил этого человека, что Эстебан, выслушивая непомерные похвалы красноречию Робеспьера, его взглядам, манерам и даже внешней эlegantности, которая выглядела необычной на собраниях среди людей, одетых небрежно и даже неряшливо, порою шутливо замечал:

— Я вижу, этого Робеспьера можно назвать неким Дон-Жуаном для мужчин.

Виктор, которого такие шутки выводили из себя, отвечал непристойным жестом.

После долгого и утомительного путешествия по грязным дорогам, усыпанным сосновыми шишками, которые жалобно поскрипывали под колесами, Эстебан наконец прибыл в Байонну; тут он отдал себя в распоряжение тех, кто готовил революционный переворот в Испании. В их число входили бывший моряк Рубин де Селис, алькальд Бастаррече и журналист Гусмайн, друг Марата, сотрудничавший в газете «L'Ami du peuple»²⁰⁶. У Эстебана возникло тягостное впечатление, что и он сам, и его стремление безотлагательно действовать пришлись не по вкусу этим людям,

²⁰⁴ Нудных людей (франц.).

²⁰⁵ Бийо-Варенн, Жан-Никола (1756–1819) — видный деятель Французской революции, якобинец, один из организаторов якобинской диктатуры. Принимал участие в термидорианском перевороте, но в апреле 1795 г. вместе с Колло д'Эрбуа был сослан в Кайенну. Последовательный республиканец, он после переворота 18 брюмера отказался сотрудничать с Бонапартом. Умер на острове Санто-Доминго в 1819 г. Колло д'Эрбуа, Жан-Мари (1750–1796) — член Конвента, якобинец. В 1793–1794 гг. совместно с Фуше учинил жестокие репрессии в Лионе. Участвовал в термидорианском перевороте, но в апреле 1795 г. был сослан в Кайенну.

²⁰⁶ «Друг народа» (франц.).

которые в большинстве своем разделяли якобинские взгляды, но, так сказать, на испанский лад: они были весьма радикальны, пока речь шла о Франции, но сразу же становились необыкновенно кроткими и умеренными, едва их взоры обращались к реке Бидасоа. Молодого человека тут же отправили в городок Сен-Жан-де-Люз, незадолго перед тем переименованный в Шовен-Драгон, дабы почтить память геройски погибшего республиканского солдата, уроженца здешних мест. В городе имелась небольшая, но быстро работавшая типография, — в ней и должны были печатать многочисленные революционные прокламации и документы, подобранные аббатом Марченой, опытным агитатором, всегда готовым взяться за перо и откликнуться на происходящие события; однако аббат редко появлялся на дорогах, ведущих к границе, и много времени проводил в Париже, где его часто принимал Бриссо. Эстебан, полагавший, что ему не придется увидеть тут ни одного знакомого лица, очень обрадовался, когда однажды под вечер повстречал на берегу реки одинокого рыбака; юноша весело приветствовал его: то был шутник и острослов Фелисиано Мартинес де Бальестерос, в прошлом масон, а ныне свежеепеченный полковник; он набрал из местных жителей большой отряд горных стрелков, и в случае нападения испанских войск его стрелки должны были оказывать сопротивление королевским солдатам и убеждать их переходить на сторону Республики.

— Надо быть ко всему готовыми, — заявил Бальестерос. — Ведь у нас на родине убудки растут, как сорная трава: достаточно только поглядеть на наших Годоев да на Мессалин из Бурбонского королевского дома²⁰⁷.

Вместе с весельчаком испанцем Эстебан совершал долгие прогулки; они заходили в городки, которые только недавно получили новые названия: теперь Икстасон именовался Единство, Арбонн — Постоянный, Устарриц — Марат-сюр-Нив, Бегорри — Фермопилы. Первые недели молодой человек изумлялся, глядя на безыскусные баскские церкви с приземистыми колокольнями, похожими на сторожевые башни; сады вокруг них были обнесены оградой из гладких камней, врытых в землю. Эстебан останавливался и подолгу глядел на запряжку быков: они шли вперед, подгоняемые стрекалом, ярмо было обтянуто овечьей шкурой; он взбирался на горбатые мостики, переброшенные над потоками с талой водою, и на ходу собирал оранжевые грибы, притаившиеся в щелях меж камней. Ему нравились здешние дома с выкрашенными в ярко-синий цвет стропилами, покатыми крышами и вделанными в каменную кладку якорями из кованого железа. Горная цепь, воспетая в сказаниях о Карле Великом, с расходящимися в разные стороны обрывистыми хребтами, узкие тропинки, скала, которой в свое время, быть может, любовался рыцарь Роланд, огромные тучные стада, пастбища с сочными мягкими травами, зеленые, такие зеленые, какими бывают неспелые яблоки, пастбища, всегда одинаковые, неизменные, — все заставляло его мечтать о возможности буколического счастья, какое будет возвращено всем людям после торжества революционных принципов. Но когда Эстебан ближе познакомился с местными жителями, они несколько разочаровали его: эти баски с неторопливыми движениями, с бычьими шеями и лошадиными челюстями, легко ворочавшие каменные глыбы и валившие деревья, мореплаватели, которых можно было по праву сравнить с теми, кто, прокладывая путь в Исландию, первым увидел скованное льдом

²⁰⁷ Бальестерос имеет в виду нравы мадридского двора, где временщик Годой, королева Мария-Луиса и принцессы Бурбонского дома открыто предавались разврату. Мессалина — весьма неблагонравная супруга римского императора Клавдия (I в. н. э.).

море, упрямо придерживались своих окостенелых традиций. Не было людей изобретательнее их, когда нужно было попасть на тайное богослужение, пронести благословенный хлеб в берете, спрятать колокола на гумне или в печи для обжига извести, тайно воздвигнуть алтарь на отдаленной ферме, или в задней комнате трактира, либо в пещере, которую сторожили овчарки, — словом, там, где этого меньше всего можно было ожидать. Когда несколько самых рьяных якобинцев разбили статуи святых в кафедральном соборе Байонны, епископ отыскал людей, которые помогли ему перейти испанскую границу, прихватив дароносицы, стихари и домашнее имущество. Властям пришлось даже расстрелять юную девушку, которая отправилась причащаться в Вилья-де-Вэра. Обитатели многих пограничных деревень, укрывавшие непокорных священников, были насильственно переселены в Ланды. Для местных рыбаков Шовен-Драгон по-прежнему оставался Сен-Жан-де-Люз, подобно тому как Бегорри в глазах здешних крестьян по-прежнему пребывал под покровительством святого Стефана. Жители Суля по-прежнему разводили костры в Иванову ночь и любили свои старинные средневековые пляски; тут никто не посмел бы донести на человека, который возносил в своем доме молитвы богородице или, осеняя себя крестным знаменем, рассказывал о ведьмах из Сагаррамурди...

Эстебан уже два месяца жил в этом мире, который с каждым днем казался ему все более чуждым, коварным, изменчивым; он был убежден, что никогда не научится понимать язык басков, не научится угадывать по лицам людей их тайные мысли; внезапно, как гром среди ясного неба, его поразило известие о начале войны с Испанией. Стало быть, он так и не попадет на Пиренейский полуостров, не будет присутствовать при рождении новой страны, о чем он так часто мечтал, слушая исполненные надежды речи Мартинеса де Бальестероса, — тот упорно предсказывал, что народ Мадрида вот-вот восстанет. Эстебан оказался узником во Франции, которую со стороны Атлантического океана блокировали эскадры английских кораблей; для него не оставалось никакой возможности выбраться отсюда и вернуться на родину. До сих пор юноша не помышлял о возвращении в Гавану, им владело желание играть пусть даже самую маленькую роль в революции, которой предстояло преобразовать мир. Но достаточно было ему понять, что он не может уехать из Франции, и острая тоска по дому, по близким, по иным, но милым его сердцу краскам и запахам наполнила Эстебана отвращением к тем обязанностям, которые он ныне выполнял: ведь, в сущности, это были унылые и скучные обязанности. Стоило ли приезжать с другого конца света, стремясь увидеть революцию, а на самом деле не видеть ее? Стоило ли уподобляться человеку, который, расположившись в парке неподалеку от оперного театра, прислушивается к доносящимся оттуда громким звукам оркестра, но войти в зал не может?

Прошло еще несколько месяцев, и все это время Эстебан старательно выполнял свою монотонную работу, чтобы таким образом оправдать в собственных глазах ее необходимость. Ожидаемого переворота в Испании не произошло, даже война в этой части Франции приняла какой-то вялый, пассивный характер — она свелась к наблюдению за крупными воинскими частями, которые расположил вдоль границы испанский генерал Вентура Каро, — впрочем, сам генерал также не решался сдвинуться с занятых им позиций, несмотря на численное превосходство своих войск. По ночам в горах раздавались ружейные выстрелы, но дальше отдельных стычек и коротких столкновений между разведывательными отрядами дело не заходило. Кончилось долгое, солнечное и тихое лето; вновь задули осенние ветры; с

наступлением первых холодов скотину загнали в хлева и стойла... По мере того как проходило время, Эстебан стал замечать, что, живя вдали от Парижа, он все чаще испытывает замешательство; теперь он уже нередко ловил себя на мысли, что перестает понимать крутые повороты политики — изменчивой, противоречивой, конвульсивной, часто противоречащей собственным ее целям; многочисленные комитеты и прочие органы управления издали казались не такими уж совершенными; то и дело приходили неожиданные вести о возвышении ранее никому не известных людей или о шумном падении какого-нибудь прославленного деятеля, которого еще вчера сравнивали с величайшими героями древности. Градом сыпались указы, законы и декреты, в провинции их еще считали действующими, а они уже отменялись или вступали в противоречие с новыми чрезвычайными распоряжениями. В неделе теперь насчитывалось десять дней²⁰⁸, и месяцы получили новые названия — брюмер, жерминаль, фруктидор, — никак не связанные с прежними; были введены новые меры веса, длины и объема, они ставили в тупик людей, привыкших иметь дело с иными мерами, такими, как сажень, пядь и гарнец. Никто в здешних местах не мог бы с точностью сказать, что же все-таки происходит на самом деле, никто не знал, кому верить, так как баску, жившему во Франции, испанец из Наварры был ближе, чем чиновники, вдруг приехавшие с далекого севера, чтобы навязать ему странный календарь или изменить название его родного города. Судя по всему, начавшейся войне не видно было конца, — ведь, в отличие от других войн, она велась не для того, чтобы удовлетворить честолюбие притязания какого-нибудь государя и даже не для того, чтобы захватить чужие земли. «Короли знают, что никакие Пиренеи не преградят путь философским идеям, — возглашали с трибун ораторы-якобинцы. — Миллионы людей пришли в движение, дабы преобразить облик мира»...

Стоял март; для Эстебана март по-прежнему оставался мартом, хотя ухо его уже привыкло к «нивозу» и «плювиозу». Стоял пепельный март, забранный, как решеткой, дождями, — холмы Сибура были окутаны дымчатой пеленою, вдоль них, точно призраки, скользили рыбацьи суда, возвращавшиеся в гавань: они оставляли позади серовато-зеленое море, печальное и беспокойное, его безбрежные просторы незаметно сливались с белесым туманным небом затянувшейся зимы. Из окна комнаты, где юноша трудился над переводами и правил корректуры, виднелось пустынное побережье, ошетилившееся кольями: там валялись мертвые водоросли, обломки досок, куски парусов, их выбрасывали сюда океанские волны после ночных бурь, когда ветер со стоном врывается сквозь щели ставен и заставляет стремительно вращаться покрытые ржавчиной, скрежещущие железные флюгера. Неподалеку от дома, где жил Эстебан, на площади, прежде носившей имя Людовика XVI, а теперь называвшейся площадью Свободы, высилась гильотина. Вдали от того места, где она была впервые торжественно установлена, вдали от забрызганной кровью короля площади, на которой гильотина сыграла свою роль в грозной трагедии, эта стоявшая под дождем машина казалась даже не устрашающей, а только уродливой, даже не роковой, а

²⁰⁸ 5 октября 1793 г. Национальный Конвент ввел новый революционный календарь, разработанный комиссией ученых. Названия месяцев были предложены поэтом и депутатом Конвента Фабром д'Эглантенем, вскоре казненным вместе со своим другом Дантоном. Год делился на двенадцать месяцев по тридцать дней каждый. В любом из четырех сезонов было по три месяца (осень — вандемьер, брюмер и фример, зима — нивоз, плювиоз и вентоз, весна — жерминаль, флореаль и прериаль, лето — мессидор, термидор и фруктидор). Летосчисление велось с 22 сентября 1792 г. Календарь этот просуществовал до конца 1805 г. и вновь был восстановлен Парижской коммуной в 1871 г., просуществовав до дня ее падения.

какой-то унылой и неотвязной; когда ее приводили в действие, она вызывала в памяти жалкие подмостки, на которых бродячие комедианты, кочующие по провинции, селятся подражать игре столичных актеров. Порою поглазеть на казнь останавливались рыбаки с вершами, трое или четверо прохожих, хранивших загадочное выражение лица и молча сплевывавших табачную слюну, подросток, деревенский сапожник, продавец кальмаров; а когда из шеи обезглавленного вырывалась потоком кровь, точно вино из вспоротого бурдюка, все они снова пускались в путь. Стоял март. Пепельный март, забранный, как решеткой, дождями, от которых намокала солома в хлевах, темнела шерсть у коз и едкий дым, с трудом выходя из высоких труб, наполнял кухни, где пахло чесноком и кипящим маслом. Уже несколько месяцев Эстебан не получал вестей от Виктора. Он знал, что Юг исполнял самым суровым образом обязанности общественного обвинителя при революционном трибунале в Рошфоре. Виктор даже потребовал — и Эстебан это одобрял, — чтобы гильотину установили прямо в зале судебных заседаний и вынесенный приговор без проволочек, сразу приводили в исполнение. Теперь, когда Эстебан не общался с этим пылким, неистовым и твердым человеком, окруженным ореолом сподвижника Бийо, Колло или какого-нибудь иного выдающегося деятеля, рыцаря на час, столь непохожим на людей, которые окружали юношу здесь, он испытывал странное ощущение: ему казалось, будто сам он мельчает, вырождается, теряет свой истинный облик, будто его подавляет все происходящее, а его скромное участие в событиях столь ничтожно, что оно никем не будет даже замечено. Чувство это было так унижительно, что Эстебану хотелось плакать. Охваченный тоскою, он испытывал потребность уткнуться головой в колени Софии, как он это не раз делал когда-то, желая обрести покой и найти опору в той силе материнской любви, которая исходила от ее девического лона... Думая о своем одиночестве, о своей неприкаянности, юноша однажды и в самом деле чуть было не разрыдался, но в эту минуту в комнату к нему вошел полковник Мартинес де Бальестерос. Командир горных стрелков был в сильном волнении и гневе, его влажные от пота руки дрожали — судя по всему, какая-то новость сильно взбудоражила испанца.

XIV

— Осточертели мне эти французишки! — крикнул Бальестерос, с размаху опускаясь на койку Эстебана. — Осточертели, говорю я вам! Пусть убираются к дьяволу!

Он закрыл лицо обеими руками и погрузился в молчание. Молодой человек протянул гостю кружку вина, тот разом осушил ее и попросил еще. А затем принялся ходить из угла в угол и торопливо рассказывать о том, что вызвало его гнев. Он только что был разжалован, смещен со своего поста — *сме-щен* — каким-то комиссаром, прибывшим из Парижа с неограниченными полномочиями для переформирования войск в этой части страны. Опала, которой подвергся испанец, была следствием начатого в Париже похода против иностранцев — теперь результаты этого сказались и на границе.

— Сперва они перестали доверять масонам, а сейчас решили расправиться с лучшими друзьями революции!

По слухам, аббат Марчена скрывался от преследований, ему каждую минуту угрожала опасность очутиться на эшафоте.

— А ведь этот человек столько сделал ради свободы! — возмущался Бальестерос.

Ныне французы взяли за комитет в Байонне, они удалили из него всех испанцев: одного за то, что он придерживался умеренных взглядов, другого потому, что он в прошлом был франкмасоном, третьего — так как он показался им подозрительным.

— Будьте осторожны, друг мой, ведь вы тоже иностранец. Вот уже несколько месяцев во Франции считают, что быть иностранцем — преступление. — И Мартинес де Бальестерос продолжал свой беспорядочный монолог: — Пока они развлекались в Париже, наряжая гулящих девок в костюм богини Разума, здесь они упустили из-за собственной неспособности и взаимной зависти великолепный случай перенести пламя революции в Испанию. А теперь им придется ждать... Впрочем, они и не собираются совершать революцию на всей земле! Они думают только о революции во Франции. Что же касается других... то пусть пропадают! Мы здесь занимаемся бессмысленным делом. Нас заставляют переводить на испанский язык Декларацию прав человека, а между тем сами французы каждый день нарушают по меньшей мере дюжину из семнадцати ее параграфов. Они взяли Бастилию и освободили при этом четырех фальшивомонетчиков, двух сумасшедших и одного педераста, но затем создали каторгу в Кайенне, которая гораздо хуже любой Бастилии...

Эстебан, боясь, как бы их не услышали соседи, сказал, что ему нужно купить писчую бумагу, — он хотел под благовидным предлогом увести неистового испанца на улицу. Они прошли мимо торгового дома Аранедер и направились в книжную лавку под вывеской «Богатство», которая теперь именовалась «Братство», — прежнюю надпись нетрудно было переделать в новую. Это помещение с низким потолком было слабо освещено, с балки свисала керосиновая лампа, хотя на улице стоял день. Эстебан обычно проводил тут долгие часы, перелистывая новые книги: обстановка в лавчонке отчасти напоминала ему ту, какая царила в дальнем помещении их склада в Гаване; здесь также лежали пыльные груды различных предметов, среди них виднелись армиллярные сферы, планисферы, подзорные трубы, физические приборы. Мартинес де Бальестерос с возмущением пожал плечами, бросив взгляд на недавно полученные гравюры, — на них были изображены памятные события из истории Греции и Рима.

— Нынче любой хлыщ воображает, будто он вылеплен из того же теста, что братья Гракхи, Катон или Брут, — пробормотал он.

Подойдя к расстроенному фортепьяно, он начал перелистывать ноты с последними песнями Франсуа Жируэ, изданные Фрером; их пели повсюду под аккомпанемент гитары, этому помогала упрощенная метода нотной записи. Испанец указал Эстебану на названия нескольких песен: «Дерево свободы», «Гимн разуму», «Поверженный деспотизм», «Республиканка-кормилица», «Гимн селитре», «Пробуждение патриотов», «Хорал тысячи кузнецов с оружейной мануфактуры».

— Даже музыку они сделали рассудочной, — проворчал он. — Дошли до того, что полагают, будто человек, который пишет сонату, наносит ущерб своему революционному долгу. Сам Гретри и тот заканчивает балеты «Карманьолой», дабы подчеркнуть свои гражданские чувства.

И, желая выразить протест против опусов Франсуа Жируэ, испанец бравурно заиграл аллегро из какой-то сонаты, словно хотел излить свой гнев на клавиатуру инструмента.

— Пожалуй, не стоило мне играть произведение такого франкмасона, как Моцарт, — сказал он, закончив пассаж, — ведь, чего доброго, в ящике фортепьяно

спрятан доносчик...

Купив бумагу, Эстебан вышел из лавочки в сопровождении испанца, который не хотел оставаться наедине со своей яростью. Несмотря на начавшийся холодный дождь, палач в берете снимал чехол с гильотины: вот-вот должны были привезти приговоренного, которому предстояло сложить тут свою голову. И этого никто не заметит, если не считать нескольких солдат, стоявших у подножия эшафота...

— Казните да казимы будете, — проворчал Мартинес де Бальестерос. — Казни в Нанте, казни в Лионе, казни в Париже...

— Человечество выйдет возрожденным из этой кровавой купели, — сказал Эстебан.

— Не повторяйте чужих слов, а главное, не говорите при мне о Красном море Сен-Жюста (испанец неизменно произносил это имя как «Сен-Ю»), ибо это дурная риторика, — отрезал Бальестерос.

Они повстречались со зловещей тележкой, в которой везли на эшафот священника со связанными руками; затем пошли вдоль пристани и остановились перед рыбацким судном, на палубе которого трепыхались сардины и тунцы, а среди них, как на фламандском натюрморте, лежал желтый скат. Мартинес де Бальестерос сорвал железный ключ, висевший у него на цепочке часов, и яростным жестом швырнул его в воду.

— Ключ от Бастилии, — пояснил он. — А ко всему еще поддельный. Среди слесарей есть такие проходимцы, что изготавливают их тысячами, они наводнили весь мир этими талисманами. И теперь на свете ключей от Бастилии больше, чем кусочков дерева от креста, на котором распяли Спасителя...

Взглянув в сторону Сибура, Эстебан заметил необычайное движение на дороге в Андай. По ней отдельными группами в беспорядке двигались солдаты полка пиренейских стрелков; некоторые пели, но у большинства был утомленный вид, и каждый, кто только мог, старался забраться в какую-нибудь повозку, чтобы проехать в ней хотя бы часть пути; было件件но, что песни горланят только пьяные. Солдаты походили на поспешно отступающее войско, брошенное на произвол судьбы офицерами и бредущее куда глаза глядят, в то время как офицеры уже достигли берега и слезли с коней возле какого-то трактира, где рассчитывали просушить свою намокшую одежду возле огня. Панический страх охватил Эстебана при мысли, что эти части, быть может, разбиты и что их преследуют, по пятам войска маркиза де Сен-Симона²⁰⁹, — тот командовал большим отрядом эмигрантов, который, как полагали, уже давно готовился к дерзкому нападению. Однако, внимательнее присмотревшись к вновь прибывшим, можно было понять, что они просто вымокли и перемазались в грязи, но вовсе не потерпели поражение в бою. В то время как простуженные и больные солдаты старались укрыться от дождя под навесами и выступами крыш, остальные располагались привалам и ели селедку с хлебом, запивая ее водкой. Маркитанты уже устанавливали свои жаровни, и к небу поднимался густой дым от мокрых дров; Мартинес де Бальестерос подошел к канониру, на плечах у которого болталась связка чеснока, и спросил у него о причине столь неожиданного передвижения войск.

— Мы отправляемся в Америку, — отвечал солдат, и слова эти пронзили мозг Эстебана, как яркий солнечный луч.

²⁰⁹ Имеется в виду один из членов рода Сен-Симонов, генерал Клод-Анн де Сен-Симон (1743–1819).

Дрожа от волнения и тревоги, испытывая мучительное беспокойство человека, которого изгоняют с празднества, происходящего в его собственном доме, Эстебан вместе с опальным полковником вошел в трактир, где расположились на отдых офицеры. И вскоре оба они узнали, что полк направляется на Антильские острова. Позднее к нему должны присоединиться другие части, входящие в экспедиционный корпус, формирующийся в Рошфоре. Солдат станут перевозить постепенно, на небольших судах, плыть придется, соблюдая необходимые меры предосторожности и держась неподалеку от берега из-за английской блокады. С кораблями отбудут два комиссара Конвента — Кретьен и некий Виктор Юг, по слухам, бывший моряк, хорошо знакомый с Карибским морем, где действует мощная британская эскадра... Эстебан вышел на площадь; он до такой степени боялся упустить удобный случай выбраться из этой дыры, где его подстерегала опасность (ко всему еще он понимал, что выполняет работу, бесполезность которой будет вскоре замечена его работодателями), что без сил опустился на каменную ступеньку, не обращая внимания на ледяной ветер, обжигавший щеки.

— Ведь Виктор Юг ваш приятель, — сказал ему Бальестерос, — добивайтесь же всеми средствами, чтобы вас отсюда увезли. Юг стал ныне человеком влиятельным, особенно с тех пор, как пользуется поддержкой Дальбарада, известного всем нам еще с той поры, когда он был корсаром в Биаррице. Здесь вы просто прозябаете. Документы, которые вам приходится переводить, лежат без движения в подвале. А ко всему еще вы *иностранец*.

Эстебан пожал руку испанцу.

— А что теперь собираетесь делать вы?

— Все равно буду продолжать свое дело. Человеку, посвятившему себя революции, нет пути назад, — ответил Мартинес де Бальестерос, и в голосе его прозвучала покорность судьбе.

Эстебан написал подробное письмо Виктору Югу — он снял с него несколько копий для того, чтобы послать одновременно в морское министерство, в Революционный трибунал Рошфора и одному бывшему масону, которого молодой человек убедительно просил разыскать адресата, где бы тот ни находился, — и принялся ждать ответа на свою просьбу. Он писал, что оказался жертвой чиновничьего равнодушия, а также раздоров среди испанских республиканцев, и объяснял слабый успех своего труда посредственностью людей, которые сменяли здесь друг друга у власти. Он жаловался на климат и говорил, что боится, как бы у него не возобновились приступы прежней болезни. Играя на дружеских чувствах Виктора, Эстебан напоминал ему о Софии и о доме в далекой Гаване, где все они «жили, как братья». В заключение он подробно говорил, чем именно может быть полезен революции в Америке. «Ко всему тебе известно, — прибавил он, — что в настоящее время положение иностранца во Франции не слишком-то завидное». Подумав о том, что письмо могут перехватить, Эстебан приписал: «Некоторые испанцы, живущие в Байонне, виновны в том, что, видимо, совершили достойные всяческого осуждения поступки, направленные против революции. Это сделало необходимым проведение чистки, в ходе которой, к сожалению, праведники могут поплатиться за деяния нечестивцев...» Потянулись долгие недели, наполненные тревожным ожиданием; все это время юношей владел страх, заставлявший его избегать Мартинеса де Бальестероса и тех, кто мог позволить себе неподобающим образом обсуждать недавние события в присутствии посторонних. Некоторые утверждали, будто аббат

Марчена, о местопребывании которого никто ничего не знал, погиб на эшафоте. Великий страх охватывал по ночам обитателей бискайского побережья. В домах не зажигали света, и люди, притаившись, следили из-за прикрытых ставен за тем, что происходит на улице. Эстебан перед самой зарей покидал свое жилище; стремясь побороть владевшее им беспокойство, он прямо под дождем пешком отправлялся в соседние селения, выпивал бутылку красного вина в какой-нибудь деревенской харчевне или заходил в сельскую лавчонку, где пуговицы продают на дюжины, где можно купить булавку, бубенчик, остаток ткани и тут же какие-либо сласти в плетеной корзиночке. Возвращался он к себе уже после наступления сумерек, и всякий раз у него было такое чувство, будто в его отсутствие в доме побывал кто-то посторонний, будто за ним приходили, чтобы отвести его в старинный замок Байонны, превращенный в казарму и полицейский комиссариат: там ему придется отвечать на вопросы, касающиеся таинственного «дела, к которому он причастен». Эстебану стал так неприятен этот молчаливый, замкнутый со всех сторон край, где его на каждом шагу подстерегала теперь опасность, что все без исключения представлялось ему тут безобразным: орешник и дубы, построенные на испанский лад дома, парящий в небе коршун, кладбища, где виднелись странные кресты с изображением солнца... Когда посыльный протянул письмо, у Эстебана так задрожали руки, что он не мог распечатать конверт. Ему пришлось сорвать сургучную печать зубами, благо они его еще слушались. Почерк был ему хорошо знаком. Виктор Юг в ясных и точных выражениях предлагал юноше не мешкая прибыть в Рошфор, чтобы занять должность писца в морском экспедиционном корпусе, которому предстояло вскоре отправиться с острова Экс. Письмо это должно было послужить Эстебану своего рода охранным свидетельством; молодому человеку надлежало покинуть Сен-Жан-де-Люз вместе с полком баскских стрелков, который будет участвовать в далекой и опасной экспедиции: в ходе ее придется принимать решения на месте, так как за отсутствием известий никто не знал, захватили англичане французские владения на Антильских островах или нет. Предположительно местом назначения экспедиции был выбран остров Гваделупа, если же там нельзя будет высадиться, эскадра продолжит свой путь до Сен-Доменга... Когда Виктор увидел Эстебана после долгой разлуки, он холодно обнял его. Юг немного похудел, и лицо его с выступающими скулами дышало энергией, которая еще больше возросла с тех пор, как он стал командовать людьми. Окруженный группой офицеров, он был всецело поглощен последними приготовлениями к отъезду: изучал карты, диктовал письма, и происходило все это в зале, где было полным-полно оружия, хирургических инструментов, барабанов и свернутых знамен.

— Поговорим потом, — бросил он Эстебану и повернулся к нему спиной, чтобы прочесть какую-то депешу. — Ступай в интендантство, — прибавил Виктор и тут же поправился: — *Ступайте* в интендантство и ждите там моих приказаний.

Хотя обращение на «ты» в ту пору считалось доказательством революционного духа, Юг поспешил поправиться не случайно, а желая этим что-то подчеркнуть. И Эстебан понял, что Виктор решил неуклонно следовать важнейшему правилу, которого придерживаются те, кто управляет людьми; не иметь друзей.

Четвертого флореаля II года Республики, без пения труб и барабанного боя, маленькая эскадра снялась с якоря; она состояла из двух фрегатов — «Копье» и «Фетида», брига «Надежда» и пяти транспортных судов для перевозки войск: на их борту разместились артиллерийская рота, две пехотные роты и батальон пиренейских стрелков, вместе с которыми Эстебан прибыл в Рошфор. И вскоре позади остался остров Экс со своей крепостью, оцетинившейся дозорными башнями, и плавучей тюрьмой — кораблем, именовавшимся «Два союзника», где больше семисот человек ожидали отправки в Кайенну: трюмы были битком набиты арестованными, им даже негде было лечь, и они засыпали сидя, в полубреду; заключенные заражали друг друга чесоткой и эпидемическими болезнями, от их гноящихся ран распространялось зловоние. Началу путешествия сопутствовали дурные предзнаменования. Последние новости, полученные из Парижа, никак не могли обрадовать Кретьена и Виктора Юга — остров Тобаго и остров Сент-Люсия подпали под власть англичан; Рошамбо пришлось капитулировать на Мартинике. Что касается Гваделупы, то она все время подвергалась нападениям неприятеля, и силы, находившиеся под началом военного губернатора, таяли. К тому же всем было известно, что белые поселенцы принадлежащих Франции Антильских островов были презренными монархистами; после казни короля и королевы они открыто выступали против Республики и не только жаждали британской оккупации, но и всячески помогали врагу. Эскадра шла навстречу опасности, ей предстояло ускользнуть от английских кораблей, блокировавших берега Франции, и возможно скорее покинуть воды Европы, а для этого были предписаны весьма суровые меры: запрещалось зажигать огонь после захода солнца, и солдатам приходилось засветло укладываться на свои подвесные койки. На судах все время поддерживалось состояние боевой тревоги, солдаты не расставались с оружием, — каждую минуту можно было ждать столкновения с неприятелем. Погода, однако, благоприятствовала экспедиции — море все время окутывал туман. Суда были нагружены огнестрельным оружием и провиантом, всюду выселились ящики, бочки, бочонки, лежали тюки и кипы, и людям приходилось делить узкое свободное пространство, остававшееся на палубе, с лошадьми, которые жевали сено, причем яслями им служили шлюпки. На судах везли баранов, из трюмов то и дело доносилось жалобное бляение; в стоявших на подпорках ящиках с землею росли редис и другие овощи, предназначенные для офицерского стола. С самого отъезда Эстебану ни разу не удалось побеседовать с Виктором; молодой человек проводил все свое время в обществе двух типографов — отца и сына Лёйе, — они плыли на одном с ним корабле и везли небольшую типографию, чтобы печатать различные распоряжения и прокламации...

По мере того как корабли удалялись от Европейского континента, представление о бушевавшей там революции становилось более простым и ясным: теперь, когда шумные уличные споры, патетические речи, словесные баталии больше не заслоняли смысла событий, все происходящее казалось более схематическим, но зато менее противоречивым. Недавнее осуждение и казнь Дантона²¹⁰ воспринимались как одна из перипетий в становлении того будущего, которое каждый рисовал себе по-своему. Разумеется, трудно было понять, каким образом трибуны, которые еще накануне были народными кумирами и чьи речи вызывали овации, трибуны, за которыми следовали тысячи людей, внезапно оказывались негодьями. Но люди успокаивали себя тем, что

210 Дантон был казнен 5 апреля 1794 г.

после пережитой бури положение скоро определится и станет приемлемым для всех: ближайшее будущее дарует большую терпимость к религии, думал баск, пронесший на корабль ладанку; франкмасонов перестанут преследовать, говорил себе человек, который с тоскою вспоминал о масонских ложах; можно будет добиться большего равенства в имущественном и общественном положении людей, надеялся тот, кто мечтал решительно покончить с еще сохранившимися привилегиями. Теперь люди плыли навстречу битвам, битвам между французами и англичанами; вдали от кабачков и городских пересудов сомнения, прежде владевшие умами, улетучивались. Одна только мысль все время терзала Эстебана: он думал об аббате Марчене — тот, конечно же, не избежал рокового падения, так как был тесно связан с жирондистами, — и сожалел, что многие иностранцы, искренние друзья свободы, которые из-за этого подвергались на родине угрозе смерти, были уничтожены, хотя вся их вина состояла разве только в том, что они слишком верили в дальнейшее распространение революции. В ту пору придавали чрезмерное значение любым наветам и обвинениям. Даже сам Робеспьер в речи, произнесенной в Обществе друзей свободы и равенства, осудил необоснованные доносы, назвав их происками врагов Республики, стремящихся опорочить верных ее сторонников. Эстебан сказал себе, что он уехал вовремя, так как и в самом деле оказался бы среди тех, кто попал в немилость. И все же он с тоскою думал о крахе своей мечты послужить великому делу, ведь он надеялся на это, когда Бриссо посылал его на пиренейскую границу, заверяя, что Эстебан примет там участие в подготовке важных событий; на самом же деле эти важные события докатились только до Пиренеев, а по ту сторону горного хребта Смерть, верная средневековым традициям, и дальше пребудет такой, какой ее изобразили фламандские живописцы на религиозных аллегорических полотнах, которыми Филипп II украсил стены Эскуриала... В такие минуты Эстебану хотелось подойти к Виктору и поделиться с ним своими мыслями. Но комиссар Конвента мало появлялся на людях. А если и появлялся, то всегда неожиданно, внезапно, так сказать, для острстки. Как-то вечером, зайдя в кубрик, он обнаружил, что четверо солдат играют в карты при свете коптилки, прикрытой, точно абажуром, бумажным кульком. Он заставил провинившихся подняться на палубу, подталкивая их сзади острием сабли, и велел выбросить карты за борт.

— В следующий раз, — сердито сказал он, — я поступлю с вами, как с королями из этой колоды.

Юг проходил вдоль гамаков и подвесных коек, где спали солдаты, и ощупывал брезент, чтобы выяснить, не припрятана ли там похищенная бутылка спиртного.

— Дай-ка мне свое ружье, — обратился он однажды к карабинеру с таким видом, что тот решил, будто комиссару не терпится взять на мушку какого-то морского хищника, чьи плавники вырисовывались над водой. Но тут же, забыв, по-видимому, о своем первоначальном намерении, Юг внимательно оглядел ружье и нашел, что оно плохо вычищено и не смазано. — Ты просто свинья! — крикнул он, швыряя карабин на палубу.

На следующий день все оружие на корабле блестело так, словно его только что получили из арсенала. Иногда с наступлением ночи Юг взбирался на марс и усаживался там, упираясь ногами в перекладину веревочной лестницы, — когда ветер относил ее, ноги его повисали в пустоте; затем он устраивался рядом с дозорным; во тьме очертания фигуры комиссара почти не были видны, а скорее угадывались, над его головою раскачивался султан из перьев, Виктор был великолепен и походил на

альбатроса, который уселся на мачту и распростер крылья над кораблем. «Спектакль», — думал в таких случаях Эстебан. Однако подобного рода спектакли действовали на него столь же неотразимо, как и на остальных, — они показывали бесспорное величие актера.

Однажды утром, услышав, как бортовые горнисты громко играют зорю, солдаты поняли, что опасная зона осталась позади. Штурман перевел часы назад и спрятал за пояс пистолеты, которые до того лежали прямо на карте. Отпраздновав переход к спокойному плаванию стаканчиком спиртного, все принялись за свои обычные занятия, на кораблях воцарилась шумная радость, она сразу же положила конец напряжению и беспокойству последних дней, когда у людей все время были хмурые лица. Солдат, сбрасывая в море конский навоз, который скопился возле лошадей, уткнувших головы в приспособленные под ясли шлюпки, что-то напевал. Напевали и те, кто усердно чистил оружие. Напевали мясники, точа ножи, чтобы резать баранов. Казалось, поет все — железо и мельничный жернов, малярная кисть и пила, скребница и лоснящийся круп коня; пела и наковальня — из-под навеса, где она стояла, доносился ритмичный шум мехов и молота. Последний европейский туман рассеивался под лучами солнца, еще скрытого дымкой и потому казавшегося слишком белым, но уже жаркого, заливавшего палубу от кормы до носа, так что все ослепительно сверкало — пряжки на мундирах, золотые нашивки, лакированные козырьки, штыки ружей, седельные луки. Пушкари снимали чехлы с орудий, но не для того, чтобы зарядить пушки, а чтобы почистить жерла банником и до блеска натереть бронзовые стволы. На юте оркестр полка пиренейских стрелков разучивал марш Госсекса, к которому было прибавлено трио для барабана и баскских свирелей: трио исполняли настолько лучше марша (хотя его играли по нотам), что, когда раздавались нестройные и резкие звуки этого марша, солдаты встречали их смехом и шутками. Всякий занимался своим делом и без страха смотрел на горизонт, напевая, смеясь; хорошее настроение царило повсюду — от рей до трюма. Внезапно на палубе появился Виктор Юг в парадной форме комиссара Конвента, на его лице играла улыбка, но при этом он казался столь же неприступным, как прежде. Он прошел по палубе, остановился посмотреть на то, как приводят в порядок лафет орудия, затем поинтересовался работой плотника; похлопал по шее коня, пощелкал по коже барабана, спросил о самочувствии артиллериста, у которого рука была на перевязи... Эстебан заметил, что солдаты, увидев комиссара, внезапно умолкали: он внушал им страх. Юг медленно поднялся по лесенке, которая вела на нос корабля. На шкафуте рядами стояли покрытые брезентом бочки, пеньковые канаты прикрепляли брезент к бортам. Виктор что-то сказал офицеру, и тот распорядился откатить бочки в другое место. Вслед за тем шлюпка под трехцветным флагом была спущена на воду: комиссар воспользовался первым же спокойным, тихим днем и решил позавтракать на борту «Фетиды» в обществе капитана де Лессега, командовавшего флотилией. Кретъен, с первого дня страдавший от морской болезни, оставался у себя в каюте. Когда украшенный плюмажем головной убор Виктора Юга исчез за бортом брига «Надежда», шедшего теперь между двумя фрегатами, веселье снова воцарилось на борту фрегата «Копье». Даже офицеры будто избавились от всякой тревоги и разделяли хорошее настроение солдат, вместе с ними пели, смеялись над усилиями оркестра, который, благополучно справившись с баскскими мелодиями и виртуозными руладами свирелей, никак не мог хотя бы сносно сыграть «Марсельезу».

— Это ведь только первая репетиция! — воскликнул капельмейстер, желая

прекратить град насмешек.

Однако люди смеялись над ним, как смеялись бы по любому другому поводу: они испытывали властную потребность в смехе, особенно сейчас, когда батареи «Фетиды» дружным залпом приветствовали комиссара Национального Конвента, свидетельствуя, что он уже далеко и его можно не опасаться. Этого Облеченного Властью человека страшились. И ему это, видимо, нравилось.

XVI

Прошло еще три дня. Всякий раз, когда штурман переводил часы назад, солнце, казалось, припекало сильнее, а море все больше начинало походить на то море, все запахи которого столько говорили сердцу Эстебана. Однажды вечером, желая немного освежиться, потому что жара в трюме и кубриках была просто невыносима, молодой человек поднялся на палубу и остановился у борта, созерцая безбрежный небосвод, который впервые за время путешествия был безоблачен и ясен. Чья-то рука опустилась на его плечо. Позади стоял Виктор — без мундира, в расстегнутой рубашке — и дружески улыбался ему, как в былые дни.

— Тут недостает женщин. Как ты считаешь? — спросил Юг.

И, внезапно оживившись, он начал вспоминать те места в Париже, которые оба посещали вскоре после приезда в столицу, и соблазнительных, доступных женщин. Прежде всего он припомнил Розамунду, немку из Пале-Рояля; Заиру, чье имя напоминало о пьесе Вольтера; Дорину в розовом муслиновом платье; затем заговорил об уютном гнездышке на антресолях, где за два луидора можно было вкушать любовные ласки Анжелики, Адели, Зефиры, Зои, Эстер и Зилии, столь непохожих друг на друга и воплощавших различные женские типы; каждая из них вела себя по-своему, каждая играла роль в строгом соответствии с характером своей внешности: одна походила на боязливую барышню, другая — на разбитную мещанку, третья — на танцовщицу из кордебалета, четвертая, Эстер, — на Венеру с острова Маврикий, пятая (эту роль исполняла Зилия) — на пьяную вакханку. После изощренных утех с одной или несколькими женщинами гость в конце концов оказывался в объятиях Аглаи, красавицы с остроконечными грудями, дерзко устремленными к твердому и властному подбородку античной царицы: близость с нею неизменно венчала пиршество страстей. В другое время Эстебан и сам бы посмеялся над столь легкомысленными воспоминаниями. Но он все еще чувствовал себя неловко с Виктором и не мог найти с ним общий язык — ведь Юг не обращал на него никакого внимания с самой их встречи в Рошфоре; поэтому неожиданная словоохотливость Виктора не нашла отклика у молодого человека: он отвечал через силу и односложно.

— Ты похож на жителя Гаити, — заметил Виктор. — Там в ответ слышишь только многозначительное: «О! О!» — и нельзя понять, что, собственно, думает твой собеседник. Пошли ко мне в каюту.

Большой портрет Неподкупного красовался на стене между крюками, на которых висели головной убор и мундир Юга; под портретом наподобие лампы горел светильник. Комиссар поставил на стол бутылку с водкой и наполнил две рюмки.

— Твое здоровье! — произнес он и чуть насмешливо взглянул на Эстебана.

Он извинился, — но при этом в голосе его звучала лишь холодная учтивость, — что ни разу не пригласил юношу к себе после отплытия с острова Экс: различные заботы, дела, обязанности и прочее... К тому же положение все время было неясное.

Правда, им удалось ускользнуть от британских кораблей, которые блокировали побережье Франции. Однако кто знает, с чем еще придется встретиться флотилии, когда она прибудет к месту назначения. Их главная цель — вновь утвердить власть Республики во французских колониях в Америке и всеми средствами бороться против сепаратистских настроений, отвоевывая, если потребуется, земли, в настоящее время, быть может, потерянные. Монолог Виктора сопровождался долгими паузами, иногда он прерывал свою речь характерным «да», — оно было так хорошо знакомо Эстебану и походило то ли на ворчание, то ли на брюзжание. Юг похвалил дух высокой гражданственности, которым было отмечено полученное им письмо Эстебана, — именно поэтому он и решил воспользоваться его услугами.

— Тот, кто изменит якобинцам, изменит делу Республики и свободы, — объявил он.

У Эстебана вырвался негодующий жест. Его вывели из себя не сами слова, а то, что они принадлежали Колло Д#700;Эрбуа, который по всякому поводу их повторял; этот бывший комедиант, за последнее время особенно пристрастившийся к алкоголю, казался ему человеком мало подходящим для выражения революционной нравственности. Юноша не сдержался и прямо высказал свое мнение.

— Быть может, ты и прав, — заметил Виктор. — Колло действительно злоупотребляет вином, но он настоящий патриот.

Осмелев после двух рюмок водки, Эстебан спросил, указывая на портрет Неподкупного:

— Как может этот гигант до такой степени доверять пьянчужке? От речей Колло разит вином.

Революция, продолжал Эстебан, выковала множество людей с возвышенным образом мыслей, это бесспорно; но в то же время она окрылила немало неудачников и людей озлобленных, они использовали террор в корыстных целях.

— Это и впрямь достойно сожаления, — ответил Виктор холодно. — Но мы не можем уследить за всеми.

Эстебан считал нужным изложить свое кредо, чтобы не оставалось сомнений в его верности революции. Однако его раздражали некоторые уж совершенно смехотворные гражданские церемонии, некоторые необоснованные назначения; он не понимал, как могут люди выдающиеся столь терпимо относиться к деятельности посредственных личностей. Власти благосклонно взирали на представления нелепых пьес, если в финале показывали фригийский колпак: дело дошло до того, что к «Мизантропу» добавили проникнутый гражданским пафосом эпилог, а в трагедии «Британик», подновленной театром «Комеди Франсез», Агриппина именовалась «гражданкою»; многие классические трагедии были под запретом, а правительство субсидировало некий театр, где шла бездарная пьеса: на сцене можно было увидеть папу Пия VI, который колотил тиарой Екатерину II, а та отвечала ему ударами скипетра; короля Испании в схватке валили на землю, и он терял при этом огромный нос из картона. Больше того, с некоторых пор поощрялось определенное пренебрежение к людям умственного труда. В различных комитетах раздавался варварский клич: «Опасайтесь всех, кто пишет книги». Все литературные клубы в Нанте — это общеизвестно — были закрыты по распоряжению Каррье²¹¹. Невежда Анрио дошел до требования

²¹¹ Жан-Батист Каррье (1756–1794) — один из наиболее жестоких деятелей террора 1793–1794 гг. В Нанте топил сотни «плодозрительных» в дырjаых барjах. После 9 термидора осужден на смерть и казнен в декабре 1794 г.

сжечь Национальную библиотеку²¹²; а в это самое время Комитет общественного спасения посылал на эшафот прославленных хирургов, выдающихся химиков, эрудитов, поэтов, астрономов...

Эстебан осекся, заметив, что Виктор выказывает признаки нетерпения.

— Вот еще критикан нашелся! — взорвался наконец Юг. — Рассуждаешь так, как, без сомнения, рассуждают в Кобленце²¹³. Тебя интересует, почему были закрыты литературные клубы в Нанте? — Он грохнул кулаком по столу. — Мы изменяем облик мира, а их занимают только литературные достоинства и недостатки какой-нибудь театральной пьесы. Мы преобразуем жизнь людей, а они сетуют на то, что некоторые литераторы не могут собираться вместе и читать вслух идиллии и прочие бредни. Да они способны пощадить изменника, врага народа только потому, что он написал красивые стихи!

На палубе послышался шум — что-то перетаскивали. Пробираясь между тюками, плотники сносили на нос корабля доски, за ними шли матросы, сгибаясь под тяжестью больших продолговатых ящиков. Когда открыли один из ящиков, лунный луч скользнул по стальному предмету треугольной формы; при виде его Эстебан содрогнулся. Люди, чьи тени отражались в воде, казалось, выполняли какой-то жестокий и таинственный обряд: на палубе были разложены — пока еще в одной плоскости — опора, верхняя перекладина и боковые стойки, они лежали в порядке, указанном в листке с инструкцией, и плотники при свете фонаря молча сверялись с ней. Пока еще адское сооружение существовало лишь в проекции на горизонтальную плоскость; это был как бы чертеж с искаженной перспективой, выполненный в двух измерениях, он позволял представить себе то, что вскоре должно было приобрести высоту, ширину и грозную глубину. Словно следуя ритуалу, люди, казавшиеся в темноте черными, воздвигали под покровом ночи ужасное сооружение, они доставали брусья, скобы, шарниры из ящиков, походивших на гробы, — гробы, однако, слишком длинные для человеческого тела, но достаточно широкие, чтобы вместить колодку с круглым отверстием, которая сможет зажать шею любого размера. Послышались удары молотков, и зловещий их ритм нарушал глубокую тишину моря, на котором уже появились первые саргассовые водоросли.

— Стало быть, *она* тоже путешествовала вместе с нами! — воскликнул Эстебан.

— Разумеется, — ответил Виктор, прохаживаясь по каюте. — *Она* да походная типография — вот две самые необходимые вещи, которые мы возьмем с собой, если не считать пушек.

— Не так прочтешь — кровью изойдешь! — пробормотал Эстебан.

— Не приводи мне испанских поговорок, — отрезал Виктор, снова наполняя рюмки.

Затем, пристально и многозначительно посмотрев на своего собеседника, Юг достал портфель из телячьей кожи и медленно раскрыл его. Он извлек оттуда пачку листов, отпечатанных на гербовой бумаге, и швырнул их на стол...

— Да, мы возьмем с собой также и эту грозную машину, — продолжал Виктор. — Но

²¹² Анрио, бывший пивовар, в 1792–1793 гг. командовал Национальной гвардией, руководил ею при штурме Тюильри 10 августа 1792 г. В борьбе с духом аристократии не раз выдвигал предложения, подобные проекту сожжения Национальной библиотеки. Был казнен вместе с Робеспьером 10 термидора 1794 г.

²¹³ *Кобленц* — немецкий город в Рейнской области; в 1792 г. был центром контрреволюционной деятельности роялистов.

знаешь ли ты, что я вручу жителям Нового Света?

Он сделал паузу и прибавил, выделяя каждое слово:

— Декрет от шестнадцатого плювиоза второго года Республики, *которым отменяется рабство*. Отныне и впредь все люди, живущие в наших колониях, независимо от цвета кожи провозглашаются французскими гражданами и получают полное равенство в правах.

Юг высунулся из двери каюты и стал наблюдать за работой плотников. Стоя спиной к Эстебану, он продолжал свой монолог, не сомневаясь, что собеседник слушает его:

— Впервые морская эскадра приближается к берегам Америки, не осененная знаком креста. Флотилия Колумба несла изображение креста на парусах своих каравелл. Крест знаменовал собою рабство, которое собирались навязать жителям Нового Света во имя искупителя; Христос, внушали капелланы, умер, дабы спасти людей, принести утешение беднякам и устыдить богатых. А мы, — Виктор резко обернулся и указал на декрет, — мы люди без креста, без искупителей, без бога, на наших кораблях нет капелланов, и мы плывем в Новый Свет, чтобы уничтожить все привилегии и установить равенство. Брат мулата Оже будет отомщен...

Эстебан опустил голову, устыдившись той критики, которую он перед тем поспешно высказывал Югу, словно стремясь избавиться от мучительных сомнений. Он взял в руки декрет и стал ощупывать бумагу, снабженную большими сургучными печатями.

— Так или иначе, — проговорил он, — но я предпочел бы, чтобы цели эти были достигнуты без применения гильотины.

— Все будет зависеть от людей, — отвечал Виктор. — И от других, и от тех, кто едет с нами. Не думай, что я доверяю всем, кто плывет на наших кораблях. Посмотрим, как каждый станет вести себя, ступив на твердую землю.

— Ты это для меня говоришь? — осведомился Эстебан.

— Может быть, для тебя, может, для других. По своему положению я обязан не доверять никому. Одни слишком много рассуждают. Другие слишком много жалуются. Некоторые до сих пор тайком носят на груди ладанки. Кое-кто утверждает, будто при старом режиме — в этом публичном доме! — жилось лучше. Среди военных скрываются заговорщики, они спят и видят, как бы избавиться от комиссаров Конвента, едва только придется обнажить сабли. Но я, я знаю обо всем, что говорят, что думают и что делают на этих проклятых кораблях. Поэтому внимательно следи за своими словами. Мне их тут же перескажут.

— Ты считаешь меня подозрительным? — спросил Эстебан с горькой улыбкой.

— Я подозреваю всех, — ответил Виктор.

— Отчего бы тебе нынче вечером не испробовать на мне, как действует гильотина?

— Плотникам пришлось бы слишком торопиться. Да и овчинка выделки не стоит. — Виктор принялся стаскивать рубаху. — Ступай-ка лучше спать.

Он протянул Эстебану руку с сердечностью и искренностью, которые прежде отличали его. Взглянув на Юга, юноша был поражен сходством между Неподкупным, чей портрет висел на стене каюты, и Виктором, который явно подражал манере Робеспьера держать голову, вперять в собеседника испытующий взгляд и смотреть на него одновременно учтиво и твердо: все это было запечатлено на портрете. И то, что Эстебан разглядел эту слабость Виктора — желание даже физически походить на человека, которым тот восхищался больше всего, — принесло юноше некоторое

удовлетворение. Итак, Юг, который некогда, разыгрывая живые картины в Гаване, рядился в одежды Ликурга или Фемистокла, ныне, достигнув власти и исполнения своих честолюбивых помыслов, старался подражать другому человеку, чье превосходство признавал. Впервые гордый Виктор Юг склонялся — быть может, почти безотчетно — перед личностью более значительной.

XVII

Когда эскадра в полном составе вошла в теплые моря, укрытая чехлом грозная машина по-прежнему высилась на носу корабля, являя взору две плоскости — горизонтальную и вертикальную — и походя чистотою линий на чертеж из учебника геометрии. О близком соседстве суши говорили принесенные сюда морскими течениями древесные стволы, корневища бамбука, мангровые ветви, листья кокосовых пальм, которые плавали на поверхности воды, — в тех местах, где дно было песчаным, она казалась светло-зеленой. Снова возникла опасность встречи с британскими кораблями; со дня отплытия никто не знал, что же происходит на Гваделупе, и эта неизвестность держала всех в тревожном ожидании; день проходил за днем без особых происшествий, но беспокойство все возрастало. Если кораблям флотилии не удастся пристать к берегам Гваделупы, они продолжат свой путь в Сен-Доменг. Однако англичане могли завладеть и этим островом. В таком случае, решили Кретьен и Виктор Юг, надо будет любым способом добраться до Соединенных Штатов и отдать эскадру под покровительство дружественной державы. Эстебан сердился на самого себя, он мысленно возмущался тем, что считал недопустимым проявлением эгоизма, и все же сердце его замирало каждый раз, когда речь заходила о том, что флотилия, быть может, войдет в порт Балтимора или Нью-Йорка. Это означало бы конец долгого приключения, которое с каждым днем казалось ему все более нелепым; его присутствие на кораблях эскадры станет излишним, он попросит вернуть ему свободу действий или сам, без всякого разрешения, воспользуется ею и возвратится, опаленный Историей, наслушавшись разных историй и насмотревшись на них, туда, где ему станут внимать с таким же удивлением, с каким внимают пилигриму, вернувшемуся из странствий по святым местам. Его первый выход на арену мировых событий закончился бесславно, однако он приобрел немалый опыт, он приобщился к великим преобразованиям, и это как бы служило залогом его будущих деяний. Но пока надо было делать нечто такое, что придавало бы смысл жизни. Эстебану хотелось писать, он надеялся, что, взявшись за перо и приведя мысли в строгую систему, он сможет сделать важные выводы из своих впечатлений. Молодой человек еще плохо представлял себе, каким именно будет этот его труд. Но он должен быть, во всяком случае, чем-то важным, отвечающим нуждам эпохи; чем-то таким, что весьма не понравится Виктору Югу, не без удовольствия думал Эстебан. Возможно, это будет новая теория государства. Возможно — критический пересмотр «Духа законов» Монтескье. Возможно даже — исследование ошибок, допущенных в ходе революции. «Словом, такую книгу вполне мог бы написать один из этих скотов эмигрантов», — сказал себе Эстебан, заранее отказываясь от своего замысла. За последний год-два юноша заметил, что в нем все больше развивается критический дух — порою он досадовал на эту свою новую черту, так как она мешала ему непосредственно восторгаться тем, чем восторгались другие, — и Эстебан все чаще отказывался подчиняться господствующему мнению. Когда при нем изображали революцию как

нечто идеальное и возвышенное, когда не желали признавать за ней ни недостатков, ни заблуждений, она начинала представляться ему уязвимой и ущербной. Однако он защищал бы революцию от нападков монархистов с помощью тех же самых аргументов, которые раздражали его, когда ими пользовался, скажем, Колло д'Эрбуа. Эстебана в равной мере возмущали и демагогические высказывания газеты «Отец Дюшен»²¹⁴, и чудовищные бредни эмигрантов. Он чувствовал себя священником, когда сталкивался с гонителями церкви, и гонителем церкви, когда сталкивался со священниками; он был похож на монархиста, когда при нем утверждали, что все короли — в том числе и Яков Шотландский, и Генрих IV, и Карл Шведский²¹⁵ — были дегенератами, и вел себя как ярый противник монархии, когда при нем прославляли испанских Бурбонов. «Я и впрямь критикан, — признавался он себе, вспоминая, что Виктор Юг назвал его так несколько дней тому назад. — Но спорю я с самим собою, а это хуже всего». У типографов Лёйе мало-помалу развязались языки, и они рассказали Эстебану, каким беспощадным был в Рошфоре общественный обвинитель Юг; юноша смотрел теперь на Виктора со смешанным чувством досады и недоброжелательства, нежности и зависти. Досаду он испытывал, так как видел, что Виктор отдалил его от себя; недоброжелательство к Югу родилось у Эстебана, когда он узнал, как тот неистовствовал в трибунале; почти женская нежность и благодарность возникала в душе молодого человека при мысли о дружеских чувствах Виктора к нему; зависть в Эстебана вызывало то обстоятельство, что комиссар владел декретом, благодаря которому этому сыну булочника, чье детство прошло между печью и квашней, предстояло войти в историю. Эстебан целые дни мысленно спорил с Виктором, давал ему советы, требовал отчета, повышал голос, — словом, готовился к беседе с Югом, которой, возможно, не суждено было состояться вообще, а если бы она когда-нибудь и состоялась, то юноша вел бы совсем не те речи, какие долго вынашивал: скорее всего чувства нахлынули бы на него, и вместо упреков, доводов, категорических требований и угроз разрыва, какие он теперь шептал про себя, прозвучали бы жалобы, а быть может, пролились бы даже и слезы... В пору этого тревожного ожидания Виктор Юг спозаранку отправлялся на фрегат «Фетида» в шлюпке под флагом Республики; там он совещался с командующим флотилией де Лессегом — оба разговаривали, облокотившись на карты, где были нанесены рифы и мели, меж которых в те дни шла эскадра. Когда комиссар возвращался, Эстебан стремился попасться ему на глаза: при этом он делал вид, будто погружен в какое-то дело и не замечает идущего мимо Виктора. Когда Юг бывал окружен офицерами и адъютантами, он не заговаривал с юношей. Эта группа людей в украшенных перьями головных уборах и расшитых мундирах составляла особый мир, куда Эстебану не было доступа. Провожая долгим взглядом комиссара Конвента, юноша со смешанным чувством восхищения и гнева смотрел на его широкие плечи, обтянутые пропотевшим мундиром: ведь плечи эти принадлежали человеку, посвященному в самые заветные тайны семьи Эстебана, человеку, который вторгся в его жизнь, как рок, и с тех пор ведет его все более и более опасными путями. «Не обнимай холодных статуй», — шептал молодой человек, с горькой иронией повторяя слова Эпиктета и думая о том,

²¹⁴ «Отец Дюшен» — ультралевая газета, с 1789 г. издававшаяся Жаком-Рене Эбером.

²¹⁵ Трудно сказать, каких шотландских и шведских королей имеет в виду Эстебан. Вероятно, это шотландский король Яков V (1512–1542), отец Марии Стюарт, и Карл XII Шведский.

какое расстояние пролегло сейчас между ним и его товарищем прежних лет. А ведь он видел, как эта «холодная статуя», как этот человек предавался утехам любви с самыми изощренными в страсти женщинами — именно потому Виктор их и выбирал — во время их совместных походов в первые дни жизни в Париже, когда искали только одного: наслаждений. Тогдашний Виктор Юг, сбросив рубашку, похвалялся своими мускулами перед случайными любовницами, ценил хорошее вино и соленую шутку, обладал живостью нрава, несвойственной нынешнему Югу, — теперь же он был вечно хмур, затянут в парадный мундир и гордился знаками отличия, дарованными ему Республикой; человек этот распорядился ныне судьбами всей флотилии и присвоил себе права адмирала с самоуверенностью, приводившей в смущение самого де Лессега. «От расшитого мундира голова у тебя пошла кругом, — думал о нем Эстебан. — Берегись: опьянение мундиром — худший вид опьянения»... Однажды на рассвете два пеликана опустились на гик фрегата «Копье». Ветер донес запах пастбищ, потоки и дыма. Эскадра, замедлив ход, то и дело измеряя глубину лотами, приближалась к грозным рифам острова Дезирад. Еще в полночь солдаты и матросы были подняты по тревоге и теперь, столпившись у борта, жадно вглядывались в берег, суровые очертания которого с самой зари проступали на горизонте: остров этот походил на громадную тень, падавшую на море от низких, неподвижных облаков. Дело происходило в самом начале июня, царил полный штиль: казалось, можно расслышать, как вдалеке летающая рыба задевает плавником поверхность воды, такой прозрачной, что видно было, как на небольшой глубине скользят угри. Корабли остановились неподалеку от обрывистого берега, где не было ни посевов, ни жилищ. Шлюпка с несколькими матросами отделилась от фрегата «Фетида» и понеслась к острову. Вскоре командующий флотилией де Лессег в сопровождении генералов Картье и Руже прибыл на фрегат «Копье», чтобы вместе с Кретьеном и Виктором Югом дожидаться известий... Часа через два, когда терпение у всех уже истощилось, показалась шлюпка.

— Ну, что там? — крикнул комиссар матросам, когда, по его мнению, они уже могли расслышать вопрос.

— Англичане на Гваделупе и на острове Сент-Люсия, — послышался ответный крик, и на палубах кораблей раздались громкие проклятья. — Они завладели этими островами уже после того, как мы отплыли из Франции.

Напряжение уступило место досаде. Вновь вернулась неуверенность прежних дней: отныне начинался новый опасный переход по морям, кишевшим вражескими судами, к острову Сен-Доменг, — а он, вероятнее всего, тоже захвачен англичанами, которым помогали богатые колонисты, сторонники монархии, переходившие на сторону врага вместе с толпами своих рабов-негров. Если же и можно будет избежать британской опасности, то останется угроза со стороны испанцев; эскадре придется в самую дурную пору года бороздить море во всех направлениях, чтобы добраться до Багамских островов; при этой мысли Эстебан вспомнил стихи из «Бури»²¹⁶, где говорилось об ураганах, бушующих над Бермудскими островами. Солдатами овладевали пораженческие настроения. Коль скоро высадиться на Гваделупе нельзя, лучше всего убраться восвояси, да поскорее. Многие молча возмущались тем упорством, с каким Виктор Юг заставлял матроса, посланного за вестями, вновь и вновь повторять свой рассказ о коротком пребывании на суше. Места для сомнений не

²¹⁶ Имеется в виду драма В. Шекспира «Буря» (1611), действие которой происходит на островах Атлантики.

оставалось. Новость сообщили ему несколько человек: негр-рыбак, крестьянин, слуга из какого-то кабачка; кроме того, он беседовал с солдатами небольшого форта. Все они видели корабли эскадры, но на расстоянии приняли их сперва за флотилию адмирала Джервиса: она должна была сняться с якоря в Пуэнт-а-Питре, вернее, уже снялась или снималась в эту минуту, и взять курс на остров Сент-Кристофер... Остаться тут, среди рифов, было крайне опасно.

— Думаю, ждать дольше не стоит, — заметил Картье. — Если они нас здесь окружают, то разобьют в пух и прах.

Генерал Руже придерживался того же мнения. Однако Виктор не уступал. Вскоре голоса спорящих зазвучали громче. Генералы не соглашались с комиссарами Конвента, в ножнах позвякивали сабли, сверкали нашивки, перевязи и кокарды, раздавались самые грубые ругательства, какие только можно было услышать от француза II года Республики, всего минуту назад с пафосом упоминавшего Фемистокла и Леонида. Внезапно Виктор Юг заставил всех замолчать, резко оборвав разговор.

— В Республике военные не спорят, а подчиняются. Нас послали на Гваделупу, и мы высадимся на Гваделупе.

Остальные опустили головы, словно львы под хлыстом укротителя. Комиссар приказал немедленно поднять якоря, и эскадра взяла курс на порт Салин в области Гранд-Тер. Вскоре показался остров Мари-Галант, окутанный опаловою дымкой; на кораблях объявили боевую тревогу. Послышался грохот лафетов, скрип канатов и шкивов, крики, шум, отрывистые слова команды, ржание лошадей, почуввавших близость земли и зеленых пастбищ. По приказанию Юга типографы принесли несколько сот афиш, отпечатанных во время морского перехода: на них большими черными буквами был воспроизведен текст декрета от 16 плювиоза, который провозглашал отмену рабства и давал равные права всем обитателям острова, независимо от цвета кожи и имущественного состояния. Затем комиссар Конвента твердым шагом пересек шкафут, подошел к гильотине и сбросил просмоленный брезент, покрывавший ее: она впервые предстала всем взорам, сверкая в лучах солнца хорошо отточенным лезвием. Слово выставляя на всеобщее обозрение дарованную ему власть, Виктор Юг замер в неподвижности, упершись правой рукой в боковую перекладину грозной машины, и внезапно превратился в живую аллегория. Вместе со свободой в Новый Свет прибывала первая гильотина.

XVIII

Бедствия войны.

Гойя

Кретъен и Виктор Юг отплыли в одной из первых шлюпок, — быть может, желая показать солдатам, что в решительный час комиссары Конвента не менее отважны, чем кадровые военные. Когда французы высадились на берег, грянуло несколько залпов, затем завязалась короткая перестрелка, но мало-помалу выстрелы замерли в отдалении. Спустилась ночь, и все затихло на кораблях, где еще оставались отряды военных моряков и две роты пиренейских стрелков под общим командованием капитана де Лессега. Прошло три дня, но за это время ничего не случилось, по-прежнему ниоткуда не поступало никаких известий. Стремясь усыпить тревогу, Эстебан развлекался рыбной ловлей в компании с типографами, которые поневоле сидели сложа руки. Теперь, когда большая часть солдат покинула корабли, на борту

стало так много свободного места, что палубы походили на театральную сцену, какой она бывает после шумного представления. Повсюду свисали концы веревок, валялись брошенные тюки, стояли пустые ящики. Можно было без помех прогуливаться взад и вперед, дремать в тени паруса, съесть свою миску супа где-нибудь в холодке, искать блох на вольном воздухе, играть в карты, не сводя глаз с горизонта, — пока один сдавал, остальные внимательно следили, не появится ли вдали парус вражеского корабля. Все это походило бы на приятный отдых вблизи Наветренных островов, если бы отсутствие новостей не беспокоило солдат. На берег смотреть было бесполезно. Там ничего не происходило. Только какой-то мальчишка выкапывал съедобные ракушки из песка, несколько собак барахтались по брюхо в воде да целое семейство негров проходило, неся на головах огромные узлы, словно переселялось на новое место... Многие на кораблях уже готовились к худшему, когда на рассвете четвертого дня к борту «Фетиды» пристала лодка, и вестовой вручил приказ, предлагавший флотилии направиться в Пуэнт-а-Питр. Республиканцы одержали победу. После недолгой схватки, завязавшейся сразу при высадке, французы осторожно продвигались вперед, но не встречали ожидаемого сопротивления. Виктор Юг приписывал непрерывное отступление английских отрядов страху, который местные поселенцы-монархисты, защищавшие белый королевский штандарт, испытывали перед дерзкой отвагой бойцов, осененных трехцветными знаменами. Экипажи стоявших в гавани торговых кораблей проявили большую твердость духа и с помощью шестнадцати артиллерийских орудий оказали сопротивление французам в форте Флерд-Эпе. Прошедшей ночью Картье и Руже внезапно пошли на приступ этого форта, который защищали девятьсот человек, и, пустив в ход холодное оружие, овладели им. Кретьен, подававший солдатам пример редкого мужества, пал на поле битвы. Англичане, деморализованные победой противника, отступили и укрепились в области Бас-Тер, за Ривьер-Сале, — этот узкий морской пролив, покрытый вдоль берегов мангровыми зарослями, разделяет Гваделупу на две части. Виктор Юг с полуночи находился в Пуэнт-а-Питре и уже осуществлял власть в городе. Восемьдесят семь брошенных в гавани торговых судов попали в руки французов. Склады ломались от товаров. В порту с минуту на минуту ждали прибытия эскадры... Шлюпки перевозили солдат на берег, а корабли тем временем входили в гавань. Всеобщая радость и глубокое удовлетворение охватили людей. Всюду — от трюма до марса — царило веселое возбуждение: солдаты и матросы куда-то карабкались, бежали, двигали вагу, поднимали паруса, свертывали и разворачивали брезент, убирали все лишнее. Победа! Хорошо! Но, кроме того, вечером можно будет отведать доброго вина и жаркого из свежей баранины, нашпигованной дольками чеснока; да, вина будет вдоволь, будет и говядина с молодой морковью; вино потечет рекой, появится отличный ром и крепкий кофе, от которого на чашках остается налет; а потом, может, появятся женщины — краснокожие и бронзоволицые, белые и чернокожие, те, что щеголяют в туфельках на высоком каблуке и в кружевных юбках; от всех них пахнет духами, туалетной водой, ароматическими притираниями и, главное, — женщиной. На пристанях звучали песни, приветственные клики, гремело «ура» в честь Республики, песням и кликам вторили с кораблей, и под праздничный гул эскадра вошла в порт в тот памятный день прериаля II года Республики; на носу фрегата «Копье» высилась начищенная до блеска и сверкавшая новизной гильотина, освобожденная от брезента для того, чтобы все ее хорошо видели и внимательно разглядели. Виктор Юг и де Лессег обнялись. А затем вместе направились в

старинную резиденцию наместника, — комиссар Конвента разместил там свою канцелярию и подчиненных, — чтобы воздать последние почести Кретьену: покойник лежал в мундире, с перевязью через плечо и в головном уборе с кокардой; черный катафалк был усыпан красными гвоздиками, белыми туберозами и голубыми выюнками...

Эстебану пришлось сразу отправиться в порт, на таможенную. Ему предстояло в тот же день приступить к исполнению своих обязанностей — составлять реестр трофеев, захваченных на вражеских кораблях. В городе повсюду был расклеен декрет об отмене рабства. Патриотов, заключенных в тюрьму богатыми колонистами, которых негры называли «белые начальники», выпустили на свободу. Пестрая и веселая толпа заполнила улицы, приветствуя вновь прибывших. Всеобщее ликование усилилось, когда пришло известие о том, что генерал Дандас, британский губернатор Гваделупы, скончался в Бас-Тере накануне высадки французов. Судьба явно благоприятствовала солдатам Республики. Однако пирушка, на которую рассчитывали моряки в тот вечер, не состоялась: сразу же после полудня капитан де Лессег приступил к работам по укреплению и защите порта, приказав для начала потопить несколько старых кораблей, чтобы преградить вход в гавань, и установить на пристанях пушки, жерла которых смотрели в море... Четыре дня спустя события внезапно приняли дурной оборот. Артиллерийская батарея, расположенная на холме Сен-Жан, по ту сторону Ривьер-Сале, начала планомерный обстрел города. Адмирал Джервис высадил свои войска в Гозье и приступил к осаде Пуэнт-а-Питра. Население охватило ужас; круглые сутки с неба падали снаряды — они обрушивались на город в разных местах, пробивая потолки и перекрытия, разнося вдребезги кровли, так что градом сыпалась красная черепица; отскакивая от каменных стен, от мостовых и тумб, ядра с грохотом катились до тех пор, пока не встречали на своем пути нечто менее устойчивое — колонну, балюстраду или человека, ошеломленного быстротою, с какой несло на него ядро. В городе все время что-то рушилось, и над ним стоял запах известки, штукатурки, пепла и гари, от которого саднило в горле и щипало глаза. Отскочив от прочной каменной стены, ядро крушило деревянные дома; скатываясь по лестнице, оно разбивало в щепы буфет, набитый бутылками, или лавку горшечника, или, влетев в погреб, заканчивало свой зловеющий путь, кроша бочки, либо разрывало на куски тело роженицы. Какой-то снаряд угодил прямо в колокол, и тот рухнул на землю с таким ужасающим грохотом, что медный гул слышали, должно быть, даже вражеские канониры. Все это царство жалюзи, легких ширм, воздушных балконов, ажурных галерей, деревянных стоек, виноградных беседок, устроенное так, чтобы пропускать малейшее дуновение ветерка, служило весьма слабой защитой от разъяренного металла. Каждый выстрел был подобен удару палицы, обрушенному на плетеную клетку, и от попадания снаряда под столом орехового дерева, где искали укрытия обитатели дома, оставалось по несколько трупов. Вскоре распространилась еще одна ужасная новость: на холме Савон англичане установили свою батарею, развели огонь и обстреливали теперь город калеными ядрами. Уцелевшие от обстрела дома загорались. К тучам известковой пыли прибавились дым и пламя. Не успевали потушить один пожар, как в другом месте вспыхивал новый — то загоралась лавка торговца сукнами, то лесопильня, то склад рома. Ром мгновенно вспыхивал и выливался на улицу неторопливым потоком синего пламени, сбегавшего вдоль домов под гору. Многие жилища бедноты были крыты сухими листьями и плетеным волокном, и одно каленое ядро испепеляло чуть не целый квартал. В довершение всего не хватало воды, и с пожарами приходилось

бороться при помощи топора, пилы и мачете. То, чего не уничтожили падавшие с неба снаряды, растаскивали дети, женщины и старики. Снизу, оттуда, где на свалках горели всевозможный хлам и нечистоты, поднимались клубы густого черного дыма, и в полдень злосчастный город внезапно погружался в полумрак. То, что, казалось, невозможно было вынести и часу, длилось дни и ночи напролет: непрерывный грохот рушащихся строений сливался с воплями раненых, треск пламени сплетался с грозным шумом, который производили катившиеся по земле предметы; они ударялись друг о друга и о стены, сотрясая их, точно удары тарана. Чудилось, что бедствия достигли предела, что худшего нельзя себе и представить, а между тем разрушения и жертвы росли с каждым днем. Троекратная попытка заставить замолчать сеющие смерть батареи потерпела неудачу. Скончался генерал Картье, силы которого были подорваны бессонницей, нечеловеческой усталостью и непривычным климатом. Генерал Руже, раненный осколком снаряда, агонизировал в одном из залов здания, превращенного в военный лазарет. Из различных подземелий и тайных укрытий вышли на свет монахи-доминиканцы, они, как призраки, возникали у изголовья страдальцев, поднося им микстуру или отвар. При создавшихся обстоятельствах никто не обращал внимания на их монашеское платье: люди принимали уход и помощь, а затем появлялось и распятие, и священный елей. Это контрабандное проникновение религии шло успешнее всего там, где особенно свирепствовала гангрена, где гноились раны, и не было недостатка в людях, которые, почуяв приближение смерти, срывали с себя кокарду и молили об отпущении грехов...

К бесчисленным невздам прибавились теперь муки жажды. Несколько трупов упало в водоемы, и пользоваться зараженной водой было нельзя. Солдаты кипятили морскую воду и приготавливали солоноватый кофе, в который они клали очень много сахара, сдабривая напиток спиртным. Водовозы, обычно доставлявшие в город воду в бочках, которые грузили в лодки или на двуколки, не могли попасть к близлежащим речушкам из-за артиллерийского обстрела. Улицы кишели большими крысами, они шныряли среди обломков, проникая всюду; на город обрушилось еще одно бедствие — из ветхих деревянных домов, превращенных в руины, выползали серые скорпионы, вонзая смертоносные жала во всякого, кто оказывался рядом. От многих кораблей в гавани остались только плавучие остовы из обгорелых досок. Смертельно раненная «Фетида» накренилась, мачты ее рухнули, а корпус походил на призрачный скелет. На двадцатый день осады началась эпидемия кишечных заболеваний. Смерть уносила людей в несколько часов, могло показаться, будто жизнь уходит из них вместе с извергающейся пищей. Хоронить покойников подобающим образом не было возможности, и трупы закапывали где придется: у подножия дерева, в какой-либо яме, возле отхожих мест. Несколько ядер упало на старое кладбище, кости из взрытых могил были выброшены на поверхность земли и валялись среди пробитых надгробных плит и вывороченных из почвы крестов. Виктор Юг вместе с последними еще оставшимися в живых старшими офицерами во главе отборных отрядов удерживал холм Губернатора, — эта возвышенность господствовала над городом, на ней стояла каменная церковь, обнесенная прочной оградой... Эстебан, подавленный и ошеломленный, неспособный думать ни о чем, кроме грозных бедствий, продолжавшихся уже почти месяц, проводил дни и ночи в наспех устроенном им самим укрытии — в своеобразной траншее, которую он проложил в груде мешков с сахаром, занимавших большую часть портового склада, где бомбардировка настигла его за описью товаров. Возле Эстебана, по его примеру, отец и сын Лёйе проделали в

груде мешков углубление побольше и перетащили туда часть оборудования типографии, в первую очередь ящики со шрифтом, который в здешних местах раздобыть было бы почти невозможно. Добровольные узники не страдали от жажды, так как неподалеку нашлось несколько бочек вина, и они осушали целые кувшины этой тепловатой влаги, когда им хотелось немного освежиться, умерить страх или просто выпить: вино с каждым днем становилось все более терпким и запекалось на губах темно-лиловой корочкой. Старик Лёйе, чей отец был камизаром²¹⁷, в эти трудные дни, не таясь, читал захваченную из дому Библию, которую он прежде прятал в ящике с бумагой. Когда снаряды падали по соседству, старик, осмелевший от выпитого вина, выкрикивал из глубины своей пещеры какой-нибудь стих Апокалипсиса. И фразы, которые в пророческом бреду начертала рука Иоанна Богослова, удивительным образом перекликались с тем, что происходило вокруг: «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».

— Неслыханные деяния нечестивцев, — со стоном восклицал типограф, — привели к концу света.

Батареи адмирала Джервиса отождествлялись в его представлении с яростным гневом могучих древних богов.

XIX

Однажды утром вражеские батареи замолкли. Люди расправили плечи; лошади перестали прядать ушами; то, что неподвижно лежало на земле, так и осталось в неподвижности, но уже больше не подскакивало от взрывов. Стало слышно, как плещется вода в гавани, и звон стекла, разбитого на сей раз мальчишкой, напугал людей, которые отвыкли от столь слабых звуков. Оставшиеся в живых выползли на свет божий из своих нор, пещер, зловонных укрытий, они были перемазаны копотью, грязью, нечистотами, их раны и язвы были кое-как перевязаны заскорузлыми бинтами. И вскоре все узнали, что произошло почти чудо: позапрошлой ночью Виктор Юг, которому сообщили, что англичане уничтожили французские передовые посты и начали просачиваться в город, спустился со своими отрядами с холма Губернатора и с такой отчаянной яростью ударил по врагу, что британские части были сначала оттеснены, а затем обращены в бегство; им пришлось вновь перейти Ривьер-Сале и остановиться в укрепленном лагере Бервиль, возле города Бас-Тер. После этой победы в руках французов оказалась половина острова... В полдень на улицах появились первые водоносы, и на них буквально набросилась толпа людей в лохмотьях, вооруженная котелками, ведрами, тазами, чанами. Люди пили прямо из бочек, рядом с домашними животными, которые отталкивали их мордами, пили, до ушей погружая лицо в воду, захлебывались, лакали воду и извергали ее обратно, так как слишком жадно заглатывали, воровали друг у друга кувшины, — словом, стоял такой шум и суматоха, что некоторых приходилось даже умирать прикладами. Утолив жажду, солдаты и местные жители принялись расчищать главные улицы, вытаскивать из-под обломков трупы. Время от времени вражеский снаряд еще падал на город, убивая

²¹⁷ Камизары (буквально: «сермяжники», «рубашечники») — участники крестьянского восстания, которое в 1702–1704 гг. охватило часть провинции Лангедок на юге Франции. Очагом восстания были Севеннские горы, где последнее сопротивление камизаров было подавлено в 1715 г.

прохожего, разрушая оконную решетку, разбивая скульптурное украшение. Но после страданий, пережитых за эти четыре ужасные недели, никто не обращал внимания на такие пустяки. Стало известно, что генерал Обер, последний из числа старших офицеров экспедиционного корпуса, умирает от желтой лихорадки. Таким образом, Виктор Юг становился единственным властелином доброй половины Гваделупы. Призвав отца и сына Лёйе в свой кабинет, где оконные стекла вылетели из рам, а обгоревшие занавеси свисали, как траурные полотнища, он продиктовал им текст приказа, который надлежало немедленно размножить: этим приказом в городе вводилось осадное положение и создавалось ополчение в две тысячи человек, которых следовало набрать среди цветного населения, способного носить оружие. Кроме того, объявлялось, что всякий, кто станет распространять ложные слухи, или выкажет себя врагом свободы, или попытается перейти в Бас-Тер, будет казнен по приговору военно-полевого суда; истинных патриотов призывали сообщать властям о каждом изменнике. Особым декретом капитан Пеларди был произведен в дивизионные генералы и назначен главнокомандующим французских вооруженных сил, размещенных на острове, а майор Будэ получил чин бригадного генерала, ему было поручено обучать и муштровать отряды, набранные из местных жителей... Эстебан дивился той энергии, какую выказывал комиссар Конвента со дня высадки на Гваделупе. Виктор Юг был прирожденным военачальником, и к дару командовать присоединялось его необыкновенное везение. Как нельзя более кстати для него оказалась гибель Кретьена, Картье, Руже и Обера, умерших один за другим. Смерть унесла всех тех, кто в какой-то мере мог противостоять ему. Отныне напряженность, то и дело возникавшая прежде между военным командованием и гражданской властью, перестала существовать. Юг, которому не раз приходилось вступать в резкие споры с генералами экспедиционного корпуса, которые кичились своим чином, расшитыми мундирами, военным опытом и былыми победами, теперь опирался на двух преданных помощников, и они, помимо всего прочего, знали, что от него зависит, утвердит Конвент их новое назначение или нет...

В ту ночь вино в городе лилось рекой, и солдаты, у которых сохранилось достаточно сил, спешили вознаградить себя за долгое воздержание. Комиссар Конвента был весел, остроумен, разговорчив, он был душой офицерской пирушки, на которой присутствовали Эстебан и оба типографа. Прислуживавшие за столом мулатки разносили на подносах пунш и ром, при этом они не сердились, когда их невзначай обнимали за талию, щипали или даже забирались под юбку. Между тостами Виктор Юг объявил, что холм Губернатора будет переименован в холм Победы, а площадь Сартин, откуда так хорошо было любоваться гаванью, станет отныне именоваться площадью Победы.

Что касается Пуэнт-а-Питра, то было решено, что в будущем он получит название «Порт Свободы». («Его по-прежнему будут называть Пуэнт-а-Питр, — подумал Эстебан. — Точно так же, как Шовен-Драгон останется для всех Сен-Жан-де-Люз».) Во время десерта — а к нему приступили уже на рассвете — Эстебан вместе с другими услышал из уст служанки, которую попросили спеть, меланхоличные куплеты, сочиненные маркизом де Буйе, двоюродным братом Лафайета.

В ранней молодости маркиз был губернатором Гваделупы; отозванный во Францию двадцать четыре года назад, он, покидая остров, написал на местном диалекте грустную песенку, и ее с тех пор пели все здешние жители:

Прощай, фуляр, прощай, Мадрас,
Прощай, колье, прощай, браслет, —
Уехал милый мой дружок,
Ему, увы, возврата нет.

День добрый, сударь! Я с мольбой
Пришла к вам, голову склоня:
Верните милого домой,
Пускай он радуется меня.

Мне, барышня, вас очень жаль,
Но не могу его вернуть:
Корабль уже уходит вдаль,
На родину он держит путь.

Эстебан, захмелевший от выпитого пунша, поднялся со своего места: ему не давало покоя навязчивое желание во что бы то ни стало произнести тост в честь «милрой девицы» со столь приятным голосом; однако при этом он настаивал, что обращение «сударь» и «барышня» должно быть выброшено из песни, ибо оно не отвечает демократическому духу, вместо него следует петь: «гражданин губернатор» и «гражданка». Виктор Юг бросил на юношу хмурый взгляд и жестом оборвал рукоплескания, которыми было встречено это проникнутое республиканским пылом предложение. Теперь уже все приглашенные запели хором новую песенку Франсуа Жируэ «J'ai tout perdu et je m'en fous»²¹⁸, которая как нельзя больше перекликалась с только что одержанной победой:

На стол мне прежде подавали
Цыплят и жирных каплунов,
Хлеб был вкуснее пирогов,
Хлеб был вкуснее пирогов.

Теперь война, и я пощусь,
Пайком солдатским обхожусь.
И все же громко мы поем:
«Георг, Британии тиран,
Позор вкушает, мы ж, друзья,
Напиток славы пьем!»

Когда рассвело, обнаружилось, что все спят в креслах вокруг стола, на котором виднелись недопитые бокалы, подносы с фруктами и остатки жаркого; один только комиссар Конвента, стоя в своей комнате перед раскрытым окном, уже энергично растирался губкой, беседуя с цирюльником, точившим бритву.... Но вот заиграли зорю, и к восьми часам утра под дробный перестук молотков площадь Сартин, — впрочем, теперь уже бывшая площадь Сартин, — украсилась праздничными шестами, флажками, гирляндами, аллегорическими изображениями; оркестр пиренейских

²¹⁸ «Все потерял я, но плевать» (франц.).

стрелков в парадной форме без перерыва исполнял революционные марши — звенела медь, и грохотали барабаны. Плотники соорудили помост, откуда представители властей должны были руководить торжественной гражданской церемонией, возвещенной глашатаями. Заслышав необычный утренний концерт, люди покидали полуразрушенные дома и толпами стекались на площадь. Эстебан возвратился в портовую таможню, где стояло его ложе, он пытался унять сильную головную боль укусами компрессами и ложками глотал ревеня, чтобы успокоить печень; он даже вздремнул часок в ожидании торжественной церемонии, которая — он недаром прожил некоторое время в Париже и потому знал это — непременно начнется с опозданием. Было часов десять, когда юноша пришел на площадь, уже запруженную шумной и живописной толпой, словно забывшей о недавних бедствиях. На помосте появились представители гражданских и военных властей во главе с Виктором Югом, генералами Пеларди и Будэ и командующим флотилией де Лессегом. Люди теснились, желая получше разглядеть новых властителей, которых они впервые видели в парадном одеянии, и на площади воцарилась тишина, — ее нарушали только голуби, хлопавшие крыльями в соседнем дворе. Медленно обведя взглядом собравшихся, комиссар Конвента начал речь. Он поздравил вчерашних рабов с тем, что они стали отныне свободными гражданами. С похвалой отозвался о мужестве, которое население города выказало в дни ужасных бомбардировок, воздал должное доблести павших и закончил вступительную часть своей речи взволнованным надгробным словом, посвященным памяти Кретьена, Картье, Руже и Обера, который скончался в военном лазарете за полчаса до начала празднества, — при этом Юг гневным жестом указал на здание лазарета, как бы угрожая смерти, истребляющей лучших из лучших. Затем Виктор произнес несколько слов о Христофоре Колумбе, который во время своего третьего путешествия в Америку открыл этот остров, населенный простодушными и счастливыми людьми, жившими здоровой жизнью, какая и должна быть естественным состоянием человеческих существ; Колумб назвал остров по имени своего корабля. Но одновременно с первооткрывателем сюда прибыли христианские священники, проповедники фанатизма и мракобесия, которое точно проклятие тяготеет над миром с тех пор, как апостол Павел распространил ложное учение иудейского пророка Иисуса, сына римского legionera по имени Пантер: ведь все, что касается Иосифа и яслей, — чистая легенда, опровергнутая философами. Указав рукой на холм Губернатора, комиссар объявил, что находящаяся на нем церковь будет снесена, дабы уничтожить всякий след идолопоклонства, а священники, которые, по его сведениям, еще прячутся в окрестностях Ле-Муль и Сент-Анн, должны будут принести присягу на верность Конституции...

Эстебан, внимательно следивший за красноречивыми жестами смазливой мулатки, головной платок которой был завязан тремя замысловатыми узлами, означавшими: «и для тебя в моем сердце найдется местечко», — этот своеобразный язык был понятен каждому жителю острова, — весь ушел в созерцание выразительных ужимок молодой женщины, то поднося палец к браслетам, то поводя плечами, отчего приходила в движение ее призывно темневшая спина, и рассеянно прислушивался к речи Юга, который в эту минуту объявлял о переименовании площади Сартин в площадь Победы. Громкий металлический голос Виктора доходил до него как бы порывами, особенно когда оратор повышал тон, желая подчеркнуть важный вывод, определение свободы или какое-либо классическое изречение. Речь Виктора, бесспорно, отличалась красноречием и силой. Но она мало гармонировала с

настроением собравшихся на площади мужчин и женщин: они пришли сюда как на празднество, им хотелось развлечься, потолкаться среди людей, и временами они переставали улавливать мысль оратора, потому что язык Виктора — благодаря южному акценту, который он ко всему еще подчеркивал, словно гордился им, как дворянским гербом, — сильно отличался от сочного диалекта жителей острова. Но вот комиссар подошел к концу своей речи: он обрушился на Вест-Индскую компанию и «белых начальников» с Гваделупы и объявил, что борьба еще не окончена, что необходимо сокрушить англичан, засевших в Бас-Тере, и что скоро он начнет решительное наступление, — оно принесет мир стране, навсегда освобожденной от рабства. Юг говорил ясно, взвешивая каждое слово и не злоупотребляя ораторскими приемами; собравшиеся уже встретили рукоплесканиями заключительную фразу комиссара Конвента, увенчанную выдержкой из Тацита, но в эту минуту де Лессег заметил, что какое-то судно вошло в гавань и направилось к ближайшему причалу. Впрочем, жалкий вид корабля не внушал никакой тревоги: то было ветхое двухмачтовое суденышко, потрепанное, облезлое и грязное, с парусами из кое-как сшитой мешковины; оно походило на призрачный корабль из рассказов о кораблекрушениях. Суденышко пристало к берегу, и в толпе тотчас же возникла суматоха: к помосту, где стоял комиссар Конвента, приближались люди с изуродованными руками и ушами, беззубые, хромые; кожа у них серебрилась от шелушащихся волдырей. Это были прокаженные с острова Дезирад, они пожелали принести присягу на верность Республике. Виктор Юг торжественно назвал их «больными гражданами», вручил им трехцветную перевязь и заверил, что вскоре посетит остров прокаженных, дабы узнать нужды больных и облегчить их страдания. После этого неожиданного происшествия, которое еще больше упрочило зарождающуюся популярность комиссара Конвента, Виктор, провожаемый приветственными возгласами и рукоплесканиями, которые заставляли его несколько раз возвращаться на помост, удалился в свою канцелярию в сопровождении генералов и старших офицеров. В безоблачном небе внезапно появилось ядро, выпущенное вражеской батареей, оно пронеслось над толпой и, никому не причинив вреда, врезалось в воду бухты. Над городом все еще плавал запах тления. Однако к вечеру зацвели лимонные деревья. И это было Возрождением дерева после долгой Тризны Мрака.

XX

Необычайная преданность.

Гойя

Хотя Виктор Юг объявил о скором наступлении на Бас-Тер, он долго не решался начать его. Возможно, комиссара Конвента останавливал недостаток живой силы и боевых припасов; он боялся, что ополчение, набранное из цветных жителей острова, пока еще плохо обучено, и с явным нетерпением ожидал прибытия подкреплений из Франции, о чем он просил уже тогда, когда только началась осада Пуэнт-а-Питра. Прошло еще несколько недель, и временами вражеская артиллерия вновь вела яростный обстрел города. Однако после пережитых испытаний люди относились к этому как к проходящей неприятности и находили некоторое утешение в том, что пренебрежительно пожимали плечами, бранились или яростно потрясали кулаками над головой. Из предосторожности гильотину все еще держали в запертом на ключ помещении, она была полностью собрана, смазана маслом и терпеливо ожидала часа,

когда господин Ане, бывший палач трибунала в Рошфоре — мулат с изысканными манерами, получивший воспитание в Париже, хороший скрипач, всегда носивший в карманах конфеты, которыми он любил угощать детей, — пустит в ход надежный механизм, придуманный неким торговцем клавирами. Комиссар Конвента хорошо знал, как дорого обошлось Франции слишком поспешное применение грозной машины в занятых войсками Республики пограничных областях. Он вовсе не хотел, чтобы Гваделупа превратилась для него в своего рода маленькую Бельгию. К тому же не поступало никаких жалоб от жителей, приученных всем ходом нелегкой истории их острова безропотно подчиняться очередному властителю. Пока что Виктор Юг опирался на поддержку множества людей, освобожденных от рабства; они не переставали радоваться своим новым гражданским правам, но это ликование вскоре опять поставило перед ним проблему управления: убедившись, что уже нет больше хозяина, которому надо подчиняться, бывшие рабы всячески уклонялись от обработки полей. Прежде плодородные земли теперь густо поросли сорной травой, но у властей пока что рука не поднималась строго наказывать тех, кто под самыми патриотическими предлогами отказывался гнуть спину на пашне; борозды, некогда проложенные плугом, зарастали, и на полях буйно цвели вовсе бесполезные кустарники и бурьян, — ведь солнце щедро лило свет и тепло на все растения, не разбираясь в том, какие из них нужны людям... Тем временем в Пуэнт-а-Питр пришло судно «Байоннеза» с грузом оружия и боевых припасов; на нем прибыл также небольшой отряд пехотинцев, насчитывавший гораздо меньше штыков, чем просило командование экспедиционного корпуса. Конвент испытывал нужду в солдатах и не мог распылять силы, посылая крупные отряды для защиты далекой колонии. Эстебан, неожиданно приглашенный в кабинет Виктора Юга для получения новых корректур, заметил, что комиссар погружен в чтение газет, — он всегда ожидал их почти с таким же нетерпением, как официальные депеши: в парижской прессе его имя время от времени упоминалось. Перелистывая газеты, которые Виктор уже просмотрел, Эстебан с крайним изумлением узнал, что установлен праздник в честь Верховного существа; молодой человек уже и вовсе пришел в замешательство, когда прочел об осуждении безбожия: оно теперь рассматривалось как нечто безнравственное, а стало быть, присущее аристократам и противникам революции. Атеистов внезапно стали считать врагами Республики. Народ Франции признавал отныне учение о Верховном существе и бессмертии души. Неподкупный заявил, что если даже вера в существование бога и в бессмертие души — всего лишь плод фантазии, то эту фантазию следует считать самым прекрасным созданием человеческого разума. Отныне людей, не верящих в бога, именовали «жалкими уродами»... Эстебан так искренне расхохотался, что Виктор Юг, нахмутив брови, посмотрел на него поверх газетных страниц.

— Что ты там нашел забавного? — спросил он.

— Стоило ли отдавать приказ о разрушении церкви на холме Губернатора, если нам предстояло узнать такие вещи, — ответил Эстебан, к которому вот уже несколько дней как вернулось хорошее расположение духа, свойственное его соотечественникам.

Очувтившись среди привычной природы, вдыхая знакомые запахи моря, лакомясь любимыми плодами, любуясь тропическими деревьями, юноша постепенно вновь становился самим собой.

— По-моему, все это правильно, — сказал Виктор, уклоняясь от прямого ответа. — Такой человек, как Он, не может ошибаться. Если уж Он посчитал нужным поступить

так, значит, это надо было сделать.

— А теперь его за это восхваляют, исполняя в его честь «Te Deum», «Laude», «Magnificat»²¹⁹, — заметил Эстебан.

— Ну что ж, он вполне заслужил, чтобы его боготворили, — отрезал Виктор.

— Вот только я никак не пойму разницу между Иеговой, Великим зодчим и Верховным существом, — настаивал Эстебан.

И молодой человек напомнил комиссару, что тот в прошлом гордился своим неверием и саркастически отзывался о «ритуальных маскарадах» масонов. Однако Виктор не слушал его.

— В ваших ложах было слишком много от иудейства. Что же касается католического бога, чьим именем монахи благословляли самые мрачные деяния инквизиции и тиранов, то нет ничего общего между ним и Верховным существом, бесконечным и вечным, которое надо почитать разумно и достойно, как и подобает свободным людям. Мы обращаемся не к богу Торквемады, а к богу философов.

Эстебан пришел в замешательство, наблюдая невероятное раболепие этого человека с сильным и независимым умом, но до такой степени поглощенного политикой, что он отказывался критически рассматривать происходящие события, не желал видеть самые явные противоречия; Юг был фанатически — да, именно фанатически — предан человеку, который облек его властью.

— А что, если завтра вновь откроют церкви, перестанут именовать епископов двуногими чудищами в митрах и на парижских улицах опять появятся процессии с изображениями святых и богородицы? — спросил юноша.

— Я скажу, что, без сомнения, имелись веские доводы так поступить.

— Но ты... Сам-то ты веришь в бога? — выкрикнул Эстебан, рассчитывая смутить этим вопросом Виктора.

— Это касается меня одного и не может поколебать мою преданность революции, — ответил Юг.

— Для тебя революция непогрешима?

— Революция... — медленно начал Виктор, устремив взгляд на гавань, где поднимали накренившуюся набок «Фетиду». — Революция наполнила смыслом мое существование. Мне отведена определенная роль в великих деяниях нашей эпохи. И я постараюсь свершить все, на что способен.

Наступила пауза, и теперь стали отчетливо слышны громкие возгласы моряков, которые дружно тянули канат.

— И ты введешь здесь культ Верховного существа? — спросил Эстебан, которому всякая попытка возродить религию казалась немислимым отступничеством.

— Нет, — ответил, немного поколебавшись, комиссар Конвента. — Ведь еще не закончили разрушать церковь на холме Губернатора. Поэтому такой шаг был бы несвоевременным. Торопиться не следует. Если я сейчас заговорю о Верховном существе, местные жители вновь будут представлять его распятым на кресте, в терновом венце и с отверстой раной в боку, а это ни к чему хорошему не приведет. Ведь мы не на Марсовом поле, мы совсем в других широтах.

Эстебан испытал некоторое злорадство, услышав из уст Виктора Юга слова, которые мог бы произнести, скажем, Мартинес де Бальестерос. Между тем многие испанцы подверглись там преследованиям и были даже гильотинированы только

²¹⁹ «Тебя, бога, хвалим», «Славься», «Величит душа моя господа» (лат.) — начальные слова католических молитв.

потому, что утверждали: нельзя в странах, где сильны давние традиции, применять методы, предлагаемые Парижем. «Не следует приходить в Испанию с проповедью безбожия», — предупреждали они. По их мнению, какая-нибудь мадемуазель Обри, наряженная богиней Разума, не могла бы выставлять в кафедральном соборе Сарагосы на всеобщее обозрение свою красивую грудь, как это было в соборе Парижской богородицы (кстати сказать, вскоре после того собор в столице Франции был пущен с торгов, но никто не решился приобрести в личное пользование это готическое здание, монументальное, но малогостеприимное)...

— Какие неслыханные противоречия! — пробормотал Эстебан. — Нет, не о такой революции я мечтал.

— А зачем было мечтать о том, чего не существует? — спросил Виктор. — И потом, все это пустые слова. Англичане еще в Бас-Тере, только это одно должно нас сейчас заботить. — И он резко прибавил: — О революции не рассуждают, *ее делают*.

— Подумать только, — заметил Эстебан. — Ведь алтарь на холме Губернатора уцелел бы, если б почта из Парижа прибыла к нам немного раньше. Задувай над Атлантикой попутный ветер, и господь бог остался бы в своем доме. От какой малости зависит порою ход событий!

— Ступай и займись делом, — сказал Юг, опуская тяжелую руку на плечо юноши и подталкивая его к выходу.

Дверь кабинета захлопнулась с таким стуком, что певунья-служанка, до блеска полировавшая перила лестницы, спросила с ехидным смешком:

— Monsieur Victor fâchė?220

И Эстебан прошел через столовую, провожаемый хихиканьем и перешептыванием служанок.

Печатный станок Лёйе работал безостановочно; типографы печатали воззвания, обращенные к французским земледельцам с соседних островов: комиссар обещал поселенцам должности и земли, если они признают власть революционного правительства. Листовки делали свое дело, и ряды сторонников Республики росли, но проходила неделя за неделей, а французские войска все еще не решались переправиться через Ривьер-Сале. До конца сентября положение оставалось неизменным; но тут комиссар Конвента узнал, что желтая лихорадка опустошает ряды английских войск и что генерал Грей, опасаясь циклонов, которые в эту пору года обрушиваются на Наветренные острова, увел большую часть своей эскадры в Фор-Руайяль на острове Мартиника, так как в этой гавани легче укрыться от урагана. Долго думали, как лучше воспользоваться этим обстоятельством. Наконец было решено разделить французские войска на три колонны под командованием де Лессега, Пеларди и Будэ; колонны эти попытаются одновременно с трех сторон проникнуть в область Бас-Тер. Были конфискованы все челноки, лодки, даже каюки и пироги индейцев, и однажды ночью наступление началось. Два дня спустя французы уже были хозяевами городов Ламантен и Пти-Бур. А на заре 6 октября началась осада укрепленного лагеря в Бервиле... В Пуэнт-а-Питре все жили в тревожном ожидании. Некоторые полагали, что осада затянется надолго, так как у англичан было достаточно времени, чтобы хорошо укрепить свои позиции. Другие утверждали, что генерал Грэм обескуражен, видя, как быстро упрочилось республиканское правительство в Гранд-Тере: жители города, казалось, насмеялись над ядрами, которые в бессильной

ярости посылали в их сторону батареи, расположенные на холме Савон... В эти дни Эстебан часто виделся с Ансом, стражем гильотины и палачом, который устроил у себя в доме своего рода кунсткамеру: мулат собирал морские веера, обломки минералов, чучела луна-рыб, корни, напоминавшие своею формой животных, и ярко-красные морские раковины. Нередко они вдвоем отдыхали в красивой бухте Гозье, любуясь расположенным там островком, который сверкал под лучами солнца, словно сердце из халцедона. Зарыв в песок несколько бутылок вина, чтобы они немного охладились, Анс доставал из футляра свою старенькую скрипку и, повернувшись спиной к морю, исполнял прелестную пастораль Филидора, обогащая ее собственными вариациями. Он был незаменимый спутник для прогулок, всегда готовый прийти в восторг при виде куска серы необычной формы, редкостной бабочки или попадавшегося на пути незнакомого цветка. В полдень 6 октября Анс получил приказ погрузить гильотину на повозку и немедленно отправиться в сторону Бервиля. Крепость была занята французами. Виктор Юг, не приступая к атаке, предложил генералу Грэму сложить оружие не позднее чем через четыре часа. И когда по истечении этого срока комиссар Конвента вступил в укрепленный лагерь, где в беспорядке валялись различные предметы, брошенные при поспешном отступлении, он обнаружил там тысячу двести английских солдат, не знавших ни слова по-английски: уходя, генерал Грэм взял с собой только два десятка колонистов, сражавшихся за дело монархии, — тех, кто был ему хорошо знаком; остальных же бросил на произвол судьбы. Подавленные чудовищным вероломством человека, который ими командовал, французы, перешедшие под британские знамена, держались маленькими группами и даже не успели переодеться в штатское.

— Это нечто невыносимое, — заявил Анс перед отъездом, делая неопределенный жест в сторону повозки, на которой стояла грозная машина, укрытая брезентом.

Дул влажный ветер, а над островом Мари-Галант уже шел сильный дождь — над землей нависли грозные тучи, и из светло-зеленого, каким он обычно представлялся взору, остров внезапно стал свинцово-серым...

— Это нечто невыносимое, — повторил Анс, возвратившись на следующий день в Пуэнт-а-Питр.

Палач вымок и дрожал от холода, хотя и старался согреться ромом во всех придорожных трактирах. Вот почему он слегка захмелел и принялся объяснять Эстебану, что гильотина не приспособлена для массовых казней. Ее работа рассчитана на определенный ритм с четкими перерывами во времени, и он, Анс, не понимает, как это комиссар, превосходный знаток грозной машины, пожелал, чтобы восемьсот шестьдесят пять человек, приговоренных к смерти, один за другим легли под нож гильотины. Было сделано все, что только в силах человеческих, дабы ускорить процедуру. Однако к полуночи только тридцать осужденных понесли кару за свою измену.

«Довольно!» — крикнул комиссар Конвента.

И остальные пленники были расстреляны группами по десять — двадцать человек; а повозка с гильотиной возвратилась в Пуэнт-а-Питр, избегая дорожных рытвин. Что касается горстки английских солдат, окруженных в Бервиле, то Юг выказал милосердие и разрешил им присоединиться к разбитому британскому войску, предварительно разоружив их. Обратившись к молодому капитану-англичанину, который замешкался и не сразу ушел, Виктор сказал:

— Я должен находиться тут. Но ты... Кто заставляет тебя смотреть, как течет

французская кровь, которую я вынужден проливать?

Эра «белых начальников» на Гваделупе окончилась. Сообщение о том было обнародовано под оглушительный барабанный бой.

— Это нечто немыслимое, — вновь повторил Анс, расстроенный тем, как бесславно началась его деятельность. — Их было восемьсот шестьдесят пять человек. Каторжный труд!

Эстебан слушал его рассказ с рассеянным видом, как слушают рассказ об извержении вулкана, которое произошло где-то очень далеко. Бервиль был для юноши просто названием незнакомого города. Он никогда не видел ни одного из тех, кто был там казнен, и потому известие о гибели восьмисот шестидесяти пяти человек не произвело на него должного впечатления.

XXI

В Бас-Тере все еще оставалось несколько очагов сопротивления. Однако воля к борьбе у сторонников монархии, преданных генералом Грэмом, все больше слабела, и как только им удавалось раздобыть какое-нибудь рыбацье суденышко, они тотчас бежали на соседний остров. После падения Фор-Сен-Шарля военная кампания была практически окончена. Острова Дезирад и Мари-Галант, — их губернатор, перешедший на службу Англии, предпочел, не вступая в сражение, покончить самоубийством, — также оказались в руках французов. Виктор Юг был теперь полным хозяином Гваделупы и мог объявить жителям, что отныне они будут трудиться в мире. Желая подкрепить свои слова символическим жестом, он посадил несколько деревьев — в будущем их зелень должна была осенять площадь Победы. Тогда-то и произошло событие, которого все уже давно ожидали с тревожным любопытством: в городе, на глазах у жителей, начала действовать гильотина. В день первой публичной казни, когда решено было обезглавить двух священников-монархистов, прятавших на ферме ружья и боевые припасы, весь город устремился на площадь, где уже воздвигли прочный помост с боковой лестницей, как в Париже; он покоился на четырех столбах из крепкого кедра. К этому времени республиканские моды уже проникли в эту французскую колонию, и потому многие мулаты щеголяли в коротких синих куртках и белых панталонах в красную полосу, а мулатки выставляли напоказ новехонькие головные платки, выдержанные в тех же тонах. Никогда еще город не видел такой шумной, веселой толпы; в безоблачном небе этим солнечным утром колыхались на ветру трехцветные знамена, и цвета их повторялись в одежде людей. Юные служанки высывались из окон канцелярии комиссара, что-то кричали и смеялись, когда нетерпеливая рука какого-нибудь офицера скользила вверх по их ногам. Мальчишки усеяли кровли домов, чтобы лучше видеть происходящее. На жаровнях дымилось мясо, в больших глиняных кувшинах пенился ананасный сок, а душистый ром, которым заблаговременно подкрепились зрители, усиливал возбуждение толпы. И все же когда на эшафоте появился Анс в парадной одежде, гладко выбритый и необыкновенно торжественный, воцарилась гробовая тишина. В отличие от Кап-Франсэ, где с некоторых пор существовал превосходный театр, в котором драматические труппы, направлявшиеся в Новый Орлеан, показывали новые пьесы, Пуэнт-а-Питр не был избалован зрелищами. Тут не только не ставили пьес, но жители никогда даже не видали сцены, открытой для публики. И потому в тот день люди впервые поняли, что такое трагедия. Рок присутствовал здесь, вместе с безжалостным

и неотвратимым лезвием он нависал над теми, кто злонамеренно поднял оружие против своего города, против своего отечества. А роль античного хора исполняли зрители, слова их, как строфы и антистрофы, разносились гулким эхом над деревянным помостом. Внезапно появился глашатай, стражники расступились, и на запруженную народом площадь въехала повозка, в которой сидели двое осужденных: их запястья были перехвачены веревкой, а пальцами оба перебирали одни и те же четки...

Послышалась торжественная дробь барабанов; под тяжестью тучного тела рычаг гильотины пришел в движение, нож упал вниз, — толпа ахнула. Несколько минут спустя казнь двух приговоренных совершилась, все было кончено... Но люди не расходились, казалось, они были изумлены тем, что трагическое действие продолжалось так недолго, — только дымящаяся кровь все еще сочилась сквозь щели помоста. И вдруг многие из зрителей, видимо желая освободиться от ужаса, овладевшего ими, ощутили потребность в бурном веселье, — ведь день как-никак выдался праздничный и можно было не работать. Каждому хотелось похвастаться своим новым нарядом. И потом, надо было сделать нечто такое, что утвердило бы торжество жизни над смертью. А так как некоторые танцы лучше всего позволяли блеснуть туалетом — показать, например, как переливаются шелковые фалды карманьолы²²¹, то многие начали старательно выделять фигуры контрданса, выступать вперед и отступать целыми шеренгами, менять партнерш, делать реверансы, кланяться и распрямляться, не обращая никакого внимания на добровольных распорядителей, которые тщетно пытались навести хоть какой-нибудь порядок. Шум все усиливался, и в конце концов желание поплясать, попрыгать, посмеяться и покричать сделалось столь неодолимым, что люди образовали огромный хоровод и, тут же разбившись на цепочки, стали танцевать фарандолу: потоптавшись вокруг гильотины, они устремились затем в соседние улицы, и до самого вечера людские волны то вновь набегали на площадь, то откатывались от нее, заполняя дворы и сады...

С этого дня на острове воцарился грозный террор. Гильотина безостановочно действовала на площади Победы, и смертоносный нож опускался все быстрее и быстрее. В городе жители знали друг друга в лицо, а многие были знакомы между собою, поэтому любопытство приводило на публичные казни множество людей — тот испытывал злобу к осужденному, другой не мог забыть перенесенного в прошлом унижения... И ужасная машина мало-помалу стала средоточием жизни в Пуэнт-а-Питре. Рыночные торговцы перебрались на эту красивую площадь вблизи гавани, перенесли сюда свои прилавки и жаровни, ларьки и просто лотки с навесами от солнца; и теперь во всякое время дня — в промежутках между казнями, когда скатывалась с плеч голова какого-нибудь человека, которого еще накануне все уважали и перед которым заискивали, — они предлагали покупателям горячие лепешки и стручки перца, корицу и слоеные пироги, ананасы и свежую рыбу. А так как место это оказалось очень удобным для торговли, то оно превратилось в толкучку, где бойко распродавали различную рухлядь и брошенные в спешке вещи: здесь, как на аукционе, можно было купить оконную решетку, заводную птицу, тарелки из китайского сервиза. Тут меняли конскую сбрую на котлы, игральные карты — на дрова, дорогие часы — на жемчуг с острова Маргарита. За один день прилавков

²²¹ Карманьола — здесь: короткая куртка, неизменная одежда санкюлотов в первые годы Французской революции.

зеленщика или лоток мелочного торговца превращался в антикварную лавку. Чего там только не было! Кухонная утварь, соусницы с гербами, серебряные столовые приборы соседствовали с шахматами, коврами и миниатюрами. Эшафот превратился в некую ось уличного банка, торжища, постоянного аукциона. Вокруг торговали, бранились, громко спорили, а казни между тем шли своим чередом. Гильотина постепенно стала чем-то привычным, обыденным. Рядом с пучками петрушки и душицы продавали игрушечные гильотины крохотного размера, и многие украшали ими свои жилища. Изобретательные мальчишки сооружали миниатюрные машины и обезглавливали кошек. Смазливая мулатка, пользовавшаяся особым расположением одного из лейтенантов де Лессега, подносила своим гостям напитки в деревянных фляжках в форме человеческого тела: их клали на подставку, а маленькая заводная фигурка палача опускала крохотный нож, — пробки, на каждой из которых были искусно изображены веселые физиономии, при этом отскакивали. Множество новшеств и развлечений вошли в эти дни в прежде сонную и провинциальную жизнь острова... Постепенно стали замечать, что террор неуклонно спускался по ступеням социальной лестницы и теперь уже косил людей из низов. Узнав, что многие негры в области Абисс отказываются обрабатывать земли, конфискованные у монархистов, и ссылаются при этом на то, что они, дескать, люди свободные, Виктор Юг приказал схватить главных зачинщиков и казнить их. Надо сказать, Эстебан с некоторым удивлением заметил, что комиссар Конвента, который так превозносил великое значение декрета от 16 плювиоза II года Республики, не выказывал особой симпатии к неграм.

— Хватит с них того, что мы рассматриваем их как французских граждан, — обычно повторял он резким тоном.

Виктор не чужд был расовых предрассудков, что объяснялось его долгим пребыванием в Сен-Доменге, где белые поселенцы особенно сурово обращались со своими рабами: заставляя негров работать от зари до зари, они при этом называли их бездельниками, кретинами, ворами, пустобрехами, которые при каждом удобном случае норовят сбежать. Что касается республиканских солдат, то они отнюдь не пренебрегали женщинами цветной расы, но по любому поводу издевались над неграми и колотили их, хотя и признавали, что некоторые, например, такие, как прокаженный гигант по имени Вулкан, стали отличными пушкарями. Пока шли бои, белые и черные сражались бок о бок, но с наступлением мира между ними возникла пропасть. Для начала Виктор Юг ввел для туземцев принудительный труд. Всякий негр, обвиненный в том, что он лентяй или проявляет непокорность, не подчиняется приказам или бунтует, приговаривался к смерти. Надо было преподать урок всем, а потому гильотина покинула площадь Победы и отправилась колесить по острову в разных направлениях: на рассвете в понедельник она прибывала в Ле-Муль; во вторник действовала в Гозье, где ей надлежало покарать злого лодыря; в среду чинила расправу над шестью монархистами, прятавшимися в старинной церкви Сент-Анн. Ее перевозили из одного селения в другое, и у каждого трактира повозка с грозной машиной задерживалась. Палач и его помощники не заставляли себя долго упрашивать и после обильного угощения с выпивкой охотно показывали всем желающим, как действует механизм. Разумеется, во время этих разъездов гильотину не сопровождал целый эскорт больших барабанов, которые в Пуэнт-а-Питре заглушали предсмертные вопли осужденных, но зато в повозке везли один громадный барабан — когда гильотина работала на холостом ходу, кто-нибудь весело бил в него,

и казалось, что происходит какое-то ярмарочное представление. Крестьяне, желавшие испытать силу грозной машины, клали под нож стволы бананов — ничто так не походит на человеческую шею, как банановый ствол, трубчатый и влажный, словно пронизанный сосудами. Случалось, для того чтобы разрешить загоревшийся спор, под нож просовывали шесть стеблей сахарного тростника сразу, и стальное лезвие разрубало их. Затем палач и его помощники продолжали путь к месту своего назначения, они курили и пели под звуки барабана, поправляя на голове фригийские колпаки, которые от пота из красных делались бурыми. По возвращении гильотина бывала до такой степени завалена фруктами, что повозка с нею походила на колесницу богини плодородия.

В начале III года Республики Виктор Юг находился в зените славы. Конвент с восторгом приветствовал одержанные им победы, утверждал в званиях представленных им к повышению офицеров, одобрял все его распоряжения и декреты, направлял ему пышные поздравления, извещал о посылке подкреплений, оружия и припасов. Но комиссар уже не нуждался в солдатах: после проведенного набора в его распоряжении было неплохо обученное войско в десять тысяч человек. В результате конфискации имущества монархистов сундуки ломились от добра, а на складах имелось все необходимое. Юг совершил путешествие в недавно отвоеванную у англичан часть острова, где ему уже довелось побывать несколько лет назад; и теперь он вновь с чувством, близким к умилению, любовался красотами города Бас-Тер, где повсюду журчали многочисленные родники и били фонтаны, так что на широких улицах, обсаженных тамариндами, царила приятная прохлада. Бас-Тер выглядел гораздо аристократичнее и изысканнее Пуэнт-а-Питра, улицы там были мощеные, набережная — тенистая, дома — сложены из тесаного камня, и некоторые места напоминали Рошфор, Нант или Ла-Рошель. Комиссар охотно перенес бы сюда свою резиденцию и разместился бы вместе с канцелярией в тихой и уютной обители святого Франциска; однако местный порт, пригодный для приема скота, который доставляли с соседних островов — животных швыряли за борт, предоставляя им вплавь добираться до берега, — не мог служить удобной стоянкой для французского флота. Продолжая свое триумфальное путешествие, Виктор Юг был восторженно встречен прокаженными острова Дезирад и небогатыми белыми поселенцами острова Мари-Галант, а также индейцами-карибами, аборигенами этого острова; от имени всех индейцев вождь племени обратился к комиссару с просьбой даровать им лестное звание французских граждан. Зная, что эти люди — великолепные моряки, хорошо знакомые с архипелагом, что их предки в своих быстроходных лодках побывали на всех соседних островах еще задолго до того, как в здешних местах появились корабли Великого адмирала Изабеллы и Фердинанда, Юг роздал индейцам кокарды и пообещал им все, что они просили. Он выказал гораздо больше симпатии к карибам, нежели к неграм; ему нравилась гордость индейцев, их воинственность и даже надменный девиз, гласивший: «Только кариб достоин считаться мужчиной». Они еще больше уверились в этом теперь, когда на их набедренных повязках красовалась трехцветная кокарда. Во время посещения острова Мари-Галант комиссар Конвента попросил показать ему то место на побережье, где карибы — незадачливые завоеватели Антильских островов — посадили на кол французских корсаров, которые много лет назад попытались похитить нескольких индеанок. На заостренных столбах, врытых в песок у самого моря, все еще виднелись человеческие скелеты и черепа; насаженные на острые колья, как насекомые на булавки, трупы долгое время

привлекали к себе тучи стервятников, так что издали казалось, будто берег покрыт движущейся лавой... Приветственные клики и восторги толпы не заставили, однако, комиссара забыть, что англичане бороздят соседние моря и угрожают острову блокадой. По ночам Юг часто запирался вместе с де Лессегом, — на мундире моряка теперь уже красовались нашивки контрадмирала, — и они вместе разрабатывали планы морской кампании, которая должна была охватить бассейн Карибского моря. Проект этот хранился в величайшей тайне. Однажды Эстебан, войдя в кабинет комиссара, увидел, что потное лицо Виктора искажено гневом, а растрепанные волосы торчат во все стороны. Юг бегал вокруг длинного стола, за которым обычно заседал военный совет; время от времени он останавливался за спинами чиновников, — те, забросив дела, рвали друг у друга из рук только что прибывшие газеты.

— Ты уже знаешь? — крикнул он Эстебану, тыча дрожащей рукой в газетный лист.

Там было помещено невероятное сообщение о событиях 9 термидора в Париже.

— Негодяи! — прогремел Виктор. — Они низвергли лучших!

Неожиданное известие потрясло Эстебана. А ко всему еще на расстоянии события казались вдвойне драматическими. Бывает, что люди, долгое время созерцавшие какое-либо явление, еще считают его существующим, хотя оно уже кануло в прошлое, — подобно этому здесь, в комнате, только недавно все говорили о настоящей и даже будущей деятельности человека, жизнь которого оборвалась уже несколько месяцев назад. Тут еще спорили о культе Верховного существа, а его создатель уже издал у подножия эшафота ужасный стон, исторгнутый из его груди болью в раздробленной челюсти, когда палач грубо сорвал с нее повязку. Для Виктора Юга все случившееся было особенно грозным, оно сулило ему такие осложнения, что ум терялся в мучительных догадках. Титан, чей портрет по-прежнему висел на стене в кабинете комиссара, где все могли видеть его таким, каким он был в дни своей высшей славы, был повержен; Юг не мог больше рассчитывать на этого человека, который оказал ему доверие, облек его властью и создал ему авторитет; больше того, Виктору предстояло теперь долгие недели, а быть может, и месяцы жить в ожидании, ничего не зная о том, какой оборот примут события во Франции. Было вполне вероятно, что реакция постарается взять реванш за все. Возможно, в стране уже создано новое правительство, и оно перечеркнет то, что сделано прежним. И на Гваделупе появятся новые люди, облеченные властью, люди с угрюмым выражением лица, с резкими жестами и с таинственным приказом в кармане. Доклад, который Виктор Юг направил Конвенту по поводу казней в Бервиле, мог теперь обернуться против него. Возможно, он уже смещен со своего поста, возможно, против него уже возбуждено судебное дело, угрожавшее не только его карьере, но и самой жизни. Комиссар читал и перечитывал имена жертв термидора, как будто это могло пролить свет на то, что ожидает в будущем его самого. Некоторые чиновники переговаривались вполголоса, утверждая, что отныне наступит период более мягкой и терпимой политики, период восстановления религиозных обрядов. «Или реставрация монархии», — сказал себе Эстебан, в чьей душе боролись противоречивые чувства: он испытывал облегчение, думая о том, что после стольких страданий наступит покой, и вместе с тем ощущал отвращение и ненависть к трону. Слишком много усилий затратили люди, слишком много породили они пророков, мучеников, проповедников, погибших в огне пожаров или павших у подножия триумфальных арок в дни грандиозного апокалипсического видения, и потому нельзя было допустить, чтобы история повернула вспять. Слишком много пролито крови, чтобы все оказалось напрасным, чтобы вновь приобрели цену

ржавые побрякушки монархии. Нет, еще могло возникнуть нечто справедливое, быть может, даже более справедливое, чем то, что перестало быть таким из-за многословных и абстрактных рассуждений, — а ведь многословие было одним из самых больших зол минувшей эпохи. Еще можно было надеяться на свободу, о которой будут меньше трубить, но которой будут больше пользоваться; на равенство, о котором будут меньше разглагольствовать, но которое будут охранять законами; на братство, которое будет придавать меньше значения наветам и найдет себе яркое выражение в подлинных судах, где вновь станут заседать присяжные... Виктор продолжал шагать по комнате, заложив руки за спину, но видно было, что он уже несколько успокоился. Под конец он остановился перед портретом Неподкупного.

— Так вот, здесь все останется, как прежде, — произнес он после паузы. — Я знать не желаю об этой новости. Я не приемлю ее. Я не признаю иной морали, помимо якобинской. И никто не заставит меня отступить от этого. А если революции суждено погибнуть во Франции, она будет продолжена в Америке. Для нас пришло время заняться материком. — Повернувшись к Эстебану, Юг прибавил: — Немедленно приступи к переводу на испанский язык Декларации прав человека и гражданина и текста Конституции.

— Конституции девяносто первого или девяносто третьего года? — осведомился молодой человек.

— Конституции девяносто третьего года. Другой я не знаю. Нужно, чтобы с этого острова распространились идеи, которые всколыхнут Испанскую Америку. Ведь у нас нашлись сторонники и союзники в самой Испании, они у нас тем более найдутся на Американском континенте. Пожалуй, их здесь будет даже больше, ибо в колониях недовольных гораздо больше, чем в метрополии.

XXII

Когда старик Лёйе узнал, что ему предстоит печатать тексты на испанском языке, он вдруг с испугом обнаружил, что в его типографских кассах отсутствуют тильды — знаки, указывающие на мягкость звука «н».

— Кому могло прийти в голову, что испанцы употребляют для этой цели особый значок над литерой «н»? — с яростью вопрошал он самого себя. — Что ж теперь делать? Не могу же я исказить благородное слово «конь», набирая вместо этого «кон»!

По мнению типографа, тот факт, что никто его заранее не предупредил, свидетельствовал о полном беспорядке и неразберихе в среде людей, мнивших себя властителями мира.

— Они даже не вспомнили, что в испанском языке употребляются тильды! — негодовал он. — Сборище невежд!

В конце концов было решено вместо тильды над литерой «н» ставить тире, что должно было изрядно осложнить работу по набору текста. Тем не менее вскоре Декларация прав человека и гражданина была отпечатана, и весь тираж отнесли в канцелярию комиссара, где царила атмосфера неуверенности и тревоги. Ветер термидора ворвался в сознание многих. Критические высказывания, которые раньше каждый держал при себе, теперь произносились порою вслух, пусть пока и не для чужих ушей. Когда Эстебан принес Лёйе переведенную им на испанский язык Конституцию девяносто третьего года, старик обратил его внимание на то, к каким уловкам прибегают при пропаганде высоких идеалов, чтобы создать иллюзию, будто

идеалы эти воплощены в действительность, хотя на самом деле этого не произошло, ибо самые лучшие намерения до сих пор приводили к самым неожиданным и ужасным последствиям. Быть может, американцы попытаются ныне применить в жизни те высокие принципы, которые в период террора были почти полностью попорчены, а затем в свой черед отступятся от них, когда того потребуют преходящие политические соображения.

— Тут, в Конституции, ничего не говорится ни о ноже гильотины, ни о плавучих тюрьмах, — сказал Лёйе, намекая на баржи, которые до сих пор загромождали все порты на атлантическом побережье Франции, причем из их трюмов доносились стоны узников: печальную известность снискало себе, в частности, судно «Папаша Ришар», название которого, напомиравшее об альманахе Вениамина Франклина²²², звучало теперь как насмешка.

— Займемся лучше нашими оттисками, — отрезал Эстебан.

Пока суд за дело, надо было исполнять повседневные обязанности, и молодой человек отдавался этому целиком, обретая некоторый душевный покой и испытывая чувство облегчения: он старался переводить как можно лучше, и это помогало ему избавляться от печальных дум; Эстебан работал с необыкновенным усердием, он тщательно заботился о чистоте языка, скрупулезно искал точное слово, наиболее удачный синоним, верный синтаксический оборот, он по-настоящему страдал оттого, что на испанском языке было почти невозможно передать новые лаконичные обороты французского языка. Добиваясь хорошего звучания фразы, Эстебан испытывал эстетическое удовольствие, хотя ее содержание и оставляло его равнодушным. Целые дни он оттачивал перевод доклада Бийо-Варенна, озаглавленного: «Доктрина демократического правления и необходимость внушать любовь к гражданским добродетелям посредством публичных празднеств и нравственных установлений», хотя тяжеловесная проза этого человека, то и дело обращавшегося к теням Тарквиния, Катона и Каталины, казалась Эстебану столь же устарелой, фальшивой и далекой от современности, как слова франкмасонских гимнов, которым его в свое время обучали в ложе, объединявшей чужестранцев. Отец и сын Лёйе прибегали к его помощи во время трудной для них работы, — ведь типографам приходилось набирать текст на незнакомом языке, — они просили молодого человека объяснить смысл того или иного орфографического знака или спрашивали, как правильно перенести с одной строки на другую какое-нибудь слово. Старик Лёйе относился к полосам набора с любовной заботой настоящего мастера, он огорчался, когда у него не оказывалось под руками нужной заставки или аллегорической виньетки, чтобы красиво начать либо закончить главу. И редактор-переводчик и типографы мало верили в те слова, которые благодаря их усилиям должны были получить широкое распространение. Но они полагали, что работу надо выполнять добросовестно, не коверкая язык и не заставляя краснеть бумагу. После текста Конституции был отпечатан текст «Американской карманьолы» — это был вариант известной песни (другой ее вариант в свое время был написан в Байонне), и предназначался он для народов Нового Света:

Я, жалкий оборванец,
Даю сегодня бал,

²²² Французы несколько изменили название знаменитого альманаха Вениамина Франклина. Этот печатный орган, издававшийся в 1732–1757 гг., назывался «Альманах горемыки Ричарда».

И спляшем мы на нем
Под орудийный гром,
Под орудийный гром,
Под орудийный гром!

Припев

Танцуйте карманьолу,
Пусть гром кругом,
Пусть гром кругом,
Танцуйте карманьолу,
Да здравствует пушек гром!

На мне рубахи нету,
Я — рвань и голь, я — рвань и голь:
Налогам замучил
Меня злодей король,
Меня злодей король,
Меня злодей король!

Припев

Любой король всегда тиран,
Но нашей кровью просто пьян
И водит всех нас за нос
Трусливый, подлый Карлос,
Трусливый, подлый Карлос,
Трусливый, подлый Карлос!

Припев

В следующих куплетах неизвестный автор, отлично знавший жизнь Испанской Америки, выводил на чистую воду наместников, коррехидоров и алькальдов; доставалось от него и судьям, и правительственным чиновникам, и местным властям, державшим сторону монархии. Человек, сочинивший песню, видимо, уже знал о культе Верховного существа, он заканчивал так: «Бог стоит за нас, / он направляет наши руки, / ибо проступки короля / гнев в нем пробудили. / Да здравствует любовь к отчизне! / И да здравствует свобода! / Пусть погибнут тираны / и деспотизм королей!» Испанские заговорщики в Байонне, смутные известия о которых иногда доходили до Эстебана, выражались в таком же духе. Молодой человек не сомневался, что друг Марата, Гусман, казнен на эшафоте. Аббат Марчена, по слухам, будто бы уцелел во время расправы над жирондистами. Что же касается славного Мартинеса де Бальестероса, то он, должно быть, все еще раздумывал, как жить, — вернее, выжить, — по-прежнему служа революции, хотя она уже решительно отличалась от той, какая приводила его поначалу в восторг. В ту пору многие люди под влиянием пылкого порыва, все еще владевшего их сердцами, продолжали трудиться в мире, не похожем на тот, какой они мечтали создать; их переполняло чувство разочарования и горечи, но при этом они — как, например, отец и сын Лёйе — честно и добросовестно исполняли свои повседневные обязанности: иначе они не могли. Эти люди не рассуждали; главное теперь было жить, что-то делая, каждое утро мирно приниматься за свой труд. И они жили сегодняшним днем, думая о том, как славно будет выпить

после обеда стаканчик вина, выкупаться в море, о том, что под вечер, быть может, подует свежий ветерок, о том, как приятен аромат цветущих апельсиновых деревьев, о том, что эту ночь, возможно, удастся провести вдвоем с милой девушкой. Вокруг происходили события такого масштаба, что обыкновенный человек был не в силах охватить их, измерить, оценить по достоинству, и на фоне этих событий было необычайно интересно невзначай понаблюдать за мимикрией некоторых насекомых, за любовными проделками скарабея, за превращением гусеницы в бабочку. Именно в эту пору великих и всеобщих потрясений Эстебана особенно влекли к себе малые существа: он часами наблюдал за тем, как в бочке с водой шныряют головастики, как постепенно появляется из земли гриб, как муравьи прогрызают листья лимонного дерева, превращая их в кружево. Однажды в комнату к нему вошла красивая мулатка, сославшись на то, что ей якобы понадобились перо и чернила; на руках у нее сверкали браслеты, юбка была накрахмалена и тщательно выутюжена, а под ней шуршали нижние юбки; от девушки приятно пахло вербеной. Через полчаса после того как тела их сплелись в сладостном объятии, молодая женщина, даже ничего на себя не накинув, сделала грациозный реверанс и представилась:

— Mademoiselle Athalie Bajaset, coiffeuse pour dames²²³.

— Удивительная страна! — воскликнул Эстебан, на минуту забыв о своих заботах. С этого времени он проводил все ночи с мадемуазель Аталией.

— Сбрасывая юбки, она всякий раз приносит мне в дар две трагедии Расина]²²⁴, — со смехом говорил молодой человек типографам Лёйе...

По делам службы (Эстебан должен был составлять опись некоторых грузов, прибывавших в различные порты острова) ему приходилось время от времени бывать в Бас-Тере, и он добирался туда по ухабистым дорогам, которые пролегали среди густой, сочной зелени, — здесь с постоянно окутанных облаками и туманами холмов сбегали многочисленные ручьи и потоки. Во время своих поездок он видел растительность, похожую на ту, которая покрывала его родной остров, но познакомиться с нею в свое время ему мешала болезнь, — теперь же растительность эта представала глазам Эстебана, заполняя пробел, образовавшийся в его познаниях за годы отрочества и ранней юности. Он с наслаждением вдыхал тонкий аромат аноны, терпкий запах тамаринда, лакомился нежными плодами с красной и лиловой мякотью: в самой их сердцевине были запрятаны великолепные косточки, у которых оболочка походила то на черепаховый панцирь, то на полированную древесину черного либо красного дерева. Он впивался зубами в прохладную, отливавшую белизной ткань плода аноны, разрывал малиновую кожуру каймито, ища жадными губами стекловидные зернышки, таившиеся в мякоти плода. Однажды, когда расседланная лошадь Эстебана барахталась в ручье, повалившись на спину и подняв все четыре копыта в воздух, он рискнул залезть на дерево. Уцепившись за нижние ветви и преодолев, таким образом, самое трудное, он начал винтообразное восхождение к верхушке: тесно переплетенные ветви напоминали спираль, как на раковине улитки, — они с каждым шагом становились все тоньше и служили опорой густолиственной кроны, зеленого улья, пышного навеса, который ему впервые довелось увидеть изнутри. Непередаваемое,

²²³ Мадемуазель Аталия Баязет, дамский парикмахер (франц.).

²²⁴ Здесь намек на то, что имя и фамилия девушки совпадают с названиями двух трагедий Расина «Аталия» и «Баязет».

необыкновенно глубокое волнение охватило Эстебана и переполнило его радостью, когда он смог наконец отдохнуть, усевшись верхом на самом высоком раздвоенном суку этого трепещущего сооружения из ветвей и побегов. Есть нечто неповторимое в том, чтобы взобраться на дерево; быть может, до тебя еще никто этого не совершал и после тебя уже не совершит. Тот, кто обнимает руками высокую грудь ствола, свершает в некотором роде брачный акт, силой проникая в тайный мир, неведомый другим людям. Взгляд внезапно охватывает все красоты и все изъяны Дерева. Вот две податливые ветви, разъятые, подобно женским бедрам, и таящие в глубине сочленения пучок зеленого мха; вот круглая рана на месте отломившегося побега; вот причудливые разветвления, по которым животворные соки устремляются к одним ветвям, а другие тем временем сохнут и становятся пригодными разве только для костра. Поднимаясь на свой наблюдательный пункт, Эстебан все глубже постигал загадочную связь, которую так часто устанавливали между Мачтой, Плугом, Деревом и Крестом. И в памяти у него возникли слова святого Ипполита: «Это дерево принадлежит мне. Оно дарует мне пищу и дает кров; я обретаю опору в его корнях и отдыхаю на его ветвях; я прислушиваюсь к шелесту его листьев, как прислушиваются к дуновению ветра. Там моя узкая тропа; там моя тесная дорога; оно для меня — лестница Иакова, на вершине коей пребывает Господь». Знаменательные контуры Креста святого Антония, Креста святого Андрея, Медного Змия, якоря и лестницы от века сокрыты в каждом Дереве, ибо сотворенное Зиждителем предшествует тому, что создано руками человека: оно-то и послужило для Строителя будущих Ковчегов...

Нередко вечерние тени заставляли Эстебана на ветвях какого-нибудь высокого дерева; они чуть раскачивались на ветру, и юноша всем своим существом отдавался сладострастной неге, которую готов был длить без конца. В эту раннюю пору сумерек растения внизу приобретали неожиданную форму: дынные деревья, плоды которых напоминают вымя, казалось, оживали и медленно шли к далеким дымящимся высотам Суффриер; сейба, эта по выражению стариков негров, «мать всех деревьев», еще больше походила на обелиск, ростральную колонну, памятник и при смутном вечернем освещении казалась еще выше. Сухое манговое дерево превращалось в клубок змей, которые кинулись было на врага, но так и застыли, не успев ужалить, другое же — полное жизни и соков, проступавших сквозь кору и яшмовую оболочку побегов, — внезапно расцветало, вспыхивая желтым пламенем. Эстебан наблюдал за деревьями с таким интересом, словно перед ним были живые существа. Прежде всего появлялась завязь, она походила на зеленые бусины, а терпкий ее сок был на вкус как засахаренный миндаль. Затем плод постепенно приобретал свою будущую форму и очертания, он удлинялся книзу и сбоку напоминал профиль старой ведьмы с выступающим подбородком. На лице плода рождались краски. Из светло-зеленого он постепенно становился шафрановым и, созревая, переливался всеми оттенками керамики — критской, средиземноморской и непременно антильской, — но затем первые пятна, первые признаки одряхления в виде маленьких черных кружочков начинали поражать его мякоть, пахнущую йодом и танином. И однажды вечером плод отрывался от ветки; он с глухим шумом падал в росистую траву, возвещая о своей близкой смерти: черные пятна становились все шире, проникали все глубже и под конец превращались в настоящие язвы, где роилась мошкара. Подобно трупу прелата в традиционной пляске смерти, упавший плод распадался на части, и от него оставалось лишь бесцветное полосатое семя — словно завернутый в обрывки савана скелет. Однако здесь, в этом мире, не знающем ни зимней смерти, ни весеннего воскресения,

круговорот жизни сразу же начинался сызнова, без перерыва: несколько недель спустя из лежавшего на земле семечка пробивался похожий на миниатюрное японское Деревцо побег с розовыми листьями, такими нежными и до такой степени походившими на человеческую кожу, что к ним страшно было прикоснуться...

Иногда Эстебана во время его путешествия среди густой листвы заставлял ливень, и тогда юноша мысленно отмечал Разницу между тропическими ливнями и унылыми монотонными Дождями Старого Света. Здесь, в Америке, мощный и величественный гул, напоминавший вступление к симфонии, заранее возвещал о приближении проливного дождя с порывистым ветром, а облезлые ястребы начинали кружить над самой землей, круги эти постепенно сужались, и вскоре стервятники покидали опасное место. В воздухе чудесно пахло влагою лесов и тучной, набухшей соками землею; вдыхая этот аромат, птицы раздували перья, лошади прядали ушами, а человек испытывал физическое томление, смутное желание слиться в тесном объятии с другим живым существом. Вокруг быстро темнело, с верхних ветвей доносился сухой стук, а потом вниз обрушивался бодрящий холодный поток, рождая вокруг различные отзвуки: лианы и стебли бананов дрожали, как струны, а большие мясистые листья звенели, точно натянутые перепонки. Дождевые струи разбивались в вышине о кроны величавых пальм, оттуда, словно из водосточных труб кафедрального собора, они низвергались на верхушки меньших пальм и дробно барабанили по ним; крупные дождевые капли отскакивали от нежно-зеленого шатра, а затем падали в листву, такую густую, что, проходя сквозь несколько ярусов растительности, капли дробились, мельчали, превращаясь в тысячи крошечных брызг, колотивших по тугим, как бубны, зарослям маланги и наконец достигавших земли, на радость сочным лесным травам. Ветер вел свою партию в этой грозной симфонии дождя, от которого ручьи превращались в бурные потоки, ей вторил непрерывно нарастающий гул бульжников, лавиной устремлявшихся вниз; выходя из берегов, потоки с грохотом катили камни, несли поваленные стволы, ветви с цепкими сучьями, пни с узловатыми, переплетенными, как щупальца, корнями: достигая илистого устья ручья, они застревали в нем, точно севшие на мель корабли. И вдруг все стихало, небосвод освобождался от облаков, опускались сумерки, и Эстебан продолжал свой путь на вымокшей, но резвой лошади; с листьев на него, точно дождь, падали частые капли, и юноша различал деревья по их запахам, сливавшимся в величественный гимн ароматов... Возвращаясь в Пуэнт-а-Питр после таких поездок, Эстебан чувствовал себя одиноким и чуждым всему: в этом удаленном от центров цивилизации жестоком мире все теперь казалось ему нелепым. Церкви тут по-прежнему оставались закрытыми, хотя во Франции двери храмов, должно быть, уже распахнулись вновь. Негров провозгласили свободными гражданами, но тем, кто не был насильно превращен в солдат или матросов, приходилось все так же гнуть спину — над ними неизменно стоял надсмотрщик с хлыстом, а позади вырисовывался злобный силуэт гильотины. Теперь новорожденных называли Цинциннатами, Леонидами или Ликургами, детей обучали республиканскому катехизису, уже весьма далекому от действительности, — подобно этому в недавно основанном клубе якобинцев продолжали говорить о Неподкупном так, словно он еще был жив. Жирные мухи ползали по липким доскам эшафота, а Виктор Юг и его военачальники с некоторых пор завели себе дурную привычку подолгу спать после обеда под тюлевым пологом от москитов: их сон стерегли мулатки, обмахивая спящих пальмовыми листьями.

XXIII

Замечая все возрастающее одиночество Виктора Юга, Эстебан сокрушался так, как может сокрушаться нежная женщина. Комиссар Конвента с той же непоколебимой твердостью выполнял свои обязанности — подгонял судей, заставлял гильотину действовать без перерыва, произносил речи, выдержанные в прежнем духе, диктовал распоряжения, издавал законы, выносил приговоры, вмешивался во все дела; однако те, кто хорошо его знал, понимали, что бурная деятельность Юга вызвана тайным желанием заглушить тревогу. Виктору было известно, что многие из самых послушных его подчиненных спят и видят, как из Парижа прибудет гербовая бумага с декретом о его смещении, переписанным рукою бесстрастного писца. Эстебану хотелось в такие минуты быть рядом с Югом, повсюду сопровождать его, успокаивать. Однако комиссар с каждым днем становился все нелюдимее; запираясь у себя в комнате, он читал до рассвета, а под вечер в обществе де Лессега отправлялся в экипаже в бухту Гозье: там он — голый до пояса, в одних только коротких бумажных штанах — садился в лодку и уплывал на пустынный остров, откуда возвращался лишь к ночи, когда из прибрежных зарослей налетали москиты. Виктор перечитывал труды ораторов древности, быть может, заранее готовя свою защитительную речь, так как ему хотелось блеснуть красноречием. Приказы его становились все более необдуманными и противоречивыми. На него все чаще находили внезапные приступы гнева, и тогда он неожиданно смещал с постов своих приближенных или утверждал смертный приговор, в то время как ожидали, что он помилует осужденного. Однажды утром, встав в особенно дурном расположении духа, Виктор Юг повелел вырыть из могилы останки бывшего английского губернатора острова, генерала Дандаса, и выбросить их прямо на дорогу. Несколько часов псы в жестокой схватке вырывали друг у друга самые жирные части трупа и носились по улицам, сжимая в зубах зловонные куски человеческого мяса, с которых свисали обрывки парадного мундира, облекавшего тело покойного британского военачальника. Эстебан многое бы отдал, чтобы успокоить смятенную душу Юга, который испытывал тревогу при виде вдруг появлявшегося на горизонте паруса, чтобы утешить этого человека, чье одиночество возрастало по мере того, как возрастала его историческая роль, прирожденный полководец, суровый и твердый, человек редкой отваги, Виктор Юг добился на Гваделупе таких успехов, которые затмили многие победы Республики. И все же крутой политический поворот, происшедший далеко-далеко от этих мест, в стране, где, как уже стало известно, на смену красному террору пришел разнузданный белый террор, привел в движение никому не ведомые силы, — они, чего доброго, могли вручить судьбу колонии людям, не способным управлять ею. Ко всему еще стало известно, что Дальбаррад, покровитель Виктора Юга, тот самый Дальбаррад, которого Робеспьер упорно защищал от обвинений в покровительстве одному из друзей Дантона, теперь принял сторону термидорианцев. Все эти события наполняли комиссара отвращением, поток дурных новостей выводил его из себя, и он решил ускорить осуществление плана, который уже несколько месяцев вынашивал вместе с контр-адмиралом де Лессегом.

— Пусть убираются ко всем чертям! — крикнул он однажды, имея в виду тех, кто решал его судьбу в Париже. — Когда они заявятся сюда со своими дрянными бумажонками, я буду достаточно силен, чтобы швырнуть эти жалкие клочки им прямо в лицо.

Однажды утром в порту неожиданно закипела работа. Несколько легких судов — главным образом двухмачтовых — были отведены в доки для ремонта. На более крупных кораблях работали плотники, конопатчики, смоляры, повсюду запахло краской, застучали молотки, завизжали пилы, а тем временем с берега в весельных шлюпках пушкари перевозили на борт легкие орудия. Высунувшись из окна старинного здания таможи, Эстебан заметил, что помимо всего прочего судам присваивали новые названия. «Калипсо» вдруг превратилась в «Грозу тиранов», «Резвая» — в «Карманьолу», «Ласточка» — в «Грозную Мари»; «Домовой» стал «Мстителем». На старых кораблях, долго служивших королю, теперь появились новые названия, выведенные яркими буквами: «Аврал», «Неумолимая», «Санкюлот», «Афинянка», «Кинжал», «Гильотина», «Друг народа», «Террорист», «Веселая братия». Фрегат «Фетида», уже успевший залечить раны, полученные во время бомбардировки Пуэнт-а-Питра, отныне именовался «Неподкупный» — без сомнения, такова была воля Виктора Юга, искусно сыгравшего на том, что всякое слово имеет свое собственное — ни от чего не зависящее — значение. Эстебан спрашивал себя, чем объяснить столь бурную деятельность, и в эту самую минуту мадемуазель Аталия сообщила, что его срочно требует к себе начальник. Стаканы из-под пунша, которые уносила одна из служанок, давали понять, что комиссар немного выпил, однако он сохранял удивительную точность движений и ясность мыслей: алкоголь всегда действовал на него таким образом.

— Итак, тебе очень хочется остаться тут? — спросил Виктор с улыбкой.

Вопрос был столь неожидан, что Эстебан прислонился к стене и провел дрожащей рукою по волосам. До сих пор невозможность покинуть Гваделупу была так очевидна, что ему даже в голову не приходила мысль об отъезде. Юг повторил:

— Итак, тебе очень хочется остаться в Пуэнт-а-Питре?

В сердце Эстебана зародилась надежда: он представил себе долгожданное судно, светлое, с оранжевыми в лучах закатного солнца парусами, судно, на котором удастся бежать отсюда. Быть может, комиссар Конвента, предупрежденный каким-либо письмом и сломленный внутренней тревогой, решил наконец сложить с себя власть и отправиться в один из принадлежавших Голландии портов, откуда можно будет без помех уехать в любое место. В это время уже началось беспорядочное бегство сторонников Робеспьера, и было известно, что многие из них стремятся попасть в Нью-Йорк, где имелось несколько французских типографий, готовых печатать мемуары и защитительные статьи. Да и в колонии можно было встретить немало людей, мечтавших о Нью-Йорке.

Эстебан откровенно заговорил о себе: он не видит никакой пользы в своем пребывании на этом острове, которым вскоре станут управлять неизвестные люди. Реакционеры, без сомнения, прогонят всех нынешних чиновников. (Молодой человек покосился на груду сундуков и чемоданов, которые непрерывно вносили грузчики и устанавливали в углах по указанию Юга.) А ко всему еще ведь он не француз. И, значит, члены пришедшей к власти политической группировки поступят с ним так, как всегда поступают с чужестранцами, сторонниками враждебной партии. Его, возможно, ждет судьба Гусмана или Марчены. Поэтому, если ему представится возможность уехать, он уедет без колебаний... Во время этой исповеди лицо Виктора становилось все более суровым. Когда юноша заметил это, было уже слишком поздно.

— Несчастный болван! — заорал Юг. — Стало быть, ты полагаешь, что этот термидорианский сброд уже одолел меня, низверг и прикончил? Ты, видно, заодно с

теми, кто втайне мечтает увидеть, как меня повезут в Париж под конвоем? Выходит, мулатка, твоя любовница, не лгала, когда говорила, что ты ведешь пораженческие разговоры со старым ублюдком Лёйе? Я немало заплатил этой девке, чтобы она мне все передавала! Значит, хочешь улизнуть прежде, чем все кончится? Так вот... Не кончится это!.. Слышишь?... Не кончится!

— Какая мерзость! — крикнул Эстебан, негодуя на самого себя за то, что открыл душу человеку, который расставил ему ловушку и поручил женщине шпионить за своим любовником.

Виктор властным тоном приказал:

— Сегодня же собери свои реестры и письменные принадлежности, захвати оружие, пожитки и отправляйся на судно «Друг народа». Там ты немного отдохнешь от того, что лицемерно именуешь — я знаю — моей вынужденной жестокостью. Но я не жесток. Я делаю то, что обязан делать, а это не одно и то же.

Голос Юга смягчился, он говорил теперь чуть рассеянно, будто беседовал с одним из своих помощников; устремив взгляд на окаймлявшие площадь Победы деревья, недавно высаженные, но уже крепкие и покрытые свежей листвой, он объяснил Эстебану, что англичане все еще угрожают острову, что возле Барбадоса скапливается вражеский флот и надо опередить события. Что же касается морской стратегии, то только корсарская война — настоящая, классическая, повсеместная, — только она всегда приводила к желаемым результатам в Карибском море: ее следует вести с помощью легких и быстроходных судов, которые без труда могут укрываться в неглубоких бухтах, лавировать среди коралловых рифов, — в прошлом такие корабли неизменно брали верх над тяжелыми испанскими галеонами, а ныне они одержат верх над британскими судами, хорошо вооруженными, но неповоротливыми. Корсарские флотилии Французской республики будут действовать небольшими эскадрами, совершенно независимыми одна от другой; они поведут войну во всех широтах, где расположены английские и испанские владения, — от Антильских островов до самого материка; французским кораблям надо будет только остерегаться наносить ущерб голландским судам. Разумеется, иной корсарский корабль может попасть в руки врага, к вящей радости тех, кто готов предать Республику.

— А такие есть, есть, — говорил Виктор, поглаживая толстую связку листов, где доносы, нацарапанные на оберточной бумаге, соседствовали с изощренными обвинениями, анонимными наветами, написанными без единой орфографической ошибки на тонкой бумаге с водяными знаками.

Дело в том, что солдаты, дезертировавшие из республиканской армии, могли рассчитывать на снисхождение, если вовремя срывали с себя фригийский колпак. Их представляли журналистам как людей, ставших жертвами невыносимого режима, особенно если дезертиры были французами. Заставляли рассказывать о своем разочаровании и о страданиях, перенесенных под игом самой худшей из тираний, а затем помогали возвратиться к родному очагу, — с тем чтобы эти раскаявшиеся в своих заблуждениях люди могли поведать окружающим о зловключениях, которые они претерпели, пытаясь воплотить в жизнь неосуществимые утопии. Эстебан возмутился тем, что его могли заподозрить в измене:

— Если ты считаешь, что я способен на подобный поступок, зачем посылать меня на борт одного из твоих кораблей?

Виктор вплотную приблизил свое лицо к лицу юноши, так что со стороны это походило на сцену ссоры двух марионеток.

— Ведь ты превосходный письмоводитель, а нам нужны такие на каждой эскадре, чтобы составлять акты о захвате трофеев и безотлагательно вносить в опись все товары, пока какой-нибудь плут не успел еще запустить руку в казну Республики. Взяв перо и линейку, комиссар расчертил большой лист бумаги на шесть колонок. — Подойди ближе и не делай, пожалуйста, такого дурацкого лица, — продолжал он. — Вот как тебе надлежит вести «Книгу трофеев». Первая графа: «Перечень захваченных товаров». Вторая графа: «Стоимость товаров, проданных с торгов» (если таковые будут происходить). Третья графа: «Пять процентов в пользу больных и раненых, находящихся на кораблях». Четвертая графа: «Пятнадцать сотых процента в пользу казначея вышеозначенных инвалидов». Пятая графа: «Доля капитанов корсарских кораблей». Шестая графа: «Законные издержки, связанные с отправкой товаров» (если по каким-либо причинам их придется отсылать с другой эскадрой). Все понятно?...

В эту минуту Виктор Юг походил на почтенного провинциального лавочника, занятого составлением годового баланса. В его манере держать перо еще оставалось что-то от бывшего коммерсанта и булочника из Порт-о-Пренса.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXIV

Пользуются случаем.

Гойя

Гремели пушки, звучали торжественные марши, реяли на ветру трехцветные знамена — небольшие эскадры одна за другой покидали гавань Пуэнт-а-Питра. В последний раз проведя ночь с мадемуазель Аталией и яростно искусав ее грудь, ибо кипевшая в нем злоба еще не утихла, Эстебан задал любовнице такую трепку за доносы и наушничество, что ягодицы у нее покрылись синяками, — у молодой мулатки было очень красивое тело, и обезображивать его у юноши просто не поднималась рука; она рыдала, раскаивалась и, быть может, впервые была в него по-настоящему влюблена. Аталия помогла Эстебану одеться, величая его при этом «*Mon doux seigneur*»²²⁵, и теперь, стоя на корме брига, который уже оставил позади островок Кошон, молодой человек смотрел на все более удалявшийся город с чувством облегчения. Эскадра, состоявшая из двух небольших кораблей и одного покрупнее, на котором и предстояло плыть Эстебану, показалась ему, по правде говоря, слишком слабой и жалкой для того, чтобы сражаться с крепкими люгерами англичан и с их узкими, стремительными куттерами. И все же это было лучше, чем оставаться в неистовом мире, который создал Виктор Юг, решивший во что бы то ни стало возвеличить себя и сделаться незаурядной личностью, Юг, которого в американских газетах уже именовали «Робеспьером Антильских островов»... Теперь Эстебан дышал полной грудью, как будто спешил очистить свои легкие от миазмов. Эскадра выходила в открытое море, а дальше лежал безбрежный океан, океан опасных одиссей. Чем больше корабли удалялись от берега, тем синее становилось море, и вся жизнь теперь подчинялась его ритму. На борту установился строгий распорядок, каждый занимался своим делом: баталер не вылезал из провиантской камеры, плотник менял уключины на шлюпке, этот смолит дно, тот регулировал ход часов, а кок изо всех сил старался, чтобы мерлан, выловленный для закуски, был подан ровно в шесть

²²⁵ Мой любезный господин (франц.).

часов на офицерский стол и чтобы дымящаяся похлебка из порея, капусты и батата была разлита в миски матросов еще до того, как на небе вспыхнут багровые краски заката. В первый же день все почувствовали себя так, словно вернулись к нормальному существованию, к повседневной размеренной жизни, которую не нарушал устрашающий стук гильотины, — удаляясь от всего преходящего и беспорядочного, они приобщались к миру неизменному и вечному. Отныне они станут жить без парижских газет, не будут читать защитительные речи и протоколы дознаний, не будут прислушиваться к ожесточенным спорам; вместо этого им предстоит созерцать солнце, беседовать со светилами, вопрошать горизонт и Полярную звезду... Едва только «Друг народа» вышел на морской простор, как неподалеку показался молодой кит, выбрасывавший вверх струю воды со щедростью водомета; решив, что один из кораблей собирается напасть на него, гигант в испуге нырнул в глубину. И в волнах, казавшихся при вечернем освещении почти фиолетовыми, Эстебан еще долго различал его огромный силуэт и густую тень на поверхности моря — кит походил на какое-то допотопное животное, которое заплыло в чуждые ему широты и вот уже много веков блуждает тут...

Несколько дней на горизонте не показывался ни один корабль, и маленькая эскадра, состоявшая из брига и двух меньших кораблей — «Декады» и «Аврала», казалось, не столько готовилась к наступательным операциям, сколько совершала увеселительную прогулку. Суда бросали якорь в небольших бухтах, паруса убирали, и матросы высаживались на берег: одни рубили дрова, другие собирали съедобные ракушки — ракушек этих было так много, что их находили даже глубоко в песке, — и все, пользуясь случаем, бродили среди тянувшихся вдоль моря зарослей либо купались в тихих заливах. Ранним утром вода была такая ясная, прозрачная и свежая, что Эстебан испытывал физическое наслаждение, походившее на то, какое испытывает чуть захмелевший человек. Барахтаясь в неглубоком месте, там, где он доставал ногами дно, юноша учился плавать и, когда наступала пора возвращаться на берег, никак не мог решиться вылезти из воды; он чувствовал себя настолько счастливым, до такой степени окутанным и пропитанным ярким светом, что нередко, вновь оказавшись на суше, спотыкался и пошатывался, как пьяный. Эстебан называл это «опьянением водой», он подставлял свое обнаженное тело лучам восходящего солнца, лежал ничком на песке или опрокидывался на спину, широко разбрасывал руки и ноги, и на лице у него появлялось такое восторженное выражение, что он походил на мистика, испытывающего блаженство от созерцания несказанной красоты. Порою, движимый незнакомой ему прежде энергией, которую пробуждал в нем новый образ жизни, юноша подолгу гулял среди утесов: он карабкался на них, перепрыгивал со скалы на скалу, шлепал босыми ногами по воде и восторгался всем, что видел вокруг. У подножия каменных громад находили себе пристанище веточки звездчатых кораллов, пятнистые и поющие раковины Венеры, изысканной формы улитки, спиральные и остроконечные раковины которых вызывали в памяти башни готических соборов. Встречались здесь и блестящие, как стеклянные бусы, колючие багрянки, брюхоногие моллюски, похожие на веретено, — словом, целый сонм морских животных, обитающих в раковинах, которые под скромной известковой оболочкой скрывают великолепные, отливающие янтарем недра. Морской еж ошетикивал свои темно-лиловые иглы, пугливая устрица захлопывала створки раковины, морская звезда, почуяв шаги человека, сжималась, а губки, налипшие на подводную часть утеса, искрились на свету. В этом удивительном море вокруг Антильских островов

даже булыжники на дне океана казались изысканными и поблескивали, как парча; одни были безукоризненно круглые, словно их обтачивали на шлифовальном станке; другие обладали причудливой формой — как будто под влиянием внутренних сил самой материи готовы были прийти в движение; некоторые были вытянуты в струну и заострены, иные смахивали на стрелы. Встречались тут и прозрачные камни, отсвечивавшие алебастром, и камни, похожие на фиолетовый мрамор или на мерцающий под водой гранит, и неказистые камни, покрытые съедобными улитками, — их мякоть, напоминавшую по вкусу водоросли, человек доставал из крохотной темно-зеленой раковины с помощью шипов кактуса. Самые необычайные кактусы, точно часовые, высились на берегах этих безымянных Гесперид, где во время своих опасных морских переходов отдыхали корабли; тут можно было увидеть и высокие зеленые канделябры, и увенчанные зеленым шлемом рыцарские доспехи, зеленые фазаньи хвосты, зеленые сабли и зеленые шишки, колючие арбузы и стелющиеся по земле айвовые деревья, — под обманчиво гладкой оболочкой их плодов таились шипы; словом, то был целый мир, недоверчивый, коварный, всегда готовый ранить обидчика и при этом вечно раздираемый актом рождения красного или желтого цветка: человек может овладеть таким цветком, только уколовшись, а затем, если он сумеет преодолеть новый барьер из жгучих колючек, то доберется наконец и до вожделенного дара — сочных плодов кактуса. Вооруженные до зубов, усеянные острыми, как гвозди, колючками растения, мешавшие взобраться на гребни холмов, где поспедали аноны, как бы повторялись внизу, в кембрийском мире, в виде коралловых лесов: там гнездились переливчатые, пламенеющие золотом деревья с бесконечными и многообразными мясистыми ветками, резными, как кружево, или продырявленными, как сито; они походили на деревья, описанные алхимиками, магами и чернокнижниками, они напоминали крапиву, выросшую на дне морском, или какой-то огнедышащий плющ, и этот причудливый мир подчинялся таким загадочным и сложным законам и ритмам, что утрачивалась всякая грань между недвижимым и трепещущим, между растением и животным. В то время как на земле все больше сокращалось число различных зоологических форм, коралловый лес сохранял первые причуды животворящей Природы, первые свидетельства ее буйной расточительности: все эти сокровища лежат на такой глубине, что, желая полюбоваться ими, человек подражает рыбам, — видно, недаром его зародыш в своем развитии проходит через стадию рыб, и человек порою тоскует по жабрам и хвосту, которые позволили бы ему избрать местом своего постоянного жительства великолепные морские пределы. Коралловые леса казались Эстебану осязаемым, близким, но недоступным прообразом потерянного рая, где деревья, которым первый человек на своем неразвитом младенческом языке дал первые, нетвердые названия, наделены кажущимся бессмертием этой пышной флоры, этой дароносицы, этой неопалимой купины: для нее осень и весна знаменовались только изменениями оттенков да легкой игрою теней... С величайшим изумлением Эстебан обнаруживал, что во многих местах море через три века после открытия Америки только-только начинало выбрасывать на берег отшлифованное стекло, стекло, давно изобретенное в Европе, но в те далекие времена неизвестное в Новом Свете: бутылки, флаконы, графины, форма которых не была еще знакома обитателям здешнего материка; попадались тут и зеленые стекла с матовыми пятнами и пузырьками; и тонкие осколки витражей, предназначенных для строившихся в ту далекую пору кафедральных соборов, витражей, с которых вода смыла сцены, взятые из жития святых; и стекла, уцелевшие во время кораблекрушений

— выброшенные на океанский берег, они казались загадочными и новыми, волны все дальше выносили их на сушу, отполировав с таким искусством, словно это сделал шлифовальщик или ювелир: их потускневшим граням вновь возвращался блеск. Эстебану встречались совершенно черные береговые откосы, усыпанные мельчайшими частицами аспида и мрамора, — под солнечными лучами они вспыхивали тысячью искр: и желтые переливающиеся откосы, на которых каждый морской прилив оставлял свои узоры, а потом стирал их и вновь рисовал; и белые, такие белые, столь ослепительно-белые откосы, что каждая песчинка на них казалась пятном; то были обширные кладбища, где покоились ракушки, — разбитые, раздавленные, расплющенные, раздробленные, превращенные в мельчайшую пыль, она просачивалась сквозь пальцы, как вода, которую не удержать в горсти. Было удивительно обнаруживать во множестве этих океанид гнездившуюся повсюду жизнь, жизнь лепечущую, пробивающуюся, цепкую: она продолжалась и на источенных водою утесах, и на плывущих по морю древесных стволах, и трудно было разобраться в том, что же принадлежит тут растительному царству, а что животному, что принесено, прибито к берегу волнами, а что движется по собственной воле. Здесь иные рифы сами себя создавали и выращивали; скала становилась больше; погруженная в воду каменная громада на протяжении тысячелетий совершенствовала свою форму, — а вокруг кишели рыбы-растения, грибы-медузы, мясистые морские звезды, блуждающие водоросли, папоротники, которые в разное время дня окрашивались в шафрановый, синий или пурпурный цвет. На стволе мангрового дерева под водой вдруг появлялась пыльца, напоминавшая муку. Белые крупинки превращались в тонкие, как пергамент, листочки; листочки эти затвердевали, набухали и становились чешуйками, которые, точно пиявки, присасывались к дереву, а позднее в одно прекрасное утро на нем появлялись устрицы в жемчужно-серых ракушках. Моряки ударами мачете отрубали от ствола ветви, усеянные устрицами, и приносили их на корабли; то были невиданные растения, покрытые морскими ракушками, одновременно ветви и гроздь, пучки листьев, пригоршни раковин и кристаллов соли, и никогда еще, пожалуй, люди не утоляли голод яствами более необычными и причудливыми. Пожалуй, ни один символ не передает лучше сущность моря, чем античный миф о nereидах, прекрасных обитательницах морских глубин; они приходили на память при взгляде на нежную плоть устриц, выглядывавших из розовой полости раковин-крылоножек, в которые вот уже много веков дуют гребцы архипелага; прикладывая губы к раковине, они извлекают из нее чуть хриплый звук, напоминающий пение трубы, рев Нептунова быка — солнечного зверя, — разносящийся над безбрежными просторами, открытыми лучам дневного светила...

Переносясь в мир симбиоза, окунаясь по шею в морские колодцы, где вода вечно клубится и пенится, так как в эти ямы все время низвергаются укрощенные волны, разбитые, растерзанные, раздробленные от ударов о грозный, ощерившийся каменными клыками утес, Эстебан с удивлением замечал, что жителям островов приходилось прибегать к агглютинации, к словесному сплаву и метафоре, чтобы передать двойственность форм причудливых существ, принадлежавших к различным породам и видам. Здесь некоторые деревья и растения имели сложные названия: «акация-браслет», «ананас-раковина», «дерево-ребро», «веник-десятка», «клевер-коротышка», «орех-кувшин», «душица-облако», «дерево-ящерица»; подобно этому, многие морские существа получали составные названия, причем для того, чтобы передать их образ, приходилось соединять самые несочетаемые слова: так

возникла фантастическая зоология, где встречались рыбы-собаки, рыбы-быки, рыбы-тигры, рыбы-хрипуны, рыбы-свистуны, летучие рыбы, рыбы с красными хвостами, рыбы пятнистые, рыжие, как бы татуированные, рыбы со ртом на спине или с пастью посреди туловища, рыбы с белым брюхом, рыбы-мечи и колоснянки; встречались тут даже рыбы, прозванные «охотниками за мошонками», — известны были случаи, когда эти рыбы впивались в срамные места мужчин, — и травоядные рыбы, и песчаные мурены все в красных крапинках, особенно ядовитые, когда они нагло глотают плоды мансанильо, не говоря уже о рыбе-старухе, рыбе-капитане с блестящей, отливающей золотом чешуею вокруг головы, и о рыбе-женщине — таинственной и пугливой морской короле, которую можно увидеть в устьях рек, где смешиваются соленые и пресные воды, — эти рыбы с повадками женщины и грудью сирены весело резвятся, справляя свадьбы на подводных пастбищах. Однако самым несравненным зрелищем — веселым, гармоничным и грациозным — были игры дельфинов, которые выскакивали из воды вдвоем, втроем, а иногда и целыми дюжинами или, сливаясь с волною, подчеркивали контурами своих тел ее прихотливые очертания. Вдвоем, втроем или целыми дюжинами дельфины как бы водили хороводы: неотделимые от волн, они живут их движениями, с такой точностью повторяя все паузы, взлеты, падения и новые паузы в беге морских валов, что чудится, будто они катят на себе эти волны, подчиняя их определенному темпу и такту, ритму и последовательности. Затем дельфины пропадали из виду, исчезали вдали в поисках новых приключений, пока встреча с каким-нибудь кораблем или лодкой вновь не приводила в волнение этих морских танцоров, которым, казалось, были знакомы только прыжки да пируэты, как бы подтверждавшие мифы, сложенные о них...

Иногда над водами воцарялась гробовая тишина, словно предвещающая необычайное Событие, и оно совершалось: на морской поверхности — будто посланец минувших эпох — появлялась гигантская, неповоротливая, допотопная рыба, которую собственная медлительность держала в вечном страхе; ее уродливую голову, состоящую из пасти и маленьких глазок, едва можно было различить на массивном туловище, кожа чудища была покрыта водорослями и паразитами, как давно нечищенный корпус корабля; морское чудовище, раздвигая мощной спиною бурлящие волны, всплывало на поверхность торжественно, как поднятый со дна галион, как патриарх пучины, как Левиафан, извлеченный на свет божий, и вода вокруг пенилась: эта гигантская рыба показывалась над морской гладью, быть может, только во второй раз с той поры, как в этих местах впервые появилась астролябия. Толстокожая громадина приоткрывала свои маленькие глазки и, заметив поблизости утлый рыбацкий челнок, вновь погружалась в воду, охваченная тревогой и страхом, — она спешила вернуться в спасительное одиночество глубин, чтобы переждать там еще век-другой и только затем опять подняться в мир, полный опасностей. Событие завершалось, и обитатели моря вновь возвращались к своим повседневным делам. Морские коньки копошились в песке, покрытом морскими ежами, сбросившими с себя утыканную иглами кожу: высыхая, она походила на шар такой правильной формы, что его можно было свободно представить себе на гравюре Дюрера «Меланхолия»; чешуя рыбы-попугая переливалась на солнце, а тем временем рыба-ангел и рыба-дьявол, рыба-петух и рыба святого Петра исполняли каждая свою роль в торжественной мистерии, свершавшейся на великом театре Вселенского Пожирания, где каждый поедал другого, ибо все тут от века тесно переплетены, спаяны друг с другом и всем уготована одинаковая участь — жизнь в изменчивой стихии...

Некоторые острова были очень узкие, и Эстебан, стараясь забыть о том, что происходило вокруг, в одиночестве отправлялся на противоположный берег, где чувствовал себя полновластным господином: ему безраздельно принадлежали раковины, в которых шумел прилив; принадлежали ему и морские черепахи с топазовыми панцирями, — они прятали свои яйца в ямках, вырытых в песке, а затем старательно закапывали их и разравнивали теплый песок чешуйчатыми лапами; принадлежали Эстебану и великолепные синие камни, которые сверкали на девственных песчаных отмелях, где никогда не ступала нога человека. Принадлежали ему также и пеликаны, совсем не боявшиеся людей, — ведь они их почти не знали; птицы эти степенно летали над лоном вод: важность им придавал раздутый кожистый мешок, они то резко взмывали вверх, то камнем обрушивались вниз, вытянув вперед клюв, на который давила вся тяжесть тела, и сложив крылья, чтобы ускорить свой стремительный полет. Заглотив добычу, пеликан с торжеством вскидывал голову и начинал весело шевелить хвостовыми перьями в знак удовольствия, словно вознося к небу благодарственную молитву, после чего продолжал над самым морем волнообразный полет, который повторял движение морских валов, подобно тому как его повторяли головокружительные прыжки дельфинов. Сбросив с себя одежду, Эстебан растягивался на песке, таком мелком, что самое крохотное насекомое оставляло на нем следы своих лапок: юноше чудилось, будто он один в целом мире, и он весь уходил в созерцание светящихся, почти неподвижных облаков, которые так медленно меняли свою форму, что порою с утра до вечера походили все на ту же самую триумфальную арку или на голову пророка. Полное счастье вне времени и пространства! «Te Deum...» В другой раз, касаясь подбородком свежего листа винограда, он, не отводя глаз, наблюдал за улиткой — одной улиткой, которая высилась, точно памятник, на уровне его бровей, закрывая собою горизонт. Улитка как бы служила посредником между всем изменчивым, ускользающим, текучим, между всем тем, что не подчинялось точным законам и не могло быть измерено, и землею с ее четкими линиями, кристаллической структурой и строгим чередованием явлений, землею, где все можно было ощупать и взвесить. Море, покорное лунным циклам, переменчивое, спокойное или яростное, клубящееся или гладкое, как зеркало, но по природе своей словно бы чуждое коэффициентам, теоремам и уравнениям, породило эти поразительные панцири, которые своими пропорциями и очертаниями символизируют именно то, чего недостает Матери-Земле. В раковине улитки содержатся в зародыше различные сочетания кривых и завитков, подчиненных законам геометрии, конические фигуры удивительной точности, равновесие объемов, почти осязаемые арабески, в них уже угадывается вся причудливая прихотливость барокко. Наблюдая за улиткой — одной улиткой, — Эстебан думал о том, что на протяжении долгих тысячелетий перед взором первобытных народов, живших рыбной ловлей, постоянно находилась спираль, но они еще не способны были не только постичь ее форму, но даже и осознать ее присутствие. Он созерцал похожего на шар морского ежа, спиралевидную раковину моллюска, желобки на раковине святого Иакова и поражался богатству и изощренности Творения форм, открытых невидящему взору человечества, которое не способно было осмыслить то, что представало его глазам. «Верно, и ныне многое вокруг меня приняло четкие и определенные формы, но я не могу постичь их смысл!» — думал Эстебан. Какой знак, какая мысль, какое предупреждение таится в завитках цикория, в немом языке мхов, в строгой форме плода миртового дерева? Созерцать улитку. Одну улитку... Te Deum...

Когда в первый раз была объявлена боевая тревога, Эстебан не на шутку перепугался и поспешил укрыться в глубине трюма, — положение письмоводителя позволяло ему это; однако вскоре он обнаружил, что каперство — как его понимал командующий эскадрой капитан Бартелеми — в общем-то не было связано с серьезными опасностями. Когда маленькая флотилия встречалась с кораблем, на борту которого стояли мощные орудия, она обходила его стороной, не поднимая флага Республики. Если же захват судна казался делом доступным, легкие суденышки преграждали путь кораблю, а бриг давал предупредительный выстрел. И обычно противник без сопротивления спускал флаг в знак сдачи. Корабли эскадры вплотную подходили к судну, французы прыгали на его палубу и начинали осматривать груз. Если он не представлял большой ценности, корсары забирали все, что имело для них интерес — не исключая денег и личных вещей перепуганного экипажа, — и переносили на борт брига «Друг народа» то, что могло им пригодиться. После этого униженный капитан вновь получал право командовать судном и продолжал свой путь или возвращался обратно в порт, чтобы сообщить о случившейся беде. Если же груз представлял серьезную ценность, то корсарам надлежало захватить его заодно с кораблем, — особенно когда корабль был в хорошем состоянии, — и отвести вражеское судно вместе с его командой в Пуэнт-а-Питр. Однако до сих пор небольшой эскадре капитана Бартелеми, трофеи которой старательно подсчитывал Эстебан, еще ни разу не пришлось столкнуться с таким кораблем. В этих местах нечасто встречались крупные торговые суда, здешние воды обычно бороздили небольшие парусники, груженные дешевыми товарами, которые никого не занимали. Корсары не затем покинули Гваделупу, чтобы охотиться за сахаром, кофе и ромом, — всего этого и там было в избытке. Однако даже на самых ветхих и убогих судах французы находили для себя поживу: якорь, оружие, порох, плотничий инструмент, канаты, новую карту с полезными пометками — для плавания вдоль побережья Новой Гранады²²⁶. Кроме того, хорошенько порывшись в сундуках и укромных углах, корсары выискивали для себя и другую добычу. Один забирал две хорошие сорочки и нанковые панталоны, второй — табакерку из эмали или украшенную драгоценными камнями церковную чашу — достояние священника из Картахены; корсары грозились выбросить его за борт, если он не отдаст им «всю обедню» — другими словами, крест и дароносицу, обычно золотые. То были, так сказать, личные трофеи, а потому они не попадали в опись Эстебана, — капитан Бартелеми закрывал на это глаза, так как не желал ссориться со своими людьми, зная, что во времена Республики при столкновении с матросами в проигрыше неизменно оставался офицер, особенно если он, как сам Бартелеми, прежде служил в королевском флоте. Вот почему корма брига «Друг народа» постепенно превратилась в подобие рынка, где происходили купля и обмен различных предметов, разложенных на ящиках или подвешенных на веревках; когда маленькая флотилия бросала якорь в какой-нибудь бухте, чтобы запастись дровами, матросы с «Декады» или «Аврала» являлись на бриг, нередко прихватив с собой вещи для продажи. Чего тут только не было: наряду с платьем, шапками,

²²⁶ Новая Гранада — основанное в 1717 г. испанское вице-королевство, в границы которого входили территории современного Эквадора, Колумбии и части Венесуэлы. Следовательно, корабли курсировали вдоль северных берегов Южной Америки, в Карибском море.

поясами и косынками встречались черепаховые ларцы для мощей; гаванские халаты с пышными кружевными оборками; ореховая скорлупа, в которой умещался целый свадебный кортеж миниатюрных фигурок в мексиканских нарядах; высушенные рыбы, из пасти которых вместо языка выглядывал кусочек красного атласа; набитые соломой чучела маленьких кайманов; человечки из кованого железа, пляшущие озорной танец кандомбе; шкатулки из ракушек; птицы из леденцов; кубинские и венесуэльские трехструнные гитары; возбуждающие зелья, настоянные на ослиннике или на знаменитых лианах, растущих в Сен-Доменге; было тут множество предметов женского туалета — серьги, ожерелья из стеклянных бус, нижние юбки, набедренные повязки индеанок, а также локоны, перехваченные лентами, изображения голых женщин, непристойные гравюры и даже кукла, наряженная пастушкой: под ее юбками скрывалось миниатюрное шелковистое лоно, выполненное с таким искусством, что все просто диву давались. Владелец куклы заломил за нее неслыханную цену, и матросы, которым она оказалась не по карману, называли его мошенником; Бартелеми, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, приказал своему второму помощнику купить фигурку, намереваясь преподнести ее в дар Виктору Югу, — после 9 термидора тот на глазах у всех читал непристойные книги, быть может, желая этим подчеркнуть, что политика Парижа перестала его занимать...

Но однажды матросы эскадры особенно обрадовались: путившись в погоню за португальским кораблем «Ласточка» и захватив его, они обнаружили внушительный груз спиртного, — в трюмах было столько бочек с белым и красным вином, а также с мадерой, что там пахло, как в давилльне. Эстебан поспешил переписать все бочки, чтобы таким образом спасти их содержимое от неутолимой жажды корсаров, которые уже успели завладеть несколькими бочонками и торопливо, захлебываясь, пили вино. Укрывшись в темном прохладном трюме, куда не доносился шум споров и ссор, письмоводительпил в полном одиночестве из вместительной чаши красного дерева, — он прикасался губами к плотной и свежей древесине, как прикасаются к живой плоти, и аромат, исходивший от чаши, смешивался с запахом вина. Во Франции Эстебан научился смаковать чудесный и древний сок земли: этот сок, струившийся из сосков виноградных лоз, вспоил буйную и пышную средиземноморскую цивилизацию — теперь же цивилизация эта продолжалась в Карибском Средиземноморье, где все еще происходило Великое Смещение народов, начавшееся много тысячелетий назад в приморских странах. Здесь, после долгого периода разобщенности, вновь скрещивались расы, различные говоры и физические типы, вновь встречались потомки затерянных по всему свету племен: на протяжении веков они многократно смешивались друг с другом, цвет их кожи не раз менялся, в одно прекрасное утро она светлела и за одну лишь ночь вновь темнела, возвращаясь к прежнему; бесконечно менялись черты их лица, звук голоса, линии тела; такие же перемены происходили и с вином, которое с финикийских кораблей, из погребов Гадеса, из амфор Маркое Сестиос попало на каравеллы человека, открывшего Америку, — оно попало на эти каравеллы вместе с гитарой и трещоткой, чтобы достичь гостеприимных берегов, где должна была произойти трансцендентальная встреча Оливы и Маиса. Вдыхая запах, поднимавшийся от влажной чаши, Эстебан с внезапным волнением вспоминал старинные патриархальные бочки, стоявшие на складе в Гаване, теперь забытом и таком далеком от его нынешних путей, на складе, где вино капало из кранов с тем же размеренным звуком, какой он слышал сейчас вокруг. И вдруг нелепость жизни, которую он все это время вел, с такой ясностью представилась молодому человеку, —

он как бы находился в театре, где разыгрывалось нелепое действо, — что Эстебан прислонился к переборке и застыл в оцепенении, с остановившимся взором, словно с изумлением созерцал самого себя на сцене. Все последнее время море, жизнь, полная приключений и опасностей, почти заглушали в нем его собственное «я», — он испытывал чисто животное удовлетворение, чувствуя себя с каждым днем все более здоровым и сильным. Но теперь, взглянув на себя со стороны, он увидел, что стоит среди бочек с вином в еще вчера незнакомом ему трюме и тщетно пытается понять, что же он, собственно, тут делает. Он искал путь, в котором ему было отказано. Он ждал случая, которому, видно, так и не суждено было представиться. Отпрыск богатой семьи, он исполнял обязанности письмоводителя на корабле корсаров — и само название этой должности звучало нелепо. Не считаясь узником, он оказался им на деле, так как судьба его была отныне связана со страной, против которой боролся весь мир. Словно в кошмарном сне, Эстебан видел самого себя на сцене, где он будто спал наяву, одновременно играя роль судьи и ответчика, будучи сразу и действующим лицом, и зрителем; и все это происходило вблизи островов, походивших на тот единственный остров, куда он не мог попасть; возможно, он обречен всю остальную жизнь вдыхать запахи своего детства, встречать дома, деревья, видеть восходы и закаты, какие он видел в отрочестве (о, эти оранжевые стены, синие двери, гранатовые плоды, свисающие через ограду!), и при этом понимать, что все то, чем он владел в детстве и юности, уже никогда не будет ему возвращено... Однажды вечером в их доме раздался грохот большого дверного молотка, послуживший сигналом к демоническим событиям, — они сразу перевернули жизнь трех человек, которые до той поры были одной семьей; все началось с игры: ее участники тревожили могильный покой Ликурга и Муция Сцевола; затем возникли кровавые трибуналы, вихрь событий охватил город, остров, несколько островов, целое море, и теперь воля Одного человека, ставшего душеприказчиком Другого человека, которого заставили навеки замолчать, грозно нависала над жизнями многих людей. С того дня, когда появился Виктор Юг, — о нем знали тогда только то, что он ходит с зеленым зонтиком, — юноша, который стоял сейчас посреди бочек и бочонков, перестал принадлежать самому себе: отныне его существование, его будущее полностью зависело от чужой воли... А потому лучше всего было пить, чтобы винные пары затуманили беспощадную ясность сознания, столь мучительную в эту минуту, что ему хотелось кричать. Эстебан подставил чашу под кран и наполнил ее до краев. Наверху матросы вновь подхватили хором песню «Три пушкаря из Оверни».

На следующий день французы высадились на пустынном, поросшем лесом берегу, где, по словам лоцмана с брига «Друг народа», было много диких кабанов; лоцман, сын негра и индеанки, уроженец острова Мари-Галант, пользовался у матросов авторитетом, так как превосходно знал эти места. Он советовал пристать к берегу, где били студеные ключи, — в них можно будет охладить вино, достойной закуской к которому послужит копченая свинина. Вскоре охота была уже в полном разгаре, и некоторое время спустя убитые животные, чьи пяточки все еще были судорожно сжаты, как у всех загнанных кабанов, попали в руки корабельного кока и его помощников. Вооружась ножами для чистки рыбы, повара содрали со свиней черную щетинистую кожу, уложили туши на решетчатые жаровни с раскаленными углями, и пока кабаньи спины зарумянивались на огне, их распоротые животы были широко растянуты деревянными колышками. Затем в эти зияющие отверстия, будто мелкий дождь, заструился сок лимона и померанца, градом посыпались соль, перец, душица и

чеснок; в то же самое время над толстым слоем зеленых листьев гуайявы, уложенных на пылающие угли, потянулись завитки белого дыма, пахнувшего свежестью полей, — казалось, будто свиное мясо окропляют сверху и снизу; поджариваясь, оно покрывалось тонкой корочкой бурого цвета, которая время от времени лопалась с сухим треском; из длинных трещин жир капал на дно ямы под жаровней, он шипел на углях, вспыхивал искорками, и сама земля издавала запах копченой свинины. Когда кабаны были почти готовы, их открытое чрево набили перепелками, лесными голубями, цесарками и другими только что ощипанными птицами. После этого колышки, державшие края распоротых свиных животов, были убраны, и ребра зажаренных животных сомкнулись над дичью, образовав как бы гибкие духовки, стенки которых сдавили содержимое, так что темное и постное мясо перемешалось со светлым и жирным; словом, как выразился Эстебан, получилось «знатное жаркое» — настоящая «Песнь песней» поварского искусства. Вино текло рекой в чаши и в глотки, — захмелев, матросы разбивали бочки ударами топоров, сбрасывали их со склонов, и, натываясь на острые камни, бочки разваливались; выстроившись двумя шеренгами друг против друга, люди яростно катали бочки взад и вперед, пока не лопались обручи, разбивали в щепы, дырявили их выстрелами, а какой-то незадачливый танцор, женоподобный и щуплый, кажется, испанец, плававший на судне «Декада» младшим коком, — по его словам, он был другом свободы, — так усердно отплясывал на бочках цыганский танец, что продал несколько днищ; все очень много выпили и в конце концов уснули мертвым сном под деревьями или прямо на песке, еще хранившем тепло солнечных лучей...

Пробудившись на заре и с трудом расправив ноющее тело, Эстебан заметил, что на берегу уже собралось много матросов; они с удивлением смотрели на корабли, которых теперь оказалось пять, считая и «Ласточку». Вновь прибывшее судно было очень старым и ветхим, фигурное украшение на его носу было наполовину разбито, краска на шканцах выцвела и облупилась, — казалось, что этот корабль явился из былых времен, что он принадлежал людям, которые все еще верили, будто там, где кончается Атлантический океан, начинается Море мрака. Вскоре от его обветшалого борта отвалила лодка, в ней было несколько полуголых негров; они гребли стоя, подбадривая себя гортанными криками, как это делают гребцы, поднимающиеся вверх по течению реки. Один из них, видимо, вождь, выпрыгнул на берег и, отвешивая низкие поклоны, которые можно было счесть проявлением дружбы, обратился к негру-коку на каком-то диалекте: кок, уроженец Калабара, с трудом понимал пришельца. В результате этого диалога, участники которого объяснялись не столько словами, сколько жестами, кок выяснил, что старое судно — испанский невольничий корабль, его экипаж взбунтовавшиеся рабы сбросили в море, и теперь они отдают себя под покровительство французов. На всем побережье Африки было уже известно, что Французская республика отменила рабство в своих американских колониях и негры стали там свободными гражданами. Капитай Бартеlemi обменялся рукопожатием с вождем негров и вручил ему трехцветную кокарду; бывшие невольники встретили это восторженными криками, а кокарда стала переходить из рук в руки. Между тем лодка все перевозила и перевозила на берег негров, самые же нетерпеливые добирались вплавь, спеша узнать новости. И внезапно, будучи не в силах сдержаться, негры набросились на остатки жареного кабана — они глодали кости, проглатывали остатки потрохов, вылизывали застывший жир, спеша утолить невыносимый голод, терзавший их уже несколько недель.

— Бедняги, — пробормотал Бартелеми, и на глазах у него выступили слезы. — Уже одно это может искупить множество наших грехов.

Растроганный Эстебан наполнял вином свою чашу и протягивал ее вчерашним рабам, которые благодарно целовали ему руки. Второй помощник капитана брига «Друг народа» надумал произвести осмотр невольничьего корабля; вернувшись, он рассказал, что там полным-полно женщин, они забились в кубрики и трюм: несчастные дрожат от страха, не зная, что происходит на суше. Осторожный Бартелеми запретил высаживать их на берег. На корабль отправили шлюпку с мясом, галетами, бананами и бочонком вина; матросы между тем вновь стали готовиться к прерванной накануне охоте на диких кабанов. На следующий день эскадра должна была возвратиться в Пуэнт-а-Питр вместе с захваченным ею португальским судном и добытыми за это время товарами, грузом вина и неграми, которым предстояло пополнить ряды ополчения, набравшегося из цветных: воинство это постоянно нуждалось в рабочих руках, — Виктор Юг без конца возводил укрепления, видя в них надежную гарантию своей власти. К вечеру опять возобновилось пиршество, но теперь оно носило иной характер, чем накануне. По мере того как вино кружило головы матросам, они все больше интересовались оставшимися на судне женщинами — с берега было видно, как сверкают в лучах заходящего солнца жаровни, и с корабля доносились взрывы женского смеха. Все спрашивали матросов, побывавших на борту невольничьего судна, выпытывали у них все новые и новые подробности. Негритянки были молодые, привлекательные и хорошо сложенные — старухами работорговцы не интересовались, так как на них не было спроса. Винные пары сгущались, и описания становились все более зажигательными: «Yʼen a avec des fesses comme ça... Yʼen a qui sont a poil... Yʼen a une surtout...»²²⁷ И тут десять, двадцать, тридцать матросов кинулись к лодкам и стали грести по направлению к ветхому судну, не обращая внимания на крики капитана Бартелеми, который тщетно пытался их задержать. Негры перестали есть, повскакали со своих мест и начали в тревоге размахивать руками. Вскоре на берег доставили первых негритянок — заплаканных, умоляющих, как видно, не на шутку перепуганных; однако они не сопротивлялись матросам, тащившим их в ближайшие кусты, в то время как остальные моряки провожали их жадными взглядами. Офицеры обнажили шпаги, но никто не обращал на них внимания... Царила невообразимая суматоха. На сушу прибывали все новые и новые группы женщин, они в испуге металась по берегу, спасаясь от матросов. Желая помочь капитану Бартелеми, который до хрипоты бранился, сыпал проклятьями и угрозами, ни на кого не производившими впечатления, негры похватили колья и набросились на белых. Завязалась жестокая схватка, люди катались по песку, колотили и топтали друг друга; более сильный приподнимал своего противника над землей и швырял его на каменистый берег; некоторые в пылу борьбы, сцепившись, падали в море, и каждый пытался потопить другого, удерживая его голову под водой. В конце концов негров загнали в скалистое ущелье и связали цепями и веревками, найденными на невольничьем корабле. Испытывая чувство отвращения, Бартелеми возвратился на бриг «Друг народа», предоставив матросам предаваться оргии. Эстебан, предусмотрительно запасшийся влажным брезентом — он обычно расстилал его поверх нагретого за день песка, — увел одну из негритянок в укромную, поросшую сухим лишайником лощинку, которую он обнаружил среди

227 «Есть там такие толстозадые... И совсем голые... А уж особенно одна...» (искаж. франц.)

утесов. То была совсем юная девушка; поняв, что она избавилась от более тяжелых испытаний, негритянка покорно подчинилась ему и принялась разматывать рваное полотнище, покрывавшее ее тело. Соски на ее упругой груди были густо выкрашены охрой; затем взору Эстебана предстали ее лоснящиеся твердые и мускулистые бедра... Над островом звучал приглушенный хор голосов, можно было различить взрывы смеха, восклицания, шепот, а порою все покрывал хриплый рев, точно где-то неподалеку стонал в своем логове раненый зверь. Время от времени доносился шум ссоры; должно быть, несколько матросов бранились из-за обладания одной и той же женщиной. Эстебану показалось, будто он вновь ощутил запах, гладкость кожи, почувствовал дыхание и жесты женщины, которая некогда, неподалеку от арсенала в Гаване, заставила его впервые испытать сладостную дрожь, пронзавшую все тело. Той ночью островом безраздельно владел Приап. Мужчины и женщины превратились в жрецов и жриц этого божества, они истово совершали обряд в его честь, все вместе возносили ему молитвы; в эти часы они не знали удержу, не признавали ни власти, ни закона... На заре громко запели фанфары, и капитан Бартелеми, твердо решивший вновь укрепить свою власть, приказал всем немедленно вернуться на корабли. Тот, кто задержится на острове, там и останется! Между капитаном и матросами вновь вспыхнул спор, — люди хотели сохранить «своих» негритянок, говоря, что это их личная и законная добыча. Командующий эскадрой успокоил матросов, торжественно пообещав вернуть им женщин по прибытии в Пуэнт-а-Питр. Только там — и не раньше — бывшие рабы будут освобождены с соблюдением всех необходимых формальностей и станут французскими гражданами. Негры и негритянки возвратились на свое судно, и эскадра двинулась в обратный путь... Однако вскоре Эстебан, который за последнее время научился довольно хорошо определять направление, — помимо всего прочего, он приобрел и некоторый опыт в навигации, — заметил, что корабли идут не к острову Гваделупа, а отклоняются несколько в сторону от него. Выслушав письмоводителя, капитан Бартелеми нахмурил брови.

— Оставьте свое открытие для себя, — проворчал он. — Вы отлично понимаете, что я не могу выполнить обещание, которое дал этим разбойникам. То был пагубный пример. Да и комиссар ничего подобного не потерпит. Мы держим курс на один из принадлежащих Голландии островов, где продадим негров.

Эстебан растерянно уставился на него и напомнил Бартелеми о существовании декрета, уничтожившего рабство. Ничего не ответив, капитан вытащил из ящика стола пачку инструкций, написанных рукою самого Виктора Юга: «Франция, исходя из своих демократических принципов, не может заниматься работорговлей. Однако капитанам корсарских кораблей предоставляется право — если они найдут это необходимым или уместным — продавать в голландских портах рабов, захваченных у англичан, испанцев и прочих врагов Республики».

— Но ведь это низость! — воскликнул Эстебан. — Выходит, мы запретили у себя работорговлю для того, чтобы сбывать невольников другим народам?

— Я следую письменным указаниям, — сухо ответил Бартелеми. И, словно чувствуя, что должен привести какой-то неоспоримый довод, он прибавил: — Мы живем в нелепом мире. Незадолго до революции в здешние гавани нередко заходило невольничье судно, принадлежавшее судовладельцу-философу, другу Жан-Жака Руссо. И знаете, как назывался этот корабль? «Общественный договор»!

За несколько месяцев корсарская война, которую вели французы, превратилась в необыкновенно выгодное занятие. С каждым днем корсары становились все более дерзкими, успех и жажда наживы словно прищпоривали их, они мечтали о новой добыче; вот почему капитаны кораблей из Пуэнт-а-Питра отваживались теперь заходить все дальше — к побережью Новой Гранады, к острову Барбадос и Виргинским островам, они не боялись показываться даже в тех местах, где могли встретиться с грозной вражеской эскадрой. Постепенно каперские корабли совершенствовали свои методы. Возродив традиции былых корсаров, французские моряки предпочитали действовать небольшими эскадрами, состоявшими из маленьких, но быстроходных кораблей — шлюпов, куттеров, шхун; на таких судах было легко маневрировать и скрываться, они позволяли стремительно уходить от погони и настойчиво преследовать противника, они были гораздо удобнее тяжелых и неповоротливых судов, представлявших собою удобную мишень для вражеской, в частности британской, артиллерии: английские канониры придерживались иной тактики, нежели французские, они не старались поразить ядрами мачты корабля, а норовили продырявить его корпус; дождавшись минуты, когда волны накрывали судно и пушечные жерла смотрели вниз, они били наверняка. В гавани Пуэнт-а-Питра теперь теснилось множество новых кораблей, а портовые склады уже не могли вместить груды товаров и всевозможных предметов; поэтому пришлось строить навесы по всему берегу вдоль мангровых зарослей, окаймлявших город, — добыча все росла и росла. Виктор Юг немного располнел, но, хотя мундир с каждым днем становился ему все теснее, энергии у него не убавилось. Вопреки ожиданиям, Директория, у которой в далекой Франции было дел по горло, признала заслуги комиссара, отвоевавшего колонию у англичан и сумевшего ее удержать, — Юг был оставлен на своем посту. Таким образом, ему удалось утвердить в этой части земного шара свою единоличную власть, и он вел себя так, будто никому не подчинялся и ни от кого не зависел: Виктор сумел почти в полной мере воплотить в жизнь свое заветное желание — сравниться с Неподкупным. Он мечтал стать Робеспьером, правда, Робеспьером на собственный лад. Подобно тому как Робеспьер говорил о *своем* правительстве, *своей* армии, *своем* флоте, так и Юг говорил теперь о *своем* правительстве, *своей* армии, *своем* флоте. К Виктору вернулось былое высокомерие, и нередко за игрой в шахматы или в карты он упоминал о себе как о единственном человеке, который продолжает дело революции. Он хвастливо заявлял, что больше не читает парижских газет, так как от них «несет жульничеством». Между тем Эстебан замечал, что Виктор, весьма кичившийся благосостоянием острова и тем, что он, Юг, все время посылает во Францию деньги, стал удивительно походить на преуспевающего коммерсанта, который с удовольствием подсчитывает свои богатства. Когда французские корабли возвращались в порт с добычей, комиссар присутствовал при их разгрузке и на глаз определял ценность тюков, бочек, различной утвари и оружия. С помощью подставных лиц он открыл лавку колониальных товаров неподалеку от площади Победы: некоторые товары можно было приобрести только там, и продавались они по произвольно установленной цене. Почти каждый вечер Виктор заходил сюда и просматривал счетные книги в слабо освещенной комнате, где пахло ванилью; закругленные сверху двери лавки, выходившей на угол, были обиты железными полосами. Раздобрел не только Юг, подобрела и приобрела солидность и гильотина —

теперь она день работала, а четыре отдыхала: приводили ее в действие помощники господина Анса, сам же он большую часть времени занимался тем, что пополнял коллекции своей кунсткамеры, где уже имелось богатейшее собрание жесткокрылых и чешуекрылых насекомых, снабженных пышными латинскими названиями. Все в городе стоило очень дорого, цены непрерывно росли, но тем не менее, хотя торговля с иноземными купцами почти не велась, деньги всегда находились, и звонкая монета возвращалась — неизменно возвращалась — в одни и те же карманы; надо сказать, что мало-помалу серебряные монеты не без помощи напильника становились все тоньше, что было заметно даже на ощупь, но ценили их все больше и больше...

Во время одной из стоянок в Пуэнт-а-Питре Эстебан — он загорел до черноты и походил теперь на мулата — с радостью узнал, что недавно заключен мир между Испанией и Францией. Юноша подумал, что вновь будет установлено сообщение между Гваделупой и Новой Гранадой, Пуэрто-Рико, Гаваной. Однако его ожидало горькое разочарование: Виктор Юг не пожелал признать договор, подписанный в Базеле. Он по-прежнему захватывал испанские корабли «по подозрению в контрабандной доставке военного снаряжения англичанам»; капитанам корсарских кораблей было предоставлено право «реквизировать» испанские суда и самим решать, что именно следует понимать под военной контрабандой. Эстебан по-прежнему был вынужден исполнять обязанности письмоводителя эскадры капитана Бартелеми; он убедился, что нет никакой возможности вырваться из тяготившего его мира, который благодаря жизни в море — далекой от повседневной суеты и подчинявшейся только закону ветров — становился ему все более чуждым. Проходили месяцы, и юноша смирился с мыслью, что надо жить сегодняшним днем — не считая дней — и довольствоваться скромными радостями, которые может доставить человеку безоблачная погода или веселая рыбная ловля. Он привязался к некоторым из своих товарищей по плаванию: к капитану Бартелеми, сохранявшему привычки офицера старого режима и заботившемуся о своем внешнем виде даже в самые грозные минуты; к хирургу Ноэлю, который писал нескончаемый и путаный трактат о вампирах Праги, об одержимых бесом жителях Лудена и о страдающих падучей нищих из Сен-Медара; к мяснику Ахиллу, негру с острова Тобаго, который исполнял удивительные сонаты на котлах разной величины; к гражданину Жиберу, мастеру-конопатчику, читавшему наизусть длинные отрывки из классических трагедий, — Жибер был южанин, и поэтому в его устах александрийские стихи не укладывались в традиционный размер, в них всякий раз оказывалось лишнее число слогов, так как он произносил не «Брут», а «Бруте» и не «Эпаминонд», а «Эпаминонде». Кроме того, мир Антильских островов завораживал юношу постоянной игрой света и разнообразием форм, тем более удивительных, что они возникли в одном и том же климате и в окружении одной и той же растительности. Эстебану нравился гористый остров Доминика, окруженный зеленою пучиной: города тут носили названия «Батай», «Массакр»²²⁸ в память грозных событий, о которых не найти упоминания в истории. Для него стали привычными облака, всегда нависавшие над островом Невис и так мягко окутывавшие его холмы, что, увидев эти облака, Великий адмирал принял их за не существующие в этих местах ледники. Юноша мечтал когда-нибудь взобраться на остроконечную скалу, венчавшую остров Сент-Люсия, — ее громада поднималась из морских волн и походила издали на маяк,

228 «Битва», «Резня» (франц.).

воздвигнутый неведомыми строителями, словно в ожидании кораблей, которые однажды доставят сюда на своих мачтах крест. Приветливые и гостеприимные, если к ним приближались с юга, острова этого бесконечного архипелага с северной стороны, где постоянно дули сильные ветры, были скалисты, неприступны, источены высокими и пенными морскими валами. Множество легенд о кораблекрушениях, утраченных сокровищах, безвестных могилах, обманчивых огнях, вспыхивавших по ночам во время бури, заранее предсказанных рожденьях — о грядущем появлении на свет госпожи де Ментенон²²⁹, некоего сефардского чудотворца, амазонки, которая стала впоследствии царицей Константинополя, — было связано с этими землями. Эстебан любил негромко повторять их названия, чтобы насладиться музыкой слов: «Туртерель», «Сент-Урсюль», «Вьерж-Грас», «Нуайе», «Гренадин», «Жерюзалем-Томбе»... Иногда по утрам море бывало такое спокойное и тихое, что равномерное поскрипывание такелажа — звуки эти в зависимости от их продолжительности были то более высокими, то более низкими — разносилось по всему кораблю от носа и до кормы; можно было различить анакрузы²³⁰ и громкие такты, форшлаг и пиццикато, которые время от времени перемежались с резким, отрывистым звуком, издаваемым своеобразной арфой, где струнами служили канаты, отзывавшиеся на неожиданный порыв ветра. Но в тот день легкий ветер внезапно усилился, окреп и гнал высокие и тяжелые волны. Море из светло-зеленого сделалось темно-зелёным, потускнело, оно бурлило все сильнее, меняя свои оттенки, и становилось то зеленовато-черным, то графитно-зеленым. Бывалые матросы втягивали ноздрями воздух, — эти морские волки знали, что, стиснутый черными тучами, он пахнет совсем по-особому; временами ветер стихал, и начинался теплый дождь, с неба падали тяжелые, как ртуть, капли. Сгустились сумерки, и вдруг их прорезал крутящийся столб смерча, корабли, будто приподнятые ладонями великана, понеслись по гребням волн и затерялись в ночи, испуганно мерцая фонарями. Под ними неистово бурлила пучина, взбунтовавшиеся воды били в нос и в борта судна, идущие снизу валы ударяли в киль, и, несмотря на отчаянные маневры рулевого, кораблю не удавалось увертываться от свирепых волн, которые перекатывались по палубе от одного борта к другому, когда бриг не успевал подставить им корму. Капитан Бартелеми приказал натянуть кормовые леера, чтобы людям было легче бороться со стихией.

— Мы угодили в самое пекло, — проворчал он, поняв, что разыгрывается настоящая буря, какие бывают в октябре: она заявляла о себе самым недвусмысленным образом, предупреждая, что достигнет апогея после полуночи.

Захваченный врасплох, Эстебан понял, что на сей раз ему не уйти от грозного испытания; он заперся у себя в каюте и попытался заснуть. Однако юноше ни на минуту не удалось сомкнуть глаз: едва он растягивался на койке, как ему начинало казаться, будто все внутри у него переворачивается. Теперь вокруг корабля со всех сторон слышался ужасающий рев, он прокатывался вдоль горизонта, и каждый шпангоут, каждая доска на судне отвечали ему жалобным стоном. Шли часы, матросы на палубе ожесточенно боролись с бурей, а бриг мчался по волнам с

²²⁹ *Госпожа де Ментенон, Франсуаза* (1635–1719) — одна из фавориток Людовика XIV, его морганатическая супруга, вдохновительница крутых мер против французских протестантов.

²³⁰ *Анакруза* (или *затакт*) — звук, предшествующий первой сильной доле следующего такта.

головокружительной быстротою, взлетал вверх, нырял вниз, вздрагивал, накренился набок, все больше углубляясь в зловещее царство урагана. Эстебан даже не пытался овладеть собой: прижавшись спиной к койке, охваченный страхом, испытывая тошноту, он ждал, что вода вот-вот хлынет в люки, наполнит трюмы, высадит двери... И вдруг, незадолго до рассвета, ему показалось, что грозный рык, доносившийся с небес, стал тише, а удары волн — реже и слабее. Наверху, на палубе, матросы во весь голос хором возносили молитву своей извечной заступнице, пресвятой деве, которая всегда защищает мореплавателей от гнева господня. Весьма кстати обновив старинную французскую традицию, застигнутые бедой корсары Республики умоляли мать Христа-искупителя окончательно усмирить волны и унять ветер. Люди, которые так часто распевали непристойные куплеты, теперь благоговейно возносили мольбы той, что зачала без греха. Эстебан осенил себя крестным знаменем и поднялся на палубу. Опасность миновала: «Друг народа», один, ничего не зная об остальных кораблях эскадры, — быть может, сбившихся с курса, быть может, затонувших, — входил в усеянный островами залив. Да, залив был усеян островами, но то были удивительно маленькие островки, они напоминали эскизы, наброски подлинных островов, собранные тут, словно этюды, зарисовки, отдельные части будущих статуй в мастерской скульптора. Ни один из этих островков не походил на другой, и, создавая их, природа пользовалась различными материалами. Одни острова, казалось, были из белого мрамора, на их блестящей каменистой поверхности ничего не росло, они казались римскими бюстами, по плечи погруженными в море; другие торчали из воды громадными глыбами кварца с параллельными прожилками, на верхних, искрошенных уступах этих островков цеплялись за камни когтистыми корнями два или три дерева с искривленными сухими ветвями, а иногда — только одно бесконечно одинокое дерево с побелевшим от морской соли стволом, похожее на огромную водоросль. Некоторые из островков были до такой степени источены волнами, что будто плавали на воде без всякой видимой опоры; другие сплошь поросли чертополохом или были завалены обломками обрушившихся скал. В прибрежных утесах море вырыло гроты, и там со сводов вниз головой свисали гигантские кактусы с желтыми или красными цветами, вытянутыми наподобие фестонов, — они напоминали причудливые театральные люстры; гроты эти казались святилищами загадочных творений природы — цилиндрических, пирамидальных, многогранных, они одиноко возвышались на пьедестале, точно таинственные предметы поклонения, священный камень из Мекки, геометрическая эмблема, воплощение какого-то непонятого культа. Бриг все больше углублялся в этот странный мир, совершенно незнакомый лоцману, который даже затруднялся определить его местонахождение, так как ночью во время бури корабль сильно отклонился от курса; Эстебану, с изумлением взиравшему на все это, хотелось придумать островам названия: вот этот следовало бы именовать островом Ангела, ибо на одном из его утесов, точно на фреске, виднелись очертания распростертых крыльев — как на византийских иконах; тот надо было бы окрестить островом Горгоны, потому что он был увенчан зелеными змеями лиан; следующий остров походил на срезанный шар, соседний — на раскаленную наковальню, а чуть подальше волны омывали Мягкий остров, — покрытый плотным слоем гуано и пеликаньего помета, он казался светлым и мягким комком, покачивающимся на воде. За островом, который можно было бы назвать Лестницей, Уставленной Свечами, виднелся остров Сторожевого Холма; остров, напоминавший галион на мели, сменялся островом, похожим на замок, — его изрезанный узкими расселинами берег хлестали пенные

волны, разбиваясь об отвесный утес, они взлетали вверх высоким фонтаном брызг. От острова Хмурый Утес корабль направился к острову Лошадиная Голова — вместо глаз и ноздрей тут были зловещие темные впадины, — миновав по пути Обшарпанные острова, состоявшие из таких древних, жалких, убогих скал, что они смахивали на нищих в лохмотьях; особенно неприглядными они казались в окружении других утесов, возникших много тысячелетий спустя, а потому свежих, блестящих, отливавших слоновой костью. Уже остался позади грот, походивший на храм, воздвигнутый в честь каменного идола — треугольного утеса, затем Проклятый остров, весь опутанный корнями морского фикуса: корни-щупальца с каждым годом все разбухали и разбухали, пока наконец не разрушали камень. Эстебан с изумлением обнаружил, что этот чудесный залив представлял собою как бы уменьшенную копию Антильского архипелага, — все, что было в нем, повторялось на Антильских островах и вокруг них, но только в большем масштабе. Здесь, как и на Архипелаге, также можно было увидеть вулканы, выступающие из воды. Однако достаточно было появиться полсотне чаек, чтобы вулканы эти побелели, как от снега. Встречались тут и свои Вьерж-Грас и Вьерж-Мэгр, однако достаточно было поместить рядом десятков морских вееров, и они бы закрыли всю их поверхность... Бриг уже несколько часов медленно плыл по заливу, глубину то и дело приходилось измерять лотом; и вдруг глазам матросов открылось сероватое побережье, утыканное шестами, где сушились большие сети. Здесь раскинулась рыбачья деревушка — семь хижин, крытых пальмовыми листьями, с общими навесами, под которыми хранились лодки; вблизи возвышалась сложенная из булыжника дозорная башня; с нее наблюдатель внимательно следил за морем, ожидая появления косяка рыб, а рядом с ним лежала раковина, в которую он должен был трубить, подавая сигнал. Вдали, на вершине горного отрога, виднелся мрачный замок с зубчатой стеною, сложенной из грубых камней: его, точно ограда, окаймляла цепь фиолетовых утесов.

— Салинас-де-Арайя, — сказал лоцман, обратившись к капитану Бартелеми, который приказал круто повернуть, чтобы избежать встречи с грозной крепостью, воздвигнутой Антонелли — военным зодчим короля Филиппа II.

Крепость эта, как часовой, уже несколько веков стояла на страже сокровищ Испании. Избегая подводных рифов, судно на всех парусах покинуло пределы залива, который, как всем теперь стало ясно, был заливом Санта-Фе.

XXVII

Прошло несколько месяцев. Корсарская война продолжалась. Капитан Бартелеми предпочитал всегда действовать наверняка и без риска, он не стремился прослыть грозой морей, но на расстоянии чуял слабо защищенную и богатую добычу. Если не считать неудачного столкновения с датским кораблем из Альтоны²³¹, экипаж которого мужественно сражался, отказываясь спустить флаг, и бесстрашно атаковал корсарские суда, преграждавшие ему путь, то жизнь на эскадре текла спокойно и благополучно; что же касается писмоводителя, большую часть дня занятого чтением, то его никак нельзя было назвать героем, и матросы, добродушно потешаясь над ним, всякий раз, когда на горизонте показывалась рыбачья шлюпка, советовали ему

²³¹ Город Альтона на правом берегу Эльбы, в настоящее время один из районов Гамбурга, в XVII–XVIII вв. принадлежал Дании.

спрятаться в трюме. «Друг народа» находился в постоянном движении и проводил в порту лишь то время, какое требовалось для разгрузки, — бес наживы владел его капитаном, с завистью наблюдавшим за быстрым обогащением многих своих коллег; однако, судя по всему, корабль вот-вот мог выйти из строя. Достаточно было легкого ненастья, и бриг начинал стонать и жаловаться, как женщина, он стал медлителен и неповоротлив. Все доски его скрипели. Краска на мачтах и на бортах потрескалась и облупилась. Планширы были изуродованы вмятинами и перепачканы грязью. Судно нуждалось в срочном ремонте, и потому Эстебан внезапно оказался на Гваделупе, — в последнее время он лишь ненадолго попадал сюда и не успел заметить происшедших на острове перемен. Пуэнт-а-Питр и в самом деле превратился теперь в богатейший город Америки. Пожалуй, даже Мехико, о котором рассказывали столько чудес, Мехико, славившийся своими золотых и серебряных дел мастерами, своими рудниками и большими прядельными мастерскими, никогда не знал такого процветания. Здесь, в Пуэнт-а-Питре, золото струилось потоком, в солнечных лучах сверкали чеканенные в Туре луидоры, испанские дублоны, британские гинеи, португальские моэды с изображением Жуана V, королевы Марии и Педру III²³²; что же касается серебра, то оно попадало в руки людей в виде экю достоинством в шесть ливров, филиппинских и мексиканских пиастров, не говоря уже о восьми мелких монетах, изготовлявшихся из сплава серебра и меди, — с этими монетками каждый поступал, как ему заблагорассудится; их обрубали, дырявили, спиливали. У вчерашних лавочников кружилась голова, и они стремились стать владельцами корсарских кораблей: тот, кто был побогаче, обходился собственными средствами, а другие объединялись в акционерные общества и коммандитные товарищества. Старые Ост-Индская и Вест-Индская компании с их набитыми золотом сундуками словно возрождались в этой удаленной части Карибского моря, где революция упрочивала — и весьма ощутимо — благосостояние многих. Реестр трофеев становился все объемистее, и теперь на листах конторских книг перечислялись уже названия пятисот восьмидесяти судов различных видов и происхождения: они были взяты корсарами на abordаж, разграблены или приведены в порт французскими эскадрами. Обитатели Пуэнт-а-Питра сейчас мало интересовались тем, что происходит во Франции. Гваделупе хватало ее собственных дел, и отныне на нее с симпатией и даже с завистью взирали некоторые испанцы с континента, в руки которых через голландские владения попадала пропагандистская литература.

Трудно было представить себе более торжественное зрелище, нежели возвращение пенителей морей в порт после успешной экспедиции: сойдя на берег, они церемониальным маршем шествовали по улицам. При этом корсары несли образцы ситца, оранжевого и зеленого муслина, шелков из Масулипатама, мадрасских тюрбанов, манильских шалей и различных дорогих тканей, от которых у женщин рябило в глазах; моряки были разряжены самым причудливым образом, следуя установившейся в этих местах моде: они шли босиком — или в чулках, но без башмаков, — предоставляя публике любоваться своими расшитыми золотом блестящими мундирами, опушенными мехом камзолами и разноцветными шейными платками; а на голове у каждого — это было, можно сказать, делом чести — красовался пышный головной убор: войлочная шляпа с отогнутыми полями,

²³² Моэды, точнее, моидоры — золотые португальские монеты весом 4,5 г, имевшие хождение в XVIII в. Жуан V, Мария и Педру III — португальские короли, правившие страной в XVIII — начале XIX в.

увенчанная перьями цветов республиканского флага. Негр Вулкан скрывал свое изъеденное проказой тело под таким роскошным нарядом, что походил на императора в день триумфа. Англичанин Джозеф Мэрфи, взгромоздившись на ходули, бил в медные тарелки перед самыми балконами. Сойдя на берег с кораблей, корсары, провожаемые восторженными кликами толпы, направлялись в квартал Морн-а-Кай, где моряк, их бывший товарищ, а ныне инвалид, открыл кофейню «Приют санюлотов»; тут над стойкой висели клетки с туканами и какими-то певчими птицами, а стены были испещрены карикатурами и непристойными надписями, сделанными углем. Потом начиналась попойка: по три дня подряд корсары пили и гуляли, а судовладельцы тем временем наблюдали за разгрузкой товаров, которые раскладывали на столах и прилавках тут же, у самых кораблей, и распродавали... Однажды вечером Эстебан, к своему величайшему удивлению, повстречал в кофейне Виктора Юга; тот был окружен капитанами судов и беседовал с ними о вещах слишком серьезных для такого заведения.

— Присаживайся, дружок, и закажи себе что-нибудь, — обратился агент Директории к юноше.

Виктор Юг был удостоен этого звания некоторое время назад, однако он, видимо, чувствовал себя недостаточно уверенно и в тот день говорил тоном человека, жаждущего услышать одобрение собеседников. Ссылаясь на различные сведения и цифры, приводя отрывки из официальных и полуофициальных донесений, он обвинял жителей Северной Америки в том, что те продают оружие и корабли англичанам в тайной надежде ускорить уход Франции из ее американских колоний; при этом они забывают, чем обязаны этой стране.

— Само слово «американец», — восклицал Виктор, повторяя фразу из свежей прокламации, — возбуждает в здешних краях презрение и ненависть. Американец сделался ретроградом, врагом всяческой свободы, а ведь сколько времени он разыгрывал перед миром свою квакерскую комедию! Соединенные Штаты ныне проникнуты кичливым национализмом, они теперь видят врага во всяком, кто может поколебать их могущество. Те же самые люди, которые недавно боролись за независимость своей страны, в наши дни отказываются от всего, что составляло их величие. Следует напомнить этим вероломным господам, что, если бы не мы, проливавшие свою кровь и не жалевшие денег для того, чтобы помочь им завоевать эту самую независимость, Джордж Вашингтон был бы повешен как изменник.

И Юг хвастался тем, что он будто бы направил послание Директории, побуждая ее объявить войну Соединенным Штатам. Однако полученные им в ответ инструкции свидетельствовали о полном непонимании существующего положения: сначала ему предписывали осторожность, а вскоре стали даже бить тревогу и строго призывали к порядку. И виной всему, продолжал Виктор, кадровые военные, вроде Пеларди, которых он, Юг, выслал из колонии после бурных столкновений, так как эти офицеры не раз вмешивались в дела, их не касавшиеся; теперь же они плетут против него интриги в Париже. Он напоминал об успехе всех своих начинаний, об освобождении острова от англичан, о нынешнем благосостоянии Гваделупы.

— Что до меня, то я буду продолжать военные действия против Соединенных Штатов. Этого требуют интересы Франции, — закончил Юг с вызовом и таким решительным тоном, словно заранее хотел пресечь все возражения.

Совершенно очевидно, сказал себе Эстебан, теперь Юг, до сих пор пользовавшийся неограниченной властью, чувствует, что вокруг него появились сильные люди, —

успех и богатство укрепили их могущество. Одним из таких людей был Антуан Фюэ, моряк из Нарбонна, которому Виктор поручил командовать великолепным кораблем, оснащенный на американский лад, с планширами красного дерева, оправленными медью; Фюэ стал легендарной личностью и любимцем толпы с того дня, когда обстрелял португальский корабль золотыми монетами за неимением картечи для пушек. После сражения хирургам его корабля «Несравненный» пришлось немало повозиться с убитыми и ранеными матросами противника: при помощи скальпеля они извлекали монеты из мышц и внутренних органов пострадавших. Этот самый Антуан Фюэ, прозванный «Капитан Златострел», осмелился запретить агенту Директории, сославшись на то, что тот представляет не военную, а гражданскую власть, доступ в клуб моряков: самые влиятельные из командиров корсарских кораблей открыли его в помещении бывшей церкви, сады и земельные угодья которой занимали целый городской квартал; забавы ради они назвали свой клуб «Пале-Рояль». Эстебан с изумлением узнал, что в среде французских корсаров вновь возродилось франкмасонство, причем оно приобрело широкий размах. В «Пале-Рояле» расположилась масонская ложа, где опять были воздвигнуты колонны Иоахима и Боаса. От недолговечного культа Верховного существа люди быстро отказались и вновь возвратились к Великому зодчему, к Акации и к молотку Хирама-Аби. В роли мастеров и рыцарей ложи выступали капитаны Лаффит, Пьер Гро, Матье Гуа, Кристоф Шолле, перебежчик Джозеф Мэрфи, Ланглуа Деревянная Нога и даже мулат по прозвищу «Петреас-мулат»; традиции франкмасонства были возрождены на Гваделупе благодаря рвению братьев Фюэ — Модеста и Антуана. Таким образом, те же самые руки, которые во время абордажа сжимали короткоствольные ружья и обшаривали трупы в поисках монет, почерневших от запекшейся крови, на церемонии посвящения в масоны выхватывали из ножен благородные шпаги. «Вся эта путаница, — думал Эстебан, — происходит потому, что люди тоскуют по распятию. Любой тореадор, любой корсар нуждается в храме, где бы он мог возносить благодарственную молитву божественной силе, сохранившей ему жизнь во время тяжелых испытаний. Мы еще увидим, как они станут давать обеты и приносить дары своей извечной заступнице, пресвятой деве». Юноша радовался про себя, замечая, что подспудные силы начинают подтачивать могущество Виктора Юга. В его душе совершался тот своеобразный процесс утраты былой привязанности, в силу коего мы начинаем желать унижения и даже падения людей, которыми еще недавно восхищались, но которые стали слишком недоступными и высокомерными. Эстебан бросил взгляд на помост гильотины, стоявшей на своем обычном месте. Испытывая отвращение к самому себе, он тем не менее не в силах был противиться соблазну и подумал, что грозная машина, которая в последнее время реже приводилась в действие и по целым неделям стояла закрытая чехлом, быть может, поджидает человека, Облеченного Властью.

— Какая же я свинья, — вполголоса пробормотал юноша. — Будь я верующим христианином, я поспешил бы исповедаться.

Прошло несколько дней, и в портовом квартале, иначе говоря, во всем городе, воцарилось радостное возбуждение. Под гром пушечных залпов в гавань вошла эскадра капитана Кристофа Шолле, о которой уже два месяца не было никаких известий; теперь корсары возвратились, ведя за собой девять кораблей, захваченных во время морского сражения в прибрежных водах острова Барбадос. Над одним из кораблей развевался испанский флаг, над другим — английский, над третьим — североамериканский; а на последнем судне обнаружился редкостный груз — оперная

труппа с музыкантами, партитурами и декорациями. То была труппа артистов во главе с господином Фокомпре, первоклассным тенором, который уже несколько лет ездил из Кап-Франсэ в Гавану и в Новый Орлеан и ставил там различные оперные спектакли; гвоздем его репертуара была опера Гретри «Ричард Львиное Сердце», кроме того, туда входили «Земира и Азор», «Служанка-госпожа», «Прекрасная Арсена»²³³ и прочие пышные представления, в которых применялись движущиеся декорации, волшебные зеркала и шумовые эффекты. Ныне эта гастрольная поездка, имевшая целью познакомиться с оперным искусством Каракас и другие города Америки, в которых маленькие труппы, не требовавшие больших расходов для передвижения, выступали с выгодой и успехом, заканчивалась в Пуэнт-а-Питре, городе, где не было своего театра. И господин Фокомпре, не только артист, но и театральный импресарио, зная уже, как разбогатела за последнее время Гваделупа, поздравлял себя с тем, что попал сюда, хотя всего несколько дней назад он не на шутку перепугался во время абордажа; правда, у него и тогда хватило присутствия духа: он нырнул в люк и оттуда давал своим соотечественникам корсарам полезные советы. Артисты труппы были французы, окружали их теперь тоже французы, и певец, привыкший воспламенять монархически настроенных колонистов исполнением арии «О Ричард! Мой король!», внезапно ощутил прилив республиканских чувств и, взобравшись на шканцы флагманского корабля корсаров, к великому удовольствию экипажа, запел во весь голос песню «Пробуждение народа»; он пел с таким подъемом, что от его рулад — это мог подтвердить второй помощник капитана — звенели бокалы в офицерском салоне. Вместе с Фокомпре прибыли госпожа Вильнёв — которая с одинаковым успехом читала стихи и исполняла в случае нужды роль простодушной пастушки, равно как и роли матери Гракхов и злосчастной королевы, — а также барышни Монмуссе и Жандвер, говорливые блондинки, превосходные исполнительницы легких арий в духе Паизиелло и Чимарозы. Люди, столпившиеся на берегу, разом позабыли о кораблях, взятых в ожесточенной схватке, как только увидели выходивших на пристань артистов: актрисы щеголяли в туалетах, сшитых по последней моде, моде, еще совершенно неизвестной на Гваделупе, где никто и представления не имел о немислимых шляпах, греческих сандалиях и полупрозрачных туниках с высокой талией, придававших стройность фигуре; дорожные сундуки певиц были битком набиты роскошными платьями — увы, в пятнах от пота; картонные колонны и деревянные престолы погрузили на спины носильщиков, а концертные клавикорды доставили в бывший губернаторский дворец в повозке, запряженной мулами, причем этот музыкальный инструмент везли с такими предосторожностями, словно то был ковчег завета. В город, где не было театров, прибыла театральная труппа, — следовало позаботиться о помещении для нее, и поэтому были приняты необходимые меры... Помост гильотины мог служить превосходной сценой, и грозную машину отвезли на задний двор соседнего дома; там она оказалась в распоряжении кур, которые спали на ее поперечных перекладинах, как на насесте. Доски эшафота старательно отмыли и соскоблили с них следы крови; между деревьями натянули брезент, и началась репетиция самой популярной пьесы репертуара, — она не только пользовалась всемирной известностью, но и содержала несколько куплетов, проникнутых вольнолюбивым духом: это был «Деревенский колдун» Жан-Жака Руссо. В

²³³ «Служанка-госпожа» — опера итальянского композитора Джованни Батисты Перголези (1710–1736). «Прекрасная Арсена» — опера французского композитора Пьера-Александра Монсиньи (1729–1817).

распоряжении господина Фокомпре было мало музыкантов, и директор театра решил было увеличить их число за счет музыкантов из оркестра баскских стрелков. Однако обнаружилось, что доблестные вояки лихо исполняли свои партии, но с опозданием на пять тактов, и капельмейстер труппы предпочел обойтись без их услуг; решено было аккомпанировать певцам на клавикордах, а также на гобоях и скрипках, о чем обещал позаботиться господин Анс.

И через несколько дней на площади Победы состоялось торжественное вечернее представление. На этом представлении присутствовали все новоявленные богачи колонии. Простолюдинов оттеснили назад, на самый край площади, места, отведенные для именитых граждан, были отделены от толпы канатами, обтянутыми синим бархатом с трехцветными бантами; наконец показались капитаны кораблей в расшитых золотом мундирах, с орденами на груди; у каждого была перевязь через плечо и кокарда на шляпе; они пришли в сопровождении своих любовниц, разряженных и увешанных настоящими и фальшивыми драгоценностями, браслетами из мексиканского серебра и жемчугом с острова Маргарита. Эстебан явился на представление в обществе мадемуазель Аталии, блистательной и неузнаваемой, сверкавшей украшениями; она была в греческой тунике, надетой по тогдашней моде прямо на голое тело. Виктор Юг и его приближенные занимали первый ряд, их окружал целый рой щебечущих и заискивающих женщин; агент Директории и офицеры брали с подносов стаканы с пуншем и вином; все они даже ни разу не оглянулись назад, на последние ряды, где расположились мамы счастливых наложниц — тучные, толстозадые, грудастые, которых стыдились собственные дочери; на этих матронах были вышедшие из моды платья, старательно расширенные при помощи клиньев и вставок, чтобы их можно было хоть как-нибудь натянуть на безобразно расплывшиеся тела. Эстебан заметил, что Виктор нахмурил брови, когда появился Антуан Фюэ, встреченный бурными рукоплесканиями; однако в эту минуту прозвучала увертюра, и госпожа Вильнёв, прервав аплодисменты, запела арию Колетты:

Я счастье потеряла,
Как быть мне? Я пропала —
Уходит мой Колен...

Затем показался колдун, изъяснявшийся напыщенно и со страсбургским акцентом, и представление началось, рождая всеобщий восторг, отличный, однако, от того, каким была в свое время встречена на этой же площади впервые приведенная в действие гильотина. Публика легко улавливала намеки и встречала рукоплесканиями строфы, наполненные революционным содержанием, а Колен, роль которого исполнял господин Фокомпре, изо всех сил подчеркивал подобные места, выразительно подмигивая агенту Директории, офицерам и капитанам кораблей, восседавшим рядом со своими дамами:

Я стосковался без своей подружки,
Прощайте, замки, почести, пирушки...
Многим важным господам
Нравится Колетта,
Но не верит их словам
Чаровница эта.

В конце представления раздалась восторженные возгласы, и артистам пришлось пять раз повторить финал пьесы, уступая настойчивым требованиям публики:

Возможно, в городе шумнее,
Но нам живется веселее,
Всегда пою —
На том стою!
Все дни подряд
Я жизни рад.
И за всех нарядных дам
Я Колетту не отдам.

Праздник закончился исполнением революционных гимнов, которые, не щадя голоса, пел господин Фокомпре, одетый санкюлотом; затем последовал большой бал в бывшем губернаторском дворце: здесь провозглашались громкие тосты и лилось рекой чудесное вино. Виктор Юг, не обращая внимания на настойчивые заигрывания госпожи Вильнёв, зрелая красота которой вызывала в памяти пышнотелую Леду с полотен фламандских мастеров, был поглощен интимной беседой с Марианной-Анжеликой Жакен, мулаткой с острова Мартиника: агент Директории, прежде высокомерно презиравший душевную теплоту, теперь, почувствовав, что вокруг него плетут интриги, испытывал к своей подруге необычайную привязанность. В тот вечер человек этот, не имевший друзей, был удивительно любезен со всеми; проходя мимо Эстебана, он всякий раз отечески похлопывал его по плечу. Перед самым рассветом Юг удалился к себе, а Модест Фюэ и незадолго перед тем прибывший из Франции Леба — человек, который пользовался доверием агента Директории, но слыл, хотя и без достаточных оснований, ее шпионом, — отправились в городское предместье в обществе приезжих красоток, барышень Монмуссе и Жандвер. Юный письмоводитель корсарской эскадры, немало выпивший на балу, пошел к себе в гостиницу; шагая по темным улицам, он от души забавлялся, наблюдая за мадемуазель Баязет: сбросив с ног сандалии, она высоко задрала греческую тунику, чтобы не замочить ее в лужах, оставшихся после прошедшего накануне дождя. В конце концов, боясь забрызгать грязью свою одежду, Аталия сняла ее через голову и обмотала вокруг шеи.

— Какая жаркая ночь, — проговорила она как бы в извинение и стала изо всех сил шлепать себя по ягодицам, стремясь избавиться от надоедливых moskitov.

Позади раздавался стук молотков — плотники разбирали декорации оперного спектакля.

XXVIII

Седьмого июля 1798 года — некоторые события отмечались не по республиканскому календарю — Соединенные Штаты объявили Франции войну в морях Америки. Это известие, как раскат грома, прокатилось по всем правительственным канцеляриям Европы. Однако процветающий, сладострастный и обогранный кровью остров пресвятой девы Гваделупы долгое время ничего не знал об этой новости, которой предстояло дважды пересечь Атлантический океан, прежде чем достичь здешних мест. Каждый занимался своими делами, и все не переставали жаловаться на то, что лето в том году выдалось на редкость жаркое. Эпидемия унесла немало скота; произошло лунное затмение; оркестр батальона баскских стрелков много раз сыграл вечернюю зорю; в окрестных полях, где солнце высушило заросли испанского дрока, несколько раз вспыхивали пожары. Виктору Югу было известно,

что ненавидевший его генерал Пеларди делал все, что мог, стараясь очернить в глазах Директории ее агента; но теперь Юг уже тревожился меньше, чем прежде, так как снова полагал себя незаменимым.

— До тех пор пока я буду в срок посылать этим господам очередной груз золота, — заявлял Виктор, — они не станут меня тревожить.

По слухам, циркулировавшим в Пуэнт-а-Питре, личное состояние Юга перевалило за миллион ливров. В городе толковали о его возможной женитьбе на Марианне-Анжелике Жакен. В это самое время, движимый все растущей жаждой обогащения, он создал агентство, которое должно было ведать имуществом эмигрантов, финансами острова, вооружением корсарских кораблей и делами таможни. Это решение Виктора вызвало бурю негодования, — оно непосредственно задевало интересы большой группы людей, которым он до сих пор покровительствовал. На площадях, на улицах громогласно осуждали произвол агента Директории, так что он в конце концов счел нужным вновь извлечь на свет божий гильотину, и в городе, правда ненадолго, опять воцарился террор — для острастки недовольных. Новоиспеченные богачи, вчерашние фавориты, нечистые на руку чиновники, люди, пользовавшиеся доходами с поместий, брошенных их владельцами, вынуждены были прикусить языки. Люцифер превращался в коммерсанта, окруженного весами, гирями и безменами — с их помощью днем и ночью взвешивали товары, от которых ломились его склады. Когда в городе узнали, что Соединенные Штаты объявили Франции войну, те самые люди, что охотно грабили североамериканские парусники, объявили Виктора Юга виновным в этой катастрофе, которая могла иметь весьма пагубные последствия для Гваделупы. Известие о начале войны дошло сюда с большим запозданием, и были основания полагать, что остров уже окружен вражескими судами, которые могут напасть на него нынче же днем, или вечером, или на следующее утро. Кое-кто утверждал, что из Бостона уже вышла мощная эскадра, что в Бас-Тере уже высадились вражеские войска, что скоро начнется блокада Гваделупы. Тревога и страх все возрастали, и вот однажды на закате экипаж, в котором Виктор Юг совершал прогулки в окрестностях города, остановился перед типографией Лёйе, где Эстебан читал очередную корректуру.

— Оставь все это, — крикнул агент Директории, просовывая голову в окошко. — Едем со мной в Гозье.

По дороге разговор вертелся вокруг пустяков. В бухте Виктор уселся вместе с юношей в лодку, сбросил мундир и стал грести по направлению к небольшому островку. Выйдя на берег, он разлегся на песке, откупорил бутылку английского сидра и заговорил спокойно и неторопливо.

— Меня выживают отсюда. Лучшего слова не подберешь, именно выживают. Господа из Директории хотят, чтобы я поехал в Париж и отчитался в своих действиях. Но это еще не все: сюда прибывает рубака генерал Дефурно, которому поручено заменить меня, а этот мерзавец Пеларди с триумфом возвращается на остров в качестве командующего вооруженными силами. — Он удобнее устроился на песке и устремил взгляд на уже начинавшее темнеть небо. — Не хватает только, чтобы я добровольно отказался от власти. Но у меня есть еще верные люди.

— Собираешься объявить войну Франции? — осведомился Эстебан, который после корсарской авантюры, приведшей к столкновению с Соединенными Штатами, считал, что Юг способен на любой безрассудный шаг.

— Франции — нет. А вот ее подлому правительству — пожалуй.

Наступило долгое молчание; молодой человек спрашивал себя, почему агент Директории, отнюдь не склонный к откровенности, решил довериться именно ему, поделиться именно с ним тягостной новостью, о которой еще никто ничего не знал, новостью тем более катастрофической, что до сих пор Югу ни разу не довелось изведать горечь поражения. Виктор снова заговорил:

— Тебе незачем дольше оставаться на Гваделупе. Я дам тебе пропуск для проезда в Кайенну. Оттуда сможешь добраться до Парамарибо. А в Парамарибо заходят североамериканские и испанские корабли. Словом, как-нибудь устроишься.

Эстебан скрыл свою радость, боясь попасться в ловушку, как это с ним уже однажды случилось. Однако на сей раз все обстояло просто. Опальный властитель пояснил, что он уже с давних пор помогает многим ссыльным, живущим в Синнамари и в Куру, посылая им лекарства, деньги и самые необходимые вещи. Эстебан знал, что многие видные деятели революции были сосланы в Гвиану, однако кто именно, ему достоверно не было известно: не раз юноше называли имена «ссыльных», а некоторое время спустя он встречал их подписи под статьями в парижских газетах. По слухам, в Америке находился и Колло д'Эрбуа, но где точно, никто не знал. Рассказывали, будто Бийо-Варенн разводит попугаев где-то возле Кайенны.

— Недавно мне сообщили, что эта гнусная Директория запретила что бы то ни было посылать из Франции для Бийо, — сказал Виктор. — Они хотят уморить его голодом, убить нищетою.

— Разве Бийо не был в числе тех, кто предал Неподкупного? — спросил Эстебан.

Юг закатал рукава, чтобы почесать руки, покрытые красной сыпью.

— Сейчас не время упрекать человека, который был видным революционером. Бийо делал ошибки, но это были ошибки патриота. Я не допущу, чтобы он погиб от нужды.

Однако, продолжал Юг, при создавшихся обстоятельствах ему не подобает покровительствовать бывшему члену Комитета общественного спасения. Вот почему он хочет, чтобы Эстебан в благодарность за то, что он помогает ему спастись, завтра же отплыл на борту «Венеры Медицейской» — шхуны, направляющейся в Кайенну с грузом вина и муки, и доставил ссыльному другу Виктора крупную сумму денег.

— Остерегайся там агента Директории Жаннэ. Он испытывает ко мне болезненную зависть. Пытается во всем мне подражать, но только становится всеобщим посмешищем. Вот кретин! Надо было в свое время разделаться с ним.

Эстебан заметил, что Юг, всегда выглядевший здоровяком, сейчас осунулся и пожелтел. Из-под его расстегнутой сорочки выступал объемистый живот.

— Ну, ладно, *retiot*²³⁴, — с неожиданной мягкостью продолжал Виктор. — Как только явится этот Дефурно, я упрячу его в тюрьму. И мы еще поглядим, чья возьмет! Но твое участие в великих событиях на этом заканчивается. Ты скоро возвратишься в родной дом, в ваш магазин. Это солидная фирма, не пренебрегай ею. Не знаю, что ты думаешь обо мне. Возможно, думаешь, что я изверг. Но только не упускай из виду, что существуют эпохи, когда нет места неженкам. — Он набрал горсть песка и принялся пересыпать его из ладони в ладонь, словно в руках у него были песочные часы. — Революция гибнет. Мне больше не за что ухватиться. И я ни во что больше не верю.

Спускалась ночь. Они снова переплыли бухточку, уселись в экипаж и вскоре прибыли в бывший дворец губернатора. Виктор взял со стола несколько конвертов и

²³⁴ Мальш (франц.).

запечатанных сургучом пакетов:

— Здесь пропуск и деньги для тебя. А тут деньги для Бийо. Это письмо передашь Софии. Доброго пути... *эмигрант*.

Эстебан в приливе внезапной нежности обнял Юга.

— И зачем только ты ввязался в политику? — спросил он, вспомнив о тех днях, когда Виктор еще не пожертвовал своей свободой ради завоевания власти, которая в конечном счете обернулась для него трагическим порабощением.

— Должно быть, потому, что я родился булочником, — ответил агент Директории. — Вполне возможно, что, если бы негры не сожгли в ту ночь мою булочную, конгресс Соединенных Штатов так никогда бы и не собрался объявить Франции войну. «Если бы нос Клеопатры...»²³⁵ Не помнишь, кто это сказал?...

Снова очутившись на улице, Эстебан пошел к себе в гостиницу; он испытывал странное чувство, какое посещает человека накануне больших перемен: ему показалось, что он уже живет в будущем. Все, что ему было хорошо знакомо и привычно, представлялось теперь далеким и чужим. Он остановился перед бывшим храмом, где помещалась масонская ложа корсаров, и подумал, что видит это здание в последний раз. Затем вошел в кабачок, чтобы распротиться с городом, посидеть напоследок одному перед стаканом водки, настоянной на лимоне и мускатном орехе. Стойка кабатчика, бочонки с вином, хлопотливые служанки-мулатки — все это отныне принадлежало прошлому. Опутывавшие Эстебана узы были разорваны. Тропический остров, к которому он был столько времени прикован, скоро опять станет для него чем-то далеким и экзотическим... На площади Победы работали помощники господина Анса — они разбирали гильотину. Грозная машина прекращала свою деятельность на острове. Сверкающее стальное лезвие, укрепленное комиссаром Конвента Югом на поперечной перекладине, опять укладывали в ящик. С площади унесли узкую дверь, сквозь которую так много людей прошли из царства света в темную ночь, откуда нет возврата. Орудие, доставленному в Америку во имя утверждения свободы, предстояло отныне ржаветь на каком-нибудь складе среди ненужного железного лома. Накануне решающей схватки Виктор Юг приказал упрятать подальше страшную машину, которую он сам же пустил в ход, когда ему это представлялось необходимым, и которая служила ему наравне с печатным станком и оружием; быть может, он решил избрать для себя такую смерть, которая позволяет обуюнному гордыней человеку в минуту прощания с жизнью созерцать самого себя как бы со стороны.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XXIX

Ложе смерти.

Гойя

Когда Эстебан, устав слоняться между заставой Ремир и площадью дʼАрм, между улицей Пор и заставой Ремир, опустился на невысокую тумбу, стоявшую у перекрестка, обескураженный всем тем, что открылось его глазам, ему показалось, что он попал в дом для умалишенных — *The Rakeʼs Progress*. Все в Кайенне, этом

²³⁵ Речь идет о высказывании выдающегося французского философа Блеза Паскаля (1623–1662). Суть этой фразы такова: иными были бы судьбы мира, если бы нос у Клеопатры был короче.

городе-острове, представлялось ему неправдоподобным, диким, невероятным. Стало быть, то, что ему рассказывали на борту шхуны «Венера Медицейская», — сущая правда. Монахини обители святого Павла Шартрского, в ведении которых находился местный лазарет, разгуливали по улицам в монашеском одеянии, как будто во Франции не произошло никакой революции, больше того, они заботились о здоровье революционеров, которые не могли обходиться без их помощи. Все гренадеры тут — совершенно неизвестно почему — были уроженцами Эльзаса, говорили они невнятно и никак не могли приспособиться к здешнему климату, вследствие чего весь год лица их покрывали прыщи и фурункулы. Несколько негров, ныне именовавшихся свободными гражданами, были выставлены на всеобщее обозрение — на помосте, в кандалах, прикованные к железному брусу; как видно, их наказали за нерадивость. Хотя на острове Маленгр имелось убежище для прокаженных, многие больные бродили по улицам: выставляя напоказ свои ужасные язвы, они выпрашивали милостыню. Ополчение, набранное из цветных жителей Кайенны, представляло собою скопище оборванцев; лица горожан лоснились от пота; почти у всех белых обитателей города был угрюмый вид. Эстебана, привыкшего к тому, что женщины на Гваделупе тщательно одевались, неприятно поразило бесстыдство местных негрятенок, которые разгуливали по городу с обнаженной грудью, — зрелище малопривлекательное, особенно когда навстречу попадаются жующие табак старухи с уродливо раздутыми щеками. В довершение всего здесь встречались люди, которых не увидишь в Пуэнт-а-Питре, — то были дикие индейцы из окрестных лесов, они приплывали сюда в пирогах, чтобы продать горожанам плоды гуайавы, целебные лианы, орхидеи или лекарственные травы для приготовления различных отваров. Некоторые привозили с собою жен, которых заставляли заниматься проституцией прямо во рвах, окружавших форт, под стеною порохового склада или позади заколоченной церкви Христа-спасителя. Всюду попадались татуированные и причудливо размалеванные лица. Но самым удивительным было, пожалуй, то, что, несмотря на ослепительное сияние солнца, усиливавшее экзотичность пейзажа, этот на первый взгляд пестрый и живописный мир на самом деле был миром унылым и тоскливым — как на темном офорте. Дерево свободы, посаженное перед уродливым, облезлым зданием, служившим прежде резиденцией губернатора, засохло из-за недостатка влаги. В большом неуклюжем строении со множеством галерей помещался политический клуб, основанный чиновниками Кайенны; но теперь ни у кого из них не хватало энергии произносить, как это было принято в прошлом, пылкие речи, и клуб мало-помалу превратился в игорный дом: картежники метали банк, устроившись под засиженным мухами портретом Неподкупного, который, несмотря на настойчивые просьбы агента Директории, никто так и не удосужился снять со стены, потому что рама была прочно прибита по углам гвоздями. Зажиточные люди и чиновники на доходных должностях знали только одно развлечение — есть и пить до отвала; они собирались на нескончаемые пирушки, которые начинались в полдень и длились до поздней ночи. В Кайенне явно недоставало того веселого шума, тех блестящих модных туалетов, от которых было так оживленно на улицах Пуэнт-а-Питра. В Кайенне мужчины донашивали потрепанную одежду, унаследованную еще от старого режима: в куртках из плотного сукна было очень жарко, на спинах и под мышками у всех проступали пятна пота. Женщины щеголяли в таких нелепых платьях и нарядах, какие в Париже можно встретить разве только на поселянках из оперного хора. В городе не было ни одного красивого особняка, ни одного веселого кабачка, ничего, на чем хотелось бы

остановить взор. Все здесь казалось однообразным и заунывным. Там, где некогда помещался ботанический сад, теперь был пустырь, заросший зловонным кустарником, городская свалка и отхожее место, где бродили шелудивые псы. Повернувшись спиной к морю и глядя в глубь материка, человек видел плотную стену густой растительности, ошетилившейся и еще более неодолимой, нежели толстые стены тюрьмы. Эстебан испытывал нечто вроде головокружения, когда думал о том, что начинавшийся возле самого города девственный лес сплошным массивом тянулся до берегов Ориноко и Амазонки, до испанской Венесуэлы, до лагуны Парима, до далекого Перу. То, что радовало глаз в тропическом пейзаже Гваделупы, здесь, в Гвиане, становилось воинственным, непроходимым, враждебным и суровым, деревья тут разрастались так, что пожирали друг друга, лианы опутывали их от корней до вершин, паразиты точили листву. Для человека, прибывшего из мест с красивыми музыкальными названиями — Ле-Ламантен, Ле-Муль, Пижон, наименования здешних мест — Марони, Ойапок, Апруаг — звучали грубо и неприятно, резали слух и как бы предвещали глубокие топи, непроходимые заросли, буйные сорняки... Вместе с офицерами со шхуны «Венера Медицейская» Эстебан отправился засвидетельствовать почтение господину Жаннэ; юноша вручил ему письмо от Виктора Юга, которое тот прочел с явным неудовольствием. У облеченного особыми полномочиями агента Директории в Гвиане — при взгляде на его лицо никто бы не поверил, что он двоюродный брат Дантона, — был отталкивающий вид: кожа у него из-за болезни печени приобрела зеленоватый оттенок, а левую руку, изуродованную клыками кабана, недавно пришлось ампутировать. Эстебан узнал, что Бийо-Варенн находится в Синнамари, как и большая часть ссыльных французов, — многие из них были отправлены в Куру или в Конамаму, и появляться в Кайенне им было запрещено. В распоряжении ссыльных, пояснил Жаннэ, было вполне достаточно годных для обработки земель, они ни в чем не нуждались и могли достойным образом отбывать наказание, наложенное на них различными правительствами Французской республики.

— Там, должно быть, много священников, отказавшихся принести присягу? — спросил Эстебан.

— Там кого угодно встретишь, — ответил агент Директории с деланным безразличием, — депутатов, эмигрантов, журналистов, судебных чиновников, ученых, поэтов, французских и бельгийских священников...

Эстебан не считал возможным дальше проявлять любопытство и не спросил, где же именно находятся все перечисленные люди. Капитан «Венеры Медицейской» посоветовал ему передать деньги Бийо-Варенну через какого-нибудь надежного посредника. А пока что молодой человек поселился в гостинице некоего Огара, лучшей в Кайенне, — тут сносно кормили и подавали хорошие вина.

— У нас здесь гильотина не действовала, — сказал Огар, когда негритянки Анжесса и Схоластика, убрав со стола, пошли за бутылкой тростниковой водки. — Однако то, что выпало на нашу долю, пожалуй, еще хуже: уж лучше погибнуть сразу, чем умирать, так сказать, в рассрочку.

И хозяин гостиницы объяснил Эстебану, что следует понимать под выражением «годные для обработки земли», которые, по словам Жаннэ, составляли счастье ссыльных. Если в Синнамари, где находился Бийо, люди еще как-то жили, вернее, влачили жалкое существование и положение их слегка облегчала близость сахароварни и нескольких более или менее процветавших поместий, то уже сами названия «Куру», «Конамама», «Иракубо» стали синонимами медленной смерти.

Ссылные жили в определенных произволом властей местах, которые им запрещалось покидать, они ютились по девять, по десять человек в грязных лачугах, где больные спали вперемежку со здоровыми, как в трюмах плавучих тюрем; их окружали бесплодные болотистые земли, несчастные страдали от нужды и голода, они были лишены даже самых необходимых лекарств, лишь изредка какой-нибудь хирург, совершавший по поручению агента Директории инспекционную поездку, давал им немного водки в качестве средства от всех болезней.

— Вот что в наших местах именуют «бескровной гильотиной», — заключил свой рассказ Огар.

— Разумеется, все это весьма печально, — согласился Эстебан. — Но ведь тут отбывают наказание и немало таких людей, что сами расстреливали в Лионе, немало общественных обвинителей, немало политических убийц, которые доходили до того, что укладывали тела казненных в непристойных позах у подножия эшафота.

— Здесь все смешались: и праведники и грешники, — ответил Огар, отгоняя мух.

Эстебан уже собрался было расспросить собеседника о Бийо, но в эту минуту к столику подошел одетый в лохмотья и сильно захмелевший старик, который стал кричать, что бедствия, обрушившиеся на французов, вполне ими заслужены.

— Оставьте в покое гостя, — вмешался хозяин гостиницы, выказывая, однако, некоторое почтение к дородному старику, в котором, несмотря на жалкое одеяние, было что-то величественное.

— Мы жили, точно библейские патриархи, окруженные многочисленным потомством и стадами, мы владели фермами, и наши амбары ломились от зерна, — заговорил незнакомец медленно, чуть запинаясь и употребляя такие старомодные обороты, каких Эстебан никогда и не слышал. — Нашими были земли в Пре-де-Бурке, Пон-де-Бу, Фор-Руаяле и во многих других местах, таких земель больше нигде не сыщешь! Ибо наше благочестие — наше великое благочестие — снискало нам божью благодать. — Он неторопливо осенил себя крестным знаменем, и этот почти забытый всеми жест поразил Эстебана своей необычностью. — Мы были акадийцами²³⁶, из Новой Шотландии, и хранили такую верность королю Франции, что сорок лет подряд отказывались подписать гнусную бумагу и признать своими властителями толстуху Анну Стюарт и этого короля Георга²³⁷, которого нечистый, конечно же, будет вечно поджаривать на адском огне. А потом началась Великая Смута²³⁸. Пришел черный день, английские солдаты изгнали нас из домов, отобрали у нас лошадей и скот, опустошили наши сундуки, а мы сами были высланы в Бостон или — что еще ужаснее — в Южную Каролину и Виргинию, где с нами обращались хуже, чем с неграми. Однако, несмотря на нищету, недоброжелательство протестантов и ненависть всех тех, кто видел, как мы, точно нищие, слоняемся по улицам, мы продолжали прославлять своих владык: того, кто царит на небесах, и того, кто, наследуя отчий престол, царит на земле. И так как Акадия уже не была земным раем, каким она была в ту пору, когда наши плуги осеяло благословение всевышнего, нам сотни раз сулили вернуть земли и

²³⁶ Акадией в XVII и в первой половине XVIII в. назывался полуостров Новая Шотландия на атлантическом берегу Канады.

²³⁷ В XVIII в. французские владения в Канаде были захвачены англичанами. Анна Стюарт правила с 1702 по 1714 г. Георг III, при котором в 1763 г. Франция уступила Англии Канаду, правил с 1760 по 1820 г.

²³⁸ Великая Смута. — Имеется в виду американская революция 1776–1783 гг.

фермы, если мы только согласимся признать власть британской короны. И мы сотни раз отказывались от этого, сударь. В конце концов — после того как каждый десятый из нас погиб, после того как мы до крови расчесывали свои язвы и сидели на гноище, точно Иов, — нас освободили французские корабли. И мы возвратились, сударь, в нашу далекую страну, уверенные в том, что наконец-то дождалось избавления. Однако нас расселили на худых землях, и никто не пожелал прислушаться к нашим жалобам. Но мы говорили: «Тут нет вины доброго короля, он, верно, ничего не знает о наших нынешних бедствиях и даже представить себе не может, какой была Акадия наших отцов». А позднее многих, и в их числе меня, привезли сюда, в Гвиану, где земля говорит неведомым языком. Мы, жившие среди елей и кленов, дубов и берез, очутились здесь, где приживается и прорастает лишь вредное семя, где поле, вспаханное днем, по ночам губит рука сатаны. Да, сударь, сатана тут повсюду, он вмешивается в любое дело. То, что ты хочешь вырастить прямым, вырастает кривым, а то, чему надлежит быть кривым, становится прямым. Солнце, поднимаясь весною над нашей Акадией, растопляло снега, даруя нам жизнь и радость, а здесь, на берегах Марони, оно становится сущим проклятием. От солнечного тепла и дождевой влаги в наших краях наливались колосья, а тут — это бич, тут солнце сушит посевы, а от дождей они гниют. И все же меня поддерживала гордость, — ведь я не отрекся от верности королю Франции. Я находился среди французов, и они, по крайней мере, относились ко мне с уважением, я принадлежал к свободному народу, более свободному, чем всякий иной, к такому народу, который предпочел разорение, изгнание и смерть отказу от верности своим владыкам... Нашими были, сударь, земли в Пре-де-Бурке, Пон-де-Бу, Фор-Руаяле... Но вот пришел черный день, когда вы, французы, — захмелевший старик при этих словах ударил по столу узловатыми кулаками, — дерзнули обезглавить нашего короля, вызвав этим Вторую Великую Смуту, и мы лишились почета и достоинства. Со мной стали обращаться как с человеком «подозрительным», враждебным сам не знаю кому и чему, — это со мной-то, хоть я уже целых шестьдесят лет страдаю только из-за того, что пожелал остаться французом, хоть я потерял все свое достояние, хотя моя жена умерла тяжелыми родами в трюме плавучей тюрьмы, так как мы не пожелали отречься от своей родины и веры... На свете, сударь, теперь только нас, акадийцев, можно считать настоящими французами. Все же остальные — просто смутьяны, забывшие и бога и совесть, они утратили свою честь и готовы смешаться с лопарями, маврами и татарами.

Старик схватил бутылку с тростниковой водкой, сделал большой глоток и, повалившись ничком на мешки с мукою, тут же заснул, все еще бормоча что-то насчет этой проклятой страны, где с деревьями нет никакого сладу.

— Слов нет, они и впрямь были достойными сынами Франции, — заметил Огар. — Беда их в том, что они пережили свое время. Они точно люди с другой планеты.

И Эстебан подумал о том, какая все-таки нелепость, что в Гвиане одновременно оказались и жители Акадии, убежденные в немеркнущем величии королевского режима, который был им знаком только по парадам, знаменам, портретам, эмблемам, и другие люди, которым все слабости и пороки этого режима были так хорошо известны, что они посвятили всю жизнь его ниспровержению. Мученики, ставшие жертвой своей полной неосведомленности, не в состоянии были понять мучеников, ставших жертвою слишком большой осведомленности. Тем, кто никогда не видел трона, он представлялся величественным и монументальным. Те же, у кого он все

время был перед глазами, отлично различали все трещины и темные пятна на нем...

— Любопытно, что думают о боге ангелы? — сказал Эстебан, и вопрос его, должно быть, показался Огару верхом нелепости.

— Что он — напыщенный глупец, — смеясь, ответил владелец гостиницы, — хотя Колло д'Эрбуа в последние дни своей жизни не раз взывал к нему о помощи.

Так Эстебан узнал о печальном конце вдохновителя лионских расстрелов. По прибытии в Кайенну он был вместе с Бийо устроен при лазарете, которым ведали монахини, и по роковой случайности попал в каморку, именовавшуюся «палатой Людовика Святого», — надо помнить, что именно Колло д'Эрбуа требовал немедленного, безотлагательного осуждения последнего из Людовиков. С самого начала он предался безудержному пьянству, не вылезал из кабаков и писал на клочках бумаги бессвязные воспоминания, которые, по его словам, должны были воссоздать правдивую историю революции. Напившись, он горько оплакивал свою злосчастную судьбу и жаловался на полное одиночество в этом аду; старый комедиант сопровождал свои сетования такими патетическими жестами и воплями, что суровый Бийо выходил из себя.

— Ты не на сцене! — кричал он Колло. — Сохраняй, по крайней мере, достоинство, говори себе, как это делаю я, что ты выполнил свой долг.

Волны термидорианской реакции постепенно докатились до Гвианы, и местные негры прониклись враждою к бывшим членам Комитета общественного спасения. И когда те появлялись на улице, их осыпали насмешками и оскорблениями.

— Если бы мне пришлось все начать сызнова, — ворчал сквозь зубы Бийо, — я бы вряд ли даровал свободу людям, которые даже не понимают, какой ценой она достигается; я отменил бы декрет от шестнадцатого плювиоза второго года Республики.

«Виктор необыкновенно гордился тем, что привез в Америку этот декрет», — подумал Эстебан. Жаннэ выслал Колло из Кайенны и приказал ему жить в Куру. Там «папаша Жерар» еще больше пристрастился к спиртному, он бродил по дорогам в разорванной куртке, набив карманы замусоленными листками, приставал к прохожим, спал прямо в придорожных канавах и учинял скандалы в трактирах, где ему отказывали в кредите. Однажды ночью он выпил бутылку какой-то едкой жидкости, которую, видимо, принял за водку. В тяжелом состоянии Колло д'Эрбуа был отправлен местным фельдшером в Кайенну. Однако негры, которым было поручено доставить его в город, бросили больного по дороге, обозвав убийцей, предавшим бога и людей. Беднягу поразил солнечный удар, и он был в конце концов доставлен в лазарет монахинь святого Павла Шартрского, где по воле случая вторично оказался в «палате Людовика Святого». Там Колло принялся громко призывать бога и пресвятую деву, умоляя их простить ему прегрешения. На его отчаянные вопли прибежал караульный-эльзасец, который пришел в ярость при виде этого запоздалого раскаяния: он напомнил умирающему, что всего месяц назад тот подстрекал его поносить священное имя богородицы и убеждал, будто житие святой Одилии — пустые рассказы, придуманные для того, чтобы морочить народ. Теперь Колло требовал, чтобы к нему привели исповедника, — скорее, как можно скорее! — по его телу пробегали судороги, он стонал и плакал, говоря, что внутренности у него охвачены огнем, что его сжигает лихорадка и что ему нет больше спасения. Под конец он стал кататься по полу и умер, захлебнувшись кровавой рвотой.

Жаннэ узнал о смерти Колло, когда играл в бильярд в компании чиновников.

— Пусть его где-нибудь зароят. Собаке — собачья смерть, — сказал агент Директории, не выпуская из рук кий, которым только что искусно сделал карамболь.

В день погребения Колло город внезапно наполнился веселым грохотом барабанов. Негры, поняв, что во Франции многое изменилось, решили с некоторым запозданием устроить карнавальное шествие на Праздник трех царей, — в годы официального атеизма праздник этот был почти забыт. С самого раннего утра они нарядились в маскарадные костюмы и превратились в африканских царей и цариц, в чертей, колдунов, полководцев и шутов, а затем высыпали на улицы с высушенными тыквами, бубнами и прочими инструментами, из которых можно было извлекать громкие и пронзительные звуки в честь Мельхиора, Каспара и Валтасара. Могильщики, чьи ноги сами плясали в такт далекой музыке, поспешно вырыли неглубокую яму и с трудом втиснули туда небрежно сколоченный гроб, крышка которого местами отставала. В полдень, когда все в городе танцевали, возле могилы Колло появилось несколько грязно-серых, облезших свиней с отвислыми ушами и остроконечным рылом; эти вечно голодные животные стали разрывать жадными пяточками яму и вскоре добрались до трупа, который виднелся сквозь доски, прогнувшиеся под тяжестью земли. Отвратительные твари с алчностью набросились на тело покойника и принялись толкать его, теревить, переворачивать. Одна из свиней завладела рукою, которая хрустела у нее под зубами, как желуди, другие набросились на голову, вцепились в шею, в бока мертвеца. А стервятники, ожидавшие своего часа, сидя на кладбищенской ограде, довершили ужасную расправу. Так под палящим солнцем Гвианы закончилась история Жана-Мари Колло д'Эрбуа.

— Этот изверг заслужил такую смерть, — проворчал старик акадиец.

Он уже проснулся и, сидя на мешке с мукою, прислушивался к рассказу Огара, раздирая чесоточные струпья.

XXX

Эстебану понадобилось немного времени, чтобы убедиться, что Виктор Юг ошибся, сказав, будто попасть из Кайенны в Парамарибо вовсе не трудно. У Жаннэ, завидовавшего процветанию Гваделупы, также были свои корсары: эти мелкие хищники, которым было очень далеко до какого-нибудь Антуана Фюэ, набрасывались на любой одинокий или сбившийся с курса корабль, оправдывая своим поведением наименование «пиратская война», — так североамериканцы называли военные действия французов в Карибском море. Испытывая нужду в звонкой монете, Жаннэ по дешевой цене сбывал в Суринаме товары, захваченные его людьми. Вот почему он выдавал пропуск для проезда в голландские владения только тем, кому он доверял и кто участвовал в его торговых операциях. Объясняя свою строгость в этом вопросе, агент Директории утверждал, что борется таким способом с возможными побегими ссыльных, — побегии наблюдались несколько месяцев назад и были осуществлены благодаря сообщничеству врагов нового режима. К тому же в Кайенне косо смотрели на всех приезжих. В каждом свежем человеке заранее подозревали шпиона Директории. Эстебан не привлекал к себе внимания только потому, что его считали членом экипажа шхуны «Венера Медицейская», которая все еще стояла на якоре в ожидании груза. Однако день ее отплытия приближался, а стало быть, приближался и день неизбежного возвращения в Пуэнт-а-Питр, где, быть может, уже вспыхнула гражданская война и свирепствовали ищейки белого террора. При одной мысли об

этом у юноши все обрывалось внутри. Сердце глухо стучало, он ощущал стеснение в груди и с трудом дышал. Неведомый дотоле страх овладевал всем его существом и терзал, как мучительная болезнь. По ночам он почти не спал. Едва сомкнув глаза, Эстебан просыпался с таким чувством, будто все окружающее давит на него: стены, казалось, держали его в плену; потолок нависал так низко, что он задыхался; дом представлялся ему застенком, остров — тюрьмой, море и тропический лес — толстыми, непреодолимыми стенами. Только рассвет приносил ему некоторое облегчение. Он поднимался, испытывая прилив бодрости и веря, что днем что-нибудь произойдет, что какой-либо непредвиденный случай поможет ему вырваться из Кайенны. Но по мере того, как проходили часы и ничего не случалось, юношу охватывало глубокое отчаяние, а к вечеру он вновь чувствовал себя обессиленным и беспомощным. Он растягивался на кровати и лежал без движения, точно окаменев, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, словно тело его было налито свинцом, так что негритянка Анжесса, думая, что он ослабел от приступа перемежающейся лихорадки, заставляла его проглатывать полные ложки хинного отвара, чтобы он пришел в себя. Затем Эстебана охватывал страх перед одиночеством, он спускался в зал гостиницы и подсаживался к кому угодно — к Огару, к какому-нибудь захмелевшему весельчаку или к старику акадийцу, похожему на библейского патриарха, — стремясь хоть немного забыться разговором...

Между тем прошел слух, что Директория сместила Жаннэ с его поста и в город должен прибыть ее новый агент, некий Бюрнель, который, как рассказывали, весьма почитал Бийо-Варенна. Это известие напугало чиновников колонии. Опасаясь, как бы ссыльные из Синнамари не пожаловались на злоупотребления и издевательства, которым они подвергались, власти решили послать лекарства и провизию наиболее видным и в свое время пользовавшимся большим влиянием изгнанникам, к голосу которых мог, чего доброго, прислушаться новый агент Директории. Кстати, происходила весьма любопытная вещь: последние якобинцы, преследуемые во Франции, поднимали голову в Америке, где им по необъяснимой причине покровительствовали власти и где они даже получали официальные назначения. Внезапно оживились связи между Кайенной, Куру и Синнамари, и Эстебан задумал использовать это обстоятельство для того, чтобы избавиться от пакетов и писем, которые ему вручил Виктор Юг. Ничто решительно не мешало юноше уничтожить содержимое обшитых холстом пакетов и завладеть ценностями, лежавшими в запечатанных сургучом шкатулках. Таким способом он освободился бы от нежелательного багажа, особенно опасного в ту пору, когда постоянно производились обыски, и ему бы даже не пришлось никому давать отчет в своем постыдном поступке, кстати сказать, менее постыдном теперь, когда положение самого знаменитого среди ссыльных должно было измениться к лучшему. Кроме того, он испытывал к Бийо-Варенну глубокую неприязнь. Однако Эстебан именно потому, что он жил в Париже и долго общался с Югом, сделался необыкновенно суеверным. Он считал, что человек, хвастающийся своим здоровьем и счастьем, непременно навлечет на себя болезнь и невзгоды. Он считал, что судьба неизменно бывает сурова к тем, кто слишком верит в свою счастливую звезду. А главное, он считал, что, если человек не выполняет принятого на себя поручения или даже просто не утруждает себя, когда нужно помочь обездоленному, он рискует лишиться покровительства благосклонной судьбы, так как выказывает эгоизм и пренебрежение к неведомой силе, управляющей деяниями людей. И, не находя никакого, пусть даже связанного с риском способа

добраться до Парамарибо, юноша подумал, что, быть может, случай улыбнется ему, если он постарается поскорее выполнить поручение Виктора Юга. Не зная, с кем посоветоваться, Эстебан открылся Огару, — владелец гостиницы привык иметь дело с самыми разными людьми, но при этом был совершенно чужд политике и отдавал все свое время наблюдению за кухней и служанками. От него юноша узнал, что если Колло д'Эрбуа навлек на себя всеобщее презрение, потому что непрерывно пьянствовал, вопил и стонал, как плохой комедиант, а на смертном одре проявил малодушие, то Бийо был окружен ненавистью, которая, однако же, не только не устрашала его, но, напротив, поддерживала в нем некую гордость, удивлявшую даже тех, кто по его косвенной вине или в силу его ныне уже позабытых приказов мучился в ссылке. Человек этот, которого в свое время называли Непреклонным, не походил на других ссыльных — павших духом и раскисавшихся, ослабевших и пришедших в уныние. Одинок и суровый, будто высеченный из глыбы камня, он не отказался от своих убеждений и заявлял, что если бы колесо истории повернулось вспять и он бы вновь столкнулся с теми же обстоятельствами, то действовал бы точно так, как раньше. Бийо-Варенн и в самом деле разводил теперь попугаев, но делал он это для того, чтобы иметь возможность с издевкой утверждать, будто его птицы, подобно народам, повторяют все, чему их учат... Эстебан охотно отказался бы от поездки в Синнамари и воспользовался бы по совету владельца гостиницы услугами какого-нибудь надежного человека. К величайшему изумлению юноши, Огар посоветовал ему обратиться к настоятельнице обители святого Павла Шартрского, монахине, которую Бийо-Варенн глубоко уважал и называл «высокопочтимой сестрою»: она самоотверженно ухаживала за ним, когда он сразу же по прибытии в Кайенну тяжело захворал... На следующий день Эстебан уже входил в узкий зал лазарета; едва переступив порог, он в удивлении застыл перед большим распятием, висевшим на стене против распахнутого на море окна. Стены комнаты были выбелены известью, в ней не стояло никакой мебели, кроме двух табуретов: сиденье одного из них было из бычьей шкуры, а сиденье другого — сплетено из ослиного волоса; и в этой суровой обстановке безмолвный диалог между океаном и фигурой распятого Христа казался особенно возвышенным и вечным, неподвластным ни времени, ни пространству. Все, что можно было сказать о человеке и окружавшем его мире, все, что можно было сказать о свете, о мраке и порожденных им чудищах, было сказано, и сказано навсегда, все как бы вместилось в пределы, ограниченные с одной стороны строгими линиями креста черного дерева, а с другой — безбрежным и текучим мировым океаном; и между двумя этими полюсами повисло тело Христа, познавшего смертную муку, а затем воскресшего... Эстебан очень давно не видел распятия, и теперь, созерцая его вблизи, он испытывал такое чувство, будто совершал нечто противозаконное, — так, должно быть, чувствует себя человек, повстречав старого знакомого, который без разрешения властей вернулся на родину, откуда был изгнан. Ведь распятый Христос был свидетелем его детства, именно ему Эстебан ребенком поверял свои мысли; распятый Христос висел над каждым изголовьем в далеком отчем доме, где, верно, до сих пор ждут возвращения блудного сына. С Христом у Эстебана было связано столько заветных воспоминаний! Он безмолвно напоминал юноше о бегстве в Египет, и о приснопамятной ночи в яслях, когда в Вифлеем пришли цари и пастухи (Эстебан припомнил музыкальную шкатулку с пастушкой, этот подарок принесли к нему в комнату невидимые цари в день богоявления, особенно печальный для него из-за приступа болезни), и об изгнании торгашей из храма, и о рыбаках с озера (в детском

представлении Эстебана они походили на оборванных бородачей, которые предлагали на улицах Гаваны свежих кальмаров), и об усмиренных бурях, и о зеленых ветках весеннего воскресенья (София приносила ему ветви, которые ей давали монахини обители святой Клары: то были ветви королевской пальмы с мягкими и горькими на вкус листьями, ими оплетали прутья кровати, и листва несколько дней хранила влажную свежесть); напоминал он юноше и о роковом судилище, и о приговоре, и о пригвождении ко кресту. «Сколько времени мог бы я вытерпеть такую муку?» — спрашивал себя Эстебан еще ребенком, и ему казалось, что боль, которую испытывает человек, когда гвозди пронзают его ладони, еще можно, пожалуй, снести. Он сотни раз пытался проверить это и колот себе руку острием карандаша, вышивальной иглой, граненой стеклянной пробкой, убеждаясь, что такую боль и впрямь можно вытерпеть. Хуже, должно быть, обстояло со ступнями, ведь они гораздо толще ладоней, а потому и муки гораздо сильнее. Впрочем, распятие на кресте, возможно, не самая страшная из пыток, придуманных человеком. Однако крест напоминал своей формой одновременно и якорь и дерево, и, видимо, так нужно было, чтобы сын божий испытал предсмертную агонию именно на кресте, ибо в кресте заключен символ одновременно и земли и воды — древесной плоти и безбрежного моря, вечный диалог между которыми поразил Эстебана в то утро в узком зале лазарета. Размышления юноши были прерваны пронзительным сигналом рожка, прозвучавшим на высокой крепостной башне, и он внезапно подумал о том, что слабость этой революции, которая не раз сотрясала мир звуками нового «Dies irae»²³⁹, заключалась в отсутствии у нее подлинных богов. Верховное существо было божеством, не имевшим истории. Оно не имело своего пророка, своего Моисея, способного внимать голосу, раздававшемуся из горящего куста, и установить подлинную связь между предвечным и его избранным народом. Оно не облеклось в плоть и кровь и не жило среди людей. Церемониям в его честь не хватало истинного благочестия; культу Верховного существа недоставало прочных, глубоко продуманных традиций, нерушимой веры, презирающей все случайное и преходящее, такой веры, которая связала воедино живших на протяжении многих веков людей: человека, побитого камнями в Иерусалиме, и сорок легионеров из Цезареи, Себастьяна-лучника, Иринея-пастуха, богословов Августина, Ансельма, Фому и жившего в недавнее время Фелипе де Хесуса, мученика с Филиппин, в честь которого многие мексиканские церкви украшены распятиями, сделанными в Китае из волокон сахарного тростника: они так походят на живое тело, что всякий, прикоснувшись к ним, отдергивает руку, ибо ему чудится, будто из отверстия раны в боку, где торчит копьё — копьё с искусно окрашенным наконечником, — течет кровь... Молиться Эстебану не хотелось, — в его душе уже давно не было веры, но он с волнением глядел на распятие: это возвращало юношу в милую его сердцу атмосферу детства. Христос принадлежал ему по праву наследования; Эстебан мог отречься от него, однако бог был частью достояния, оставленного ему предками.

— Добрый день, — радостно, хотя и негромко, приветствовал его Эстебан.

— Добрый день, — отозвалась у него за спиной настоятельница.

Молодой человек без околичностей объяснил ей цель своего прихода.

— Поезжайте в Синнамари на правах нашего эмиссара, — предложила ему монахиня, — и разыщите там аббата Бротье. Он охотно выполнит ваше поручение.

²³⁹ «День гнева» (лат.).

Аббат — единственный надежный друг господина Бийо-Варенна в Гвиане...

«Положительно, в этих краях происходят весьма странные вещи», — подумал Эстебан.

XXXI

Синнамари, эта забытая богом и людьми дыра, зловонная и отвратительная, став местом ссылки, превратилась в какой-то немислимый, почти нереальный и фантастический край. Земля здесь была густо покрыта зарослями, напоминавшими хаотические заросли первых дней творения, и походила на древнюю страну, опустошенную чумой и усеянную могильными холмами, а здешние обитатели могли бы заинтересовать нового Хогарта²⁴⁰, и он своей беспощадной кистью изобразил бы их дела и жизнь. Тут можно было встретить священников, которые вновь извлекли на свет божий свои запрещенные книги и служили мессы в храме, затерянном в тропическом лесу, — в молитвенном доме индейцев, главный зал которого имел отдаленное сходство с готическим нефом: его крутые стропила поддерживали высокую кровлю из пальмовых листьев. Тут можно было встретить депутатов Конвента, разделенных на различные группы, они вечно спорили друг с другом и оставались при своем мнении, призывали в свидетели историю и цитировали классические тексты, а форумом им служили зады постоянного двора, окруженные свинарниками; свиньи просовывали свои пяточки между перекладинами ограды, когда прения становились слишком бурными. Тут была представлена и армия, ее олицетворял полулегендарный Пишегрю (Эстебан никак не мог себе представить генерала Пишегрю в роли ссыльного в Гвиане), который отдавал приказания призрачному войску, забывая, что от преданных ему солдат его отделяет океан. И в центре этой пестрой толпы возвышался безмолвный, ненавистный всем, как Атрид²⁴¹, опальный тиран, к которому теперь никто не обращал ни единого слова: погруженный в свои мысли, глухой ко всему происходящему, он был равнодушен к окружавшей его вражде. Дети — и те останавливались, когда мимо проходил бывший президент Якобинского клуба, бывший председатель Конвента, бывший член Комитета общественного спасения, тот, кто допустил массовые казни в Лионе, Нанте, Аррасе и подписал законы, принятые в прериале, советник Фукье-Тенвиля²⁴², человек, который без колебаний потребовал смерти Сен-Жюста, Кутона²⁴³ и самого Робеспьера, а еще раньше отправил на эшафот Дантона; однако в глазах негров Кайенны все это было пустяками по сравнению с совершенным им матерубийством: так воспринимали они казнь королевы, которая, по их понятиям, была владычицей громадной страны — Европы. И — удивительное дело! — зловещее участие в грозной трагедии, происходившей на одной из самых великих сцен мира, придавало Бийо-Варенну

²⁴⁰ *Хогарт, Уильям* (1697–1764) — выдающийся английский художник-сатирик.

²⁴¹ *Атриды* — в древнегреческой мифологии дети микенского царя Атрея Агамемнон и Менелай, осужденные богами за тяжкие грехи злодея отца.

²⁴² *Фукье-Тенвиль, Антуан* (1746–1795) — сподвижник Робеспьера, обвинитель Революционного трибунала, организатор процессов Дантона и «бешеных». После 9 термидора был предан суду и казнен в мае 1795 г.

²⁴³ *Кутон, Жорж* (1756–1794) — соратник Робеспьера. Казнен 10 термидора 1794 г.

устрашающее величие, оно словно завораживало даже тех, кто питал к нему непримиримую вражду. И в то время как люди, которых можно было считать его друзьями, подчеркнуто отдалялись от него, к дому Бийо-Варенна под самыми неожиданными предлогами находили путь какой-нибудь оборванный бретонский монах, бывший жирондист, землевладелец, разорившийся после освобождения рабов, или утонченный священник с энциклопедическим умом вроде аббата Бротье. Именно к Бротье и постучался Эстебан, прибыв в Синнамари после утомительного путешествия на шхуне, которая шла вдоль низкого болотистого берега, покрытого мангровыми зарослями. Юношу встретил швейцарец по имени Сигер, человек с красным носом пьяницы, ожидавший аббата.

— Господин Бротье собирался посетить нескольких умирающих, — сказал он. — Сейчас, когда этот боров Жаннэ решил наконец прислать ссыльным самые необходимые лекарства, немного турецких бобов и аниса, они, как на грех, отдают богу душу, каждый день умирает по десять — двенадцать человек. К приезду Бюрнеля Синнамари превратится в громадное кладбище, такое, как Иракубо.

Эстебан узнал от швейцарца, что Бийо глубоко уверен в покровительстве нового агента Директории и уже готовится занять важный пост в колонии, а пока набрасывает программу административных реформ. Мрачный, невозмутимый, этот новый Орест бродил в предвечерние часы по окрестностям Синнамари; он был аккуратно одет, что составляло разительный контраст растущей неряшливости других ссыльных: их потрепанное, грязное платье говорило само за себя, — достаточно было одного внимательного взгляда, чтобы определить, сколько месяцев уже продолжаются муки изгнанника. Впервые попадая в этот мир понурых и полураздетых людей, вновь прибывшие чувствовали, что целая, приличная одежда, точно броня, защищает их достоинство и как бы возвышает над другими. Очувтившись в толпе сломленных и жалких изгнанников, опальный чиновник выше поднимал голову, уверяя, что он скоро вернется в Париж, где посрамит и покарает своих врагов, а впавший в немилость военачальник, красуясь в своем расшитом мундире, говорил о «своих» офицерах, «своих» пехотинцах и «своих» пушках. Бывший представитель народа все еще полагал себя депутатом, а всеми забытый писатель, которого даже родственники считали погибшим, сочинял сатирические произведения и мстительные стихи. Каждый писал тут мемуары, защитительные речи, по-своему излагал историю революции, создавал собственную теорию государства, и все эти произведения читались вслух товарищам по несчастью где-нибудь под сенью рожкового дерева или в бамбуковых зарослях. Такие сборища в самом сердце тропического леса походили на своеобразную пляску смерти: ссыльными еще владела гордость, вражда, отчаяние, они кичились своими чинами и званиями, а между тем все уже были отмечены печатью голода, болезни или смерти. Один полагался на дружбу влиятельного лица, другой — на настойчивость своего адвоката, третий верил, что уж «его-то дело» будет непременно пересмотрено. Однако, возвращаясь к себе в хижину, несчастные замечали, что ноги их разъедены насекомыми так глубоко, что сходят ногти, и каждое утро, просыпаясь, обнаруживали у себя на теле новые язвы, нарывы и струпы.

Поначалу всюду происходило одно и то же: ссыльные из новой партии пока еще сохраняли некоторую энергию, они создавали руссоистские общины, распределяли между собой обязанности, устанавливали строгий распорядок дня и дисциплину,

читали вслух «Георгики»²⁴⁴, чтобы подбодрить друг друга. Вместе чинили хижину, освободившуюся после смерти предыдущих обитателей, отправлялись за дровами и за водой, вырубали лес, распахивали землю и сеяли. Надеялись, что охота и рыбная ловля поможет им дотянуть до первой жатвы. А так как опальный правительственный чиновник не желал пачкать свой единственный камзол, а военачальник боялся порвать мундир, то все ходили в одежде из грубого холста, кутались в старые шерстяные накидки, которые быстро покрывались несмываемыми пятнами от смолы и древесного сока. Вскоре новые ссыльные тоже начинали походить на крестьян с полотен Ленеи — заросших щетиною и с глубоко ввалившимися глазами. Прилежная и старательная смерть делала свое дело, она стояла рядом, пока люди поливали потом скудное поле, пока они пололи, переворачивали пласты земли, бросали семена в борозду. Одного уже трепала лихорадка, другой изрыгал зеленоватую желчь, третий замечал, что у него раздувается живот и что его все время пучит. Между тем сорные травы все яростнее глушили всходы на распаханых участках земли, а на злаки с самого их рождения набрасывались сотни вредителей. И постепенно люди превращались в изможденных нищих, которые тем не менее еще не оставляли попыток хоть что-нибудь извлечь из земли; но тут начинались упорные тропические дожди, и, встав поутру, ссыльные вдруг замечали, что вода проникла в их жилища, что она им уже чуть не по колено; реки выходили из берегов, затопляя луга и пастбища. Именно такие дни негры избирали для того, чтобы насыпать порчу на новоявленных колонистов, — ведь они глядели на них как на непрошенных пришельцев, бесстыдно захвативших земли, которые по праву должны были принадлежать им, неграм. Каждое утро опальный чиновник, военачальник, депутат Конвента обнаруживали какие-то странные предметы, таившие в себе непонятную угрозу: то это был укрепленный перед хижинкой бычий череп с выкрашенными в красный цвет рогами, то тыквенные сосуды с мелкими косточками, зернами маиса и железными опилками, то камни, походившие на головы, в которые вместо глаз и ушей были вставлены ракушки. Иногда ссыльные находили булыжники, завернутые в окровавленное тряпье, черных кур, подвешенных за лапки к притолоке, пучки человеческих волос, прибитые к двери гвоздем, — гвоздем, неведомо откуда взявшимся в краях, где каждый кусок металла был на счету, — причем вбит он был без всякого шума. Ссыльные все время ощущали атмосферу колдовства, а над головой у них нависали черные тучи, казалось, задевавшие кровлю. Некоторые, стремясь подбодрить себя, вспоминали о ведьмах из Бретани и ворожеях из Пуату, однако трудно было спать спокойно, зная, что вокруг по ночам бродят недоброжелатели, что-то высматривают, подслушивают и проникают в дома, не оставляя следов, но отмечая таинственными знаками свое посещение. Изъеденные невидимой молью мундир военачальника, камзол чиновника, последняя рубашка трибуна в один прекрасный день расползались в руках на куски, если только до этого безнадежное существование их владельцев не обрывала притаившаяся в зарослях гремучая змея, которая вдруг стремительно выскользнула оттуда, распрямляясь, точно сверкающая пружина, приведенная в действие мощным толчком хвоста. За несколько месяцев высокомерный чиновник, спесивый военачальник, бывший трибун, депутат Конвента, строптивый священник, общественный обвинитель, полицейский сыщик, влиятельная в прошлом особа, ловкий адвокат,

244 «Георгики» — поэма римского поэта Вергилия (70–19 гг. до н. э.), воспевающая тихие радости сельской жизни.

монархист, изменивший трону, и бабувист²⁴⁵, упорно добивавшийся отмены частной собственности, превращались в жалкое подобие людей, в оборванцев, которые шаг за шагом приближались к холодной глинистой могиле, — кресту и дощечке с именем покойника предстояло исчезнуть с лица земли, как только начнутся тропические дожди. И словно всего этого было еще мало, на отмеченные смертью поля, точно прожорливые коршуны, жадно набрасывались мелкие колониальные чиновники, не гнушавшиеся ничем: в обмен на обещание отослать письмо родным или направить к заболевшему врачу, раздобыть какой-нибудь отвар, немного тростниковой водки либо еды они уносили обручальное кольцо, брелок, семейный медальон — единственное достояние ссыльного, которое он старался сберечь из последних сил, видя в нем некий якорь спасения, единственное, что привязывало его к жизни... Уже спустилась ночь, когда Сигер, устав ждать, предложил Эстебану направиться в дом окруженного всеобщей ненавистью человека, где, возможно, находился теперь аббат Бротье. До этого времени юноша не проявлял никакого желания увидеть своими глазами печально знаменитого ссыльного; однако, узнав, что тот вскоре, видимо, будет пользоваться некоторым влиянием в Кайенне, он решил принять предложение швейцарца. Со смешанным чувством любопытства и страха Эстебан вошел в ветхую, но содержащуюся в необыкновенной чистоте хижину: Бийо, в глазах у которого застыла давняя тоска, сидел в кресле, источенном термитами, и читал старые газеты.

XXXII

Хищный зверь.

Гойя

Чуть церемонная учтивость, с какой некогда грозный Бийо-Варенн принял посылки Виктора Юга, придавала ему сходство с низложенным королем, сохранившим былое достоинство. Казалось, его не особенно заинтересовало содержимое пакетов и запечатанных сургучом шкатулок: он пригласил Эстебана присесть к столу и указал ему на постель (предусмотрительно назвав ее «спартанской»), где тот сможет провести ночь. Затем спросил, не получены ли на Гваделупе какие-либо известия, которые еще не дошли до Гвианы — «этой клоаки земного шара». Узнав, что Виктор Юг вызван в Париж, где ему предстоит отчитаться в своей деятельности, Бийо в приступе внезапной ярости вскочил на ноги:

— Вот-вот! Эти болваны погубят теперь человека, который помешал острову стать английской колонией. Они еще потеряют Гваделупу и дождутся, что коварный Альбион вырвет из их рук и Гвиану.

«Его манера выразаться почти не изменилась», — подумал Эстебан, припомнив, что он в свое время переводил знаменитую речь Бийо, направленную против «коварного Альбиона», стремившегося закрепить господство на море, «усеивая океан своими плавучими крепостями». В эту минуту в комнату вошел аббат Бротье, сильно взволнованный тем, что ему только что довелось наблюдать: стремясь поскорее захоронить мертвецов, солдаты из негритянского гарнизона Синнамари рыли возмутительно маленькие могилы и ногами втоптывали трупы в землю, чтобы запахнуть их в яму, годную разве только для овцы. Кое-где они даже не давали себе труда нести покойников, а ухватив их за ноги, волоком тащили к месту погребения.

²⁴⁵ *Бабувист* — сторонник Гракха Бабёфа (1760–1797), главы «Заговора равных», утопически-коммунистического движения во Франции во время термидорианской реакции.

— Пятерых умерших так сегодня и не похоронили. Они по сию пору лежат в гамаках, разлагаясь и распространяя зловоние: солдаты заявили, что они уже устали возиться с падалью. Нынче ночью в домах Синнамари мертвые и живые будут лежать рядом.

Эстебан при этих словах невольно подумал о другой фразе из той же речи Бийо, произнесенной четыре года назад: «Перед лицом смерти все равны, и свободный народ, провожая усопших в последний путь, должен постоянно видеть в этом акте необходимое предостережение. Погребальная церемония, воздавая почести покойному, помогает изгладить из сознания живых ужас перед смертью: это — последнее прощание природы».

— Подумать только, и таким людям мы даровали свободу! — сказал Бийо, возвращаясь к навязчивой идее, которая неотступно преследовала его со дня приезда в Кайенну.

— Не стоит, пожалуй, считать декрет, принятый в плувиозе, благородной ошибкой революционной гуманности, — иронически заметил Бротье тоном человека, который не только мог говорить свободно и независимо, но и позволял себе спорить с грозным Бийо. — Когда Сонтонакс²⁴⁶ решил, что испанцы готовы напасть на Сен-Доменг, чтобы захватить эту колонию, он на свой риск и страх даровал свободу неграм. Произошло это за год до того, как вы плакали от восторга в Конвенте, провозгласив равенство между всеми жителями заморских владений Франции. На Гаити поступают так, чтобы взять верх над испанцами; на Гваделупе — чтобы с большей уверенностью противостоять натиску англичан; здесь, в Гвиане, — чтобы припугнуть богатых землевладельцев и выходцев из Акадии, расположенных принять сторону британцев и голландцев. Так что можно было и не привозить гильотину из Пуэнт-а-Питра в Кайенну. Обычная колониальная политика!

— И к тому же бесплодная, — заметил Сигер, который в результате декрета, принятого в плувиозе, лишился даровой рабочей силы. — Сонтонаксу пришлось бежать в Гавану. А теперь негры на Гаити требуют независимости.

— Они так же поступают и здесь, — продолжал Бротье, вспомнив, что в Гвиане были подавлены два восстания рабов, добивавшихся свободы, причем утверждали, хотя и без серьезных оснований, будто душою второго бунта был Колло д'Эрбуа.

Эстебан не смог сдержать усмешку, — должно быть, непонятную для остальных, — при мысли, что Колло, чего доброго, пытался создать в этой французской колонии некий негритянский Кобленц.

— Я еще до сих пор вспоминаю, — снова заговорил Сигер, — смехотворные афиши, которыми Жаннэ оклеил стены домов в Кайенне, возвещая о Великом событии. — И землевладелец торжественным голосом произнес: — «Больше не существует ни господ, ни рабов... Граждане, которых до сих пор именовали „беглыми неграми“, могут вернуться к своим братьям, они обретут спокойствие и защиту, а также радость, так как впредь станут пользоваться всеми правами человека. Те, что были прежде рабами, могут отныне, как равноправные граждане, договариваться со своими бывшими господами об условиях завершения начатых работ и выполнения новых». — Сигер вернулся к своему обычному тону: — Французская революция

²⁴⁶ Сонтонакс, Леже (1763–1811) — французский комиссар на острове Санто-Доминго в 1792–1793 и в 1796 гг. Не вполне последовательно, но с искренним энтузиазмом осуществлял меры по освобождению доминиканских негров.

только узаконила борьбу за свободу, которую негры ведут в Америке начиная с шестнадцатого века. Не дожидаясь вашего соизволения, они бесконечное число раз провозглашали свою независимость.

И Сигер, выказывая отличное знание американской истории, удивительное для француза (впрочем, Эстебан тут же вспомнил, что он — швейцарец), стал перечислять все восстания негров, которые с устрашающим постоянством вспыхивали на континенте одно за другим... Сначала грохот барабанов возвестил о мятеже в Венесуэле, где негр Мигель возглавил бунт рудокопов из Бурии и основал королевство²⁴⁷ на таких ослепительно белых землях, что они, казалось, состояли из толченого хрусталя. И не гром органных труб, а ритмичные удары трубчатых стволов бамбука о землю сопровождали торжественную церемонию, во время которой негритянский епископ из племени конго или йоруба, неизвестный Риму, но в митре и с жезлом, возложил царскую корону на голову негритянки Гьомар, супруги первого африканца-монарха в Америке: Гьомар пользовалась не меньшим влиянием, чем сам Мигель... А затем загрохотали барабаны в Негритянской долине возле Мехико и вдоль всего побережья у Веракруса, когда вице-король Мартин Энрикес, желая примерно покарать беглых негров, приказал кастрировать пойманных рабов, «не вдаваясь в подробности их проступков и злодеяний»... И если большинство попыток негров добиться освобождения заканчивалось неудачей, то укрепленный лагерь Паленке-де-лос-Пальмарес, построенный могущественным вождем Ганга-Сумбой в гуще бразильского тропического леса, продержался шестьдесят пять лет; о его частокол из древесных стволов, перевитых лианами, разбились два десятка голландских и португальских карательных экспедиций, оснащенных артиллерией, которая оказалась, однако, не слишком действенной, так как, обороняясь, негры прибегали к старинным военным хитростям кочевников и нередко гнали на врагов стада диких животных, сея панику в рядах белых. Неуязвимым для пуль был Сумби^{#769}; племянник короля Сумбы и маршал негритянской армии; его люди умели пробираться по туго переплетенным кронам деревьев тропического леса, как по кровле, и, точно спелые плоды, обрушивались на головы врагов... Война в бразильской сельве продолжалась уже сорок лет, когда беглые негры на Ямайке укрылись в лесистых горах и основали независимое государство, продержавшееся почти целый век. Представителям британской короны пришлось вести долгие и упорные переговоры с мятежниками и пообещать в конце концов их главарю, горбуну по прозвищу «Старик Каджо», что все его люди получают свободу, а он еще и полторы тысячи акров земли в придачу...

Через десять лет барабаны загрохотали на Гаити: в области Кап-Франсе однорукий негр-магометанин Макандаль, который, как верили негры, мог принимать обличье различных животных, начал бороться против владычества белых с помощью яда, — он подбрасывал в дома, конюшни и хлевы неведомую отраву, и от нее погибали люди и домашние животные. Не успели этого бунтаря сжечь на городской площади, как Голландии пришлось набирать войско из наемников-европейцев для борьбы против скрывавшихся в девственных лесах Суринама беглых негров: их грозными отрядами

²⁴⁷ Речь идет о восстании негров-рабов на золотых приисках Баркисимето в Венесуэле в 1555 г. Мигель, раб, возглавивший восстание, был незаурядной личностью; владея испанским языком, негритянскими и индейскими диалектами, он привлек на свою сторону угнетенных индейцев области Баркисимето и создал государство с органами управления и сильной армией. Большую роль в восстании играла его подруга Гьомар, или Хиомара. Восстание в Баркисимето было подавлено испанцами, и его вожди казнены.

командовали три популярных в народе вожака — Сан-Сан, Бостон и Араби, угрожавшие разорить колонию. Потребовались четыре изнурительные военные экспедиции, чтобы справиться — и то не до конца — с загадочным миром, обитатели которого понимали язык деревьев, лиан и диких зверей, а в часы опасности укрывались в селениях, затерянных в непроходимой чаще, где вновь поклонялись древним богам своих предков... Казалось, что власть белых уже утвердилась на континенте, когда вдруг — всего семь лет назад — другой негр-магометанин, по имени Букман, поднял восстание возле Буа-Кайман, в Сен-Доменге: его люди поджигали дома и опустошали селения. А совсем недавно — три года тому назад — негры Ямайки вновь восстали, чтобы отомстить за гибель двух смутьянов, казненных в Трелони-Таун. И для того чтобы задушить этот недавний бунт, пришлось вызвать войска из Форт-Ройял и доставить с Кубы в Монтего-Бей своры собак, приученных к охоте на негров. Да и теперь цветные обитатели Баии опять били в барабаны — началось новое грозное восстание поработенных, участники которого, колотя в пустые тыквы, громко требовали равенства и братства, провозглашая под аккомпанемент варварских барабанов лозунги французской революции...

— Итак, вы можете легко убедиться, — закончил Сигер, — что знаменитый декрет, принятый в плювиозе, не принес ничего нового на Американский континент, он, пожалуй, послужил только еще одним доводом в пользу продолжения той борьбы за свою свободу, которую издавна вели здешние негры.

— Самое поразительное, — проговорил Бротье после некоторого молчания, — то, что негры на Гаити решительно отказались принять гильотину. Сонтонаксу только однажды удалось привести ее в действие. Толпы негров сбегались посмотреть, как будут рубить голову человеку. Поняв, как действует грозная машина, они в ярости набросились на нее и разнесли на части.

Хитроумный аббат хорошо рассчитал, куда угодит его стрела.

— Приходилось ли применять суровые меры для того, чтобы восстановить порядок на Гваделупе? — осведомился Бийо, которому, видимо, было известно о событиях на острове.

— Поначалу приходилось, — ответил Эстебан. — В ту пору гильотина еще возвышалась на площади Победы.

— Беспощадная штука, она не щадит ни мужчин, ни женщин, — заметил Сигер с какой-то странной интонацией.

— По правде говоря, я не помню, чтобы гильотинировали хотя бы одну женщину, — вырвалось у юноши, который сразу же почувствовал, сколь неуместно его замечание.

Аббат Бротье поспешил переменить разговор и пустился в общие рассуждения:

— Только белые распространяют на женщин даже самые суровые свои законы. Негры в ярости могут изнасиловать и изувечить женщину, но, будучи в спокойном состоянии, они никогда ее не казнят. По крайней мере, я не знаю подобных примеров.

— В их глазах женщина — это чрево, — проговорил Эстебан.

— А в наших — голова, — подхватил Сигер. — Иметь чрево — всего лишь закон природы, а носить голову на плечах — уже некая ответственность.

Бийо только пожал плечами, словно желая сказать, что замечание швейцарца лишено остроумия.

— Вернемся к предмету нашей беседы, — сказал он с легкой улыбкой, чуть тронувшей его бесстрастное лицо, по которому никогда нельзя было понять, погружен

он в свои мысли или прислушивается к разговору.

Сигер возобновил свой рассказ о мятежах негров:

— Я твердо убежден, что Бартоломе де лас Касас — один из величайших злоумышленников в истории²⁴⁸. Почти три века тому назад он выдвинул грандиозную проблему, которая по своим масштабам превосходит даже столь знаменательное событие, как французская революция. Нашим внукам все ужасы, происходящие ныне в Синнамари, Куру, Конамаме, Иракубо, покажутся пустяковыми примерами человеческого страдания, а негритянская проблема будет всегда существовать. В Сен-Доменге мы узаконили стремление негров к свободе, и вот они уже изгоняют нас с этого острова. А потом негры захотят жить на равной ноге с белыми.

— Они этого никогда не добьются! — крикнул Бийо.

— А, собственно, почему? — спросил Бротье.

— Потому что мы вылеплены из *разного теста*. Я избавился от некоторых человеколюбивых грез, господин аббат. Нумидийцу надо проделать немалый путь, прежде чем он уподобится римлянину. Негр из Ливии — это вам не афинянин. А здешний Понт Эвксинский²⁴⁹, на побережье коего мы отбываем ссылку, отнюдь не Средиземное море...

В это время появилась Бригитта, юная служанка Бийо; она уже несколько раз входила из кухни в комнату, служившую столовой, и Эстебан обратил внимание на тонкие черты ее лица, какие нечасто встречаются у негритянок, а скорее присущи мулаткам или квартеронкам. На вид девушке было лет тринадцать, однако ее юное тело уже оформилось, и его округлости отчетливо вырисовывались под платьем из грубого полотна. Она почтительно возвестила, что ужин — большое дымящееся блюдо из батата, бананов и вяленого мяса — готов. Бийо отправился за бутылкой вина — неслыханной в этих местах роскошью, — которой он наслаждался последние три дня, и четверо мужчин уселись за стол друг против друга; за едой Эстебан тщетно пытался понять, в силу каких необычайных обстоятельств возникла непонятная дружба между ненавидимым всеми Бийо, аббатом, который, быть может, по вине того же Бийо оказался в ссылке, и землевладельцем-кальвинистом, разорившимся именно потому, что идеи хозяина дома воплотились в жизнь. Заговорили о политике. Речь шла о том, что Гоша отравили²⁵⁰, что популярность Бонапарта растет с каждым днем, а в бумагах Неподкупного обнаружены письма, из которых следовало, что перед тем, как разразились события 9 термидора, приведшие к его падению, Робеспьер будто бы собирался уехать за границу. Там у него якобы были надежно припрятаны деньги. На Эстебана уже давно наводили тоску постоянные пересуды и толки о нынешних вершителях человеческих судеб и о вчерашних кумирах. Все разговоры в ту пору сводились к одному и тому же. Юноше так хотелось бы мирно побеседовать вместо этого о граде божием, или о жизни бобров, либо о чудесных свойствах электричества.

²⁴⁸ Плантатор-рабовладелец клеймит здесь великого борца за свободу индейцев и негров Америки испанского гуманиста Бартоломе де лас Касаса (1474–1566).

²⁴⁹ *Понт Эвксинский* — древнегреческое название Черного моря, берега которого считались отдаленной провинцией.

²⁵⁰ Гош, Луи-Лазар (1768–1797) — один из наиболее даровитых военачальников эпохи революционных войн, человек кристальной честности, всецело преданный делу революции. Умер скоропостижно, командуя армией, которая должна была высадиться в Ирландии. Версия о его отравлении не заслуживает доверия.

Его неодолимо клонило ко сну, и не было еще восьми часов, когда он извинился за то, что все время клюет носом, и попросил разрешения растянуться на тюфяке, который гостеприимно предложил ему хозяин дома. С табурета, стоявшего возле ложа, он взял оставленную кем-то книгу. Это был роман Анны Радклиф ²⁵¹ «Итальянец, или Исповедальня кающихся в черных одеждах». Случайно встретившаяся в нем фраза глубоко поразила Эстебана: «Alas! I have no longer a home: a circle to smile welcome upon me. I have no longer even one friend to support, to retain me! I am a miserable wanderer on a distant shore!..»²⁵² Он проснулся вскоре после полуночи: в соседней комнате, сняв из-за жары рубаху, Бийо-Варенн что-то писал при свете лампы. Время от времени он сильным ударом ладони убивал назойливое насекомое, усевшееся на его плечо или затылок. Возле него на убогом ложе устроилась юная Бригитта, она сбросила с себя одежду и обмахивала голую грудь и бедра старым номером «Философской декады»²⁵³.

XXXIII

Октябрь в том году — октябрь, отмеченный циклонами, буйными ночными ливнями, нестерпимой жарой по утрам и дневными грозами, после которых душный зной становился и вовсе невыносимым из-за испарений, пропитанных запахом глины, кирпича и мокрой золы, — был особенно мучителен для Эстебана. Внезапная смерть аббата Бротье, скончавшегося во время короткого пребывания в Кайенне от какой-то болезни, которой он заразился в Синнамари, глубоко потрясла юношу. До этого он еще смутно надеялся, что священник, человек деятельный и бывалый, знакомый с влиятельными людьми, быть может, найдет способ помочь ему перебраться в Суринам. А теперь Эстебан, не зная, кому довериться, ощущал себя узником — и темницей для него был город, вся страна. Страну же эту окружали на континенте такие непроходимые тропические леса, что единственным выходом из нее было море, но и этот выход был прегражден самым неодолимым из всех барьеров — бумажным барьером. В ту эпоху нельзя было и шагу ступить без многочисленных, необходимых везде и всюду бумаг, бумаг, снабженных гербовыми или сургучными печатями и надписями, которые что-то позволяли, а что-то воспрещали; именовались бумаги по-разному — «разрешение», «пропуск», «паспорт», и все эти слова означали, что обладателю бумаг дано право переезжать из одной страны в другую, из области в область, а иногда даже — из города в город. Сборщики различных податей и налогов, люди, взимавшие на заставах плату за проезд и провоз товаров, таможенники прежних времен были только красочным прообразом целой армии полицейских и политиков, которые ныне — одни из страха перед революцией, другие из страха перед контрреволюцией — старались повсюду ограничить свободу человека, лишить его исконного, естественного и столь необходимого права передвигаться по поверхности

²⁵¹ Роман английской писательницы Анны Радклиф (1764–1820) «Итальянец, или Исповедальня кающихся в черных одеждах» вышел в свет в 1797 г.

²⁵² «Увы! У меня нет больше дома, где бы меня встречали благожелательной улыбкой. У меня больше нет даже друга, который мог бы ободрить и поддержать меня! Я жалкий скиталец на дальнем берегу!..» (англ.).

²⁵³ «Философская декада» — журнал по вопросам философии, политики и литературы, издававшийся во Франции со II года Республики по 1807 г.

планеты, на которой ему было предназначено жить. Эстебан негодовал, буквально дрожал от ярости при мысли, что люди, по доброй воле отказавшиеся от кочевого образа жизни своих предков, теперь и вовсе утратили свободу передвижения, зависели от какой-то *презренной бумажонки*. «Положительно, — говорил он себе, — я не создан для роли человека, которого ныне именуют благонамеренным гражданином...» Весь этот месяц в Кайенне царили замешательство, растерянность и неразбериха. Жаннэ, раздраженный тем, что его отстранили от должности, попытался подавить силами негритянского ополчения ропот эльзасских стрелков, требовавших жалованья, которое им не платили уже несколько месяцев. Но затем, испугавшись возможных последствий, он наводнил город слухами о том, что североамериканские корабли угрожают Гвиане блокадой, и встревоженные жители, опасаясь голода, стали выстраиваться в очереди у продовольственных лавок.

— Таким способом он распродаст лежалые товары, и они не достанутся его преемнику, — заметил Огар, немало повидавший на своем веку жульнических проделок колониальных чиновников.

В начале ноября волнение в Кайенне улеглось — на борту фрегата «Инсургент», встреченного приветственными залпами береговых орудий, в город прибыл Бюрнель. Едва расположившись в правительственной резиденции, новый агент Директории, не обращая внимания на толпившихся в прихожей людей, которые жаждали «сообщить» ему о многом, приказал доставить из Синнамари Бийо-Варенна и на глазах у всех обнял его, что привело в трепет тех, кто полагал, будто некогда грозный якобинец уже навсегда забыт. И вскоре в Кайенне стало известно, что Бюрнель и Бийо-Варенн три дня подряд просидели, запершись в кабинете, откуда они выходили только к обеду, подкрепляясь в промежутке сыром и вином; все это время они тщательно обсуждали местные политические проблемы. Возможно, они беседовали также и о положении ссыльных, так как нескольких больных из Куру неожиданно перевели в Синнамари.

— Поздновато, — проворчал сквозь зубы Огар. — Смертность в Куру, Иракубо и Конамаме даже в лучшие месяцы достигает тридцати процентов. В прошлом году на судне «Байоннеза» сюда доставили партию изгнанников. И, как мне известно, из пятидесяти восьми человек сейчас остались в живых только двое. Среди умерших совсем недавно был один ученый по фамилии Авеланж, ректор Лувенского университета.

Владелец гостиницы был прав: ссылка в Гвиану привела людей на поля смерти, усеянные могилами и человеческими скелетами, над которыми кружили черные стервятники. Четыре большие реки этой страны дали свои индейские имена обширным кладбищам белых людей, и многие из ссыльных нашли тут свой конец потому, что остались верными той самой религии, которую белый человек вот уже почти три века насильно навязывал индейцам Америки... Швейцарец Сигер, приехавший в город для того, чтобы без лишнего шума приобрести небольшую усадьбу для Бийо-Варенна, доверительно сообщил Эстебану о планах, которые свидетельствовали, что правители Кайенны вновь проникались не только духом якобинцев и кордельеров, но даже настроениями «бешеных»; Бюрнель при негласной поддержке Директории намеревался направить в Суринам тайных агентов, с тем чтобы они, пользуясь декретом от 16 плювиоза II года Республики, подготовили там восстание рабов и дали, таким образом, возможность Франции захватить эту колонию; то был поистине вероломный план, если вспомнить, что Голландия была тогда единственным лояльным союзником Франции в здешних местах. Вечером Эстебан пригласил швейцарца к себе,

и мужчины смаковали тонкие вина, имевшиеся в гостинице, в обществе служанок Анжессы и Схоластики, которые, не заставив себя долго просить, сбросили блузы и юбки; Огар, снисходительно смотревший на утехи своих постояльцев, спокойно ушел к себе. Когда новые приятели выпалились после кутежа, Эстебан поговорил по душам с Сигером, умоляя того использовать свое влияние и раздобыть ему паспорт для выезда в Суринам.

— Там я буду весьма полезен как распространитель крамольных идей, — сказал юноша, заговорщицки глядя на собеседника.

— Вы совершенно правы, стараясь улизнуть, — отрезал Сигер. — Гвиана может отныне интересоваться одних только спекуляторов да сторонников нового правителя. Здесь человек может быть либо политиком, либо подставным лицом. Вы понравились Бийо. Попробуем раздобыть бумагу, в которой вы нуждаетесь...

Неделю спустя судно «Диомед», получившее недавно новое название — «Завоеванная Италия», снялось с якоря и направилось в соседнюю колонию, чтобы продать там — на сей раз в пользу Бюрнеля — партию товаров, захваченных корсарскими кораблями еще в пору правления Жаннэ.

Когда Эстебан после тревожного пребывания в гнетущей и отвратительной обстановке Кайенны — главного города колонии, вся история которой состояла из цепи грабежей, эпидемий, убийств, ссылок и массовых смертей, — очутился на улицах Парамарибо, ему показалось, будто он попал в город, прибранный и разукрашенный для большого праздника, город, напоминавший фламандскую ярмарку, а еще больше — сказочную тропическую страну. Широкие улицы, обсаженные апельсиновыми, тамариндовыми и лимонными деревьями, дышали изобилием и богатством, они были застроены живописными домами из дерева дорогих пород — встречались среди них трехэтажные и даже четырехэтажные, — их окна, без стекол были задернуты муслиновыми занавесками. Большие шкафы, стоявшие в комнатах, были битком набиты всевозможными вещами, а под тюлевыми пологам от москитов покачивались удобные гамаки, обшитые блестящей бахромой. Глазам Эстебана вновь предстали хрустальные люстры и жирандоли, дорогие зеркала, стеклянные щитки для защиты от ветра — все, что было знакомо ему еще с детства. По грузовым пристаням катили бочки; в порту на задних дворах гоготали гуси; в воздухе весело звучали сигнальные рожки горнистов, а солдат, стоявший на сторожевой башне форта Зеландия, отмечал ход солнечных часов, ударяя в колокол механическими движениями заводной куклы. В лавках, торговавших провизией и расположенных возле мясной, где покупателям предлагали мясо черепахи и телячью ногу, нашпигованную чесноком, Эстебан обнаружил уже почти забытые им лакомые кушанья и напитки: портер, сочную вестфальскую ветчину, копченых угрей и молодых лососей, анчоусы в маринаде с каперсами и лавровым листом и крепкую горчицу из Дарема. По реке плыли большие лодки с позолоченным носом и с фонарем на корме; черные гребцы были в ослепительно белых набедренных повязках, они ловко действовали короткими веслами, устроившись под парусиновыми навесами и балдахинами из светлого шелка или генуэзского бархата. Некоторые жители этих заморских владений Голландии дошли до такой изысканности, что ежедневно натирали в своих домах полы красного дерева померанцами: впитываясь в паркет, сок этих плодов издавал сильный и тонкий запах. Католический храм, протестантские и лютеранские церкви, синагоги португальских и немецких евреев — все эти молитвенные дома с их колоколами,

органами, песнопениями, гимнами и псалмами, звучавшими по воскресеньям и праздникам — на рождество, в день всеобщего отпущения грехов, на иудейскую пасху и в страстную субботу, — с их священными текстами и молебствиями, с золочеными восковыми свечами, лампадами, пышными светильниками, какие возжигают в день хануки, казались Эстебану символами веротерпимости, — ее в некоторых частях света человек упорно отстаивал и защищал, не страшась религиозных и политических преследований...

Пока судно «Завоеванная Италия» разгружалось и распродало привезенные товары, молодой человек прогуливался вдоль берегов реки Суринам, где купался весь город, и расспрашивал о предстоящем прибытии североамериканских кораблей, в числе которых должен был прийти и стройный парусник под названием «Эрроу». Не надеясь, что его пребывание в Парамарибо совпадет с прибытием корабля капитана Декстера — к тому же за шесть лет капитана могли сменить, — Эстебан все же понимал, что его опасные приключения подходят к концу. После того как французская шхуна снимется с якоря, сам он и дальше останется в Парамарибо на правах «торгового агента» правительства Кайенны с тайной миссией — распространить, когда это представится возможным и целесообразным, несколько сот экземпляров декрета от 16 плювиоза II года Республики, переведенного на голландский язык и дополненного призывами к мятежу. Эстебан уже выбрал место, где удобнее всего было бросить в воду пачки листовок, привязанные к тяжелым камням, чтобы навсегда похоронить их на дне реки. Потом он станет ждать прибытия североамериканского судна — из тех, что на обратном пути в Балтимор или Бостон делают остановку в Сантьяго-де-Куба или в Гаване. А тем временем он постарается развлечься с какой-нибудь белокурой голландкой, дородной и страстной, с золотистой шеей и грудью, выступающей из пены кружев. После ужина местные красавицы устраивались на подоконниках, чтобы подышать ночным воздухом, или пели, аккомпанируя себе на лютне; иногда они заглядывали к соседкам, показывая им вышитые коврики и дорожки, на которых были изображены милая их сердцу улица в Делфте или воспроизведенный по памяти фасад прославленной ратуши, а то и просто прихотливое сочетание цветных гербов и тюльпанов. Эстебану рассказали, что эти прелестные особы неспроста благоволили к иностранцам, — они знали, что у их собственных мужей были темнокожие любовницы в поместьях, где почтенные землевладельцы слишком уж часто задерживались на ночлег: «Дщери Иерусалимские! Черна я, но красива. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Впрочем, эта щекотливая проблема существовала с давних пор и повсеместно. Многие белые мужчины, однажды преодолев свои колебания, загорались такой страстью к чернокожим женщинам, что невольно возникала мысль о колдовстве. Ходили легенды о таинственных примочках, различных снадобьях, воде, настоянной на каких-то кореньях, — все это без ведома белого любовника якобы применялось для того, чтобы «присушить» его, привязать к себе и до такой степени подчинить его волю, что он в конце концов становился совершенно равнодушен к женщинам своей расы. Помимо всего прочего, землевладельцу нравилось играть роль Быка, Лебедя и Золотого Дождя²⁵⁴ в кругу женщин, которые вместе с его благородным семенем получали в подарок браслеты,

²⁵⁴ Намек на хитрые приемы любвеобильного древнегреческого бога Зевса. Зевс похитил дочь финикийского царя Агенора Европу, представ перед ней в образе быка. Дочь царя Этолии Леду Зевс покорил, обратившись в лебедя. Золотым дождем Зевс явился Данае, дочери аргосского царя Акрисия.

головные платки, ситцевые юбки и душистые масла, привезенные из Парижа. Белый мужчина, на чьи любовные шашни со служанками все смотрели сквозь пальцы, нисколько не ронял себя в глазах окружающих, вступая в связь с негритянкой. И если от его связей рождалось множество курчавых детей — мулатов, квартеронов и таких, в чьих жилах текло уже совсем немного черной крови, — то это обстоятельство придавало ему завидную репутацию плодовитого патриарха. Зато на белую женщину, сходящуюся с цветным, — а случалось это очень редко, — смотрели с отвращением. На всем Американском континенте — от области, где жили индейцы натчезы, и до побережья Мардель-Плата — трудно было сыскать женщину более несчастную, нежели та, что выбрала для себя роль колониальной Дездемоны... С прибытием «Амазонки», грузового судна из Балтимора, возвращавшегося с Ла-Платы, закончилась жизнь Эстебана в Парамарибо, где он еще оставался некоторое время после того, как «Завоеванная Италия» покинула порт. Ожидая нужный ему корабль, юноша пользовался нежной благосклонностью одной уже зрелой, но еще достаточно свежей и всегда благоухающей дамы, которая, впрочем, нещадно злоупотребляла рисовой пудрой; она зачитывалась романами Ричардсона²⁵⁵ «Кларисса Гарлоу» и «Памела», считая их новинками, и угощала Эстебана португальскими винами, в то время как ее супруг проводил ночи в своем поместье «Эгмонт» по причинам слишком хорошо известным... За два часа до отплытия — перед тем как снести свой багаж на борт «Амазонки» — Эстебан отправился в городскую больницу, чтобы услышать мнение главного хирурга Грейбера по поводу небольшой опухоли под мышкой слева, которая в последнее время беспокоила его. Наложив на больное место повязку со смягчающей мазью, почтенный доктор проводил молодого человека через приемную, где девять негров под охраной вооруженных стражников мирно курили трубки, набитые едким табаком, от которого пахло уксусом: мундштуки их глиняных трубок были так изгрызены, что тлевший табак едва не обжигал губы. Эстебан с ужасом узнал, что эти рабы за попытку к бегству были отданы под суд и суринамские жрецы Фемиды постановили отсечь каждому из смутьянов левую ногу. А так как приговор следовало привести в исполнение самым тщательным образом, по всем правилам науки, не прибегая к устарелым приемам, которые пригодны только в варварские времена и приносят излишние страдания или подвергают опасности жизнь виновного, то девять рабов были доставлены к лучшему хирургу Парамарибо, с тем чтобы он, вооружась пилою, выполнил судебный вердикт.

— Бывают случаи, когда приходится ампутировать руку, — сказал доктор Грейбер, — такая мера применяется, если раб поднял руку на своего господина. — И, повернувшись к неграм, ожидавшим очереди, хирург спросил: — Ну, кто первый?!

Эстебан увидел, как со своего места молча поднялся рослый, мускулистый негр с волевым лицом; юноша едва не лишился чувств, он опрометью кинулся в ближайшую таверну и потребовал водки, чтобы забыться и прогнать ужас. Однако взгляд его упорно обращался к фасаду больничного здания, он не мог отвести глаз от закрытого окна операционной и думал о том, что там происходит.

— Мы, люди, — самые гнусные твари на земле! — в ярости повторял Эстебан.

В эти минуты он ненавидел самого себя и, если бы только мог, охотно поджег больницу... Когда «Амазонка», спускавшаяся вниз по течению реки Суринам,

²⁵⁵ Сэмюэль Ричардсон (1689–1761) — популярнейший английский романист XVIII в. Его сентиментальные романы «Памела» (1740) и «Кларисса Гарлоу» (1747–1748) многократно переиздавались во многих странах Европы.

проходила мимо какой-то рыбацкой шлюпки, где сидели черные гребцы, стоявший у самого борта Эстебан швырнул неграм несколько пакетов.

— Прочтите это! — крикнул он им. — А если не знаете грамоте, пусть вам прочтет кто-нибудь другой.

В пакетах лежали листовки с переведенным на голландский язык текстом декрета от 16 плювиоза II года Республики. И теперь юноша радовался, что не успел бросить их в воду, как собирался еще несколько дней тому назад.

XXXIV

...Он находился против входа в пролив Бокас-дель-Драгон, над его головой раскинулось усыпанное мириадами звезд ночное небо; именно здесь великий адмирал Фердинанда и Изабеллы наблюдал, как пресная вода ожесточенно борется с соленой, — борьба эта длилась с первого дня творения. «Пресная вода выталкивала соленую, не давая ей войти, а соленая — пресную, не давая ей выйти». Однако сегодня, как и вчера, громадные стволы деревьев, вырванных с корнями во время августовских паводков, приплывали откуда-то из глубины материка; ударяясь о скалы и ускользя из-под власти пресной воды, они устремлялись по морским дорогам, чтобы исчезнуть в безбрежных просторах соленого океана. Эстебан видел, как стволы плывут к Тринидаду, к Тобаго или к Гренадинам; они темнели на трепетных фосфоресцирующих волнах, точно длинные, очень длинные лодки, которые всего лишь несколько веков назад блуждали по этим же дорогам в поисках обетованной земли. В те времена здешние народы еще жили в каменном веке²⁵⁶ — для многих он миновал совсем недавно и даже не был вполне забыт, — и расположенная на севере страна неодолимо влекла к себе людей, собиравшихся по ночам вокруг костров. Однако они почти ничего не знали о ней. Рыбаки получали известия из уст других рыбаков, тем же сообщали новости рыбаки, жившие дальше к северу, а они, в свою очередь, слушали рассказы жителей еще более отдаленных мест. Но разные вещи, побывав в руках многих людей, которым они достались в обмен или в подарок, после долгих дней пути попадали сюда. Вещи эти были загадочны, великолепны и сделаны из неведомого материала. То были маленькие камешки, — разве в размерах дело? — но они будто говорили; они словно глядели с вызовом, улыбались или строили непонятные гримасы; попали они сюда из страны, которая гордилась своими громадными эспланадами, роскошными купальнями для юных девушек, невиданными строениями... Люди столько толковали о лежащей на севере стране, что мало-помалу начали смотреть на нее как на свою собственность. Рассказы о сокровищах этой страны упорно передавались из поколения в поколение, и в конце концов сами *сокровища* превратились как бы в общее достояние племени. Этот далекий мир сделался Вожденной землей, на которой в один прекрасный день предстояло обосноваться избранному народу, и оставалось только ждать небесных знамений,

²⁵⁶ Колумб и первые испанские колонисты явились на Антильские острова в ту пору, когда их коренные обитатели находились на стадии первобытно-общинного строя. Куба, Ямайка, часть острова Гаити и Багамские острова были населены племенами аравакской семьи (тайно и сибонеи), мирными землевладельцами и рыболовами. На Малых Антильских островах, на Пуэрто-Рико и в некоторых местностях острова Гаити жили индейцы карибской семьи, которые оказали стойкое сопротивление испанским завоевателям. В жестоких войнах и карательных походах испанцы за первые тридцать лет своего господства на Антильских островах истребили девяносто пять процентов коренного населения этого архипелага.

чтобы отправиться в нелегкий путь. А пока люди все шли и шли вперед, ими уже просто кишело устье Бесконечной реки, Великой реки на юге, в сотнях дневных переходов от пролива Бокас-дель-Драгон. Одни племена спустились с гор, покинув деревушки, где они жили с незапамятных времен, другие переправились с правого берега реки, а те, что обитали в гуще тропических лесов, каждое новолуние группами выходили из чащи и долго шурились на свету — им месяцами пришлось шагать в зеленом полумраке, следуя течению ручьев и потоков и обходя стороной торфяные болота... Однако ожидание затягивалось. Дело предстояло такое трудное, дорога была такая далекая, что вожди племен никак не отваживались принять решение. Подрастали дети и внуки, а люди все еще не трогались с места; они суетились, как муравьи, но настоящего дела не делали, а только говорили об одном и том же и неотрывно смотрели на вещи из далекой страны, которые с каждым днем казались им все заманчивее. Но вот однажды ночью — ночи этой суждено было навсегда сохраниться в их памяти — небосвод с ужасающим свистом прорезало какое-то светящееся тело, указывая направление, которое давно уже наметили для себя люди: то был путь в северную страну. И тогда орда пришла в движение, — разделившись на сотни боевых отрядов, племена вторглись в чужие земли. Все мужчины, принадлежавшие к другим народам, были безжалостно истреблены, жизнь сохраняли только женщинам, чтобы они могли зачать детей от завоевателей. Так возникло два различных языка: язык женщин, язык очага и домашних работ, и язык мужчин, язык воителей, овладеть которым дано не каждому...

Больше века длился поход сквозь тропические леса, по равнинам и горным ущельям, пока завоеватели не достигли наконец моря. Тут они узнали, что жители побережья, услышав о грозном приближении воинов с юга, перебрались на острова, лежавшие поодаль, — впрочем, не так уж далеко, — там, за линией горизонта. Но, покинув свои селения, они оставили вещи и предметы, уже знакомые племенам с юга, и пришельцы поняли, что, добравшись до островов, они смогут, пожалуй, самым кратчайшим путем достигнуть северной страны. Время не принималось в расчет — всеми владела одна только мысль: достичь в один прекрасный день Вожденной земли, и потому люди с юга остановились на побережье, твердо решив овладеть искусством мореплавания. Разбитые пироги, валявшиеся на песке, послужили образцом для первых лодок, которые завоеватели выдалбливали из древесных стволов. Но так как им предстояло преодолеть большие расстояния, они постепенно стали строить более вместительные, длинные и широкие суда с высоким и узким носом, которые могли взять на борт до шестидесяти человек сразу. И однажды праправнуки тех, кто выступил в путь пешком, начали морской поход: погрузившись на свои суденышки, они отправились завоевывать острова. Без большого труда они переправлялись через неширокие проливы, одолевали силу течений и, перебираясь с острова на остров, убивали тамошних обитателей — мирных земледельцев и рыбаков, незнакомых с искусством войны. И плыли все дальше и дальше, становясь с каждым днем более отважными и умелыми: теперь они уже научились определять свое местоположение по звездам. Чем дальше продвигались они вперед, тем явственнее вставали у них перед глазами башни, эспланады и дома северной страны. Ее близость угадывалась по новым островам, которые становились все больше, все гористее и все изобильнее. Надо лишь оставить за собой еще три острова или даже два, а может быть, всего один — южане вели счет по островам, — и они достигнут наконец Вожденной земли! Их передовые отряды уже приблизились к самому большому острову, — быть

может, последнему этапу пути. Теперь уже чудесные сокровища близки, и достанутся они отнюдь не внукам завоевателей! Завоеватели сами увидят их своими глазами. При одной этой мысли гребцы энергично подбадривали друг друга, а нетерпеливые их руки все быстрее и глубже погружали весла в морскую воду.

Но тут на горизонте стали вырисовываться какие-то незнакомые, причудливые громады с круглыми отверстиями на боку и невиданными, устремленными в небо деревьями, на которых, то раздуваясь, то опадая на ветру, висели полотнища с загадочными знаками. Захватчики столкнулись с другими захватчиками, внезапно появившимися здесь неведомо откуда, — непрошеные пришельцы свалились на них, словно для того, чтобы навсегда уничтожить мечту, которую несколько веков вынашивали воины с юга. Великому походу не суждено было увенчаться успехом: северной стране предстояло попасть в руки незваных гостей с востока. Охваченные жестокой досадой, карибы в слепой ярости устремились на штурм громадных кораблей, поражая вражеских моряков своею отвагой. Индейцы карабкались на планширы, атакуя сынов Европы с бешенством и ожесточением, непонятным жителям далекого континента. Две непримиримые исторические эпохи столкнулись в этой беспощадной борьбе, где противоборствовали люди, верящие в тотемы, и люди, поклоняющиеся богу. Ибо архипелаг, за который шла эта битва, внезапно превратился в архипелаг, отмеченный богом. Его острова меняли свои прежние названия²⁵⁷ и как бы становились частью мистерии, идущей на грандиозной мировой сцене. Первый же остров, встреченный в этих морях захватчиками с неведомого здешним жителям континента, получил имя Христа, и на его побережье был воздвигнут первый связанный из ветвей крест. Второй остров был наречен в честь божьей матери — Санта-Мария-де-ла-Консепсьон. Антильские острова преобразились в грандиозный витраж, пронизанный солнечными лучами, где дарители были представлены островами, названными в их честь: «Фернандина» и «Изабелла»; нашли в нем свое место и апостол Фома, Иоанн Креститель, святая Люсия, святой Мартин, пресвятая дева Гваделупская и священные ипостаси Троицы, а возникавшие на различных островах города получали названия, также связанные с христианством: «Навидад», «Сантьяго», «Санто-Доминго»²⁵⁸; вокруг же плескалось небесно-голубое море, а на нем, точно белое ожерелье, раскинулись лабиринтом «Одиннадцать тысяч дев» — на самом деле их невозможно было сосчитать, как невозможно сосчитать звезды на Млечном Пути. Совершив прыжок через тысячелетия, это Средиземное море Америки стало как бы наследником подлинного Средиземного моря, получив вместе с пшеницей и латынью, вином и вульгатой²⁵⁹ христианскую веру со всеми ее обрядами и знаменами. Карибы так и не дошли до империи майя, они были остановлены, обескровлены и разбиты в самый разгар готовившегося веками похода. И от этой потерпевшей крах эпопеи, которая, очевидно, началась на левом берегу реки

²⁵⁷ Здесь идет речь о событиях, связанных с открытиями Колумба. «Первый остров», получивший имя Христа, — это остров Сан-Сальвадор (современный Уотлинг-Сан-Сальвадор) в группе Багамских островов. Это была первая земля Нового Света, открытая Колумбом. Острова Санта-Мария-де-ла-Консепсьон и Изабелла — это острова Рум-Кей и Крукед-Айленд в том же архипелаге. Фернандина — Куба. Навидад, Сантьяго и Санто-Доминго — названия, данные Колумбом и его сподвижниками различным пунктам на острове Эспаньола (Гаити).

²⁵⁸ «Рождество», «Святой Иаков», «Светлое воскресенье» (*исп.*).

²⁵⁹ *Вульгата* — латинский перевод Библии, осуществленный в IV в. далматинским монахом Иеронимом.

Амазонки, когда по календарю *тех, других*, шел XIII век — XIII только для них, — не осталось никаких следов; лишь на морском побережье и возле рек сохранились камни с Карибскими письменами; эти уцелевшие на поверхности камня письмена и рисунки с гордой эмблемой солнца можно считать вехами так никогда и не написанной истории великого похода...

Эстебан находился против входа в пролив Бокас-дель-Драгон, над его головой раскинулось предрассветное, но еще усеянное звездами небо; именно здесь великий адмирал наблюдал, как пресная вода ожесточенно борется с соленой, — борьба эта длилась с первого дня творения. «Пресная вода выталкивала соленую, не давая ей войти, а соленая — пресную, не давая ей выйти». Однако поток пресной воды был необыкновенно мощным, он, несомненно, брал свое начало в пределах Бесконечной земли или, — что казалось гораздо более правдоподобным людям, которые верили в существование чудовищ, описанных святым Исидором Севильским, — в пределах земного рая. Составители географических карт помещали этот рай земной с его источником, питавшим величайшие реки планеты, то в Азии, то в Африке. Вот почему, попробовав пресную воду, которую рассекал теперь его корабль, и найдя, что она «с каждым часом становится все чище и вкуснее», адмирал предположил, что река, которая несет пресную воду к морю, зарождается у подножия Древа Жизни. Эта внезапная мысль заставила его усомниться в точности классических текстов: «Я не знаю и никогда не знал ни одного сочинения, написанного латинянами или греками, где было бы точно указано, в каком месте нашей планеты расположен земной рай; не видел я его изображения ни на одной географической карте». А поскольку Беда Достопочтенный, святой Амвросий и Дуне Скотт²⁶⁰ помещали земной рай на востоке — люди же, плывшие из Европы и двигавшиеся по ходу солнца, а не против него, полагали, что они достигли именно востока, — то среди спутников Колумба утвердилась поразительная уверенность в том, что остров Эспаньола, названный позднее Сан-Доминго, и есть тот самый Таре, или Каэтия, или Офир²⁶¹, или Офар, или Сипанго, — так именовались упоминавшиеся в древних книгах острова и земли, местоположение которых в мире, *ограниченном* Испанией, не было дотоле надежно определено (так представляли себе мир люди, вновь отвоевавшие Пиренейский полуостров). Должно быть, наступили «поздние годы», возвещенные Сенекой, «когда море-океан разомкнет свои воды, расступится, и глазам предстанет огромная страна; и новый мореплаватель, подобный тому, который некогда указывал путь Ясону, откроет новый мир; и тогда остров Туле уже не будет последней точкою земли»²⁶². Открытие Америки стало приобретать религиозный смысл²⁶³. Ведь это путешествие в

²⁶⁰ Беда Достопочтенный (673–735) — английский богослов и историк. Амвросий — епископ миланский, один из «отцов церкви», автор ряда философских трактатов. Дуне Скотт (1265–1308) — шотландский философ и богослов. Колумб знал сочинения этих богословов и ссылался на них в своем письме Фердинанду и Изабелле в 1498 г.

²⁶¹ *Офир*. — В Библии страна Офир описывается как земля, богатая золотом и драгоценными камнями. По-видимому, в сказаниях об этой стране отражались реальные сведения об одной из областей Сомалийского полуострова или Южной Аравии. Страну Офир искали и в Азии, и в Африке, и в Новом Свете, а Колумб надеялся найти ее по ту сторону Атлантики — у берегов Кубы и Тринидада.

²⁶² Античные географы землей Туле называли различные острова в северной части Атлантики.

²⁶³ Имеются в виду мистические толкования Колумба, содержащиеся в его письме 1498 г. Изабелле и Фердинанду. Колумб, ссылаясь на «отца церкви» блаженного Августина и на богословов раннего средневековья Исидора Севильского и Беду Достопочтенного, утверждал, что открытая им река Ориноко вытекает из земного рая, который имеет форму

Жемчужный залив, к берегам земли Благодати²⁶⁴ было с необыкновенной яркостью описано уже в книге пророка Исайи. Исполнялось предсказание аббата Иоахима Калабрийского²⁶⁵, предрекавшего, что новый храм на горе Сион воздвигнет выходец из Испании. Земной шар напоминал по форме женскую грудь, и в том месте, где расположен сосок, росло Древо Жизни. Отныне людям было известно, что неиссякаемый источник, способный утолить жажду всех живых существ, питает водой не только Ганг, Тигр и Евфрат, но также и Ориноко, реку, по течению которой плыли к морю громадные стволы деревьев; именно у истоков Ориноко — как удалось наконец установить после вековых сомнений — и помещался земной рай: теперь он становился доступным, достигаемым, он должен был предстать глазам людей во всем своем величии. И здесь, над прозрачными водами пролива Бокас-дель-Драгон, сверкавшими в лучах утреннего солнца, великий адмирал мог наконец излить свою радость, ибо он постиг смысл многовековой, исконной борьбы между пресной и соленой водою, мог с ликованием воскликнуть: «Пусть же король и королева, наследные принцы и все подданные вознесут хвалу нашему спасителю Иисусу Христу, который ниспослал нам столь великую победу. Пусть по улицам городов пройдут процессии верующих, пусть состоятся торжественные празднества, пусть украсят храмы зеленью и цветами; да возликует Христос на земле, как ликует он на небесах, видя, что близится спасение народов, доселе обреченных на гибель». Золото, которым изобилуют вновь открытые земли, позволит, должно быть, покончить с унижительной зависимостью, в коей пребывал человек из-за недостатка этого благородного металла в Европе. Исполнились пророчества пророков, подтвердились предсказания древних и предвидения богословов. Извечная борьба вод в этом месте земного шара говорила о том, что после мучительного многовекового ожидания люди наконец достигли обетованной земли...

Эстебан находился против входа в пролив Бокас-дель-Драгон; он вспоминал о многочисленных экспедициях, бесследно исчезнувших с лица земли только потому, что они покинули соленое море и углубились в пресные воды в поисках этой обетованной земли, призрачной и постоянно ускользавшей, как мираж; она была столь призрачна и так упрямо ускользала от них, что в конце концов навеки исчезла где-то за холодным зеркалом озер Патагонии. Опершись на борт «Амазонки» и глядя на изрезанный лесистый берег, юноша говорил себе, что места эти вряд ли изменились с того дня, когда их созерцал великий адмирал Изабеллы и Фердинанда, еще веривший в миф о земле обетованной. Шли века, и жизнь не раз переделывала этот миф, но суть его оставалась все той же: существовал, должен был существовать, необходимо было, чтобы существовал в каждую эпоху — в любую эпоху — лучший мир. Индейцы-карибы по-своему представляли себе этот лучший мир, и по-своему представлял его себе — здесь, в бурлящих водах пролива Бокас-дель-Драгон, — великий адмирал Изабеллы и Фердинанда, который, отведав пресной воды, принесенной сюда издалека, почувствовал некое просветление и озарение.

«выпуклости у черенка груши». При этом Колумб доказывал, что воды земного рая одновременно питают Ганг, Нил, Тигр и Евфрат.

²⁶⁴ Речь идет о заливе Пария и его берегах, первой земле южноамериканского материка, открытой Колумбом в его третьем плавании в 1498 г.

²⁶⁵ *Иоахим Калабрийский* — итальянский мистик XIII в. На его пророчества ссылался Колумб в своем письме Изабелле и Фердинанду, в котором описывались результаты третьего плавания.

Португальцы грезили о чудесном царстве пресвитера Иоанна²⁶⁶, а дети кастильского плоскогорья, как-то раз пообедав ломтем черствого хлеба с оливковым маслом и чесноком, задумались о сказочно богатой долине Хауха²⁶⁷. Энциклопедисты увидели лучший мир в государстве древних инков; представителями лучшего мира показались жителям Европы первые послы из Соединенных Штатов: они были без париков, носили башмаки с пряжками, выражались просто, ясно и благословляли людей именем свободы. И сам он, Эстебан, не так давно отправился на поиски нового мира, ослепленный огненным столбом, который, казалось, запылал впереди. Теперь юноша возвращался назад, растеряв былые иллюзии, испытывая огромную усталость и тщетно пытаясь почерпнуть силы в воспоминании о чем-либо приятном. Во время плавания он думал о пережитом, и все пожарища, преследования и казни казались ему долгим кошмаром, наподобие того, о котором Казотт писал: настанет час, когда верблюды будут извергать борзых; как видно, недаром на протяжении этого подходившего к концу века, столь длительного и столь богатого событиями, что их хватило бы на несколько веков, раздавалось множество пророчеств о близком конце света... Краски, звуки, слова, все еще неотступно преследовавшие Эстебана, рождали в нем, где-то глубоко внутри, ноющую боль, похожую на те неприятные ощущения в груди, которые сопровождают последний приступ опасного, чуть ли не смертельного недуга, наполняя больного томительной тревогой и заставляя его сердце колотиться глухо, учащенно и неравномерно. То, что осталось позади, то, что в памяти Эстебана было навсегда связано с кромешной тьмой и грозными беспорядками, с грохотом барабанов и предсмертными хрипами, с воплями людей, погибавших на эшафоте, теперь начинало казаться ему чем-то похожим на землетрясение, всеобщее помешательство, ритуальное изуверство...

— Я вернулся от варваров, — сказал Эстебан Софии, когда перед ним, торжественно заскрипев на петлях, распахнулась тяжелая дверь родного дома.

Дом по-прежнему стоял на углу улицы, он был, как и раньше, украшен высокими белыми решетками.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

XXXV

Разумно или нет.

Гойя

— Ты?! — воскликнула София при виде этого опаленного солнцем, возмужалого и раздавшегося в плечах человека с крепкими, загрубелыми руками, который, как все моряки, держал свои скромные пожитки в переброшенном через плечо брезентовом мешке. — Ты?!

И она целовала его прямо в губы, целовала его заросшие щетиной щеки, лоб, шею.

²⁶⁶ В середине XII в. в Европе родилась легенда о христианской державе пресвитера Иоанна — царя-священника, который где-то на Востоке правит многочисленными подданными. В основе этой легенды лежали реальные сведения о христианах-несториянах, переселившихся в VI–VIII вв. из Византийской империи в Центральную Азию и в Китай, а также слухи о царях-христианах Эфиопии. Португальцы в конце XV и в начале XVI в. собрали кое-какие сведения об Эфиопии и в 20-х годах XVI в. проникли в эту страну.

²⁶⁷ Речь идет о местности в Перу, которая с давних пор славилась необыкновенным плодородием; богатства и сказочное изобилие этой земли вошли в поговорку. Хауха привлекала многих путешественников и завоевателей.

— Ты?! — растерянно повторял и Эстебан, в изумлении глядя на женщину, которую он теперь сжимал в объятиях, такую цветущую, с округлыми формами, столь непохожую на узкобедрую девушку, чей образ все это время жил в его памяти.

Да, стоявшая перед ним женщина ничуть не походила на прежнюю Софию, которая была для него не просто кузиной, а скорее девочкой-матерью, угловатым подростком, товарищем его отроческих игр, подружкой, приходившей ему на помощь во время приступов мучительной болезни. Он оглядывался по сторонам и теперь узнавал здесь все, однако не в силах был отделаться от чувства, будто он тут посторонний. Он так мечтал о той минуте, когда вернется к себе, но сейчас почему-то не испытывал радости. Знакомый дом — так хорошо ему знакомый дом — казался чужим, и Эстебан никак не мог освоиться с привычными вещами. В углу стояла все та же арфа, а над ней по-прежнему висел ковер, на котором были вытканы попугаи, единороги и борзые; в простенке между большими окнами поблескивало венецианское зеркало в раме с потускневшими гирляндами; вдоль стены тянулись полки с книгами, и все книги были теперь аккуратно расставлены. Вместе с Софией он прошел в столовую, где виселись массивные буфеты, а на стенах виднелись все те же покрытые лаком натюрморты с фазанами и зайцами в окружении плодов. Затем они миновали кухню и направились в комнату, в которой он жил с самого детства.

— Подожди, я схожу за ключом, — сказала София.

И Эстебан вспомнил, что в старинных креольских семьях было принято запира́ть навсегда комнаты умерших.

Когда распахнулась дверь, молодой человек увидел пыльную грудку марионеток и сваленных в кучу физических приборов; они в беспорядке лежали повсюду — на полу, на креслах, на узкой железной кровати, столько времени служившей для него ложем страданий; выцветший воздушный шар так и висел на веревочке; сцена кукольного театра все еще изображала какой-то средиземноморский порт — на ней хоть сейчас можно было представлять «Проделки Скапена». Разбитые лейденские банки, барометры и сообщающиеся сосуды валялись вокруг оркестра обезьян. Внезапно встретившись со своим детством — вернее сказать, с первыми днями отрочества, — Эстебан зарыдал. Он долго плакал, уткнувшись головой в колени Софии, совсем так, как плакал ребенком, поверяя ей свои горести и жалуясь на то, что он просто больной неудачник. Нарушенные связи сразу же восстановились. Окружающие вещи словно обрели голос. Эстебан и София вновь направились в гостиную через переднюю, увешанную картинами. Арлекины по-прежнему весело водили хороводы на острове Цитеры; на великолепных, но холодных натюрмортах, как и прежде, красовались чугунки, вазы для фруктов, два яблока, ломоть хлеба и пучок лука-порая, выполненные каким-то подражателем Шардена²⁶⁸, а рядом виднелось полотно, изображавшее пустынную и монументальную площадь, — картина эта, где было, как говорят, «мало воздуха» и где не хватало перспективы, напоминала манерой письма работы Жана-Антуана Карона²⁶⁹. На своих местах оставались и сатирические персонажи Хогарта, они как бы вели к картине «Усекновение главы святого Дионисия», краски на которой не только не потускнели под лучами тропического

²⁶⁸ Шарден, Жан-Батист (1699–1779) — известный французский художник-портретист.

²⁶⁹ Карон, Жан-Антуан (1520–1598) — французский художник, создатель картин и фресок на религиозные и мифологические сюжеты.

солнца, но, казалось, приобрели необычайную яркость.

— Мы недавно подновили ее и покрыли лаком, — пояснила София.

— Вижу, вижу, — отозвался Эстебан. — Чудится, будто на ней свежая кровь.

Однако чуть дальше, там, где некогда висели полотна, изображавшие жатву и сбор винограда, теперь появились новые, писанные маслом холсты, но выполненные в какой-то удивительно сухой манере: на них были представлены назидательные сцены из древней истории, события из жизни Тарквиния и Ликурга, — подобные сюжеты изрядно надоели Эстебану за время его пребывания во Франции.

— Стало быть, эти картины уже добрались и до вас? — спросил он.

— Такие творения сейчас больше всего пользуются успехом, — ответила София. — Ведь здесь не просто игра красок, это искусство содержит мысль, служит образцом, заставляет думать.

Но Эстебан уже замер в глубоком волнении перед полотном неизвестного неаполитанского мастера — «Взрыв в кафедральном соборе». В нем, казалось, было заключено предвестие многих, теперь уже известных, событий, и молодой человек терялся, он не знал, как истолковать этот пророческий холст, нарушавший все законы пластики, чуждый всем художественным школам, холст, каким-то таинственным образом попавший в их дом. Если собор в соответствии с доктриной, которой Эстебана в свое время обучали, был символом — ковчегом и дарохранительницей — его собственного существа, то там, без сомнения, и в самом деле произошел взрыв, взрыв запоздалый и замедленный, разрушивший алтари, эмблемы и священные предметы, которым он прежде поклонялся. Если собор символизировал эпоху, то ужасающий взрыв и в самом деле потряс до основания все ее главные устои, и под грудой развалин были погребены те самые люди, которые, быть может, строили адскую машину. Если собор символизировал христианскую церковь, то, как заметил Эстебан, ряд массивных колонн неспроста уцелел, в то время как другая колоннада разлетелась на куски и ее обломки повисли над землей, точно апокалипсическое видение; оставшиеся невредимыми колонны как бы выражали собою прочность и незыблемость здания, которому предстояло вновь возродиться, когда минует пора разрушений и погаснут звезды, возвещавшие гибель старого.

— Ты всегда любил смотреть на эту картину, — проговорила София. — Подумать только, а мне она кажется нелепой и тягостной!

— Это наше время тягостно и нелепо, — сказал Эстебан.

Внезапно вспомнив о двоюродном брате, он спросил, как поживает Карлос.

— Он с самого утра уехал с моим мужем в деревню, — ответила София. — К вечеру они вернутся...

Молодая женщина осеклась, заметив, что при ее словах на лице Эстебана отразились величайшая растерянность и тревога. Тогда, приняв небрежный и беззаботный тон, София с непривычной для нее словоохотливостью стала рассказывать о том, что она год назад вышла замуж за человека, ставшего ныне компаньоном Карлоса в торговых делах, — и она указала на прежде всегда закрытую одностворчатую дверь, которая вела во дворик с цветником и двумя пальмами, похожими на колонны, тут совсем неуместные. Когда преследование франкмасонов прекратилось, — кстати, все ограничилось только угрозами, — Карлос избавился от донна Косме и стал подыскивать себе компаньона, долю которого в делах составляли бы опыт, трудолюбие и коммерческие познания, то есть те качества, которых сам Карлос был лишен. Именно с таким сведущим человеком, понаторевшим в торговых

операциях, он и познакомился в масонской ложе.

— В ложе? — переспросил Эстебан.

— Не перебивай, — попросила София и принялась восторженно расхваливать мужа, который почти сразу оздоровил дела фирмы и, воспользовавшись временем небывалого расцвета, переживаемого страной, утроил, а может быть, даже упятерил их доходы. — Ты теперь богат! — крикнула она Эстебану, и щеки ее пылали от восторга. — По-настоящему богат! И обязан этим — мы все этим обязаны — Хорхе. Мы женаты уже около года. Его дед и бабка ирландцы. Он состоит в родстве с семейством Фаррил.

Эстебану не понравилось, что София не преминула подчеркнуть свое родство с одним из самых старинных и влиятельных семейств на острове.

— Вы, должно быть, теперь часто устраиваете торжественные приемы? — угрюмо осведомился он.

— Не валяй дурака! В доме ничто не переменялось. Хорхе такой же, как мы. Ты с ним отлично сойдешься.

И София заговорила о том, как она сейчас довольна, как она рада была составить счастье другого человека, и о том, что женщина испытывает удивительное чувство уверенности и покоя, когда у нее есть верный спутник жизни. Потом, словно желая оправдать свою невольную измену, она прибавила:

— Ведь вы с Карлосом мужчины. И рано или поздно обзаведетесь семьей. Что ты так на меня смотришь? Говорю тебе, у нас все осталось, как прежде.

Однако Эстебан глядел на нее с глубокой грустью. Он никогда не думал, что ему доведется услышать из уст Софии столько общих мест, характерных для буржуазной морали: «Составить счастье другого человека», «удивительное чувство уверенности», которое испытывает женщина, зная, что «у нее есть верный спутник жизни»... Страшно было подумать, что теперь не ум, а одно только женское естество говорит устами Софии — устами женщины, само имя которой должно было сделать ее обладательницей «улыбчивой мудрости», веселого ума. В представлении Эстебана имя «София» всегда было неотделимо от высокого купола Византийского собора, от вечнозеленых ветвей Древа Жизни, от величия древнегреческих архонтов, от великой тайны Девственности. Но вот достаточно было Софии ощутить чувство физической гармонии, порожденное, быть может, еще не до конца осознанной радостью грядущего материнства — она могла понять это потому, что впервые с той поры, когда она стала взрослой, кровь, берущая начало в самых недрах женского существа, прекратила свой регулярный ток, — и его старшая сестра, Девочка-Мать, та, что некогда была высоким воплощением женственности, сразу же превратилась в добродетельную супругу, уравновешенную и осмотрительную, думающую только о своем драгоценном Чреве и о его будущем Плоде и гордую родством мужа с олигархией, которая обязана своим богатством тому, что веками выжимала соки из многих поколений черных рабов. И если, возвратившись после долгого отсутствия в свой дом, Эстебан почувствовал себя там посторонним, чужим, то еще более посторонним, еще более чужим он почувствовал себя сейчас в присутствии этой женщины, слишком явной властительницы и хозяйки их дома, где все теперь казалось ему чересчур благоустроенным, чересчур опрятным, чересчур оберегаемым от любой случайности. «Тут везде ощущается ирландский дух», — подумал Эстебан и попросил разрешения (именно: «попросил разрешения») принять ванну; София по привычке проводила его в ванную комнату и продолжала оживленно болтать до тех пор, пока он не остался в

одних только коротких нижних панталонах.

— Подумаешь, какая тайна! Ведь я все это сто раз видела, — смеясь, воскликнула София, бросив ему поверх ширмы кусок кастильского мыла.

Затем Эстебан отправился в кухню и кладовую, где обнял Росауру и Ремихио, которые шумно обрадовались, увидя его; за время отсутствия Эстебана оба совсем не переменились: Росаура по-прежнему отличалась миловидностью, а определить возраст Ремихио было невозможно — этому негру, видно, суждено было прожить в царстве земном целый век. София и Эстебан завтракали вдвоем; говорили они мало и о каких-то пустяках, но все время присматривались друг к другу; каждый очень много хотел сказать другому, но никак не решался. Эстебан бегло упоминал о местах, где ему довелось побывать, но в подробности не вдавался. Если бы между ними вновь установилась былая душевная близость, нарушенная долгой разлукой, и он бы дерзнул открыть свою душу, ему потребовались бы часы, целые дни, чтобы поведать обо всем, что он пережил и почувствовал за эти смутные и бурные годы. Теперь, когда годы эти уже остались позади, ему чудилось, что они промелькнули быстро. И все же за короткий срок многие вещи, главным образом некоторые книги, необычайно устарели. Встреча с аббатом Рейналем²⁷⁰, чье сочинение стояло на книжной полке, чуть было не заставила его рассмеяться. Барон Гольбах²⁷¹, Мармонтель с его опереточными инками, Вольтер, чьи трагедии представлялись столь злободневными — и не только злободневными, но и разрушительными — каких-нибудь десять лет назад, теперь показались ему старомодными, отставшими от времени и такими устарелыми, каким мог показаться трактат по фармакологии XIV века. Однако ничто не казалось большим анахронизмом, чем «Общественный договор»²⁷²: произведение это буквально расплозлось по швам, распалось на куски под натиском грозных событий. Эстебан взял в руки книгу, страницы которой были испещрены восклицательными знаками, комментариями и пометками, сделанными его рукой — его прежней рукой.

— Помнишь? — спросила София, припав головою к плечу кузена. — Раньше я не понимала этого сочинения. Теперь же прекрасно понимаю.

Брат и сестра поднялись в комнаты верхнего этажа. Эстебан остановился перед широким «брачным ложем», которое показалось ему слишком узким, — это ложе София делила с чужим, незнакомым ему человеком; юноша молча смотрел на два ночных столика в изголовье, на лежавшие там книги в разных переплетах, на сафьяновые ночные туфли рядом с туфлями его кузины. Он вновь почувствовал себя посторонним. И не захотел устроиться в соседней комнате, «служившей кабинетом Хорхе, хотя Хорхе им никогда не пользовался», а отправился в свою старую каморку; сложил в угол физические приборы, музыкальные шкатулки и марионетки, потом прикрепил гамак к толстым металлическим кольцам, ввинченным в стены, — эти кольца в свое время поддерживали свернутую жгутом простыню, на которую он

²⁷⁰ *Аббат Рейналь, Гийом-Тома-Франсуа* (1713–1796) — французский историк и философ, автор многотомного труда «Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях», в котором резкой критике подвергнута была колониальная политика европейских держав.

²⁷¹ *Гольбах, Поль Анри* (1723–1789) — философ-материалист, один из виднейших энциклопедистов XVIII в. Его «Система Природы» (1770) стала евангелием атеистов.

²⁷² «*Общественный договор*» — одно из наиболее выдающихся произведений Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), в котором изложены основные его социальные и политические воззрения.

опирался подбородком во время приступов астмы. Внезапно София спросила у него о Викторе Юге.

— Не говори мне о Викторе, — ответил Эстебан, роясь в своем брезентовом мешке. — Он стал настоящим чудовищем. Впрочем, я привез тебе от него письмо.

И, положив в карман несколько монет, Эстебан вышел на улицу. Ему не терпелось подышать воздухом родного города, в котором он, едва сойдя с корабля, заметил немало перемен. Вскоре Эстебан поравнялся с кафедральным собором: его строгие антаблементы, высеченные из местного камня — уже казавшегося древним, когда он только попал в руки каменотесов, — были увенчаны завитками в стиле позднего барокко. Этот недавно воздвигнутый храм, окруженный дворцами с решетками и балконами, свидетельствовал об эволюции во вкусах тех, кто определял архитектуру города. До самых сумерек Эстебан бродил по Гаване, переходя с улицы Офисное на улицу Инкисидор, а оттуда на улицу Меркадерес; миновав площадь Христа, он вышел к храму Святого Духа, прошелся по вновь отстроенному проспекту Паула и площади Де-Армас — с наступлением вечера под ее аркадами уже собирались шумные группы праздных горожан. Зеваки толпились под окнами какого-то дома, откуда доносились незнакомые им звуки фортепьяно, недавно привезенного из Европы. Цирюльники, стоя на пороге своих заведений, пощипывали струны гитар. В каком-то патио фокусник показывал доверчивым зрителям говорящую голову. Проходя мимо, две смазливые негрятки, занимавшиеся проституцией для умножения доходов некой весьма почтенной дамы-католички, — это было в городе не редкостью, — поманили Эстебана. Он нащупал в кармане монеты и двинулся вслед за девицами в полумрак подозрительного постоянного двора... Домой он вернулся поздно вечером. Карлос бросился навстречу брату и обнял его. Молодой негоциант почти не изменился. Только немного возмужал, выглядел чуть солиднее да, пожалуй, слегка располнел.

— Мы, коммерсанты, люди оседлого образа жизни... — заговорил он, смеясь.

И тут вошла София со своим мужем, худощавым человеком, — на вид ему было лет двадцать пять, хотя уже исполнилось тридцать три; у него было красивое лицо с тонкими, благородными чертами, большим высоким лбом и чувственным ртом, который несколько портило выражение надменной холодности. Эстебана, боявшегося увидеть заурядного купца, болтливового и ограниченного, приятно поразила наружность Хорхе; однако он успел заметить, что в походке, манерах, одежде супруга Софии, решительно во всем проявлялась какая-то задумчивая снисходительность, рассеянная учтивость и легкая меланхолия; пристрастие к темным костюмам, широким отложным воротникам и небрежной с виду прическе составляло характерную черту, присущую молодым людям, которые всего несколько лет назад получили образование в Германии или же, как Хорхе, в Англии.

— Ну, посмей только сказать, что он у меня не красив, — сказала София Эстебану, с нежностью и восхищением глядя на мужа.

В тот вечер хозяйка дома приказала поставить на стол золоченые канделябры и серебряную посуду, чтобы должным образом отметить первую трапезу вновь собравшейся семьи.

— Вижу, вы тут закололи тучного тельца, — пошутил Эстебан, когда появилась целая вереница подносов, уставленных отлично зажаренной птицей и замысловатыми, пикантными соусами.

Этот ужин напоминал пиршества, которым предавались в той же самой столовой три вчерашних подростка, воображавшие, будто они находятся в Потсдамском дворце,

Карлсбадском курзале или в покоях дворца в стиле рококо, расположенного где-нибудь в окрестностях Вены. София пояснила, что жареная дичь, запеченные в тесте паштеты, фаршированная трюфелями телятина в винном соусе — все это было приготовлено ради того, кто долго жил в Европе и, должно быть, привык там вкушать изысканные яства. Однако Эстебан, добросовестно порывшись в памяти, вынужден был признать, — до сих пор он над этим как-то не задумывался, — что недолгая пора, когда его приводила в восхищение кухня, необычайно богатая ароматами, разнообразными соусами, приправами, душистыми травами, пряностями и изысканными эссенциями, давно миновала. Быть может, потому, что ему на протяжении нескольких месяцев пришлось довольствоваться треской, красным перцем и прочей нехитрой снедью, которая в ходу у басков, Эстебан пристрастился к простой и здоровой пище крестьян и моряков и предпочитал эти несложные кушанья тем, какие пренебрежительно именовал блюдами, сдобренными «липким соусом». И теперь он отдавал предпочтение светлому и душистому батату, испеченному в золе; зеленому банану, подрумяненному в масле; сердцевине пальмового дерева, удивительно напоминающей по вкусу спаржу и содержащей все питательные древесные соки; копченому мясу черепахи и дикого кабана; морскому ежу и устрице, живущей на мангровых ветвях у самого берега; холодной похлебке, куда крошены солдатские сухари и где плавают карликовые крабы, — их поджаренная скорлупа хрустит на зубах и рассыпается, оставляя на мясе краба морскую соль. Однако больше всего ему нравились только что вытасканные из сети сардины, которых еще живыми зажаривают на раскаленной жаровне после полночной рыбной ловли, — их съедают тут же, на палубе, с сырым луком и грубым черным хлебом, запивая густым красным вином прямо из бурдюка.

— А я-то убила весь день и вечер, старательно изучая поваренные книги, — смеясь, сказала София.

Кофе подали в большую гостиную, и Эстебан с грустью отметил, что милый его сердцу беспорядок, некогда царивший тут, канул в прошлое. Было очевидно, что внук ирландцев, став супругом хозяйки дома, навел здесь строгий порядок. К тому же София старалась предупредить малейшее желание мужа: она то и дело вставала, выходила, возвращалась, подавала ему уголек для трубки, а потом усаживалась на низенькую скамеечку возле его кресла. В молчании Хорхе, в выжидательной улыбке Карлоса, в порывистых движениях Софии, которая поспешно пошла за подушечкой, — во всем чувствовалось нетерпение, и было понятно, что окружающие ждут, когда же Эстебан, по примеру древних путешественников, — для своих родичей, живших на огромном расстоянии от мест, где происходили главные события, он был вроде сэра Мандевиля времен французской революции, — начнет рассказ о своих приключениях. Но слова замирали у него на губах, — он понимал, что первые же из этих слов повлекут за собой бесчисленное множество других, что наступит рассвет, а он все еще будет сидеть на диване и говорить, говорить.

— Расскажи нам о Викторе Юге, — не выдержал наконец Карлос.

Поняв, что ему, подобно Улиссу, придется непременно поведать в эту ночь свою одиссею, Эстебан попросил Софию:

— Принеси-ка бутылку самого простого вина, а другую поставь остудить, ибо рассказ мой будет долгим.

Эстебан начал свой рассказ в шутовском тоне: он вспоминал о различных перипетиях, сопровождавших его переезд из Порт-о-Пренса во Францию, — ехал он туда на борту корабля, битком набитого беженцами, которые почти все были масонами, членами клуба филладельфов, весьма влиятельного в Сен-Доменге. Было и в самом деле очень любопытно наблюдать за тем, как все эти филантропы, друзья китайца, перса и индейца-алгонкина, грозили после подавления негритянского восстания самым свирепым образом свести счеты с неблагодарными слугами, которые первыми подносили горящие факелы к домам и усадьбам своих господ. Затем молодой человек с усмешкой поведал о том, как он, подобно Вольтеру гуруну, знакомился с Парижем, рассказал о своих мечтах и надеждах, о своих похождениях и приобретенном опыте; при этом он вспомнил несколько анекдотических историй. Героем одной из них был некий гражданин, предлагавший воздвигнуть на французской границе гигантскую фигуру — бронзового колосса, чей лик должен был внушать такой непреодолимый ужас, что, завидя его, тираны вместе с их перепуганными армиями в страхе повернули бы назад; другой его достойный собрат в дни грозной опасности для страны заставлял Национальное собрание попусту тратить время, доказывая, что, именуя всех женщин «гражданками», оставляют невыясненным весьма волнующий вопрос, идет ли в каждом отдельном случае речь о девице или же даме; потом Эстебан рассказал, что к пьесе «Мизантроп» была дописана проникнутая гражданским духом развязка — Альцест неожиданно примирялся с родом человеческим и возвращался к жизни в обществе; молодой человек потешался над огромным успехом, который получил во Франции — правда, уже после его отъезда — роман «Маленький Эмиль»; ему довелось прочесть эту книгу на Гваделупе: там рассказывалось о мальчике из простонародья, который попал в Версаль и, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что дофин тоже *ходит на горшок*... Эстебан старался сохранить юмор, но мало-помалу события и картины, возникавшие из его рассказа, приобретали все более мрачную окраску. Алый цвет кокард все чаще уступал место темно-красному цвету запекшейся крови. Эпоха деревьев свободы уступила место эпохе эшафотов. В какой-то неуловимый, не поддающийся определению, но страшный час в душах людей произошла разительная перемена: тот, кто еще вчера был мягким, на завтра сделался грозным, тот, кто прежде ограничивался суровыми речами, стал теперь подписывать обвинительные приговоры. Всех словно охватило помешательство, помешательство тем более необъяснимое, что происходило это в стране, где цивилизация, казалось, привела все в состояние полной уравновешенности, в стране с гармоничными зданиями, укрощенной природой, невиданным расцветом искусств и ремесел, в стране, самый язык которой был как будто нарочно создан для размеренного классического стиха. Судя по всему, французский народ был меньше всего расположен воздвигать эшафоты. По сравнению с испанской инквизицией инквизиция во Франции была детской игрою. Варфоломеевская ночь не шла ни в какое сравнение со всеобщим избиением протестантов, которое производилось по повелению короля Филиппа. Когда сейчас, спустя несколько лет, Эстебан вспоминал тогдашнего Бийо-Варенна, он почему-то представлялся ему экзотическим жрецом ацтеков, сжимающим в окровавленной руке нож из обсидиана; рядом возвышалась величественная колоннада и статуи работы Гудона, а вокруг зеленели подстриженные

и ухоженные сады. Разумеется, французская революция отвечала смутному порыву, веками зреющему в душах людей, порыву, который вылился в столь грандиозные события. Однако Эстебана ужасала уплаченная за все это цена: «Мы слишком быстро забываем о мертвецах». О мертвецах Парижа, Лиона, Нанта, Арраса (Эстебан перечислял названия и таких городов, как Оранж, страдания которых стали полностью известны только в недавнее время); о тех, кто нашел свою смерть в плавучих тюрьмах Атлантики, в болотах Кайенны и во множестве других мест, не говоря уже обо всех погибших в заточении, тайно умерщвленных или пропавших без вести... А сколько было таких, что превратились в живые трупы, сколько было людей с разбитой жизнью, погубленным призванием, людей, чей труд пошел прахом, — все они были обречены влачить жалкое существование, если только не находили душевных сил наложить на себя руки. Эстебан высоко ставил злополучных бабувистов, он видел в них последних истинных революционеров, сохранивших верность высокому идеалу равенства; и по воле рока им довелось оказаться современниками тех, кто разглагольствовал в колониях о братстве и свободе, превратив на деле эти лозунги в орудие политических интриг, чтобы сохранить уже захваченные земли и приобрести новые. Древний бог, чьи храмы и соборы вновь открывались всюду, где прежде на время восторжествовал атеизм, вышел победителем из трудного испытания. Его приверженцы могли теперь со злорадством утверждать, что все происшедшее было в конечном счете лишь результатом гнева, который он обрушил на многочисленных философов подошедшего к концу века — до начала нового столетия остались считанные недели, — осмелившихся непочтительно дергать его за бороду, утверждать, будто его пророк Моисей — обманщик, а апостол Павел — глупец, и даже уверявших, что настоящим отцом Иисуса Христа был какой-то римский легионер: об этом как-то говорил и Виктор Юг в одной из своих речей, где он использовал доводы барона Гольбаха. Осушив последний стакан вина, Эстебан с горечью закончил свой рассказ:

— На сей раз революция потерпела неудачу. Быть может, следующая добьется большего. Однако когда она произойдет, я уже на эту удочку не попадусь, меня тогда и днем с огнем не сыщут. Нет ничего опаснее пышных фраз и лучших миров, что существуют только на словах. Нашу эпоху буквально затопляет поток слов. Есть лишь одна обетованная земля — та, которую человек может обрести внутри самого себя.

Говоря это, Эстебан невольно подумал об Оже, который часто приводил высказывание своего учителя Мартинеса де Паскуальи: «На человека только тогда может снизойти истинное просветление, когда он освободит дремлющую в нем божественную искру из-под гнета всего телесного...» Предрассветные лучи уже окрашивали оконные стекла и зеркала гостиной. Было воскресенье, на всех колокольнях звонили к заутрене, а северный ветер с самой зари хлестал по стенам домов. К знакомым Эстебану с самого детства голосам колоколов присоединился теперь мощный бас большого колокола на новом кафедральном соборе. Ночь прошла удивительно быстро — как в ту счастливую пору, когда в доме царил беспорядок. Никто из сидевших в гостиной не спешил уйти спать, все четверо, завернувшись в пледы, которые они один за другим приносили себе, молча оставались в креслах, словно погрузившись в размышления.

— Так вот, *мы* с тобой не согласны, — внезапно объявила София спокойным, но слегка язвительным тоном, каким она всегда говорила, готовясь вступить в спор.

Эстебан счел уместным осведомиться, кого она имеет в виду под словом «мы».

— Мы все, все трое, — ответила она, округлым жестом указав на себя, мужа и

брата и как бы исключая этим Эстебана из семьи.

И, будто говоря только для одной себя, молодая женщина начала длинный монолог, а Карлос и Хорхе только одобрительно кивали головой. Вполне понятно, что жить без политического идеала немыслимо; благоденствие народов не может быть достигнуто сразу; разумеется, были совершены серьезные ошибки, но ошибки эти послужат полезным уроком для будущего; она, конечно, понимает, что Эстебан прошел через тягостные испытания, — и глубоко ему сочувствует, — но он, видимо, оказался жертвой своего неумеренного идеализма; она согласна с тем, что в ходе революции были допущены достойные сожаления эксцессы, однако великие завоевания человечества всегда достигались ценой страданий и жертв. Словом, ничто великое не совершалось на земле без кровопролития.

— Это уже сказал до тебя Сен-Жюст! — крикнул Эстебан.

— Сен-Жюст сказал это потому, что был молод. Как и мы, — ответила София. — Когда я думаю о Сен-Жюсте, меня удивляет зрелость этого юноши, только недавно окончившего коллеж.

Все, что рассказывал кузен, ей было известно, — особенно то, что имело отношение к политике, — и, возможно, известно *лучше, чем ему*, так как его взгляд на события был пристрастен и ограничен, а порою ему мешали должным образом оценить происходящее всякого рода нелепые пустяки и неизбежные проявления наивности, которые ни в коей мере не умаляли величия титанической попытки.

— Выходит, пребывание в аду ничему меня не научило, ничего не дало?... — снова крикнул Эстебан.

Нет, отчего же, она хотела только сказать, что на расстоянии можно составить более верное — менее пристрастное — представление о происходящих событиях. Она весьма сожалела о великолепных монастырях, подвергшихся разрушению, о прекрасных храмах, погибших в огне, об изуродованных статуях, о разбитых витражах. Однако, по ее мнению, стоило пожертвовать доброй половиной всех средневековых памятников, если того требовало счастье человека. Услышав слова «счастье человека», Эстебан пришел в ярость.

— Берегись! Именно такие вот восторженные глупцы, беспочвенные мечтатели, доверчиво глотающие всякую человеколюбивую писанину, фанатики идеи и воздвигают эшафоты.

— Было бы совсем неплохо, если б мы могли, не медля, воздвигнуть эшафот на площади Де-Армас в нашем глупом и прогнившем городе, — отрезала София.

Да, она бы с удовольствием смотрела, как скатываются с плеч головы бездарных чиновников, землевладельцев, угнетающих своих рабов, спесивых богачей, вояк, кичащихся эполетами, — ведь ими буквально кишел этот остров, которому судьба послала самое жалкое и безнравственное из всех существующих правительств: оно держало его в невежестве и низвело до состояния задворок земного шара, превратило в какой-то ящик для сигар.

— Здесь и впрямь не мешало бы кое-кого отправить на гильотину, — поддержал сестру Карлос.

— И не кое-кого, а многих, — изрек Хорхе.

— Я всего ожидал, — проговорил Эстебан, — но никак не думал найти тут клуб якобинцев.

Ну, это не совсем так, заговорили они в один голос. Но, во всяком случае, они отлично разбираются в происходящем (слова эти снова вывели из себя Эстебана) и

полны решимости «не стоять в стороне». А это значит — трезво оценивать события, иметь определенную цель в жизни и найти свое место в быстро меняющемся мире. Некоторое время назад Карлосу удалось наконец основать небольшую масонскую ложу, куда входят не только мужчины, но и женщины, — передовых людей на острове слишком мало, и не следует пренебрегать поддержкой умных и просвещенных дам; члены ложи видят свою политическую задачу в том, чтобы распространять философские сочинения, проникнутые духом революции, а также важнейшие из революционных документов: Декларацию прав человека и гражданина, французскую Конституцию, речи политических деятелей, гражданский катехизис и тому подобное. Они показали Эстебану несколько листовок и тонких книжечек: судя по непривычным очертаниям типографских литер и плохому набору, эти тексты печатались в тайных типографиях где-нибудь в Новой Гранаде или в Гаване, а возможно, даже в Ла-Плате либо в Пуэбла-де-лос-Анхелес. Эстебану были знакомы такие тексты. Они были так хорошо ему знакомы, что по некоторым неповторимым оборотам, по некоторым удачным находкам, по точному эпитету, отыскать который ему стоило немалого труда, он узнавал свои собственные переводы, — он занимался ими по указанию Виктора Юга еще в Пуэнт-а-Литре, а набирали текст отец и сын Лёие. И вот теперь, в эту самую минуту, он опять увидел те же листовки, размноженные печатными станками где-то на Американском континенте...

— Vous mʼemmerdez!²⁷³ — крикнул Эстебан и бросился к выходу, натыкаясь на кресла, попадавшие на его пути.

Пересекая патио, он увидел, что в двери, ведущей на склад, торчит ключ. Молодому человеку вдруг захотелось осмотреть склад и магазин, в какой-то степени принадлежавшие и ему, тем более что в воскресный день там никого не было. Запах рассола, проросшего батата, лука, вяленого мяса, который в свое время казался Эстебану таким неприятным, теперь ударил ему в ноздри, точно сильный и животворящий запах перегноя. Так пахнет в корабельных трюмах, на рынках портовых городов и в набитых разной снедью складах. Из кранов бочек по капле стекало вино; зеленели круги ламанчского сыра; сквозь стенки пузатых глиняных кувшинов проступали масляные пятна. И всюду царил образцовый порядок, которого тут раньше не наблюдалось. Все было аккуратно расставлено, разложено, развешано, словом, устроено так, как того требовал каждый товар: с потолочных балок свисали окороча и связки чеснока; там и сям возвышались горы зерна; на полу стояли бочонки с анчоусами и маринованной рыбой. А дальше, в патио, над которым теперь устроили навес, на забранных решеткой прилавках виднелись образцы товаров, какими прежде фирма не торговала: солонки, медальоны, щипцы из мексиканского серебра для снятия нагара со свечей, тонкий английский фарфор, китайские безделки, доставленные через Акапулько, заводные игрушки, швейцарские часы, вина и другие спиртные напитки из старинных погребов графа Аранды. Затем Эстебан направился в контору: тут счетные книги, чернильные приборы, перочинные ножи, песочницы, линейки и весы дожидались на своих местах служащих, которые вновь придут сюда на следующий день. Войдя в светлую, просторную комнату, где стояли два массивных стола, молодой человек подумал, что, должно быть, для него поставят здесь третий стол и он тоже займет свое место возле стены с панелью красного дерева, на которой висел писанный маслом портрет отца — основателя фирмы: У старика были сурово нахмурены брови

²⁷³ Вы мне осточертели! (франц.).

— он вечно ходил насупленный, — и весь его облик говорил о добропорядочности, строгости нрава и предприимчивости. Эстебан на минуту представил себе, что ему придется сидеть взаперти среди образцов риса и турецких бобов, переходя от счетных книг к ценникам и споря с неаккуратным плательщиком или с розничным торговцем из провинции, а в это время за окном будет сиять ослепительное утро и солнечные лучи станут сверкать на водной глади бухты, когда, ее пересечет какой-нибудь клиппер, взявший курс на Нью-Йорк или мыс Горн. И Эстебан понял: *все это* никогда не будет занимать его в такой степени, чтобы он согласился посвятить подобному делу свои лучшие годы. Он был уже навсегда отравлен морскими приключениями, привычкой жить сегодняшним днем и не чувствовать себя рабом вещей. Ему казалось, что он вырвался из преисподней, и он все еще не мог обрести себя — почувствовать себя самим собою, по-настоящему ощутить, что он опять живет обычной для всех жизнью. Он возвратился к себе в комнату. Сидя возле сваленных в угол марионеток и физических приборов, София ждала его, не решаясь уйти спать: лицо ее выражало глубокую печаль.

— Ты сердишься на нас из-за того, что мы во что-то верим, — сказала она.

— Вера в идеи, которые всякий день меняются, принесет вам жестокое и мучительное разочарование, — сказал Эстебан. — Вы поняли, что именно вам следует ненавидеть. И только. А поняв это, готовы поверить в любую мечту, готовы связать с нею свои надежды.

София поцеловала брата совсем так, как она это делала, когда он был ребенком, и поправила одеяло, свесившееся из гамака.

— Пусть каждый думает, что хочет, но пускай все у нас будет по-прежнему, — сказала она, выходя из комнаты.

Оставшись один, Эстебан с горечью сказал себе, что это невозможно. Существуют эпохи, словно созданные для того, чтобы истреблять стада, перемешивать языки и разобщать народы.

XXXVII

Дни проходили за днями, а Эстебан все никак не мог решиться приступить к делам торговой фирмы.

— Завтра, — говорил он, будто оправдываясь перед родными, хотя никто от него ничего не требовал.

А на завтра он снова шел бродить по улицам или переплывал бухту в лодке, направляясь в пригородный район Регла. Там, прямо у стойки, можно было выпить стакан очень крепкого тростникового сока или сладкого красного вина, а потом закусить куском жареного поросенка, который напоминал ему о былых пиршествах корсаров. В дальнем углу гавани, прижавшись друг к другу, точно нищие в холодную зимнюю ночь, покрывались плесенью старые парусники, отправленные на покой, как дряхлые инвалиды; теперь они покачивались на легкой волне, понемногу пропуская воду сквозь растрескавшиеся днища, усеянные моллюсками и оплетенные фиолетовыми водорослями. Чуть подальше еще виднелись полуразрушенные дощатые домики, где несколько месяцев жили в заточении иезуиты, изгнанные из американских владений Испании: их доставили сюда через Портобелью из расположенных в Андах монастырей. Продавцы молитвенных текстов, обетных даров, всевозможных талисманов — магнитов, кусков черного янтаря, железных и коралловых ожерелий —

невозбранно торговали своим товаром. Здесь в каждой христианской церкви, прямо за ризницей, скрывался тайный храм Обата-лы, Огуна и Йемайи²⁷⁴, и ни один священник не решался протестовать, хотя знал, что негры-вольнотпущенники, становясь на колени перед распятием или статуей девы Марии у алтарей католических храмов, на самом деле поклонялись своим древним африканским богам. Иногда, возвратясь в Гавану, Эстебан отправлялся в театр «Колисео», где труппа испанских актеров под звуки веселой тонадилы²⁷⁵ представляла мир мадридских щеголей и гуляк, напоминая молодому человеку о городе, путь в который был для него закрыт из-за войны. Незадолго до рождества родные Хорхе пригласили Софию, Карлоса и Эстебана провести праздники в их поместье, которое слыло одним из самых богатых и процветающих на острове. Как всегда к концу года, в торговле царило оживление, Карлос и Хорхе не могли бросить магазин, и было решено, что София поедет раньше вдвоем с кузеном, а ее муж и брат, завершив дела в городе, приедут спустя неделю. Это решение пришлось по душе Эстебану, так как постоянное присутствие Хорхе отдаляло от него Софию; не удавалось ему также восстановить узы дружбы, связывавшие его прежде с Карлосом: тот был вечно занят делами фирмы, по вечерам часто уходил на собрания франкмасонов, а если и оставался дома, то, сильно устав за день, сразу же после ужина засыпал в кресле, тщетно стараясь делать вид, будто прислушивается к общему разговору...

— Наконец-то я обретаю тебя вновь, — сказал Эстебан Софии, когда они оказались вдвоем в экипаже, катившем по направлению к Артемисе.

Карета подпрыгивала на ухабах, но под клеенчатым верхом было довольно уютно, и путешественники чувствовали себя как в люльке. Они останавливались поесть в гостиницах и на постоянных дворах, где забавы ради заказывали самые простые и незнакомые им кушанья — похлебку из овощей и мяса с перцем или жареных лесных голубей, — и София, дома не притрагивавшаяся к напиткам, с удовольствием пробовала отличное вино, которое они ненароком обнаруживали на прилавках маленьких лавчонок среди обыкновенной водки и дешевых красных вин. Лицо ее розовело, на висках выступали капельки пота, и она смеялась, смеялась так же весело, как в былые дни: теперь она совсем не походила на важную даму, хозяйку добропорядочного дома, она словно избавилась от неусыпного, хотя и не назойливого наблюдения. По дороге зашел разговор о Викторе Юге. Эстебан спросил Софию о письме, которое он ей привез.

— Ничего особенного. Я ждала большего, — ответила она. — Но ты ведь знаешь Виктора: остроты, которые теряют всю прелесть, когда они изложены на бумаге. А общий тон грустный. Жалуется, что у него нет друзей.

— Он сам повинен в своем одиночестве, — сказал Эстебан. — Решил, что великим людям не пристало снисходить до дружбы. Даже Робеспьер и тот до этого не додумался.

— Юг всегда был о себе слишком высокого мнения, — заметила молодая женщина. — Вот почему, когда судьба вознесла его над другими, обнаружилось, что ему это не по плечу. Он мечтал стать героем трагедии, но оказался в роли статиста. А

²⁷⁴ Речь идет о божествах негритянского пантеона, которым поклонялись в Америке выходцы из стран Западной Африки.

²⁷⁵ *Тонадилья* — песенка легкого жанра.

ко всему еще, подумай только, где он подвизался: Рошфор, Гваделупа... Задворки!

— Он мелкий человек. Множество фактов об этом свидетельствует.

И Эстебан отыскивал в памяти все, что могло умалить надменного и высокомерного Виктора Юга: непристойную фразу, которую однажды услышал от него; плоскую острогу; неразборчивость в любовных похождениях; проявленную слабость, — молодой человек припомнил позорную сцену, когда Антуан Фюэ угрожал отстегать Юга хлыстом, если тот без приглашения явится в масонскую ложу корсаров, а Виктор молчал и только криво усмехался. И потом этот культ Робеспьера, превратившийся в жалкое подражание... Эстебан приводил все новые и новые примеры, унижавшие его вчерашнего друга: слабости Юга особенно возмущали его именно потому, что он прежде любил этого человека.

— Я бы с радостью сказал о нем что-нибудь хорошее, но не могу. Слишком многое омрачает мои воспоминания о Викторе.

София слушала и как будто соглашалась; время от времени у нее вырывалось восклицание, которое можно было истолковать как свидетельство растерянности, неодобрения, испуга, негодования, вызванных жестокостью, промахом, низостью Юга или злоупотреблением властью с его стороны.

— Оставим Виктора в покое, — сказала она наконец. — Он оказался неудачным сыном Великой революции.

— Неудачным? Однако это не помешало ему в конечном счете сколотить состояние и жениться на какой-то богачке, — усмехнулся Эстебан. — Если только в Париже его не бросили в тюрьму за присвоение казенных денег. Или за попытку мятежа. Я уж не говорю о том, что теперь, когда воцарилась новая полоса террора, с ним могли обойтись и покруче.

— Оставим Виктора в покое, — снова повторила София.

Но, проехав одну-две мили, они опять возвращались к той же теме, и снова звучали нелестные характеристики Юга.

— Он вульгарен...

— Не понимаю, почему он тогда казался нам столь интересным...

— И не слишком образован: в своих речах он ссылается на то, что только недавно вычитал из книг...

— Заурядный искатель приключений...

— И всегда был таким...

— Он поразил наше воображение лишь потому, что прибыл издалека и много путешествовал...

— Однако, что ни говори, человек он мужественный...

— И отважный...

— Поначалу он казался фанатиком, но, быть может, только притворялся таким из честолюбивых побуждений...

— Ловкий политикан...

— Такие люди, как он, бросают тень на революцию...

Окруженный пальмами и кофейными деревьями загородный дом родственников Хорхе походил на римский дворец; его высокие дорические колонны тянулись вдоль внешних галерей, украшенных фарфоровыми блюдами, античными вазами, мозаикой из Талаверы и жардиньерками с пышными бегониями. Гостиные, портики главного патио, столовые залы могли свободно вместить добрую сотню приглашенных. Во всякое время дня в кухнях пылал огонь, утренний завтрак сменялся полуденным, одна

трапеза следовала за другой, и к услугам гостей всегда была чашка шоколада или бокал хереса. Среди гранатов и бугенвиллей, густо оплетенных лианами, радовали взор красивые беломраморные статуи. Пышнотелая Помона и Диана-охотница охраняли водоемы, образованные разлившимся ручьем в зарослях папоротника и маланги. Обсаженные миндальными и рожковыми деревьями или королевскими пальмами аллеи убегали вдаль, теряясь в густой зелени: тут глазам гуляющих внезапно представала итальянская беседка, увитая розами, маленький греческий храм, где нашла приют античная богиня, или лабиринт, образованный кустами букса, — так приятно было забраться сюда в час, когда предвечерние тени становились длиннее. Хозяева неизменно заботились о том, чтобы гости чувствовали себя как дома. И ни в чем не стесняли их. Старинные правила креольского гостеприимства разрешали каждому делать все, что ему заблагорассудится, и пока одни скакали верхом по сельским дорогам, другие отправлялись на охоту или совершали дальние прогулки, а третьи углублялись в парки — кто с шахматной доскою, кто с книгой в руках. Колокол на башне вносил некоторый распорядок в жизнь поместья, созывая гостей к трапезам или приглашая их в гостиные; впрочем, шел туда только тот, кто хотел. После позднего ужина, который заканчивался часам к десяти вечера, когда уже наступала ночная прохлада, на большой площадке за домом зажигали гирлянды фонарей, и начинался концерт — его давал оркестр из тридцати музыкантов-негров, обученных немецким маэстро, который в свое время исполнял партию первой скрипки в Мангеймском оркестре. И под звездным небом — а звезд было столько, что трудно было понять, как они там все помещались, — звучало торжественное вступление к симфонии Гайдна или же гремело радостное аллегро Стамица либо Каннабиха ²⁷⁶. Иногда при участии гостей, обладавших хорошими голосами, исполнялись небольшие оперы Телемана или «Служанка-госпожа» Перголезе. Так, в мирных развлечениях, проходили последние дни века Просвещения, который, казалось, продолжался целых триста лет — до такой степени он был насыщен событиями.

— Чудесная жизнь, — говорила София. — Но, увы, за этими деревьями таится *нечто*, с чем невозможно мириться.

И она указывала рукой на вереницу высоких кипарисов, которые, точно темно-зеленыеobeliski, поднимались над окружающей растительностью, скрывавшей совсем иной мир, мир дощатых бараков, где ютились негры-рабы; время от времени оттуда доносился грохот барабанов, напоминая дробный стук приближающегося града.

— Я им сочувствую не меньше, чем ты, — отвечал Эстебан. — Но только мы не в силах изменить ход вещей. Ведь это уже пытались сделать другие, наделенные полнотой власти, но даже их попытка потерпела неудачу...

Под вечер 24 декабря, когда некоторые из гостей спешно заканчивали приготовления к рождеству, а другие то и дело забежали на кухню, чтобы посмотреть, хорошо ли подрумянились индейки, и вдохнуть аппетитный дымок, поднимавшийся над праздничными соусами, София и Эстебан отправились к массивным чугунным воротам поместья, чтобы встретить Карлоса и Хорхе, которые должны были вскоре приехать. Внезапный ливень заставил их укрыться в одной из итальянских беседок,

²⁷⁶ Иоганн Стамиц (1717–1757) — чешский скрипач и композитор, создатель мангеймской школы скрипичной игры. Христиан Каннабих (1731–1798) — немецкий скрипач и композитор.

пламеневшей полураскрытыми цветами молочая. От влажной земли шел терпкий аромат, осыпавшиеся на дорожки листья издавали нежный прощальный запах.

— Дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, — прошептал Эстебан, припомнив строки из Библии, прочитанные им еще в годы отрочества.

И тут на него нашло какое-то помрачение. Неожиданное открытие наполнило его ликованием, он почувствовал, что наконец-то обрел себя, что для него как бы пробил час искупления. «Теперь ты все понимаешь. Ныне ты знаешь, что зрело в твоей душе столько лет. Ты созерцаешь ее лицо и понимаешь единственное, что тебе надо было понять, — ты же вместо этого силился постичь истины, которые выше твоего разума. Она — первая женщина, которую ты узнал, ее ты обнимал, как родную мать, — ведь матери ты никогда не видел. Она первая открыла тебе тайну чудесной женской ласки в те часы, когда бессонными ночами бодрствовала над твоим изголовьем, сочувствовала твоим страданиям и утишала их своею нежностью на заре. Она была тебе сестрой, она видела, как все больше мужает твое тело, — она наблюдала это, как могла бы наблюдать разве только несуществующая любовница, что росла бы вместе с тобой...» Эстебан припал головою к плечу Софии, которое, как ему чудилось, было его собственной плотью, и разразился столь безудержными рыданиями, что она на мгновение оцепенела, а потом привлекла его к себе, обняла и принялась целовать в лоб, в щеки. Но она тут же почувствовала, что его воспаленные, алчущие губы нетерпеливо ищут ее губ. Молодая женщина выпустила из рук лицо кузена, резко отстранилась и замерла, внимательно следя за всеми его движениями, как следят за малейшим движением врага. Эстебан не шевелился и только печально смотрел на нее, однако в глазах его пылал огонь страсти, и София, почувствовав, что на нее смотрят как на женщину, отпрянула. И тогда Эстебан заговорил: он говорил о том, что сам только сейчас понял, сам только сейчас открыл в себе. Голос его стал неузнаваемым, он произносил какие-то неожиданные, немислимые слова, но они не только не трогали Софию, но казались плоскими, пустыми, банальными. Она не знала, как поступить, что сказать, ей было неприятно выслушивать этот сбивчивый монолог, полный возмущавших ее признаний: он жаловался на то, что любовные связи не приносят ему радости, что его мечты никогда не сбываются, намекал, что, исходив бесплодную, иссохшую землю, он в глубине души все еще ждет, не поможет ли ему что-либо вновь обрести былое.

— Довольно! — крикнула София, и лицо ее вспыхнуло от гнева.

Быть может, другая женщина слушала бы такие речи с интересом. Но все ее существо протестовало, и в словах кузена ей слышалась фальшь. Чем более пылкими становились речи Эстебана, тем более пылко повторяла она: «Довольно!» И все сильнее повышала голос, пока он не перешел в крик, заставивший его замолчать. Наступила гнетущая тишина. Сердца Софии и Эстебана бешено стучали, словно оба они совершили огромное усилие.

— Ты все испортил, все разрушил, — проговорила молодая женщина.

И теперь уже она разразилась рыданиями и выбежала под дождь... Траурным покровом опустилась ночь. Отныне все будет не так, как прежде. Бурное объяснение навсегда воздвигнет между ними стену недоверия; оставаясь наедине, они будут напряженно молчать, недобро смотреть друг на друга, и все это станет невыносимо для него. Эстебан подумал, что ему лучше уехать, расстаться с отчим домом, но он заранее знал, что для этого у него не хватит сил. Время было такое беспокойное, что,

пускаясь в дорогу, человек должен был приготовиться к самому худшему, совсем как в средние века. Эстебан отлично знал, сколько опасностей таило в себе слово «приключение»... Дождь прекратился. В кустах замелькали огоньки — появились ряженые. Со всех сторон сбегались пастухи, мельники с выпачканными мукою лицами, негры, которые вовсе не были неграми, двенадцатилетние старушки, веселые бородачи, цари с картонными коронами на голове, и все они размахивали погремушками из тыкв, колокольчиками, били в бубны, звенели бубенчиками. Детские голоса пели хором:

Приходит старуха,
Приносит подарки.
Ей кажется — много.
Нам кажется — мало.
Зеленые лозы,
Лимоны в цвету.
Слава пречистой
И слава Христу!

Сквозь заросли бугенвиллей виднелся ярко освещенный дом, сверкали канделябры, переливались огнями венецианские люстры. Теперь предстояло дожидаться полуночи в комнатах, где на столах стояли подносы с пуншем. Потом с высокой башни донесутся двенадцать ударов колокола, и каждый станет торопливо глотать двенадцать ритуальных виноградин²⁷⁷, а после начнется нескончаемый праздничный ужин, за ним последует десерт, и все будут щелкать щипцами, раскалывая лесные орехи и миндаль. Негритянский оркестр будет в эту ночь играть новые вальсы: ноты были получены только накануне, и музыканты с самого утра разучивали незнакомые мелодии. Эстебан не знал, что бы такое придумать, лишь бы не пойти на этот праздник, не знал, как избавиться от надоедливых детей, как отделаться от слуг, которые окликали его по имени, предлагая принять участие в общих играх или отведать вина, — стоявшие в освещенных дверях гости, должно быть, его уже отведали, потому что голоса их звучали все громче, а смех — все заразительнее. В эту минуту послышался дробный стук копыт. В конце аллеи показалась забрызганная грязью карета; на козлах сидел Ремихио. Но, кроме него, в карете никого не было. Поравнявшись с Эстебаном, Ремихио осадил лошадей и одним духом выпалил, что сеньор Хорхе сперва лишился чувств, а теперь лежит в постели: на город неожиданно обрушилась эпидемия, толкуют, будто зараза пошла от трупов, которые горами валяются на полях сражений в Европе; сюда же эту ужасную заразу завезли недавно прибывшие русские корабли, они доставили диковинные товары, а тут их нагрузят тропическими плодами, которые так любят богатые господа из Санкт-Петербурга.

XXXVIII

В доме полновластно царила болезнь. Уже при входе начинало щипать в носу от запаха горчицы и льняного масла, доносившегося из кухни. По коридорам и лестницам взад и вперед сновали слуги, они приносили и уносили питье и горчичники, отвары и камфарное масло, ведрами таскали воду, настоянную на алтейном корне и луковицах

²⁷⁷ Имеется в виду распространенный в Испании и в странах Латинской Америки обычай глотать в канун Нового года двенадцать виноградин — по одной на каждый удар часов.

ириса: ею обтирали больного, измученного такой жестокой и упорной лихорадкой, что временами он громко бредил. София и Эстебан проделали обратный путь почти без остановок и во время этого грустного путешествия почти не говорили друг с другом; Хорхе они застали в очень тяжелом состоянии. Болезнь его не была случайной. Эпидемия охватила чуть ли не половину города, и уже было отмечено немало смертельных случаев. Увидя жену, больной посмотрел на нее с отчаянием и сжал ее руки, словно надеялся обрести в них якорь спасения. Из боязни сквозняков двери его комнаты плотно прикрывали, и в ней стояла удушающая жара, пахло лекарствами, спиртом для обтирания и восковыми свечами, они горели все время, так как у Хорхе было тяжелое предчувствие — ему казалось, что если он заснет в темноте, то больше уже не проснется. София поправила на нем одеяло, положила на его пылающий лоб смоченную в уксусе салфетку, а когда муж задремал, направилась на склад, чтобы подробно расспросить Карлоса о лечении, предписанном врачами, которые, по правде говоря, и сами толком не знали, как бороться с неведомым недугом... Вот как обитатели дома вступили в новый век; он принес им бессонницу, ночные бдения, дни, полные тревоги, которая лишь изредка сменялась проблеском надежды, — в эти дни передняя, выложенная мозаикой, вновь наполнилась людьми в сутанах, они, казалось, приходили сюда по чьему-то тайному велению и настойчиво предлагали принести чудотворные реликвии и распятие. На втором этаже повсюду валялись рецепты, стояли пузырьки с лекарствами, лежали полуобгоревшие фитили, — их употребляли, когда больному ставили банки. Глубоко опечаленная, но внешне спокойная, София не отходила от изголовья мужа, хотя врачи все время повторяли, что болезнь у него очень заразная. Правда, молодая женщина натиралась ароматическими эссенциями и держала во рту немного гвоздики, но упрямо продолжала ухаживать за больным с таким вниманием и нежностью, что Эстебан невольно вспоминал годы отрочества и юности, когда сам он жестоко страдал от приступов астмы. Теперь ласковые заботы Софии — возможно, в них бессознательно проявлялось материнское чувство — были отданы другому человеку, и это наполняло Эстебана особенно глубокой печалью, так как именно теперь у него были веские причины с тоскою вспоминать о временах потерянного для него рая; он понимал, что навсегда утратил этот рай, а ведь в ту далекую пору, когда он мог бы оценить выпавшее на его долю счастье, он этого не сделал, ибо оно было повседневным, обычным и, как казалось юноше, принадлежало ему по праву. София почти все ночи проводила без сна, в кресле, точно самоотверженная сиделка, а если ей случалось задремать, то достаточно было больному вздохнуть, и она тотчас же просыпалась. Иногда она выходила из комнаты мужа в глубокой тревоге.

— Снова бредит, — говорила она и раздражалась рыданиями.

Но затем мужество возвращалось к ней, — она видела, что, придя в сознание, больной с невероятной энергией боролся за жизнь: он бурно протестовал против уколов, заявляя, что ему и так уже продырявили все бока, и кричал, что смерть все равно его не одолеет. Когда ему на короткое время становилось лучше, он строил планы на будущее. Нет, нельзя больше растрачивать молодость, проводя ее на складе и в магазине. Человек рождается не для этого. Как только он, Хорхе, немного поправится, они с Софией уедут за границу. Довольно откладывать, пора уже начать путешествовать. Они посетят Испанию, посетят Италию; в мягком климате Сицилии он полностью восстановит свои силы. Они навсегда покинут этот губительный для здоровья остров, где люди постоянно страдают от эпидемий, вроде тех, что

обрушивались на Европу в давние времена... Эстебан, знавший об этих планах, испытывал острую тоску при мысли, что они могут осуществиться и он больше не будет видеть Софию — единственного человека, который придавал хоть какой-то смысл его нынешнему существованию, лишенному идеалов, устремлений и желаний. Жизненный опыт привел его к горькому разочарованию, которое овладевало им особенно сильно теперь, когда он должен был по нескольку раз в день принимать посетителей, приходивших осведомиться о самочувствии больного. Никто из них не пробуждал в нем интереса. Все разговоры оставляли его равнодушным. Особенно докучали ему филантропы, эти старомодные люди, все еще посещавшие масонскую ложу, основанную его родственниками, — сам он бывать в ней отказался наотрез. *Идеи*, от которых, как ему казалось, он навсегда отошел, теперь вновь настигли его в Гаване, но их исповедовали в такой среде, где все лишало эти идеи смысла. Горькую участь рабов оплакивали те самые люди, которые еще вчера покупали негров для работы в своих поместьях. О продажности колониальных властей толковали те, кто благодаря этой самой продажности приумножал свои доходы и богатства. О преимуществах независимости острова рассуждали те, кто бурно радовался, получая дворянский титул, пожалованный королем. В кругах людей состоятельных все больше распространялось то же умонастроение, какое в свое время охватило многих аристократов Европы и в конечном счете привело их на эшафот. С опозданием на сорок лет в Гаване сейчас читали книги, проповедовавшие революцию, а революция между тем пошла по иным, непредвиденным путям и опровергла содержание этих книг... Прошли три недели, и появилась некоторая надежда на выздоровление больного. Не то чтобы ему стало лучше. Он по-прежнему был в тяжелом состоянии, но оно больше не ухудшалось, хотя почти все, кто заболел одновременно с Хорхе, не вынесли страданий и уже умерли. Врачи приобрели за время эпидемии известный опыт и теперь лечили своих пациентов теми же средствами, какие применяли, борясь с воспалением легких. Однажды под вечер в доме послышался громкий стук — кто-то нетерпеливо колотил дверным молотком у главного входа. София и Эстебан, свесившись через перила галереи, выходившей в патио, старались разглядеть шумного посетителя и с удивлением узнали в нем капитана Калеба Декстера, — он был в синем сюртуке и белых перчатках. Не зная, что в доме больной, моряк явился без предупреждения, как делал всегда, когда его корабль «Эрроу» бросал якорь в гаванском порту. Эстебан радостно обнял человека, чей приход оживил в его памяти приятные воспоминания. Узнав о случившемся, Декстер искренне огорчился и предложил принести снадобья для припарок, действие которых было уже испытано моряками. София пыталась отговорить его, — кожа Хорхе была до такой степени раздражена компрессами, горчичниками и растираниями, что он с трудом терпел малейшее прикосновение. Но капитан, веривший в чудодейственность своего лекарства, отправился на корабль и возвратился уже в сумерках с мазями и притираниями, издававшими едкий и острый запах. На стол поставили еще один прибор, внесли большую английскую супницу изящной формы, и впервые за последние недели обитатели дома уселись за трапезу несколько успокоенные. Хорхе задремал, за ним присматривала приглашенная Софией монахиня из обители святой Клары.

— Он поправится, — сказал Карлос. — У меня такое чувство, что опасность миновала.

— Дай-то бог! — сказала София, и эти непривычные для нее слова прозвучали как

суеверное заклинание или молитва.

Эстебан невольно спросил себя, к какому же богу обращает она свою мольбу: к библейскому Иегове, к богу Вольтера или к Великому зодчему франкмасонов, — только что закончившийся век Просвещения причудливо перемешал всех богов. Ему опять пришлось приступить к рассказу о своих приключениях в Карибском море, но на сей раз он делал это не без удовольствия и охотно пускался в воспоминания, так как моряку были хорошо известны места, где побывал Эстебан.

— Война между Францией и Соединенными Штатами, без сомнения, скоро закончится, — сказал Калев Декстер. — Мирные переговоры уже начались.

Что же касается Гваделупы, то там, по словам капитана, все время происходят беспорядки; они начались в ту пору, когда Виктор Юг отказался уступить власть Пеларди и Дефурно, так что в конце концов его силой увезли на корабле во Францию. На острове все время вспыхивают мятежи, а «белые начальники» прежних времен, точно возродившись из пепла, ведут открытую войну против «новых белых начальников», добиваясь восстановления былых привилегий. Вообще во французских колониях все больше возвращаются к порядкам, существовавшим при старом режиме, особенно с тех пор, как Виктор Юг принял на себя новые обязанности агента Директории в Кайенне.

— Вы этого не знали? — удивился моряк, заметив недоумение своих собеседников, которые считали, что Виктор Юг потерпел поражение, что карьера его окончена, а сам он брошен в тюрьму или, быть может, даже приговорен к смерти.

Теперь же они вдруг узнали, что, добившись полного торжества в Париже, он с триумфом возвратился в Америку: на голове у него снова красовалась треугольная шляпа, и он опять был облечен властью. Когда новость эта достигла Гвианы, рассказывал янки, ужас охватил ее обитателей. Люди высыпали на улицы, крича, что теперь только и начнутся настоящие бедствия. Ссылные в Синнамари, Куру, Иракубо и Конамаме, не надеясь выдержать новые напасти, стенали и возносили мольбы всевышнему, прося избавить их от неминуемых страданий. Всех обуял такой страх, что можно было подумать, будто на землю явился антихрист. Пришлось даже вывесить в людных местах Кайенны афиши, в которых населению объявили, что времена переменялись, ничего похожего на то, что происходило на Гваделупе, здесь не произойдет, и новый агент Директории, движимый великодушием и справедливостью, постарается сделать все возможное, дабы упрочить благоденствие колонии.

— Sic²⁷⁸, — пробормотал Эстебан, услышав знакомые речи.

И уж вовсе трагикомичным показался следующий факт: желая засвидетельствовать свои добрые намерения, Виктор Юг прибыл в Кайенну с оркестром, который расположился на носу корабля — на том самом месте, где в свое время высилась гильотина, призванная предупредить и устрашить население Гваделупы. Тогда, шесть лет назад, в носовой части судна время от времени слышался зловещий свист падавшего сверху лезвия, которое испытывал Анс, а теперь тут звучали бодрые марши Госсека, модные парижские песенки и сельские контрдансы, исполнявшиеся на флейте и кларнете. Виктор Юг прибыл в Кайенну один, оставив жену во Франции, а возможно, он вовсе и не был женат: Калев Декстер не мог сказать на этот счет ничего определенного, он сам знал о Юге только то, что ему сообщили в Парамарибо, где в

²⁷⁸ Так (лат.).

последнее время всех очень тревожило близкое соседство грозного агента Директории. К общему изумлению, этот всемогущий человек проявлял теперь неожиданное великодушие, сам посещал ссыльных, до некоторой степени облегчил их жалкое существование и обещал многим, что они вскоре возвратятся на родину.

— Волк рядится в овечью шкуру, — усмехнулся Эстебан.

— Он прожженный политик и ловко применяется к требованиям времени, — подхватил Карлос.

— Что ни говорите, а Виктор человек необыкновенный, — промолвила София.

Калеб Декстер пробыл недолго, он спешил на свой корабль, который снимался с якоря на рассвете: они еще обо всем подробно потолкуют через месяц, когда он вновь остановится в Гаване, по пути на юг. И уж тогда как следует отпразднуют выздоровление больного — осушат несколько бутылок доброго вина. Эстебан сам отвез капитана на пристань... Когда он вернулся домой, у входа его встретил Карлос.

— Поезжай скорее за доктором, — сказал он. — Хорхе задыхается. Боюсь, он не доживет до утра.

XXXIX

Больной все еще боролся. Кто бы мог подумать, что в этом хрупком, бледном человеке, отпрыске угасающего рода, таится столько жизненной энергии! Он с трудом дышал, его сжигала лихорадка, и все же у него доставало сил отчаянно кричать в бреду, что он не хочет умирать. Эстебану не раз приходилось видеть, как умирают индейцы и негры: в час кончины они держали себя совсем по-иному. Они покорно угасали, как тяжело раненное животное, с каждой минутой все больше отрешаясь от жизни, все сильнее жаждали, чтобы их оставили в покое, будто уже заранее смирились с неизбежным концом. Хорхе, напротив, метался, бурно протестовал, стонал и жаловался, не находя в себе мужества принять то, что стало уже очевидным для остальных. Казалось, цивилизация лишила человека стойкости перед лицом кончины, хотя на протяжении веков она выработала множество доводов, которые должны были помочь ему постичь сущность смерти и спокойно принять ее. И теперь, когда смерть неумолимо приближалась с каждым колебанием маятника, страдальцу надо было убедить себя, что она не конец, а всего лишь переход в иной мир, что после жизни на земле человека ждет иная жизнь и вступить в эту иную жизнь нужно с определенными гарантиями, полученными по эту сторону рубежа. Хорхе сам попросил, чтобы пригласили священника, и тот выслушал его последнюю исповедь, состоявшую из бессвязных фраз, которые с трудом можно было разобрать. Узнав, что врачи признали свое полное бессилие, Росаура уговорила Софию разрешить ей привести к больному старого знахаря-негра.

— Поступай как хочешь! — сказала молодая женщина. — Ведь и Оже не отвергал знахарей...

Колдун прежде всего «очистил» комнату, покروпив вокруг благовонной жидкостью; потом он стал подбрасывать в воздух раковины, внимательно следя за тем, как они падают — отверстием вверх или вниз, а в заключение принес и положил возле постели больного охапку трав, купленных в лавке неподалеку от рынка у торговца лекарственными растениями. И всем пришлось признать, что старик сумел облегчить состояние больного; теперь Хорхе меньше задыхался, а сердце его, которое вот-вот готово было остановиться, забило ровнее... Однако на большее рассчитывать не

приходилось. Органы умирающего один за другим выходили из строя. Снадобья знахаря лишь ненадолго принесли облегчение. Привлеченные безошибочным инстинктом, похоронных дел мастера целый день бродили вокруг дома. И Эстебан нисколько не удивился, когда портной Карлоса принес траурное платье. София уже раньше заказала своей модистке траурные одежды, их было так много, что они занимали несколько плетеных корзин, беспорядочно стоявших в дальней комнате, где молодая женщина переодевалась с того дня, как заболел муж. Однако, быть может из тайного суеверия, она все еще не решалась открыть эти корзины. Эстебан понимал ее: ведь, заказывая черные одежды, люди как бы совершают некое заклинание, и вынуть их раньше времени — значило бы принять то, чего они не хотели принять. Каждому следовало притворяться, даже перед самим собою, будто он не верит, что черные покровы вновь появятся у них в доме. Но три дня спустя после рокового сердечного приступа, который не удалось приостановить, черные покровы в четыре часа пополудни вступили в жилище через парадный вход. Траур вошел сюда в черных одеяниях монахинь, в черных сутанах священников, в черных костюмах друзей, покупателей, франкмасонов, знакомых, служащих торговой фирмы; он вошел сюда в черных котелках и перчатках людей из похоронной конторы, доставивших черный катафалк и черные покрывала; он вошел сюда в черных одеждах чернокожих, негры поставляли в этот дом вот уже четыре поколения слуг; теперь, как забытые тени, негры пришли сюда из далеких кварталов и, столпившись под аркадами патио, хором оплакивали усопшего. В обществе, издавна разделенном сословными и расовыми перегородками, прощание с покойником было единственной церемонией, где их не принимали в расчет: вот почему случалось, что цирюльник, который однажды брил умершего, стоял у его гроба рядом с наместником колонии или главою медицинской корпорации, с графом де Посос-Дульсес или богатым землевладельцем, которому король недавно пожаловал титул маркиза.

Несколько удивленная присутствием сотен незнакомых людей — весь коммерческий мир Гаваны посетил в эту ночь дом с высокими колоннами, — София, осунувшаяся от бессонных ночей, погруженная в глубокую скорбь, которая обходится без показных жалоб и слез, исполняла непривычную для нее роль вдовы с таким достоинством и благородством, что Эстебан был изумлен. В комнате было душно: одуряюще пахло множество различных цветов, от них даже неприятно тянуло расплавленным воском, и ко всему этому примешивался чад бесчисленных свечей и еще не выветрившийся запах лекарств, особенно горчицы и камфары; от духоты молодую женщину, должно быть, мучило, ее нахмуренное лицо сильно побледнело, однако, несмотря на мешковатую траурную одежду и даже на известные недостатки внешности, София была по-своему хороша. У нее был, пожалуй, слишком упрямый лоб, слишком густые и сросшиеся брови, слишком неподвижный и медлительный взгляд, немного длинные руки, а ноги чересчур тонкие по сравнению с пышными бедрами. Но даже в этой тягостной обстановке она излучала неповторимое обаяние — обаяние женственности, законченной и совершенной, исходившей из самых недр ее существа, и Эстебан теперь особенно остро ощущал его, постигая скрытые возможности этой богатой натуры. Он вышел в патио, чтобы немного отдохнуть от монотонных голосов, бормотавших молитвы в гостиной, где лежал покойник. Потом направился к себе в комнату, и тут взгляд его упал на валявшиеся в углу марионетки:

их причудливый вид, наряды, позы — все походило на гротеск в духе Калло ²⁷⁹. Эстебан повалился в гамак, его преследовала навязчивая мысль о том, что завтра в доме станет одним человеком меньше. Планы будущего путешествия супругов, еще несколько дней назад так тревожившие его, уже никогда не осуществляются. Теперь наступит год унылого траура, с заупокойными мессами по усопшему и обязательными посещениями кладбища. Впереди у него будет целый год, чтобы убедить сестру и брата в необходимости переменить образ жизни. Пожалуй, нетрудно будет вернуться к былой мечте, которую они лелеяли еще на заре юности. Карлос, правда, слишком погряз в торговых делах, но все же месяца на два или на три и он, пожалуй, сможет уехать. А уж потом Эстебан устроит все так, чтобы остаться вдвоем с Софией где-нибудь в Европе, скажем, в Испании, стране, которой теперь меньше, чем прежде, угрожала война с французами, — совершив прыжок через Средиземное море, они ведь самым нелепым образом завязли в Египте. Все дело только в том, чтобы не торопиться, не поддаваться минутным порывам. Черпать полными пригоршнями в бездонной сокровищнице лицемерия. Лгать, когда это будет полезно. Добровольно играть роль Тартюфа...

Эстебан вернулся в полутемную гостиную. В дом входили все новые посетители, они с чувством жали ему руку, обнимали, говорили соболезнующие слова, а потом выходили в галерею. Он посмотрел на гроб. Лежавший там человек был чужаком. Чужаком, которого завтра на плечах вынесут из дома; он, Эстебан, ни в чем перед ним не виноват, он даже в глубине души не желал его физического устранения — этим словом педантичные философы минувшего века обозначали уничтожение неугодного человека. Траур закроет двери дома для посторонних, жизнь семьи снова войдет в естественные рамки, снова возродится атмосфера прежних дней. Возможно, вернется в дом милый его сердцу беспорядок, и тем самым время как бы возвратится вспять. Пройдет эта долгая ночь прощаний с покойным; забудется погребальная церемония и все, что с нею связано: молитвы, человек, несущий крест в похоронной процессии, пожертвования, траурные одежды и большие восковые свечи, цветы и покровы, панихида и реквием; смолкнут разговоры о том, что один, мол, пришел на похороны в парадном мундире, другой плакал, а третий со скорбью в голосе провозгласил, что мы из праха возникли и в прах обратимся; Эстебан, как приличествует близкому родственнику умершего, пожмет сотню потных рук под палящим солнцем, лучи которого, отраженные мраморными плитами, больно режут глаза, — и когда все это останется позади, в душах сестры и братьев восстановится естественная связь с прошлым... Выполнив неприятные обязанности, связанные с похоронами, Карлос, Эстебан и София вновь, как и несколько лет назад, оказались вместе за большим обеденным столом; вновь, как и в тот раз, было воскресенье, и они так же решили удовольствоваться обедом, приготовленным в соседней гостинице. Ремихио, который не мог пойти на рынок, потому что был на кладбище, принес подносы, прикрытые салфетками, на них лежали серебристый мрежник, запеченный с миндалем, марципаны, голуби, жаренные на рашпере, и другие лакомые кушанья с трюфелями и засахаренными фруктами, — все это было заказано самим Эстебаном, который велел не жалеть денег, если что-либо будет трудно достать.

— Какое совпадение! — воскликнула София. — Если я не ошибаюсь, мы ели то же самое после похорон... — Она не окончила фразу: в доме никогда не говорили о

²⁷⁹ Калло, Жак (1592–1635) — французский художник, мастер жанровых сцен.

покойном отце.

— То же самое, — подтвердил Эстебан. — Пища в гостиницах мало меняется.

Он заметил, что кухня оперлась локтями на стол, словно она и думать забыла о хороших манерах и вернулась к былой непосредственности. София пробовала одно блюдо, потом другое, не соблюдая никакого порядка, разглядывала рисунок на скатерти, задумчиво переставляла бокалы. Она рано ушла к себе, так как обессилела после многих бессонных ночей. Теперь уже незачем было подвергать себя опасности заразиться, и молодая женщина приказала принести с чердака свою девичью кровать и поставить ее в дальней комнате, где все еще хранились нераспакованные корзины с траурной одеждой.

— Бедная София! — воскликнул Карлос, когда мужчины остались одни. — Стать вдовой в ее годы!

— Ну, она скоро опять выйдет замуж, — отозвался Эстебан, перекатывая между пальцами серую, оплетенную золотой нитью бусинку, которая в дни морских скитаний служила ему талисманом, отгонявшим бури и предотвращавшим несчастья.

Все последующие дни он, желая хоть чем-нибудь помочь брату, добросовестно приходил в контору и усаживался за стол Хорхе, как будто дела торговой фирмы стали вдруг в высшей степени занимать его. Тут Эстебан постоянно сталкивался с городскими негодьями и торговцами из провинции; от них он узнал, что на острове готовятся грозные события. Повсюду происходило глухое брожение. Богатые землевладельцы жили в постоянном страхе, они опасались, что местные негры, по примеру негров из Санто-Доминго, поднимут мятеж. Распространились слухи, будто какой-то мулат, главарь заговорщиков, которого никто не видел и имени которого никто не знал, ходит из селения в селение, подбивая рабочих сахароварен взбунтоваться. Слишком много людей прятало у себя в карманах книжонки «окаянных французов». Каждое утро в Гаване на стенах домов появлялись тайно расклеенные ночью угрожающие листовки, в них провозглашалось право на «свободу совести», прославлялась революция и говорилось, что скоро на городских площадях будет воздвигнута гильотина. Стоило какому-нибудь негру — пусть даже речь шла о пьяном или помешанном — оскорбить или ударить кого-либо, и в нем уже видели бунтовщика. Моряки с заходивших в Гавану кораблей рассказывали о волнениях в Венесуэле и Новой Гранаде. Всюду назревали мятежи. Говорили, что гарнизоны приведены в боевую готовность, а из Испании прибыли новые пушки, — они предназначались для того, чтобы усилить батареи в крепости Принсипе...

— Пустяки! — заявлял Карлос, когда ему рассказывали о таких вещах, и благоразумно переводил разговор на другую тему. — В этой большой деревне люди и сами не знают, что говорят, — в сердцах прибавлял он.

XI

Горестное присутствие.

Гойя

Однажды вечером, когда Карлос и София отправились на какую-то церемонию в масонскую ложу, слегка простуженный Эстебан расположился в гостиной; поставив возле себя стакан с пуншем, он углубился в чтение старого сборника предсказаний и пророчеств, опубликованного Торресом Вильяроэлем полвека тому назад под заглавием «Большой саламанкский альманах». К своему величайшему удивлению, молодой человек обнаружил, что Вильяроэль, который, для того чтобы его альманахи

быстрее распродавались, именовал себя доктором алхимии, магии и натурфилософии, предсказал с пугающей точностью низложение французского короля:

Десять отсчитай веков
И шесть сотен лет прибавь,
Два столетия добавь
К ним без десяти годов —
Роковой итог готов...

О, горе, Франция, тебе!
Хоть ты не ждешь беды себе,
Король, дофин, двор и народ
Увидят, как конец придет
Твоей прославленной судьбе.

Затем Эстебан стал читать жизнеописание Вильяроэля, составленное им самим, и его захватила полная приключений жизнь; путь этого необыкновенного человека был извилист: поводырь у отшельников, студент, тореадор, знахарь, танцор, душеприказчик, математик, солдат в Опорто, преподаватель университета, он в конце концов обрел тихую гавань в монастыре. Эстебан дошел до таинственного эпизода, где рассказывалось о привидениях, которые нарушали покой одного мадридского дома, с шумом срывая картины со стен, и тут он вдруг заметил, что вечерний ливень перешел в частый упорный дождь, сопровождавшийся резкими порывами ветра. На минуту его внимание привлек стук оконной рамы где-то на верхнем этаже, — должно быть, ее неплотно притворили. Такое совпадение показалось Эстебану забавным: ведь стук достиг его ушей именно в ту минуту, когда он читал страницу о призраках и привидениях. Он снова уткнулся в книгу, но шум не прекращался и отвлекал его; в конце концов ему пришлось подняться наверх. Оказалось, София не закрыла стеклянную дверь комнаты, в которой она теперь спала. Эстебан понял, что совершил оплошность, что надо было сразу пойти затворить дверь: косые струи дождя, лившего как из ведра, без помехи обрушивались на пол, и коврик у кровати весь вымок. Возле шкафа, где плиточный пол слегка вдавился, образовалась лужа. И в этой луже стояли до сих пор не распакованные корзины с траурными платьями Софии, их прутья жадно впитывали воду. Эстебан поставил плетеные корзины на стол. Однако снизу они были такие мокрые, что он посчитал необходимым вытащить из них вещи. Молодой человек открыл первую корзину; он ожидал увидеть там черные траурные платья, но его глазам предстали яркие наряды из плотного атласа и тонкого шелка; Эстебан был потрясен этим праздником красок, тем более что в гардеробе Софии никогда не было столь пышных туалетов. Он поднял крышку второй корзины: его взор ослепили белоснежное голландское полотно, валансьенские кружева, тончайший муслин, прозрачные ночные сорочки и нижние юбки. Растерявшись и испытывая неловкость, как будто он без разрешения проник в чужую тайну, Эстебан захлопнул корзины и оставил их на столе. Он вышел из комнаты и тут же возвратился с тряпкой. Но, вытирая пол, он не мог отвести глаз от плетеных коробов с платьями, которые доставили сюда в те дни, когда Хорхе в соседней комнате метался в предсмертном жару. После смерти мужа София, естественно, носила траурные платья. Их было всего три, она надевала их по очереди, и казалось странным, что молодая женщина выбрала

такие простые и скромные одежды, — Эстебан объяснял это тем, что ею владело стремление умертвить свою плоть. А теперь он тщетно пытался понять, как София могла при этом заказывать столько дорогих, бесполезных и неуместных в ее положении нарядов. Ведь в корзинах лежали платья для балов и для театра; дюжины тонких чулок, расшитые сандалии; пышные туалеты, в которых можно блистать в свете и пленять в самой интимной обстановке. Он поднял крышку последней корзины. Тут были вещи попроще, для повседневной жизни: уличные платья, которые можно надевать в любой день, а не в торжественных случаях; капоты, впрочем, также сшитые из отличного атласа светлых, веселых тонов и со вкусом отделанные. Эстебан по-прежнему терялся в догадках: в корзинах не было ни одного черного платья, ни чулок, ни шарфа, ни вуали — ничего, что носят в дни траура. А ведь Софии было хорошо известно, что тогда ничто не менялось с такой быстротой, как дамские моды. Женщины Гаваны, которая в ту пору вступила в полосу небывалого процветания, превосходно знали, что носят в Европе. И невозможно было объяснить, зачем молодая вдова накупила все эти дорогие наряды, зная, что ей целый год предстоит ходить в трауре, а затем еще год считаться с ограничениями, налагаемыми полутрауром, — ведь должна же она была понимать: за это время все, что она приготовила, выйдет из моды... Эстебан продолжал мучительно ломать себе голову над неразрешимой загадкой, ему даже стали приходиться на ум самые оскорбительные предположения — он подумал, уж не ведет ли его кузина двойную жизнь, о которой не подозревает даже ее родной брат, — но в эту минуту послышался стук колес экипажа, въезжавшего в ворота. София появилась на пороге своей комнаты и застыла в изумлении. Выжимая тряпку над ведром, Эстебан объяснил ей, что произошло.

— Должно быть, все твои платья изрядно вымокли, — сказал он, указывая на корзины.

— Я их сама достану. Оставь меня, пожалуйста, — ответила она, провожая его к двери.

Пожелав кузену спокойной ночи, молодая женщина заперлась на ключ.

На следующий день, когда Эстебан сидел в конторе, тщетно пытаясь вникнуть в дела, на улице послышался громкий шум. Люди с возбуждением кричали, что негры Гаваны, по примеру своих братьев на Гаити, взбунтовались. Обыватели закрывали окна; торопливо собрав свой товар, бродячие торговцы, запыхавшись, устремились по домам: кто катил тележку, полную игрушек, кто волочил мешки, набитые статуэтками и украшениями для алтарей. На пороге своих жилищ кумушки рассказывали друг другу об убийствах и насилиях; какой-то экипаж, слишком быстро заворачивавший за угол, с грохотом опрокинулся. На улице кучками собирались люди, обсуждая самые невероятные новости; говорили, будто два полка солдат отправились к городской стене, чтобы отразить приближавшуюся колонну рабов; будто цветные пытались взорвать пороховые склады; будто в городе действуют французские агитаторы, прибывшие на кораблях из Балтимора; будто в квартале арсенала вспыхнули пожары. Вскоре выяснилось, что паника вызвана дракой между мулатами и американскими матросами: моряки, кутившие в известном притоне «Лола», где они пьянствовали, играли в карты и развлекались с женщинами, вздумали уйти, не заплатив, а вдобавок ко всему поколотили содержателя заведения, обругали хозяйку и стали крушить столики и зеркала. Скандал закончился грандиозным побоищем, так как в ссору ввязались негры-конго, которые шли процессией в церковь Паулы с фонарями в руках, — они собирались помолиться своему святому. В воздухе замелькали мачете и

дубинки, в драку вмешались солдаты городской стражи, и теперь на земле валялось несколько раненых. Час спустя порядок в этом всегда беспокойном квартале был восстановлен. Но губернатор решил воспользоваться удобным случаем и положить конец некоторым нежелательным действиям, которые в последнее время начали его тревожить; он повелел во всеуслышание объявить: самые суровые меры будут приняты против каждого, на кого падет подозрение в том, что он распространяет подрывные идеи, расклеивает на стенах домов листовки с призывом к отмене рабства — листовки эти стали появляться все чаще и чаще — или непочтительно отзывается об испанской короне...

— Ну что ж, продолжайте играть в революцию, — сказал Эстебан, возвратившись вечером домой.

— Лучше играть хоть во что-нибудь, чем не играть вообще, — съязвила София.

— По крайней мере, у меня нет тайн, и мне нечего скрывать, — проговорил Эстебан, посмотрев ей прямо в глаза.

Она только пожала плечами и повернулась к нему спиной. На ее лице появилось недоброе и упрямое выражение. Во время обеда она хранила молчание, избегая настойчивых, вопрошающих взглядов двоюродного брата. Однако София не походила на человека, который испытывает смущение, оттого что его уличили в чем-то предосудительном, нет, она держала себя с высокомерием женщины, решившей никому не давать отчета в своих поступках. Вечером, когда Эстебан и Карлос сидели за нескончаемой партией в шахматы, София уткнулась в огромный астрономический атлас.

— Корабль Декстера вошел в порт нынче днем, — вдруг сказал Карлос, напав черным сломом на последнего коня Эстебана. — Завтра капитан придет к нам обедать.

— Очень хорошо, что ты вспомнил об этом, — заметила молодая женщина, отвлекаясь от созерцания созвездий. — Надо будет поставить на стол еще один прибор.

На следующий день, возвращаясь к себе в обеденный час, Эстебан ожидал, что в доме уже будут зажжены все лампы и свечи. Однако, войдя в гостиную, он понял: происходит нечто непонятное. Капитан Декстер взволнованно ходил из угла в угол и старался что-то объяснить Карлосу, а тот слушал с расстроенным видом и с заплаканными глазами, что придавало его располневшему лицу смешное выражение.

— Ничего не могу сделать, — громко говорил американец, беспомощно разводя руками. — Она вдова и совершеннолетняя. Я обязан относиться к вашей сестре, как к любой пассажирке. Я пытался ее переубедить. Но она не слушает никаких доводов. Будь она мне дочерью, я и тогда бы ничего не мог поделать.

Капитан Декстер сообщил некоторые подробности: София за наличные деньги приобрела билет в транспортной конторе «Миралья и компания». Ее бумаги, полученные при содействии какого-то франкмасона, в полном порядке и со всеми нужными печатями. На «Эрроу» она поедет до Барбадоса. А там переседет на голландское судно, идущее в Кайенну.

— В Кайенну, в Кайенну, — растерянно повторял Карлос. — Подумать только! И это вместо того, чтобы отправиться в Мадрид, Лондон, Неаполь! — Заметив Эстебана, он заговорил с ним так, словно тот все уже знал: — Она точно помешанная. Твердит, что ей все опостылело — и дом и город. Взять да отправиться в путешествие вот так — никого не предупредив, ни с кем не простившись! Уже два часа, как она на борту корабля со всем своим багажом.

И Карлос рассказал, что он тщетно пытался отговорить сестру от ее намерения.

— Но ей что ни говори — как горох об стену. Не мог же я увести ее силой. Хочет ехать, и все. — Он снова повернулся к Декстеру: — Вы как капитан имеете право отказаться везти того или иного пассажира. Не говорите, что нет.

Слова Карлоса вывели Декстера из себя, он решил, что тот сомневается в его порядочности, и, в свою очередь, повысил тон:

— У меня нет никакого права — ни законного, ни нравственного — так поступить. Не мешайте сестре делать то, что она задумала. Никто не воспрепятствует ей поехать в Кайенну. Не отплывет она на этом корабле, отплывет на следующем. Если вы даже запрете все двери в доме, она вылезет в окно.

— Но почему? — набросились на него братья, требуя ответа. Капитан Декстер отстранил их своими крепкими ручищами:

— Поймите раз и навсегда: она отлично знает, почему решила ехать в Кайенну, именно в Кайенну. — И, точно проповедник, подняв указующий перст, он привел библейское изречение: — «Кроткими кажутся речи нескромного, но они проникают в самую глубину чрева».

Фраза эта, последнее слово которой таило какой-то непристойный намек, подействовала на Эстебана как удар хлыста. Он схватил американца за отвороты сюртука и потребовал от него ясных, прямых и недвусмысленных объяснений. И тогда Декстер произнес грубую фразу, которая все сделала понятным:

— Пока вы и Оже бродили по набережным Сантьяго в поисках гуляющих девок, она оставалась на борту с *ним*. Матросы мне все рассказали. Скандал, да и только! Я был так огорчен *этим*, что снялся с якоря раньше времени...

Больше Эстебану не о чем было расспрашивать. Все встало на свое место. Теперь он понимал, почему, узнав, что Виктор вновь сделался всемогущим властителем в одной из соседних стран Американского континента, София поспешила заказать все эти роскошные наряды; он понимал скрытую цель ее бесконечных расспросов: небрежно обронив несколько оскорбительных эпитетов по адресу Юга, она старалась выведать у него, Эстебана, все, что ее занимало, все, что касалось жизни, успехов и заблуждений Виктора. Она лицемерно соглашалась с тем, что Юг — изверг, отвратительный субъект, прожженный политикан, и таким образом умудрялась узнавать все новые и новые подробности, собирая буквально по крохам, по кусочкам, по обрывкам сведения о поступках, склонностях и деяниях того, кто прежде был облечен властью, затем пал, а теперь снова вознесся. Молча, ничем не выдавая себя, она упрямо шла к своей скрытой цели, и даже смертельная болезнь мужа не могла обуздать, образумить ее в том, что София заказывала цветы и свечи для похорон мужа, а вместе с ними — роскошное белье и пеньюары, которые надевают на голое тело, в том, что у одра умирающего ее не оставляли греховные мысли, было что-то циничное и отвратительное. И Эстебану внезапно открылась другая София, о которой он даже не подозревал, — низменная, послушная зову своей утробы самка, которая по доброй воле отдается мужчине и сладко стонет под тяжестью тела того, кто в свое время лишил ее девственности. Молодой человек вспомнил, с какой гадливостью София однажды ночью смотрела на проститутку, этих едва ли не самых бескорыстных из всех жриц любви, покорных прислужниц сладострастия, и теперь он не мог понять, как в ней уживались два столь различных существа: скромница, красневшая от гнева и возмущения при одном только упоминании о плотском акте, который, по ее религиозным представлениям, был мерзким и греховным, и сластолюбивая лицемерка,

которая сама так быстро уступила плотскому желанию и втайне предавалась любовным утехам.

— Ты во всем виноват, ведь это ты выдал ее замуж за кретина! — крикнул Эстебан Карлосу, ища, на кого бы возложить вину за то, что он называл про себя чудовищной изменой Софии.

— Брак этот никогда нельзя было назвать удачным, — вмешался капитан Декстер, разглаживая перед зеркалом измятые отвороты сюртука. — Когда муж и жена находят общий язык в постели, это сразу заметно, даже если они ссорятся. А тут все было комедией. Чего-то не хватало. Достаточно было посмотреть на его руки, — они походили на руки католической монахини, у него были безвольные, мягкие пальцы, он взяться-то ни за что как следует не мог.

Эстебан вспомнил, как старательно играла София роль примерной супруги; вплоть до смерти мужа она во всем выражала свою покорность ему, заботилась о нем и всегда с ним соглашалась, хотя это противоречило ее своенравной и независимой натуре. И теперь он почти радовался тому, что она уже не была девственницей, вступая в этот брак, который казался ему самой позорной уступкой традициям презируемого им общества. И тут же перед его мысленным взором опять возник образ властного человека, который даже на расстоянии продолжал мрачной тенью нависать над их домом. Взглянув на Карлоса, на его понурую и беспомощную фигуру, на его расстроенное лицо, Эстебан вскочил с места.

— Я приведу ее, чего бы мне это ни стоило, — сказал он.

— Силой вы ничего не добьетесь, — заметил Декстер. — Она имеет полное право уехать.

— Ступай, — попросил Карлос. — Сделай последнюю попытку...

Эстебан вышел, хлопнув дверью; он быстро зашагал к пристани. Достигнув волнореза, за которым стояло судно капитана Декстера, он почувствовал резкий запах свежесвыловленной рыбы: вокруг выстроились корзины с серебристым мрежником, тунцом, сардинами, и рыба чешуя поблескивала при свете факелов. Время от времени торговец рыбой засовывал руку под холстину, хватал несколько кальмаров и бросал их на весы. София стояла на носу корабля. Она все еще была в черном траурном платье и казалась от этого выше: она как будто не ощущала запаха чешуи, рыбьих внутренностей и крови, поднимавшегося с пристани. Она чем-то напоминала героиню древнего мифа, которая бесстрастно взирает на дары, принесенные к ее ногам жителями моря. При виде этой неподвижной женщины, которая, не шевелясь, смотрела на него твердым, пристальным взглядом, Эстебан почувствовал, что решимость оставляет его. Внезапно ему стало страшно. Он понимал, что у него не останется сил выслушать те беспощадные слова, которые в любую минуту могли слететь с ее уст. И он не отважился подняться на борт корабля, туда, где стояла она. Он только молча смотрел на нее.

— Пойдем, — произнес наконец Эстебан.

София медленно отвернулась, прислонилась спиной к планширу и устремила взгляд на гавань. На противоположном берегу горели огни незнакомых ей кварталов; а позади лежал город, он светился, как гигантский канделябр в стиле барокко, и его красные, зеленые и оранжевые стеклянные подвески поблескивали среди аркад. Слева был виден узкий пролив, он вел в окутанное мраком море, Средиземное море Америки, усеянное тысячами островов, море, которое сулило рискованные приключения и опасные переходы, море, покой которого испокон веков нарушали

кровавые схватки и войны. София спешила к тому, кто помог ей понять самое себя, к тому, кто в письме, которое привез этот стоявший внизу жалкий человек, признавался, что, несмотря на все триумфы, чувствует себя одиноким. В том краю, где он теперь пребывает, найдется к чему приложить руки: такой человек, как Юг, конечно же, вынашивает грандиозные планы, они позволят каждому показать, на что он способен.

— Пойдем, — снова донесся снизу голос Эстебана. — Ты переоцениваешь свои силы.

Вернуться для Софии значило усомниться в собственных силах, вторично потерпеть поражение. Хватит с нее ночей, когда плоть молчит, когда остаешься холодной, а нужно притворяться, будто испытываешь наслаждение.

— Пойдем.

Позади — постылый дом, который присосался к телу, как створки раковины; впереди — яркая заря, свет необъятного, там не будет ни криков уличных торговцев, ни унылых бубенчиков стада. Здесь — тусклое, замкнутое, безысходное существование, когда один день похож на другой; там — героический мир, населенный титанами...

— Пойдем, — вновь послышался голос.

София отошла от борта и словно растворилась в темноте. Эстебан продолжал что-то говорить, все больше повышая тон. Но его монолог заглушали выкрики торговцев рыбой, и до нее доносились только обрывки фраз: речь шла об их доме, который они создавали все вместе, о том, что теперь он придет в запустение. «Как будто с братьями можно создать настоящий дом», — подумала София. Упершись руками в обшивку на носу корабля, Эстебан все еще говорил, но она его уже не слушала. Огромное деревянное тело судна, пропитанное запахом соли, водорослей и морских трав, казалось ему мягким, почти женским, влажные бока были так податливы. Он поднял голову: сверху на него смотрела резная деревянная фигура с алебастрово-белым женским лицом и с широкими синими кольцами вокруг глаз, и к этому неподвижному лику был обращен теперь его взгляд, словно к той, что готовилась отплыть на заре, чудесным образом обогатившись: она вновь обрела способность желать и чувствовать, освободилась от гнетущей тяжести на сердце, которая губила ее красоту и убивала радость. София покидала родной дом и собиралась безжалостно раскрыть все его тайны, рассказать их тому, кто, быть может, уже ждал ее. При мысли, что он намеревался применить силу, а на самом деле стал умолять, Эстебан почувствовал себя убогим и нагим, — да, он был вдвойне нагим в глазах Софии, ибо она не раз видала его наготу. Она стояла наверху и ждала, когда поднимется ветер и надует паруса. Она готова была принять в свое лоно чужое семя, семя того, кто вспахал ее поле; ей предстояло стать сосудом и ковчегом, подобно женщине из Книги Бытия, которой пришлось покинуть отчий кров, чтобы соединиться с мужчиной... Люди уже начали поглядывать на Эстебана и прислушиваться к его словам, они усмехались, полагая, что поняли смысл происходящего. Он отошел от корабля и, пробираясь между корзинами, полными рыбы, столкнулся с капитаном Декстером.

— Ну как, убедились? — спросил моряк.

— Вполне, — ответил Эстебан. — Счастливого пути всем вам!

Он стоял в нерешительности на углу улицы, неподалеку от пристани, пристыженный своим поражением. Он бормотал фразы, которые должен был произнести раньше, но которые тогда не шли у него с языка. Судно все еще находилось здесь, совсем близко; слабо освещенное факелами, оно смутно выступало из ночной тьмы, и в его облике было что-то колдовское и злое. Время от времени свет фонаря вырывал из мрака вырезанную на носу сирену с раздвоенным хвостом, — теперь лицо ее походило на посмертную маску, извлеченную из усыпальницы. В голове Эстебана теснились невысказанные слова, они складывались сейчас в обвинительную речь, полную предупреждений, упреков, угроз; он готов был обрушить на Софию поток оскорблений, унижительных и обидных фраз, но в глубине души понимал, что язык у него так и не повернется их произнести. Ведь если она стойко выдержит словесную атаку — а это в ее характере, — он ничего не добьется. И теперь в нем вновь зрела решимость пойти на самые крайние меры. Было восемь часов вечера. Корабль капитана Декстера снимется с якоря в пять утра. Оставалось девять часов, за это время еще можно, пожалуй, что-нибудь предпринять. Жгучую свою обиду Эстебан подкреплял соображениями долга: он *обязан* помешать Софии уехать в Кайенну. Нельзя останавливаться ни перед чем, надо во что бы то ни стало воспрепятствовать этому нравственному самоубийству. То, что она задумала, равносильно решению сойти в преисподнюю. Правда, София — совершеннолетняя. Но закон позволял Карлосу воспротивиться отъезду сестры, сославшись на ее внезапное умопомешательство. Несколько месяцев назад в городе уже произошел подобный случай, — молодая вдова из знатной семьи задумала бежать в Испанию с каким-то комедиантом, исполнителем легкомысленных куплетов на подмостках театра «Колисео». Когда под угрозой оказывалась репутация почтенного семейства, всегда можно было рассчитывать на помощь властей. В здешнем обществе косо смотрели на неумеренное проявление страсти. Тут, не задумываясь, готовы были прибегнуть к услугам альгвасила, если повеса или сумасбродная женщина нарушали внешнюю благопристойность. Церковь, со своей стороны, была тревогу и становилась на пути виновных в прелюбодеянии... Эстебан твердо решил любой ценой помешать безрассудному намерению Софии и ускорил шаги, а затем побежал по направлению к дому; когда он, вспотев и с трудом переводя дыхание, добрался туда, то с удивлением обнаружил, что в комнатах полно людей с мрачными физиономиями — субъектов, в которых нетрудно было распознать полицейских; они занимались странным делом: всюду рылись, раскрывали шкафы, обшаривали ящики столов и секретеры, то поднимались на верхний этаж, то забирались в конюшни. Один из полицейских спустился по лестнице, неся на голове пачку печатных листков. Люди, производившие обыск, стали передавать листки из рук в руки, точно желая удостовериться, что это и в самом деле Декларация прав человека и гражданина и Конституция Франции; тексты эти были обнаружены под кроватью Софии.

— Уходите скорее, — шепнула Росаура, приблизившись к Эстебану. — Сеньор Карлос убежал по крыше.

Молодой человек, стараясь не шуметь, неторопливо направился в переднюю, чтобы оттуда незаметно выскользнуть на улицу. Однако у парадного входа уже стояли два человека.

— Вы арестованы, — объявили они Эстебану и отвели его в гостиную, где

оставили под присмотром.

Несколько часов он просидел в ожидании, никто его ни о чем не спрашивал. Полицейские ходили взад и вперед мимо Эстебана, будто не замечая его присутствия; одни приподнимали картины, чтобы убедиться, что за рамой ничего не спрятано, заглядывали под ковер; другие, вооружась железными прутьями, тыкали ими в клумбы, проверяя, не закопан ли под зеленым газоном ящик. Какой-то человек снимал книги с полок, внимательно осматривал переплет, ощупывал его, после чего бросал книгу на пол; правда, делал он это с выбором: его интересовали сочинения Вольтера, Руссо, Бюффона, вообще все, что было напечатано по-французски и в прозе, стихи занимали его меньше. Наконец к трем часам утра обыск закончился. В руках у полицейских было достаточно доказательств, что дом представляет собою гнездо заговорщиков-франкмасонов, распространявших революционные сочинения, врагов испанской короны, которые добивались того, чтобы в ее заморских владениях воцарились анархия и нечестие.

— Где хозяйка дома? — спрашивали теперь полицейские, видимо, располагавшие сведениями о том, что София принадлежит к числу наиболее опасных заговорщиков.

Росаура и Ремихио отвечали, что не знают. Что хозяйка ушла еще днем. Что вообще-то она почти все время сидит дома, но нынче, как на грех, почему-то не вернулась ночевать. Кто-то из производивших обыск заметил, что следует осмотреть все корабли в гавани, дабы предупредить попытку к бегству.

— Вы только даром время потеряете, — сказал Эстебан, все еще сидевший в углу гостиной. — Моя кухня София не имеет ко всему этому никакого касательства. Вас ввели в заблуждение. Эти бумаги я без ее ведома принес к ней в комнату как раз сегодня под вечер.

— А ваша кухня ночует не дома?

— До ее личной жизни никому нет дела.

Полицейские обменялись насмешливыми взглядами.

— Мертвый в могиле, живые развлекаются! — сказал один из них и громко расхохотался.

Снова заговорили о том, что надо бы осмотреть суда. В это время один из полицейских попросил Эстебана написать на листке бумаги несколько строк. Удивленный этим требованием, молодой человек нацарапал стих, принадлежащий Сан-Хуану де ла Крус²⁸⁰. Он хорошо его помнил, потому что прочел всего несколько дней назад: «Пусть нежная любовь скорее в сердце вспыхнет...»

— Та же рука, — объявил полицейский, размахивая в воздухе «Общественным договором».

И Эстебан вспомнил, что несколько лет назад он записал на полях этой книги некоторые свои мысли, оскорбительные для монархии. Теперь всеобщее внимание обратилось на него.

— Нам известно, что вы недавно вернулись после долгого отсутствия.

— Совершенно верно.

— А где изволили быть?

— В Мадриде.

— Это ложь, — отрезал один из полицейских. — В шкатулке у вашей кухни мы нашли два письма, отправленных из Парижа, в которых вы, надо признаться,

²⁸⁰ Сан-Хуан де ла Крус (1542–1591) — испанский поэт и богослов, основатель ордена босоногих кармелиток.

выражаете немалые восторги по поводу революции.

— Возможно, — спокойно сказал Эстебан. — Но затем я переехал в Мадрид.

— Дайте-ка я с ним потолкую, — сказал один из полицейских, подходя к Эстебану. — Уж меня-то он не проведет.

И он стал расспрашивать молодого человека об улицах, рынках, церквах и о различных достопримечательностях города, о которых тот и понятия не имел.

— Вы никогда не были в Мадриде, — объявил полицейский.

— Возможно, — невозмутимо повторил Эстебан. К допросу приступил другой полицейский:

— На какие средства вы жили в Париже? Ведь Испания объявила Франции войну, и вы не могли получать деньги от родных.

— Зарабатывал переводами.

— А что вы переводили?

— Всякое приходилось.

Пробило четыре часа. И снова кто-то сказал, что отсутствие Софии трудно объяснить и надо бы осмотреть корабли...

— Все это просто глупо! — вдруг взорвался Эстебан, грохнув кулаком по столу. — Вы полагаете, что достаточно ворваться в частный дом в Гаване и таким способом будет покончено с идеей свободы во всем мире? Поздно спохватились! Никому не дано остановить ход истории!

Жилы на его шее вздулись, он вновь и вновь громко повторял крамольные фразы, прославляя равенство и братство, так что писец все быстрее и быстрее водил пером по бумаге.

— Весьма занятно. Весьма занятно. Мы, кажется, начинаем понимать друг друга, — оживились те, кто участвовал в допросе.

А один из них, должно быть старший по чину, не давая Эстебану опомниться, обрушил на него град вопросов:

— Вы франкмасон?

— Да.

— Отрицаете Иисуса Христа и нашу святую веру?

— Я признаю только одного бога — бога философов.

— Разделяете ли вы идеи французской революции?

— Полностью разделяю.

— Где отпечатаны прокламации, которые мы обнаружили в доме?

— Я не доносчик.

— Кто перевел их на испанский язык?

— Я.

— И текст американских карманьол тоже?

— Все может быть.

— Когда это было?

В эту минуту появился полицейский, производивший обыск на втором этаже и остававшийся там в надежде обнаружить еще что-нибудь предосудительное.

— Полюбуйтесь-ка на веера хозяйки дома, — сказал он, раскрывая один из вееров, на котором была изображена сцена взятия Бастилии. — Это еще не все: там у нее целая коллекция ларчиков и игольников весьма подозрительных цветов.

Эстебан бросил взгляд на трехцветные безделушки и невольно умилился, подумав о юношеском восторге, который заставил такую сильную натуру, как София, собирать

эти милые пустячки, наводнившие за последние годы весь мир.

— Надо во что бы то ни стало поймать эту пташку, — пробурчал старший из полицейских.

И все снова заговорили о том, что следует пойти на пристань...

Тогда Эстебан, не опуская ни единой подробности, принялся рассказывать о своих делах. Он начал с того, как Виктор Юг приехал в Гавану, и всячески старался как можно дольше затянуть свой рассказ, а писец торопливо заносил его показания на бумагу. Молодой человек говорил о встречах с Бриссо и Дальбаррадом; о том, как он распространял идеи французской революции в Стране Басков; о своей дружбе с «гнусными изменниками» — Марченой и Мартинесом де Бальестеросом. Потом он поведал о том, как прибыл на Гваделупу: о типографии отца и сына Лёйе; о своем посещении Кайенны, во время которого он не раз виделся с Бийо-Варенном, заклятым врагом королевы Франции.

— Внесите это в протокол допроса, писец, непременно внесите, — сказал старший полицейский, приятно удивленный такими признаниями.

— Сколько «эн» пишется в фамилии Варенн? — осведомился письмоводитель.

— Два, — ответил Эстебан и начал было объяснять правила французской орфографии. — Надо писать два «эн» потому...

— Не станем препираться из-за лишней буквы, — крикнул полицейский, махнув рукой. — Как вам удалось вернуться в Гавану?

— Для франкмасонов нет ничего трудного, — ответил Эстебан.

И он продолжал свою повесть, рисуя себя чуть ли не одним из самых видных заговорщиков. Однако по мере того, как стрелки часов приближались к пяти, его показания принимали все более издевательский характер. Те, кто допрашивал молодого человека, не могли понять, почему он не только не пытается выгородить себя, а признается в крамоле, самым подробным образом перечисляя свои преступные деяния, которые могли навлечь на него смертный приговор — страшную казнь через удушение. Эстебану больше уже не о чем было рассказывать, и он перешел к самым грубым шуткам: говорил о мессалинах из династии Бурбонов, о том, что Князь Мира наставлял рога его величеству, о том, что скоро настанет день, когда петарды начнут рваться прямо в зад у короля Карлоса...

— Да это какой-то фанатик, — сказал кто-то.

— Фанатик или одержимый, — хором подхватили другие, — Америка полна таких вот Робеспьеров. Если мы не будем держать ухо востро, то здесь скоро начнется всеобщая резня.

А Эстебан все говорил и говорил, теперь он уже приписывал себе такие поступки, которых никогда не совершал, хвастался тем, будто сам возил революционную литературу в Венесуэлу и в Новую Гранаду.

— Ничего не опускайте, писец, ничего не опускайте. Все заносите на бумагу, — повторял старший полицейский, ибо задавать вопросы задержанному уже не было необходимости.

Стрелки на часах показывали половину шестого. Эстебан попросил, чтобы кто-нибудь проводил его на плоскую крышу: там в античной вазе, украшавшей балюстраду, якобы спрятана нужная ему вещь. Решив, что неизвестный предмет может послужить дополнительной уликой, несколько полицейских отправились вместе с молодым человеком. В вазе не было ничего, кроме осинового гнезда, и растревоженные насекомые принялись жалить обидчиков. Не слушая посыпавшихся

на него оскорблений и угроз, Эстебан устремил взгляд на гавань. Парусник «Эрроу» снялся с якоря: там, где прежде стоял корабль, теперь зияла пустота... Эстебан возвратился в гостиную.

— Занесите мои слова в протокол, господин письмоводитель, — сказал он. — Торжественно заявляю перед богом, в которого верую, что все, сказанное мною прежде, — ложь. Никогда вы не сможете найти ни единого доказательства, которое подтвердило бы, что я совершил все, о чем говорил, за исключением того, что я и в самом деле был в Париже. Не существует ни свидетелей, ни документов, на которые вы могли бы опереться. Все, что я говорил, я говорил, желая помочь одному человеку бежать. Я сделал то, что почитал своим долгом.

— От смерти ты, пожалуй, спасешься, — проворчал старший полицейский. — Но на каторгу в Сеуту непременно угодишь. Людей и за гораздо меньшие проступки посылают в африканские каменоломни.

— Мне теперь все безразлично, — угасшим голосом сказал Эстебан.

Он остановился перед полотном, изображавшим взрыв в кафедральном соборе, и посмотрел на большие обломки колонн, которые взлетели на воздух и неподвижно застыли, как это бывает только в кошмарном сне.

— Даже камни, которые я буду отныне дробить, были заранее изображены на этой картине! — С этими словами молодой человек схватил табурет и швырнул его в стену: на холсте образовалась дыра, и картина с грохотом рухнула на пол. — Уведите меня отсюда, — попросил Эстебан, который так безмерно устал и так нуждался в отдыхе, что мечтал только об одном: выспаться где угодно, хотя бы даже в тюрьме.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

XLII

Волны катили с юга — спокойно, размеренно, сплетая и расплетая замысловатый узор, отороченный пеной; они напоминали прожилки на темном мраморе. Зеленые берега остались позади. Корабль плыл теперь в таких синих водах, что казалось — вокруг не вода, а какое-то расплавленное, но уже застывающее стекло; время от времени по этой глади пробегала легкая зыбь. Ни единого живого существа не было видно на словно литой поверхности моря, таившего в своих глубинах и горы и бездны, подобно первозданному морю, которое возникло в дни сотворения мира — до появления первой раковины и первого моллюска. Одно только Карибское море, хотя оно буквально кишело жизнью, обладало способностью принимать порою вид необитаемого океана. Как будто повинуюсь таинственному велению, рыбы поспешно уходили под воду, медузы погружались вглубь, саргассовые водоросли исчезали с поверхности, и человеческому взору открывалось только то, что мнилось бесконечным: постоянно отступавшая линия горизонта, беспредельный простор, а выше — над ним — усеянная звездами небесная твердь; слова «небесная твердь» говорили о том, каким величественным и вместе давящим представлялся небосвод тем людям, которые во время оно придумали для него это обозначение, — возможно, они придумали его сразу же вслед за теми словами, которые только что изобрели для обозначения боли, страха и голода. Здесь, над пустынным морем, небо и впрямь казалось нависающей твердью, на нем мерцали те же созвездия, какие мерцали тысячелетия назад: прошло немало веков, пока человек научился различать их и дал

им названия, населив мифическими существами недостижимый купол небес, ибо он обнаружил в контурах созвездий сходство с очертаниями привычных предметов, животных и людей, которые теснились в его воображении — воображении неукротимого мечтателя и поэта. Сколько ребяческой дерзости проявили те, кто населил небесную твердь Медведицами, Псами, Тельцами и Львами, думала София, стоя на палубе корабля и всматриваясь в ночную тьму. Но то был верный способ приблизить вечное к пониманию людей, изобразить небосвод в таких великолепно изданных книгах, как тот астрономический атлас, который она оставила в домашней библиотеке: нарисованные на его листах кентавры, казалось, готовы были вступить в ожесточенную битву со скорпионами, а драконы — с орлами. Названия созвездий возвращали человека к языку древних мифов, которому он остался до такой степени верен, что, когда появились первые христиане, они не нашли ни одного свободного местечка на небе, захваченном в свое полное пользование язычниками. Звезды были отданы во власть Андромеде и Персею, Гераклу и Кассиопее. Они как бы приобрели уже право собственности на это родовое достояние, на которое не смели претендовать бедные рыбаки с Тивериадского озера, рыбаки, которые, впрочем, и не нуждались в звездах, чтобы направить свои челны к тому месту, где Некто, уже готовившийся пролить свою кровь ради спасения людей, начал ковать веру, не ведающую звезд... Когда побледнели Плеяды и взошло солнце, тысячи шлемов, будто сделанных из яшмы, подплыли к кораблю; под водой за ними волочились длинные красные гирлянды, словно силуэты каких-то средневековых воинов, ломбардских пехотинцев в тонких кольчугах, — подводные травы, встреченные ими по пути, точно кольца кольчуги, оплетали от плечей до бедер, от подбородка до колен, словом, с головы до ног туловища этих пронизанных солнечными стрелами призрачных рыцарей, которых капитан Декстер именовал *men-of-war*²⁸¹. Подводное войско расступалось перед парусником, а затем вновь смыкало свои ряды; оно прибыло неизвестно откуда и продолжало свое безмолвное движение изо дня в день, — движению этому предстояло длиться до тех пор, пока головы-шлемы не полопаются под лучами солнца, а туловища-гирлянды не распадутся от гниения... Поздним утром судно вступило в новую страну — страну медуз, которые плыли по поверхности моря, побелевшей от множества их тел, раскрытых, как крылья птицы. А вслед за ними появились темные полчища существ, напоминавших маленькие наперстки, которые судорожно сжимались и разжимались; за ними следовал целый отряд улиток, усеявших своеобразный плот из какой-то затвердевшей пузырчатой массы...

Внезапный ливень сразу преобразил поверхность моря, ставшего светло-зеленым и непрозрачным. Резкий соленый запах поднимался от воды, по которой барабанил дождь, — его крупные капли впитывались в доски палубы. Натянутые паруса звенели, как черепичная кровля под градом, а снасти жалобно стонали и скрипели. Гром надвигался с запада и уходил на восток; над кораблем то и дело слышались мощные раскаты, они медленно затихали и уносились вместе с тучами; под вечер гроза миновала, и море осветилось так, как бывает обычно только на заре: теперь его гладь переливалась всеми цветами радуги, точно поверхность высокогорного озера. Нос корабля словно преобразился в плуг, он вспахивал эту податливую неподвижную гладь, отмечая прихотливыми узорами пены свой след на воде, и по этой светлой борозде даже несколько часов спустя можно было понять, что тут проходило судно. В

²⁸¹ Военной эскадрой (англ.).

сумерки светлые следы выделялись на чернильно-темной воде, они, как линии дорог, пересекали карту вновь пустынного моря, такого пустынного, что людям, созерцавшим его, казалось, будто они одни только и плывут по волнам. Вскоре паруснику предстояло начать ночной переход по стране фосфорического сияния, озаренной светом, идущим из глубин: таинственные огни рассыпались снопами искр, струились мерцающим потоком, принимали причудливые очертания, напоминая то якорь, то гроздь винограда, то анемон или пряди волос, а порой они походили на пригоршни сверкающих монет, светильники алтарей либо далекие витражи затопленных кафедральных соборов, что горят под холодными лучами подводных светил... Как и во время своего первого путешествия на «Эрроу», София вновь стояла на носу корабля, у самого борта, и подставляла лицо свежему ветру, но теперь ею уже не владело тревожное томление юности. Приняв смелое решение, она как будто окончательно повзрослела и была уверена, что все ее ожидания сбудутся. Первые два дня молодую женщину еще неотступно преследовала мысль об оставленном доме, но утром третьего дня она уже проснулась с пьянящим чувством свободы. Все связи с прошлым были оборваны. Она покинула мир унылой повседневности и вступала в царство непреходящего. Вскоре для нее откроется долгожданное поле деятельности, и это позволит ей доказать наконец, на что она способна. Софией опять овладело радостное возбуждение, которое знакомо всякому, кто пускается в дальний путь; нечто подобное она уже однажды испытала на этом корабле, когда в ее жизни открылась совсем новая страница. Она снова вдыхала острый запах смолы, рассола, муки и отрубей, знакомый ей по тогдашнему путешествию, и одного этого было достаточно, чтобы вычеркнуть из ее памяти прошедшие годы. Сидя за столом с капитаном Декстером и опять смакуя копченые устрицы, английский сидр и пироги с начинкой из ревеня и флоридского кизила, она прикрывала глаза от удовольствия и вспоминала о своем первом морском путешествии. Но теперь они плыли другим путем. Хотя Туссен-Лувертюр²⁸² всячески старался завязать торговые сношения с Соединенными Штатами, североамериканские негоцианты не особенно доверяли платежеспособности негритянского вождя и уступали этот недостаточно надежный рынок тем, кто продавал оружие и боевые припасы, единственные товары, за которые гаитяне всегда расплачивались наличными, даже если у них не было муки для выпечки хлеба. Оставив в стороне Ямайку, корабль капитана Декстера уже несколько дней шел в наиболее пустынной части Карибского моря, держа курс на порт Ла-Гуайра: в этих местах лишь изредка появлялись последние гваделупские корсары, их парусники именовались теперь «Наполеон», «Кампо-Формио», «Завоевание Египта». Однажды утром экипаж «Эрроу» уже решил было, что ему предстоит неприятная встреча: на горизонте показалось небольшое судно, и оно с подозрительной быстротой направлялось прямо к паруснику. Но вскоре минутная тревога сменилась радостным оживлением: матросы поняли, что незнакомый корабль — это почти легендарный «Шлюп монаха», который принадлежал миссионеру-францисканцу, отчаянному человеку, уже несколько лет занимавшемуся контрабандой в здешних водах. Помимо этого судна, «Эрроу» встретил на своем пути лишь несколько шхун, постоянно курсировавших между Гаваной и Новой Барселоной с грузом вяленого мяса; проходя, они распространяли вокруг сильный запах копченостей. Чтобы скоротать время и

²⁸² Туссен-Лувертюр, Сантос (1743–1803) — гаитянский негр, один из наиболее выдающихся вождей гаитянской революции. В 1802 г. был взят в плен французскими интервентами и умер во Франции в тюрьме.

умерить владевшее ею нетерпение, София пыталась читать английские книги, которые стояли на полке в каюте капитана Декстера рядом со все тем же застекленным шкафчиком, где хранился его масонский фартук с изображением акации, колонн и скинии завета. Но в те дни ей были одинаково чужды и настроение «Ночей», и гнетущая атмосфера «Замка Отранто»²⁸³. Пробежав глазами несколько страниц, молодая женщина закрывала книгу, толком не вникнув в то, что прочла. Ей было трудно на чем-нибудь сосредоточиться, и она бездумно, каждой клеточкой своего тела отдавалась морю и ветру, которые больше говорили ее сердцу, нежели воображению... Как-то на рассвете на фоне зеленоватой дымки, затянувшей горизонт, начала вырисовываться фиолетовая громада.

— Седловина Каракаса, — пояснил капитан Декстер. — Мы в тридцати милях от материка.

На корабле все пришло в движение, как это обычно бывает перед близкой стоянкой: свободные от вахты матросы приводили себя в порядок, брились, стриглись, чистили ногти, отмывали руки от въевшейся в кожу грязи. На палубе появились бритвы, гребешки, мыльницы, принадлежности для шитья и штопки. Один лил себе на голову какую-то пахучую эссенцию; другой чинил порванную рубаху; этот ставил заплату на прохудившийся башмак, тот придирчиво разглядывал свою загорелую физиономию в маленьком зеркальце. Всеми владело возбуждение, и объяснялось оно не только тем, что судно после удачного перехода приближалось к суше: у подножия горы, которая четко вырисовывалась на фоне высокого хребта, тянувшегося вдоль побережья, ожидала Женщина — Женщина, еще не знакомая, почти абстрактная, не имевшая лица, но чье присутствие уже возвещал порт. Казалось, над кровлями города встает зовущая фигура женщины, и, будто предупреждая ее о приближении мужчин, на устремленных ввысь мачтах корабля надувались паруса. Паруса эти были уже замечены на берегу, и в портовом квартале началась суeta, его обитательницы спешили к колодцам и возвращались с полными ведрами, колдовали над помадой и притираниями, надевали юбки, примеряли украшения. Между берегом и морем уже завязался безмолвный диалог, по воде сновали рыбацьи лодки. Переменив галс, «Эрроу» теперь шел вдоль горного хребта, который так стремительно сбегал от облаков к воде, что на его склонах трудно было различить возделанные полосы. Иногда громадная стена расступалась, и глазам представал ровный тенистый берег, стиснутый каменными громадами, поросшими густой и темной растительностью, — чудилось, будто в их расселинах притаились обрывки ночи. С этого еще девственного материка тянуло неистребимой сыростью, она поднималась над бухтами, куда шумный прибой заносил морские семена. Но вот горы начали отступать от кромки воды, они теперь шли сплошной цепью, не позволяя увидеть, что за ними скрывается, оставляя свободной только узкую полосу берега, пересеченную дорогами и усеянную домами, поросшую лохматыми кокосовыми пальмами, морским виноградом и миндальными деревьями. Корабль обогнул высокий мыс, казалось, вырубленный из глыбы кварца, и сразу же показался порт Ла-Гуайра, — он расположился у самого океана, точно громадный амфитеатр, крыши домов ступенями уходили вверх... София охотно побывала бы в Каракасе, но дорога туда была длинная и утомительная. А корабль должен был пробыть в гавани недолго. Свободные от вахты матросы,

²⁸³ Речь идет о поэме английского писателя Э. Юнга (1683–1765) «Жалоба, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» и романе английского писателя Г. Уолпола (1717–1797) «Замок Отранто».

торопившиеся на берег, где их уже ждали женщины, спустились в шлюпки; затем спустилась в шлюпку и София в сопровождении капитана Декстера, который спешил выполнить некоторые формальности в порту.

— Вы вовсе не обязаны меня опекать, — сказала молодая женщина, заметив, что и капитан был не чужд нетерпения, владевшего его матросами.

И она стала подниматься вверх, туда, где начинались крутые улицы, тянувшиеся вдоль русла высохшего потока; ей попадались живописные площади и скверы, украшенные статуями, а стоявшие вокруг дома с деревянными решетками на окнах и узкими галереями напомнили молодой женщине Сантьяго-де-Куба. Опустившись на каменную скамью, София смотрела, как вереницы навьюченных мулов поднимались по горным тропинкам, затененным зарослями акации: тропинки эти убегали к туманным вершинам, туда, где виднелась увенчанная дозорными башнями крепость; много таких крепостей защищают испанские порты в Новом Свете, и все эти крепости похожи как две капли воды, так что можно подумать, будто их возводил один и тот же зодчий.

— Там до последнего времени сидели франкмасоны, привезенные из Мадрида. Их называли «бунтовщиками из Сан-Бласа», они задумали устроить революцию в Испании, — сказал Софии бродячий торговец, настойчиво предлагавший ей атласные ленты. — Вы мне, должно быть, не поверите, но даже в темнице они все еще готовили заговоры...

Стало быть, назревали грозные события. Она не ошиблась, предчувствуя их близость. И теперь Софии еще сильнее, чем прежде, хотелось как можно скорее достичь конечной цели своего путешествия, она даже боялась, что приедет слишком поздно, когда человек, который вынашивал великие замыслы, уже начнет действовать, заставляя расступаться зеленые кущи тропического леса, подобно тому как древние евреи заставили расступиться волны Красного моря. Подтверждалось то, о чем ей столько раз говорил Эстебан: Виктор еще до начала термидорианской реакции наводнил листовками с переведенным на испанский язык текстом французской Конституции и американских карманьол эту область Южной Америки, раздувая тут огонь революции, уже угасавший в Старом Свете. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на розу ветров: с Гваделупы вихрь устремлялся к Гвиане, а оттуда обрушивался на Венесуэлу, через которую пролегал естественный путь к противоположному побережью материка, к пышным дворцам королевства Перу. Ведь именно там из уст иезуитов — Софии были знакомы сочинения некоего Вискардо Гусмана — впервые раздались требования независимости этих земель, а добиться ее можно было лишь с помощью революции. Все становилось ясным — присутствие Виктора Юга в Кайенне говорило о том, что вскоре произойдут грандиозные события: помчатся по равнинам отважные всадники, их единомышленники поплывут по течению легендарных рек и двинутся через перевалы гигантских горных хребтов. Готовилась новая эпопея, и революция, которая закончилась неудачей в одряхлевшей Европе, должна была восторжествовать здесь, на просторах девственного материка. А тогда родственники, оставшиеся в Гаване, которые, конечно же, теперь осуждают Софию, поймут наконец, что ее устремления не имели ничего общего с обычными устремлениями женщин, думающих только о нарядах да пеленках. Они, без сомнения, толкуют о том, что ее скандальное бегство поднимет в обществе целую бурю, не подозревая, какая буря поднимется на самом деле. На этот раз игра пойдет *ва-банк*, стрелять будут в генералов и епископов, высших должностных лиц и королевских

наместников.

Корабль капитана Декстера снялся с якоря два дня спустя и, взяв курс на Барбадос, вскоре обогнул остров Маргарита, с тем чтобы пройти между островами Гренада и Тобаго: здесь, в английских владениях, было безопаснее. И после спокойного путешествия София очутилась в Бриджтауне, где ей открылся новый мир, — до сих пор ничего похожего в остальной части Карибского моря она не видала. В этом городе, походившем на голландские города, царил совсем особая атмосфера, здесь была своя архитектура, ничем не напоминая испанскую, ничем не напоминали испанские суда и широкие шлюпы, привозившие лес из Скарборо, Сент-Джорджа или Порт-оф-Спейна. Здесь имели хождение монеты недавней чеканки с забавными названиями «ананас-пенни» и «нептун-пенни». Молодой женщине показалось, что она попала в какой-то город Старого Света, когда она увидела, что тут есть Улица масонов и Улица синагоги. По совету Калеба Декстера София остановилась в чистенькой гостинице, — ее содержала мулатка с лоснившимся от пота лицом. После прощального завтрака, во время которого София перепробовала все кушанья — так велика была владевшая ею радость — и даже отдала дань портеру, мадере и французским винам, молодая женщина и капитан решили прогуляться в коляске по окрестностям города. Несколько часов они катили по дорогам этого самого обжитого из Малых Антильских островов; кругом простиралась равнина, лишь кое-где пересеченная невысокими холмами, — на острове не было ничего слишком крупного, давящего, угрожающего, и землю тут обрабатывали вплоть до самой кромки моря. Сахарный тростник походил на зеленеющие хлеба; луга, поросшие мягкими травами, напоминали газоны; даже пальмы и те не казались тропическими деревьями. В густой зелени прятались тихие жилища, их колонны, точно колонны греческого храма, тянулись к увитым плющом фронтонам; в нарядных гостиных с большими окнами обитали портреты, покрытые лаком, который сверкал при ярком солнечном свете; попадались тут домики под черепичной кровлей, такие маленькие, что достаточно было ребенку высунуться в окно, и он загораживал от постороннего взгляда обеденный стол, за которым сидела целая семья, — но там при всем желании уже нельзя было пристроить даже шахматную доску; встречались здесь и развалины, утопавшие в густых выющихся растениях: там собирались призраки — по словам кучера, на острове просто проходу не было от привидений — и жалобно стонали в ветреные ночи; а возле моря, у самой воды, простирались всегда пустынные кладбища, осененные кипарисами; надгробья из серого камня казались особенно скромными при сравнении с пышными мавзолеями испанских усыпальниц, они говорили о некоем Эудольфе и некоей Эльвире, погибших во время кораблекрушения, и люди эти почему-то рисовались героями романтической идиллии. Глядя на эту надпись, София вспомнила «Новую Элоизу»²⁸⁴. А капитан Декстер подумал о «Ночах». Несмотря на то что они находились далеко от города, несмотря на то что лошади устали и нельзя было рассчитывать на скорое возвращение, так как предстояло еще найти свежую упряжку, София с ласковой настойчивостью, которая показалась Декстеру чрезмерной, упрашивала его непременно поехать и осмотреть построенный на скале бастион Сент-Джон: там, за церковью, надпись на могильной плите сообщала о внезапной кончине на острове человека, древний род которого не раз упоминался в истории. Надпись гласила: *«Здесь покоятся останки — Фердинанда Палеолога — потомка*

²⁸⁴ «Новая Элоиза». — Имеется в виду роман в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

императорской династии — отпрыска последних императоров Византии — капеллана сей церкви — с 1655 по 1656 год». Кaleb Декстер, слегка размякший после бутылки вина, выпитой им по дороге, почтительно обнажил голову. Солнце садилось, окрашивая багряным цветом волны, с пеной разбивавшиеся о скалистые громады; София украсила могилу срезанными в саду священника бугенвиллеями. Когда Виктор Юг впервые пришел к ним в дом в Гаване, он долго и подробно рассказывал об этой могиле, где покоился забытый потомок того, кто пал в последние дни Византии, избежав надругательств, которым победоносные турки подвергли вселенского патриарха. Теперь София обнаружила надгробье в указанном месте. И она проводила рукой по серому камню, отмеченному знаком Константинова креста, повторяя движение другой руки, которая много лет назад точно так же ощупывала кончиками пальцев ложбинки от букв... Желая прервать эту неожиданную церемонию, которая, по его мнению, слишком затянулась, капитан Декстер заметил:

— Подумать только, последний законный владелец храма святой Софии жил и умер на этом острове...

— Смеркается, — произнес кучер.

— Да, пора возвращаться, — ответила молодая женщина.

Софию поразило, что в банальном замечании моряка неожиданно прозвучало ее имя. Это было такое удивительное совпадение, что оно показалось ей неким предзнаменованием, предупреждением, предвидением. Ее ждала необыкновенная судьба. В тот далекий вечер, когда под властной рукой оглушительно застучали дверные молотки в их доме, для нее открылся таинственный путь в будущее. Некоторые слова произносятся неспроста. Неведомая сила вкладывает их в уста оракулов. *София. Мудрость.*

XLIII

Узнав, что утес Великого Коннетабля будет виден на рассвете, София уже на заре была на палубе «Батавской республики» — старого голландского грузового судна, которому недавно было присвоено это новое пышное название: на протяжении всего года оно курсировало между поросшим девственными лесами материком и голым островом Барбадос, доставляя красное дерево искусным столярам Бриджтауна и строевой лес для красивых домов Ойстина, верхний этаж которых выступал над нижним на манер нормандских домов. Несколько недель молодая женщина прожила в портовой гостинице в ожидании попутного корабля, ее мучило нетерпение, ей смертельно надоело слоняться по улицам маленького городка, где она, к величайшей своей досаде, узнала, что между Францией и Соединенными Штатами подписан мир: ведь если бы это ей стало известно раньше, путешествие было бы намного легче, — она могла прямо в Гаване сесть на один из североамериканских кораблей, которые теперь опять начали заходить в Кайенну. Однако София забыла обо всех этих неприятностях, когда увидела скалы и островки, возвещавшие близость материка, — над ними с веселыми криками летали уже проснувшиеся пеликаны и чайки. Затем показались «Мать и Дочери», о которых ей в свое время рассказывал Эстебан. Берег с каждой минутой приближался, и уже можно было различить людей, копошившихся среди густой растительности. В час прибытия все показалось тут Софии необыкновенно пышным и праздничным. Казалось, чтобы достойно встретить ее, природа оделась в наряд, отливавший всеми оттенками зеленого цвета. Взошедшие на

борт корабля представители военных властей выразили некоторое удивление, узнав, что одинокая женщина прибыла из столь оживленного города, как Гавана, и желает остаться в Кайенне. Но достаточно было Софии упомянуть имя Виктора Юга, и подозрительность тут же уступила место учтивости. Был уже поздний вечер, когда София въехала на сонные улицы города; она остановилась в гостинице Огара, но предпочла умолчать о своем родстве с Эстебаном, вспомнив, что его отъезд в Парамарибо походил на бегство... На следующее утро она запиской известила о своем приезде того, кто успел за это время из агента Директории превратиться в агента Консульства. Вскоре после наступления сумерек ей принесли короткий ответ, нацарапанный на листке гербовой бумаги: «Добро пожаловать. Завтра за вами приедет экипаж. В.». Она ждала письма, в котором звучало бы нетерпение, а вместо этого получила несколько холодных слов; из-за них она дурно спала ночь. В соседнем дворе яростно лаяла собака, потревоженная шагами какого-то пьянчужки: он шел по улице, раздирая чесоточные струпья, и выкрикивал грозные пророчества о том, что праведники рассеются по земле, что царубийц постигнет кара и что все предстанут перед престолом всевышнего в час Страшного суда, который — неизвестно почему — будет происходить где-то в долине Новой Шотландии. Когда голос незнакомца замолк в отдалении, а сторожевой пес опять задремал, во всех щелях завозились невидимые насекомые — они точили, царапали, грызли доски. Слышно было, как дерево стреляло тяжелыми семенами, и они, словно свинцовые дробинки, с шумом падали на перевернутые вверх дном лодки. У дверей гостиницы громко спорили два индейца, казалось, сошедшие со страниц приключенческого романа. Все это не давало Софии уснуть, и она ломала себе голову, теряясь в тревожных предположениях. Вот почему, когда утром за ней приехал экипаж, она чувствовала себя совершенно разбитой. Молодая женщина думала, что ее со всеми чемоданами и дорожными сундуками отвезут в правительственную резиденцию, однако лошади помчали карету прямо к пристани, где уже ждала большая лодка с высокими бортами: на скамейках в ней лежали подушки, а от солнца и ветра пассажиров защищали холщовые навесы. София узнала, что ее отвезут в поместье, расположенное в нескольких милях от города. Хотя она ждала совсем не такой встречи, но все же невольно почувствовала себя польщенной тем, с какой почтительностью относились к ней моряки. Суденышком командовал молодой офицер по фамилии де Сент-Африк; во время плавания он рассказывал ей об успехах, которые достигнуты в развитии колонии после приезда Виктора Юга. Сельское хозяйство теперь процветает, склады битком набиты товарами, повсюду воцарились мир и благоденствие. Почти все ссыльные возвратились во Францию, и об их страданиях в Иракубо напоминает только огромное кладбище, на могильных камнях которого можно прочесть имена известных революционеров... Под вечер лодка достигла устья реки с топкими берегами; на поверхности воды плавали листья, похожих на кувшинки цветов, которые высывали свои фиолетовые лепестки из воды. Вскоре показалась пристань, а затем и большой дом вроде тех, каких много в Эльзасе, — он стоял на холме в окружении лимонных и апельсиновых деревьев. Навстречу Софии высыпал целый рой предупредительных негрятенок, они повели молодую женщину в отведенные ей на втором этаже покои; тут на стенах висели изящно выполненные старинные гравюры, они изображали события, которые произошли еще при старом режиме: осаду Намюра, украшение лавровым венком

бюста Вольтера, а также злосчастную семью Каласа²⁸⁵; рядом висели красивые морские пейзажи Тулона, Рошфора, острова Экс и Сен-Мало. Пока болтливые служанки раскладывали белье и развешивали платья по шкафам, София выглянула в окно: в сад, в котором было много розовых кустов, довольно скоро переходил в огород и плантацию сахарного тростника, а вокруг плотной стеной стоял тропический лес. Несколько амарантовых деревьев с высокими серебристыми стволами осеняло дорогу, по ее обочинам росли деревья мироксилон, мускатный орех и желтый перец.

Потекли часы тревожного ожидания; наконец к пристани подошла веселая шлюпка. В аллее, уже подернутой вечерними сумерками, показалась фигура человека в полувоенном костюме, сверкавшем золотыми нашивками и позументами; на голове у него красовалась треугольная шляпа с султаном из перьев. София поспешила в портик, не заметив второпях, что стадо черных свиней перед самым входом предавалось весьма приятному занятию: животные разрушали цветочные клумбы, вырывали с корнем тюльпаны и с веселым хрюканьем катались по недавно политой земле. Увидев, что дверь открыта, свиньи, толкая друг друга, устремились в дом, пачкая грязными боками и спинами платье Софии, которая, крича и размахивая руками, тщетно пыталась остановить их.

Виктор, вне себя от ярости, вбежал в дом:

— Почему им позволяют разгуливать по саду? Черт знает что такое!

Устремившись в гостиную, он выхватил саблю и принялся плашмя колотить ею свиней, которые норовили проскользнуть во внутренние комнаты и взобраться по лестнице на второй этаж. Со всех концов дома сбежались слуги, со двора спешили работавшие там негры; в конце концов наглых животных общими усилиями выдворили вон: под оглушительный визг свиней вытаскивали одну за другой, их волокли за уши, за хвост, пинали ногами. Все двери, ведущие на кухни и в другие служебные помещения, были заперты.

— Посмотри на себя, — обратился Виктор к Софии, когда суматоха, вызванная вторжением свиней, затихла. Показав на ее перепачканное платье, он прибавил: — Пойди переоденься, а я пока прикажу тут убрать...

Когда, поднявшись в свою комнату, София бросила взгляд в зеркало, она почувствовала себя глубоко несчастной и расплакалась при мысли о том, во что превратилась долгожданная встреча, встреча, о которой она столько мечтала в пути. Великолепный наряд, заказанный для этого случая, был измят, разорван, измазан и пропах навозом. Молодая женщина забросила свои башмаки в самый дальний угол и в бешенстве сорвала с ног чулки. Она вся пропиталась запахом свинарника, отбросов и нечистот. Софии пришлось крикнуть служанкам, чтобы они принесли несколько ведер воды, и она начала мыться, все время думая, как нелепо это несвоевременное купанье в столь неподходящий час. Было что-то смешное и унижительное в том, что плеск воды, конечно же, достигал ушей Виктора. Наконец, набросив на себя первое попавшееся платье, София, спотыкаясь и уже не думая о своей осанке, спустилась в гостиную, испытывая мучительную досаду, как актер, чей эффектный выход на сцену провалился. Виктор взял ее за руки и усадил рядом с собой. Он сменил свой блестящий костюм на просторное платье преуспевающего плантатора: надел белые

²⁸⁵ Жан Калас — французский протестант, казненный по ложному обвинению в убийстве собственного сына на религиозной почве.

панталоны, рубашку с широким отложным воротником и легкую холщовую куртку.

— Надеюсь, ты позволишь? — сказал он. — Тут я всегда хожу в такой одежде. Надо же когда-нибудь отдохнуть от всех этих перевязей и кокард.

Он осведомился об Эстебане. Он знал, что молодой человек уехал из Парамарибо, а стало быть, вернулся в Гавану. И, видно, желая рассказать о своей жизни после того, как он перестал управлять Гваделупой, Юг поведал ей обо всех перипетиях своей борьбы против Дефурно и Пеларди: в конце концов он был разоружен, арестован и насильно отправлен во Францию. В Париже он искусно защищался и развеял в прах все обвинения, выдвинутые против него Пеларди, так что в конечном счете консул Бонапарт, когда ему потребовался надежный человек для управления Кайенной, остановил свой выбор на нем, Викторе... К Югу вернулась былая словоохотливость, он все говорил и говорил, точно слишком долго сдерживался и теперь спешил излить душу. Касаясь некоторых подробностей своей нынешней жизни, он все время повторял проникновенным голосом: «Я это говорю только тебе, тебе одной. Больше я здесь никому не могу довериться». И он жаловался на то, что власть порабощает человека, говорил о связанных с нею разочарованиях и неприятностях, о невозможности иметь друзей, когда стоишь у кормила правления.

— Тебе, должно быть, передавали, — продолжал он, — что я был крут, очень крут на Гваделупе; и в Рошфоре тоже. Иначе я поступать не мог. О революции не рассуждают: *ее делают*.

Он говорил безостановочно и лишь время от времени на миг делал паузу, ожидая одобрения Софии в ответ на свои короткие вопросы: «Не так ли?», «Ты согласна?», «Как твое мнение?», «Ты это знала?», «Тебе говорили?», «У вас было об этом известно?». А она тем временем отмечала про себя, в чем он изменился. Виктор заметно располнел, но благодаря своей ширококостой фигуре казался не толстым, а мускулистым. Черты его несколько расплылись, но общее выражение лица стало более жестким. Кожа приобрела слегка землистый оттенок, однако он по-прежнему выглядел здоровым и крепким... Двери в столовую распахнулись: две служанки только что поставили канделябры на стол, где был сервирован холодный ужин; при взгляде на массивную серебряную посуду не оставалось сомнений, что она попала сюда с корабля, на котором плавали вице-король Мексики или Перу.

— Вы свободны до утра, — сказал Виктор негритянкам. И, смягчив голос, обратился к Софии: — А теперь расскажи о себе.

Однако молодая женщина тщетно перебирала в памяти события своей жизни за все эти годы, — она не могла припомнить ничего интересного, ничего достойного внимания. Рядом с бурной, полной опасностей жизнью Виктора, отмеченной встречами с самыми выдающимися людьми эпохи, ее собственное существование представлялось Софии жалким и бесцветным. Ее брат был всего лишь купец, а кузен оказался человеком, лишенным доблести, и сейчас, когда она воочию убеждалась в величии Виктора, отступничество Эстебана представлялось таким постыдным, что из жалости она предпочла бы о нем умолчать; история ее собственного брака также не делала Софии чести. Она посвятила себя служению пенатам, но не обрела в этом даже той радости, какую обретают, посвящая себя служению богу, монахини Авилы. Она ждала. И только. Проходили годы, монотонные, тусклые, ей даже праздник был не в праздник — да и что могло сказать рождество или крещение той, что верила в Великого зодчего, которого ведь не уложишь в деревянные ясли?

— Ну, что же ты? — спрашивал Виктор, чтобы подбодрить ее. — Ну, что же ты?

Однако необъяснимое, неодолимое упрямство не давало ей заговорить. Она пробовала улыбнуться; смотрела на пламя свечей — водила ногтем по скатерти; протягивала руку к бокалу, но так и не брала его.

— Ну, что же ты?

И вдруг Виктор вплотную придвинулся к ней. Огни свечей будто опрокинулись, тени их упали в угол, крепкие мужские руки обняли Софию за талию, стиснули, и молодую женщину вдруг затопила волна желаний, как в те уже далекие дни юности, когда она впервые познала страсть... Они возвратились к столу потные, растрепанные, шутливо подталкивая друг друга и смеясь над собой. И заговорили прежним языком, так, как говорили когда-то в порту Сантьяго, когда, пренебрегая низменным любопытством матросов, не обращая внимания на жару и дурные запахи, поднимавшиеся из трюма, встречались в узкой каюте под верхней палубой, где дощатые стены пахли, как и тут, свежим лаком. Ветер с побережья доносил в комнату дыхание моря. Слышно было, как струится вода возле расположенной поблизости плотины. Дом, точно корабль, рассекал волны листвы, с легким шумом бившейся в окна.

XLIV

София с изумлением открывала мир собственной чувственности. Ее руки, плечи, грудь, бедра, колени вдруг словно обрели дар речи. Теперь, когда она отдавалась мужчине, тело ее будто зажило новой, прекрасной и самостоятельной жизнью, оно было отныне послушно своим порывам и желаниям и не нуждалось в одобрении разума. Стан ее сладко замирал, когда на него ложилась сильная рука; кожа наполнялась трепетом, предчувствуя властное прикосновение. Даже волосы, которые она распускала в счастливые ночи любви, и те, казалось, жаждали *отдаться* тому, кто пропускал их сквозь свои пальцы. Она, не задумываясь, щедро дарила себя всю, без остатка, и постоянно думала: «Что еще я могу ему дать?» И тем не менее в часы страстных объятий, когда все ее существо точно преображалось, она с горечью чувствовала себя жалкой и нищей, так как не могла полной мерой заплатить за то, что сама получала; она была до краев переполнена нежностью, радостью, жизненной силой, но ее парализовала боязнь, что она не в состоянии отдарить того, кто сам делал ей столь богатые дары. Речь любовников возвращалась к своим исходным формам, к первозданным словам, к лепету, который предшествует поэзии, — так в древности люди возносили хвалу жаркому солнцу, реке, что поила вспаханную землю, зерну, упавшему в борозду, колосу, продолговатому, точно веретено пряжи. Слово возникало от прикосновения, и было оно так же ясно и просто, как породившее его действие. Жизнь их тел подчинялась ритму окружающей природы; начинался ли внезапно дождь, распускались ли ночью цветы, либо ветер вдруг менял направление, — когда бы это ни происходило, в них снова вспыхивало желание, они чувствовали себя обновленными и, сплетаясь в объятии, испытывали столь же острое волнение, как в тот раз, когда впервые познали друг друга. Словно бы ничто не изменилось, все вокруг оставалось прежним, но им все казалось иным. Сегодняшняя ночь, которая только еще медленно и нерешительно приближалась, не будет походить ни на вчерашнюю, ни на завтрашнюю, она принесет свои радости и свои восторги. Неподвластные ходу времени, по своей воле замедляя или убыстряя его бег, любовники были всецело поглощены самым важным для них делом — стремлением как можно глубже постичь

самих себя; вот почему то, что происходило вокруг и случайным образом проникало в их сознание, представлялось им неизменным, незыблемым: так бывало, когда приближалась гроза, когда за окном назойливо кричала птица или предутренний ветерок приносил запахи тропического леса. Часто то был лишь случайный порыв ветра, мимолетный шум, легкое дуновение, но они в это время забывали все, охваченные страстью либо погруженные в легкую дремоту — блаженный и сладостный покой, — и обоим казалось, будто так продолжалось всю ночь. У любовников часто было такое чувство, будто они долгие часы провели в объятиях друг друга под шум непогоды, который заставлял еще теснее сплетаться их тела, а проснувшись, они понимали, что ветер продолжался всего несколько минут и лишь слегка раскачивал ветви деревьев под окном...

Снова ощутив вкус повседневной жизни, София наконец-то ощутила себя полноценным человеком. Ей хотелось, чтобы все разделяли владевшую ею радость, удовлетворение и глубокий покой. Теперь, когда молодая женщина насытила голод плоти, она вновь возвращалась к людям, книгам, вещам, она испытывала душевную умиротворенность и поражалась тому, как *умудряет* физическая любовь. Софии приходилось слышать, что некоторые восточные секты видят в плотском наслаждении необходимый шаг к нравственному совершенствованию, и теперь она готова была в это поверить, замечая, как в ней самой крепнет такая способность к пониманию всего окружающего, о которой она даже и не подозревала. После долгих лет добровольного затворничества, когда она почти все время проводила в четырех стенах, среди привычных предметов и людей, ум ее устремлялся сейчас вовне, и все служило ей поводом для размышлений. Перечитывая некоторые классические произведения, в которых она прежде видела только собрание легенд и мифов, София теперь открывала для себя их первоначальный смысл. Ее не привлекали слишком цветистые сочинения современных авторов, чувствительные романы, которые так нравились тогда читателям, она обращалась к книгам, где в форме правдивого повествования или символической притчи была описана совместная жизнь мужчины и женщины во враждебном и полном опасностей мире. Теперь Софии была хорошо понятна тайна Копья и Чаши, которые до тех пор казались ей неясными символами. У молодой женщины возникло такое чувство, что она вновь приносит *пользу*, что жизнь ее приобрела наконец цель и смысл. Правда, пока еще она жила только настоящим; проходили дни, недели, а она лишь наслаждалась счастьем, не думая о будущем. Однако София не переставала мечтать о том, что придет день и она примет участие в великих событиях — рядом с человеком, с которым связала свою судьбу. Такая выдающаяся личность, как Виктор, думала она, не может долгое время стоять в стороне от важных событий, рано или поздно Юг примет в них участие. Разумеется, его поведение во многом зависит от того, что происходит в Европе, а новости, приходившие из Парижа, не предвещали больших перемен. События там сменялись с невероятной быстротой, и газеты, достигая Кайенны, безнадежно устаревали, — читая их сообщения, можно было ожидать, что все это уже опровергнуто дальнейшим ходом истории. Впрочем, Бонапарт был, видимо, мало расположен заниматься революционными преобразованиями в Америке, его внимание было поглощено более близкими ему задачами. Вот почему Виктор Юг уделял большую часть времени делам управления колонией; он руководил оросительными работами, строительством дорог, усиленно развивал торговые связи с Суринамом, добивался расцвета сельского хозяйства. Его правление признавали отеческим и разумным. Колонисты были

довольны. Благодаря усилиям Юга край процветал. В Кайенне давно уже отказались от системы декад и возвратились к привычному григорианскому календарю; правитель колонии приезжал в город в понедельник и возвращался в свое поместье в четверг или пятницу. София тем временем каждое утро уделяла несколько часов заботам о доме; она отдавала различные распоряжения, заказывала столярам мебель, заботилась о содержании сада — через посредство швейцарца Сигера, деятельного торгового агента, она получила из Парамарибо луковицы тюльпанов. Свободное время молодая женщина проводила в библиотеке, где среди скучнейших трактатов по фортификации и искусству кораблевождения, среди трудов по физике и астрономии она обнаружила много превосходных книг. Прошло несколько месяцев, а Виктор, приезжавший в конце каждой недели, так ни разу и не привез какого-либо известия, которое хоть в чем-нибудь могло нарушить мирную жизнь благоденствующей колонии.

Однажды в сентябре София решила наконец покинуть сельское уединение и приехала в Кайенну, чтобы сделать кое-какие покупки. В городе творилось что-то странное. Уже с самого рассвета пронзительно звонили все колокола в обители святого Павла Шартрского. К их голосу присоединялись голоса других колоколов, до тех пор никому не ведомых, колоколов, которые прятали на чердаках и на складах и в которые теперь били молотками, железными прутьями и даже подковами, так как колокола эти еще не были подвешены; звон доносился со всех концов города. С недавно прибывшего корабля на берег сходили священники и монахи. Казалось, самое необычное воинство веры обрушилось на город. Служители Христа шли прямо по мостовой в сутанах и широкополых шляпах, а прохожие приветствовали этих людей в черных, светло-коричневых, серых одеяниях и глазели на давно забытые атрибуты — четки, образки, нарамники и молитвенники. Некоторые священники на ходу благословляли горожан, высунувшихся из окон. Другие участники процессии, стараясь перекрыть шум, нестройно пели церковные гимны. Изумленная этим зрелищем, София поспешила в правительственную резиденцию, где она должна была встретиться с Виктором Югом. Но в его кабинете она застала одного только Сигера, который развалился в кресле, поставив неподалеку от себя бутылку тростниковой водки. Торговый агент с преувеличенной любезностью встретил молодую женщину и стал поспешно застегивать камзол.

— Как вам понравилось это нашествие служителей Христа, сударыня? В Кайенну прибыли священники для всех приходов! И монахи для всех лазаретов! Вернулись времена религиозных процессий! Ведь у нас теперь конкордат! Париж и Рим лобызуют друг друга! Французы опять становятся католиками. Сейчас в капелле Серых монахинь служат благодарственный молебен. Там вы можете полюбоваться на всех наших правительственных чиновников, они облачились в парадные мундиры и благоговейно склоняют головы, внимая церковной латыни: «*Preces nostrae, quaesumus, Domine, propitiatus admitte*»²⁸⁶. Подумать только, больше миллиона людей погибло ради того, чтобы разрушить религию, которую нынче возрождают!..

София вышла на улицу. С корабля, доставившего священников и монахинь, все еще сходили на пристань пассажиры и сразу же раскрывали большие красные и зеленые зонты; носильщики-негры пристраивали на голове тюки и чемоданы. Перед гостиницей Огара несколько священников сносили в одно место свои пожитки, вытирая вспотевшие лбы клетчатými платками. Внезапно произошло нечто

286 «Прими же благосклонно, господи, молитвы наши» (лат.).

неожиданное: два священника из парижской семинарии святого Сульпиция, которые сошли на берег последними, были встречены негодующими возгласами своих коллег.

— Изменники! Предатели! — слышались яростные крики. — Конституции присягали! — И при этих словах во вновь прибывших полетели подобранная в канавах кожура ананасов, камни и отбросы. — Вон отсюда! Ступайте спать в лес! Изменники! Конституции присягали!

Однако те не струсили и попытались войти в двери гостиницы, раздавая направо и налево тумачи и пинки; но их тут же окружила грозная толпа людей в черных одеяниях. Священников, присягавших на верность республиканской Конституции, прижали к стене, и они тщетно пытались опровергнуть обвинения, которые выкрикивали им в лицо «настоящие», «несмирившиеся» священники, те, кого конкордат неожиданно окружил ореолом истинных воинов Христа, ибо, гонимые и преследуемые, они сохраняли ему верность, служили тайные обедни и были достойными потомками первых диаконов из римских катакомб. На шум прибежали стражники и принялись прикладами разгонять служителей церкви. Порядок почти уже восстановили, как вдруг из расположенной поблизости мясной лавки вышел молодой священник с ведром, наполненным кровью только что зарезанного бычка; он выплеснул кровь прямо на отступников, так что на груди у них расплылись большие красные пятна; сгустки и брызги остро пахнувшей крови обагрили белый фасад здания. Снова оглушительно зазвонили колокола. Благодарственный молебен закончился, и Виктор Юг в сопровождении правительственных чиновников вышел в парадном облачении из капеллы Серых монахинь...

— Ну как, видала? — спросил он Софию, встретив ее в своей резиденции.

— Да это просто комедия, — ответила молодая женщина и рассказала ему о потасовке между служителями церкви.

— Я прикажу двум этим злополучным священникам возвратиться во Францию, здесь им жизни не будет.

— Мне кажется, ты бы должен выступить в их защиту, — сказала София. — Как-никак они тебе ближе остальных.

Виктор только пожал плечами.

— Во Франции и то ничего не хотят знать о священниках, приносивших присягу.

— От тебя несет ладаном, — отрезала София.

Они возвратились в поместье, причем в пути почти не разговаривали между собой. В доме их уже поджидали «супруги Бийо» (так София и Виктор называли Бийо-Варенна и Бригитту), которые явились еще в полдень со своим верным псом Пасьянсом. Они нередко, причем без предупреждения, навевались в гости и оставались в доме на несколько дней.

— Опять Филемон и Бавкида злоупотребляют вашим гостеприимством, — сказал Бийо, употребляя оборот, который не сходил у него с языка с той поры, как он начал жить со своей служанкой Бригиттой как с женою.

София заметила, что за последние месяцы влияние Бавкиды все сильнее ощущалось в доме Филемона. Необыкновенно смышленная негритянка окружала Бийо-Варенна подчеркнутым вниманием, которое проявлялось в том, что она бурно восторгалась всеми его словами и поступками. Люди, жившие на побережье по соседству с фермой Орвилье, приобретенной Бийо-Варенном, ненавидели бывшего председателя Национального Конвента, и с некоторых пор он был подвержен внезапным приступам душевной депрессии. Многие обитатели колонии с тайным

злорадством посылали ему парижские газеты, где все еще время от времени с ужасом и отвращением упоминалось его имя. В таких случаях Бийо-Варенн выходил из себя и кричал, что он жертва ужасающей клеветы, что никто не способен оценить роль, которую он сыграл в истории, что никто не сочувствует его страданиям. Видя слезы на глазах Бийо и его отчаяние, Бригитта неизменно произносила одну и ту же фразу, которая тотчас же его успокаивала: «Неужели, преодолев столько опасностей, ты, мой повелитель, станешь обращать внимание на то, что пишут эти шакалы?» При этих словах на лице Бийо появлялась улыбка. И в благодарность он позволял Бригитте безраздельно властвовать на их ферме; с прислугой она держала себя надменно, с поденщиками обращалась строго, все замечала, во все вмешивалась, обо всем заботилась, — словом, вела себя как владелица поместья и с большой ловкостью распоряжалась доходами... София застала Бригитту на кухне, где та командовала, как в собственном доме, торопя слуг, готовивших обед. Молодая негритянка надела самое лучшее из платьев, какие она могла достать в Кайенне, на ее запястьях сверкали золотые браслеты, а на пальцах — филигранные кольца.

— До чего же ты нынче хороша, дорогая! — воскликнула Бригитта, выпустив из рук большую деревянную ложку, которой она пробовала соус. — Понятно, что он любит тебя с каждым днем все больше и больше!

На лице Софии появилась легкая гримаса. Ей была неприятна фамильярность негритянки, которая уж слишком подчеркивала, что она, София, — любовница влиятельного человека.

— Что у нас на обед? — спросила она.

И хотя молодая женщина хорошо относилась к Бригитте, в голосе ее невольно прозвучали интонации хозяйки, обращающейся к своей кухарке... В гостиной Виктор уже успел рассказать Бийо-Варенну о конкордате и о том, что произошло утром в Кайенне.

— Только этого еще не хватало! — крикнул Бийо, сопровождая каждое слово, ударом кулака по столу с английской инкрустацией. — Скоро мы совсем увязнем в дерьме!

XLV

Точно гром среди ясного неба, грозный летний гром — предвестник циклонов, что бушуют под черными небесами и обрушиваются на города, — над всей областью Карибского моря пронеслась ужасная весть, и сразу же в ответ послышались вопли и взметнулись языки пламени: был обнародован закон от 30 флореаля X года Республики²⁸⁷, — он отменял декрет от 16 плювиоза II года Республики и вновь восстанавливал рабство во французских колониях Америки. Богатые плантаторы и землевладельцы бурно ликовали: новость достигла их ушей с непостижимой быстротой — она обогнала корабли, которые везли из Франции текст нового закона; и особенно их радовало то, что было решено вернуться к колониальной системе, существовавшей до 1789 года, и тем самым раз и навсегда покончить с «человеколюбивыми бреднями» ненавистной им революции. На Гваделупе, на

²⁸⁷ Закон этот был принят по инициативе Наполеона и отвечал интересам вест-индских плантаторов. Как раз в это время шурин Наполеона генерал Леклерк послан был на Гаити для ликвидации негритянской республики, созданной в годы революции.

островах Доминика и Мари-Галант новость была объявлена под орудийный салют и при свете бенгальских огней, а тысячи еще вчера «свободных граждан» палками и плетями были вновь загнаны в бараки, посажены под замок. «Белые начальники» прежних времен рыскали всюду со сворами свирепых собак в поисках своих бывших рабов: несчастных заковывали в цепи и приставляли к ним надсмотрщиков. Страх ненароком оказаться жертвами этой дикой охоты на людей был так велик, что многие вольноотпущенники, получившие свободу еще во времена монархии и теперь имевшие в своем владении лавки или небольшие участки земли, принялись распродавать имущество, с тем чтобы уехать в Париж. Однако почти никому из них не удалось осуществить свое намерение: 5 мессидора был опубликован новый декрет, воспрещавший въезд во Францию людям с цветной кожей. Бонапарт полагал, что в метрополии и так слишком много негров, он опасался, что дальнейший их приток может несколько разбавить европейскую кровь, и французы станут смуглее, «как случилось с испанцами после нашествия мавров»... Виктор Юг узнал о новом законе однажды утром, когда у него в кабинете сидел Сигер.

— Ну, теперь негры ударятся в бега, — сказал торговый агент.

— Мы не оставим им для этого времени, — возразил Юг.

И он тут же распорядился созвать владельцев ближайших поместий и офицеров, командовавших отрядами ополчения из белых поселенцев, на секретное совещание, которое должно было состояться на следующий день. Он задумал опередить события и обнародовать закон от 30 флореаля уже после того, как рабство будет восстановлено на деле... Когда план действий был разработан, плантаторы, у которых от нетерпения чесались руки, в радостном возбуждении стали ожидать наступления сумерек. Городские ворота были заперты, ближайшие поместья заняты войсками, и по сигналу, которым послужил раздавшийся в восемь часов вечера пушечный выстрел, все негры, освобожденные по декрету от 16 плювиоза, были окружены солдатами и прежними хозяевами и как пленники отведены на низкий ровный берег реки Маури. К полуночи там оказалось несколько сот негров: сбившись в кучу, дрожа от страха, они были в полной растерянности и никак не могли понять, зачем их сюда согнали. Каждого, кто пытался отделиться от потной и перепуганной толпы, возвращали назад пинками и прикладами. Наконец появился Виктор Юг. Взобравшись на бочку, откуда он был виден всем, агент Консульства при свете факелов медленно развернул бумагу с текстом нового закона и стал торжественно и неторопливо читать его. Те, кто стоял ближе и лучше слышал, принялись быстро переводить его слова на местное наречие, и ужасная весть, передаваясь из уст в уста, быстро достигла задних рядов. Затем неграм объявили, что те, кто откажется повиноваться прежним хозяевам, будут наказаны самым суровым образом. На следующий день владельцы вновь вступят в свои права и отправят принадлежащих им рабов в поместья, на плантации или оставят у себя в услужении. Те негры, которых хозяева не заберут, будут проданы с аукциона. Представители властей удалились под оглушительный грохот барабанов, а равнина огласилась громким плачем, отчаянным, безутешным, — в толпе рыдали все, и горестные стенания негров напоминали душераздирающий крик загнанных животных... Тем временем то тут, то там уже скользили и растворялись в ночи тени — люди искали убежища в густых зарослях, в тропическом лесу. Те, кто не стал жертвой первой облавы, спешили укрыться в чаще; негры похищали пироги, лодки и плыли вверх, против течения рек, — полуголые, безоружные, они твердо решили вернуться к образу жизни своих предков, обосновавшись в местах, недоступных белым.

Пробираясь или проплывая мимо удаленных от города поместий, они сообщали своим собратям страшную весть, и еще дюжина, а то и две негров бросали работу; они уходили с плантациями индиго и гвоздичных деревьев, умножая ряды беглецов. Сотни негров в сопровождении женщин и детей углублялись в мрачные непроходимые заросли, ища места, где можно было построить обнесенные крепким частоколом деревни. По пути они бросали семена девясилы в реки и ручьи, чтобы погубить рыбу, которая, разлагаясь, отравила бы воду. Надо было только переправиться через этот поток, перевалить через ту извергающую водопады гору, и снова возродится Африка: они припомнят забытый язык, вернуться к обряду обрезания и вновь станут поклоняться своим старым богам, гораздо более древним, нежели боги христиан... Заросли плотной стеною смыкались за неграми, которые возвращались к истокам своей истории, чтобы возродить те времена, когда миром правила богиня любви и плодородия с большими сосцами и необъятным чревом, — ей поклонялись в глубоких пещерах, где неуверенная рука человека впервые нацарапала на стенах сцены охоты и празднеств во славу светил... В Кайенне, Синнамари, Куру, на берегах Ойапока и Марони все жили в страхе. Непокорных и взбунтовавшихся негров забивали насмерть, их четвертовали, отрубали им головы, подвергали жесточайшим пыткам. Многих подвешивали за ребра на крючьях городских боен. Беспощадная охота на человека происходила повсеместно, стрелки хвастались своей меткостью, в пламени пожаров пылали хижины, возделанные поля. И в краю, где длинные ряды крестов отмечали могилы погибших здесь ссыльных, теперь на фоне освещенного заревом пожарищ закатного неба вырисовывались зловещие контуры виселиц или — что было еще страшнее — контуры густолиственных деревьев: на их ветвях гроздьями висели трупы, а на плечах у повешенных сидели прожорливые стервятники. Гвиана уже в который раз оправдывала свое прозвище «проклятой земли».

София только в пятницу узнала о том, что произошло еще во вторник; молодая женщина пришла в ужас. Все, что она надеялась найти здесь, в этом выдвинутом вперед бастионе новых идей, обернулось для нее страшным разочарованием. Она мечтала, что будет приносить пользу, живя среди мужественных, справедливых и твердых людей, забывших и думать о боге, так как они не нуждались в небесном союзнике и чувствовали себя в силах управлять миром, *их* миром; она надеялась принять участие в работе титанов, ее даже не пугало, что может пролиться человеческая кровь; но вместо этого у нее на глазах постепенно возрождалось все, что, казалось, было уничтожено, все, что, по мнению величайших писателей и философов эпохи, непременно следовало уничтожить. Теперь вслед за восстановлением храмов принялись заковывать в цепи прежних рабов. И люди, которые были в силах воспрепятствовать этому на Американском континенте, где еще можно было спасти то, что погибало по другую сторону океана, даже не пытались сохранить верность своим прежним идеалам. Человек, который изгнал английские войска с Гваделупы, который не отступил перед опасностью войны между Францией и Соединенными Штатами, теперь покорно склонил голову перед отвратительным законом от 30 флореаля. Восемь лет тому назад он выказал невероятную, почти нечеловеческую энергию, борясь за отмену рабства, а ныне с той же самой энергией восстанавливал рабство. Молодую женщину поражала противоречивость натуры Виктора, который с одинаковым хладнокровием мог вершить и добро и зло. Стало быть, он в равной мере способен быть и Ормуздом и Ариманом, способен править в царстве света и в царстве

мрака. Менялись времена, и вместе с ними тотчас же менялся он, отвергая сегодня то, что утверждал вчера.

— Можно подумать, будто я автор этого закона, — сказал Виктор, впервые выслушав от Софии множество жестоких упреков и, должно быть, испытывая некоторые угрызения совести, так как он отлично помнил, что во многом обязан своим возвышением великодушному декрету от 16 плювиоза II года Республики.

— Можно скорее подумать, что все вы отказываетесь продолжать дело революции, — отрезала София. — А ведь было время, когда вы утверждали, что принесете ее огонь на земли Америки.

— Видимо, я в ту пору был еще всецело проникнут идеями Бриссо, который хотел повсюду зажечь пламя революции. Но если уж ему, с его огромными возможностями, не удалось убедить в необходимости революции даже испанцев, то я тем более не собираюсь поднимать восстание в Лиме или в Новой Гранаде. Тот, кто имеет теперь право говорить от имени всех нас, — и он указал на портрет Бонапарта, с недавних пор стоявший на его письменном столе, — хорошо сказал: «Мы покончили с романом о революции; теперь пора начать ее историю и применять ее принципы только там, где это возможно и осуществимо».

— Весьма печально, что эту историю начинают с восстановления рабства, — заметила София.

— Я и сам сожалею об этом. Но я прежде всего политик. И если восстановление рабства вызывается политической необходимостью, мне надлежит склониться перед нею...

Спор между ними продолжался еще несколько дней; молодая женщина отстаивала все те же идеи, высказывала свое негодование, нетерпение и досаду в связи с постоянными уступками и соглашательством, умалявшими достоинство людей, в свое время совершивших революцию. Так продолжалось до самого воскресенья, когда приход Сигера прервал их язвительную беседу.

— Невероятно, но факт! — выкрикнул швейцарец с порога, подражая продавцу газет.

И торговый агент принялся медленно стаскивать с себя теплое пальто, вернее сказать, насквозь пропитанную потом старую меховую куртку с изъеденным молью воротником, куртку, которую он надевал во время дождей, — а в тот день шел проливной дождь, потоки воды неслись с плоскогорий или, быть может, с тех далеких вершин, где берут начало великие реки, оттуда, где скалистые громады сливаются с облаками, оттуда, где никогда не ступала нога человека.

— Невероятно, но факт, — повторил он, складывая огромный зеленый зонтик, казалось, сделанный из плотных листьев латука. — Бийо-Варенн покупает рабов. Он уже стал владельцем Катона, Фанфарона, Ипполита, Николя, Жозефа, Линдора, не считая трех негритянок для работы по дому. Мы делаем успехи, господа, мы определенно делаем успехи. Разумеется, у человека, который был в свое время председателем Конвента, недостатка в доводах не будет. «Я полностью убедился, — продолжал Сигер, подделываясь под высокопарный тон Бийо, — что негры рождаются со множеством пороков, что они лишены подлинного разума и чувства и слушаются только тогда, когда испытывают страх».

Швейцарец расхохотался, полагая, что ему удалось остроумно высмеять манеру, с которой изъяснялся человек, некогда бывший грозой окружающих.

— Хватит, — с явным раздражением оборвал его Виктор и потребовал у Сигера

какие-то планы, которые торговый агент тут же извлек из портфеля свиной кожи...

Вскоре, видимо в согласии с этими планами, в поместье начались Великие Труды. Сюда согнали сотни негров, и, подстегиваемые бичами, они принялись вспахивать, вскапывать, разрыхлять земли, отвоеванные на большом протяжении у тропического леса; другие тем временем рыли каналы и возводили насыпи. На отнятую у леса плодородную землю валили вековые деревья, в кронах которых ютилось столько птиц, обезьян, пресмыкающихся и насекомых, сколько изображают на символическом древе алхимии. Поверженные гиганты дымились, огонь пожирал их внутренности, и все же в некоторых местах он был не в силах одолеть кору; быки медленно двигались от этого кишевшего людьми поля сражения к недавно построенной лесопильне: они тащили по земле все еще пропитанные смолой и соками громадные стволы, у которых на свежих срезах вновь зеленели побеги; огромные пни цеплялись корнями за почву, и даже когда под ударами топора они расщеплялись, отдельные щупальцы все еще пытались за что-нибудь ухватиться. Повсюду виднелись языки пламени, со всех сторон доносились гулкие удары, раздавались подбадривающие возгласы и проклятья; лошади с натугой волокли поваленные деревья, и порою, дотянув до места тяжелый ствол кебрачо, они возвращались все в поту, бока у них лоснились, морда была в пене, упряжь — сбита набок, а ноздрями они почти касались взрытой копытами земли. Когда было заготовлено достаточно строительного материала, начали возводить леса: на бревнах, обтесанных мачете, возникали мостики и веранды, части каких-то еще непонятных сооружений. В одно прекрасное утро появлялся остов причудливой круглой галереи, в ней угадывалась будущая ротонда. К небу устремлялась башня, назначение которой пока еще трудно было понять, так как контуры ее едва намечались хитроумным пересечением балок и стропил. Немного дальше, стоя по пояс в воде, среди кувшинок, негры укладывали на дно реки камни, которые должны были служить фундаментом для пристани: они пронзительно вскрикивали от боли, когда в их ноги вонзался острый шип ската или же в пах впивались зубы мурены и челюсти ее смыкались, как капкан; иногда от удара электрического ската бедняги с воплями взвивались в воздух. Для будущих оград, парадных лестниц, акведуков, аркад пеоны обтесывали камни в ближайшей каменоломне, руки у них были в крови, а резцы и зубила покрывались зазубринами и щербинками после десятка ударов, так что их приходилось все время относить в кузницу. Повсюду валялись распорки и доски, балки и брусья, стояли лебедки, земля была усеяна болтами и скобами. Некуда было деваться от пыли, известки, опилок, песка и гравия. София никак не могла понять, для чего затеял Виктор все эти строительные работы, тем более что замыслы его менялись на ходу и он то и дело отступал от чертежей, которые торчали из всех его карманов, свернутые в трубку.

— Я одолею природу этого края, — говорил он. — Я воздвигну здесь статуи и колонны, проложу дороги, вырою пруды и напущу в них форелей.

Молодая женщина сожалела, что он тратит столько сил и энергии, тщетно пытаясь создать в сердце девственного тропического леса, который тянулся до самых истоков Амазонки, а быть может, и дальше — до самого побережья Тихого океана, некое подобие королевского парка, забывая, что статуи и ротонды будут поглощены густыми зарослями, если их хотя бы ненадолго оставят без присмотра: бесчисленные растения яростно набросятся на постройки, они днем и ночью станут точить камень, разрушать стены, крошить памятники, уничтожать все и вся. Человек стремился заявить о своем жалком присутствии в безбрежных зеленых просторах, тянувшихся от океана до

океана и как бы служивших прообразом вечности!

— Несколько рядок редиса доставили бы мне больше удовольствия, — говорила София, чтобы досадить новоявленному Строителю.

— Слышу знакомые речи из «Деревенского колдуна», — отвечал Виктор и опять углублялся в свои чертежи.

XLVI

Строительные работы продолжались, в воздухе висела густая пыль. Устав от стука кирок и скрежета пил, от скрипа лебедок, от грохота деревянных молотков, от шума, доносившегося со всех сторон, София укрылась в доме, где наконец-то появились шторы; не ограничиваясь этим, она завесила все окна шалями, загородила все щели ширмами и теперь чувствовала себя точно в крепости, так как поместье буквально наводнили стражники и часовые, — они стерегли разноязыкую толпу негров. Примостившись на переносной лесенке, растянувшись на ковре или присев на прохладный стол красного дерева, молодая женщина читала одну за другой книги из домашней библиотеки; она откладывала в сторону только ничего не говорившие ее сердцу научные трактаты по алгебре и геометрии, а также многочисленные гравюры и эстампы с аллегорическими изображениями различных наук: фигуры на них подпирали спинами какую-нибудь букву — «А» или «В» — и вписывались в чертеж, служивший основанием для доказательства теорем о движении светил или объяснявший необычайные электрические явления. Вот почему София была признательна молодому офицеру де Сент-Африк за то что он часто выписывал для нее новинки у известного парижского книгопродавца Бюиссона. Однако ничего особенно интересного из Франции в эти дни не поступало, если не считать некоторых книг о путешествиях — на Камчатку, на Филиппинские острова, к норвежским фиордам, в Мекку, рассказов о географических открытиях и кораблекрушениях; успех таких произведений, возможно, объяснялся тем, что всем уже давно наскучили сочинения, авторы которых вступали с кем-то в полемику, постоянно читали кому-то мораль, поучали и наставляли; люди были пресыщены бесчисленными опусами, где политические деятели защищали себя или даже пели себе дифирамбы, всевозможными мемуарами, «правдивыми» историями о тех или иных событиях, — словом, произведениями, в такой изобилии появлявшимися в последние годы. Молодую женщину отнюдь не занимали всевозможные колонны, горбатые мостики, переброшенные через искусственные речушки, маленькие храмы в манере Леду²⁸⁸, которые уже вырастали вокруг дома, но упорно не вписывались в окрестный пейзаж, — буйная и дикая растительность не сочеталась с архитектурными сооружениями, подчинявшимися закону строгих пропорций и линий; поэтому София охотно покидала мир действительности и мысленно плыла на борту корабля капитана Кука или Лаперуза, если только не следовала в это время за лордом Макартни в его путешествии по пустынным степям Татарии.

Сезон дождей, особенно благоприятный для чтения, миновал, и вновь наступила пора, когда так великолепны сумерки, опускающиеся на окутанную тайной далекую сельву. Но теперь эти сумерки казались молодой женщине слишком давящими. Ведь они приходили на смену дню, прожитому без смысла, без цели. Де Сент-Африк

²⁸⁸ Леду, Клод Никола (1736–1806) — французский архитектор, представитель классицизма.

рассказывал ей, что где-то там, в самом сердце непроходимых лесов, возвышаются дивные горы, с их склонов стремительно обрушиваются водопады. Но она знала, что туда не было дорог и что густые заросли теперь кишели озлобленными людьми, вернувшимися к первобытному образу жизни и поражавшими меткими стрелами всякого, кто отваживался проникать в чащу. Она так жаждала деятельной, полезной и полнокровной жизни, — и вот это стремление привело ее к затворническому существованию в кольце деревьев, обрекло на прозябание в забытой богом глуши, на самом краю планеты. Вокруг все говорили только о делах. Новая эпоха бурно, безжалостно и победоносно вторглась в Америку, которая все еще походила на Америку времен испанских вице-королей и наместников, и, казалось, толкала ее вперед; ныне те, кто олицетворял собою новую эпоху, кто, не страшась неизбежного кровопролития, упорно, настойчиво добивался ее утверждения, будто забыли свое славное прошлое и сидели, уткнувшись в счетные книги. Блестящие кокарды были отброшены, прежнее достоинство утрачено, люди, отступившиеся от своих дерзких, обширных замыслов, вели теперь мелкую игру. По словам некоторых, недавнее прошлое было отмечено недопустимыми эксцессами. Однако именно подобные эксцессы как раз и сохраняли на страницах истории память о тех, чьи имена уже казались теперь слишком блестящими для той жалкой роли, какую они стали ныне играть. Когда София слышала разговоры о том, что в любой день на Гвиану могут напасть Голландия или Англия, ей хотелось, чтобы это произошло скорее: быть может, суровое испытание вырвет пресыщенных людей из состояния дремоты, заставит их забыть о торговых сделках, богатом урожае и прибылях! В иных странах жизнь продолжалась, шла новыми путями, одних она низвергала, других возвеличивала, там изменялись моды и вкусы, нравы и обычаи, весь уклад. А тут все опять жили так, как полвека назад. Можно было подумать, что в мире ничего не произошло, — даже одежда богатых плантаторов напоминала сукном и покроем одежду, которую здесь носили сто лет тому назад. София вновь испытывала мучительное чувство — в свое время она его уже испытала, — ей вновь казалось, что время остановилось, что сегодняшней день в равной мере похож и на вчерашний и на завтрашний.

Подошло к концу лето, неторопливое, затяжное, не спешившее расстаться со зном до самого начала осени, которая, вероятно, также будет походить на прошлую и на будущую осень; но однажды, во вторник, удару колокола, сзывавшему негров на работу, ответило такое глубокое молчание, что стражники устремились к дощатым баракам с бичами в руках. Однако в помещениях никого не оказалось. Сторожевые псы были отравлены и, бездыханные, валялись на земле в кровавой пене и блевотине. Лошади лежали в конюшнях, уткнувшись мордами в ясли, животы у них раздулись, а из ноздрей сочилась кровь. Когда из хлева стали выводить коров, они, пошатываясь, как пьяные, прошли несколько шагов и тяжело рухнули на песок. Вскоре появились владельцы соседних поместий — там произошло то же самое. Воспользовавшись подземным ходом, вырытым ночами, осторожно разобрав перегородки и стены барачков, так что ни одна доска не скрипнула, устроив для отвлечения часовых несколько небольших пожаров, рабы ушли в тропический лес. И тут София вспомнила, что накануне ночью из густых зарослей доносилась далекая дробь барабанов. Однако никто не обратил на это внимания, все думали, что индейцы совершают какой-то варварский обряд. Виктор Юг находился в Кайенне, и к нему спешно снарядили гонца. К удивлению белых поселенцев, которые с наступлением темноты жили теперь в постоянном страхе и тревоге, ибо им всюду чудилась

опасность, прошла целая неделя, а между тем агент Консульства все не появлялся; но вот однажды под вечер на реке показалась невиданная флотилия из шлюпок, суденышек с неглубокой осадкой и легких парусных лодок, в которых разместились солдаты с грузом провианта и оружия. Направившись прямо в дом, Виктор вызвал к себе всех, кто мог что-либо рассказать о недавних событиях; слушая, он что-то записывал и все время сверялся с немногочисленными картами, которые были в его распоряжении. Затем Юг собрал офицеров и устроил нечто вроде военного совета, на котором объявил, что следует предпринять экспедицию против укрепленных деревень и беспощадно покарать беглых негров, во множестве рассеянных в чаще тропического леса. Стоя на пороге, София смотрела на этого человека, который и теперь говорил так же решительно и властно, как в былые дни: он отдавал ясные распоряжения, он хорошо знал, чего хочет, словом, он опять превратился в военачальника прежних лет. Однако ныне этот военачальник употреблял всю свою волю, всю вернувшуюся к нему отвагу на то, чтобы осуществить жестокое и презренное дело. У молодой женщины вырвался жест негодования, и она вышла в сад, где солдаты, не пожелавшие разместиться в бараках, в которых, по их словам, стоял негритянский дух, расставляли палатки и располагались на привал прямо под открытым небом. Солдаты эти сильно отличались от вялых и неповоротливых эльзасцев, которых София прежде видела в здешних местах. Их загорелые лица были исполосованы шрамами, они говорили хвастливо и громко, взглядами раздевали женщин — словом, отвечали полностью тому новому образцу воина, который, несмотря на присущую ему наглость, по-своему нравился Софии, так как ему были свойственны мужество и уверенность в себе. От молодого офицера де Сент-Африк, который встревожился, заметив ее в гуще солдат, и подошел, чтобы в случае чего защитить Софию от опасности, она узнала, что ее окружают наполеоновские воины, которые остались в живых после эпидемии чумы в Яффе и по окончании Египетской кампании были направлены в эту колонию, несмотря на то что еще не совсем оправались от тяжелых испытаний: дело в том, что их сочли более подходящими для климата Гвианы, нежели эльзасцев, которые мерли тут как мухи. И теперь София с изумлением смотрела на этих солдат, словно пришедших из легенды, солдат, которые спали в гробницах, испещренных иероглифами, развлекались с коптскими и маронитскими блудницами, хвастали тем, что знают Коран и что смеялись прямо в лицо богам с птичьими и шакальими головами, чьи статуи возвышались в храмах, украшенных колоннами. От этих людей веяло духом опасных приключений, они прибыли сюда с побережья Средиземного моря, из Абукира, из Аккры, с горы Фавор. София не уставала расспрашивать то одного, то другого о том, что они повидали, о чем думали во время невиданной военной экспедиции, которая привела французскую армию к подножию пирамид. Ей хотелось присесть рядом с ними и получить, как все они, порцию похлебки, которую повара разливали черпаками по мискам, хотелось своею рукой бросить игральные кости на натянутую кожу барабана, по которой они стучали, точно градины, хотелось отведать водки из солдатской фляжки, покрытой арабскими письменами.

— Вам не следует оставаться здесь, сударыня, — уговаривал молодую женщину де Сент-Африк, с некоторых пор ревностно игравший роль ее чичисбея. — Все они грубияны и забияки.

Однако София продолжала внимательно слушать приукрашенные рассказы о героических подвигах; она ясно чувствовала, что ее страстно желают, мысленно раздевают и ощупывают все эти солдаты, чудом спасшиеся от моровой язвы и теперь

расписывающие свою неустранимость для того, чтобы она сохранила в памяти их мужественные физиономии, но это ее не только не возмущало, а втайне даже льстило ей...

— Ты, кажется, решила стать маркитанткой? — зло спросил Виктор, когда она вернулась в дом.

— Маркитантки, по крайней мере, хоть что-то делают, — ответила София.

— Что-то делают! Что-то делают! Заладила одно и то же. Как будто человек может сделать больше того, что в его силах!..

Виктор уходил, возвращался, отдавал приказы, намечал план действий, диктовал инструкции о том, как доставлять боевые припасы и провиант карательной экспедиции, отправлявшейся по реке. София уже готова была восхититься его энергией, но тут же вспомнила, что под кровлей этого дома замышляют беспощадное истребление негров. Желая скрыть внезапный приступ гнева, она ушла к себе в комнату и разразилась там слезами. В саду солдаты египетской армии поджигали маленькие пирамиды, сложенные из сухих кокосовых орехов, стремясь отогнать москитов. Наступила ночь; тишину нарушали шум голосов, грубый смех, возня; а на рассвете громко запели сигнальные рожки. Флотилия из шлюпок, парусных суденышек и лодок начала подниматься вверх по реке, обходя водовороты и стремнины.

Прошло полтора месяца. И однажды вечером под шумный аккомпанемент дождя, лившего уже третьи сутки, к пристани причалило несколько лодок. Из них вышли на берег смертельно усталые солдаты, грязные и дрожащие от лихорадки; у некоторых руки были на перевязи, побуревшие от крови и тины бинты издавали зловоние. Других тащили на носилках — до такой степени они были изрешечены стрелами индейцев и изранены ножами негров. Последним сошел на берег Виктор, его бил озноб, он двигался, еле волоча ноги и обхватив за шею двух своих офицеров. Войдя в дом, Юг бессильно упал в кресло и потребовал, чтобы его поскорее укутали в одеяло, в два, в три одеяла! Но даже после того, как его старательно укрыли несколькими шерстяными одеялами и вигоневыми пледами, он все еще продолжал дрожать. София заметила, что глаза его покраснели и гноятся. Виктор с трудом проглатывал слюну, как будто горло у него распухло.

— Нет, это не война, — выговорил он под конец хриплым голосом. — Можно сражаться с людьми. Но не с деревьями.

Де Сент-Африк, зеленовато-бледные щеки которого поросли густой щетиной, сказал Софии, жадно осушив бутылку вина, которую она приказала ему подать:

— Полное поражение. В укрепленных деревнях не оказалось ни одного человека. Но мы то и дело попадали в засады, негры безнаказанно убивали наших солдат и тут же скрывались. Когда мы возвращались к реке и усаживались в лодки, с берега нас осыпали тучами стрел. Нам приходилось пробираться болотами, по пояс в воде. А ко всему еще вспыхнула египетская болезнь.

Молодой офицер объяснил, что солдаты, уцелевшие в Яффе во время чумы, привезли с собой какую-то загадочную болезнь, и эпидемия уже охватила добрую половину Европы, повсюду производя опустошения. Таинственный недуг походил на злокачественную лихорадку и сопровождался болью в суставах; жар медленно поднимался вверх, к голове, и разъедал глаза: глазное яблоко воспалялось, а веки набухали от гноя. Завтра лодки снова привезут больных и раненых — людей,

потерпевших поражение в битве с тропическим лесом, побежденных древним оружием: выточенные из костей обезьяны дротики, вырезанные из тростника стрелы, железные копья и крестьянские мачете одержали верх над артиллерией.

— В тропическом лесу вы стреляете из пушки и добываетесь только одного: сверху на вас обрушивается лавина подгнивших листьев, — закончил свой рассказ молодой офицер.

По размышлении было решено, что назавтра Виктора Юга перевезут в Кайенну вместе с тяжело ранеными офицерами и солдатами. София, довольная неудачей карательной экспедиции, собрала свои платья и сложила их в плетеные корзины, приятно пахнувшие вербеной; собираться ей помогал де Сент-Африк. У молодой женщины было такое чувство, что в этот дом она уже больше никогда не вернется.

XLVII

В Кайенне распространилась египетская болезнь. Лазарет святого Павла Шартрского уже не мог вместить больных. Все возносили молитвы святому Роху, святому Пруденцию и святому Карлу Борромейскому, к которым всегда обращались во времена чумы. Люди проклинали солдат, занесших сюда эту моровую язву, гнездившуюся прежде в каком-нибудь подземелье, где покоились мумии, в загадочном мире сфинксов и бальзамирощиков. Смерть воцарилась в городе. Она переходила из дома в дом, внезапное ее появление приводило всех в ужас и множило панические слухи, нелепые вымыслы. Говорили, будто солдаты египетской армии пришли в бешенство из-за того, что их отправили за пределы Франции, и задумали истребить население колонии, чтобы завладеть ею; утверждали, будто они готовят особые мази, снадобья и зелья, смешивают их с нечистотами, а затем мажут ими фасады домов, куда хотят занести заразу. На каждое пятно теперь смотрели с опаской. Если человек имел неосторожность прикоснуться жарким днем к стене и оставить на ней след вспотевшей ладони, прохожие забрасывали его камнями. Однажды утром люди, сторожившие труп, забили дубинками индейца только за то, что у него были черные жирные пальцы. Хотя врачи утверждали, что болезнь эта не похожа на чуму, все называли ее «моровой язвой из Яффы». Каждый считал, что рано или поздно он непременно заболеет, а потому роскошь шествовала рука об руку со страхом. Любая спальня была открыта всем и каждому. Близость смерти бросала мужчин и женщин в объятия друг к другу. В разгар эпидемии всюду устраивали балы и пиршества. Этот за одну ночь растрачивал деньги, накопленные за долгие годы злоупотреблений. Тот, в свое время именовавший себя якобинцем, что не мешало ему припрятывать золотые луидоры, спускал их теперь в карты. Огар потчевал тонкими винами богатых дам Гвианы, поджидавших в номерах гостиницы своих любовников. Погребальный звон колоколов сливался с грохотом оркестров, до утра игравших на праздниках и пирах; нередко приходилось убирать расставленные посреди улицы столы и скамьи, чтобы пропустить гробы, которые провозили на рассвете на тележках, двуколках и старых повозках, густо обмазанных дегтем. Две одержимые бесом монахини прелюбодействовали прямо на набережной, а старик акадиец, до такой степени исхудававший, что он походил теперь на скелет, грозно пророчествовал, словно новый Исайя или Иеремия, возглашая на городских площадях и перекрестках, что пришло время предстать перед божьим судом.

Виктор Юг, глаза которого закрывали плотные повязки, смоченные в настойке алтея, как слепой, бродил по комнате в своей резиденции, держась за спинки стульев, спотыкаясь, стелая и ощупывая предметы. София смотрела на него и видела, что он непривычно слаб, подавлен, пугается городского шума. Несмотря на сильный жар, он отказывался лежать в постели, боясь, что там скорее погрузится во мрак, еще более непроницаемый, нежели тот, на который его обрекали влажные повязки. Виктор прикасался к каждой вещи, попадавшей ему под руку, сжимал ее, взвешивал на ладони, словно это помогало ему чувствовать себя живым. Египетская болезнь прочно засела в его могучем теле, и оставалось только удивляться, с каким упорством организм борется с нею.

— Не хуже и не лучше, — неизменно повторял каждое утро врач, испробовав какое-либо новое лекарство.

Правительственную резиденцию оцепили солдаты, не допуская туда посторонних. В доме не осталось ни слуг, ни стражников, ни чиновников. Одна только София не покинула Облеченного Властью человека, который жаловался, что руки и ноги у него одеревенели, что его терзают мучительные боли и нестерпимая резь в глазах; они находились вдвоем в доме, все стены которого были оклеены эдиктами и правительственными распоряжениями, а по улице, мимо окон, тянулись погребальные дроги. «Они не умерли, но были сражены», — повторяла про себя молодая женщина вспомнившуюся ей строку из Лафонтена, стихи которого Виктор Юг читал вслух еще у них дома, в Гаване, обучая ее правильному французскому произношению. София понимала, что, оставаясь в этом доме, совершает крайнее безрассудство. Однако смело шла навстречу опасности, желая доказать этим преданность любви, в которой сама уже не была уверена. Видя, как напуган Юг, и сама не поддаваясь страху, она как бы вырастала в собственных глазах. Через неделю молодая женщина убедилась в том, что зараза ее не коснется. И ощутила гордость, почувствовала себя избранницей судьбы при мысли, что смерть, безраздельно царившая в городе, обошлась с нею милостиво.

Теперь в Кайенне возносили молитвы святому Себастьяну, словно уже боялись полагаться на заступничество лишь трех святых — Роха, Пруденция и Карла. «Dies irae, dies illa»²⁸⁹. Глубокое чувство вины, столь знакомое людям средневековья, охватило тех, кто слишком хорошо помнил о своем полном равнодушии к страданиям ссыльных, погибавших в Иракубо, Комамаме, Синна-мари, и старик акадиец, который всякий день напоминал об этом, был жестоко избит на улице палками. Виктор, все реже поднимавшийся с кресла, в котором он сидел с подавленным видом, точно слепой нашаривая предметы, заговорил языком, каким говорят умирающие:

— Пусть меня похоронят в одежде комиссара Конвента.

С этими словами он ощупью доставал из гардероба свое старое парадное платье и показывал его Софии. Затем набрасывал на плечи камзол и надевал поверх закрывавшей лоб повязки шляпу, украшенную перьями.

— Почти десять лет я полагал себя хозяином собственной судьбы, а на самом деле, послушный воле других, *тех*, кто нас возносит или ниспровергает, хотя мы даже не подозреваем об этом, выступал в таких различных ролях, что даже не знаю толком, какая из них мне больше всего подходила. Я носил столько разных одежд, что даже не знаю, какая из них была мне по-настоящему впору. — Сделав заметное усилие, Юг при этих словах выпячивал грудь, в которой слышались хрипы. — Но один из

²⁸⁹ «День гнева, тот день» (лат.).

костюмов я предпочитаю всем остальным, вот этот. Мне даровал его единственный человек, которого я ставил выше себя. Когда его низвергли, я утратил душевное равновесие. С тех пор я будто потерял самого себя. Я уподобился тем механическим куклам, которых заводят ключом, и они ходят, играют в шахматы, исполняют мелодии на флейте, бьют в барабаны. Одной только роли мне не хватало — роли слепца. И вот я превратился в слепца. — Понизив голос и загибая пальцы, Юг прибавлял: — Булочник, негоциант, масон, противник масонов, якобинец, полководец, мятежник, узник, освобожденный теми, кто убил человека, возвысившего меня, агент Директории, агент Консульства...

Ему уже не хватало пальцев, а он все перечислял, потом его речь переходила в невнятное бормотание. Несмотря на болезнь и повязки на глазах, Виктор, облачаясь в камзол комиссара Конвента, вновь начинал чем-то походить на того еще молодого, энергичного и полного сил человека, который однажды поздним вечером подошел к дверям некоего почтенного дома в Гаване, и дом этот тотчас же наполнился грохотом дверных молотков. Казалось, он на время опять превращался в прежнего Юга, в такого, каким был, пока не сделался правителем — алчным и ни во что не верящим; теперь, ощутив могильный холод, он готов был отказаться от своих уже ненужных богатств, от суетных почестей и говорил языком проповедника на панихиде.

— Красивый был наряд, — замечала София, разглаживая перья на шляпе.

— Но он уже вышел из моды, — отзывался Виктор. — И теперь годится разве только на саван.

Однажды врач решил испробовать новое средство, которое в Париже производило настоящие чудеса при лечении глаз, пораженных египетской болезнью: к векам надо было прикладывать тонкие ломтики свежей, кровоточащей телятины.

— У тебя вид цареубийцы из античной трагедии, — вырвалось у Софии, когда Виктор вышел из спальни, где ему только что наложили повязку; молодая женщина невольно подумала об Эдипе.

Жалость к Югу внезапно умерла в ее сердце.

На следующее утро лихорадка отпустила Виктора; желая подкрепить силы, он выпил бокал вина. С его глаз сняли повязки, убрали ломтики кровавого мяса, и София увидела, что на лице Юга не осталось никаких следов болезни. Вид у него был растерянный, как будто красота мира ослепила его. Вырвавшись из оков мрака, в котором он так долго жил, Виктор ходил по комнатам своей резиденции; ему хотелось бегать, прыгать от радости. Он смотрел на деревья, на ползучие растения, на кошек, на все, что его окружало, с таким видом, будто все сущее только недавно возникло и ему, как Адаму, предстояло дать названия вещам. В городе египетская болезнь уносила свои последние жертвы, и несчастных поспешно отвозили на кладбище, где их хоронили без колокольного звона и погребальных церемоний. Отслужили благодарственные молебны во славу святых — Роха, Пруденция, Карла и Себастьяна, а некоторые нечестивцы, уже успевшие позабыть о своих просьбах и молитвах, с усмешкой говорили, что гораздо важнее было носить на шее связку чеснока, чем возносить моления святым. В гавань вошли два корабля, встреченные приветственным залпом береговых батарей.

— Ты была великолепна, — сказал Виктор Софии и распорядился приготовить все для возвращения в усадьбу.

Но молодая женщина, отведя глаза, взяла со стола книгу о путешествии в Аравию, которую она читала в последние дни, и показала ему фразу, взятую из текста Корана:

«Чума произвела опустошения в Девардане, граде Иудеи. Большая часть жителей обратилась в бегство. Господь сказал им: „Умрите“. И они умерли. Несколько лет спустя, склонясь на мольбы Иезекииля, он воскресил их. *Однако у всех на лицах сохранилась печать смерти*».

Она сделала паузу.

— Я устала жить среди мертвецов. Пусть страшная болезнь оставила город, но отныне все вы носите печать смерти на лице.

Молодая женщина все говорила, говорила, повернувшись спиной к Виктору; ее темный силуэт вырисовывался в освещенном прямоугольнике окна; наконец она сообщила ему о том, что решила уехать.

— Хочешь возвратиться в свой дом? — растерянно спросил Юг.

— Никогда я не возвращусь в дом, который покинула в поисках лучшего.

— А где же находится лучший дом, куда ты ныне стремишься?

— Не знаю. Там, где люди живут иначе. Здесь ото всего разит мертвечиной. Я хочу возвратиться в мир живых, тех, кто еще во что-то верит. Я ничего не жду от людей, которые и сами уже ничего не ждут.

Правительственная резиденция вновь наполнилась слугами, стражниками, чиновниками, они вновь принялись за свою обычную работу — мыли, скребли, исполняли приказы. Занавеси на окнах были раздвинуты, в комнату вливались солнечные лучи, в которых плавали мириады пылинок, поднимавшихся к окнам, образуя наклонные столбы.

— Сейчас, — снова заговорила София, — ты предпримешь вторую карательную экспедицию против беглых негров в тропическом лесу. Иначе быть не может. Того требует твой пост. Не зря же ты облечен властью. Но я этого видеть больше не хочу.

— Революция многих преобразила, — заметил Виктор.

— Быть может, самое лучшее в революции — именно то, что она многих преобразила, — отозвалась София и стала снимать с вешалки свои платья. — Я теперь хотя бы знаю, что мне следует отвергать, а что — принимать.

Еще один корабль — третий в то утро — был встречен приветственным залпом береговых батарей.

— Можно подумать, что они пришли за мной, — заметила София.

Виктор с размаху ударил кулаком по стене.

— Собирай скорее свои тряпки и убирайся на все четыре стороны! — взревел он.

— Спасибо, — спокойно ответила София. — Предпочитаю видеть тебя таким.

Схватив молодую женщину за руки, Юг грубо потащил ее через всю комнату, до боли сжимая ей кисти; оказавшись возле кровати, он резким толчком повалил Софию. И сам повалился следом, изо всех сил сжимая ее в объятиях; она не сопротивлялась: лежала холодная, неподвижная, далекая, казалось, она согласна на все, только бы поскорее избавиться от него. Юг смотрел на нее так же, как много раз смотрел в такие минуты, глаза его были столь близко от ее глаз, что их блеск будто сливался. София медленно отвернула лицо.

— Да, пожалуй, тебе лучше уехать, — проговорил Виктор, отодвигаясь.

Он все еще тяжело дышал; он не обрел ожидаемой радости, и глубокая печаль овладела им.

— Не забудь приготовить для меня пропуск, — невозмутимо сказала София и, соскользнув с другого края кровати, подошла к письменному столу, где хранилась гербовая бумага. — Постой! — воскликнула она. — Чернила высохли.

Она поправила чулки, разгладила измятое платье, достала пузырек с чернилами, обмакнула перо и подала его Виктору. А затем опять начала снимать платье с вешалки, искоса поглядывая на Юга, который яростно что-то писал.

— Это все? — спросил Виктор. — Больше нам ничего не остается?

— Отчего же. Нам остаются образы минувшего, — ответила София.

Агент Консульства пошел к дверям. На пороге он оглянулся — на лице его блуждала вымученная улыбка, призывавшая к примирению.

— Едешь со мной?

Ответом ему было молчание.

— В таком случае, доброго пути!

И шаги Юга гулко застучали по лестнице. Внизу его ждал экипаж, он должен был отвезти Виктора на пристань... София осталась одна, вокруг была разбросана ее одежда. Среди атласа и кружев выделялся костюм комиссара Конвента, который Виктор не раз показывал ей в дни своей слепоты. Он покоился на кресле с порванной обивкой: панталоны свисали вниз, камзол был перехвачен трехцветной перевязью, а шляпа с перьями лежала на панталонах, как на бедре; пышный этот наряд походил на семейную реликвию; он как будто еще сохранял контуры человеческого тела и напоминал об отсутствующем владельце, который в свое время играл видную роль. Теперь в городах Европы стали выставлять напоказ одежды выдающихся деятелей прошлого. Мир неузнаваемо переменялся; прежде рассказчики начинали свое повествование словами: «Жил да был когда-то», а теперь вместо того говорили: «Это случилось до революции», или: «Это случилось после революции», — и, должно быть, потому люди охотно посещали музеи.

В тот вечер, словно желая быстрее освоиться с положением одинокой женщины, София отдалась молодому офицеру де Сент-Африк, который, как Вертер, боготворил ее с того самого дня, когда она приехала в Кайенну. Она вновь становилась госпожой своего тела и, по собственной воле сходясь с мужчиной, окончательно высвобождалась из-под длительной власти Юга... Она познает крепкие объятия другого человека, а в среду на следующей неделе взойдет на борт корабля, который доставит ее в Бордо.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

И вот большой ветер охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.

Книга Иова, I, 19

XLVIII

Приезжий высвободил заочневшую руку из-под наброшенного на плечи шотландского пледа и поднял тяжелый дверной молоток с изображением бога — повелителя вод, висевший у парадного входа в особняк на улице Фуэнкарраль; в эту минуту до его ушей донесся звон гитар и ритмичный стук каблуков, от которого сотрясался пол второго этажа. Хотя удар молотка, должно быть, прозвучал в доме как выстрел из мушкета, шум на втором этаже только усилился, а ко всему еще послышался надтреснутый голос регента церковного хора — он тщетно пытался воспроизвести мелодию известной «Песенки контрабандиста». Однако приезжий, чью

руку обжигала заиндевелая бронза, продолжал громко колотить в дверь и одновременно с такой силой ударял обутой в теплый сапог ногою по створке, что на каменное крыльцо сыпались мелкие льдинки. Наконец створка двери со скрипом приоткрылась, и слуга, от которого сильно разило вином, поднес светильник к самому лицу приезжего. Заметив, что лицо это как две капли воды походит на лицо человека с портрета, висевшего в гостиной, перепуганный лакей поспешил впустить некстати пожаловавшего гостя, рассыпаясь в извинениях и что-то сбивчиво объясняя. Он никак не ждал, что сеньор так быстро доедет; если бы он только мог это предвидеть, то уж непременно бы встретил сеньора на почтовой станции. Ведь нынче Новый год, праздник святого Мануэля — а его как раз зовут Мануэль, — и вот его знакомые, люди вполне порядочные, хотя и немного шумные, без приглашения явились в дом, когда он уже укладывался спать, помолившись перед тем богу и попросив охранить в дороге сеньора от всякой напасти; не слушая никаких уговоров, они принялись петь, плясать да пить вино, «которое принесли с собою», можете не сомневаться, «принесли с собою». Пусть сеньор обождет несколько минут, а уж он, Мануэль, мигом спровадит всю эту шатию через черный ход... Отстранив слугу, приезжий поднялся по широкой лестнице и вошел в гостиную. Всю мебель тут сдвинули в угол, ковер свернули и прислонили к стене; веселье было в полном разгаре: расфранченные девицы из простонародья лихо отплясывали со своими кавалерами, лица которых не внушали большого доверия; эти молодые люди осушали большие стаканы вина и, не задумываясь, сплевывали на пол. По углам валялись пустые бутылки и фляги — свидетельство того, что пирушка была в самом разгаре. Разбитная красotka капризно требовала жареных каштанов, которых, видимо, не было; другая, развалившись на диване, во все горло распевала популярную песенку; чуть подальше какой-то молодчик тискал девицу; несколько изрядно захмелевших гостей окружили слепца, который прочищал горло и пробовал голос, готовясь спеть андалузскую песню.

— Вон отсюда! — крикнул слуга.

И гости, поняв, что закутанный в шотландские пледы приезжий — важная особа, бросились вниз по лестнице, прихватив с собой недопитые бутылки. Все еще бормоча бессвязные извинения, лакей принялся поспешно расставлять мебель по местам, вновь расстелил ковер и поторопился унести пустые бутылки. Он подбросил несколько поленьев в огонь, уже, видимо, давно пылавший в камине, и, вооружась шваброй, метелочками и тряпками, стал усердно уничтожать следы пирушки, оставшиеся на креслах, на полу и даже на залитой вином крышке фортепьяно.

— Они все люди порядочные, — бубнил слуга. — Никто и булавки не унесет. Только необразованные. Ведь у нас не так, как в других краях, там с детства приучают к уважению...

Освободившись наконец от всех своих пледов, приезжий подсел к огню и потребовал бутылку вина. Когда ее поставили на стол, он сразу же понял, что пирующие угощались точно таким же вином. Однако он не подал вида, и взгляд его устремился на картину, несомненно очень хорошо ему знакомую. Это было полотно, изображавшее взрыв в кафедральном соборе, полотно, в свое время сильно поврежденное: разорванный холст был кое-как подклеен, но след остался. В сопровождении лакея, который держал в вытянутой руке большой канделябр с новыми свечами, приезжий направился в соседнюю комнату. Это была библиотека. В простенке, не занятом книжными полками, висел щит с оружием в окружении шлемов и шишаков итальянской работы; не все оружие оказалось на месте, и отсутствовавшие

предметы были сорваны, видимо, в спешке, так как крюки, на которых они висели, погнулись. По обе стороны узкого столика стояли два больших кресла, на столе лежала раскрытая книга, а рядом виселся недопитый бокал с малагой: вино высохло, но на стекле сохранился темный осадок.

— Как я уже имел честь писать вам, сударь, здесь все осталось, как прежде, — сказал слуга, открывая другую дверь.

Теперь они очутились в дамской спальне, хозяйка которой, видимо, ничего не успела прибрать после сна. Простыни были измяты, и нетрудно было догадаться, что женщина, одеваясь, очень спешила: ее ночная сорочка валялась на полу, а на кровати лежала груда вынутых из гардероба платьев — должно быть, не хватало только того, которое она надела.

— Платье было табачного цвета, с кружевами, — пояснил слуга.

Мужчины вышли в широкую галерею, оконные стекла которой побелели снаружи от инея.

— А это его комната, — сказал лакей, доставая из кармана ключ.

Глазам чужестранца предстало узкое помещение, обставленное строго и скромно; единственным украшением комнаты служил ковер, висевший на стене против кровати: на нем был выткан оркестр обезьян, которые с комическими ужимками играли на клавикордах, виолах, флейтах и корнетах. На ночном столике виднелись пузырьки с лекарствами, кувшин для воды и ложка.

— Воду пришлось вылить, потому что она протухла, — сказал слуга.

Тут царили чистота и порядок, какие бывают только у военных.

— Сеньор всегда сам убирал постель и развешивал свою одежду, — снова заговорил слуга. — Он не любил, чтобы к нему заходила прислуга, даже когда болел.

Они возвратились в гостиную.

— Расскажи мне обо всем, что произошло в тот день, — потребовал приезжий.

Однако повествование оказалось малоинтересным, хотя слуга не скупился на подробности, стараясь заставить ночного гостя поскорее забыть и о пирушке, и о выпитом вине; время от времени лакей отвлекался и начинал пышно расхваливать доброту, великодушие и благородство своих господ. Почти все, что услышал теперь приезжий, ему уже было известно из письма, присланного слугою и написанного рукой нанятого писца, который недостаток точных сведений восполнял собственными домыслами; они, пожалуй, объясняли больше, чем немногочисленные факты, сохранившиеся в памяти лакея, в сущности мало осведомленного. В то утро захваченные всеобщим возбуждением слуги покинули кухни, прачечные, конюшни, кладовые и присоединились к толпе, уже заполнившей улицы. Позднее некоторые из них вернулись, другие — нет... Приезжий спросил перо и бумагу и принялся старательно записывать имена тех, кто по той или иной причине сталкивался с хозяевами дома; его интересовали все: врачи, поставщики, парикмахеры, портнихи, книготорговцы, обойщики, аптекари, парфюмеры, лавочники и ремесленники; он не пренебрег даже тем обстоятельством, что некая продавщица вееров часто приходила сюда со своим товаром, а цирюльник, чье заведение помещалось по соседству, отлично знал жизнь и привычки всех, кто проживал на улице Фуэнкарраль за последние двадцать лет.

Вот как все это произошло.

Гойя

Из того, что Карлос узнал в соседних лавках и мастерских, из того, что он услышал

в ближнем кабаке, где водка многим развязала языки, из того, что ему рассказали люди самых различных сословий и состояний, в его голове постепенно сложилась собранная по крохам история, в которой оставалось немало пробелов и неясных мест, — так, собирая разрозненные фрагменты, воссоздают, хотя и не полностью, древнюю летопись...

Дом графини де Аркос, — рассказал Карлосу некий нотариус, который, сам того не подозревая, выступал в роли автора своеобразного введения к сборнику объединенных общим сюжетом небольших историй, — долгое время пустовал, ибо в нем несколько лет назад стали появляться призраки и привидения, о чем было широко известно всей округе. Шло время, а красивое здание оставалось необитаемым из-за связанных с ним страшных слухов, так что торговцы квартала с тоскою вспоминали о тех уже далеких днях, когда прежние хозяева устраивали балы и званые вечера, тратя большие деньги на покупку украшений, свечей, изысканных яств и тонких вин. Вот почему, когда однажды вечером окна этого дома осветились, все окрестные жители приветствовали столь приятное событие. Соседи подошли ближе и с любопытством наблюдали за тем, как слуги ходили взад и вперед из каретных сараев на чердак и обратно, перетаскивая баулы, дорожные сундуки, узлы, подвешивая к потолкам новые люстры. На следующий день появились штукатуры, маляры, обойщики со своими лестницами и помостами. В комнаты ворвался свежий ветер, он прогнал воспоминания о колдунах и чародеях. Светлые занавеси придали гостиным веселый и нарядный вид; конюх в ливрее привел в конюшню двух великолепных рысаков, и там снова вкусно пахло сеном, овсом, люцерной. А позднее стало известно, что какая-то богатая креолка, нимало не испугавшись духов и домовых, сняла этот особняк...

Дальше хронике продолжала продавщица кружев с Калье-Майор. Даму, арендовавшую дом графини де Аркос, вскоре все стали называть «Кубинкой». Это была красивая женщина с большими темными глазами, она жила одна, никого не принимала и не старалась завязать отношения ни с жителями столицы, ни с придворными. Взор ее был постоянно омрачен какой-то заботой, но тем не менее она не искала утешения в вере, никто ни разу не видел ее в церкви. Судя по количеству слуг и по тому, что дом был поставлен на широкую ногу, дама была богата. И все же одевалась она строго; правда, покупая кружева или выбирая материю, она неизменно просила самое лучшее и никогда не останавливалась перед ценою... Ничего больше торговка кружевами рассказать не могла, и наступил черед Пако, отменного гитариста и цирюльника, чье заведение служило чем-то вроде клуба для обитателей квартала. По его словам, Кубинка приехала в Мадрид по весьма деликатному делу: она хлопотала о помиловании своего кузена, который уже несколько лет томился на каторге в Сеуте. Говорили, что кузен этот был франкмасон и готовил заговоры в испанских владениях Америки. Утверждали, что он сторонник французов и разделяет идеи революции, что он печатал крамольные сочинения и песенки, которые грозили подорвать власть короля в заморских колониях. Сама Кубинка тоже походила на заговорщицу и атеистку, если иметь в виду ее замкнутый образ жизни и то, с каким равнодушием относилась она к религиозным процессиям: когда мимо дома проносили распятие и святые дары, ей даже в голову не приходило выглянуть из окна. Некоторые уверяли, будто в бывшем доме графини де Аркос воздвигали нечестивые колонны масонской ложи и служили черные мессы. Однако полиция, прослышав об этих толках, на протяжении нескольких недель тайно следила за домом и пришла к заключению, что там не могли происходить никакие сборища — ни заговорщиков, ни нечестивцев, ни

франкмасонов — по той причине, что туда вообще никто не приходил. Дом графини де Аркос, некогда окруженный атмосферой тайны из-за появлявшихся там призраков и привидений, продолжал оставаться таинственным местом и теперь, после того как в нем поселилась красивая чужестранка. На даму эту заглядывались все мужчины в тех редких случаях, когда она шла пешком в ближайшую лавку или же в канун рождества отправлялась на Пласа-Майор купить толедский марципан...

Затем следовал рассказ старого доктора, который одно время часто посещал дом графини де Аркос. Он пользовал там мужчину крепкого сложения, чье здоровье было, однако, сильно подорвано пребыванием в Сеуте: человек этот незадолго перед тем возвратился с каторги, так как был помилован королем. На его ногах еще виднелись следы кандалов. Он страдал от перемежающейся лихорадки, а иногда и от астмы, которой болел еще с детства; правда, во время приступов ему становилось легче, если он курил небольшие сигары, свернутые из листьев дурмана, — их выписывал с Кубы аптекарь из квартала Трибулете. В результате умелого лечения больной окреп, силы его постепенно восстановились. И врача больше не приглашали в дом графини де Аркос... Теперь рассказывал книгопродавец. Эстебан и слышать не хотел о философии, о трудах экономистов, о сочинениях, где речь шла об истории Европы последних лет. Он читал книги о путешествиях; песни Оссиана²⁹⁰; повесть о страданиях юного Вертера; новые переводы Шекспира. Книгопродавец вспомнил, что клиент пришел в восторг от «Гения христианства»²⁹¹; молодой человек назвал эту книгу «в высшей степени необыкновенной», попросил переплести ее в бархат и приделать маленькую золотую застежку, какие обычно прилаживают, когда хотят сохранить в тайне свои заметки на полях.

Карлос читал книгу Шатобриана и никак не мог уразуметь, почему Эстебан, не веривший в бога, выказал такой интерес к сочинению, лишенному цельности, местами путаному и, во всяком случае, малоубедительному для всякого, в ком не жила глубокая вера. Он принялся искать эту книгу и в конце концов обнаружил один из ее пяти томов в комнате у Софии. Перелистывая том, Карлос с удивлением обнаружил, что во второй части произведения в этом издании содержалась романтическая повесть под названием «Рене», которая отсутствовала в позднейшем издании, сравнительно недавно полученном в Гаване. Большинство страниц в книге не содержали никаких пометок, ни одно слово там не было подчеркнуто, но отдельные фразы и абзацы кто-то обвел красными чернилами: «Жизнь эта, которая поначалу восхищала меня, уже вскоре сделалась нестерпимой. Одни и те же сцены, одни и те же идеи прискучили мне. Я принялся изучать собственное сердце и вопрошать себя, чего же я хочу...», «Не имея ни родных, ни друзей и, можно сказать, еще ни разу никого не любив на этой земле, я тяготился жизнью, бывшей во мне ключом... Я спускался в долину, я поднимался на гору и всеми силами души стремился к идеальному предмету моих будущих пламенных желаний...», «А теперь вообразите, что она была единственной женщиной в мире, которую я когда-либо любил, что все мои чувства были сосредоточены на ней и они были неотделимы от горестных воспоминаний моего детства...», «Движимая жалостью, она пришла ко мне...» Подозрение невольно

²⁹⁰ *Песни Оссиана* — литературные мистификации шотландского поэта Джемса Макферсона. В 1762–1763 гг. он выпустил в свет «переводы» древних гэльских песен, якобы принадлежащих ирландскому барду III в. Оссиану. Долгое время в Европе эти песни считались подлинными.

²⁹¹ «Гений христианства» — произведение французского писателя Франсуа-Рене Шатобриана (1768–1848).

зародилось в душе Карлоса. И он решил подробно расспросить горничную, которая одно время служила у Софии; остерегаясь обнаружить слишком уж явный интерес к столь деликатному делу, он задавал ей туманные вопросы, надеясь, что девушка, быть может, сама сделает какое-либо признание. Не могло быть сомнений в том, что София и Эстебан испытывали друг к другу глубокую привязанность, между ними существовали ровные и нежные отношения. В холодные зимние дни, когда замерзали даже фонтаны Ретиро, они обедали вдвоем у нее в комнате, придвинув кресла поближе к огню. А летом совершали долгие прогулки в экипаже, останавливаясь только для того, чтобы выпить прямо на улице стакан прохладного оршада. Иногда их встречали на ярмарке Сан-Исидро, где они развлекались зрелищем народного гулянья. Они всегда держались за руки, точно брат и сестра. Не было случая, чтобы они ссорились или даже громко спорили. Такого ни разу не случилось. Он неизменно называл ее по имени, и она всегда говорила ему: «Эстебан». И никогда злые языки — а они ведь всегда найдутся среди прислуги — не осмеливались намекать, будто между ними существует слишком уж нежная близость. Нет, нет. Во всяком случае, никто ничего такого не замечал. Когда, заболев, он проводил ночи без сна, она нередко просиживала у его изголовья до самой зари. А вообще-то они были как брат и сестра. Одно только удивляло людей: почему такая красивая женщина не хочет выходить замуж, ведь пожелай она только, и у нее бы не было отбоя от самых завидных женихов...

«Бывает, что никак невозможно доискаться истины, — думал Карлос, перечитывая фразы, подчеркнутые в книге, переплетенной в красный бархат, и понимая, что толковать их можно самым различным образом. — Араб сказал бы, что я только даром теряю время, как теряет его тот, кто ищет след птицы в воздухе или рыбы в воде». Теперь оставалось только восстановить события последнего дня, того дня, когда две жизни словно растворились в гуще грозных и кровавых событий. Лишь одна свидетельница могла кое-что рассказать о начале драмы: продавщица перчаток. Ничего не подозревая о том, что должно было случиться, она ранним утром пришла в дом графини де Аркос и принесла Софии несколько пар перчаток. Она с изумлением обнаружила, что в особняке остался только старый слуга. София и Эстебан находились в библиотеке — облокотившись на подоконник открытого окна, они внимательно прислушивались к тому, что происходит снаружи. Глухой шум наполнял город. Хотя на улице Фуэнкарраль, казалось, нельзя было заметить ничего необычного, внезапно стали закрываться двери многих лавок и кабачков. На соседних улицах, за домами, судя по всему, собирались толпы людей. И вдруг начались беспорядки. На перекрестках появились группы простолюдинов в сопровождении женщин, детей и принялись кричать: «Смерть французам!» Из домов выбегали люди, вооруженные кухонными ножами, кочергами, плотничьим инструментом, словом, любыми предметами, которыми можно было резать, бить, колоть. Со всех сторон доносились выстрелы, а людская толпа все росла и росла, она катилась по направлению к Пласа-Майор и Пуэрта-дель-Соль. Во главе группы молодых мужчин шел священник со складным ножом в руке; время от времени он оборачивался к своим спутникам и громко кричал: «Смерть французам! Смерть Наполеону!» Народ Мадрида устремился на улицы: внезапный и грозный бунт вспыхнул совершенно неожиданно, он не был подготовлен ни печатными листовками, ни призывами опытных ораторов. Зато как красноречивы были жесты и движения мужчин, как выразительны крики возбужденных женщин, как неодолимы натиск толпы и владевшая всеми ярость! Но вдруг людское море словно замерло, будто втянутое гигантским водоворотом.

Доносившиеся со всех сторон ружейные залпы участились, а затем впервые хриплым басом заговорила пушка.

— Кавалерия! Французская кавалерия! — слышались крики в передних рядах.

Многие уже бежали назад — на лице, на руках, на груди у них были кровь и следы сабельных ударов.

Однако вид крови несколько не устрасил остальных, — они спешили в самое пекло, туда, где рвалась картечь и грохотали орудия... И в эту самую минуту София отпрянула от окна.

— Идем туда! — крикнула она, срывая со стены кинжал и саблю.

Эстебан попытался остановить ее:

— Но ведь это глупо: там бьют из орудий. Что ты сделаешь этой ржавой рухлядью?!

— Оставайся, если хочешь! А я пойду!

— Но за кого ты идешь сражаться?

— За тех, кто вышел на улицу! — крикнула София. — Надо же что-то делать!

— Что именно?

— Что-нибудь!

И Эстебан увидел, как она выбежала из дому, вне себя от гнева: платье соскользнуло у нее с плеча, над головою она занесла саблю.

Никогда еще София не казалась ему такой сильной и самоотверженной.

— Подожди меня! — крикнул Эстебан.

И, сорвав со стены охотничье ружье, он быстро сбежал по лестнице... Вот и все, что удалось узнать Карлосу. В городе еще долго кипели неистовые страсти, он наполнился грохотом, криками толпы, повсюду царил хаос беспорядочных схваток. В атаку на горожан мчались на конях мамелюки, кирасиры, польские гвардейцы, а жители Мадрида встречали их холодным оружием, мужчины и женщины бесстрашно бросались с ножами на лошадей, чтобы перерезать им сухожилия. Когда отряды солдат, стараясь окружить повстанцев, теснили их со всех сторон, те пытались укрыться в домах или обращались в бегство, перескакивая через ограды и взбираясь на крыши. Из окон на головы французов летели горящие поленья, камни, кирпичи; на них опрокидывали котлы и кастрюли с кипящим маслом. Группа восставших захватила орудие, и даже когда все мужчины пали один за другим, пушка все еще продолжала стрелять — горящий фитиль подносили теперь разъяренные женщины, заменив своих мужей и братьев. Мадрид был во власти великого катаклизма, подобного извержению вулкана; казалось, пламя, железо, сталь — все, что режет, и все, что сжигает, — взбунтовались против своих хозяев, и зазвучал трубный глас грозного Дня гнева... А потом наступила ночь. Ночь жестокой резни, бойни, уничтожения: людей без пощады расстреливали на берегах Мансанареса и в квартале Монклоа. Беспорядочная пальба, которая прежде слышалась повсюду, теперь раздавалась уже в определенных местах; через равные промежутки времени вслед за командой гремели ружейные залпы, а изрешеченные пулями и обгаренные кровью стены служили зловещей декорацией этим сценам. Время в ту ночь начала мая текло медленно, казалось, часы изнемогают под гнетом крови и ужаса. На улицах валялись трупы, стонали раненые, которые уже не в силах были подняться, — их приканчивали патрули сумрачных мирмидонян²⁹²; и

²⁹² *Мирмидоняне* — древнегреческое племя, царем которого был Ахилл; здесь иносказательно — наполеоновские солдаты.

порою робкий, дрожащий луч фонаря в руке человека, тщетно разыскивавшего по всему городу дорогого ему покойника среди стольких других мертвецов, освещал изодранные доломаны, отпоровшиеся позументы, измятые кивера, которые красноречиво говорили о бедствиях войны... София и Эстебан так и не вернулись в дом графини де Аркос. Никто не мог даже сказать, как они погибли и где погребены их тела.

Карлос узнал то немногое, что можно было узнать, и дольше оставаться в Мадриде ему было незачем; он приказал запечатать сургучом ящики, куда были уложены предметы домашнего обихода, книги, платья, напоминавшие ему — своей формой, запахом или складками — о тех, кто навсегда ушел из жизни. Внизу Карлоса ожидали три экипажа, чтобы отвезти его и всю эту кладь на почтовую станцию. Дом графини де Аркос возвращался к владельцам, и отныне ему вновь предстояло пустовать. Двери — одну за другой — запирали на ключ. И покинутое жилище постепенно погружалось во тьму: стояла зима, над городом рано сгущались сумерки. В комнатах погасли огни, полусгоревшие головни в каминах сгребли в кучу и залили водой из красного граненого графина.

Когда последняя дверь затворилась, картина, изображавшая взрыв в кафедральном соборе и оставленная на своем месте, — быть может, намеренно, — расплылась, как бы растаяла, стала просто темным пятном на фоне густо-красной парчи, которой были обиты стены гостиной; там, где сырость увлажнила ткань, парча, казалось, кровоточила.

*Гваделупа, Барбадос, Каракас,
1956–1958*

Об исторической достоверности образа Виктора Юга

Виктор Юг остался почти неизвестным в истории французской революции — в ней весьма подробно описаны события, происходившие в Европе, начиная со времен Конвента и кончая Восемнадцатым брюмера, но почти не уделяется внимания тому, что делалось в ту пору в далекой области Карибского моря, — а потому автор книги считает полезным сказать несколько слов об исторической достоверности этого образа.

Известно, что Виктор Юг родился в Марселе в семье булочника, — есть некоторые основания полагать, что в нем была и примесь негритянской крови, хотя доказать это нелегко. С детства его влекло к себе море, которое — особенно в Марселе — зовет людей к приключениям еще со времен Питфея и финикийских купцов; вот почему он нанялся юнгой на судно, направлявшееся в Америку, и впоследствии немало плывал по Карибскому морю. Как штурман и лоцман он водил торговые корабли на Антильские острова; он внимательно ко всему приглядывался, набирался опыта и в конце концов бросил карьеру моряка, открыв в Порт-о-Пренсе большой магазин, или *comptoir*²⁹³, где имелись самые различные товары; он приобретал, собирал, накапливал эти товары любыми путями: покупал и перепродавал, не гнушался и контрабанды, менял шелка на кофе, а ваниль на жемчуг, что принято в торговых фирмах, каких немало было в портовых городах этого пестрого экзотического мира.

²⁹³ Здесь: торговая контора (франц.).

В историю Виктор Юг вошел в ту ночь, когда гаитянские повстанцы сожгли его магазин и склад. Начиная с того времени мы можем шаг за шагом проследить весь пройденный им путь — он был именно таким, как описано в этой книге. В главах, где рассказывается об освобождении Гваделупы из-под власти англичан, все события изложены в том порядке, в каком они происходили в действительности. Что же касается войны, развязанной Югом против Соединенных Штатов, — американцы тех дней именовали ее «пиратской войной», — а также действий корсаров, их имен и названий кораблей, то тут автор опирался на документы, собранные им на Гваделупе и в библиотеках острова Барбадос, и руководствовался короткими, но весьма существенными сведениями, которые приводятся в трудах латиноамериканских историков, упоминающих мимоходом о Викторе Юге.

Что касается деятельности Юга во Французской Гвиане, то много материалов по этому поводу содержится в мемуарах, связанных с жизнью ссыльных. После выздоровления Виктора события тут развивались следующим образом: Юг сдал эту французскую колонию Голландии — капитуляция, по правде говоря, была неизбежной, — за что и был предан в Париже военному суду. С честью выйдя из грозного испытания (он был полностью оправдан), Юг вновь вернулся к политической деятельности. Известно, что он был близок к Фуше. Известно также, что Юг находился в Париже в пору падения наполеоновской империи.

Но затем следы его теряются. Некоторые историки — из числа немногих, хотя бы мельком упоминавших о нем (я не говорю о Пьере Биту, который посвятил Виктору Югу свыше двадцати лет назад большую работу, до сих пор еще не изданную), — сообщают нам, что в 1820 году он умер в окрестностях Бордо, где будто бы «владел землями». «Всемирная библиография» Дидо относит смерть Юга к 1822 году. Однако на Гваделупе, где образ Виктора Юга еще сохранился в людской памяти, утверждают, что после падения империи Наполеона I он возвратился в Гвиану, где у него осталось поместье и имущество. По сведениям авторов, занимавшихся изучением истории Гваделупы, Юг умирал долго и мучительно от последствий болезни, которая вполне могла оказаться проказой, но, судя по некоторым признакам, была скорее всего раком²⁹⁴.

Каким же был в действительности конец Виктора Юга? Этого мы не знаем; впрочем, мы очень мало знаем и о первых годах его жизни. Но одно не вызывает сомнений: его историческая деятельность — мужественная, честная, героическая на первом этапе, соглашательская, противоречивая, корыстная, а иногда даже циничная на втором этапе — рисует нам образ человека необыкновенного, чье поведение было отмечено трагической двойственностью. Вот почему автор и посчитал интересным посвятить жизни этого малоизвестного исторического лица роман, действие которого охватывает всю область Карибского моря.

А. К.

²⁹⁴ *Примечание автора.* Эти страницы были уже опубликованы в конце первого издания настоящей книги, вышедшего в Мехико, когда, находясь в Париже, я получил возможность познакомиться с прямым потомком Виктора Юга, владеющим многими важными семейными документами, связанными с жизнью моего героя. От него я узнал, что могила Виктора Юга находится на некотором расстоянии от Кайенны. Просматривая один из документов, я сделал поразительное открытие: много лет подряд Виктор Юга любила красивая кубинка, которую по редчайшему совпадению звали София.

Концерт Барокко

© Перевод Р. Линцер

I

Радостно пойте...

Псалом 80

Из серебра узкие ножи, изящные вилки; из серебра большие блюда с чеканкой в виде серебряного дерева, чьи листья хранили, бывало, в своих углублениях жирные соки жаркого; из серебра фруктовые вазы — три круглые тарелки, надетые одна над другой на стержень, увенчанный серебряным гранатом; из серебра винные кувшины, выкованные серебряных дел мастерами; из серебра блюда для рыбы, и на каждом — выпуклая серебряная султанка плывет над сплетенными водорослями; из серебра солонки, из серебра щипцы для орехов, из серебра ложечки, украшенные монограммами... И все это потихоньку, неторопливо, с заботой, чтобы не звякнуло серебро о серебро, укладывается в темные глубины деревянных ящиков, багажных корзин, сундуков с надежными запорами, под бдительным оком закутанного в халат Хозяина, и он один, только он по временам разрешал серебру зазвенеть, когда мастерски мочился, метко направляя мощную струю в серебряный ночной сосуд с лукаво подмигивающим серебряным глазом на дне, сразу же ослепленным пеной, которая, отразив в себе столько серебра, тоже начинала серебриться...

— Сюда — то, что остается, — говорил Хозяин. — Туда — все, что поедет.

Среди подготовленного к отправке тоже немного серебра — кое-какая столовая посуда, набор кубков и, конечно, сосуд с серебряным глазом, но, главное, шелковые рубашки, короткие шелковые штаны, шелковые носки, китайские шелка, японский фарфор — сервиз для утреннего чая, а его, да будет вам известно, лучше всего пить в приятном обществе, и манильские шали, совершившие путь через просторы западных морей. Франсискильо — лицо у него замотано, словно узел с бельем, в голубой платок, который прижимает мягчительные листья к раздутой флюсом правой щеке, — во всем подражал Хозяину и даже мочился так же, как он, правда не в серебряный сосуд, а в глиняный горшок. Он тоже ходил из патио в галерею, из прихожей во внутренние покои, подпевая, словно церковный служка: «Сюда — то, что остается... Туда — то, что едет».

И так прекрасны были в лучах заходящего солнца шали и шелка, серебряные блюда, китайские и японские изделия, покоясь среди стружек, где предстояло им мирно спать либо терпеть превратности далекого пути, что Хозяин, все еще в халате и колпаке — в этот вечер прощальных визитов не ожидалось, и можно было не переодеваться, — предложил слуге, после того как были заперты все ящики, сундуки, корзины и ларцы, разделить с ним кувшин вина. Затем, прогуливаясь медленным шагом, он принялся разглядывать упакованные вещи, затянутую чехлами мебель, картины, которые остались висеть на стенах. Вот портрет племянницы-монахини: в белых одеждах, с длинной нитью четок, осыпанная драгоценностями и цветами, — взгляд у нее, пожалуй, слишком пылкий, — она изображена в день, когда стала невестой господней. Напротив, в черной квадратной раме, портрет владельца дома, выписанный с каллиграфическим мастерством: кажется, будто художник сделал его одной линией — петлистой, скрученной завитками, раскрученной и снова закрученной, — ни разу не оторвав перо. Но самая великолепная картина была там, в

зале для балов и приемов, где подавались атоле²⁹⁵ и шоколад, — на этой картине европейский художник, проездом побывавший в Койоакане, запечатлел величайшее событие в истории страны. Монтесума, изображенный не то римлянином, не то ацтеком, каким-то Цезарем в головном уборе из перьев кетцалья, восседает на троне ватикано-мичоаканского стиля, под балдахин, который держат над ним два воина, а рядом стоит растерянный Куаутемок с лицом юного Телемака и миндалевидными глазами. Перед ними — Эрнан Кортес в бархатном берете, со шпагой на поясе; дерзко поставив сапог на первую ступень императорского престола, он замер в подобающей конкистадору горделивой позе. Позади фрей Бартоломе де Ольмедо, в одеянии ордена мерсенариев, с не очень дружелюбным видом потрясает крестом, а донья Марина в сандалиях и юкатанской хламиде, раскинув руки, видимо, выступает посредницей и переводит владыке Теночтитлана слова испанца²⁹⁶. Все написано маслом, густыми мазками, в итальянском вкусе старых времен — теперь же в Италии небеса на сводах с изображениями поверженных титанов подобны своей ясной синевой настоящему небу, а художники пользуются светлой солнечной палитрой. На заднем плане видны двери с драпировками, из-за которых выглядывают любопытные лица индейцев, жадно взирающих на разыгравшуюся перед ними драму, — индейцев, как будто сошедших со страниц какого-нибудь рассказа о путешествии в татарское ханство...

Дальше, в маленькой гостиной, которая вела в туалетную комнату с парикмахерским креслом, можно было полюбоваться тремя фигурами кисти Rosalba pittora ²⁹⁷, знаменитой венецианской художницы, чьи картины славили в приглушенных тонах — серых, розовых, бледно-голубых, зеленоватых — красоту женщин, далеких и оттого еще более прекрасных. «Три прекрасные венецианки» называлась пастель Росальбы, и Хозяин подумал, что, в конце концов, венецианки эти не так уж далеки, принимая во внимание, что вскоре он сам познакомится с куртизанками — серебра для этого ему не занимать, — которых превозносят в своих писаниях многие прославленные путешественники; скоро и он будет забавляться «игрой в звездочеты», которой, по слухам, там все увлекаются, — другими словами, спрятавшись в гондоле с приспущенными занавесками, скользить по узким каналам и подстерегать неосторожных красоток, когда те, зная, что за ними подсматривают, но изображая полнейшую невинность, поправляют спустившееся с плеча платье и, случается, показывают мимолетно, однако не так уж мимолетно, чтобы не наглядеться всласть, розовое яблоко груди... Хозяин вернулся в большую залу, снова наполнил бокал и, попивая вино, мимоходом прочел двустихие Горация, что велел он выбить над карнизом одной из дверей в насмешку над старыми друзьями лавочниками — не

²⁹⁵ *Атоле* — сладкий напиток из молока и кукурузной муки.

²⁹⁶ Монтесума II (1466–1520) — император ацтеков. Ацтекская империя располагалась на территории нынешней Мексики. В 1519 году конкистадор Эрнан Кортес (1485–1547) после кровопролитной войны покорил ацтеков и захватил в плен Монтесуму, но постарался привлечь его на свою сторону. В отсутствие Кортеса, воевавшего с другими племенами и соперничавшими с ним конкистадорами, вспыхнуло ацтекское восстание. В 1520 году Кортес заставил Монтесуму обратиться к ацтекам с призывом к миру. Обращение это успеха не имело, и Монтесума погиб от руки своих соплеменников. Борьба против испанских конкистадоров продолжалась. В 1521 году Кортес снова осадил столицу империи Теночтитлан, которая продержалась 75 дней под водительством Куаутемока (Гуатимосин; 1495(?) — 1525), последнего императора и национального героя ацтеков, впоследствии казненного Кортесом. Донья Марина (ацтекское имя — Малинче) — индейка, возлюбленная Кортеса, служившая ему переводчицей и посредницей в переговорах с местными вождями.

²⁹⁷ Художницы Росальбы (*итал.*).

говоря уж о нотариусе, инспекторе мер и весов и священнике, переводчике Лактанция²⁹⁸, — которых, за отсутствием людей лучшего положения и звания, он принимал, чтобы поиграть в карты или откупорить прибывшую из Европы бутылку:

И доблесть старого Катона
Часто вином, говорят, крепилась²⁹⁹.

На галерее, где уже уснули птицы, раздались приглушенные шаги. Появилась ночная гостья, закутанная в шали, печальная, заплаканная — притворщица, нацелившаяся на прощальный подарок: роскошное ожерелье из золота и серебра — камни на вид хороши, но, ясное дело, завтра же надо снести их к какому-нибудь ювелиру, узнать, чего они стоят. В перерыве между рыданиями и поцелуями она требует вина получше, чем в графине, из которого они пьют, хоть и считается, будто оно из Испании, а дает осадок, лучше и не взбалтывать, она-то знает в этом толк, такое вино хоть в клизму наливай, хоть мой себе это самое место — выкладывала она все словечки, украшавшие ее разухабистую речь, — пускай пьют его Хозяин и слуга, тоже мне ценители тупоголовые! А тебя, что ли, во дворце на свет породили, надралась вот сегодня ночью, да ведь ты полемойкой была, за кукурузный початок на работе надрывалась, когда, причастившись святых даров и получив папское благословение, скончалась моя добрая, чистая супруга!.. Но вот Франсискильо, нацедив вина из самого заветного бочонка, сразу укротил ее язык и распалил дух, и ночная гостья, выставив напоказ груди, уселась, бесстыдно скрестив ноги, а рука Хозяина уже запуталась в кружевах ее нижней юбки, стремясь к жаркому *segreta cosa*³⁰⁰, воспетому Данте. Прислужник, стараясь поддержать настроение, взял свою гитару и пел утренние псалмы царя Давида, затем перешел к дневным песням о неверных красавицах — о, я покинут, любимая скрылась и никогда не вернется, а я страдаю, страдаю, страдаю от вечной любви, — пока Хозяину не надоела эта старая дребедень и он, усадив ночную гостью на колени, не потребовал что-нибудь более современное, что-нибудь из того, чему учили в школе, куда он немало денег переплатил за его уроки. И по обширным покоям каменного дома, под сводами, расписанными розовыми ангелочками, среди ящиков — тех, что остаются, и тех, что едут, — набитых серебряными тазами и кувшинами, серебряными шпорами, серебряными пуговицами, серебряными ларчиками, понесся голос слуги, с особым местным акцентом произносившего слова итальянской песни — вполне подходящей в этот день, — песни, которой маэстро научил его накануне:

Ah, dolente partita,
Ah, dolente partita!..³⁰¹

²⁹⁸ Лактанций (260–325) — христианский писатель и ритор.

²⁹⁹ Гораций. Оды, кн. III, ода 21. — Перевод Н. И. Шатерникова.

³⁰⁰ Тайный уголок (итал.).

³⁰¹ О, печальный отъезд!.. (итал.).

Но тут раздался стук дверного молотка у главного входа. Голос певца прервался, а Хозяин, положив руку на струны, приглушил гитару: «Поди-ка взгляни... Но никого не пускай, хватит уже, целых три дня прощаются...» Вдали заскрипели дверные петли, кто-то от имени сопровождающих попросил прощения, смутно послышалось: «Благодарю, благодарю вас», потом: «Потише, не разбудите его» — и пожелания на разные голоса: «Спокойной ночи».

Слуга вернулся, неся свернутый рулоном большой лист голландской бумаги, где четким, округлым почерком были записаны последние поручения и просьбы — из тех, что приходят на ум остающимся, когда путник уже вдел ногу в стремя, — его друзей и сотрапезников.

Бергамотовое эфирное масло, мандолину с перламутровыми инкрустациями в кременском вкусе — для дочери — и бочонок мараскина из Зары просил инспектор мер и весов. Два фонарика, по болонской моде, к налобнику для упряжных лошадей просил Иньиго, серебряных дел мастер, наверняка намереваясь взять их за образец для новых изделий в угоду местным заказчикам. Один экземпляр *Bibliotheca Orientalis*³⁰² от Ассемино, торгующего книгами в Ватикане, просил приходский священник, кроме нескольких «римских монеток» — конечно, если это не слишком дорого! — для своей нумизматической коллекции, и еще по возможности яшмовую трость с золоченой рукоятью (совсем не обязательно, чтобы золотая), какие присылают в длинных чехлах, подбитых алым бархатом. Нотариус мечтал о некоей редкости: колоде карт неведомого здесь рисунка, придуманной якобы художником Микеланджело, чтобы обучать детей арифметике, причем вместо обычных мастей — червонной, трефовой, бубновой и пиковой — на картах красовались звезды, солнце и луна, папа римский, дьявол, смерть, повешенный, безумец — последняя карта сводила на нет всю игру — и трубы Страшного суда, которые означали победный выигрыш. («Все это для ворожбы и гадания», — уверяла женщина, прислушиваясь к чтению списка и снимая тем временем браслеты и чулки.) Но прелестнее всего была просьба судьи Эмерито: для своей коллекции редкостей он хотел получить ни больше ни меньше как образцы итальянского мрамора, настаивая, чтобы среди них были — по возможности — темно-синий, мраморная мозаика, сиенский желтый, не говоря уж о белом пентелийском и красном нумидийском, весьма употребительном в древности, а может быть, также кусочек пятнистого с отпечатками раковин в прожилках и, если не очень затруднит его такая любезность, плиточка переливчатого, зеленого, зеленоватого, в разводах, — такой можно увидеть в иных ренессансных пантеонах...

— Да этого не дотащит ни один египетский раб, а их выносливость восхвалял еще Аристофан! — воскликнул Хозяин. — Что же, мне бродить по свету с сундуком за спиной? Пропади они все пропадом, не собираюсь я тратить время в чужих странах на поиски редких фолиантов, необыкновенных камней или бальзама Фьерабраса. Единственный, кому я хочу доставить удовольствие, — это твой учитель музыки, Франсискильо. Да он и просил о таких скромных и невесомых дарах: сонаты, концерты, симфонии, оратории — тяжесть невелика, зато сколько гармонии... А теперь продолжай свою песню, парень...

Ah, dolente partita,
Ah, dolente partita!..

³⁰² Восточная библиотека (лат.).

Дальше он не очень хорошо запомнил слова, как будто «A un giro sol di bell'occhi lucenti...»³⁰³. Но когда слуга допел мадригал и оторвал взгляд от грифа гитары, то увидел, что остался один: Хозяин и его ночная гостья удалились в спальню, обиталище святых в серебряных рамах, дабы предаться прощальным ласкам на ложе с инкрустациями из серебра, при свете свечей в высоких серебряных канделябрах.

II

Хозяин бродил среди ящиков, кое-как сваленных в сарае, — присаживался на один, передвигал другой, останавливался перед третьим — и снова и снова изливал свою досаду в бессвязных речах, то ярясь, то впадая в уныние. Недаром древние авторы говорили, что не в богатстве залог счастья и золото — лучше сказать, серебро — бессильно преодолеть преграды, поставленные роком на тернистом пути человеческой жизни. Едва они вышли из Веракруса, как на корабль обрушились яростные ветры: именно такие ветры и насылают, раздувая щеки, изображенные на аллегорических картах злые гении — враги мореплавателей. С изодранными парусами, пробитым корпусом и поврежденной палубой прибыли они наконец в тихую гавань и увидели Гавану, объятую горем и страхом, пораженную грозной эпидемией злокачественной лихорадки. Все там, как сказал бы Лукреций, «трепетали тогда в смятении полном, и каждый в мрачном унынии своих хоронил мертвецов как придется»³⁰⁴. («О природе вещей, книга шестая», — уточнил путешественник-эрудит, процитировав эти слова на память.) И вот, отчасти потому, что необходимо было привести в порядок потерпевший бедствие корабль и получше разместить груз, с самого начала плохо уложенный грузчиками в порту Веракруса, а главное — потому, что разумнее было стать на якорь подальше от зараженного города, они оказались здесь, в селении Регла, и при одном взгляде на эту жалкую деревушку, окруженную мангровыми зарослями, еще ярче возникал в памяти волшебный город, оставшийся далеко позади, его сверкающие купола, гордая осанка храмов, просторные дворцы — и лепные цветы на фасадах, и резные виноградные лозы в церковных нишах, и драгоценности в дарохранилищах, и многоцветие светильников, — город, подобный сказочному Иерусалиму в соборе, на створках главного алтаря. Здесь же тянутся узкие улочки с низкими домами, открытые окна загорожены вместо искусно кованых решеток простыми деревянными, кое-как выкрашенными в белый цвет, а черепица на кровлях такая, что в Койоакане вряд ли кто взял бы ее для курятника или свинарника. Все вокруг словно оцепенело в одуряющей жаре, пропитанной зловонием стоячей воды, свиного помета, загаженного хлева, и эта постоянная духота вызывала еще более острую тоску по прозрачному мексиканскому утру, когда кажется, будто до вулканов рукой подать, будто за каких-нибудь полчаса дойдет до них тот, кто любит белыми вершинами, ослепительно сверкающими среди бескрайней синевы. И вот здесь-то остановились со своими ящиками, сундуками, узлами и корзинами пассажиры разбитого судна, поджидая, пока залечат его раны, а напротив, в городе, возведенном высоко над водами порта, царило зловещее безмолвие, обычное для мест,

³⁰³ Одним взглядом прекрасных сверкающих глаз... (*итал.*).

³⁰⁴ Перевод Ф. А. Петровского.

отгороженных эпидемией от мира. Закрыты танцевальные залы, где, бывало, отплясывали гуарачу и ременео, а соблазнительные мулатки выставляли напоказ свои прелести, едва прикрытые прозрачными накрахмаленными кружевами. Закрыты увеселительные заведения на улицах Меркадерес, Обрапия, Офисное, где часто устраивали — хотя это было не такой уж новинкой — концерты механических котлов или музыкальных сосудов, показывали павлинов, танцующих форлану, знаменитых мальтийских близнецов и ученых американских дроздов, которые не только насвистывали модные песенки, но и подносили в клюве билетки с предсказанием судьбы. Словно господь время от времени решал покарать за неисчислимы грехи этот болтливый, чванный, беззаботный город, внезапно, когда никто не ожидал беды, на него веяло дыхание зловредной лихорадки, которая, по словам сведущих людей, приходила с гнилых болот, отравляющих ближнее побережье. Снова неотвратимо звучало «Dies Irae»³⁰⁵, и люди принимали его как привычное и неизбежное появление колесницы смерти. Но главная беда была в том, что Франсискильо, промаявшись три дня, в конце концов испустил дух вместе с кровавой рвотой. Лицо у него стало желтее серы, беднягу положили в дощатый ящик и снесли на кладбище, где гробы приходилось наваливать один на другой, вдоль и поперек, словно спиленные стволы на лесосеке, потому что в земле не хватало места для мертвецов, которых везли со всех сторон... И вот Хозяин остался без слуги (а разве хозяин без слуги может быть настоящим хозяином?), и теперь, за отсутствием прислужника и мексиканской гитары, не сбудется его мечта о торжественном въезде, о знаменательном появлении на сцене Старого Света, куда он собирался прибыть богатым, богатейшим, разбрасывающим серебро потомком тех, кто отправился оттуда — как говорится, «дружески протянув одну руку и держа камень в другой» — искать счастья в краях Америки.

Но однажды на постоялом дворе, откуда каждый день уходили караваны вьючных мулов в Харуко, его внимание привлек молодой свободный негр, который ловко подстригал гривы мулам, чистил их скребницей, а в часы досуга пощипывал неприглядную гитару или, если приходила охота, распевал не совсем пристойные песенки о блудливых монахах и беспутных дурочках, подыгрывая себе на барабанах или отбивая ритм парой уключин, и тогда возникал тот же звук — звон молотка о металл, — что раздается в мастерской мексиканского чеканщика. Путешественник только и ждал, как бы продолжить плавание, и, стремясь умерить свое нетерпение, по вечерам присаживался послушать пение негра во дворе, где стояли мулы. И вот он подумал, что теперь, когда богатые сеньоры взяли моду заводить черных слуг — а сдается, эти мавры появились уже в столицах Франции, Италии, Богемии и даже в далекой Дании, где королевы, как известно, убивают своих мужей, вливая им, словно дьявольскую музыку, яд в уши, — неплохо было бы прихватить с собой такого слугу, конечно обучив его хоть немного хорошему обхождению, которое вряд ли ему знакомо. Он спросил у хозяина постоялого двора, честен ли парень, каких он нравов и воспитания, и узнал, что лучше его нет во всем поселке, что вдобавок он умеет читать, может написать не слишком сложное письмо и, говорят, даже поет по нотам. Затем Хозяин, побеседовав с Филомено — так звали конюха, — выяснил, что парень этот — правнук негра Сальвадора, который сотню лет назад был героем таких славных дел, что местный поэт, по имени Сильвестре де Бальбоа³⁰⁶, воспел его в длинной и

³⁰⁵ «День гнева» — гимн, входящий в чин заупокойной мессы (лат.).

³⁰⁶ Сильвестре де Бальбоа (ок. 1563–1649) — кубинский поэт.

благозвучной оде «Зерцало терпения»...

Однажды, — рассказал паренек, — в водах Мансанильо, там, где густая полоса прибрежных деревьев скрывает от глаз надвигающуюся с моря опасность, встала на якорь бригантина под началом Жильбера Жирона, французского еретика, из тех, кто не верит ни в святых, ни в деву Марию. Он командовал шайкой лютеран, отпетых разбойников, которые творили свои злодеяния по всему простору Карибского моря и Флоридского пролива, нападая на корабли, промышляя контрабандой и грабежами. Прознал свирепый Жирон, что в асьендах Яры, в нескольких милях от берега, находился объезжавший свою епархию добрый фрай Хуан де лас Кабесас Альтамирано, епископ острова, который в старину назывался Фернандина — «потому что, когда открыл его Великий адмирал дон Христофор, в Испании правил король Фердинанд, а верховодила королева. Может, она и в постели брала над ним верх, кто его знает, тут такое дело, что...».

— Веди-ка свой рассказ напрямик, парень, — прервал путешественник, — и не пускайся в околичности. Чего не докажешь, о том и говорить нечего.

— Ладно, — сказал негр.

Он поднял руки и задвигал большими пальцами и мизинцами, словно это были ручки человечков, и вся история пошла так живо, будто ее изображал ловкий комедиант, выхватывая из-за спины своих кукол и заставляя их играть как на сцене. («Так показывают в балаганах на мексиканских ярмарках, — подумал путешественник, — историю Монтесумы и Эрнана Кортеса».) Значит, гугенот прознал, что святой пастырь Фернандины ночует в Яре, и повел туда своих висельников со злым умыслом похитить епископа и потребовать за него богатый выкуп. На рассвете, когда все жители спали, он прокрался в селение, не долго думая схватил добродетельного прелата и потребовал за его свободу дань — огромную для этого бедного люда: двести дукатов деньгами, сто арроб мяса и сала, тысячу бычьих кож, не говоря уж о других требованиях этого сборища порочных скотов. Несчастные поселяне кое-как собрали непомерно тяжелую дань, и епископ вернулся к своей пастве, устроившей в его честь веселые празднества, «о которых впоследствии будет рассказано более подробно», — предупредил паренек и, нахмутив брови, торжественным тоном начал вторую, еще более драматическую часть своего повествования...

Об этих событиях узнал некий храбрец Грегорию Рамос, воин «бесстрашный, как паладин Рольдан»³⁰⁷, и негодуя, решил, что не добьется француз своего, не попользуется столь легко захваченной добычей. Быстро собрал он отряд смельчаков, настоящих мужчин, и, став во главе их, направился в Мансанильо, чтобы сразиться с пиратом Жироном. Все это были люди закаленные, боевые, горячего нрава и недюжинной силы, однако же, идя на битву, они могли захватить с собой лишь то, что нашлось под рукой, ибо не военное дело было их обычным занятием. Кто тащил заточенный железный брус или в лучшем случае ржавое копье; кто — палку с железным наконечником, годную погонять волов, или мотыгу, а вместо щита — намотанную на руку шкуру ламантина. Были с ними и несколько индейцев-набори, готовых бороться, пользуясь хитростью и ловкостью, присущими их племени. Но главное — главное! — в отряд, охваченный героическим пылом, вступил *некто, еще*

³⁰⁷ Искаж. Роланд, герой «Песни о Роланде».

один, Тот самый (и тут рассказчик снял свою растрепанную соломенную шляпу), кого поэт Сильвестре де Бальбоа воспел в особой строфе:

Средь нас был эфиоп, достойный восхваленья,
сын старца Голомона Сальвадор,
один из тех, кто Яры разоренье
стерпеть не мог, не мог снести позор.
Завидев издали Жирона удалого,
храбрец с мачете острым и копьем,
как лев, метнулся на врага лихого,
пылая праведного мщенья огнем.

Долгим и ожесточенным был бой. Одежда негра превратилась в лохмотья, изодранная ножом лютеранина, а тот сражался, надежно защищенный кольчугой норманнской выделки. Но вот, пустив в ход уловки и хитрости, принятые при разбивке на гурты стада свирепых быков, бесстрашный Сальвадор сбил с толку, вымотал, лишил сил, загонял Жирона и наконец

Копье по древко в грудь ему вонзил
и недруга на месте уложил.
Будь славен, Сальвадор³⁰⁸, воистину спаситель
родного края! Пусть не устают
уста и перья, доблестный воитель,
честь воздавать тебе, как ныне воздают!³⁰⁹

Пирату отсекали голову и вздели ее на острие копья, чтобы все встречные узнали о его жалком конце; затем, сняв голову с копья, насадили ее на лезвие кинжала, который вошел в глотку по самую рукоять, и с этим трофеем, под восторженные клики победителей, бесстрашный воин явился в славный город Баямо. Дружным хором жители потребовали, чтобы негру Сальвадору было пожаловано звание свободного человека, ибо он с честью заслужил его. Власти оказали ему эту милость. И с возвращением святейшего епископа все население предалось празднествам и ликованию. Тихо радовались старики, веселились женщины, шумно забавлялись ребяташки, и, горюя, что их не позвали на веселое гулянье, сквозь густую зелень гуайяв и сахарного тростника подглядывали целые сонмы (рассказывал Филомено, игрой рук изображая внешний вид, рога и прочие отличия всех, кого перечислял) сатиров, фавнов, лесовиков, козлоногих, кентавров, наяд и даже дриад «в кружевных юбочках». Что касается козлоногих и кентавров, выглядывающих из листвы кубинских гуайяв, то путешественнику они показались некоторым излишеством воображения поэта Бальбоа, однако же он не мог не восхититься тем, что негритенок из Реглы способен произнести столько названий, возникших в далекие языческие времена. А молодой конюх — гордый своим высоким происхождением и необычайными почестями, выпавшими на долю его прадеда, — ничуть не сомневался,

³⁰⁸ Сальвадор — в переводе с испанского «спаситель».

³⁰⁹ Перевод Н. Наумова.

что на всех ближних островах встречаются сверхъестественные существа, порождения классической мифологии, очень похожие на других обитателей — правда, с более темным цветом лица — здешних лесов, рек и пещер, а также и на тех, кто живет в далеких туманных царствах, откуда пришли предки знаменитого Сальвадора. Сам же Сальвадор, на свой лад, был настоящим Ахиллом, ибо там, где нет Трои, появляется, если происходят события поистине значительные, Ахилл из Баямо или Ахилл из Койоакана. А пока что, распевая на все голоса, предаваясь самозабвенной игре, пуская в ход звукоподражание, хлопая в ладоши, подпрыгивая, стуча по ящикам, кувшинам, корытам, кормушкам, пробегая палочками по изгороди патио, издавая крики и выбивая дробь пятками, Филомено старался воспроизвести оглушительную музыку, звучавшую во время достопамятного празднества; оно длилось чуть ли не два дня и две ночи, и, надо сказать, поэт Бальбоа дотошно перечислил все инструменты — флейты, волынки и «рабелей до ста» («Ну, это уже виршеплет приврал для рифмы, — подумал путешественник, — никто никогда не слыхивал, чтобы одновременно играли сто рабелей³¹⁰, даже при дворе короля Филиппа, а он, говорят, был таким любителем музыки, что всегда возил с собой переносной орган, на котором в часы досуга играл ему слепец Антонио де Кабесон»), трубы, квадратные и круглые бубны, тамбурины, литавры и даже типинагуа, которые индейцы делают из выдолбленной тыквы, — инструменты самые разнообразные, ибо для этого всенародного концерта объединились музыканты Кастилии и Канарских островов, креолы и метисы, индейцы и негры. «Белые и цветные вперемешку в этом шумном торжестве? — подумал путешественник. — Какая уж тут возможна гармония? Ведь это нелепость — слыхано ли, чтобы старые благородные мелодии романсов, искусные вариации истинных мастеров сливались с варварским грохотом, какой поднимают негры своими мараками и барабанами... Адская какофония, ничего больше не могло получиться, и сдается мне, этот Бальбоа — отъявленный обманщик». Но он также подумал — и теперь с еще большей уверенностью, — что правнук Голомона более всех достоин унаследовать парадный костюм покойного Франсискильо. И однажды утром, предложив Филомено место слуги, чужеземец заставил его примерить красный камзол, и оказалось, что камзол сидит великолепно. Затем нахлобучил на него белый парик, и негр показался еще чернее, чем был. Со светлыми панталонами и чулками все обошлось неплохо. А вот в башмаки с пряжками шишковатые ступни Филомено влезли не без труда, но, надо полагать, тоже постепенно привыкнут...

Итак, ранним сентябрьским утром, переговорив обо всем, о чем следовало переговорить, уладив дело с содержателем постоялого двора, Хозяин надел широкополую шляпу и отправился на пристань Реглы в сопровождении негра, который держал над его головой зонтик из голубого бархата с серебристой бахромой. Чайный сервиз с большими и малыми серебряными чашками, бритвенный тазик, ночной сосуд, клистирная кружка — тоже серебряная, — письменные принадлежности, футляр с ножами, ларчик с реликвиями пресвятой девы, ларчик с реликвиями святого Христофора, покровителя плавающих и путешествующих, были уложены в ящики, еще в одном ящике хранились барабаны и гитара Филомено. Рабы взвалили кладь на спину и двинулись в путь, а слуга, грозно хмурясь под надвинутой на лоб лакированной треуголкой, подгонял их, выкрикивая непотребные ругательства на негритянском наречии.

310 *Рабель* — трехструнная пастушья скрипка.

III

Будучи потомком людей, которые родились в местности, расположенной между Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, и рассказывали чудеса о покинутых ими краях, Хозяин представлял себе Мадрид совсем по-другому. Унылым, невзрачным и нищим показался этот город ему, выросшему в Мехико среди серебра и резного камня. За пределами Пласа-Майор все здесь выглядело тоскливо, неопрятно, бедно, особенно когда ему вспоминались широкие, нарядные улицы родного города, мозаичные порталы, балконы, вознесенные на крыльях херувимов, льющиеся из рогов избылиия на фасадах потоки каменных фруктов, искусно разрисованные вывески, где надписи, переплетенные плющом и виноградными листьями, извещали об изысканных драгоценностях. Постоялые дворы были здесь из рук вон плохи, комнаты насквозь пропитаны запахом прогорклого оливкового масла, а об отдыхе и думать не приходилось из-за кутерьмы, которую поднимали в патио бродячие комедианты: они то завывали стихи пролога, то кричали во весь голос, изображая римских императоров, сменяли тоги из простынь и занавесок на костюмы шутов и бискайцев, а музыка, сопровождавшая эти интермедии, хотя и нравилась негру своей новизной, Хозяина бесила фальшью и нестройностью.

О кухне нечего и говорить: при виде неизменных фрикаделей и мерланов Хозяин вспоминал нежную мексиканскую рыбу, великолепную индейку под темным соусом, благоухающую шоколадом, сдобренную жгучим перцем; при виде ежедневной капусты, безвкусной фасоли и гороха негр воспевал прелесть мясистого, сочного агвиата или луковиц маланги, приправленных уксусом, петрушкой и чесноком, что подавались у него на родине к столу вместе с лангустами, чье красноватое мясо было куда вкуснее говяжьего филе в этой стране. Днем они заходили в таверны, где попадалось хорошее вино, а главное, в книжные магазины, где Хозяин покупал старинные фолианты в красивых переплетах, богословские трактаты, которые всегда служат к украшению библиотеки, однако развлечься им так и не удавалось. Однажды вечером они отправились к проституткам, в дом, где их встретила хозяйка — тучная, курносая, кривоглазая, с заячьей губой; на шее у нее красовался зоб, лицо было изрыто оспой, а широкий отвислый зад делал ее похожей на гигантскую карлицу. Оркестр слепых музыкантов заиграл нечто вроде менуэта, и, выкликаемые по именам, появились Филида, Клорида и Лусинда, одетые пастушками, а вслед за ними Исидра и Каталана, которые наспех доедали нехитрый ужин — хлеб с луком и оливковым маслом — и, передавая друг другу бурдючок с вином, давились последними глотками. В эту ночь было изрядно выпито, Хозяин рассказывал о своих приключениях в серебряных рудниках подле Таско, а Филомено танцевал танцы своей страны, напевая в такт песню, в которой говорилось о змеях с глазами ярче свечей и зубами острее булавок. Дом был наглухо заперт, чтобы чужестранцы могли развлекаться без помехи, и наступил уже полдень, когда оба они вернулись к себе в гостиницу после веселого завтрака вместе с потаскушками. Но если Филомено только облизывался, вспоминая о своем первом пиршественном наслаждении белой плотью, то Хозяин, за которым увязывались нищие, стоило ему появиться на улицах, где все уже заметили его шитую серебром шляпу, не переставал сетовать на убожество этого хваленного города — разве мог он идти в какое-нибудь сравнение с тем, что остался на другом берегу океана, — города, где кабальеро его положения и достоинства вынужден якшаться с потаскухами из-за невозможности найти порядочную женщину, которая откинула бы перед ним полог своего алькова. Здешние ярмарки далеко уступали по красочности и

оживлению койоаканским; в лавках предлагали лишь весьма неприглядные товары и ремесленные поделки, а мебель, если ее где и продавали, отличалась унылым чинным стилем, чтобы не сказать — старомодностью, несмотря на хорошее дерево и тисненую кожу; конные празднества были из рук вон плохи — всадникам не хватало отваги, во время парада при открытии состязания они не умели ни вести лошадь ровной иноходью, ни пустить ее во весь опор прямо на трибуну и внезапно осадить в ту самую минуту, когда гибельный удар о помост кажется неизбежным. Что же касается мистерий, разыгрываемых в уличных балаганах, то они уж никуда не годились, смотреть тошно было на этих дьяволов с кривыми рогами, безголосых Пилатов или изгрызенные мышами нимбы святых. Проходили дни за днями, и Хозяин, не зная, что делать со своими деньгами, тяжело затосковал. И такую тоску почувствовал он однажды утром, что решил сократить пребывание в Мадриде и поскорее отправиться в Италию, куда приуроченные к рождеству карнавальные празднества влекли людей со всех концов Европы. Беднягу Филомено словно приворожили любовными забавами Филида и Лусинда, которые в доме гигантской карлицы резвились с ним на широкой кровати, окруженной зеркалами, и он принял сообщение об отъезде с великим неудовольствием. Но Хозяин заверил его, что здешние девки сущие уроды и отбросы по сравнению с теми, кого он встретит в священном городе папы римского, и негр сдался на уговоры, уложил багаж и облачился в недавно купленный дорожный плащ. Пока они продвигались к морю, делая короткие дневные переходы и останавливаясь на ночевку в беленьких — а чем дальше, тем белее они были — постоялых дворах Таранкана или Мингланильи, мексиканец пытался развлечь своего слугу рассказами об одном безумном идальго, который разъезжал по этим краям и однажды вообразил, будто ветряные мельницы («такие, как та вон, видишь?») на самом деле не мельницы, а великаны. Филомено решительно заявил, что мельницы эти ничуть не похожи на великанов, а настоящие великаны живут в Африке, и они такие огромные и могучие, что, коли захотят, могут метать молнии и вызывать землетрясения... Когда они прибыли в Куэнку, Хозяин нашел, что этот город с главной улицей, карабкающейся по косогору, и сравнить нельзя с Гуанахуато, где была похожая улица, упиравшаяся в церковь. Валенсия им понравилась, там они окунулись в течение жизни, не знающей заботы о часах, и вспомнили присловье «не делай завтра то, что можно оставить на послезавтра», принятое в их блаженных краях. И так, следуя по дорогам, откуда все время было видно море, они добрались до Барселоны и с радостью услышали звуки кларнетов и литавр, звон бубенцов, крики «посторонись, посторонись» высыпавших из города бегунов. Они увидели корабли у причалов, паруса были спущены, яркие вымпелы и флажки трепетали на ветру, отражаясь в воде. Веселое море, приветливая земля, ясный воздух — казалось, все вокруг счастливы и довольны.

— Похожи на муравьев, — говорил Хозяин, разглядывая набережную с палубы судна, которое назавтра должно было отправиться в Италию. — Дай им волю, они воздвигнут здания высотой до туч небесных.

Филомено тем временем тихонько молился святой деве с черным ликом, защитнице рыбаков и мореплавателей, чтобы плавание было счастливым, чтобы живыми и невредимыми прийти им в порт Рима, ведь такой важный город должен был, по его разумению, выситься на берегах океана, надежно защищенный от циклонов грядой рифов, а не то, глядишь, циклоны срывали бы колокола с собора святого Петра чуть ли не каждые десять лет, как это случалось в Гаване с церквями святого Франциска и Святого духа.

IV

Серая вода и туманное небо, несмотря на такую мягкую зиму; серые тучи, отливающие сепией, когда отражаются они внизу, в колыпании широких, мягких, округлых волн — медленном, плавном, — а волны то разбегаются, то сталкиваются, возвращаясь от одного берега к другому; словно размытая акварель, расплываются контуры церквей и дворцов; сырость легким слоем ряски зеленеет на широких лестницах, на пристанях, влажными отсветами мелькает на каменных плитах площадей, грязными пятнами проступает на стенах, которые лижут бесшумные язычки воды; расплывчатость, приглушенность, желтые огни, унылая плесень под арками мостов, переброшенных через тихие каналы; неясные очертания кипарисов... И вот среди всей этой серости, сумеречных опаловых переливов, бледной сангины, дымчато-голубой пастели разразился карнавал, большой карнавал в день богоявления, разразился и заиграл всеми цветами: апельсиново-желтым, мандариново-желтым, канареечно-желтым, лягушачье-зеленым, гранатово-красным, малиново-красным, красным, словно лак китайской шкатулки; замелькали костюмы в клетку — индиго с шафраном — и полосатые, как карамель; банты и кокарды, колпаки и плюмажи; ярко переливались шелка, атлас, ленты в несметной толпе веселящихся и ряженых; а цимбалы, трещотки, барабаны, тамбурины и корнеты грянули так оглушительно, что голуби во всем городе взлетели одновременно и, черной тучей закрыв на мгновение небосвод, устремились к дальним берегам. Вдруг, включаясь в цветную симфонию флагов и вымпелов, вспыхнули фонари и опознавательные огни на военных судах, фрегатах, галерах, торговых баркасах, рыбацких шхунах, где каждый моряк был в маскарадном костюме, и появился похожий на плавучую галерею, весь обитый разнокалиберными досками и бочарными клепками, полуразрушенный, но все еще блистательный и пышный последний «буцентавр»³¹¹ Светлейшей Республики, извлеченный в день праздника из-под своего навеса, чтобы озарить город искрами, ракетами и бенгальскими огнями фейерверка, увенчанного огненными колесами и шарами... И сразу все изменили свой облик. Застывшие белые маски, все одинаковые, закрывали лица знатных господ — от полей шляпы с лакированной оторочкой до воротника камзола; из-под темных бархатных масок видны были лишь смеющиеся губы переодетых дам. Зато народ — моряки, торговцы зеленью, пончиками и рыбой, солдаты, писцы, гребцы, судейские — познал полное перевоплощение: гладкая и сморщенная кожа, гримаса обманутого, нетерпение обманщика, сластолюбие развратника — все скрылось под раскрашенными картонными личинами монголов, мертвецов, короля-оленья либо под масками с красным носом, растрепанными усами и бородой или козлиными рогами. Дамы из общества, изменив голос, произносили все непристойности и бесстыдные словечки, что столько месяцев держали на уме, а рядом женоподобные юнцы, нарядившись греческими богинями или надев черные испанские юбки, тонкими голосками делали мужчинам соблазнительные предложения, и не всегда впустую. Все говорили, кричали, пели, восхваляли, поносили, предлагали, льстили, намекали, изменяя обычный свой голос; толпа кишела вокруг театра марионеток, балагана комедиантов, кафедры астролога, лотков торговца приворотным зельем и снадобьями от боли под ложечкой или старческого недержания мочи. Теперь целых сорок дней все лавки будут открыты до полуночи, не говоря уж о тех, что не

³¹¹ «Буцентавр» — роскошно отделанная галера, на которой венецианские дожи ежегодно выходили в море и в знак господства республики над морем бросали в воду перстень, как бы сочетаясь с ней браком.

закроются ни днем, ни ночью; неустанно будут плясать обезьянки шарманщиков; покачиваться на качелях ученые попугаи в своих филигранных клетках; перебегать над площадью по натянутым проволокам канатоходцы; заниматься своим делом прорицатели, гадалки на картах, нищие, шлюхи, единственные женщины с открытым лицом, — эти честно показывают себя, ведь каждый хочет знать, кого, в случае если сговорится, поведет он с собой в соседнюю гостиницу, раз уж все кругом только и стремятся скрыть свою подлинную личность, возраст, намерения и внешность. Отражая огни иллюминации, засверкали все воды города, большие и малые каналы, и казалось, будто в их глубине переливается дрожащий свет затонувших фонарей.

Думая отдохнуть от суматохи, толкотни, непрерывного вращения толпы, головокругительно ярких красок, Хозяин, наряженный Монтесумой, вошел в Bottega di Caffè³¹². Виктории Ардуино вместе с негром, который не считал нужным маскироваться, понимая, как походит на маску его собственная физиономия среди множества личин, белых, словно лицо статуи. В глубине кофейной сидел за столиком рыжий монах, одетый в сутану из лучшего сукна; его длинный крючковатый нос торчал из падающих на лицо кудрявых волос, его собственных, однако выглядевших как пышный парик.

— Раз уж я родился в такой прекрасной маске, не вижу надобности покупать другую, — сказал он со смехом и затем спросил, потрогав пальцем стеклянные бусы ацтекского императора: — Инка?

— Мексиканец, — ответил Хозяин и принялся рассказывать пространную историю; изрядно подвыпившему монаху она представилась историей короля гигантских скарабеев — чем-то впрямь напоминал скарабея зеленый, чешуйчатый панцирь рассказчика, — короля, жившего — если вникнуть, не так уж давно — среди вулканов и дворцов, озер и храмов и правившего великой империей, которую захватила горстка отчаянных испанцев при помощи прекрасной индеанки, влюбившейся в вождя завоевателей.

— Отличный сюжет; отличный сюжет для оперы... — приговаривал монах, сразу подумав о сцене с хитроумными приспособлениями, люками и подъемными машинами, где дымящиеся горы, появление чудовищ и обрушенные землетрясением дома произвели бы величайший эффект, тем более что здесь можно было рассчитывать на искусство театральных мастеров-машинистов, способных изобразить любое стихийное бедствие и даже поднять в воздух живого слона, как это было сделано недавно на замечательном сеансе магии.

А Хозяин все еще рассказывал о чародействе пришельцев, человеческих жертвоприношениях и мрачных ночных песнопениях, когда в кофейной появился забавного вида саксонец, друг монаха, в обычной одежде, и вместе с ним молодой неаполитанец, ученик Гаспарини³¹³. Сбросив маску — уж очень он вспотел, — неаполитанец оставил открытым умное лукавое лицо, по которому пробежала усмешка всякий раз, как он бросал взгляд на черную физиономию Филомено — «Привет, Югурта...»³¹⁴.

³¹² Кофейная (*итал.*).

³¹³ Гаспарини, Франческо (1668–1727) — итальянский композитор.

³¹⁴ Югурта (ок. 154–105 до н. э.) — царь Нумидии, побежденный римлянами.

Саксонец, однако, был в отвратительном настроении; весь красный от гнева — а также, пожалуй, и от нескольких лишних стаканов вина, — он рассказал, что какая-то маска, вся в бубенчиках, обмочила ему чулки и, вовремя скрывшись, избежала тумака, который пришелся прямо по ягодице какому-то гомику, а тот, приняв это за ласку, поспешил, по евангельскому завету, подставить другую.

— Успокойся, — сказал рыжий монах, — я уже знаю, что «Агриппина» имела небывалый успех.

— Настоящий триумф! — воскликнул неаполитанец, опрокидывая рюмку агуардъенте себе в кофе. — Театр Гримани был переполнен.

Успех, видно, и впрямь был большой, судя по аплодисментам и вызовам, но саксонец никак не мог привыкнуть к этой публике:

— Никто здесь ни к чему не относится серьезно.

Между арией сопрано и арией *castrati* зрители ходили взад и вперед, ели апельсины, чихали, нюхали табак, закусывали, открывали бутылки, а то и перекидывались картами в момент наивысшего трагического напряжения. Это уж не говоря о тех, кто совокуплялся в ложах — слишком много в этих ложах мягких подушек, — сегодня вечером до того дошло, что во время драматического речитатива Нерона над красным бархатом перил взметнулась женская нога в спущенном до лодыжки чулке и прямо в середину партера полетела туфелька, к вящему ликованию публики, которая тут же начисто позабыла о том, что происходит на сцене. И, не обращая внимания на хохот неаполитанца, Георг Фридрих принялся восхвалять своих соотечественников, которые слушают музыку так, словно присутствуют на мессе, восторгаясь благородным рисунком арии или с полным пониманием оценивая мастерское развитие фуги... Прошел не один час, пока все они обменивались шутками и замечаниями, злословили о ком попало, рассказывали, как одна куртизанка, приятельница художницы Росальбы («Была она у меня вчера ночью», — заметил Монтесума), обобрала до нитки, не дав ничего взамен, богатого французского дипломата; а тем временем на столе сменялись оплетенные разноцветной соломкой пузатые бутылки с легким красным вином, которое не оставляет лиловых следов на губах, а проскальзывает внутрь и разливается по всему телу весело и незаметно.

— Это самое вино пьет датский король, он веселится всюду на карнавале, разумеется инкогнито, под именем графа Олемборга, — сказал рыжий.

— Не может быть никаких королей в Дании, — возразил Монтесума, уже изрядно охмелевший, — не может быть королей в Дании, все там прогнило, короли умирают оттого, что им вливают яд в ухо, принцы сходят с ума, повстречавшись в замке с привидениями, и под конец играют черепами, словно мексиканские мальчишки в день поминовения усопших...

И поскольку разговор начал сводиться к пустой болтовне, то проворный монах, краснолицый саксонец и веселый неаполитанец, оглушенные доносившимся с площади шумом, из-за которого все время приходилось кричать, утомленные мельканьем белых, зеленых, черных, желтых масок, подумали, не пора ли сбежать с веселого празднества в какое-нибудь тихое место, где можно было бы помузицировать. И они гуськом, поставив впереди — в виде волнореза или фигуры на носу корабля — плотного немца, а за ним Монтесуму, стали пробиваться сквозь бурлящую толпу, останавливаясь время от времени лишь затем, чтобы передать друг другу бутылку вина; бутылку эту Филомено подвесил за горлышко на атласной ленте,

которую сорвал мимоходом с какой-то торговки рыбой, причем та в ярости осыпала его такой отборной бранью, что словечки вроде «coglione»³¹⁵ или «шлюхин сын» оказались самыми нежными в этом потоке ругательств.

V

Настороженно выглянула через решетку монахиня-привратница, но при виде рыжего сразу просияла:

— О! Нечаянная радость, маэстро!

Заскрипели петли калитки, и все пятеро вступили в приют Скорбящей богоматери, погруженный в полную тьму; по широким коридорам порой прокатывался, словно занесенный порывом ветра, отдаленный гул карнавала.

— Нечаянная радость! — повторяла монахиня, зажигая свечи в большом музыкальном зале; мрамор и лепные гирлянды, ряды стульев, драпировки и позолота, ковры, картины на библейские сюжеты делали его похожим не то на театр без сцены, не то на церковь без алтаря, создавали одновременно впечатление монастырского благочестия и светской суетности, показного блеска и тайны. В глубине, там, где угадывались затененные своды купола, мерцание свечей и люстр отражалось в высоких трубах органа.

Монтесума и Филомено начали было недоумевать, зачем занесло их в такое странное место, если можно развлечься там, где нашлись бы женщины и вино, как вдруг справа из мрака, слева из полутьмы возникли два, пять, десять, двадцать светлых силуэтов и окружили черную сутану фрайле Антонио прелестной белизной своих полотняных рубашек, домашних халатиков, кофточек, кружевных чепцов. И появлялись все новые и новые, сначала они выходили совсем сонные, лениво потягиваясь, но вскоре оживились и сгрудились вокруг ночных гостей; кто взвешивал на руке ожерелье Монтесумы, кто во все глаза разглядывал Филомено, кто щипал его за щеку, желая убедиться, что это не маска. И появлялись все новые и новые, с надушенными волосами, с цветами в вырезе платья, в расшитых туфельках, пока весь неф не заполнили молодые лица — наконец-то лица без масок! — смеющиеся, озаренные радостным удивлением и уж вовсе засиявшие счастьем, когда из кладовых начали приносить кувшины с медом, испанское вино, малиновые и мирабелевые ликеры. Маэстро — так они все называли его — решил представить своих учениц: Пьерина — скрипка... Катарина — корнет... Бетина — виола... Бьянка Мария — органистка... Маргарита — двойная арфа... Джузепина — китарроне... Клаудиа — флейта... Лучета — труба...

Но постепенно, поскольку сироток было много, чуть ли не семьдесят, а маэстро Антонио изрядно выпил, он запутался в их именах и стал, указывая на одну за другой пальцем, называть лишь инструменты, на которых они играли, словно у девушек не было никакой иной жизни, кроме музыки: Чембало... Виола... Труба... Гобой... Виола да гамба... Флейта... Орган... Регаль... Пошетт... Морская труба... Тромбон...

Но вот поставили пульта, саксонец величественно уселся перед органом, неаполитанец проверил строй чембало. Маэстро поднялся на подиум, схватил скрипку, поднял смычок — и после двух повелительных взмахов грянул прекраснейший *concerto grosso*³¹⁶, какой только можно было услышать в веках, — хотя века ничего не

³¹⁵ Дурак, балда (*итал.*).

³¹⁶ Большой концерт (*итал.*).

запомнили, и очень жаль, ибо это стоило и слышать, и видеть...

Неистовым аллегро начали семьдесят женщин — они так часто репетировали свои партии, что знали их на память, — Антонио Вивальди решительно и пылко вступил в четко согласованную игру оркестра, Доменико Скарлатти — ибо это был он — летал в головокружительных пассажах по клавишам чембало, а Георг Фридрих Гендель вдохновенно исполнял ослепительные вариации, ломавшие все нормы расшифровки *basso continuo*³¹⁷.

— Давай, чертов саксонец! — кричал Антонио.

— Сейчас покажу тебе, сучий монах! — отвечал тот и продолжал свои чудесные импровизации, а Антонио, не отрывая взгляда от рук Доменико, рассыпавших арпеджио и трели, с цыганским пылом взмахивал смычком, словно извлекая звуки из воздуха, и бегал по струнам, беря октавы и двойные ноты с дьявольской виртуозностью, хорошо знакомой его ученицам.

Но вот наступила кульминация: Георг Фридрих сменил регистровку, включил все регистры органа, и в мощном *pleno*³¹⁸, казалось, зазвучали трубы Страшного суда.

— Всех нас уел саксонец! — крикнул Антонио, доводя *fortissimo*³¹⁹ до предела.

— Я и сам себя не слышу, — крикнул Доменико.

А Филомено тем временем сбегал на кухню, притащил целую батарею больших и малых медных котлов и принялся колотить по ним ложками, шумовками, сбивалками, скалками, сковородниками, так удачно подбирая ритмы, синкопы и акценты, что целых тридцать два такта все молчали, предоставив ему импровизировать в одиночку.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Георг Фридрих.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Доменико, в восторге колотя локтями по клавиатуре чембало.

Такт 28. Такт 29. Такт 30. Такт 31. Такт 32.

— Пошли! — взвыл Антонио, и все вдохновенно грянули *da capo*³²⁰, словно стремясь раскрыть самую душу скрипок, гобоев, тромбонов, больших и малых органов, виол да гамба, всего, что только могло звучать под сводами нефа, а в вышине, как будто потрясенные громом небесным, звенели хрустальные подвески люстр.

Финальный аккорд. Антонио опустил смычок. Доменико захлопнул крышку чембало. Вытащив из кармана кружевной платочек, слишком миниатюрный для такого обширного лба, саксонец отер пот. Питомицы приюта разразились громким хохотом, увидев, как Монтесума раздает всем бокалы с напитком собственного изобретения, подмешивая всего понемножку из кувшинов и бутылок. Таково было общее настроение, когда Филомено вдруг замер перед картиной, на которую неожиданно упал свет от переставленного канделябра. На картине была изображена Ева, искушаемая змеем. Но внимание привлекала не Ева — тощая и желтая, слишком тщательно прикрытая длинными волосами в напрасной заботе о стыдливости, которой

³¹⁷ Басовая линия, снабженная в нотах цифровыми обозначениями аккордов, требующими от исполнителя соответствующей расшифровки (*итал.*).

³¹⁸ *Здесь:* полное звучание органа (*итал.*).

³¹⁹ Очень громко (*итал.*).

³²⁰ Сначала (*итал.*).

еще не существовало во времена, не ведающие плотских соблазнов, — а змей, толстый, в зеленых разводах, тремя витками охвативший ствол дерева; глядя огромными злобными глазами, он, казалось, предлагал яблоко тем, кто рассматривал картину, а не своей жертве, пока еще не решавшейся — и это понятно, если вспомнить, чего стоило нам ее согласие, — принять плод, который сулил ей рожать в муках чрева своего. Филомено медленно подошел к картине, словно опасаясь, что змей может выскочить из рамы, и принялся бить в большой, глухо звенящий поднос; обведя взглядом всех окружающих и как бы свершая какой-то невиданный обряд, он запел:

Мамочка, мамочка,
ко мне, ко мне, ко мне.
Змеюка злая хочет
сожрать меня живьем.

Смотри, что за глазищи,
они горят, как плошки,
смотри, что за зубищи,
они острее ножа.

Неправда, негрityночка,
иди, иди ко мне,
все это только шуточка,
иди, иди ко мне.

И, прынув вперед, словно собираясь убить кухонным ножом змея на картине, прокричал:

И змеюка сдохла,
ка-ла-ба-сон,
сон-сон,
Ка-ла-ба-сон,
сон-сон³²¹.

— Кабала-сум-сум-сум, — подхватил Антонио Вивальди, по привычке к церковному пению придав припеву неожиданный оттенок латинского псалма.

— Кабала-сум-сум-сум, — подхватил Доменико Скарлатти.

— Кабала-сум-сум-сум, — подхватил Георг Фридрих Гендель.

— Кабала-сум-сум-сум, — повторяли на семьдесят голосов питомицы приюта, заливаясь смехом и хлопая в ладоши. И вслед за негром, который теперь бил в поднос пестиком, они потянулись вереницей, ухватив одна другую за пояс, покачивая бедрами, отплясывая самую причудливую фарандолу; потом фарандолу повел за собой Монтесума, вертя над головой огромный фонарь на палке от метлы, двигаясь в такт несмолкаемым ударам. Кабала-сум-сум-сум! И так извивающейся, приплясывающей вереницей они несколько раз обогнули зал, пересекли часовню, три раза прошлись по коридорам и переходам, поднимаясь по лестницам, спускаясь по лестницам, обежали все боковые галереи, пока к ним не присоединились монахини-надзирательницы,

³²¹ Перевод Н. Наумова.

сестра-привратница, кухарки, поднявшиеся с постели судомойки, а за ними домоправитель, огородник, садовник, звонарь, лодочник, даже дурочка с чердака, которая сразу переставала быть дурочкой, едва дело доходило до пения, — и все это в доме, посвященном музыкально-инструментальному искусству, где два дня назад был дан большой концерт духовной музыки в честь короля Дании...

— Ка-ла-ба-сон-сон-сон, — пел Филомено, все громче отбивая ритм.

— Кабала-сум-сум-сум, — отвечали венецианец, саксонец и неаполитанец.

— Кабала-сум-сум-сум, — повторяли остальные, пока, обессиленные всем этим кружением, подъемами, спусками, беготней, не вернулись обратно к оркестровой эстраде и не повалились с хохотом на красный ковер, вокруг бутылок и бокалов. Отлежавшись и отдышавшись, они перешли к изысканным танцам с фигурами под модную теперь музыку, а Доменико играл на чембало, украшая известные всем мелодии умопомрачительными трелями и мордентами. За нехваткой кавалеров — поскольку Антонио не танцевал, остальные же отдыхали, раскинувшись в креслах, — парами соединились гобой и труба, рожок и орган, кларнет и виола, флейта и лютя, а пошетты отплясывали вчетвером вместе с тромбонами.

— Вся инструментовка перевернулась вверх дном, — объявил Георг Фридрих, — какая-то фантастическая симфония.

Филомено тем временем поставил свой бокал на чембало, устроился поближе к клавиатуре и завладел движением танца, скребя ключом по терке.

— Чертов негр! — воскликнул неаполитанец. — Только захочу указать ритм, как он навязывает мне свой. В конце концов придется играть каннибальскую музыку!

И, сняв руки с клавиш, Доменико опрокинул в глотку последний бокал, подхватил за талию Маргариту — двойную арфу — и углубился с ней в лабиринт келий приюта Скорбящей богоматери...

Но вот в окнах заалел рассвет. Белые фигуры останавливались одна за другой; вяло и неохотно складывали девушки свои инструменты в шкафы и футляры, видно с тоской думая о возвращении к повседневным занятиям. Веселая ночь умирала, напутствуемая звонарем, который, сразу позабыв о выпитом вине, принялся звонить к утренней молитве. Белые фигуры исчезали, словно театральные духи, в правых дверях, в левых дверях. Появилась сестра-привратница, неся две корзины, набитые булочками, сырами, крендельками, айвовым мармеладом, засахаренными каштанами и марципанами в виде розовых поросят, а из всего этого великолепия выглядывали горлышки бутылок с романьольским вином.

— Это вам позавтракать в дороге.

— Я отвезу их в своей лодке, — сказал лодочник.

— Спать хочу, — сказал Монтесума.

— Есть хочу, — сказал саксонец. — Но я хотел бы поесть в тишине, где были бы деревья, птицы — конечно, не эти наглые прожорливые голуби с площади, грудастые, как натурщицы Росальбы, с ними только зазевайся — слопают весь наш завтрак.

— Спать хочу, — повторил Монтесума.

— Сейчас тебя убаюкает плеск весел, — откликнулся Антонио.

— Что это ты там прячешь за пазуху? — спросил саксонец у Филомено.

— Ничего, подарочек на память от Катарины-корнета, — отвечал негр, поглаживая пальцами подарок, который никому не удалось разглядеть, с таким благоговением, будто прикасался к священной реликвии.

VI

Из города, все еще погруженного в серую полутьму медлительного рассвета, порывы ветра доносили до них отдаленные звуки рожков и трещоток. Веселый праздник продолжался в тавернах и под навесами кабачков; огни постепенно угасали, но ряженные, прогуляв всю ночь, и не думали приводить в порядок костюмы и маски, заметно терявшие свою привлекательность по мере того, как становилось светлее.

После долгой и мерной работы весел лодка подошла к кипарисам тихого кладбища.

— Тут можете позавтракать спокойно, — сказал лодочник, причалив к берегу.

Кошелки, корзины, бутылки перекочевали на землю. Могильные плиты походили на столики без скатертей в большом опустелом кафе. И после романьольского вина, добавленного ко всему уже выпитому ранее, голоса снова радостно зазвенели. Мексиканец очнулся от сонного оцепенения, и его попросили еще раз рассказать историю Монтесумы, которую Антонио вечером не мог как следует расслышать из-за оглушительного крика и шума.

— Великолепно для оперы! — восклицал рыжий, с напряженным вниманием впитывая каждое слово рассказчика, а тот, все более воодушевляясь, говорил драматическим тоном, жестикулировал, менял голос, произнося импровизированные диалоги, и в конце концов создал живые образы всех персонажей.

— Великолепно для оперы! Ничего больше не надо. А вот машинистам хватит работы. Блистательная роль для сопрано — эта индеанка, влюбленная в христианина, — ее можно поручить одной из тех прелестных певиц, что...

— Знаем, знаем, в них у тебя недостатка нет, — перебил Георг Фридрих.

— А как хорош персонаж побежденного императора, — продолжал Антонио, — несчастного повелителя, который так горестно оплакивает свое поражение. Я вспоминаю «Персов», вспоминаю Ксеркса:

Это я, ой-ой-ой, больно!
Окаянный! Я родной земле
на пагубу родился...³²²

— Ну уж Ксеркса оставь мне, — недовольно сказал Георг Фридрих, — для этого гожусь только я.

— Ты прав, — сказал рыжий, указывая на Монтесуму. — Из этого получится персонаж поновее. Скоро услышим, как запоет он у меня на сцене театра.

— Монах на подмостках оперы! — воскликнул саксонец. — Единственное, чего не хватало, чтобы окончательно испохабить этот город.

— Но если я это и сделаю, то, уж во всяком случае, не стану спать с Альмирами или Агриппинами, как некоторые другие... — заявил Антонио, надменно подняв острый нос.

— Благодарю! Что касается меня...

— А кроме того, мне надоели избитые сюжеты. Сколько Орфеев, сколько Аполлонов, сколько Ифигений, Дидон и Галатей! Пора искать новые сюжеты, незнакомую среду, быть может, другие страны... Польшу, Шотландию, Армению, Татарию... Другие персонажи: Джиневру, Кунегунду, Гризельду, Тамерлана или албанца Скандербегу, немало бед причинившего проклятым оттоманам. Повяло

новым духом. Скоро публике наскучат влюбленные пастушки, верные нимфы, поучающие уму-разуму козопасы, распутные боги, лавровые венки, траченные молью пеплуны и заношенные мантии.

— А почему бы вам не написать оперу про моего прадеда Сальвадора Голомона? — спросил Филомено. — Вот был бы новый сюжет. Да еще декорации с морем и пальмами.

Саксонец и венецианец так дружно расхохотались, что Монтесума вступился за своего слугу:

— Не вижу тут ничего смешного: Сальвадор Голомон защищал от гугенотов свою веру так же, как Скандербег защищал свою. Если наш земляк вам кажется варваром, то уж не меньший варвар ваш славянин из тех вон мест. — И он указал туда, где, по его представлениям, не очень точным после выпитого за ночь вина, должно было находиться Адриатическое море.

— Но... где это видано, чтобы главным героем оперы был негр? — сказал саксонец. — Негры хороши для маскарада и интермедий.

— Кроме того, опера без любви — это не опера, — сказал Антонио. — Но любовь негра и негритянки — просто потеха, а любовь негра и белой невозможна, по крайней мере в театре...

— Пойдите... Пойдите... — сказал Филомено, все повышая тон под воздействием романьольского вина. — Мне рассказывали, что в Англии имеет большой успех драма об одном мавре, заслуженном генерале, который влюбился в дочь венецианского сенатора. Какой-то соперник, завидуя их счастью, даже назвал его черным козлом, взбравшись на белую овечку, — к слову сказать, от этого получают премилые пятнистые козлята!

— Не говорите мне об английском театре! — воскликнул Антонио. — Английский посол...

— Большой мой друг, — вставил саксонец.

— Английский посол рассказывал мне о пьесах, которые идут в Лондоне, это ужас что такое. Ни в ярмарочных балаганах, ни в волшебном фонаре, ни в представлениях слепцов не увидишь ничего подобного...

И под бледными лучами зари, чуть осветившей кладбище, пошла речь о страшных преступлениях, о призраках убитых детей; герцог Корнуэльский выколол кому-то глаза на виду у публики, а потом растоптал их, словно отплясывающий фанданго испанец; дочь римского полководца изнасиловали, вырвали у нее язык и отрубили руки, а в конце пьесы был устроен пир, где оскорбленный отец, оставшийся без руки, после того как его ударил топором любовник жены, передевается поваром и подает готской королеве пирог, начиненный мясом двух ее сыновей, из которых выпустили кровь, как из поросят накануне сельской свадьбы...

— Мерзость какая! — воскликнул саксонец.

— А хуже всего то, что в пирог попали и глаза, и языки, и носы, — так рекомендуют наставления по разделке наиболее ценной охотничьей добычи...

— И все это съела королева готов? — спросил не без задней мысли Филомено.

— Так же охотно, как я эту булочку, — сказал Антонио, вонзив зубы в очередную булочку из корзины монахинь.

«И еще говорят, что таковы обычаи негров!» — подумал негр, а венецианец, пережевывая изрядный кусок кабаньей головы, маринованной в уксусе с зеленью и

красным перцем, прошелся вокруг, но внезапно замер перед соседней могилой и стал разглядывать плиту, на которой красовалось имя, звучавшее в этих краях непривычно.

— Игорь Стравинский, — прочел он по складам.

— Да, правда, — сказал саксонец, тоже с трудом прочитав имя. — Он захотел покоиться на этом кладбище.

— Хороший музыкант, — сказал Антонио. — Но многое в его сочинениях устарело. Он вдохновлялся извечными темами: Аполлон, Орфей, Персефона — до каких же пор?

— Я знаю его «Oedipus Rex»³²³, — сказал саксонец, — кое-кто утверждает, что в финале первого акта — «Gloria, gloria, gloria, Oedipus uxor»³²⁴ — музыка напоминает мою.

— Но... как только могла прийти ему в голову странная мысль написать светскую ораторию на латинский текст? — сказал Антонио.

— Исполняют также его Canticum Sacrum³²⁵ в соборе святого Марка, — сказал Георг Фридрих, — там можно услышать мелодические ходы в средневековом стиле, от которых мы давным-давно отказались.

— Дело в том, что эти так называемые передовые мастера слишком уж стараются изучать творчество музыкантов прошлого — и даже стремятся порой обновить их стиль. Тут мы более современны. На кой мне знать оперы и концерты столетней давности. Я пишу свое, по собственному знанию и разумению, и только.

— Согласен с тобой, — сказал саксонец, — но не следует также забывать, что...

— Хватит вам чушь молоть, — сказал Филомено, отхлебнув первый глоток из вновь откупоренной бутылки. И все четверо опять запустили руки в корзины, привезенные из приюта Скорбящей богоматери, — корзины, которым, подобно мифологическому рогу изобилия, не суждено было иссякнуть. Но когда пришло время айвового мармелада и бисквитов, последние утренние тучки рассеялись и лучи солнца упали прямо на каменные плиты, вспыхивая белыми отблесками под темной зеленью кипарисов. И в ярком свете словно выросли буквы русского имени, которое было им так близко. Монтесуму вино усыпило снова, саксонец же, который вообще больше привык к пиву, чем к этому дрянному винцу, опять пустился в нескончаемый спор.

— А Стравинский, — вспомнил он не без ехидства, — сказал, что ты шестьсот раз написал один и тот же концерт.

— Возможно, — сказал Антонио, — однако я никогда не сочинял цирковую польку для слонов Барнема.

— Вот скоро появятся слоны в твоей опере о Монтесуме, — сказал Георг Фридрих.

— В Мексике нет слонов, — сказал ряженный Монтесума. Эта чудовищная нелепость вывела его из забытья.

— Однако сходные животные изображены вместе с пантерами, пеликанами и попугаями на коврах в Квиринальском дворце, где показывают привезенные из Индий диковины, — сказал Георг Фридрих, упорствуя, как всякий человек, одержимый навязчивой идеей под влиянием винных паров.

323 «Царь Эдип» (лат.).

324 «Слава, слава, слава Эдиповой жене» (лат.).

325 Священное песнопение (лат.).

— Хорошую музыку слушали мы вечером, — сказал Монтесума, чтобы прекратить глупый спор.

— А! Сладкое варенье! — сказал Георг Фридрих.

— Я бы скорее сравнил ее с jam session³²⁶, — сказал Филомено, но слова эти прозвучали так странно, что показались пьяным бредом. Потом он вдруг вытащил из своего свернутого плаща, брошенного подле корзины с продовольствием, таинственный предмет, подаренный, по его словам, «на память» Катариной-корнетом: оказалось, это блестящая труба («И отличная», — заметил саксонец, великий знаток инструментов), которую негр тут же поднес к губам и, проверив мундштук, разразился пронзительными трелями, глиссандо и резкими жалобными воплями, что немедленно вызвало протесты всех остальных — ведь они пришли сюда в поисках тишины, сбежав от карнавального гвалта, и, кроме того, это не музыка, а если даже и музыка, то совершенно невозможная на кладбище, хотя бы из уважения к покойникам, которые лежат в торжественном безмолвии под своими плитами. Филомено, несколько пристыженный выговором, перестал неуместными выходками пугать птиц на островке, и те, снова почувствовав себя хозяевами, залились привычными мадригалами и мотетами. Но теперь, вволю наевшись и напившись, устав от споров, Георг Фридрих и Антонио принялись дружно зевать по всем правилам контрапункта, сами смеясь над своим невольным дуэтом.

— Вы похожи на кастратов из оперы-буфф, — сказал Монтесума.

— Кастраты, мать твою! — откликнулся монах, с жестом не вполне пристойным для того, кто — хотя ни разу не отслужил ни одной мессы, под предлогом, что от запаха ладана у него начинается одышка и зуд, — был все же человеком духовного звания с тонзурой на макушке... Меж тем тени деревьев и склепов постепенно удлинялись. В это время года дни уже становились короче.

— Пора собираться, — сказал Монтесума. Он подумал, что надвигаются сумерки, а кладбище в сумерках всегда навевает грусть, нерадостные думы о человеческой судьбе — им-то и предавался принц датский, любивший играть черепами, как мексиканские мальчишки в день поминовения усопших... Под мерный плеск весел по спокойной воде, едва колыхавшейся у бортов лодки, они медленно продвигались к площади. Уютно устроившись под украшенным кисточками навесом, саксонец и венецианец отсыпались после бурного веселья; их лица выражали такое удовольствие, что приятно было смотреть. По временам сгуб у них срывалось неясное сонное бормотание... Когда лодка проходила мимо дворца Вендрамин-Калерджи, Монтесума и Филомено увидели, что какие-то темные фигуры — мужчины во фраках, женщины в черных покрывалах, подобно античным плакальщицам, — несут к черной гондоле гроб, холодно отсвечивающий бронзой.

— Это один немецкий музыкант умер вчера от удара, — сказал, подняв весла, лодочник. — Теперь его останки везут на родину. Говорят, писал какие-то странные, очень длинные оперы, там все было: драконы, летающие кони, гномы, титаны и даже сирены, поющие на дне реки. Подумайте только! Петь под водой! В нашем театре Фениче и то нет ни приспособлений, ни машин, чтобы устроить такое представление.

Черные фигуры, закутанные в газовые и креповые покрывала, спустили гроб в похоронную гондолу, и, отталкиваясь шестами, гондольеры торжественно повели ее к железнодорожной станции, где уже пыхтел в облаках пара будто написанный

³²⁶ Закрытое исполнение джазовых мелодий и импровизаций (*амер. муз. жаргон*).

Тернером³²⁷ локомотив с пылающим, как глаз циклопа, фонарем...

— Спать хочу, — сказал Монтесума, сраженный безмерной усталостью.

— Сейчас будем на месте, — сказал лодочник. — Ведь гостиница ваша выходит на канал.

— Как раз там, где причаливают шаланды с нечистотами, — сказал Филомено, который снова хлебнул из бутылки и теперь сердился, вспоминая полученный на кладбище нагоняй.

— Все равно, спасибо, — сказал мексиканец. У него слипались глаза, и он едва почувствовал, как его вытаскивают из лодки, поднимают по лестнице, раздевают, укладывают и закутывают, подсовывая под голову подушки.

— Спать хочу, — пробормотал он только. — Ты тоже поспи.

— Ну уж нет, — сказал Филомено. — Отправлюсь со своей трубой туда, где можно повеселиться...

На улицах продолжался праздник. Взмахивая бронзовыми молотками, отбивали время мавры на Часовой башне.

VII

И мавры на Часовой башне снова отбили часы, неуклонно выполняя давнюю свою обязанность измерять время, хотя сегодня пришлось им бить молотками в сером осеннем тумане, а изморось с самого рассвета приглушала звон бронзы.

Филомено окликнул Хозяина, и тот очнулся от долгого сна, такого долгого, что казалось, он длился целые годы. Теперь мексиканец больше не был вчерашним Монтесумой — на него надели пушистый ночной халат, ночной колпак и ночные чулки, а маскарадный костюм уже не лежал на кресле, куда он его бросил — или где кто-нибудь сложил его — вместе с ожерельем, перьями и сандалиями из золоченых ремней, придававшими такое величие его особе.

— Костюм унесли, чтобы одеть синьора Массимилиано Милера, — сказал негр, доставая другую одежду из шкафа. — И поторопитесь, сейчас начинается генеральная репетиция, с освещением, машинами и всем прочим...

— Ах, да! Ясно! — Бисквиты, размоченные в мальвазии, сразу оживили его память.

Слуга проворно побрил его, и, одетый как обычно, он спустился по лестнице, поправляя запонки на кружевных манжетах. Снова ударили молотки мавров — Филомено называл их «мои братья», — но звон часов потонул в торопливом перестуке молотков на сцене театра Сант-Анджело: за красным бархатным занавесом машинисты устанавливали сложные декорации первого акта. Музыканты в оркестре подстраивали струнные и медные инструменты, когда мексиканец и слуга уселись в темной пустой ложе. Но вот мгновенно замолкли молотки и инструменты, воцарилась глубокая тишина, и за дирижерским пультом появился, весь в черном, со скрипкой в руке, маэстро Антонио. Он выглядел еще более тощим и носатым, чем всегда, но стал как будто выше ростом: суровое напряжение всех душевных сил перед решением задач высокого искусства проявлялось в величественной скупости жестов — эта тщательно выработанная сдержанность еще резче подчеркивала неистовые, почти акробатические движения во время игры, завоевавшие славу его виртуозному исполнению сложных пассажей. Погруженный в себя, не оглядываясь на немногих зрителей, разбросанных кое-где по залу, он медленно раскрыл партитуру, взмахнул смычком — как в *ту ночь* — и, выполняя двойную роль, дирижера и несравненного

³²⁷ Тернер, Уильям (1775–1851) — английский художник.

исполнителя, начал увертюру, быть может более тревожную и быструю, чем другие его симфонические произведения, написанные в спокойном темпе, и занавес раскрылся, явив взорам яркое великолепие красок. Мексиканец сразу же вспомнил многоцветные вымпелы и флажки — которыми любовался он когда-то в Барселоне, — едва увидел пламенеющий лес парусов и штандартов, развевающихся над кораблями с правой стороны сцены; слева же высились мощные стены дворца, украшенные пурпурными знаменами и полотнищами. А переброшенная через рукав мексиканского озера стройная аркада моста (пожалуй, слишком похожего на некоторые венецианские мосты) отделяла место высадки испанцев от резиденции императора Монтесумы. Однако наряду со всей этой роскошью были ясно видны следы недавнего сражения: разбросанные по полу копья, стрелы, щиты, военные барабаны. Вышел император мексиканцев со шпагой в руке и, поглядывая на смычок маэстро Антонио, запел:

Son vinto eterni Dei! tutto in un giorno
Lo splendor de miei fasti, e Iʼalta Gloria
Del valor Messican cade svenata...³²⁸

Бессильны мольбы, заклятия, призывы к небу отвести удары враждебного рока. Его удел — скорбь, отчаяние и гибель величия: *Un dardo vibrato nel mio sen...*³²⁹ Тут появляется императрица, красивая, отважная женщина, одетая не то как Семирамида, не то как венецианка Тициана, и пытается пробудить мужество в душе побежденного супруга, которому «коварный ибериец» уготовил столь тяжкие испытания.

— Без нее в драме не обойтись, — шепнул Филомено своему хозяину. — Это Анна Джиро, возлюбленная фрайле Антонио. Ей всегда дают первую роль.

— Научись наконец почтительности, — строго сказал мексиканец слуге. Но в это время, задевая головой ацтекские знамена, свисавшие над подмостками, на сцену вышел Теутиле — персонаж, упомянутый в «Истории завоевания Мексики» Мосена Антонио де Солиса, главного историографа Индий.

— Да что это, они сделали его женщиной! — воскликнул мексиканец, увидев, как выпирает у певицы грудь под туникой, украшенной греческим орнаментом.

— Недаром ее называют немкой, — сказал негр, — сами знаете, по части вымени немки...

— Но это же величайшая глупость, — перебил Хозяин. — Мосен Антонио де Солис говорит, что Теутиле был *полководцем* в войсках Монтесумы.

— А здесь ее зовут Джузеппа Пиркер, и я знаю, что она спит с его высочеством принцем Дармштадтским или, как говорят другие, Арместадамским. Ему надоел снег, и он живет в каком-то дворце этого города.

— Но Теутиле мужчина, а не женщина!

— Кто знает! — сказал негр. — Здесь есть очень порочные люди. Вот посмотрите хотя бы на это.

Оказалось, что на Теутиле пожелал жениться Рамиро, младший брат конкистадора дона Эрнана Кортеса, однако эту мужскую роль пела синьора Анджола Дзануки...

³²⁸ Я побежден, вечные боги! В единый день погубило все, блеск и великолепие моего царства и высокая слава мексиканской доблести (*итал.*).

³²⁹ Стрела, пущенная мне в грудь... (*итал.*)

— Эта тоже спит с его высочеством принцем Дармштадтским, — шепнул негр.

— Но... тут что же, все спят со всеми? — спросил скандализованный мексиканец.

— А, тут все спят с кем попало!.. Погодите, дайте послушать музыку, сейчас началась очень интересная партия трубы, — сказал негр.

Мексиканец, сбитый с толку неожиданными поворотами действия, уже заблудился в лабиринте событий, которые без конца запутывались, распутывались и снова запутывались.

Монтесума молил императрицу Митрену — так вздумалось им назвать ее, — чтобы та принесла в жертву свою дочь Теутиле («Но, черт возьми! Теутиле был ведь мексиканским полководцем!..»), прежде чем ее обесчестит разъяренный победитель. Но (эти «но» можно было умножать до бесконечности) принцесса предпочла убить себя на глазах у Кортеса. Она перешла через мост, теперь уже и вовсе похожий на мост Риальто, и, исполненная чистоты и достоинства, провозгласила:

La figlia d'un monarca,
in ostagio a Fernando? Il Sangue illustre
di tano Semidei
così ingrato avvilito!³³⁰

Тут Монтесума пустил стрелу в Кортеса, и на сцене началось такое светопреставление, что мексиканец совершенно потерял нить всей этой истории и пришел в себя, лишь когда заметил, что декорация переменилась: перед зрителями возникли внутренние покои дворца с изображениями символов солнца на стенах, и затем вышел император Мексики, одетый как испанец.

— Вот это странно! — заметил Хозяин, увидев, что синьор Массимилиано Милер сменил маскарадный костюм, в котором он — он, сидящий здесь, в этой ложе, богатый, богатейший негодяй, промышляющий серебром, — щеголял вчера ночью, позавчера ночью или позапозавчера ночью или кто его знает когда, а сменив, стал походить на римских аристократов, которые, гордясь строгостью своих нравов, в отличие от сумасбродств Венеции, перенимали моды Мадрида или Аранхуэса, как это, вполне естественно, делали во все времена богатые сеньоры заморских земель. Но так или иначе, этот выраженный испанцем Монтесума выглядел настолько неуместным, настолько неприемлемым, что действие снова начало путаться, прерываться, пересекаться в сознании бедного зрителя, и он, глядя на новое роскошное одеяние героя, этого побежденного Ксеркса музыкальной трагедии, уже не мог отличить певца от множества других переодетых людей, которые мелькали перед ним, словно прошлой ночью, позапрошлой ночью или бог его знает когда — на карнавале, пока красный бархатный занавес не закрылся под звуки мощного призыва к морскому бою, брошенного неким Аспрано, другим «мексиканским полководцем», о котором никогда не упоминали ни Берналь Диас дель Кастильо, ни Антонио де Солис в своих знаменитых хрониках...

Снова звонко отбили время мавры на Часовой башне; на сцене слышался торопливый перестук молотков, но Вивальди не уходил из оркестра; музыканты чистили апельсины, потягивали из бутылок красное вино, а он, сидя на табурете, просматривал ноты — запись следующего акта — и порой вносил поправки, сердито

³³⁰ Дочери монарха стать заложницей Эрнана? Так унижить славную кровь стольких полубогов! (*итал.*)

черкая пером. Худая спина маэстро оставалась совершенно неподвижной, пока он нервно перебрасывал страницы, вчитываясь в ноты с таким вниманием, что никто не смел отвлекать его.

— Вылитый лицензиат Кабра³³¹, — сказал мексиканец, вспомнив знаменитого наставника из романа, который обошел всю Америку.

— Я бы сказал, лицензиат *Кабро*³³², — заметил Филомено, которого не оставили равнодушным округлые бедра и розовые плечи Анны Джиро.

Но вот смычок виртуоза начал новое симфоническое вступление — на этот раз в медленном, спокойном темпе, — сцена открылась, и перед ними предстал большой зал, точно такой же, как на картине в койоаканском доме мексиканца, изображавшей эпизод из истории конкисты, — и, пожалуй, картина эта более соответствовала действительности, чем всё, что можно было увидеть до сих пор тут. Теперь Теутиле (неужели надо окончательно примириться с тем, что это женщина, а не мужчина?) оплакивала участь своего отца, захваченного в плен вероломными испанцами. Однако оказалось, что Аспрано командует людьми, готовыми освободить его: «Мои воины горят желанием скорее сесть в каноэ и пироги, горят желанием покарать герцога (*sic!*), изменившего своему слову». На сцену выходят Эрнан Кортес и императрица. Мексиканка раздражается патетической арией, в которой гордая отвага, приводящая на память царицу Атоссу Эсхила, сочетается (в начале этого акта) с известным пораженчеством, свойственным скорее Малинче³³³. Митрена-Малинче признает, что жила во тьме идолопоклонства; что грозные предзнаменования возвещали поражение ацтеков. Кроме того,

Per secoli si lunghi
furon i poipoli cotanto idioti
ch'anche i propi tesori erano ignoti,³³⁴

и становится ясно, что в этих краях поклонялись ложным богам, а теперь наконец под гром пушек и бомбард явилась истинная религия вместе с порохом, лошадью и Евангелием. Цивилизация людей высшей расы воцарилась посредством разума и силы... Но именно поэтому (здесь малинчизм Митрены отступает, и в голосе ее звучит отвага) унижение, уготованное Монтесуме, недостойно людей такой культуры и могущества: «Если с небес Европы сошли вы в эту часть света, будьте правителем, сеньор, а не тираном». Появляется Монтесума в цепях. Спор становится все более ожесточенным. Музыканты маэстро Антонио безумствуют, подчиняясь неистовым взмахам дирижерской палочки; происходит смена декораций, на какую способны только машинисты венецианской сцены, и, словно сияющее видение, возникает озеро Тескоко с вулканами на заднем плане; по озеру скользят индейские суда, и завязывается страшный морской бой, кровавая схватка испанцев с мексиканцами.

³³¹ *Кабра* — персонаж романа Франсиско Кеведо «История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

³³² *Кабро* (*cabro*) — козел (*исп.*).

³³³ *Малинче* — ацтекское имя доньи Марины (*см. прим. 297*).

³³⁴ Долгие века народы были столь неразумны, что не ведали даже собственных сокровищ (*итал.*).

Крики ярости, тучи стрел, звон оружия, сбитые шлемы, удары мечей, падающие в воду люди... Наконец на сцену врывается кавалерия, довершая всеобщую неразбериху. Трубят трубы вверху, трубят трубы внизу, пронзительно заливаются флейты и рожки; горит ацтекский флот — вспыхивают фейерверки и зажигательная смесь, летят искры, валит дым, пущена в ход вся пиротехника высшего класса. Вопли, смятение, крики, гибель...

— Bravo! Bravo! — орал мексиканец. — Так оно и было! Так и было!

— А вы сами видели? — спросил насмешник Филомено.

— Видел не видел, а говорю, что было так, и баста...

Бегут побежденные, ускакала кавалерия, сцена завалена трупами и ранеными, а Теутиле, словно покинутая Дидона, хочет броситься в догорающее пламя и умереть по законам высокой трагедии, как вдруг Аспрано объявляет, что ее собственный отец уготовил ей завидную участь: ее должны заклать, как новоявленную Ифигению, на алтаре старых богов, дабы смягчить гнев тех, кто на небесах вершит судьбы смертных.

— Ладно, как эпизод в классическом духе может сойти, — с некоторым сомнением заметил мексиканец, когда красный занавес снова закрылся.

Вскоре опять раздался перестук молотков, означавший смену декораций, вернулись на места музыканты, и после короткого симфонического вступления — ничего хорошего не предвещавшего, если судить по раздирающим слух гармониям, — узкая сцена открылась, и восхищенным взорам предстала тяжеловесная башня, а в глубине — созданная с помощью световой техники панорама великого города Теночтитлана. На земле валялись трупы, что показалось мексиканцу не совсем понятным. И возобновилось запутанное действие с участием Монтесумы, опять наряженного Монтесумой («Мой костюм, тот же самый костюм...»), плененной Теутиле, воинов, решивших освободить ее, и Митрены, которая собиралась поджечь башню.

— Еще один пожар? — спросил Филомено в надежде, что повторится столь великолепное зрелище. Но нет. Башня чудесным образом превратилась в храм, у входа в который возвышалось изваяние какого-то страшного, уродливого, длинноухого бога, очень похожего на дьяволов Босха, чьи картины так нравились королю Филиппу II и до сих пор хранятся в могильно-мрачном Эскориале. Одетые в белое жрецы называли этого бога «Училибос».

«Откуда они взяли это имя?» — подумал мексиканец.

Привели Теутиле со связанными руками и уже собрались приступить к кровавому жертвоприношению, когда синьор Массимилиано Милер, из последних сил напрягая голос, изрядно утомленный безудержным вдохновением Антонио Вивальди, героически запел скорбную арию, вполне достойную поверженного монарха персов: «Звезды, вы победили. / На моем примере мир убедится в непостоянстве вашем. / Я был королем и хвалился божественной властью. / Теперь я — жертва, скованный пленник, презренная добыча чужой славы, / и мне суждено стать в грядущем лишь достоянием истории».

Пока мексиканец утирал слезы, вызванные столь возвышенными сетованиями, занавес закрылся, вновь раскрылся, и мы перенеслись на украшенную в стиле римских триумфов площадь с ростральными колоннами — главную площадь Мехико, где реяли по ветру все флажки, вымпелы, штандарты и знамена, какие только появлялись ранее. Входят пленные мексиканцы, с цепями на шее, горько оплакивая свое поражение; зрители приготовились уже наблюдать новую бойню, но тут происходит нечто непредвиденное, невероятное, чудесное и нелепое, противное всякой правде: Эрнан

Кортес прощает своих врагов, и, дабы закрепить дружбу между ацтеками и испанцами, при общем восторге, под радостные клики празднуется свадьба Теутиле и Рамиро; побежденный император клянется в вечной верности испанскому королю, а хор в сопровождении струнных и медных, играющих под водительством маэстро Вивальди победно и оглушительно громко, славит наступление мира, торжество истинной религии и счастье, дарованное Гименеем. Марш, эпиталама, общий танец, *da caro*, еще *da caro*, еще *da caro*, и наконец красный бархатный занавес закрывается перед негодующим мексиканцем.

— Вранье, вранье, вранье! Все вранье! — закричал он.

И, продолжая кричать: «Вранье, вранье, вранье! Все вранье», бросился к рыжему монаху, который складывал партитуру, утирая пот большим клетчатым платком.

— Вранье? Что именно? — спросил с удивлением музыкант.

— Все. Этот финал — чистая глупость. История...

— Историкам в опере делать нечего.

— Но... никогда в Мексике не было такой императрицы, и никакая дочь Монтесумы не выходила замуж за испанца.

— Минутку! Минутку! — внезапно вспыхнув, воскликнул Антонио. — Поэт Альвисе Джусти, автор этой «драмы для музыки», изучил хронику де Солиса, которую главный библиотекарь знаменитой библиотеки святого Марка очень ценит как документальную и точную. И там говорится об императрице, да, синьор, женщине достойной, возвышенной и отважной.

— Никогда ничего подобного не видел.

— Глава двадцать пятая пятой части. А кроме того, в четвертой части говорится, что две или три дочери Монтесумы вышли замуж за испанцев. Так что одной больше или меньше...

— А этот бог, Училибос?

— Не виноват я, что у всех ваших богов какие-то невозможные имена. Сами конкистадоры, стараясь подражать мексиканской речи, называли его Училобос или как-то в этом роде.

— А, понял. Речь идет об Уицилопочтли.

— И вы полагаете, что это можно спеть? Все имена в хронике де Солиса похожи на скороговорку. Сплошные скороговорки: Истлапалалпа, Гоасокоалко, Хикаланго, Тласкала, Махискацин, Куальпопока, Хикотенкатль... Я заучил это как упражнение в артикуляции. И какого черта надо было придумывать такой язык?

— А Теутиле, из которого вы сделали женщину?

— Ну, это имя хоть произнести можно, и оно вполне подходит для женщины.

— А куда девался Гуатимосин, настоящий герой этой истории?

— Он бы нарушил единство действия... Это персонаж для другой драмы.

— Но... Монтесуму побили камнями.

— Совсем непривлекательная картина для финала оперы. Англичанам это еще могло бы пригодиться, они всегда кончают свои театральные представления убийствами, резней, похоронными маршами и погребениями. Но здесь люди приходят в театр, чтобы развлечься.

— А где же донья Марина? Ее и вовсе нет в этом мексиканском маскараде!

— Ваша Малинче была мерзкой предательницей, а публика не любит предателей. Ни одна наша певица не согласилась бы на такую роль. Чтобы стать поистине великой и удостоиться музыки и рукоплесканий, эта индеанка должна была поступить как

Юдифь с Олоферном.

— Однако же ваша Митрена признает превосходство конкистадоров.

— Да, но именно она до самого финала призывает к безнадежному сопротивлению. Такие персонажи всегда имеют успех.

Мексиканец, хотя несколько сбавив тон, продолжал настаивать:

— История говорит нам...

— Не суйтесь вы с историей в театральные дела. Главное тут — поэтическая иллюзия... Сами судите, знаменитый господин Вольтер не так давно поставил в Париже трагедию, построенную на нежной любви Оросмана и Заиры, а живи эти исторические лица в то время, когда происходит действие, ему было бы за восемьдесят, а ей — далеко за девяносто.

— Тут уж никакие снадобья не помогут, — буркнул Филомено.

— И еще там говорится, что Иерусалим поджег султан Саладин, а это уж чистое вранье, потому что на самом деле если кто и разграбил город и вырезал население, то это наши крестоносцы. А ведь святые места имеют свою историю. Великую, достойную уважения историю!

— Значит, историю Америки вы не считаете великой и достойной уважения?

Музыкант положил свою скрипку в подбитый пунцовым атласом футляр.

— В Америке всё сказки: Эльдorado и Потоси, города-призраки, говорящие губки, ягнята с золотым руном, амазонки с одной грудью и индейцы-орехоны, которые питаются иезуитами...

Мексиканец снова вспылал:

— Ну, если вам так нравятся выдумки, пишите музыку на сюжет «Неистового Роланда».

— Это уже сделано: премьера была шесть лет назад.

— Не хотите ли вы сказать, что вывели на сцену Роланда, который нагишом, с голым задом мечется по всей Франции и Испании, а потом пускается вплавь через Средиземное море и от нечего делать летит на Луну?...

— Хватит вам чушь молоть, — сказал Филомено, который с большим интересом разглядывал на свободной от машинистов сцене синьору Пиркер (Теутиле) и синьору Дзануки (Рамиро): певицы, уже разгримированные и одетые в обычное платье, горячо обнимались и поздравляли друг друга — быть может, слишком страстно целуясь — с тем, как хорошо — и это была правда — обе они пели.

— Особое пристрастие? — спросил мексиканец, выбирая самые осторожные слова, какие могли выразить возникшие у него подозрения.

— Да кому до этого дело! — воскликнул Вивальди и сразу заторопился, услышав нетерпеливый зов прекрасной Анны Джиро, которая появилась, на этот раз без блеска освещения и театральных эффектов, в глубине сцены.

— Чувствую, вам не понравилась моя опера... В следующий раз подыщу сюжет из римской истории...

На площади мавры Часовой башни проббили молотками шесть раз, а вокруг них уже спали голуби, и от каналов поднимался влажный туман, застилая эмаль и золотые украшения часов.

VIII

Труба вострубит...

Первое Послание к коринфянам, 52

Промокшие под упорным мелким дождем суконные плащи отдавали запахом

хлева; мексиканец шагал мрачный, погруженный в свои мысли, не поднимая глаз, словно пересчитывал мраморные плиты площади, казавшиеся голубыми в свете городских огней; слышно было только его невнятное бормотание, в котором мысли так и не выражались словами.

— Что это, вы как будто удручены этим музыкальным представлением? — спросил его Филомено.

— Сам не знаю, — сказал наконец мексиканец, прервав свой невразумительный монолог. — Маэстро Антонио задал моим мозгам работу этой сумасбродной мексиканской оперой. Я — внук людей, родившихся в Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, сын эстремадурца, крещенного в Медельине, где крещен был и Эрнан Кортес. И тем не менее сегодня, сейчас вот, со мной произошло нечто весьма странное: когда лилась музыка Вивальди и развивалось сопровождавшее ее действие, я горячо хотел, чтобы восторжествовали ацтеки, я жадно ожидал развязки, совершенно невозможной: ведь я-то родился там и лучше всех знаю, как происходили события. Я сам себя поймал на нелепой надежде, что Монтесума победит спесивого испанца, а его дочь, подобно библейской героине, обезглавит выдуманного Рамиро. И я вдруг почувствовал, как, стоя среди индейцев, натягиваю лук и страстно желаю гибели тем, кто даровал мне имя и кровь. Будь я Дон Кихотом из «Балаганчика маэсе Педро»³³⁵, я бросился бы с копьём и щитом против своих единоверцев в шлемах и кольчугах.

— А разве не в том и состоит назначение театральной иллюзии, чтобы вырвать нас из обычной обстановки и перенести туда, куда по собственной воле нам не попасть? — спросил Филомено. — Благодаря театру мы можем вернуться назад и жить, независимо от теперешней нашей телесной оболочки, в те времена, что ушли навсегда.

— Назначение театра, как об этом писал один древний философ, состоит также и в том, чтобы очищать нас от тревог, скрытых в тайных глубинах нашей души... При виде искусственной Америки этого жалкого поэта Джустини я почувствовал себя не зрителем, а актером. Я позавидовал Массимилиано Милеру, надевшему одежду Монтесумы, она с пугающей достоверностью вдруг стала моей. Мне почудилось, будто певец играет роль, предназначенную для меня, а я по трусости и неумению оказался неспособен исполнить ее. Я вдруг почувствовал себя как бы вне окружающей жизни, неуместным здесь, далеким от самого себя и от того, что действительно было моим... *Иногда необходимо уехать вдаль, уплыть за моря, чтобы все понять по-настоящему.*

Тут мавры Часовой башни отбили время, как делали это испокон веков.

— Осточертел мне этот город с его каналами и гондольерами. Плевал я на Анчиллу, Камиллу, Джульетту, Анжелетту, Катину, Фаустоллу, Спину, Агатину и всех остальных, чьи имена даже не запомнил. Хватит! Сегодня же ночью возвращаюсь домой. Мне нужен другой воздух, чтобы вновь стать самим собой.

— Если верить маэстро Антонио, все *тамошнее* — одни сказки.

— Сказками питается великая история, не забывай об этом. Сказкой кажутся наши дела здешним людям, потому что они утратили понимание сказочного. Они называют *сказочным* все давно прошедшее, непостижимое, оставшееся позади, — помолчав, заметил мексиканец. — Они не понимают, что сказочное ждет нас в будущем. Будущее всегда сказочно.

335 «Балаганчик маэсе Педро» — опера испанского композитора Мануэля де Фальи (1876–1946).

...Теперь они шли по веселой улице Мерчериа, менее оживленной, чем обычно, из-за дождя, моросившего так упорно, что вода начала капать с полей шляп. Мексиканец вспомнил о поручениях, которыми наградили его накануне отъезда там, в Койоакане, друзья и сотрапезники. Он, конечно, не собирался разыскивать образцы мрамора, яшмовую трость и редкие фолианты или добавлять к своей поклаже бочонок мараскина и римские монеты. Что же касается инкрустированной перламутром мандолины... пускай вместо ее струн дочка инспектора мер и весов щиплет собственные телеса, они вполне для этого подходят! Но вот здесь, в музыкальной лавке, наверняка можно найти сонаты, концерты и оратории, о которых так скромно просил учитель бедного Франсискильо. Они вошли. Для начала продавец предложил им несколько сонат Доменико Скарлатти.

— Великолепный парень, — сказал Филомено, вспомнив знаменательную ночь.

— Говорят, этот повеса сейчас в Испании и там добросердечная, любвеобильная инфанта Мария Барбара уплатила все его карточные долги, а они ведь знай растут, пока остается хоть одна колода карт в игорном доме.

— У каждого свои слабости. Этого всегда больше привлекали женщины, — сказал Филомено, кивнув на концерты маэстро Антонио. Они назывались «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», и каждому предшествовал — в объяснение — прекрасный сонет.

— Он-то всегда будет жить весной, даже если его настигнет зима, — сказал мексиканец.

Но продавец уже восхвалял достоинства замечательной оратории «Мессия».

— Ни больше, ни меньше! — воскликнул Филомено. — Саксонец на мелочи не разменивается.

Он раскрыл партитуру.

— Черт! Вот это называется писать для трубы! Ах, если бы сыграть это!

И он с восторгом читал и перечитывал арию баса, написанную Георгом Фридрихом на слова «Послания к коринфянам». Над нотами, которые мог сыграть на своем инструменте только самый искусный исполнитель, были написаны слова, чем-то напоминающие spiritual³³⁶:

The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Incorruptible, incorruptible,
And we shall be changed,
And we shall be changed!
The trumpet shall sound,
The trumpet shall sound! 337

³³⁶ Религиозные песнопения негров, послужившие одним из источников джазовых мелодий (англ.).

337

Труба вострубит,
и мертвые восстанут
нетленными, нетленными,
а мы изменимся,
а мы изменимся!
Труба вострубит,
труба вострубит! (англ.)

Уложив багаж, спрятав ноты в чемодан из толстой кожи с украшением в виде ацтекского календаря, мексиканец и негр отправились на железнодорожную станцию. Когда до отхода экспресса оставалось несколько минут, Хозяин выглянул из окна своего купе в Wagons-Lits Cook³³⁸.

— Чувствую, ты остаешься, — сказал он Филомено, который, ежась от холода, топтался на перроне.

— Останусь еще на денек. Сегодняшний вечер для меня особенно важен.

— Представляю себе... Когда же ты вернешься на родину?

— Сам не знаю. Раньше поеду в Париж.

— Женщины? Эйфелева башня?

— Нет. Женщин всюду хватает. А Эйфелева башня давно уже не чудо. Разве что фигурка для пресс-папье.

— В чем же дело?

— В Париже меня будут называть monsieur Philomene, вот так, через «Ph» и с красивым акцентом на «е». А в Гаване я навсегда останусь всего лишь негритенком Филомено.

— Все может когда-нибудь измениться.

— Для этого понадобится революция.

— Боюсь я революций.

— Потому что у вас много серебра там, в Койоакане. У кого есть серебро, те не любят революций... А мы — нас много, и скоро мы станем *массами*...

Еще раз — который раз за века? — пробили молотками время мавры на Часовой башне.

— Может быть, я слышу их в последний раз, — сказал мексиканец. — Многому научили они меня за время путешествия.

— Вообще, путешествуя, многому можно научиться.

— Басилио, великий каппадокиец, святой и ученый муж церкви, утверждал в интереснейшем трактате, что Моисей приобрел немало знаний, пока жил в Египте, а Даниил превосходно разгадывал сны — сейчас это так модно! — потому что его научили этому халдейские прорицатели.

— Постарайтесь извлечь пользу из вашего путешествия, — сказал Филомено. — Я же займусь своей трубой.

— Ты остаешься в хорошей компании: труба напориста и решительна. Инструмент грозного и возвышенного звучания.

— Потому и трубит она в час Страшного суда, когда приходит время свести счета со всеми негодьями и сукиными детьми, — сказал негр.

— Ну, чтобы покончить с ними, придется ждать конца света, — сказал мексиканец.

— Странно, — сказал негр. — Всегда я слышу о Конце Времен. Не лучше ли говорить о Начале Времен?

— Оно начнется в день воскресения мертвых, — сказал мексиканец.

— Нет у меня времени ждать столько времени, — сказал негр.

Большая стрелка вокзальных часов перескочила через минуту, отделявшую ее от восьми вечера. Поезд начал почти незаметно скользить в темноту.

— Прощай!

³³⁸ Спальный вагон (франц.).

— Надолго ли расстаемся?

— До завтрашнего дня?

— Или до вчерашнего... — сказал негр, но слово «вчерашнего» заглушил долгий свисток локомотива...

Филомено вернулся на освещенную площадь, и ему вдруг показалось, что город невероятно постарел. На обветшалых стенах проступили морщины, трещины, расщелины, появились пятна плесени и древнего грибка, разъедающего непрочные творения человека. Колокольни, мозаики, купола и эмблемы, красующиеся на плакатах по всему белому свету, чтобы привлечь обладателей *travellers cheques*³³⁹, утратили из-за этих бесчисленных изображений волшебную силу святых мест, которые требуют, чтобы тот, кто хочет созерцать их воочию, преодолел в пути преграды и опасности. Казалось, будто уровень воды поднялся. Быстро проносились моторные лодки, бурлили мелкие, но упорные, неустанные волны, разбиваясь о сваи и деревянные столбы, на которых высились дома, кое-где обманчиво подновленные при помощи строительной косметики и пластических операций, произведенных рукой современного архитектора. Венеция как будто с каждым часом все глубже погружалась в мутные, взбаламученные воды. Глубокая печаль нависла этим вечером над больным дряхлеющим городом. Но Филомено не был печален. Никогда он не был печален. Сегодня вечером, через полчаса, состоится концерт — столь долгожданный концерт того, кто всех призывает своей трубой, как бог Захарии, господь Исайи, или как велит самый радостный псалом Священного писания. И, зная, что ему предстоит выполнить еще немало задач там, где музыка подчиняется четкому ритму, Филомено легким шагом направился к концертному залу: афиши извещали, что через минуту зазвучит труба несравненного Луи Армстронга. И Филомено показалось, будто единственное, что осталось для него в этом свайном городе живым, современным, стремительным, летящим, словно стрела, в будущее, был ритм, ритмы простейшие и вместе с тем полные глубокого смысла, существующие только здесь, на земле, и нигде более, ибо люди доказали — совсем недавно, конечно, — что в сферах есть только музыка самих сферических тел, однообразный контрапункт их круговращений, ведь, даже поднявшись на Луну, обожествленную в Египте, Шумере и Вавилонии, жители Земли с огорчением обнаружили там лишь свалку никчемных камней, звездную пыль и обломки других, летящих по более отдаленным орбитам светил, уже показанных нам в астрономических атласах и показавших, что наша иной раз довольно мерзкая Земля, в конце концов, не такое уж дерьмо и не так недостойна благодарности, как кое-кто утверждает — ведь что бы ни говорили, это самый жилой Дом во всем Мироздании, — а у проклятого и испорченного человека, которого нам не с кем сравнивать за неимением других людей в Солнечной системе (быть может, потому он и оказался Избранником, ничто не доказывает противного), нет более высокой цели, чем постичь смысл собственной жизни. Пусть ищет решения своих проблем в оружии Огуна или на путях Элегу³⁴⁰, в Ковчеге завета или в Изгнании торгующих из храма, в платоновском базаре идей и предметов потребления или в знаменитом «аргументе-пари» Паскаля и иже с ним, в Слове или в Вере — это уже не его дело. Филомено пока что собирался решить их при помощи музыки земной, ибо музыка сфер его ничуть не волновала. Он

³³⁹ Аккредитивов (*англ.*).

³⁴⁰ Огун, Элегуа — божества афро-негритянского культа, духовные защитники человека.

показал свой ticket³⁴¹ у входа в театр, капельдинерша с невероятно толстым задом — негру все представлялось особенно явственным, почти осязаемым — проводила его на место, и под гром, оглушительный гром рукоплесканий и приветствий появился чудодей Луи. И, поднеся трубу к губам, вдохновенно, как умел только он один, начал мелодию «Go down, Moses»³⁴², затем перешел к «Jonah and the Whale»³⁴³, и звуки неслись из медного раструба к театральным небесам, где замерли в полете розовые музыканты ангельского хора, возможно обязанные своим рождением светлой кисти Тьеполо. И снова Библия претворялась в ритм и жила меж нами вместе с «Ezekiel and the Whee»³⁴⁴, пока не вырвалась на простор в звуках «Hallelujah, hallelujah»³⁴⁵, которые неожиданно напомнили Филомено образ Того — Георга Фридриха *той ночи*; теперь он покоился под барочной статуей Рубильяка в большом мраморном приделе Вестминстерского аббатства рядом с Пёрселлом, который тоже знал толк в грозных и торжественных трубах. Но вот вслед за виртуозом заиграли новое произведение инструменты, собранные на сцене: саксофоны, кларнеты, контрабас, электрическая гитара, кубинские барабаны, мараки (а может, это и есть «типинагуа», упомянутые когда-то поэтом Бальбоа?), цимбалы, деревянные брусочки, постукивающие в руках музыканта, словно молотки по серебру, барабаны с приглушенным звуком, щетки, треугольники-систры и рояль с поднятой крышкой, который в давние времена, помнится, назывался как-то вроде «хорошо темперированный клавир».

«Пророк Даниил, тот, что многому научился в Халдее, рассказал об оркестре, который состоял из медных, цимбал, цитры, арф и самбук и, наверно, очень походил на этот», — подумал Филомено.

Но тут все инструменты, следуя за трубой Луи Армстронга, грянули энергичное strike-up³⁴⁶ ослепительных импровизаций на тему «I can't give You Anything but Love, Baby»³⁴⁷ — нового концерта барокко, к которому, как нежданное чудо, присоединился залетевший через слуховое окно звон часов: мавры отбивали время на Часовой башне.

Гавана-Париж, 1974

Примечание

Очевидно, опера «Монтесума» Вивальди — который ввел американскую тему в театр за два года до того, как Рамо написал «Галантные Индии» из жизни совершенно фантастических инков, — имела такой успех, что либретто Альвисе (другие называют его Джироламо) Джустини побудило написать оперу на тему завоевания Мексики еще двух известных итальянских композиторов: венецианца Бальдасаре Галуппи (1706–1785) и флорентинца Антонио Саккини (1730–1786).

Хочу выразить благодарность выдающемуся музыканту и пылкому вивальдисту Ролану де Конде, который навел меня на след «Монтесумы» маэстро Антонио.

³⁴¹ Билет (англ.).

³⁴² «Сойди, Моисей» (англ.).

³⁴³ «Иона и кит» (англ.).

³⁴⁴ «Иезекииль и колесо» (англ.).

³⁴⁵ «Аллилуйя» (англ.).

³⁴⁶ Начало (англ.).

³⁴⁷ «Я не могу тебе дать ничего, кроме любви, малютка» (англ.).

Что же касается чарующей атмосферы приюта Скорбящей богоматери — его Катарины-корнета, Пьерины-скрипки, Лючеты-виолы и так далее, и так далее, — то о нем упоминают многие путешественники того времени, особенно восхитительный президент де Бросс, вольнодумец и друг Вивальди, в своих вольных «Итальянских письмах».

Должен предупредить, я описал не то здание, что существует сейчас, построенное в 1745 году, а старое, стоявшее на том же месте на набережной Скьявони. Любопытно, однако, отметить, что нынешняя церковь Скорбящей богоматери, верная своему музыкальному предназначению, сохраняет необычный для церкви вид концертного зала благодаря роскошным внутренним балконам, похожим на театральные, а также большой почетной ложе в центре для именитых слушателей и знатных меломанов.

Арфа и тень

© Перевод И. Тынянова

Посвящается Лилии

В арфе, когда она звучит, есть три вещи: искусство, рука и струна.

В человеке — тело, душа и тень.

«Золотая легенда»

I. Арфа

Хвалите Его на кимвалах громогласных! Хвалите его на арфе!..

Псалом 150

Остались позади восемьдесят семь светильников Алтаря Исповеди, чьи пламена колебались не раз этим утром в своих хрустальных чашах, согласно торжественным звукам мощных голосов папской капеллы, поющих «Te Deum»; тихо притворились монументальные двери, и в часовне Святого Таинства, которая тем, кто выходил из ослепительного света базилики, казалась погруженной в вечерний сумрак, папские носилки, передаваемые с плеч на руки, замерли на три пяди от пола. Опахальщики вставили стёбла своих высоких вееров из перьев в рукоять, и началось медленное путешествие Его Святейшества через бесчисленные палаты, что еще отделяли его от личных апартаментов, под такт шага носителей, одетых в пурпур, которые подгибали колени, когда надлежало пройти через какую-нибудь дверь с низкой притолокой. По обе стороны длинного-предлинного пути, пролегающего меж стенами залов и галерей, скользили темные полотна маслом, лепные украшения, зачерненные временем, ковры потухших тонов, что показывали, верно, тому, кто взглянет на них с любопытством чужеземного гостя, мифологические аллегии, славные победы веры, молящиеся лики блаженных или сцены, изображающие назидательные жития святых. Немного усталый, Первосвященник забылся легкой дремотой, покуда сменялись, согласно чину и рангу, сановники свиты, приглашенные не следовать далее за грань того или иного порога в соблюдение строжайшего порядка церемоний. Сперва, попарно, стали исчезать Кардиналы в парадных мантиях, со своими угодливыми шлейфоносцами; затем епископы, облегчая голову от тяжести блестящих Митр; за ними — каноники, капелланы, апостолические протонотарии, главы конгрегации, прелаты из тайной камеры, офицеры охраны, монсиньор мажордом и монсиньор камерленг — до тех пор, пока, уже близ палат, чьи окна выходят на внутренний двор Сан-Дамазо, роскошь золотого, фиолетового и гранатового, кружево, шелка и муары не уступили места более скромным одежаниям домашних прислужников, привратников и служителей папских носилок. Наконец престол был спущен на пол возле скромного рабочего стола Его Святейшества и затем, уже лишенный священнейшей ноши, снова поднят носильщиками, удалившимися с многократными поклонами. Сидя теперь в кресле, придающем отдохновенное чувство устойчивости, Папа спросил освежающего оршада у сестры Крешенсии, ведающей его напитками, и, отослав ее взмахом руки,

относящимся также и к его камердинерам, услышал, как запиралась дверь — последняя дверь, отделяющая его от блестяще-мельтешащего мира Князей Церкви, придворных прелатов, сановников и патриархов, чьи епископские посохи и священнические облачения мешались, среди облаков ладана и усердия кадильщиков, с мундирами камеристов, рыцарей плаща и шпаги, дворянской гвардии и швейцарской гвардии — эта последняя такая роскошная в своих серебряных кирасах, касках кондотьерского толка, при старинных секирах и в платье, исполосованном оранжевым и бирюзовым — цвета, предписанные ей раз и навсегда кистью Микеланджело, столь связанного в своем творении и памяти людей с пышным бытием базилик.

Было жарко. Поскольку окна во двор Сан-Дамазо были заложены — разумеется, кроме его окна, — чтоб не дать возможности нескромным взглядам шарить по приватным папским покоям, тишина здесь царила столь не ведающая городской суеты, стука колес или шума ремесел, что, когда сюда долетало эхо какого-нибудь далекого колокола, он звенел как музыка памяти — о Риме, таком отдаленном, словно всплыл из иного мира. Викарий Господа умел различать отдельные голоса бронзы по звукам, какие приносил ему ветер. Этот, легкий, с частым перезвоном, принадлежал барочному храму Иль-Джезу; тот, величественный и неторопливый, более близкий, — базилике Санта-Мария-Маджоре; а еще один, теплый и гулкий, — церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, где в глубине алых мраморов рисовалось человеческое лицо Екатерины Сиенской, страстной и безудержной доминиканки, пламенной защитницы его предтечи Урбана VI, вспыльчивого героя Великого Раскола, кого чтил за воинственность тот, кто пять лет назад опубликовал пресловутый «Силлабус»³⁴⁸, под которым не фигурировала его подпись, хотя целый свет знал, что текст был питаем его обращениями-аллокуциями, проповедями, энцикликами и пастырскими письмами, где осуждалась *зараза* тех заблуждений, какие, в переводе на новые времена, означают социализм и коммунизм, так жестко бичуемые его строгой и четкой латинской прозой наравне с тайными обществами (следует понимать — все франкмасоны), библейскими обществами (предупреждение Соединенным Штатам Америки) и вообще многими клерико-либеральными группами, которые так настойчиво давали о себе знать в те времена. Скандал, развязанный «Силлабусом», принял такой размах, что сам Наполеон III, кого трудно заподозрить в либерализме, сделал невозможное, чтоб воспрепятствовать его распространению во Франции, где половина клира, изумленная подобной непримиримостью, осуждала подготовительную энциклику «Quanta Cura» — «Столь великое попечение» — как чрезмерно нетерпимую и крайнюю... о, как бледна она в своем осуждении любого религиозного либерализма, если ее сравнить с почти библейскими хулами Папы Урбана, так свирепо поддержанными Сиенской доминиканкой, чей образ во второй раз приводил ему нынче на память перезвон церкви Санта-Мария-сопра-Минерва! «Силлабус» созревал медлительно в его мозгу, с тех пор как в своих странствиях по американским землям он мог убедиться в плодovitой мощи некоторых философских и политических идей, для коих не существовало границ ни морских, ни горных. Он видел это в Буэнос-Айресе и видел по ту сторону Андийских Кордильер во время того путешествия, уже далекого, такого богатого полезными уроками, от которого, однако, с мягкой и скорбной настойчивостью его отговаривала праведница-мать, графиня Антония Каттарина Солацци, примерная жена того надменного, прямого и строгого

348 «Силлабус» — послание папы Пия IX (1864), осуждающее «современную ересь».

отца, графа Джироламо Мастаи-Ферретти, кто хиленькому и болезненному мальчику, каким был тогда он сам, виделся и сейчас еще — величественный и суровый, шествующий в парадном платье хоругвеносца под завистливыми взглядами жителей его родного города Сенигаллии... В покое, обретенном наконец в этот день, начавшийся помпой и блеском церемоний, прозрачное имя Сенигаллии гармонически слилось с далеким-далеким хором римских колокольчиков для духовной паствы, принеся воспоминание о хороводах, какие под колокольный звон водили, взявшись за руки, во внутреннем дворике обширного родового поместья его старшие сестры с такими красивыми именами — Мария Вирджиния, Мария Изабелла, Мария Текла, Мария Олимпия, Каттарина Джудитта, все они со свежими и веселыми голосами, чей звук, хранимый памятью сердца, воскресил внезапно те, другие голоса, тоже детские, слитые в наивном вильянсико, слышанном в начале грозового рождества в таком далеком, таком далеком и, однако, памятном городе Сантьяго-де-Чиле:

В эту ночь у нас сочельник,
В эту ночь никто не спит,
У Пречистой нынче роды,
Знать, к полуночи родит.

Но внезапно мощный голос церкви Санта-Мария-сопра-Минерва оторвал его от воспоминаний, возможно слишком легкомысленных в такой день, когда, немного отдохнув от долгой церемонии, зажегшей солнца Кафедры Святого Петра, ему предстояло отважиться принять очень важное решение. Меж дароносицей ювелирной работы, предположительно Бенвенуто Челлини, и кадьницы из горного хрусталя, очень старинной по своей фактуре, чья форма напоминала Иктус (греческую монограмму Христа в форме рыбы) древних христиан, находилось собрание бумаг — знаменитое дело! — ожидавшее еще с прошлого года. Никто не проявил нескромного намерения торопить его, но было очевидно, что высокочтимый кардинал Бордоский, митрополит епархии Антильских островов, его преосвященство кардинал-архиепископ Бургоса, высокоименитый архиепископ Мексики, так же как и шестьсот с чем-то епископов, поставивших свои подписи под документом, должны были чувствовать настойчивое желание познакомиться с Его Решением. Он открыл папку, где лежали широкие листы, покрытые сургучными печатями, связанные лентами алого атласа, чтоб не распадались, и в который раз принялся читать Постулат, направляемый Святой Конгрегации Обрядов, какой начинался благозвучной и тщательной латынью: «*Post hominumsalutern, ab Incarnato Dei Verbo, Domino Nostro Jesu Christo, feliciter instauratam, nullum profecto eventum extitit aut praeclari-us, aut utilius incredibili ausu Januensis nautae Christophori Columbi, qui jmniumhrimusinexplorata horrentiaque Oceani aequora pertransiens, ignotum Mundum detexit, et ita porro terrarum mariumque tractus Evangelicae fidei propagationi duplicavit*».

...Да, правильно говорит здесь примас из Бордо: открытие Нового Света Христофором Колумбом было величайшим событием, какое узрело человечество с тех пор, как в мире установилась христианская вера, и благодаря Несравненному Подвигу удвоилось пространство ведомых нам земель и морей, куда нести слово Евангелия. ... И вместе с почтительным ходатайством на отдельном листе было краткое послание, обращенное к Святой Конгрегации Обрядов, каковая, получив поручительство папской подписи, немедленно даст ход запутанному делу о причтении к лику святых

Великого Адмирала католических королей Фердинанда и Изабеллы. Его Святейшество взял перо, но рука стала кружить над страницей, словно в сомнении разбирая еще и еще раз скрытые препятствия каждого слова. Так случалось всякий раз, когда он чувствовал особый порыв начертать свою решающую подпись под этим документом. И причиной тому была одна фраза из одного параграфа этого латинского текста, намеренно подчеркнутая, которая всегда удерживала его руку: «... *pro introductione illius causae exceptionalis ordine*». Эта необходимость внести постулат «особым путем» заставляла колебаться в который раз Римского Первосвященника. Было очевидно, что беатификация, причтение к лику блаженных, предварительный шаг к канонизации — причтению к лику святых, Открывателя Америки составила бы дело беспрецедентное в анналах Ватикана, потому что в процессе его отсутствовали некоторые биографические гарантии, которые по канону являлись необходимыми для увенчания ореолом. Это обстоятельство, подтвержденное учеными и беспристрастными болландистами, сочинителями житий святых, приглашенными к высказыванию, будет использовано, вне всякого сомнения, Адвокатом Дьявола, хитроумным и грозным Прокурором Адских Приделов... В 1851-м, когда он, Пий IX, пройдя через архиепископство в Сполето и епископство в Имоле, уже удостоенный кардинальской шапочки, занимал еще не более пяти лет Престол святого Петра, он заказал французскому историку графу Розелли де Лоргу «Историю Христофора Колумба», множество раз изученную и продуманную им, которая представлялась ему определяющей ценности для решения о канонизации Открывателя Нового Света. Страстный почитатель своего героя, католический историк превозносил его добродетели, возвеличивающие фигуру прославленного генуэзского моряка, выделяя его как заслуживающего выдающегося места в списке святых и даже в церквах — сотне, тысяче церквей... — где будут почитать его образ (образ весьма неопределенный до сих пор, поскольку портретов его не имелось — и со сколькими святыми случалось то же самое? — но который скоро обретет телесность и характер благодаря указующим исследованиям чьей-нибудь вдохновенной кисти, которая придаст персонажу силу и выразительность, каких Бронзино, портретисту Цезаря Борджиа, удалось достигнуть, прославив личность знаменитого моряка Андреа Дориа в картине маслом несравненной красоты). Подобная возможность заморозила молодого каноника Мастаи со времени его возвращения из Америки, когда он был еще очень далек от предвиденья того, что в один прекрасный день будет возведен на престол базилики святого Петра. Создать святого из Христофора Колумба было необходимо по многим мотивам, как на почве веры, так и на почве самой политики, и стало очевидно со времени публикации «Силлабуса», что он, Пий IX, не презирал политической деятельности, той политической деятельности, что не могла вдохновляться ничем иным, кроме политики Бога, хорошо известной тому, кто столь тщательно изучал святого Августина. Подписать Декрет, что лежал сейчас перед ним, было бы жестом, что останется одним из важнейших решений его понтификата... Он снова обмакнул перо в чернильницу, и, однако, перо снова замерло в воздухе. Он усомнился еще раз в этот летний вечер, когда колокола Рима готовились настроить свои звоны на молитву «Ангелус Домини».

Уже в пору детства Мастаи перестала Сенигаллия быть Шумным городом ярмарок, в порту которого приставали корабли, отплывающие ото всех берегов средиземноморских и азиатских, теперь поглощенные процветающим, надменным

Триестом, своим богатством жаждущим задушить ущербного соседа, так возвышаемого некогда греческими мореплавателями. К тому же времена стояли суровые: своей опустошительной итальянской кампанией Бонапарт все переворошил, заняв Феррару и Болонью, овладев Романьей и Анконой, унижая церковь, грабя папские области, бросая в тюрьмы кардиналов, вторгшись в самый Рим, доведя свою наглость до ареста Папы и похищения столь почитаемых скульптур, гордости христианских монастырей, чтоб выставить их в Париже — верх надругательства! — среди Озирисов и Анубисов, соколов и крокодилов в музее египетских древностей... Времена стояли дурные. И соответственно, родовое поместье графов Мастаи-Ферретти пришло в упадок. Слабо скрывали фамильные портреты, выцветшие гобелены, гравюры, местами засиженные мухами, старинные буфеты и полинялые шторы все большую ветхость стен, которые сырость, сочащаяся из щелей кровли, покрывала уродливыми бурыми пятнами, упорно расползавшимися все шире с течением дней. Стали уже скрипеть старые деревянные полы, чудо краснодеревщеского искусства, отбрасывая куски мозаики, чей узор расстроила непогода. Каждую неделю лопались еще две-три струны в старинном фортепьяно с пожелтевшей клавиатурой, на котором Мария Вирджиния и Мария Олимпия все еще пытались играть, соло или в четыре руки, сонатины Муцио Клементи, пьесы отца Мартини или «ноктюрны» — чудесное новшество — англичанина Фильда, притворяясь, что не замечают немоты некоторых клавиш, которые, отсутствуя в инструменте, вот уже несколько месяцев как перестали отвечать на прикосновение. Парадное убранство хоругвеносца было единственным, что еще придавало важности знатной особе графа Мастаи-Ферретти, ибо, когда он возвращался с какой-нибудь церемонии, где главенствовал, к своему очагу, где в котле осталось мало жиру, то облачался в сюртуки, залатанные и перелатанные двумя преданными служанками, какие еще оставались в доме, получая жалованье, которое им платили раз в два года. А в остальном графиня весело подставляла лицо противным ветрам — с достойным соблюдением внешних приличий, всегда ей свойственным, блюдя траур по воображаемым родственникам, умершим в городах всегда весьма отдаленных, чтоб оправдать бессменное ношение двух-трех черных платьев, давно вышедших из моды, и чтоб как можно меньше показываться на люди, ходила на рассвете в церковь ордена сервитов в сопровождении своего младшего сына Джованни Мария, чтоб помолиться Скорбящей, прося ее облегчить эти объятые печалью области севера в их испытаниях и бедах. Короче, они влачили жизнь надменной нищеты среди рушащихся замков, какая была свойственна стольким итальянским семьям в ту эпоху. Жизнь надменной нищеты: гербы на воротах и нетопленые камины, мальтийский крест на груди и всегда голодный желудок, с чем юный Мастаи встретится еще, изучая кастильское наречие в испанских плутовских романах — чтение, вскоре оставленное как легковесное, дабы углубиться в утонченные вычуры арагонского иезуита Грасиана, прежде чем прийти к более питательным для его духа раздумьям и опытам «Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы, научившим его направлять мысль — или молитву — на заранее избранный образ, дабы избежать посредством «воображаемого беседования» непредвиденных побегов фантазии, вечной домашней юродивой, в сторону тем и мотивов, чуждых главнейшему нашему думанью.

Мир разворошился. Франкмасонство просачивалось во все углы. Прошло едва лишь сорок лет — а что такое сорок лет для течения Истории? — с тех пор, как умерли Вольтер и Руссо, учителя безбожия и распутства. И менее тридцати лет назад один истинно христианский король был гильотинирован, словно мимоходом, на виду у

республиканской и богоотступной толпы, под бой барабанов, размалеванных тем же синим и красным, что и революционные кокарды... Неуверенный в своем будущем, после беспорядочных занятий, включавших теологию, гражданское право, испанский, французский и латынь, явно клонящуюся в сторону поэзии Вергилия, Горация и даже Овидия, — ничего, чем бы можно в те дни заработать на хлеб, — после регулярных появлений в высших кругах римского общества, где он был принят благодаря своей фамилии и где понятия не имели о том, что зачастую без гроша в кармане, чтоб пойти поесть в трактир, юноша больше всего ценил на этих блестящих приемах — больше, чем красоту декольтированных дам, больше, чем балы, где появлялась уже новомодная вольность — вальс, больше, чем концерты знаменитых музыкантов, даваемые в богатых особняках, — то мгновение, когда мажордом приглашал всех в столовую, куда при свете канделябров на серебряных подносах вплывут тотчас обильные яства, к каким влек его ненасытный голод. Но однажды, после одной любовной неурядицы, молодой Джованни Мария поменял вино, подаваемое в хрустальных с золотом графинах, на воду монастырских колодцев, а тонко приправленную дичь с придворных кухонь — на горох, капусту и кукурузную кашу монастырской трапезной. Он решил посвятить себя служению Церкви, вступив вскорости в третий орден святого Франциска. Получив сан священника, он сразу выделился своим рвением и красноречием своих проповедей. Но он знал, что путь его будет долог и труден, без надежды достигнуть высоких чинов в духовной иерархии из-за замкнутого образа жизни семьи, недостатка связей и в особенности из-за мятежного круговорота эпохи, какая настала, в лоне христианства раздробленного, Уязвимого, как никогда в истории, под бурным и почти всемирным натиском новых идей, теорий и доктрин, тяготеющих каждая по-своему к созданию опасных утопий, с тех пор как социальное равновесие прошлых дней — равновесие, не всегда удовлетворяющее, но все же равновесие — было взорвано опасным иконоборством Французской революции... И все было темнота, отрешение и покорство в его жизни, как вдруг произошло чудо: монсиньор Джованни Муци, архиепископ Филиппополя, что в Македонии, колыбели Александра Великого, назначенный Апостолическим делегаторием в Чили, настоятельно просил Мастаи содействовать ему в одной весьма тонкой миссии. Прелату ранее не приходилось видеть, чтоб так вот кого-то выбирали по рекомендации знакомого аббата. Но он считал, что молодой каноник может быть ему крайне полезен и своей общей культурой, и в особенности своим знанием испанского языка. И так будущий Папа перешел из обители, где занимал скромнейшую должность воспитателя сирот, в высокое звание посланника в Новый Свет — тот Новый Свет, которого одно имя отдавалось у него в ушах горячим ветром приключений. По тому самому, в согласии со своим длиннополым облачением, он чувствовал в себе призванье миссионера — призванье, внушенное, быть может, его знакомством с миссионерской деятельностью учеников святого Игнатия в Китае, на далеком Востоке, на Филиппинах и в Парагвае. И вот внезапно он сам оказывается в роли миссионера, но не наподобие тех иезуитов, каких зло высмеял Вольтер в своей широчайше известной повести, даже переведенной на испанский вероотступником аббатом Марченой, а с сознанием того, что времена переменились и что политические вопросы обретают все большее и большее значение в тот век, что сейчас начинается, — и он принялся тщательно изучать, собирая гору разных сведений, ту среду, где он должен будет действовать с тактом, рассудком и хитростью.

Для начала вот что казалось ему особенно любопытным: о послании

апостолической миссии в Чили ходатайствовал перед Папой Пием VII не кто иной, как Бернардо О'Хиггинс, стоящий во главе своего государства в звании Верховного Правителя. Он знал уже, как О'Хиггинс освободил Чили от испанского колониального господства, но ему было совершенно не ясно, почему О'Хиггинсу понадобилось просвещение, присущее Ватикану, чтоб реорганизовать Чилийскую Церковь. Рим в эти бурные и неустойчивые времена стал прибежищем и защитой интриганов всех мастей, заговорщиков и задир, замаскированных карбонариев, расстриженных священников, ренегатов и священников кающихся, бывших попов-вольтеррианцев, вернувшихся на круги своя, шпионов и доносчиков и — они сразу бросаются в глаза — перебежчиков из масонских лож, всегда готовых продать тайны франкмасонства за тридцать сребреников. Среди последних наткнулся Мастаи на Кадоша, экс-рыцаря ложи имени Лаутаро в Кадиксе — детища Великой американской ложи в Лондоне, основанной Франциско де Мирандой, уже имеющей филиалы в Буэнос-Айресе, Мендосе и Сантьяго. А О'Хиггинс был большим другом — говорит доноситель — этого замечательного венесуэльца, учителя Симона Боливара, генерала Французской революции, странствия по свету и похождения которого составляют самую фантастичную приключенческую повесть, и даже говорят — «Огради меня, Боже, от греховных помыслов», — думает Мастаи у — что он спал с императрицей русской Екатериной, ибо «поелику любовник ее Потемкин устал от излишнего пылу своей владычицы, то и пришло ему на ум, что красавец креол с жаркою кровью может насытить неудержный аппетит русской, которая, хоть и порядком толстуха, вы меня понимаете, была ужась как склонна к тому, чтоб ее...» — «Но довольно, довольно, довольно, — говорит Мастаи своему доносителю. — Поговорим о делах более серьезных, и я угощу вас еще одной бутылкой вина». Ренегат освежает глотку, расхваливая отвратительное пойло, какому только его вечная жажда может придать вкус, и продолжает свое повествование. На своем тайном жаргоне франкмасоны называли Испанию «Геркулесовы столбы». А масонская ложа в Кадиксе имела Комиссию доверенных, которая занималась почти исключительно тем, чтоб мутить умы и провоцировать политическое брожение в испаноговорящем мире. И под эгидой этой комиссии, как известно, издал в Лондоне Миранда тетрадь под названием «Советы старого южноамериканца молодому патриоту, предлагаемые им по возвращении из Англии в свою страну», где встречались фразы, подобные следующей: *«Не доверяйте ни одному человеку, перешагнувшему рубеж сорокалетия, если вы не убеждены в его склонности к чтению. Молодость — это пора страстных и благородных чувств. Среди юношей вашего возраста вы скоро найдете многих, кто будет вас слушать и кого легко убедить».* («Сразу видно, что этот Миранда, подобно Грасиану, с опаской думая об унижениях и ублажениях старости, возлагает все надежды на волшебные замки юности», — думает Мастаи.) Еще такое пишет знаменитый франкмасон: *«Было бы ошибкой думать, что всякий человек затем лишь, что у него тонзура на темени и он восседает в кресле каноника, есть некто нетерпимый, фанатик и ярый враг прав человека».* «Я уже лучше понимаю этого Бернардо О'Хиггинса», — сказал Мастаи, заставив перебежчика из Кадикской ложи повторить этот абзац три раза. Становилось ясно: какими бы ни были его идеи, О'Хиггинс знал, что Испания мечтает восстановить в Америке авторитет своей уже сильно пошатнувшейся колониальной империи, отчаянно сражаясь за то, чтоб выиграть решающие битвы на западных пределах континента, прежде чем задушить в

других местах путем настоящей второй реконквисты — и для этого она не пожалеет средств — недавно отвоеванные очаги независимости. И зная, что вера не может быть разом искоренена, как за одно утро бывает покончено с вице-королевским правительством или военным губернаторством, и что испано-американские церкви были до сих пор зависимы от испанского епископата, без необходимости повиновения Риму, освободитель Чили хотел вырвать свои церкви из-под влияния бывшей метрополии, и каждый испанский святоша Мог стать завтра союзником возможных вторженцев, — поручая их высшему авторитету Ватикана, слабого, как никогда, в сфере Политики и мало что способного предпринять в заокеанских землях, кроме того, что относилось к юрисдикции исключительно духовного порядка. Так нейтрализовался клир враждебный, консерваторский и реваншистский, который ставился тем не менее — на что не сможет пожаловаться! — под прямое охранение Викария Господа Нашего на этой Земле. Мастерский ход, который можно будет использовать во всех смыслах!.. Молодому Мастаи становился симпатичен теперь Бернардо О'Хиггинс. Ему уже не терпелось переплыть океан, невзирая на страхи его праведницы-матери графини, которая из своего облупленного жилища в Сенигаллии подговаривала его сослаться на слабое здоровье, чтоб быть освобожденным от изнуряющего путешествия по бурному морю с такими частыми кораблекрушениями — «настоящее море Христофора Колумба», — думал каноник, тоскуя накануне великого путешествия по тишине домашнего очага и вспоминая с особой нежностью Марию Теклу, любимую свою сестру, которую застал как-то раз, когда родителей не было дома, поющей вполголоса, словно в мечтах (о, какой легкий, какой невинный грех!), французский романс отца Мартини, появившийся в одном из сборников великого францисканца, автора стольких ораторий и месс:

Любви наслаждение
длится мгновение.
Любви страдание
длится всю жизнь.

Невзирая на призывы к осторожности, к благоразумию, молодой каноник с жадным нетерпением ждал даты отплытия. И теперь еще больше, ибо все, казалось, ставило препоны на его пути: смерть Папы, этого Папы, так униженного дерзким корсиканцем, который заставил его санкционировать шутовскую церемонию своего коронования, с венцом, возложенным накануне торжественно на голову мартиникской мулатки; избрание Льва XII после нескончаемого конклава, длившегося двадцать шесть дней; интриги испанского консула, узнавшего через своих шпионов о цели апостолической миссии; противные ветры, интриги, шепоты, письма туда — письма обратно, ответы, которые заставляют себя долго ждать. Но наконец, наконец 5 октября 1823 года подымает якоря корабль «Элоиза» («Предпочитаю раннюю Элоизу Абеяра поздней Элоизе Руссо», — думает Мастаи), чтоб отплыть в направлении Нового Света. Вместе с ним на борту делегаторий Джованни Муци, его личный секретарь дон Салустио, доминиканец Раймундо Арсе и архиепископ Сьенфуэгос, полномочный представитель Чили, недавно назначенный О'Хиггинсом, пред Папским Престолом.

Из Генуи они отплывали. Генуэзцем был тот, кто однажды предпринял неслыханное странствие, которое должно было дать человеку полное представление о мире, в каком он живет, открыв Копернику ворота на подступе к началу исследования

Бесконечности. Путь в Америку, путь в Сантьяго, «Звездное Поле — Campus Stellae», в действительности путь к другим звездам: первый подступ человека к многообразию необъятностей звездных.

Слишком затянувшаяся, раздражающая порою остановка в Генуе оказалась переполненной открытиями для молодого каноника, ослепленного на каждом шагу блеском гордого города могущественных Дориа, с именем звонкой славы, полнящегося памятью Андреа, знаменитого адмирала, представленного в воспевающих изображениях-аллегориях нагим по пояс, с курчавой бородой и символическим трезубцем в руке, как живой, возможный и явственный образ Посейдона. Долго в задумчивости стоял юноша перед домом Бранка Дориа, этого блистательного убийцы родом из Генуи, кого Данте встретил в девятом кругу ада искупающим муками свой грех как душа, покуда, движимое бесом, оставленным им во плоти взамен себя, еще «здравствует» его «земное тело»³⁴⁹. Перед церковью святого Матфея жилище Ламба Дориа, которое воздвиг Мартино Дориа, солидное, как знатный род его владельцев, противостояло шагу столетий, и все высились, прекрасные и горделивые, особняки Доменикаччо Дориа и дом Константине Дориа, в котором в конце концов поселился Андреа — все здесь, кажется, звались Дориа! — чудо-моряк, покрытый славой бесчисленных своих побед над Турком... И теперь, когда «Элоиза» входила в замутненные воды Рио-де-ла-Платы, была еще в памяти у Мастаи величественная декоративность портового города, оставленного позади, в роскоши дворцов алых и дворцов белых, хрусталей и балюстрад, рostrальных орнаментов и стройных колоколен. Причал в Монтевидео произвел на него, напротив, такое впечатление, будто он вдруг оказался в огромном хлеву, ибо там не было зданий ни примечательных, ни красивых, все было грубо сколочено, как в деревне, и лошади и рогатый скот обретали в каждодневной жизни значение, утерянное в Европе со времени Мервингов. В Буэнос-Айресе вовсе не было порта, а лишь плохонькая гавань, откуда надо было добираться до города в повозке, запряженной лошадьми, сопровождаемой людьми верхом на лошадях, в зловонии лошадиного пота и перебивах лошадиного ржанья — назойливое присутствие лошади, какое будет преследовать путешественника, покуда он останется на континенте, на чью почву вступил первый раз. При свете фонарей, принесенных местными, был оказан прием апостолической миссии в городе, с давних пор не знающем епископа. Первое впечатление сложилось у Мастаи катастрофическое. Улицы, правда, были прямы, словно вытянуты по веревке, но сплошь покрыты грязью, размазанной, разбрызганной, утопанной и топтаемой снова, месимой и опять разбрызгиваемой копытами множества лошадей, что по ним проходили, и колесами повозок, запряженных волами, погоняемыми палкой с железным наконечником. Попадались негры, много негров, занятых на посылках и в нехитрых ремеслах или бывших бродячими торговцами, выкликалами крепкой капусты и свежей моркови под своими тентами на углу или еще слугами в богатых домах, кого сразу можно было отличить по приличному платью, составлявшему контраст с забрызганными кровью юбками негрятенок, носящих потроха с бойни — этой бойни, играющей, по-видимому, столь значительную роль в жизни Буэнос-Айреса, что Мастаи невольно спрашивал себя, не окажется ли она — с

³⁴⁹ *Здесь и далее* — цитаты из «Божественной комедии» Данте в переводе М. Лозинского: «Ад» (Л., Изд-во художественной литературы, 1939), «Чистилище» (М., Гослитиздат, 1944).

этим культом Жаркого, Филея, Огузка, Грудинки или того, что некоторые, воспитанные на английский лад, называют *Bife*, — зданием, более важным для городской жизни, чем сам кафедральный собор или приходы церквей Сан-Николас, Ла-Консепсьон, Монтсеррат или Ла-Пьедад. Остро пахло кожевненным товаром, дублеными кожами, скорнячеством, скотом, солониной, вяленным и копченым мясом, конским потом и людским потом, пометом и навозом в этом заокеанском городе, где в лачугах, закусных и притонах танцевали бурную «Рефалосу» и «Когда, жизнь моя, когда же?» — задорный танец, чья музыка раздавалась в те времена по всему американскому континенту вдоль и поперек, если не возникала за глухими стенами варварская дробь барабанов, отбивающих разные «танго» — как их здесь называли — под пальцами черных и цветных. Но рядом процветала высшая аристократия, ведя жизнь роскошную и утонченную, одеваясь по последней парижской или лондонской моде, устраивая блестящие вечера, где слушали самую модную музыку, какая только раздавалась на европейских балах и приемах, и в дни религиозных празднеств, в усладу юному канонику, не бывало недостатка в голосах прекрасных креолок, которые пели «Stabat Mater» Перголези. Но, к несчастью, заокеанские моды, в украшениях ли, в развлечениях или светских манерах, никогда не приходят одни. И с ними сюда пришла «опасная мания раздумья» — и Мастаи знал, что говорил, определяя как «опасную манию» стремление доискиваться истины и ясности или новых возможностей там, где был лишь пепел и сумерки, ночь души. Некоторые идеи пересекали бескрайный океан вместе с писаниями Вольтера и Руссо, которых юный каноник атаковал окольными путями, определяя как *склеротиков* и *отсталых*, отрицая какую-либо действительную силу за книгами, появившимися более полувека назад. Но эти книги коснулись многих умов, для которых сама Французская революция, при взгляде с расстояния, не представлялась провалом. И лучшим доказательством этого было то, что Бернардино Ривадавия, министр правительства, смотрел с большой антипатией на пребывание в Буэнос-Айресе апостолической миссии. Либерал и, по всей вероятности, франкмасон, он уведомил архиепископа Муци, что ему запрещено творить обряд конфирмации в городе, пригласив его продолжить путешествие как можно скорее — путешествие, которое к тому же постарался омрачить ему заранее, намекнув, что, возможно, посланцы римской курии не будут приняты в Чили с такими почестями, каких ожидают.

Так, в средних числах января 1824 года церковнослужители двинулись в путь в двух просторных каретах, сопровождаемые медлительной повозкой, на которой высились баулы, тюки и ящики, кроме кроватей и самой необходимой утвари, какую навряд ли можно достать на постоялых двориках, где придется менять лошадей и весьма нередко заночевывать, если не видно вблизи гостеприимной фермы. Выслушав добрые советы участливых людей, горячо порицавших нечестивую невежливость Ривадавии, кто не предложил никакой официальной помощи миссии, путешественники везли с собою много провизии: зерно, картофель, вяленое мясо, сало, лук и чеснок, лимоны вместо уксуса, который в местных тавернах употреблялся неочищенным, и несколько пузатых кувшинов с вином, водкой и настойками. «А говорят еще, что прелаты едят лишь форель да пирог с голубями!» — заметил Джованни Муци, смеясь. Но Мастаи мало говорил, а больше смотрел. Пейзаж был удручающе однообразен, но в конце концов захватил его внимание из-за шири. Он думал, что знает, что такое равнина, но видение бесконечной пампы, где, сколько ни иди, всегда останешься в середине круглого горизонта одноцветной земли; пампы,

создающей у путешественника ощущение, что он топчется на месте, не движется вперед по своему пути, сколько б ни погонял свою упряжку; пампы, своим простором, своим совершенным образом бескрайности ставящей Человека пред явственным изображением Бесконечного, приводило на ум аллегорическое видение мистика, в котором человеческое существо, втиснутое в тесный проход без ведомого начала и конца, пытается удалить от себя, через науку и познание, две стены, что справа и слева ограничивают поле его зрения, и ему удается с годами раздвинуть перегородки, но никогда не сокрушить и никогда, как бы далёко ни случилось их оттолкнуть от себя, не изменить их вид, не узнать, что там за ними... Мастаи пересек пампу, погруженный в светлый сон — прерываемый от времени до времени, если мимо проносился табун, криками, ржаньем и свистом лассо, — от которого его пробудило после дней, монотонно катящихся за днями, возвращение чего-то знакомого: неровностей почвы, ручьев, камышей, напоминающих *тамошние*; и дома похожей постройки, растения, группы животных, уже не рассеянные по ширям этой природы, которой нет конца. Но вскоре бесконечность горизонтальная превратилась в бесконечность вертикальную, какую являли собой Анды. Рядом с этими невиданными громадами, поднятыми над землей, чьи пики заблудились в небе — словно неприступны вовек, — Долмитовые Альпы, знакомые ему, представлялись теперь декоративными горами для прогулок (правда, он ступал лишь на нижние их отроги), и так открывалась внезапно неизмерность этой Америки, которую он начинал уже находить сказочной, несмотря на то что люди ее зачастую казались ему дикими, грубыми и затерянными внутри пространства, какое заселяли. Но подобная природа могла рождать лишь людей особых, думал он, и будущее покажет, какие расы, какие устремления, какие идеи выйдут отсюда, когда все это еще немного дозреет и континент обретет сознание, вскормленное собственными своими возможностями. Теперь ему казалось, что во всем, что он видел доселе, «не хватало сула», употребляя выражение тонких знатоков старых вин.

И началось затем трудное и медленное восхождение на вершины, которые, рождая и распростирая реки, делили карту на куски по дорогам на краю ущелий и пропастей, куда устремлялись грохочущие потоки, упавшие со снежной выси какого-нибудь невидимого пика под завыванье вьюг и свистящие вздохи бездн, для того чтобы уже там, наверху, познать пустынность равнин, и бесплодь предгорий, и страх высоты, и глубину ям, и оцепененье пред диконравьем гранита и причудливостью всех этих утесов и обрывов, и черные камни, тянущиеся как в покаянной процессии, и лестницы сланцевых складок, и обманное виденье разрушенных городов, созданное осколками старых скал, чья история столь долга, что, веками сбрасывая минеральные лохмотья, они выставляют под конец во всей гладкой наготе свои космические скелеты. И был переход с первого неба на небо второе, и на небо третье, и на небо четвертое, покуда не достигли вершины хребта на седьмом небе — во всех смыслах, — чтоб начать спуск к долинам Чили, где растительность обретала зеленый цвет, неведомый лишайникам, рожденным туманами. Дороги были почти непроходимы. Недавнее землетрясение перетряхнуло каменистую почву, забросав осколками чахлую равнинную траву... И пришло успокоение возврата к миру деревьев и вспаханных земель, и наконец после девятимесячного путешествия, считая со времени отъезда из Генуи, прибыла апостолическая миссия в Сантьяго, столицу Чили. «Ну и роды!» — вздохнул с облегчением Мастаи.

Столько храмов и монастырей представало взору при въезде в Сантьяго, что молодой каноник сравнил город с маленькими итальянскими селениями, где на сто крыш — двадцать колоколен. Если Буэнос-Айрес пахнул кожами, дубильнями, сбруей и часто — зачем скрывать? — конским навозом, то здесь жизнь текла среди курений ладана, среди келий и монастырских строений святого Доминика, святого Антония, святого Франциска, монахинь строгого ордена Реколлектов и Клариссинского ордена Смирения, Августинцев, Общества Иисуса, святого Диего, не считая большой обители монахинь, возвышавшейся на площади Пласа Майор. И уже поздравлял себя Мастаи с тем, что может начать отправление своей новейшей должности аудитора в такой благословенной земле, как вдруг печальная новость поселила смятение в душах путешественников: Бернардо О'Хиггинс, верховный правитель Чили, который настаивал на миссии монсиньора Муци через своего посла Сьенфуэгоса, О'Хиггинс, герой суровой и славной войны за независимость, был свергнут два месяца назад человеком, которому верил больше всего, — генералом Районом Фрейре, командующим войсками Чили. А последний был в отсутствии, занятый военными делами на далеком острове Чилоэ... («Еще не умерли настоящие генералы, рыцари шпаги, а уже появляются генералы — рыцари ножен», — подумал молодой священнослужитель.) Все, о чем было договорено ранее, оказывалось под запретом. Неведомо было, в каком расположении духа окажется фрейре. И по этой причине началась изнуряющая передышка, в течение которой написал Мастаи послание, отражающее его досаду: *«Современные американские правительства суть правительства, сотрясаемые судорогами по причине непрерывных перемен, каким подвергаемы».* («Сам не желая того, я был Бледный Ангел Печальных Пророчеств», — пробормотал Его Святейшество Пий IX, когда перечитывал копию этого письма, предсказавшего столькие драматические события, какие произойдут в будущем, хранимую доселе тем, кто был тогда безвестным каноником...) Но Мастаи не был столь уязвим, чтоб пасть духом от первого серьезного препятствия его замыслам. В ожидании возможности начать работу он стал поддерживать знакомства, которые с первого дня завелись у него среди зажиточных и образованных жителей Сантьяго. Усердно навещал барышень Котапос, увлекающихся классической музыкой, которые, как и следовало ожидать, принимая во внимание тонзуру гостя, много раз предоставили ему возможность послушать «Stabat Mater» Перголези. («Любопытно... — думал Мастаи. — Одной партитурой композитор, умерший в двадцать шесть лет, добился славы более громкой, чем старый Палестрина со своими бесчисленными творениями, написанными в течение долгой жизни») «Весьма знаменита здесь также его опера „Служанка-госпожа“, — говорили барышни Котапос, — и мы знаем из нее отдельные куски. Но вы, Ваше Преподобие, будете, возможно, шокированы вольностью ее содержания». Мастаи благодарил за предупредительность благосклонной, хоть и несколько лицемерной улыбкой, ибо хорошо помнил, как они с сестрой Марией Теклой всласть поразвлекались как-то под вечер в Сенигаллии, напевая партии двух единственных персонажей — третий там немой — из этой прелестной буффонады, стоящей на пюпитре расстроенного старенького фортепьяно. От чилийских девушек узнал он несколько народных вильянсико, какие каждый год на Рождество оживляли город — довольно унылый и печальный, уверяли они, в продолжение всего года.

Одна из этих песенок с очень известной мелодией восхитила его своей свежей, хоть и нескладной простотой:

Сеньора Донья Мария,
Пришел я из дальней дали
И принес твоему младенцу
Пару крольчат в подарок.

И вот подошла Страстная неделя, и привелось новичку аудитору изумиться мрачному, драматическому, почти средневековому характеру, который являла здесь в пятницу процессия кающихся, что шла вечером страстей господних по центральным улицам: босые люди, одетые в длинную белую тунику, в венце из терна, с тяжелым деревянным крестом на левом плече и бичом в деснице, которым яростно хлестали себя по спине... Мастаи подумал, что сила веры в этой стране должна безусловно способствовать успеху миссии. Но в то же время он убеждался, что сюда, как и в Буэнос-Айрес, просочились так называемые «новые идеи». Покуда бичующиеся кровавили себе хребет в своем искупительном шествии, некоторые элегантные и скептически настроенные юнцы, каких здесь зовут «либералами», нарочно, чтоб взбудоражить его, давали ему понять, что скоро установится свобода печати — поневоле ограниченная трудной войной, которую только что пережили, — и что в голове у Фрейре засел тайный замысел прибегнуть к секуляризации имущества чилийского клира. В ожидании событий Мастаи принял новую тактику в отношении тех, кто изображал себя либералами в его присутствии: она состояла в том, чтоб изображать себя еще большим либералом, чем сами эти либералы. И, пользуясь стратегическими ходами, почерпнутыми у иезуитов, уверял, что Вольтер и Руссо были людьми необыкновенного таланта — хотя он, священнослужитель, не может разделять их критериев, — напоминая, однако, с тонким коварством, что данные философы по своим идеям принадлежали к поколениям, давно превзойденным нынешними людьми, и что ввиду этого настало время идти в ногу с эпохой, отбросив обветшалые книги, полные исторических концепций, опрокинутых действительностью, и что назрело приятие «новой философии». Подобное происходит и с Французской революцией, событием, отошедшим в прошлое, неудавшимся в главных своих идеалах, о которой слишком много еще говорят на этом континенте, тогда как в Европе никто больше и не вспоминает. «Отупение, дряхлость, несвоевременность, люди другого века», — говорил он об «Общественном договоре» и об энциклопедистах. «Утопическое устремление, не приведшее ни к чему, невыполненные обеты, преданные идеалы. Нечто могшее стать великим, но что никогда не достигло воплощения того, о чем мечтали его основатели, — говорил он о Французской революции. — И это утверждаю я, кто является священнослужителем и кого вы, должно быть, почитаете человеком, замкнувшимся в пределах мышления догматического и устарелого». Но нет, и нет, и нет. Либерализм уже не тот, каким считают его эти элегантные юноши. Существует сегодня либерализм иного рода: либерализм — как точнее выразиться? — подавшийся влево от самих левых, если вспомнить, что в зале Конвента якобинцы занимали всегда скамьи, помещающиеся в левой стороне собрания. «Так мы что ж, должны быть больше якобинцами, чем сами якобинцы?» — спрашивали его. «В настоящее время существует, возможно, новый способ быть якобинцем», — отвечал будущий наставитель «Силлабуса», который из-за своего умения ловко манипулировать мыслями, обратными собственным, достиг понтификата с репутацией человека глубоко либерального и друга прогресса.

Следующие месяцы протекли в ожиданиях, огорчениях, растерянности, беспокойстве, нетерпении, раздражении, унынии из-за скрытой враждебности Фрейре,

достигшего высшей власти, который умел, к вящей досаде священнослужителей, быть одновременно любезным и неприступным, порою приветливым и порою грубым, учтивейшим, когда сталкивался с архиепископом Муци, подчеркнуто обязательным и откровенным, чтобы сделать в итоге нечто совершенно противоположное обещанному. Старая аристократия Сантьяго постепенно сплывала вокруг апостолической миссии. Но тем временем ареал клеветы расширялся вокруг чужестранцев. Обвиняли Муци в применении закона, напомиавшего о колониальных временах, когда тот отказался обвенчать одного вдовца с его падчерицей. Поговаривали, что молодой Мастаи получил кругленькую сумму за исполнение своих религиозных обязанностей в поместье одной зажиточной семьи. Сплетни, рассказы, пререкания, слухи и небылицы, интриги да наветы, какие с каждым днем становилось труднее сносить достославным мандатариям... И в довершение всего — хотя Фрейре заверил римского архиепископа, что никогда не впадет в подобную крайность, — случилось то, что «либералы» предсказывали: была провозглашена свобода печати. С этого дня жизнь папских посланников сделалась невыносимой. Было пропечатано черным по белому, что содержание праздной миссии обойдется государственной казне в 50 000 песо. Их обозвали шпионами Священного союза. И в довершение всего была объявлена, уже с полной определенностью и на ближайшее время, секуляризация чилийского клира, благодаря чему здешняя церковь будет национализирована и отторгнута от всякого повиновения Риму... Ввиду таких событий Муци довел до сведения правительства, что намерен немедленно возвратиться в Италию, поскольку считает, что его доверие и добрая воля были обмануты. И после девяти с половиной месяцев бесплодного труда сам прелат, его молодой аудитор и дон Салустио пустились в дорогу по направлению к Вальпараисо, который был в ту пору беспорядочным поселком рыбаков, расположенным по уступам горного амфитеатра, где английская речь слышалась не реже испанской благодаря процветанию там британских лавок, бойко торгующих с кораблями, ставшими на якорь после долгих изнурительных плаваний среди полуденного Тихого океана, и в особенности со стройными быстроходными североамериканскими клиперами, с каждым днем более многочисленными и которые, ко всеобщему изумлению, могли уже похвастаться четырехмачтовым вооружением. Мастаи, немного огорченный провалом миссии, узнал планетарные судороги землетрясений, которые, не причинив вреда, заставили его испытать неведомую тоску от чувства потери устойчивости — словно нарушено равновесие тела, — изумляясь спокойствию нескольких слепых музыкантов, которые во время коротких сейсмических толчков не переставали играть веселые танцы — более сосредоточась на своих подаваниях, чем на разгуле вулканических стихий, — и как-то в портовом кабаке был приглашен насладиться редчайшим вкусом съедобных моллюсков пиуре и локо, морских водорослей и огромных десятиногих крабов с Огненной Земли. И вот наконец священнослужители вышли в море на борту «Колумбии», парусника красивых линий и с крепким корпусом, привычным противостоят разгулу океанических стихий на всегда трудном водном пути, огибающем южный конус Америки. С увеличением холода появились два кита, когда пересекали параллель у порта Вальдивия. 10 ноября достигли уже широты острова Чилоэ. А 17-го путешественники приготовились встретить с отвагой грозное испытание прохода вдоль мыса Горн.

И тут произошло чудо: море у самой знаменитой кузницы бурь, у тех высот черного гранита, обметаемых ревущими южными ветрами, что обозначили край

континента, было спокойно, как воды итальянского озера. Капитан и моряки с «Колумбии» удивились тиши, какой никогда не наблюдалось в этом месте земного шара, настолько, что самые матерые из всей команды «горномысовцы» не припоминали подобного дива. Ночь, ясная и приветная, опустилась на корабль в покое, нарушаемом лишь мерным скрипом тросов и легким покачиванием судовых фонарей. Опершись локтем о борт, скорее угадывая, чем различая землю, что оставалась у него по левую сторону, вспоминал Мастаи приключения и превратности этого опасного путешествия, в каком хватало эпизодов, могущих украсить лучшие романы, вдохновленные борьбой с океаном, что очень по вкусу теперь многим, после леденящего кровь случая с плотом «Медуза»: бури, противные ветры, пугающие штилы, встречи с редкостными рыбами и даже одно нападение пиратов — у Канарских островов, еще на том пути, — которые, ворвавшись на корабль с ужасающими криками и размахивая ножами, удалились в смущении, увидев, что на борту «Элоизы» нет никаких ценностей, кроме дароносицы, реликвария, ковчега и чаши, каковую, будучи добрыми католиками, а не дерьмовыми протестантами, они почтительно оставили в руках архиепископа Муци. А потом было открытие Америки, более мятежной, глубокой и самобытной, чем мог ожидать каноник, где больше, много больше, чем темных крестьян и гаучо, было воинственных индейцев, виртуозных метателей лассо, всадников невиданной ловкости, вдохновенных народных певцов, что, пощипывая струны гитары, воспевали необъятность равнин, любовь, бесстрашие, мужество и смерть. И во всем этом присутствовало особое человечество, в бурном кипении, умное и норовистое, всегда изворотливое, хоть порой безрассудное, беременное будущим, какое, по мнению Мастаи, придется ставить вровень с будущим Европы — и особенно теперь, когда войны за независимость подрядились рыть ров, с каждым днем шире и глубже, между Старым и Новым Светом. Связующей нитью могла послужить вера, и молодой клирик вспоминал многочисленные монастыри и церкви Чили, смиренные часовни среди пампы, пограничные миссии и одинокие кресты андийских нагорий. Но вера здесь, для вящего различия между тем, что *здесь*, и тем, что *там*, сосредоточивалась в местных культах и в особых местных святых, которые, по правде сказать, были мало известны в Европе. Действительно, перебирая мысленно страницы американской агиографии, хорошо им изученной, когда он готовился к предстоящему путешествию, удивлялся каноник, насколько экзотичны, если можно так выразиться, были для него все эти блаженные и святые. Кроме Розы Лимской с ее мистической неизреченностью, чья слава достигала самых глухих углов, он не встречал ни одной фигуры, выходящей за границы чисто местной фантазии. Рядом с Розой — но гораздо менее известные — высились, словно дополняя андийский триумvirат, фигуры Торибио Лимского, родившегося на Майорке, инквизитора Филиппа II, кто в течение семи лет, после того как был возведен в сан архиепископа, исходил свою огромную перуанскую епархию, окрестив бесчисленное число индейцев, и Марианы де Паредес, «Лилии из Кито», соперницы Розы в усердном умерщвлении плоти, которая однажды, во время ужасного землетрясения 1645 года, принесла на алтарь Бога свою собственную жизнь, дабы взамен ее остались невредимы жители города. Очень близок к Торибио Лимскому был Франсиско Солано, редко упоминаемый в Старом Свете, кто во время плаванья на невольничьем корабле спас рабов от кораблекрушения, когда команда трусливо покинула их, отдав, беззащитных и лишенных плотов и шлюпок, на милость яростной стихии Атлантического океана. Затем шел сомнительный наставник в вере Луис Бельтран, кто

в Колумбии и Панаме обратил в христианство многих индейцев, канонизированный вопреки разговорам о том, что эти обращения немногочисленны, потому что были произведены с голоса толмачей по причине полного незнания святым мужем каких-либо местных наречий. Более выдающейся рисовалась личность Педро Клавера, защитника негров-рабов, яркого противника Святого Судилица Картахены, города Индий, кто, как уверяли современники, окрестил более трехсот тысяч африканцев за время своей долгой и достойной подражания благочестивой деятельности. Потом шли блаженные и святые помельче, предмет культа узкоместного, такие, как Франсиско Кольменарио, проповедник в Гватемале, чья примерная жизнь бедна событиями; Грегорио Лопес, бывший придворный короля Филиппа, канонизация которого не прошла в Риме, хоть ему и продолжали поклоняться в Сакатекасе; Мартин де Поррес, цирюльник и костоправ из Лимы, первый метис, причисленный к лику блаженных; Себастьян Апарисио — предмет местного культа в Пуэбла-де-лос-Анхелес — галисийский богомолец, строитель дорог и управитель почтовой связью между Мексикой и Сакатекасом, озаренный верою в семьдесят лет, в конце жизни безбожной и суетной, в течение которой похоронил двух жен. Что же касается Себастьяна Монтаньоля, убитого индейцами в Сакатекасе (положительно мексиканский Сакатекас, как и перуанская Лима, — место, словно избранное для проявления возвышенных призваний!..), и еще Альфонсо Родригеса, Хуана дель Кастильо и Роке Гонсалеса де Сантакрус — парагвайских великомучеников, то все они вписаны в историю узкоместную и далекую, так что вполне возможно, что не найдется ни одного их почитателя в том мире, куда возвращался сейчас молодой Мастаи.

Нет. Идеалом, совершенством для того, чтоб утвердить христианскую веру в Старом и Новом Свете, обретя в том антидот против ядовитых философских идей, какие столь многих приверженцев имели в Америке, явился бы святой всемирного культа, святой славы безграничной, святой планетарного разлета, ничем не опровержимый, столь огромный, что, будучи еще более гигантом, чем легендарный Колосс Родосский, одной стопою попирает бы этот берег Континента, а другою — европейские «края света», охватывая взглядом над ширью Атлантического океана все пространство обоих полушарий. Святой Крестобаль, по-гречески Христофорос — Несущий Христа, известный всем, обожаемый народами, вселенский по своим делам, вселенский по своему влиянию. И внезапно, словно просвещенный внутренним озарением, подумал Мастаи о Великом Адмирале католических королей Фердинанда и Изабеллы. Устремив глаза в небо, чудесно усеянное звездами, он ждал ответа на вопрос, летящий туда с его губ. И ему послышался стих Данте:

Я умолчу, чтоб ты решил задачу.

Но немедля ощутил он тяжесть сознания собственной ничтожности: чтоб продвинуть канонизацию Великого Адмирала, чтоб представить постулат Святой Конгрегации Обрядов, было необходимо иметь полномочие Верховного Первосвященника или по крайней мере высшего духовного лица — ибо много времени протекло со дня смерти Открывателя Америки, да и случай, откровенно говоря, не совсем обычный... — а он, скромнейший подчиненный Римской курии, был всего лишь безвестным каноником Мастаи, неудачливым участником провалившейся апостолической миссии. Он закрыл лицо руками, погрузившись в эту ночь, простертую над бескрайностью у мыса Горн, чтоб отогнать от себя мысль, которая тем, что огромна, превосходила его возможности к действию... Да. В эту памятную ночь он закрыл лицо руками, но эти руки были те же, что замерли сейчас в воздухе

между чернильницей и пером, и теперь это были руки Его Святейшества Папы Пия Девятого. К чему долее медлить? Сколько лет лелеял он эту мечту — мечту, которая вмиг станет действительностью, явив миру канонизацию Христофора Колумба как одно из самых великих дел его, уже долгого, правления. Он медленно перечел параграф латинского текста, представленный его вниманию примасом из Бордо: «Eminentissimus quippe Princeps Cardinalis Donnet, Archiepiscopus Burdigalensis, quattuor ab hinc annis exposuit SANCTITATI TUAЕ venerationem fidelium erga Vervum Dei Christophorum Columbum enixe deprecans pro introductione illius causae exceptionalis ordine»³⁵⁰.

И, опустившись на лист, сопровождавший ходатайство, его рука провела твердый росчерк под декретом, которым разрешалось начать изучение и ведение дела. И Его Святейшество закрыл красную папку, содержащую документы, со вздохом облегчения и с чувством, что завершил большую заботу. Приотворив тихонько двери, зашла сестра Крешенсия, неся лампу мягкого света, умеряемого зеленым колпаком, ту, что каждый вечер напоминала ему о близости сумерек. Он отдал бумаги монахине, прося ее завтра доставить их, как полагается по уставу, главе Святой Конгрегации Обрядов. Папа остался один. Уже много лет, по причине совершенного им когда-то путешествия, на него смотрели в ватиканских кругах как на лучшего знатока проблем Америки, и потому его мнение запрашивалось в каждом остром случае и выслушивалось с максимальным вниманием. Он сам (как утверждают документы³⁵¹) не раз хвалился тем, что он «Первый Папа Американский и даже чилийский». («Ибо ничто, происходящее или могущее произойти в сих заморских странах, уже не может оставить меня равнодушным», — говорил он.) И тем не менее сейчас, когда он пустил в ход сложнейшую машину беатификации и ему предстояло самому лично назначить Ходатая, Кардинала Подателя Постулата, Высшего Духовного Фискала, Протонотария, Советника, которым надлежало участвовать в процессе — предварительный шаг для канонизации Христофороса, — он был озабочен, в который раз, необходимостью внесения этого дела особым путем: «pro introductione illius causae exceptionalis ordine». Рим всегда предпочитал, чтоб процессы беатификации начинались как можно скорее после смерти избранного лица. Когда же протекло слишком много времени, возникала опасность, что местное почитание слишком превознесло то, что было всего лишь благочестивою жизненною дорогой, и что единственное, чего можно добиться от Конгрегации Обрядов, это беатификация *эквивалентная* — умаленная в размахе и блеске, — что, касательно Колумба, шло бы вразрез с намерениями Первосвященника, желающего признания всемирного, славы широкой и звонкой. Вопрос времени, разумеется, оправдывал «особый путь». И однако... В остальном? Нет, сомнений не было. Тринадцать лет назад он просил графа Розелли де Лорга, французского католического писателя, написать правдивую историю Христофора Колумба в свете новейших документов и исследований, посвященных его жизни. А из этой истории — он читал и перечитывал ее раз двадцать — ясно следовало, что Открыватель Америки заслуживал по всем делам своим места среди главных святых.

³⁵⁰ «Его Преосвященство Кардинал Доннет, архиепископ Бордоский, привел в известность тому четыре года Ваше Святейшество относительно почитания верующими раба Божия Христофора Колумба, ревностно ходатайствуя о введении Дела знаменитого сего лица особым путем» (приложение «С» к «Постулату», опубликованное в конце книги «Открыватель Мира» Леона Блуа). — *Прим. автора.*

³⁵¹ Согласно документу, опубликованному Апостолической Нунциатурой Чили (1952). — *Прим. автора.*

Граф Розелли де Лорг не мог ошибиться. Это был историк скрупулезный, ревностный, пылкий, достойный всяческого доверия, для кого великий мореплаватель всю дорогу жизни прошел с невидимым ореолом вокруг головы. Настало время сделать ореол видимым, «к вящей славе Божьей — *ad majorem Dei gloriam*». Вспомнил Папа, что Колумб принадлежал, как и он сам, к третьему ордену святого Франциска и что францисканцем был исповедник, который давним вечером, в Вальядолиде... О, если бы это был Он, тогда тот безвестный монах, кому *тем вечером* в Вальядолиде выпало такое безмерное счастье — принять последнюю исповедь Открывателя Планеты. Какое лучезарное откровение! И как должна была полниться космическими образами в тот вечер жалкая комната в домике на окраине Вальядолида, преображенная словами Того, кто говорил, в роскошный дворец, полный невиданных чудес!.. Никогда рассказ Одиссея при дворе феаков не может равняться, хоть приближенно, во внезапностях и блеске, рассказу, что сошел *тем вечером* с уст Того, кто должен был, едва упадет ночь, познать тайны смерти, как познал при жизни тайны географической *запредельности*, незнаемой, хоть и ожидаемой людьми еще со «счастливых времен и счастливого века, коему древние дали имя золотого», — счастливых времен и счастливого века, воскрешенных Дон Кихотом в его речи к козопасам...

II. Рука

Он простер руку свою на море, потряс царства...

Исайя, 23, 11

...Уже пошли за исповедником, но он прибудет не скоро, ибо медлителен шаг моего мула, когда гонят его по плохим дорогам (а мул, вообще говоря, годится для езды только женщинам да священникам), и потому еще, что не так просто будет найти разумного францисканца, без особых предрассудков, чтобы отпустить грехи ближнему своему, нуждающемуся в последнем причастии, где-то за четыре мили от города. Словно у края каменной гробницы жду я того, кому должен поведать так много, собираясь с духом, чтоб говорить столь долго, сколь склонен я говорить теперь, сломленный, быть может, многими моими испытаниями и трудами более, чем болезнью... И надобно рассказать все. Все, как есть все. Излиться в словах и сказать много более того, что сказать хотелось бы — ибо (и уж не знаю, может ли понять такое монах...) зачастую *действовать* означает нужные к тому побуждения, дерзания, крайности (не побоюсь этого слова), какие не совсем согласны, хоть сделано, что делалось, и свершено, что вершилось, со словами, которые в заключение, изукрашенные слогом, отмытые от пятен, образуют чье-то имя на мраморе веков. Почти невинным предстает пред Престол Господень поселянин, сбивавший палкой оливы за чужой оградой, равно как почти невинной явится и девка (пусть простят мне словечко, но я его не раз ставил без обиняков в послании, направляемом к самым неприступным Высочествам), которая, не имея лучшего занятия, ложится пузом вверх под любого матроса в порту, а затем ищет заступничества у Марии Магдалины, чье святое изображение украшает в Париже хоругвь одного из убежищ Магдалинских Сестер для помощи падшим женщинам, признанных общественно полезными — и это в бумагах, скрепленных подписью и печатью, — еще французским королем Людовиком Святым. Этим-то для последней исповеди понадобится немного слов. Но те, что, подобно мне, несут груз образов, никогда дотоле не виденных людьми, предшествующими их жизни и трудам; те, что, подобно мне, взяли курс к неизведанному (и другие опередили меня в том, да, я скажу это, обязан сказать, даже

если, чтоб лучше быть понятым, придется мне называть Колхидою, что никогда Колхидою не было); те, что, подобно мне, проникли в Царство чудищ, прорвали завесу потаенного, шли навстречу ярости стихий и ярости людей, — те приневолены поведать многое. Приневолены поведать о вещах, являющих скандал и безобразие, опрокидывание свидетельств и раскрытие обманов для монашьяго слуха, даже и в таинстве исповеди. Но в такую минуту и, пока живы — еще живы — в ожидании последнего слушателя, нас как бы двое в одном. Лежащий на смертном одре, уже с молитвенно сложенными руками, покорившийся — не совсем! — тому, что смерть войдет сейчас в его дверь, и другой, тот, что внутри, силящийся освободиться от меня, от «меня», что его заключает, и закрепощает, и пытается задушить, возглашая голосом святого Августина: «Тело мое не может более нести тяжесть моей души окровавленной». Глядя на себя глазами другого, прошедшего мимо ложа моего, я вижу себя словно тою диковиной, которую на острове Хиос показывал во время ярмарки некто со знаками зодиака на шляпе, уверяя, что привез из земли Птолемея: вроде как ящик, по форме напоминающий человека, а внутри — второй, похожий на первый, и в него заключено тело, которому египтяне, искусные бальзамирщики, не дали утратить выражение жизни. И такая энергия утвердилась в этом иссохшем и словно дубленом лице, что, казалось, жизнь вот-вот вернется... Застылою чувствую уже оболочку из грубой ткани, которая, как первый ящик, обнимает мое обессиленное тело; но внутри этого тела, сломленного трудами и болезнями, есть глубинное «я», еще с ясным умом, просветленное, помнящее и наполненное, свидетель чудес, жертва слабостей, чинитель обид, сожалеющее сегодня о содеянном вчера, тревожное пред самим собою и тихое пред другими, робкое и мятежное одновременно, грешное Волей Божью, актер и зритель, судья и подсудимый, адвокат себя самого пред Трибуналом Высшей Инстанции, где и сам претендует на почетное место в Магистратуре, чтоб выслушать свои аргументы и смотреть себе в лицо, глаза в глаза. И вздевать руки и возглашать, излагать и опровергать, и защищаться от перста, тычущего мне в грудь, и выносить приговор, и обжаловать его, и дойти до последних инстанций суда, где в конечном счете я — один, один со своей совестью, которая горячо меня обвиняет и горячо меня оправдывает, — один пред Распорядителем навеки неуяснимого, чей облик мы никогда не познаем, чье даже имя не произносили в течение долгих веков те, что были, подобно моим родным и дедам, верными блюстителями его Закона, и кто, хоть и говорится в Писании, что создал нас по своему образу и подобию, был слишком снисходителен, позволив поместить такое в своей Книге, полагая, возможно, что несовершенно создание, возникшее из Бесконечного Совершенства, нуждается в какой-то аналогии, в каком-то образе, чтоб представить своим ограниченным умом вездесущую и всеобъемлющую силу Того, кто ежедневно, с неотступной точностью приводит в действие и порядок волшебную механику планет.

...Но не время мне приподымать завесу над тайнами, превосходящими мое понятие, и в час смирения, какого требует близость развязки — той развязки, когда ответчик, когда внесенный в список спрашивает себя, скоро ль будет ослеплен, опален устратающим видением Вовек Незримого Лица иль должен ожидать тысячелетиями, во мраке, часа, когда будет посажен на скамью для преступивших, уведен за перегородку для осужденных или заперт в обиталище долготерпения каким-нибудь крылатым приставом, ангелом-писцом, с перьями в крыльях и пером за ухом, держателем реестра душ. Но вспомни: подобными мудрствованиями ты грубо нарушаешь духовные устои своей веры, отводящие любое нескромное предположение.

Вспомни, мореход, слова, какие помещены на плите, ежедневно попираемой верными в величайшем святилище толедском:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ

ПРАХ

ПЕПЕЛ

НИЧТО

Как в тот раз, одним январским днем, в грохоте разбушевавшейся бури звучит голос — ясный и могучий, далекий и близкий одновременно — в твоих ушах: «*О, глупец, мешкотный в вере и служении Богу твоему, богу всех. С тех пор, как ты родился, Он имел о тебе великое попечение. Не страшись, надейся: все терзания твои начертаны на мраморе и будут судимы по справедливости*».

Да, я буду говорить. Я скажу все.

Из тягчайших грехов один был мне вовсе неведом: лень. Ибо что касается распутства, то в распутстве я жил, доколь не избавили меня от него более глубокие влечения и одно лишь имя Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес — слова, складывающиеся для меня в образ гордого благородства, красоты, царственного величия, высшей меты желаний, — не возвело мой дух к такому экстазу, что уже в самой форме гор, впервые представших взору христиан, нашел я сходство с другими формами, которые с трепетом и тоскою рисовали самые потаенные пути моей памяти... Еще с тех пор, как мой отец, не оставив ремесла чесальщика шерсти, открыл в Савоне лавку, где продавались сыры и вина, — с задней пристройкой, где завсегдатаи могли поднести стаканы к бочкам, чтоб потом содвинуть их над массивным столом орехового дерева, — я полюбил слушать рассказы моряков о своих приключениях, прикладываясь иногда к стаканчику красного вина, когда и мне тайком перепадало, — мне уж тогда сильно полюбилось вино, так что многие дивились позднее, что в моих походах я никогда не забывал взять на корабли как можно больше бочек и что когда приходилось заботиться о возделывании земель, то самые плодородные из тех, что даровал мне Промысл Божий, оставлял под возделывание лозы. Ной, предтеча всех мореходов, был первым, кто подал дурной пример, и поскольку вино горячит кровь и возбуждает греховные желания, то не было меж волнами портового притона, где б не извели юношеского пыла моего, когда, к вящей обиде моего отца, мне вздумалось уйти в море... Напробовался я баб и на Сицилии, и на Хиосе, и на Кипре, и на Лесбосе, и на других островах более или менее мулатских кровей и их смесью из мавров, наполовину обращенных, недавних христиан, что упорно не хотят есть свинину, сирийцев, что крестятся на любую церковь, так что и не поймешь, к какому приходу они приписаны; греков, продающих своих сестер по часам и по звону колокольчика, торгашей, промышленяющих всем на свете, содомитов, склонных к мужеложству или скотоложству, смотря по обстоятельствам; напробовался я баб, которые до всего ударили в бубен или пощипывали струны халдейской арфы; «генуэзок», которые, придя из какого-нибудь еврейского квартала, заговорщицки подмигивали мне, прощупывая в мыслях и на деле; плясуней с отуманенными хмелем глазами, заставляющих в своих извивах трепетать бабочек, вытатуированных на их животах; других — мавританок почти всегда, — что хранят во рту полученные монеты, чтоб защитить свой язык от вторжения чужого; и тех, которые клянутся и

божатся, что если взглянуть со спины, то они еще девушки, разве что какой благородный порыв заставит их отдать как великую услугу то, что они никогда никому не отдавали; и александриек, набеленных, нарумяненных, раскрашенных, как фигуры на носу корабля, — ровно покойницы, изображенные на крышках пышных саркофагов, еще не вышедших из моды в их стране; и тех, что отовсюду, тех, что стонут от изнеможения, и ах, ты их убиваешь, и ах, они уже умерли, и другого, как ты, на свете нет, и всего раза три дернутся да брыкнутся, пока, чтоб не заскучать, перебирают четки у тебя на спине, а ты силишься вызвать наслаждение, такое разрекламированное, что, кажется, заплатил бы за одну рекламу... Все это и много больше я уж испытал к тому времени, как очутился на суровой Сардинии и в Марселе, городе многих пороков, и это когда только через годы предстояло, плывя вдоль берегов Африки, познакомиться с темнокожими — одна другой чернее, — пока не доплыл до черным-черных из Гвинеи, с Золотого Берега, с ножевыми шрамами на щеках, ускользящим телом и крепким крупом, которых так справедливо предпочитают испанцы и португальцы — я говорю «справедливо», ибо, помнится, царь Соломон славился своими соломоновыми решениями и мудростью своего правления, но был не менее мудр, собирая обильную жатву этих — «я есмь черна», *nigra sum*... — чьи груди напоминают гроздь винограда, черного сочного винограда, что, родившись на склоне горы, дает густое ароматное вино, вкусный след которого остается, пока не оближешь губы... Но не плотью единой жив человек, и я из моих плаваний вынес большой опыт в искусстве вести корабль — хотя, сказать по правде, более доверялся я своему особому умению различать запахи ветров, понимать язык туч и разгадывать волн цветные переливы, чем любым расчетам и приборам. Очень любил я следить полет птиц над землею и морем, ибо они более разумны, нежели человек, в избрании дорог, какие им подобают. Я признавал здравый смысл гиперборейцев, «живущих за северным ветром», которые — как мне рассказывали — брали с собою на корабль двух воронов, чтоб выпустить на свободу, когда во время какого-нибудь опасного плаванья сбивались с пути, ибо знали, что, если птицы не возвратятся, достаточно будет повернуть нос корабля в ту сторону, где они исчезли в полете, чтоб обнаружить землю на расстоянии нескольких миль. Эта мудрость птиц побудила меня изучить особенности и привычки некоторых животных, которые, к вящему изумлению туманного разума нашего, живут, и совокупаются, и плодятся во вселенной. Так узнал я, что носорог — «на носу рог, *in pae cornus*...» — только может быть укрощен в своей ярости, если пред ним поставить юную девушку, чтоб обнажила грудь, как он подступит, и «таким порядком (говорит нам святой Исидор Севильский) животное лишается своей дикости, дабы прильнуть головою к юнице». Не имея случая наблюдать столь чудовищное создание природы, я знал, однако, что василиск, царь змеиный, убивает своим взглядом всех себе подобных, так что нет птицы, что пролетела бы невредимой вблизи него. Знакома была мне и саура — ящерка, что, как станет стара и слепа глазами, забирается в щель стены, выходящей на Восток, и, когда всходит солнце, глядит на него, силясь увидеть, и вновь обретает зрение. Занимала меня также саламандра, которая, как известно, живет посреди пламени, не мучась и не сгорая; ураноскопус — рыба-звездочет, прозванная так потому, что у нее один глаз на голове и она все время глядит в небо; рыбы-прилипала, которые, если их много, могут задержать корабль настолько, что кажется, будто он пустил корни на морском дне; и еще меня, как детище моря, очень заинтересовал зимородок-рыболов, который зимой мастерит свое гнездо среди вод океана и там выводит птенцов, и еще говорит святой

Исидор, что когда он выводит своих птенцов, то успокаиваются стихии и умолкают ветра на целых семь дней как дар природы этой птице и ее потомству. С каждым днем все более удовольствия находил я, изучая мир и его чудеса, — и от столь многого учения представлялось мне, будто мир раскрывает понемногу свои потайные двери, за которыми скрываются дива, еще не явленные большинству смертных. Я жаждал познать все. Я завидовал царю Соломону — наимудрейшему из мудрейших, — кто мог говорить о деревьях, начиная с ливанского кедра до иссопа-куста, растущего из стен, и знал также привычки всех во вселенной четвероногих, птиц, гадов и рыб. И как ему было не знать всего, если обо всем извещали его всякие вестники, посланцы, купцы и мореплаватели? Из Офира и Тарса прибывали грузы золота. В Египте покупал он свои колесницы, из Киликии прибывали для него лошади, а его конюшни в свою очередь снабжали скакунами царей хеттитов и царей Арамеи. Кроме того, он получал сведения о великом множестве вещей: о полезных свойствах растений, о случении животных, о пакостях, бесчинствах, кровосмешениях, распутствах, скотоложствах разных народов — через своих женщин, моавитянок, аммониток, эдомянок, финикиянок из Сидона, не говоря уж об египтянках; и куда как счастлив был он, мудрый муж, хитроумный муж, кто в своем роскошном дворце мог себе позволить, сообразуясь с погожестью дней и сменами собственной прихоти, семьсот главных жен и триста наложниц, не говоря уж о чужеземках, о проезжих или неожиданных, вроде царицы Савской, которые ему еще платили за это дело. (Тайная мечта всякого настоящего мужчины!) И тем не менее, если обширен и разнообразен был мир, знакомый царю Соломону, сложилась у меня убежденность, что флот его в конечном счете плавал только по знакомым и неопасным путям. Ибо, если б не так, его мореходы привезли б известия о чудовищах, упоминаемых путешественниками и мореплавателями, пересекшими пределы пространств, еще мало изведанных. По свидетельствам авторитетов непререкаемых, есть на Крайнем Востоке племена людей вовсе без носа, у которых все лицо ровное; у других нижняя губа так выдается, что для сна и защиты от солнечных лучей они ею укрываются до самого лба; иные имеют рот столь малый, что пищу могут получать только через овсяную соломинку; есть и такие, что без языка и пользуются только знаками и движениями, чтобы общаться с близкими. В Скифии существует народ с такими большими ушами, что в них можно заворачиваться, как в плащ, спасаясь от холода. В Эфиопии живет одно племя, замечательное своими ногами и быстротою бега и которое летом, лежа на земле вверх лицом, создает тень своими стопами, такими длинными и широкими, что их удобно употреблять как солнечный зонтик. В подобных странах можно встретить людей, что питаются только ароматами, и таких, у кого по шесть рук, и, что самое удивительное, женщин, родящих стариков, причем старики эти постепенно молодеют и превращаются в детей уже в зрелом возрасте. И чтоб далеко не искать, вспомним, что рассказывает нам святой Иероним, верховный учитель, описывая одного фавна, или козлонога, которого показывали толпам в Александрии и который оказался превосходным христианином вопреки всему, что думали люди, привыкшие связывать подобных существ с языческими баснями... И если теперь уж многие хвалятся, что хорошо знают Ливию, то верно и то, что им совершенно неведомо существование там людей-чудищ, что рождаются без головы, с глазами и ртом, помещенными там, где у нас пуп и соски. И в Ливии, сдается мне, живут также *антиподы*, у которых стопы вывернуты и на каждой по восемь пальцев. Но насчет *антиподов* мнения разделились, ибо некоторые путешественники утверждают, что народ этот

представляет собою не что иное, как неприятную разновидность собакоголовых, циклопов, троглодитов, людей-муравьев и людей безглавых, не считая людей о двух ликах, подобных Янусу, богу древних... Что же касается меня, я не думаю, чтоб наружность *антиподов* была такова. Я уверен — хотя это мое только собственное мнение, — что *антиподы* весьма отличны по природе своей: дело идет просто о тех, кого упоминает святой Августин, хотя сей епископ города Гипоны, вынужденный говорить о них, поскольку о них повсюду говорят, сам скорее отрицает их существование. Если летучие мыши могут спать, повиснув на своих лапах; если многие насекомые без труда передвигаются по гладкому потолку каморки этого притона, где сейчас текут мои мысли — пока женщина пошла за вином в ближайшую таверну, — могут же быть на свете человеческие существа, способные ходить вниз головой, что б там ни говорил высокочтимый автор сочинения «Enchiridion», или «Руководство». Есть канатные плясуны, которые проводят полжизни, передвигаясь на руках, и виски у них не лопаются от прилива крови; еще рассказывали мне о святошах, где-то в Индиях, которые, упершись локтями в землю, напрягают тело и могут оставаться целые месяцы ногами вверх. Меньше чуда заключено в этом, чем когда Иона был во чреве кита три дня и три ночи, с челом, опутанным водорослями, и дыша, словно находился в родной стихии. Мы отрицаем многие вещи потому лишь, что наш ограниченный разум заставляет нас полагать, что они невозможны. Но чем больше я читаю и обретаю знания, тем больше вижу, что считавшееся невозможным в мыслях становится возможным в жизни. Чтобы удостовериться в этом, достаточно послушать рассказы неутомимых странствующих торговцев или прочесть описания великих мореплавателей, особенно их описания, таких вот, как этот Пифей, родом из Массалии, обученный финикийскому искусству гребли, который, поведя свой корабль к северу и все дальше и дальше к северу в своей ненасытной страсти к открытиям, дошел до места, где море затвердело, словно лед на горных пиках... Но думается мне, что я читал пока мало. Надо будет достать еще книг. В первую очередь книг, в которых повествуется о путешествиях. Мне говорили, что в одной трагедии Сенеки рассказывается об этом Язоне, что, отправившись к Западу от Понта Эвксинского во главе аргонавтов, нашел Колхиду с золотым руном. Надо мне познакомиться с этой трагедией Сенеки, она, видно, весьма полезные знания содержит, как и все, что написано древними.

Пронзительно, громовно, долгим звуком падая с марса, гудят трубы на корабле, который плывет медленно в кисее тумана, настолько плотной, что с носовой части не различить кормы. Море вокруг кажется озером свинцового цвета, с недвижными волнами, чьи крохотные гребни опадают, не увенчав пеной свои острия. Бросает в воздух свой сигнал дозорный, и ему не отвечают. Снова повторяет он вызов, и его вопрос тонет в зыбкой тишине тумана, смыкающегося за двадцать вар длины пред моими глазами, оставляя меня наедине — наедине среди призрачных видений — с моим упорным ожиданием. Ибо трепет предсказанного, страсть увидеть удерживают меня на борту с тех пор, как прозвучал колокол молитвы шестого часа. И если я немало плавал до сих пор, то сегодня я нахожусь вне всякого известного курса, в путешествии, от которого веет еще ароматом подвига, чего нельзя сказать, вспоминая средиземноморские торговые перевозки. Я жажду различить вдали дивную нам землю — и впрямь дивная она, говорят!.. — которая метит предел Земли. С тех пор как мы вышли из порта Бристоль, нам благоприятствовали добрый ветер и доброе море, и

ничто, казалось, не предвещало, что могут повториться для меня трудные испытания у мыса Сан-Висенте, откуда я, благодаря помощи Божьей, спасся вплавь, ухватившись за весло, от ужасного кораблекрушения, когда одна наша урка загорелась. В Галлоуэе мы взяли на борт Боцмана Якоба, умевшего, как никто, водить по этим опасным дорогам корабли торгового дома Спинола и Ди Негро, с их грузом дерева и вин. Ибо сдается мне, что, поскольку нет ни лесов, ни виноградников на этом острове, который мы скоро завидим, дерево и вино — это вещи, наиболее ценимые его обитателями: дерево — чтоб строить свои жилища; вино — чтоб веселить свои души среди бесконечной зимы, где застывший океан, волны, изваянные из хлада, ледяные горы, легшие в дрейф, какие увидел Пифей, массалиец, отделяют их намертво от мира. По крайней мере так мне сказывали, хотя Боцман Якоб утверждает, как хороший знаток этих широт, что в нынешнем году море не должно бы застыть — и так уж бывало, — ибо некоторые течения, пришедшие с Запада, иногда смягчают суровый климат тех мест...

Живой и приятный в обращении этот Боцман Якоб, которого незнамо как занесло в далекий Галлоуэй, где он сошелся с одной пригожей шотландкой, девушкой с большими грудями и множеством веснушек, не особо обеспокоенной вопросом чистоты крови, который в наши дни отравляет умы в Кастильских королевствах. Поговаривают там давно уж, что скоро — в ближайшем месяце, на этих днях, неизвестно когда — Судилища Инквизиции начнут ворошить и вытаскивать прошлое, происхождение, историю рода новых христиан. И уже недостаточно будет отречения, но о каждом обращенном будут собираться сведения даже обратной силы, что обрекает заподозренного в подлоге, утайке, двуличии или притворстве на донос любого должника, любого польстившегося на чужое добро, любого сокрытого врага — любой штопальщицы девьего стыда или мастерицы дурного глаза, заинтересованной отвести взоры людские от собственной коммерции заговорений и любовных зелий. Но это еще не все: родившись неведомо откуда, ходит из уст в уста одна песенка как предвестник роковых дней. Эта — я ее слышал, — где говорится: *«Иудеи, вы пожитки собирайте...»*, сложенная, может, и в шутку, но шутка эта, коль укрепится, может стать предупреждением близости нового исхода — что Господь не допустит, ибо многие богатства текут из еврейских кварталов, и род Сантанхель — крупные тузы — передал в королевскую казну, заимообразно, тысячи и тысячи монет, меченных чеканкой их обрезаний. Поэтому Боцман Якоб подумал, что человек дальновидный двоих стоит, что можно жить и в диаспоре, и поэтому-то решил осесть в Галлоуэе, под защиту торгового дома Спинола и Ди Негро, чьи товары он складывает подле своей девчонки, кругленькой, веснушчатой и с большими грудями, которая услаждает ему жизнь, хоть порой и несет от нее потом, как от многих рыжих. Кроме того, он знает, что есть нечто делающее его необходимым всюду — его удивительная способность изучить любой язык в несколько дней. Так же владеет он португальским, как провансальским, как говором Генуи или Пикардии, и равно может объясниться с англичанином из Лондона на его жаргоне и даже понимает тот крутой язык, ошетинившийся согласными, грохочущий и рокочущий — «наречье, чихающее в глубь себя», он его называет, — который распространен на неведомом острове, куда мы плывем, острове, который меж туманами, что окрашиваются сейчас в странный цвет гончарной глины, начинает вырисовываться на горизонте сегодня, теперь, вскоре после молитвы девятого часа. Мы достигли предела Земли!..

И не знаю почему, Боцман Якоб смотрел на меня с издевочкой каждый раз, как я

произносил эти слова «предел Земли». И теперь, когда мы уж на земле, в доме, сколоченном из добротной куэнкской сосны, и бурдюк густого вина переходит из рук в руки, он открыто смеется, Боцман Якоб, немножко расшумевшись от выпивки, над тем, что кто-то может считать, что здесь достиг границ известного. Он говорит, что даже малолетки, что в меховых шапках и с мокрыми штанами ходят по улицам этого порта, чье название я никогда не научусь произносить, поднимут меня на смех, если я скажу, что земля, по которой мы здесь ступаем, — это граница или конец чего-то. И, удивляя меня с каждым часом все больше, он сказал, что эти люди Севера (*норманн* их поэтому, кажется, и называют — «северные люди») раньше, чем мы начали выходить из известного нам круга, ища ощупью новых дорог, по каким двигаться вперед, дошли с Востока до областей *руссов* и, поведя свои стрелчатые легкие ладьи в реки Юга, достигли владений Гога и Магога и султанатов Аравии, откуда вывезли монеты, которые у себя показывали потом с гордостью, словно трофеи, добытые в каком-нибудь Херсонесе... И чтоб доказать мне, что не врет, положил передо мною Боцман Якоб несколько денариев и других каких-то монет, которые, поскольку дошли из областей, где кочевали племена далеких его предков, хранит в качестве талисманов завернутыми в его матросский плат, — хотя его религия, с которой я хорошо знаком, запрещает предаваться подобным суевериям. Проглотив затем длинную струю вина, льющуюся из бурдюка ему в глотку, Боцман обращает взгляд на Запад. Он говорит мне, что много уж лет назад, коль сложить, то века будут, один рыжий гидальго из здешних мест, будучи осужден на изгнание за убийство, предпринял плавание вне знакомых направлений, которое привело его к огромной земле, названной им Зеленая Земля из-за того, что свежее-зеленые росли там деревья. «Не может быть того», — сказал я Боцману Якобу, опираясь на авторитет самых крупных картографов эпохи, не знающих вовсе об этой зеленой земле, никогда не упоминавшейся лучшими нашими мореходами. Боцман Якоб взглянул на меня с лукавством, доведя до сведения моего, что уж более двухсот лет назад было сто девяносто сельбищ на Зеленой Земле, два мужских монастыря и даже двенадцать церквей, одна из них едва ли не такая же большая, как самая высокая из тех, что *норманн* построили в своих владениях. Но это еще не все. Затерянные среди мглы, ведя свои призрачные корабли к безрассветным ночам гиперборейских миров, эти люди, одетые звериным мехом, прорывая туманы ревом труб, доплыли дальше на Запад и еще дальше на Запад, открывая острова, неведомые земли, и о них упоминалось уже в одном латинском трактате, мне неизвестном, — под названием «*Inventio Fortunata*», то есть «Счастливое открытие», с которым часто, сдается, справлялся Боцман Якоб. Но это опять не все. Плывя упрямо на Запад, дальше на Запад и еще дальше на Запад, один из сыновей рыжего морехода, прозванный *Лейф Счастливый*, достигает обширной земли, которой дал имя Лесная Страна. Там изобилует лосось; растут ежевика и другие ягоды; деревья там огромны, и — чудо, невероятное для этих широт, — трава не жухнет зимой. Кроме того, берег не уступчат и не обрывист, не изрыт гротами, где ревет океан и живут страшные драконы. *Лейф Счастливый* углубляется в этот неизведанный рай, где от него отстал и заблудился один германец-моряк по имени Тирк. Проходит некоторое время, и, когда его товарищи уж решили, что им больше не суждено его увидеть или что его пожрали какие-нибудь дикие звери неизвестной породы, вдруг появляется этот Тирк, пьяный, как рыбак на ловле тунцов, и объявляет, что нашел огромные заросли дикого винограда и что ягоды, перебродив, дают такое вино, что... да ладно, достаточно на меня посмотреть, и лучше вы тут не кашляйте, и

дайте мне проспать, и что здесь Очарованная Страна, и что я отсюда ни ногой, и что лучше не подходите, а то я вам голову снесу, как снес король Беовульф дракону с отравленными клыками, и король здесь — я, а кто хочет вызвать меня на поединок... И тут он падает, и блюет, и кричит, что все *норманны* — сукины дети... Но в тот день для *норманнов* родилась, после Зеленой Земли, другая — *Земля Вина*... «И если ты думаешь, что вру, — говорит Боцман Якоб, — достань писания Адама Бременского и Одерико Виталья». Но я не знал, где искать эти тексты, к тому ж написанные, по всей вероятности, на незнакомом мне языке. Чего я хочу, так это чтоб мне рассказали, чтоб мне повторили то, что и посейчас — здесь, на этом острове, что словно выбрасывает струи кипящей воды из чрева черных скал, — рассказывают, пощипывая струны арфы, памятки о старых делах, каких здесь называют *скальдами*. И еще поведал мне мой нечестивый друг, что, едва здесь прозналось про Землю Вина, к ней направились новые путешественники, сто шестьдесят человек, под началом такого Торвальда, другого сына рыжего изгнанника, и еще Торварда, его шурина, женатого на бабе с мечом за поясом и ножом между грудями, по имени Фрейдис. И снова лосось в изобилии, кислое вино, что опьяняет приятно и задаром, травы, что никогда не жухнут, сосна-лиственница, и даже открываются, дальше вглубь, огромные равнины дикой пшеницы. И все обещало удачу и процветанье, как вдруг появляются, гребя на лодках, сделанных будто из кожи морских животных, некрупные человечки с медноцветными лицами, широкоскулые, с миндалевидными какими-то глазами, с волосами наподобие конской гривы, которых наши крепко сбитые белокурые мужи сочли весьма уродливыми и дурно сложенными. Поначалу завязываются с ними разные сделки. Ведется обмен, сулящий большие выгоды. Приобретаются ценные меха за любую мелочь, представляющую новизну для тех, кто выражает свои мысли знаками: дешевые пряжки, янтарные четки, стеклянные бусы и в особенности красную материя — ибо, сдается, их особенно привлекает красный цвет, столь любимый также и *норманнами*. И все шло мирно, до того дня, когда какой-то бык, привезенный на одном из кораблей, вдруг убегает из хлева и начинает реветь где-то на побережье... Незнамо что приключилось с этими человечками: словно обезумев из-за чего-то, что соотносится, верно, в их варварской религии с каким-то образом зла, они спасаются бегством; но через некоторое время возвращаются огромной толпой, стремительные, напористые, обрушивая град камней, ливни валунов, лавины щебня на белокурых гигантов, чьи топоры и мечи в такого рода сражении оказываются бесполезными. Ни к чему не ведет и то, что баба их, Фрейдис, выставляет свои груди, чтоб устыдить мужчин, что, за неимением чего нужно, пытаются укрыться на своих кораблях. И, схватив двуручный меч павшего воина, она бросается на металыщиков камней, которые, объята внезапным ужасом пред воплями разъяренной женщины, в свою очередь обращаются в бегство... Но в ту ночь *викинги* — так их еще кличут — принимают решение вернуться на этот остров, чтобы начать новый поход, с большим числом хорошо вооруженных людей. Однако этот план не особенно-то увлек тех, кто год от году, с уверенностью в успехе, водил свои корабли до Парижа, Сицилии и Константинополя. Никто теперь не осмелится бросить вызов опасностям рискованного предприятия в мире, где менее страшат враги-люди, звери известной природы, чем тайны отвесных скал, едва различимых вдали; пещер, могущих быть жилищем чудищ; равнин, бескрайних в своей пустынности; кустарников в расселинах, где по ночам слышится улюлюканье, стенанья и вой, указующие на присутствие духов земли — столь обширной земли, столь далеко простертой к югу, что потребовались бы тысячи и

тысячи мужчин и женщин, чтоб заселить ее и возделывать. Не будет, значит, возврата на Большую Западную Землю, и образ Винланда — Земли Вина — растает вдалеке, как призрачное виденье, оставив волшебную память о себе на устах скальдов, меж тем как реальное ее существование сохранено в большой книге Адама Бременского, историографа гамбургских архиепископов, подвинутого нести веру Христову в гиперборейские земли, узнанные или ждущие узнаванья, где слово Евангелий еще не звучало. И очень важно, чтоб прозвучало там слово божье, ибо есть люди, многие люди, не ведающие о том, что Некто умер за них, и другие люди, подобные им в этом, как известно по слухам, которые садятся в повозки, везомые собаками, чтоб ехать в Страну Вечной Ночи... Я спрашиваю Боцмана Якоба, как зовутся эти существа, предающиеся, наверно, идолопоклонству, у которых хватило храбрости вытеснить из их владений белокурых гигантов здешних мест. «Не ведаю, каким словом они обозначают самих себя, — отвечает мне мореход. — А на языке их открывателей их кличут skraelings — скрелинги, что означает — как бы лучше сказать?... — что-то вроде нескладные, кособокие, криволапые. Да. Именно: криволапые. Ясно, ведь *норманны* — крепкие и очень видной стати. И эти людишки, низенькие, курносые, с короткими ногами, им показались нескладными. Скрелинги. Так-то: криволапые...» — «Я б их прозвал иначе: уродцы». «Вот-вот! — подхватил Боцман Якоб. — *Уродцы*. Очень подходящее слово...» Было уже поздно, когда я ушел в свою каморку на складах торгового дома Спинола и Ди Негро, которые на дальней этой земле от стольких наваленных бревен, от стольких бочек, что покупают здесь для хранения напитка, называемого *biott*, пахнут смолами Кастилии. Но я не могу уснуть. Я думаю об этих мореплавателях, заблудившихся среди льда и мрака, с их призрачными кораблями, предводимыми головою дракона, — как всплывают пред ними зеленые горы в расплывчатости неясных горизонтов, и как натываются они на плавучие стволы, и вдыхают ветра, груженные новыми ароматами, и ловят в воде листья неведомых доселе форм, корни мандрагоры, формою напоминающие человека, уплывшие из бухт, никогда не виданных; я вижу этих людей тумана, почти уж не людей в растушевке тумана, и как они вопрошают вкус течений, и пробуют, сколь солоната пена морская, и гадают язык волн, следя полет нежданных птиц, или проплыв косяка рыбы, иль расстиланье водорослей по воде. Все, чему научился в течение моих путешествий, весь мой Образ Мира — *Imago Mundi, Speculum Mundi* — рушится предо мной... Значит, если плыть на Запад, открывается огромная Твердая Земля, населенная уродцами этими, которая тянется к Югу так далеко, словно нет у нее конца? И, думаю, возможно, что она доходит до земель жарких, на широте гвинейского побережья — Малагетты, поскольку *норманны* эти самые нашли лосося и нашли виноградники. А лосось — кроме Пиренеев, да и там это большая редкость, как редкость и все, что растет на басконских землях, — кончается там, где начинается виноград. А виноград спускается до земель Андалусии, до греческих островов, которые мне знакомы, до островов Мадейра и даже, кажется, родится на земле мавров, но там из него не готовят вина, ибо такое запрещено заповедями Корана. Но, по моим знаниям, где кончается виноград, там начинаются финики. И возможно, попадаетея финиковая пальма также и в тех краях, к Югу, дальше к Югу, чем виноград... В таком случае... В голове у меня тасуются, мешаются, перевертываются, зачеркиваются и перечерчиваются все доселе известные карты. Лучше забыть эти карты, ибо вдруг они стали мне противны своей наглой самоуверенностью, своей хвастливой претензией охватить все. Лучше уж мне обратиться к поэтам, которые иногда в благозвучных

стихах излагали настоящие пророчества. Я открываю книгу «Трагедий» Сенеки, с которой не расстаюсь в этом путешествии. Останавливаюсь на трагедии «Медея», что так мне нравится из-за того, что там столько говорится про Понт, и про Скифию, и о курсе кораблей, солнца и звездах, о Созвездии Оленской Козы и даже о Медведицах, которые купались в заповедных морях, и я останавливаюсь на последней строфе дивного хора, воспевающего подвиги Язона:

...Venient annis
saecula seris quibus Oeeanus
uincula rerum laxet et ingens
pateat tellus Tethysque nouos
detegat orbis nee sit terris
ultima Thule.

И я беру перо и перевожу, согласно моему пониманию, на испанский, каким владею еще несколько неуклюже, эти стихи, которые много еще раз придется мне приводить в будущем: *«Придут поздние годы мира некие времена в какие Море-Океан ослабит связи вещей и откроется большая земля и новый мореход как тот кто был пилотом Язона и назывался Тифис откроет НОВЫЕ МИРЫ и тогда не будет остров Фула конечною из земель»*. В эту ночь дрожат у меня в мозгу струны арфы далеких скальдов, воспевших старые подвиги, как дрожали некогда на ветру струны той, вышней арфы, какою был корабль аргонавтов.

Я живу будто заговоренный, с тех пор как наслушался рассказов Боцмана Якоба. Возвращаются и ворочаются у меня в мозгу мельчайшие эпизоды этого поразительного открытия, сделанного Людьми Севера, чье поведение пришло к нам через саги — ибо *сагами* называют они свои романсы, которые, как те, что об Инфантах де Лара или о Моем Сиде, сохраняют для нас великие дела с истинною правдою за выпренной искусственностью слога хугляров или цветистой риторикой клерикальной поэзии. И задумываюсь я больше всего над этим вопросом расстояний. Длинным должен был показаться мореходам путь туда, как длинной кажется нам всегда неизвестная дорога, какою не знаем сколько времени придется следовать; но, по правде, не должна отстоять так уж далеко от Земли Льда (Icelandia, Исландия, будет на их языке, которая есть Тиле или Фула древних) эта другая земля, где водится лосось и растет виноград, откуда они были вытеснены — поверить не могу, что в них оказалось так мало отваги! — кучкой уродцев, у которых не было ни копий, ни мечей. Ибо кроме прочего повествуют также романсы их острова, что как-то раз *Лейф Счастливый* отправился из Нидароса в Винланд, не останавливаясь нигде; другой путешественник приплыл из Винланда в Исландию, идя прямым курсом, на одном порыве ветра. И корабли его, несомненно, превосходной выделки, легкие, стройные, хорошей длины по килю и очень ходкие. Но правда и то, что они слишком узки и малой вместимости. И если б пришлось идти в долгое плаванье, то у команды скоро не достало бы припасов, необходимых, чтоб прокормиться. Так что близко, достаточно близко должна лежать эта Земля Вина, и просто чудо, что другие не достигли ее вслед за Людьми Севера. И если доселе оставалось неизвестным, что я теперь знаю, то потому, верно, что весьма немногие мореходы из Генуи, Лиссабона или Севильи, отправившиеся в Исландию, не только действительно считали ее окончательностью Земли, но и не знали языка, похожего на чиханье в глубь себя — словно рык и хрип вместе, — которым так ловко владеет Боцман Якоб, и не имели счастливого случая, как я, послушать его рассказы, ибо, говоря по правде, Боцман не очень-то любит распивать вино с портовым сбродом,

скандальным и грубым, что обычно набивается к нам на корабли, а что до нашей недолгой, но сердечной дружбы, ею мы обязаны братству тех — как бы сказать? — кто рожден мужчиной по всем статьям... И вот сейчас минувшие года проходят у меня перед глазами, стремительно и в беспорядке. Я знаю с достоверностью, что существует большая заселенная и богатая земля на Западе; знаю, что, плывя к Западу, я буду на верном пути. Но если прослышат о моей уверенности в том, что, плывя к Западу, я наверняка попаду, согласно полученным сведениям, на Землю Льда, окажется весьма невелика заслуга моего предприятия. Хуже еще: обязательно отыщется какой-нибудь родич, фаворит, наперсник, прославленный капитан при дворе какого-нибудь правителя, что добьется вместо меня кораблей и перехватит у меня славу Открывателя, которую я ценю превыше любой другой чести. Моя амбиция должна оставаться в секрете. Отсюда следует, что нужно скрывать правду. А из-за необходимости ее скрывать я запутываюсь в такой сети уловок, что распутать ее может только полная моя исповедь, когда я открою изумленному францисканцу, который должен будет выслушать меня, что, будоража свой ум все одними и теми же мыслями; что, видя себя осаждаемым денно и ночью одной идеей; что, не умея уже раскрыть книгу, не попытавшись отыскать в ней между строк какой-нибудь стих, указующий мне мою миссию; что, ища предзнаменований и примеряя онейромантику к моим собственным снам, даже обращаясь для этого к текстам лже-Иосифа и лже-Даниила и, конечно же, к трактату Артемидора из Эфеса; что, живя в беспокойстве и лихорадке, вынашивая замыслы более или менее фантастичные, я постепенно превращаюсь в великого и бесстрашного обманщика — вот оно, верное слово. Я скажу, да, скажу, что, глядясь в себя самого в последний этот час, нахожу я, что другие, меньше, гораздо меньше меня обманщики, были уведены докрасна калить бледные свои обманы на главном помосте Инквизиции. Но так мало весомы обманы тех, кто надувает влюбленного юнца, продав ему любовный напиток, учит хитростям мелкого колдовства, чтоб благоприятствовать мелким бесчестьям, прописывает мази из медвежьего жира, змеиного яда, ежового мяса, порошки из пепла покойников, настои из коры желтой акации, из красных листьев и золотарника — мало весомы интриги сводниц и мошенничества тех, кто вызывает Князя Тьмы, слишком занятого более важными делами, чтоб уделять время подобным дурачествам, мало весомы, очень мало весомы, думаю, рядом с интригами и обманами, какими в течение долгих лет пытался я завоевать благоволение Князей Земли, скрывая истинную правду за притворными правдами, подтверждая сказанное мною цитатами, ловко найденными меж страниц Писания, не забывая никогда привести, трепетно останавливаясь на каждом слове, пророческие стихи Сенеки:

...Venient annis
saecula seris quibus Oceanus
vincula rerum laxet...

...Промчатся года,
и чрез много веков

Океан разрушит оковы вещей...³⁵²

И так переходил я от одного королевского двора к другому, нимало не заботясь, для кого предприму свое плаванье. Мне нужны были корабли, кто б мне их ни

³⁵² Люций Анней Сенека. Трагедии. Медея. Перевод Сергея Соловьева. Academia, 1933. — Здесь и далее цитируется по этому изданию.

предоставил. Прочные корабли, большой вместимости, с кормчими цепкой хватки и матросами крепкой силы — пусть они хоть беглые каторжники, мне в данном случае все равно. Попа не возьму. Достаточно, если я доплыву *туда* — это будет уже подвиг! — не связывая себя обязанностью наставлять в вере и разводить разную теологию и не интересуясь, есть ли у тех уродцев какая-нибудь варварская религия, каковую трудно искоренить и каковая потребовала бы деяний мужей ученых, понаторевших в проповеданье язычникам и обращении идолопоклонников. Первое — пересечь Море-Океан, а потом уж явятся Евангелия, ибо они бродят сами по себе. Что же касается славы, завоеванной моим подвигом, то мне все едино, увенчается ли ею пред всем светом одно или другое королевство, только б проистекли из того должны мне почести и участие в обретенных выгодах. По той же причине я обзавелся шатром чудес, какие были в ходу у певцов-голиардов на ярмарках Италии. Я ставил мои подмостки перед герцогами и наследными принцами, богатеями, монахами и испанскими грандами, клириками и банкирами, знатью отсюда, знатью оттуда, я навешивал занавес слов и тотчас выводил на сцену в ослепительном шествии карнавальные фигуры: Золото, Бриллиант, Жемчуг и в особенности образы Пряностей. Донья Корица, Дон Мускат, Дон Перец и Дон Кардамон выходили об руку с Доном Сапфиром, Доном Топазом, Доном Изумрудом и Доньей Чисто-Серебро, а за ними следовали Дон Имбирь и Донья Гвоздика дель Бутон под звуки торжественного марша в тоне шафрана и ароматов Магабарского берега, в котором звенели, с певучей своей гармонией, имена Сипанго, Катая, Золотой Колхиды и всех Индий, которых, как известно, несколько — Индий изобильных, плодотворящих, пряностных и приправных, неисследованных, но глядящих в нашу сторону, желающих протянуть к нам руки, укрыться под наши законы, Индий близких — более близких, чем мы думаем, хоть еще представляются нам далекими, — которых мы сможем теперь достичь по просторному пути, плывя по Левую Руку всех карт, презрев опасную дорогу по Правую Руку, кишашую до сих пор магометанскими пиратами, корсарами-одиночками, плавающими под тростниковым парусом, и это если не идти по суше, подвергаясь чудовищным поборам, ограничениям перевозок, праву печати мер и весов, установленных на территориях под владычеством Великого Турка... Рука Левая, Рука Правая. Я вскидывал их, показывал, двигал ими с искусством хугляра, с изяществом ювелира или, впав в торжественность, вздевал их, глася словом Исайи, взывая словом Псалмов, зажигая огни иерусалимские, я возвеличивал их предплечья разлетом рукавов, указуя на невидимое, тыча в неведомое, вороша огромные богатства, взвешивая сокровища, обильные подобно воображаемым жемчугам, какие, казалось, уже струятся у меня меж пальцев, упавая на землю и расцветивая восточными блестками ее амарантовый ковер. Знатные и ученые люди рукоплескали мне, восторгались моими космогоническими откровениями, увлекались на миг посулами мечтателя-ювелира, алхимика без реторт, но под конец оставляли меня ждать у моря — вернее было бы сказать: у моря погоды — без кораблей и без надежд... И так носило меня туда-сюда долгие годы, с моим карнавальным шатром, и не вершилось, чтоб слово Сенеки стало плотью, во плоти явленное тем, кто простерт здесь сейчас, в поту и в ознобе, ослабелый телом, ожидая францисканца-исповедника, чтоб сказать все... все...

...И я скажу ему, что, пока я ждал, когда же исполнится моя мечта и я смогу осуществить самое сказочное предприятие — самое пагубное предприятие для меня,

как оказалось, — о каком когда-либо слышал свет, я, находясь в Лиссабоне, подумал, подобно поэту, что «мир трудится для двух вещей»: первая — «чтоб плоть свою питать» и вторая — «чтоб с женщиной приятно водиться». Я встретил Фелипу и стал ухаживать за нею как истый кабальеро. Хотя молода лицом и стройна телом, была она вдова с малыми средствами и дочерью на руках. Но я не придавал значения этому обстоятельству, памятуя, что была она из хорошего рода, и я повел ее к алтарю в ту же церковь, где увидел впервые усердно молящейся, принимая в расчет, что, будучи к тому ж «женщиной приятною», состояла она в родстве с известной фамилией Браганса, и это родство было открытою дверью — много дверей открыла передо мною эта моя женитьба, — чтоб попасть к португальскому двору и раскинуть там мой волшебный шатер. Но тут начались трудные годы ожидания, ибо все оборачивалось ожиданием в годы, следовавшие затем: во-первых, на острове Порто-Санто, куда я с моей Фелипой переехал на житье и где, несмотря на любезное присутствие той, что была — снова приведу слова поэта — «в любви нравной, на ложе радостной, утешной и забавной», я сгорал от нетерпения пред множественностью Примет, которые заставляли меня слишком часто думать о том, что скрыто за ежедневно созерцаемым горизонтом. К берегам острова приставали гигантские стволы, неизвестные в Землях Европы; растения странных очертаний, с тройчатыми листьями, словно упавшие с какой-то звезды. Однажды мне рассказали о куске дерева, что выбросила волна, выделанном неведомым способом, словно людьми, которые, не зная наших орудий, использовали огонь, чтоб добиться того, для чего у нас есть пила и струг; говорили также как о важном событии о находке, сделанной несколько лет назад: двух трупах людей «с очень широкими лицами» и необычным сложением — хотя последнее мне показалось неправдоподобным, ибо трудно представить, что эти тела приплыли так издалёка, не обращенные в скелеты многими рыбами, прожорливыми и голодными, какие живут в Океане, где если неисчислимы твари известные, то несчетны неизвестные и чудные — есть такие, что с головой единорога, есть такие, что извергают струи воды из пасти, — такие чудные, как эта гигантская водяная змея, дочь чудовища Левиафана, по морю приплывшая от азиатской Галатии до берегов реки Родан, обвиваясь вокруг всех кораблей, какие встречала на пути, с такою силой, что проламывала их ребра и потопляла их вместе с командой и грузом... Я не стану входить в подробности относительно отдельных моих дел и плаваний меньшей важности, какие я предпринял в те годы, когда у меня родился сынок, которому я дал имя Диего. Но как только я овдовел — и стал, значит, свободным от пут, несколько сдерживающих мое нетерпение, — огонь моего честолюбия вспыхнул снова, и я решил искать помощи где угодно; и пора уже было, ибо португальские мореплаватели становились все дерзновенней в своих открытиях, и не был напрасным страх при мысли, что, раз уж столько глядели они на Юг и Восток, придет им как-нибудь в голову поглядеть на Запад, чьи пути считал я законной своею вотчиной, с тех пор как Боцман Якоб разжег во мне страсть к приключениям. Любое доходившее до меня известие о плаваниях португальцев будоражило мне душу. Ночью ли, днем ли, жил я в страхе, что у меня похитят море — мое море, — подобно тому как дрожал перед воображаемыми ворами скупой из римской сатиры. Этот Океан, на который взирал я с крутых берегов Порто-Санто, был моею собственностью, и каждая промелькнувшая неделя увеличивала опасность, что его у меня похитят. И я угрызал себе душу, и грыз ногти, и скреб в ярости борта кораблей компании Чентурионе и Ди Негро — теперь объединившихся, — которые держали меня на торговле каким-то

сахаром, на обыденных мелких перевозках, когда я плавал от острова Мадейра до Золотого Берега, от острова Флорес до Генуи, и снова к Азорским островам, и снова в сторону от Генуи, закупая, увозя, привозя, продавая и перепродавая товары, в то время как ощущал в себе силы подарить миру новый образ того, чем он был сейчас, — истинный образ мира, *Imago Mundi! Speculum Mundi!* Один я, безвестный моряк, выросший среди сыров и вин портовой таверны, знал подлинную меру этих слов. Потому-то пришел час поспешать. Карты, тексты ничего нового уж не могли поведать мне. И поскольку нуждался я в помощи королей, чтоб подступить к моему замыслу, я решился искать ее упорно, всюду, где только возможно. Не очень было мне важно в конечном счете, какая нация обретет чрез эту помощь мне величайшую славу и бесчисленные богатства. Я не был ни португальцем, ни испанцем, ни англичанином, ни французом. Я был генуэзец, а мы, генуэзцы, — народ отовсюду. Мне надлежало побывать при всех, каких только возможно, королевских дворах, не заботясь о том, кого возвеличит мой успех и будет ли покровительственная корона враждебна другой или третьей. Поэтому я снова собрал мой Театр Чудес и отправился с ним в новое странствие по Континенту. Сначала я показал его в Португалии, где нашел короля, слишком пресыщенного космографиями, теологиями, лоциями, слишком доверившегося своим мореходам, что уж брюшко отрасли, и который в конце концов передал меня под полномочие докторов, географов, канонистов и глупца епископа Сеуты — словно Сеута это древняя Антиохия! — и еще магистров Родригеса и Жозефа, тупых и невежественных, как были в утробе матери, которые принялись утверждать, что мои речи — сплошная путаница и неразбериха, старая песня на новый лад, петая и перепетая Марко Поло — великий венецианец, я читал его книгу с восхищением, но вовсе не намеревался идти по его следам, ибо целью моею было как раз добиться того, чтоб, плывя по солнцу, достичь областей, каких достиг он, идя против солнца. Если его след прочертил одно полукружие на Земле, мне предназначено было прочертить второе. Но я знал — и знал твердо, — что недостающий кусок, чтоб замкнуть окружность, был тот, что принадлежал Нации Уродцев... Так что я сложил свой шатер и, разочаровавшись в Португалии, снова раскинул его в Кордове, где Их Католические Величества отнеслись к моему спектаклю весьма сдержанно. Араговец показался мне придурком, рохлей и бесхарактерным, под началом жены, которая во время данной мне аудиенции слушала мои слова со снисходительной рассеянностью, словно думая о другом. И я вынес оттуда лишь тощее обещание, что здешние ученые — вечно одна и та же история! — рассмотрят мое предложение, ибо в настоящее время важные государственные дела и большие военные расходы, которые... и прочая, и прочая — пустые отговорки властительницы, весьма довольной собою, старающейся показать себя начитанной, которая, по ее утверждению, «чувствовала себя глупой», бедняжка, «когда приходилось состязаться с толедскими теологами», — фальшивое смирение людей, притворно признающих, что знают не все, а про себя думающих, что знают все. Я вышел оттуда в бешенстве не только от досады на подобный прием, но и потому, что пуще всего не любил иметь дело с бабами иначе как в постели, и было совершенно очевидно, что при этом дворе кто начальствовал в действительности — была баба... Но поскольку без бабы — хоть и для другого — не может существовать мужчина, то как раз в то время стал я жить с пригожей бискайской девушкой, которая подарила мне второго сына. О женитьбе мы не говорили, и я этого не хотел, поскольку та, что спала теперь со мною, не находилась в родстве ни со знаменитыми Браганса, ни со столь же

знаменитыми Мединасели, причем приходится признать, что, когда я увел ее к реке в первый раз и думал я, она невинна, легко было убедиться, что до меня она была жена другого. Что мне не помешало, честно говоря, мчаться по лучшей в мире дороге и на кобылке из перламутра, забыв про узду и стремя, покуда мой брат Бартоломе готовился раскинуть мой шатер в Англии, пред троном первого Тюдора, носившего это имя. Но вскоре он убедился, что и там не будет блестящего приема, ибо дерьмовые эти англичане ничего не смыслят в морском деле — до сих пор не способны добыть себе горсть корицы или мешочек перцу ни в каком другом месте, кроме лавки торговца пряностями. Я стал думать тогда о короле Франции, таком богатее, каких еще баба не рожала, с тех пор как заполучил через выгодную женитьбу герцогство Бретань. Но для бретонцев герцогини Анны киты и сельди, спермацет и рассол были ценностями более прочными, чем Золото Индий, и там я тоже не добился порядочного приема... Но, несмотря на провалы и разочарования, учился я придавать себе весу. Понимая, что выслушивают как должно лишь того, кто идет напролом, надменен с привратниками, нетерпелив в приемных, сыплет званьями и почестями, каких достиг, я обзавелся своей мифологией, призванной заставить всех забыть про таверну в Савоне — во славу моих отца с матерью! — с хозяином, ткачом и сыроваром, прилипшим к своим винным бочкам и каждодневно вступающим в стычки с пьянчугами-неплательщиками. Внезапно я извлек из кармана дядю-адмирала, присвоил себе степень бакалавра университета Павии, на чей порог ни разу не ступил за всю мою распрекрасную жизнь; я заделался другом — в глаза его не видел — короля Рене Анжуйского и любимым кормчим прославленного Колонны Младшего. Я становился большим человеком и в качестве такового вел теперь мою интригу с большей фортуною, чем раньше: посредством сплетен, распускания слухов, фраз, брошенных вскользь, секретничанья, остроумничанья, признаний с требованием клятвенного обещанья, что это не пойдет дальше, писем, читаемых с умолчаниями, фальшивых намеков на скорый отъезд по срочному призыву других королевских дворов, я дал понять обиняком арагонцу и кастильянке — с помощью одного медика и астролога, большего проныры, чем сам Вельзевул, и которого мне посчастливилось убедить, что из-за глупого недоверия одних и глупой слепоты других для их королевства сейчас под угрозой провала сказочное предприятие, гигантские доходы от которого уже провидят другие суверены, лучше там, у себя, ориентированные... И отсюда проистекло, что по королевскому распоряжению меня неожиданно одарили гнедым мулом, в красивой упряжи, чтоб я рысцой, рысцой, не особенно запылив единственное приличное платье, какое у меня было, отправился в огромный лагерь Санта-Фе, большой военный караван-сарай, превращенный в город и королевский двор присутствием Их Высочеств, откуда, среди палаток из пышных ковров и палаток из латаных одеял, огней бивуаков, повозок под навесом, уставленных кувшинами, бурдюков с густо-красным вином на спинах осликов, постаныванья гитар и пляски гетер на танцевальном помосте, зова труб и стрекота кастаньет будут уходить войска, которые, нарушив рубежи долгой осады, возьмут завершающим приступом последний оплот Магомета на этой земле, где — повторю слишком известную истину — хватало ренегатов всех сортов (агарянки, от матерей до дочерей, совокуплялись с христианами), слабых известно на что, как был король Альфонсо Шестой, кто, прежде чем блудить со своей сестрою доньей Урракой — что за семьи, господи! — имел наложницей, и долгое время, знаменитую Зайду, севильскую мавританку из тех, чьи бедра щедро круты, груди высоки и тело пахнет толедским марципаном, какой

продают в форме Райского Змия, клубком в круглой коробочке, в сплошь золотой чешуе, с зелеными леденцовыми глазами и красным пряничным языком.

Шел месяц июль. Мне исполнилось недавно сорок лет. Не полагая себя красавцем, я знал, что статно сложен, что черты мои благородны, что у меня открытый взгляд, что речь моя смела и осанка мужественна, что на лице моем, с орлиным носом и кожей, дубленой от морских ветров и солнца Африки, нет морщин, хоть голова моя уже седа — что придавало мне некоторое величие, наводя на мысль об опыте и разумном взгляде на вещи, что связывают, хоть порою ошибочно, со всеми знаками, налагаемыми на нас временем. Стояла жара, когда я прибыл в Санта-Фе.

Ей тоже исполнилось недавно сорок лет. И, прося извинить отсутствие мужа, преданного занятиям большей важности — а на деле преданного охоте, доброму вину и девочкам, — она приняла меня одна, в личном своем покое с мавританской мебелью, инкрустированной перламутром, оставшейся ей при отходе неверных к стенам Гранады. Прошло пять лет с тех пор, как я видел ее, во время неудачной аудиенции, когда из-за своей рассеянности и малого внимания к моим словам она показалась мне только что не противной. Но в тот раз голова ее убрана была богатым током, и вуаль, скрывавшая волосы, не дала мне разглядеть, что это была женщина белокурая, очень светлая, как бывают иногда венецианки: ее прекрасные сине-зеленые глаза сияли на лице гладком и розовом, как у девственницы, какому придавало особую прелесть выражение насмешливого лукавства, рожденное, быть может, многими победами, когда помог ей острый ум, в дни политических неурядиц и в часы важных решений. Она не была уже — это многие знали — королевой, влюбленной в того, кто, недостойный подобного чувства, изменял ей, открыто и на виду у своих слуг, с любой дамой из благородных, с любой придворной фрейлиной, смазливой камеристкой или задорной судомойкой, какая только попадетя на пути, когда не давал опутывать себя ласкам какой-нибудь обращенной мавританки, еврейки из знойных или продажной девки, если не было лучшего мяса, каким полакомиться. Теперь женщина, с которой я говорил о моем грандиозном проекте, была — и это уж все знали — тою, кто здесь действительно правил. Та, что в Сеговии в день своего коронавания вошла в собор вслед за канцлером, вздевшим шпагу, как некий орган мужского тела, и держа ее за острие, что являло символ власти и правосудия — как потом смеялись над ним за этот показ своей самости! — была и тою, что в эти годы с решимостью управляла всеми государственными делами. Араговец не распорядился ничем — кроме своей своры, разумеется, — не испросив ее согласия. Ей должен он был давать на досмотр свои решения и декреты и ей же свои частные письма, читаемые так авторитарно, что, если какое ей не нравилось, она немедля повелевала его порвать в присутствии мужа, чьим приказам — это было широко известно — не придавалось особого значения, даже в Арагоне и в Кастилии, тогда как все дрожали пред приказами той, что считалась во всем королевстве сильнее волей, живее умом, благороднее сердцем и богаче мудростью... В это первое мое свидание с тою, что (и слишком много будет потом у меня причин любить самое имя этого городка) родилась в Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, говорил я о том, о чем говорил всегда пред знатыми и могущественными; я развернул в который раз мой Театр Чудес, мой ярмарочный листок ошеломляющих географий, но, ведя роль провозвестника ожидаемых чудес, я развил новую идею, созревшую за недавними чтениями, которая, кажется, очень понравилась моей слушательнице. Основываясь на мыслях о

всемирной истории, высказанных христианским историком Павлом Орозием, излагал я свое убеждение, что, подобно тому как движение неба и светил идет с Востока на Запад, так и правление миром перешло от ассириян к мидийцам, от мидийцев к персам, а потом к македонцам, а потом к римлянам, а потом к галлам и германцам и под конец к готам, основателям этих королевств. Было б справедливо, следовательно, что после того, как вытесним мавров из Гранады — что случится весьма скоро, — мы обратили взгляд к Западу, продолжая традиционное расширение королевств, направляемое движением светил, достигая подлинно великих империй Азии, ибо то, что смутно увидели португальцы во время своих плаваний, взяв курс на Восход, были какие-то жалкие крохи. Конечно же, я привел пророчество Сенеки, и так удачно, что моя державная слушательница была так мила, что прервала меня, чтоб привести, на память, два стиха из трагедии:

Haec cum femineo constitit in choro,
unius fades praenitet omnibus.

Преклонив пред нею колена, я повторил эти стихи, уверяя, что это, казалось, о ней думал великий поэт, говорящий, что «если встанет она в хоре коринфских жен» — нет, всех женщин на свете, — «затмевая других, блещет ее лицо». Когда я смолк, ресницы ее дрогнули как-то нежно, она подняла меня и усадила рядом с собою, и по кускам мы принялись воссоздавать, припоминая, чудесную трагедию... И в тот день, движимый смелостью, на какую не считал себя способным, я сказал слова, будто произносимые кем-то другим — слова, которых я не повторю в моей исповеди, — позволившие мне выйти из королевских покоев, уже когда начали бить зорю в воинских станах. И начиная с этой ночи счастья, одна-единственная женщина существовала для меня на земле, еще ожидавшей *меня*, чтоб окончательно стать круглой.

И земля торопилась стать круглой. И еще больше торопился я, снова запутавшись в интригах, полемиках, словопрениях, размышлениях, уловках, рассуждениях — сплошная галиматья! — космографов, географов, теологов, которых я пытался убедить, что предприятие мое верное и сулит огромные выгоды, хоть делал это как всегда, как всегда, как всегда, не решаясь раскрыть мой Великий Секрет — тот, что раскрыл мне Боцман Якоб там, в дневные ночи Ледяной Земли. Проговорись я — а сколько раз в порыве досады я был близок к этому... — я б смутил моих силлогизирующих оппонентов. Но тогда домогатель звания Гиганта Атласа опустился бы до уровня любого моряка, стал бы скорее кабатчиком, чем студентом из Павии, скорее сыроваром, чем кормчим Колонны Младшего, и неизвестно еще, не поручили ль бы в результате другому командование флотилией, какую я желал для себя! Прошло немало месяцев, Гранада наконец пала, евреи были изгнаны из Испании — «*Иудеи, вы пожитки собирайте!*» — и все оборачивалось славою для двойной короны, а я не двигался с места... В ночи, проведенные близ нее, *Колумба* — так звал я ее, когда мы оставались наедине... — обещала мне три каравеллы, десять каравелл, пятьдесят каравелл, сто каравелл, столько каравелл, сколько захочу; но едва забрезжит заря, каравеллы таяли в воздухе, и я оставался один, бредя в предутренней мгле по дороге к дому и глядя, как никнут мачты и паруса, так победно высившиеся в моих честолюбивых видениях и вернувшиеся, при дневном свете, к зыбкой обманности снов, никогда не удерживающих осязаемых образов... И я начинал спрашивать себя, не окажется ли в конце концов мой жребий подобным жребию стольких влюбленных в

свою государыню, таких, как дон Мартин Васкес де Арсе, юный Рыцарь из Сигуэнсы, прекрасный лицом, что погиб в жаркой схватке с маврами, затем что усердствовал в подвигах храбрости пред своею Дамой — вдохновительницей его стремлений, направительницей его усилий. (И как ревновал я порой к этому юному воину-поэту, кому я в моих сердечных муках приписывал, быть может, большую удачу, чем достигнута была в действительности Тем, кто избегал и упоминанья о *ней*, затем, верно, что было оно для него так сладостно, так дивно сладостно, и он боялся, как бы не прочел я в его глазах имя его избранницы!) Великие страдания испытывает тот, кто, будучи сделан из хрупкого стекла, коснется острия алмаза!..

Я видел уже, как взвились королевские знамена над башнями Альгамбры; я присутствовал при унижении мавританского короля, выходящего из ворот побежденного города, чтоб целовать руку у моих монархов. И уже назревали более обширные планы: уже говорилось о том, чтоб вести войну до Африки. Но в отношении меня все было на уровне «увидим», «рассмотрим», «обсудим», «лучше бы еще подождать, ибо ничто так не спасительно, как день за днем», и «терпение есть великая добродетель», и, как гласит испанская пословица, «лучше известное худо, чем неизвестное чудо»... Я достал уже миллион мараведи с помощью генуэзцев из Севильи и банкира Берарди. Но мне нужен был еще миллион, чтоб пуститься в плаванье. И этот второй миллиоником был тот самый, который Колумба обещала мне на каждом закате, чтоб отнять его у меня на каждом рассвете — словно так и надо — в своем прощальном «теперь уходи». Но однажды ночью я сорвался. Внезапно впав во гнев, я с высоты своего величия возгласил, что, хотя учтив и смиренен по отношению к ней, памятуя, что пурпур, хоть он невидим, всегда одевает тело королевы, я тоже, думаю, не меньше значу, чем любой монарх, и пусть нет на мне тиары в драгоценных камнях, но я увенчан нимбом моей Великой Идеи, подобно тому как они оба — коронами Кастилии и Арагона. «Шут! — закричала она на меня. — Шут ты, и больше никто!» «Да, я шут! — закричал я в свою очередь. — И никто не может это знать лучше, чем ты, ибо тебе известно, кем я был и кем стал подле тебя!» И, не умея долее скрывать секрет, какой столь долгие годы таил про себя, я открыл ей то, что узнал там, на Ледяной Земле, про плаванья Эйрика Рыжего, его сына Лейфа и про открытие, сделанное ими, Зеленой Земли, и Лесной Земли, и Земли Винограда; я развернул пред нею волшебный пейзаж елей, диких пшеничных полей над потоками, серебряными от лососиных спин; я расписал ей уродцев, украсив их ожерельями из золота, браслетами из золота, нагрудниками из золота, касками из золота, и сказал ей, что они еще и поклоняются идолам из золота и что золото для тамошних рек — такая же обычная вещь, как щебень для кастильского нагорья... И пред онемевшей от изумления Колумбой я выкрикнул, что ухожу, чтоб никогда не вернуться, и что теперь предложу великое мое предприятие королю Франции, готовому хоть сейчас оплатить его, потому что у него и верно умная жена, увлеченная морем, как истая бретонка, достойная потомка Елены из Арморики, дочери короля Хлора, жены Константина Старшего, избранной Господом, чтоб отрыть Крест, который покоился на двадцать пядей под землей на горе Голгофа в Иерусалиме. Таким вот людям и правда можно верить, и я ухожу с моим Театром Чудес в другое место!.. Сказанное мною привело, казалось, Колумбу в ярость: «Шут! Поганый шут! Ты продал бы Христа за тридцать сребреников!» — крикнула она мне вслед, когда я выходил из покоя, хлопнув дверью. Внизу, привязанный под деревьями, ожидал меня мой друг — гнедой мул. Взбешенный, как не упомяну был ли когда еще, — и зачем я к тому ж выдал Великий Секрет, о каком бы должен

молчать! — я проехал добрых две мили и спрыгнул на землю у придорожной венты с намерением выпить столько вина, сколько в меня поместится. Апрель вступал в свои права. Зелень полей ярче выявлялась под бледно-оранжевым светом, неповторимым в своем оттенке светом над цветущей гранадской долиной. Звонко пели дрозды. Все наполнилось радостью в этом приюте, полном уже, несмотря на ранний час, празднично одетых землепашцев. Колокола ближней церкви сзывали к обедне. Но я был мрачен, каждый стакан вина, вместо того чтоб облегчить мне душу, погружал меня в отчаяние совершившего непоправимую ошибку. Я потерял все. Все. Королевскую милость и надежду, которая хоть и никак не сбывалась, но совсем недавно еще не была напрасной. И я уже опорожнил целый кувшин вина, как вдруг увидел входящего альгвасила, который, судя по его потному и пропыленному виду, мчался до самого поселка во весь опор. Увидев меня, он направился прямо ко мне: Ее Величество посылала за мною, умоляя меня немедленно вернуться назад... И вскоре после полудня, наскоро освежив лицо и платье, я уже стоял пред моей державной повелительницей. «Миллион мараведи у тебя в кармане», — сказала она мне. Она попросила его у банкира Сантанхеля с той властной настойчивостью, какую я хорошо знал. Она дала ему в залог свои драгоценности, которые по-настоящему стоили много меньше. «Я их выкуплю, когда мне вздумается, — сказала она, — и не возвращая этого миллиона». Она взглянула на меня значительно: «Мы изгнали евреев. Для Сантанхеля, право, стоит лишиться миллиона, чтоб получить счастливую возможность остаться в этих королевствах, где у него такие выгодные дела. А теперь собирай свои пожитки ты! Удачи тебе. И добудь все золото, какое сможешь, чтоб мы могли дойти войною до Африки». «И даже отвоевать город Иерусалим, как отвоевали Гранадское королевство», — сказал я. «Быть может», — отозвалась она... «Но ты никому не должна раскрывать мой Великий Секрет», — сказал я, внезапно встревоженный мыслью, что Сантанхель мог быть осведомлен о том, что... «Я не так глупа! — сказала она. — В этом секрете кроется слава для нас обоих». — «Святой Дух тебя вдохновляет», — сказал я, целуя ей руки. «Быть может, так сказано будет в будущих книгах, — сказала она. — В книгах, которые напишут, разумеется, только если ты что-либо откроешь». — «Ты сомневаешься в этом?» — «Жребий брошен, Alea jacta est...» Снаружи слышался выкрик мавра-водоноса, который в шапке с кисточкой, цветастой куртке и штанах в обтяжку выхвалял прохладную влагу бурдюков, висящих у него на шее, столь углубленный в свое занятие по переноске студеных ключей, что продолжал его с таким видом, словно Гранадское королевство не поменяло хозяев.

...Мы вышли в море сего августа 3 дня из устья Сальтоса поутру, в восемь часов. Мы шли при сильном ветре до заката в направлении к Югу и прошли шестьдесят миль, что составляет пятнадцать лиг; потом к Юго-Востоку и к Югу четвертным румбом Юго-Восток, что есть путь к Канарским островам... Поскольку каких-либо важных событий тогда не последовало, плавание наше было малоинтересным до шестого дня сентября, когда мы отплывали от острова Гомера. Теперь вот начиналось великое наше предприятие. Но я должен признаться, что, хоть я, по наказу самому себе, являл пред всеми веселое лицо, каждую минуту выказывая великое довольство, в часы ночи, когда я пытался уснуть, покой бежал от меня. И часы рассвета захватывали меня обдумывающим трудности, какие придется теперь преодолеть в опасном плаванье к далекому Винланду — или к его полуденному распростиранью, — каковые земли я представил моей повелительнице как область, ближе ко мне обращенную,

владений, управляемых Великим Ханом или кем-нибудь другим из Князей Индий, к каковым мне даны были письма, и на случай, если мое предположение окажется верным, я вез на борту такого Луиса де Торреса, который раньше был евреем (это выражение «раньше был евреем» употреблялось часто в те дни...) и, по слухам, умел говорить не только на своем языке, но и на халдейском и немного на арабском. Но команда у меня была дрянная. Больше христиан недавнего крещения, мошенников, бежавших от суда, обрезанцев под угрозой изгнания, плутов и авантюристов, чем людей, привычных к парусу и ветру, людей морского дела, отправилось со мною на моих кораблях. Плохо осуществлялись маневры, плохо понимались команды. И я слишком предчувствовал, что, если плавание продлится много долее предвиденного — что вполне могло произойти, — люди, чувствуя себя с каждым днем дальше от оставленного позади континента, не различая вдалеке никакой земли (и все жаждали открыть ее, эту землю, ибо корона обещала ренту в десять тысяч мараведи тому, кто завидит ее первый...), станут легкой добычей уныния, разочарования и жажды вернуться назад. Слишком живы были еще во многих умах образы Океана Мрака, морей без предела, течений, неудержимо влекущих корабли туда, где волны смыкаются с небом, что веками связывались с водами, которые мы теперь бороздили, чтобы к концу долгого-долгого ожидания не воскресли они с новой силой, подавляя волю людей и подстрекая их к неповиновению. Потому-то я решил прибегнуть ко лжи, к обману, к постоянному обману, в каком отныне предстояло мне жить (и это я обязательно скажу францисканцу-исповеднику, которого жду сейчас) начиная с воскресенья 9 сентября, когда я решил считать на каждый день меньше лиг, чем мы прошли, чтоб, если путешествие затянется, мои люди не перепугались и не опустили руки. И уже в понедельник, когда мы прошли шестьдесят лиг, я сказал, что мы продвинулись только на сорок восемь. И так же во вторник — день почти полного штиля — я сосчитал двадцать, а всем сказал, что шестнадцать. Поначалу я снимал три-четыре в день. Но пока длился этот месяц, я стал словно замечать на лицах какое-то нетерпение и отнимал теперь большее число от настоящего числа лиг, какие мы проплыли. И уже 18-го пятьдесят пять превратились у меня в сорок восемь... А когда настало первое октября, мой настоящий счет был семьсот двадцать лиг, а им я назвал другую, совсем уж выдуманную цифру, которая составляла всего пятьсот восемьдесят четыре... Правда, волны несли навстречу нам, словно сорванные с островов, лежащих где-то впереди, редкостные растения, похожие на веточки сосен; и другие, желтовато-зеленого оттенка, словно плывущие гроздья винограда, но странного винограда, походящего скорее на плоды мастичного дерева. Пролетали также над нашими головами птицы, по виду словно с суши, и были они подобны пеликанам и еще коноплянкам, а другие белы, словно чайки, и другие из семейства фрегатов, при виде которых я выказывал особенно бурную радость. Но многие говорили, что это ничего не значит, что над Средиземным морем появлялись, год от году, прилетевшие из германских земель аисты, которые, чтоб не страдать от снегов и вьюг, искали зимою солнечных бликов на мавританских минаретах. Кроме того, существовали птицы, умеющие спать, качаясь на волнах, и даже известно было, что зимородок имеет обычай вить гнездо и выводить птенцов прямо в воде. И все было зломыслие и ропот. С течением дней недоверие росло, от каравеллы к каравелле. Коварные пересуды, родившись на одном корабле, переметывались на другой, переносились с этого борта на тот борт, словно силою обмана чувств; и я не сомневаюсь, что те, кто сплетал эти слухи, были самыми сведущими из всех, кого я

взял с собою, ибо грустно сознавать, что злобная хула, низкий оговор и заведомая ложь растут как сорная трава там, где люди, из-за того, что кое-что читали и думают, что что-то знают, выказывают особое удовольствие, точа свои языки о хребет ближнего, и в особенности если не они командуют, а ими командуют. Я подозреваю, что Родриго де Херес, кичащийся своей ученостью, недавний выкрест Луис де Торрес, уверявший, что говорит на халдейском и арабском, и даже велеречивый андалусец Мартин Алонсо, к кому я отнесся с таким доверием, но кто мне с каждым днем нравился все меньше, были теми, кто стал распространять слух, будто я не умею правильно пользоваться астролябией — что, возможно, была правда, теперь могу признаться в этом, поскольку когда-то давно допустил грубую ошибку, когда старался определить, на какой широте находится королевство Мина в Африке. (Но это случилось, повторяю, очень давно...) Рассказывали также, собираясь в кружок, чтоб позлостствовать, что карта Тосканелли, которую я держал у себя в каюте, ничем мне не помогала, была лишь предметом роскоши, ибо я не способен был разобраться в сложной математике своего излюбленного учителя — что, быть может, была правда, но я давно уж утешился на этот счет, имея в виду, что Тосканелли, очень гордый своею наукою, считал несостоятельной математику Николая Кузанского, друга папы Пия II, чью «Историю вещей» — «*Historia rerum*» — я числил среди моих настольных книг. (Что касается меня — и этого не могли понять испанцы-недоучки, которые меня сопровождали, не знающие другой науки, кроме смоленья и конопаченья, другого искусства, кроме ловли и солки тунцов, — то я думал, что, если Николай Кузанский был мало сведущ в математике, как утверждал этот ученый педант Тосканелли, он был зато защитником «ученого незнания» — *docta ignorantia*, — какое исповедую я: «ученое незнание», открывающее ворота, ведущие в бесконечное и противостоящее схоластической логике с ферулой и в магистерском берете, у которой наготове кляп в рот, повязка на глаза и затычки в уши для всех неустрашимых, всех ясновидящих, всех Носителей Идеи, подлинных «буравчиков мозгов», стремящихся взорвать границы неизведанного...) Но, не довольствуясь тем, что развратили мне всю команду своими досужими сплетнями, намекали эти мошенники на то, что я в моих измерениях путал арабские мили Альфрагана с общеупотребительными итальянскими. Но в последнем случае хоть я и впадал в раздражение, но начинал тайно признавать, что они правы, к большому моему стыду, ибо, оставив в стороне мою намеренную подделку в измерении нашего пути, я говорил себе, что если я перепутал мили, как намекали эти поганые испанцы, то сильно умалял пространство вселенной, ввиду чего это путешествие должно продлиться гораздо дольше предполагаемого срока, к вящему испугу и смятению моих команд.

В ночь на 9 октября мне стало известно, что зреет заговор на борту моих кораблей. На следующий день ко мне пришли моряки, чтоб сказать мне — сначала в умоляющем тоне, потом все резче, резче и резче, потом уж просто грубо, — что не могут больше выдерживать такое долгое плаванье, что много неудобств и лишений, что сухари и солонина червивеют, что на судах многие больны, что в душах уныние и нет охоты плыть дальше и что уж время отказаться от этого предприятия, которому не видно конца и которое ни к чему хорошему не приведет. Употребив всю свою энергию и не меньшее красноречие, чем то, с каким убеждал я королей, теологов и ученых мужей, и даже слегка пригрозив виселицей — без особого нажима, обвиняком, метафорически — самым непочтительным и непокорным, я развернул пред ними такую картину богатства и изобилия, уже готовую показаться на горизонте, прося всего еще

три-четыре дня, чтоб показать ее, что мне удалось усмирить бурю голосов, обрушивавшуюся на меня под лукавым взглядом Мартина Алонсо — он что-то мне все больше и больше не нравился, — который говорил мне: «Повесь их... повесь их...» — заведомо зная, что, если я решусь приказать, чтоб одного из них повесили, никто мне не повинуется — и меньше всего проклятые галисийцы и бискайцы, которых я, на свою беду, взял с собою, так что я в одну секунду потеряю весь свой авторитет, власть да и стыд (и этого, возможно, как раз и хотел Мартин Алонсо)... Я знал тем не менее, что теперь дни моего плаванья сочтены. Если что-нибудь необыкновенное не случится завтра, послезавтра или еще через день, придется возвращаться в Кастилию под грузом столь жалко погибших надежд, что я не смел и подумать, с каким лицом встретит меня, и вполне заслуженно, та, родом из Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, которая, когда приходила в ярость, умела выразить ее самовластным словом погонщика мулов, подражая маврам в искусстве пятнать и позорить до пятого колена предков виновного по матери... Однако необыкновенное случилось в четверг, 11-го, когда мои люди выловили кусочек дерева, затейливо как-то выделанный человеческими руками. Матросы с «Ниньи» тоже в свою очередь нашли на волнах палочку, покрытую рачками, во множестве виденными на прибрежных скалах. Все мы были ожидание, тревога, надежда. Некоторые говорили, что ветер пахнет землею. В десять вечера мне показалось, что вижу вдалеке какой-то свет. И чтоб убедиться окончательно, я позвал казначея Родриго Санчеса и королевского контролера, которым доверял... И в два часа пополудни в пятницу бросил Родриго де Триана свой клич, что «Земля! Земля!», который для всех нас прозвучал как музыка «Те Деум»... Мы сразу же зарифили все паруса, оставшись с одним триселем, и легли в дрейф, ожидая рассвета. Но теперь к нашей радости, поскольку мы не знали, что именно найдем, прибавилось любопытство. Остров? Твердая Земля? Мы достигли и правда Индий? Кроме того, каждый моряк знает, что Индий числом три: те, где Катай и Сипанго, потом еще большая — Золотой Херсонес древних? — со многими меньшими землями, откуда вот и привозятся специи. (Я, честно говоря, думал также и об опасности, какую таят свирепство и напор уродцев Винланда...) Никто не мог уснуть, думая, что теперь, когда мы дошли, столько же счастливых удач, сколько роковых напастей, ждет нас, быть может, там, где на берегу все еще виделся отблеск каких-то костров. За подобными мыслями застал меня Родриго де Триана с требованием выдать ему шелковый камзол, обещанный в виде награды тому, кто первый завидит землю. Я сразу же его дал ему, с большой готовностью, но матрос не уходил, ожидая, видимо, чего-то еще. Мы помолчали, а потом он напомнил мне о ренте в десять тысяч мараведи, назначенной королями, не считая камзола. «Это уж когда мы возвратимся», — сказал я. «Дело в том, как...» — «Как что?...» — «Не могли б вы, Ваша Милость сеньор Адмирал, дать мне вперед немножко, в счет того?» — «Зачем тебе?» — «Чтоб пойти по девкам, не прогневайтесь... Я уж пятьдесят суток, как не...» — «А кто тебе сказал, что есть девки в этих землях?» — «Куда пристанут матросы, там всегда девки найдутся». — «Здесь наши монеты не в ходу, поскольку в этих землях, как стало мне понятно по рассказам венецианца Марко Поло, за все платят клочками бумаги размером в ладонь, где отпечатано изображение Великого Хана...» Родриго ушел грустный, со своим камзолом, наброшенным на одно плечо... Что же касается его ренты в десять тысяч мараведи (и это я обязательно должен сказать исповеднику), то он ее может на льду написать и пускай не особенно требует и не шумит больше, чем надо, а то я знаю за ним такие вещи, которые невыгодно ему,

чтоб разглашались! Ибо этой рентой я уже завладел в пользу моей Беатрис, пригожей бискайки, от которой имею сына, хоть не водил ее к алтарю, и которая давно уж слезами обливается оттого, что я забыл ее и охладел к ней — а я забыл и охладел благодаря Королевской милости, излившей на меня, как из мифического рога изобилия, счастье в виде трех кораблей, готовых сняться с якоря, и растерянности моих врагов, и опьянения новыми горизонтами, и отрады быть здесь этой ночью, ожидая восхода солнца, что все медлит, медлит — и как медлит, черт! — показаться, и, быть может, бессмертия, в памяти людей, Того, вышедшего откуда я один знаю, кто мог уже претендовать на титул Расширителя Мира... Нет, Родриго! Ты оплошал! Я присвою твои десять тысяч ренты!.. Я тоже мог закричать: «Земля!» — когда увидел огоньки, да не стал. Успел бы закричать раньше тебя, да не стал. А не стал потому, что, когда различил я вдали землю, положив предел томлениям моим, не подобало голосу моему звучать как у простого матроса на марсе, алчущего заработать вознаграждение, слишком мизерное для внезапного моего величья. Мал, видно, будет камзол, что ты носишь, Родриго, тому, кто мгновенье назад возвысился до роста Гиганта Атласа; мала будет рента в десять тысяч мараведи, которые теперь, презренные моею молодою фортуною, попадут в руки *кого я пожелал*, а значит, женщины раздобревшей, брюхатой и с отпрыском от того, кто только что достиг меры Предвестника, Провидца, Открывателя. Вот кто теперь я, как Полководец моих Битв, и начиная с этой минуты придется говорить мне «Дон», ибо начиная с этой минуты — пусть все узнают и запомнят... — я Главный Адмирал Моря-Океана, и Вице-король, и Навечный Правитель Всех Островов и Твердой Земли, какие я открою и какие, отныне и впредь, под моею командой открыты и обречены будут на Море-Океане.

Часы тревоги, часы растерянности... И все нет для меня конца этой ночи, которая вскоре тем не менее должна повстречаться с зарею, для моего смятенного духа на удивленье медлительной. Я облекся в самое нарядное свое платье, и так же поступают сейчас все испанцы на борту моих кораблей. Из большого ларя я извлек королевское знамя и прикрепил его к древку и так же поступил в отношении двух знамен с Зеленым Крестом, которые должны поднять два моих капитана — страшные сукины сыны, как выяснилось под конец! — и на которых гордо блистали, под соответственными коронами, вышитыми шелком по атласу, инициалы *Ф* и рядом *И* — этот последний особенно радовал мои взоры, поскольку, приставив его к другим семи буквам, дополняющим имя, я вызывал в душе образ, почти явственный, той, кому обязан я моим выдвижением и полномочием. Но теперь вдруг началась суматоха среди испанцев на палубе: катилась со скрипом бронза, громко лязгало железо. Дело в том, что я приказал держать наготове бомбарды и мушкетоны, на всякий случай. Кроме того, мы все сойдем на землю вооруженными, ибо теперь, в конце долгого нашего ожидания, любая предосторожность нелишня. На небольшом расстоянии — люди, ибо где нет людей, нет и костров. Но невозможно мне даже и представить, какова природа этих людей... Я не только со всем вниманием прочел Марко Поло, чьи рассказы о путешествиях собственноручно записал для себя, но многое также читал у Иоанна де Монте Корвино — никогда, однако, не упоминая о нем, по несподручности, в моих докладах, — кто, тоже родом из Венеции, достиг огромного города Камбалука, столицы Великого Хана, где не только построил христианскую церковь о трех колокольнях, но и произвел не менее шести тысяч обрядов крещения, перевел Псалмы на татарский язык и даже открыл певческую школу для мальчиков, избранных, чтоб

возносить нежными своими голосами хвалы Господу. Там его и застал Одерико из Порденоне — с ним я тоже подробно ознакомился — уже полным архиепископом, с церковью, превратившейся в собор, со служками и викариями и жаждущим, чтоб к нему направили миссионеров в большом количестве, ибо он встретил в стране — и весьма торжествовал по этому поводу — великолепную веротерпимость в людях, которые допускали любую религию, не затрагивающую интересов Государства, веротерпимость, которая, по правде сказать, способствовала досадному распространению несторианской ереси, чьи отвратительные заблуждения изобличил уже в свое время Достославный Доктор из Севильи в своих «Этимологиях»... Не было б невероятным, таким образом, если б законоучение Иоанна де Монте Корвино распространилось и досюда — через францисканцев, ходоков, истоптавших столько дорог!.. В таком случае, Кристобаль, Кристобалильо, ты, что выдумал во время пути имя Christo-phoros, несущий Христа, везущий Христа, святой Христофор, сунувшись с головою в самые несравненные и неоспоримые тексты Святой Веры, назначив себе миссию Избранника, Человека Единственного и Насущного — священная миссия! — ты, что предложил свое предприятие лучшему оценщику и кончил тем, что продался за миллион мараведи; в таком случае ты, обманутый обманщик, не найдешь другого выхода, чем снова поднять паруса и — пропади все пропадом! — отчалить назад со своими «Ниньей», «Пинтой», «Святой Марией» и прочим, чтоб умереть со стыда у ног твоей владычицы из Альтас-Торрес. В этот роковой час — молитвенный час — помысли, моряк без звезд, ибо сам компас отклонился у тебя от Звезды Севера, что худшее, что может теперь с тобой случиться, это если Евангелия выйдут тебе навстречу. Правда, волею твоей владычицы тебе был пожалован второпах низший францисканский сан, и ты правомочен носить монашеское одеяние, как у нищенствующих орденов. Однако... что сможешь ты, бедный придверник, незадачливый чтец для новообращенных, заклинатель злого духа и свеченосец, еще не испытанный, пред каким-либо дьяконом или тем более епископом, который, воздев руку, скажет тебе: «Возвращайся откуда пришел, ибо ты здесь лишний». Сейчас, ожидая высадки, я мечтаю, да, мечтаю, чтоб Евангелия путешествовали не так быстро, как мои каравеллы. Это спор Слова против Слова. Слово, путешествующее по Востоку, которое я должен обогнать, идя к Западу. Нелепое состязание, которое может убить меня и мое дело. Неравная битва, ибо я не везу с собой на борту ни Евангелий, ни даже капеллана, который по крайней мере мог бы их пересказать. Я б приказал палить из бомбард и мушкетенов по этим Евангелиям, мне противостоящим, если б такое было для меня возможно!.. Но нет: под своим покровом из золота, изукрашенным драгоценными камнями, они б посмеялись над подобным залпом. Если уж Рим с его Цезарями не смог их одолеть, то где уж какому-то жалкому моряку, который пред жадно ожидаемой зарею страшится часа, когда свет небес откроет ему, было ли бесцельно его предприятие или подымет оно его к славе на века. Если Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн ждут меня на ближнем берегу, я пропал. Я перестаю быть для потомков Несущим Христа, чтоб вернуться к таверне в Савоне. Хотя б найти мне здесь побольше пряностей! Устроить зажигательный пляс Доньи Корицы с Доном Кардамоном и Доньи Гвоздики дель Бутон с Доном Мускатом. Но я ведь говорил уже: здесь царствует Великий Хан. И его люди, уже развращенные нашей торговлей, не отдают даром ни пряностей, ни благовоний, а, напротив, требуют за них хорошую цену, и тут не годятся безделушки, купленные в последний момент, которые я везу для обмена на этих кораблях. Что же касается золота и жемчугов, то они здесь меньше

ценятся, чем имбирь, так хорошо описанный Иоанном де Монте Корвино, сравнившим его с корнем шпажника... Мои испанцы читают нараспев «Salve», объятые нетерпением и вместе беспокойством — хоть и по другим мотивам, чем я, — ибо сейчас кончаются приключения на море и начинаются приключения на суше... И вдруг вот она, заря — заря, внезапно упавшая на нас, такая стремительная в разливе своего сиянья, что подобного волшебства света не видал я ни в одном из многих владений, знакомых мне до сих пор. Я пристально вглядываюсь. Нет на виду никаких построек, домов, замков, башен или зубчатых стен. Ни один крест не возвышается над кронами деревьев. И вообще, кажется, нет церквей. Нет церквей. Я пока еще не услышу со страхом ожидаемого звона колокола, отлитого из хорошей бронзы... А лишь отрадный шум наших весел, режущих воду, на диво спокойную, где на песчаном дне я замечаю присутствие больших раковин неизвестных форм. Теперь мое нетерпение преобразилось в радость. И вот мы уже на земле, где растут деревья, очертаний нам незнакомых, кроме некоторых пальм, напоминающих африканские. Мы сразу же приступаем к формальностям Ввода во владение, и составлению, и засвидетельствованию соответствующего акта, который так и не смог закончить наш нотариус Родригес де Эскобедо, внезапно опешив, когда из зарослей раздался голос, ветки раздвинулись и мы неожиданно оказались окруженными людьми. Оправившись от первого испуга, многие из наших принялись смеяться, ибо те, кто приближался к нам, были совсем нагие, и всего-то и было на них одежды, что какой-то белый платочек, чтоб прикрыть стыд. А мы-то облачились в латы, кольчуги и шлемы на случай возможного нападения грозных воинов, потрясающих грозным оружием!.. Эти же, что касается оружия, имели при себе только короткие копья, похожие на палки погонщиков волов, и я предчувствую, что они окажутся жалкими существами, ужасно жалкими, ибо все ходят голые — или почти голые — как мать родила, даже девушки, чьи груди торчат так впечатляюще, что мои мужчины смотрят на них, словно хотят пощупать, с жадностью, вызывающей во мне гнев, заставляя меня разразиться криками, малоподходящими к торжественному виду, какой подобает хранить тому, кто поднял знамя Их Королевских Высочеств. Некоторые из пришельцев несли зеленых попугаев, которые не говорили, видно от испуга, и хлопковую нить в мотках — хуже, однако, чем добытая в других Индиях. И все это они меняли на стеклянные бусы, бубенчики — в особенности на бубенчики, которые подносили к ушам, чтоб лучше звенели, — медные кольца, мелочи, не стоящие ломаного гроша, которые мы вытащили на берег на случай возможного обмена, не забыв и о множестве ярких беретов, которые я закупил на базаре в Севилье, припомнив накануне отплытия, что уродцам Земли Вина необыкновенно нравились яркие ткани и одежды. И в обмен на это барахло они нам дали своих попугаев и хлопок, и мне подумалось, что это люди кроткие, беззащитные, способные быть подданными смиренными и послушными; ни черны, ни белы, а скорей всего цвет словно у канарцев, волосы не курчавые, но гладкие и толстые, как в конской гриве. В тот день мы не совершили более ничего, захваченные открытием, взятием во владенье острова и желанием отдохнуть после бессонной ночи. «Куда это мы пристали, сеньор Адмирал?» — спросил меня Мартин Алонсо, пряча ядовитую иронию в веселой улыбке. «Главное, что пристали», — отвечал я ему. И, уже возвращаясь на борт флагманского корабля, смотрел я сверху вниз, с высоты моей законной гордости, на смутьянов, которые два дня назад подняли голос — и даже кулаки — на меня, готовые взбунтоваться, и не столько говорливые андалусцы, почти все конопатчики, плотники, бочары, что пустились со мною в

плаванье; не столько евреи, которые, присоединившись ко мне, спаслись от изгнания; не столько новообращенные христиане, что на закате с такой тоской глядели в сторону Мекки, но проклятые баски, упрямые, строптивые, грубые, которые составили клику Хуана де ла Косы, чуть не лопавшегося от своих картографических познаний, вечно выставляющего напоказ *свою науку* (я знал это через другого интригана, Висенте Яньеса, такого же мошенника, но лучшего морехода...), чтоб утверждать, что я моряк из одного честолюбия и бахвальства, путешественник по дворцовым покоем, путальщик широт, перевиратель морских миль, не способный привести к счастливому концу предприятие, подобное этому.

...Сейчас звенят колокольчики, тихонько, под легким дождиком, что мочит крыши города, где укрылась моя тень, главный персонаж моего собственного заката. По улице проходит с бляением стадо. А исповедника все не видать. И этот осенний свет, хотя стоит май, отвлекает меня от моих воспоминаний о Сияющих Островах, где — возможно оттого, что я не вез священника на своих кораблях, возможно оттого, что никогда не собирался наставлять или обращать кого бы то ни было, — меня ожидал Дьявол, чтоб помочь мне попасться во все сети, какие он мне расставил. И свидетельство о том, как я в них попадал, находится здесь, в этих черновиках рассказа о моих путешествиях, которые лежат у меня под подушкой и которые я достаю сейчас оттуда дрожащей рукой — словно боясь самого себя, — чтоб перечесть то, что в эти последние минуты кажется мне обширным Реестром Обманов, и я так и скажу моему исповеднику, который так медлит явиться ко мне. Реестр Обманов, открывающийся 13 октября словом ЗОЛОТО. Ибо в ту субботу вернулся я на только что открытый остров с намерением разглядеть, что можно из него извлечь, кроме попугаев, — а мы уж не знали, куда деваться от стольких моточков хлопка и стольких попугаев, которые нам все палубы загадили белым таким, дрянномолочным, — как вдруг я заметил, к крайнему моему изумлению, что некоторые индейцы (мы будем называть их *индейцами*, поскольку находимся, по всей вероятности, у первого природного форпоста каких-то Западных Индий) носили кусочки золота в носу, наподобие подвесок. Я сказал себе: ЗОЛОТО. Увидев такое чудо, я почувствовал словно толчок изнутри. Алчность, никогда мною не испытанная, зарождалась где-то у меня внутри. Руки мои дрожали. Взбудораженный, весь в поту, как с цепи сорвавшись, я безудержно жестикулировал, наступая на этих людей с немymi вопросами, пытаюсь выведать, откуда это золото, как они его достают, где оно залегаёт, как его добывают, как выделывают, поскольку у них, как видно, нет ни орудий, ни тигля. И я трогал металл, взвешивал на руке, пробовал на зуб и обтирал платком слюну, чтоб подставить солнцу, рассмотреть в свете солнца, заставить блестеть в свете солнца, тянул к себе, придерживая ладонью, разглядывал еще и еще, чтоб убедиться, что это золото, золото самородное, золото настоящее — золото чистое. И они, его обладатели, пораженные, схваченные за свои украшения, как вол за кольцо в носу, толкаемые и теребимые, показали под моим натиском, что дальше к Югу есть другой остров, где есть Великий Царь, а у него — огромные сосуды, полные золота. И что у этого народа есть не только золото, но и драгоценные камни. Это, по описаниям, походило скорее на Сипанго, чем на Винланд. И поэтому, движимый Злым Духом, который внезапно поселился у меня в душе, и перейдя к насилию, я велел взять в плен семерых из этих людей, которых мы ударами бича загнали в трюмы, не обращая внимания на их вопли, и жалобы, и на сопротивление тех из них, кому я стал угрожать мечом, — а они знали, раз потрогав

один из наших мечей, что мечи секут сильно и открывают на теле кровавые борозды... Мы снова вышли в море, в Воскресенье, День Господень, не разжалобясь слезами пленников, которых мы привязали на носу корабля, чтоб они указывали нам путь. И начиная с этого дня слово ЗОЛОТО будет повторяться особенно часто, как бесовское наваждение, в моих Докладах, Дневниках и Письмах. Только мало золота оказалось на островках, какие мы теперь открывали, всегда населенных мужчинами нагишом и женщинами, единственной одеждой которых были — как я отписал Их Королевским Высочествам — «кусочки ткани, что скудно укрывали самую их натуру», натуру, на которую, к слову сказать, частенько у меня глаза разгорались, как, впрочем, и у моих испанцев, — у них-то уж так разгорались, что пришлось мне пригрозить им карой, в случае если в том выпукло заметном возбуждении, в каком они находились, они дадут увлечь себя какому-нибудь порыву похоти. Я удерживаюсь, так пусть и они удерживаются! Мы сюда прибыли не девок валить, а искать золото, то золото, что уже выказывалось, что уже представало взору на каждом острове; золото, что станет впредь нашим рулевым, главным компасом наших хождений. И чтоб нас охотнее направили верным курсом золота, мы продолжали щедро раздавать красные береты, бубенчики соколиной охоты и прочую дрянь — как гордо хвастал я позднее перед своими Королями неравным этим обменом! — которая медяка не стоила, хоть мы и получили за нее много кусочков боготворимого металла, что так и сверкал, так и сверкал... Но я не довольствовался более золотом, висящим в носу и в ушах, потому что теперь мне рассказали об обширной земле, называемой то ли Кобла, то ли Куба, где вот, кажется, и правда есть золото и даже пряности; и к ней мы направились, как пришло Воскресенье, Господень День.

Я был искренен, когда писал, что эта земля показалась мне самой прекрасной из всех, какие видел глаз человеческий. Она была крепка, высока, надежна, разнообразна, словно изваяна из глубин, более зеленым-зелена, более пространна, с пальмами, уходящими более вверх, с ручьями более полноводными, с вершинами более вышними, с теснинами более тесными, чем все виденное доселе на островах, что были для меня, признаюсь, словно сумасшедшие острова, странствующие, лунатические, чуждые картам и понятиям, на которых я вскормлен. Надобно было описать новую эту землю. Но, приступив к этому, я оказался охвачен растерянностью человека, вынужденного именовать вещи, совершенно отличные от всех известных, — вещи, какие должны иметь имя, ибо ничто безымянное не может быть представлено людьми, но имена эти были мною незнаемы, и не был я новым Адамом, избранным своим Создателем, чтоб давать имена вещам. Я мог бы выдумать слова, конечно; но слово само *не показывает вещь*, если вещь эта неизвестна была заранее. Чтоб увидеть стол, когда кто-то скажет *стол*, необходимо, чтоб была в слушающем *идея* — *стол*, со своими соответствующими атрибутами *столовства*. Но здесь, пред великолепным пейзажем, который расстился предо мною, только лишь слово *пальма* имело силу изображения, ибо пальмы есть в Африке, пальмы — хоть и не такие, как тут, — есть во многих местах, и потому слово *пальма* сопутствуемо зримым образом — и особенно для тех, кто знает по своей религии, что означает Воскресенье Ветвей, Вербное Воскресенье, названное по пальмовым или вербным ветвям, какими народ встречал Христа. В воскресный день прибыли мы сюда, и мое описательное перо замерло при попытке сдвинуться с места после шести букв *пальмы*. Быть может, ритор, владеющий кастильским свободнее, чем я, поэт, быть может, употребляющий сравнения и метафоры, пошли бы дальше, сумев описать то, что я описать не мог, —

все эти деревья с перепутанной листвой, чьи очертанья были мне неизвестны; вот это, чьи листья с изнанки серые, с лица зеленые, а когда падают и сохнут, скрючиваются круто, как рука, ищущая, за что ухватиться; а вот другое, красноватое, чей ствол сбрасывает прозрачные чешуйки, как змеи, меняющие кожу; а вон там еще одно, одинокое и огромное, посреди небольшой равнины, со своими ветвями, что тянутся от него горизонтально во все стороны, словно капителью, вверху толстого ствола, ошестиненного шипами, являющее вид важный, как ростральная колонна... И плоды: вот этот с бурой кожурой и алой мякотью, чье семя словно выточено из красного дерева; и другой, с фиолетовой пульпой, чьи косточки заключены в студенистые облатки; тот крупнее, этот мельче, ни один не похож на соседа, с плотью белой, душистой, кисловатой и сладковатой, всегда свежие и сочные в нестерпимом зное полудня... Все ново, странно, влекуще, несмотря на свою странность; но ничего особенно полезного до сего дня. Ни Дон Мускат, ни Дон Перец, ни Донья Корица, ни Дон Кардамон что-то ниоткуда не показывались. Что же касается золота, то ведь говорили, его здесь много. И мне казалось, что уж пора объявиться божественному металлу, ибо теперь, когда доказано было его присутствие на этих островах, новая проблема обрушилась на меня: три мои каравеллы означали долг в два миллиона. Не очень тревожил меня миллион банкира Сантанхеля, поскольку короли платят свои долги как могут и когда могут, а что касается драгоценностей Колумбы, то это были драгоценности, извлеченные со дна ларца, и очень хитро поступила она, умевшая, когда захочет, быть смелее любого мужчины, не выкупая их до сих пор, а тем более в дни, когда евреи собирали свои пожитки. Но оставался второй миллион: тот, что дали генуэзцы из Севильи, которые меня со свету сживут, если я вернусь отсюда с пустыми руками... Поэтому дадим время самому времени: *«Сия земля есть самая прекрасная из всех, какие видел глаз человеческий...»* — и так станем продолжать, настроясь на стиль эпиталамы. Что ж касается пейзажа, то я зря ломаю себе голову: скажу, что голубые горы, что видятся вдалеке, — совсем как горы Сицилии, хотя они ни капельки не похожи на горы Сицилии; что травы столь же высоки, как травы Андалусии в апреле и мае, хотя здесь ничто не похоже на что-либо андалусское. Скажу, что поют соловьи там, где посвистывают какие-то серые птички, с клювом длинным и черным, скорей уж похожие на воробьев. Буду говорить о полях Кастилии здесь, где ничто, ну просто ничто не напоминает поля Кастилии. Я не видел растений, дающих пряности, но предскажу, что здесь обязательно обнаружатся пряности. Буду говорить о *золотых месторождениях* там, где не слыхал ни об одном. Буду говорить о жемчужинах, о множестве жемчужин, потому лишь, что видел несколько съедобных ракушек, «указующих на их присутствие». Одно только я сказал как есть: что здесь собаки, сдается, не лают. Но собаками, которые даже не умеют лаять, я не смогу выплатить миллион, который должен проклятым генуэзцам из Севильи, способным родную мать сослать на галеры за долг в какие-нибудь пятьдесят мараведи. И самое плохое, что я не имею ни малейшего представления, где мы находимся; эта земля по имени Кобла, или Куба, одинаково может оказаться как южной оконечностью Винланда, так и западным побережьем Сипанго — не забудем к тому же, что Индий три. Я считаю, что это континент, твердая земля бескрайной протяженности. Хуан де ла Коса — всегда другого мнения, ибо достаточно мне что-нибудь сказать, как он уже против, уверяет, — что это остров. Не знаю, что и думать. Но я говорю, что это континент — и довольно. Я — Адмирал и знаю, что говорю. Другой советует измерить его округлость, и я говорю, что, раз нет острова, нет и округлостей. И к дьяволу...

Хватит!.. Я снова беру перо и продолжаю составлять мой Реестр Добрых Новостей, мой Каталог Блистательных Предвидений. Я ручаюсь — самому себе ручаюсь, — что очень скоро предстанет мне Великий Хан своей собственной персоной (эти слова *Великий Хан* звучат как звон золота, золота в порошке, золота в слитках, золота в сундуках, золота в бочках — сладкая музыка золота чеканного, падающего, подпрыгивая, на стол банкира, небесная музыка...).

Вскоре я убедился, что не на этой земле Кубы предстанет мне своей собственной, бесстрастной и величественной персоной Великий Хан. Я отправил двух умелых гонцов разузнать, не высятся ли поблизости стены какого-либо города или крупной крепости (то были Луис де Торрес, который, как я уже сообщал, говорит по-еврейски, по-арабски и по-халдейски, и Родриго де Херес, который знает несколько африканских диалектов), и оба возвратились с вестью, что наткнулись лишь на одно селенье из нескольких хижин, где индейцы во всем схожи с теми, которых мы видели до сих пор. Они не нашли примет того, чтоб здесь было золото. Показали этим людям горсточку гвоздики и корицы, что я дал для образца, но никто, казалось, не знал подобных пряностей. Так что ускользало от меня и на сей раз златозарное царство Сипанго. Но я не хотел поддаваться страху пред перспективой продолжать плавание вслепую по неизведанным путям, укрепляя свой дух мыслью, что позади остались два острова, мною окрещенные, мною вписанные в географию мира, раз уж вышли из темноты, где держали их варварские языки, чьими словами обозначили их туземные жители, получив величественное имя Санта-Мария-де-ла-Консепсьон и другое имя, отрадное, отраднейшее для меня, — Изабелла. И надеясь неволью, что летопись моего путешествия будет прочтена когда-нибудь моей владычицей, я усердствовал, описывая — как никогда потом не поступал ни с одной местностью — великолепие пышных рощ и ярко-зеленых растений, напоминавшее мне (...кто надо, поймет) о блаженстве апрельских дней в Андалусии, с их усладительным ароматом, с благоуханием их плодов, и (...кто надо, поймет опять-таки) *«пенье птичек»*, такое чарующее, что *«никогда б отсюда не удалялся»*... Но теперь, исследовав немного берега этой Кубы, я должен был идти дальше в поисках Золота. Из семи индейцев, захваченных нами на первом острове, двое у нас убежали. А тех, кто нам оставался, я обманывал (продолжались обманы), отрицая, что у меня есть намерение увезти их в Испанию, чтоб показать при дворе, и, напротив, уверяя, что они будут доставлены мною на свою землю, как только я найду побольше золота. Так как наша пища вызывала у них отвращение — ни вяленого мяса, ни сыра, ни сухарей они не хотели и пробовать, принимая только лишь рыбу, вытасченную из моря у них на глазах, да и ту не желали есть жаренной на нашем масле, достаточно прогорклom, но исключительно печеной на угольях, — то я их научил пить красное вино, которое мы везли с собой в таком изобилии, что наши провиантчики удивлялись, когда я велел таскать в трюмы все эти бесчисленные бочки. С недоверием вначале, ибо, кажется, думали, что это кровь, пленники, однако, пристрастились к напитку, едва лишь познали его действие, и теперь каждую минуту протягивали нам большой кувшин, который мы им дали, прося еще и еще. Правда в том, что они были у меня всегда пьяны, и днем, и ночью, потому что так переставали стонать и жаловаться, уверяя меня, когда вино развязывало им язык, что мы находимся очень близко от золота, что скоро мы наткнемся на золото, не только на золото в пластинах, но и на полумаски, украшенные золотом, нагрудники с золотым узором, короны, статуи — на залежь, большую залежь, великую залежь, где

можно найти столько золота, что мне не хватит трех кораблей, чтоб погрузить его. Хуан де ла Коса, который снова окружил себя кликой басков, чей язык я не понимал, и галисийцев, замкнутых и ропотливых, уверял на своих ночных сборах — всегда находился, кто мне о том расскажет, — что индейцы эти меня обманывали, что они рисовали мне золотые миражи, чтобы усыпить мои подозрения и, отвлекши меня от надзора над ними, найти случай сбежать, как те двое. Но мы следовали вперед, все вперед, огибая теперь большую и прекрасную землю Аити, или Гаити, которой я за испанскую красоту дал имя Испаньола сам-то я очень хорошо себя понимаю, — думая, что, если доведется заложить здесь город, я назову его *Изабелла*. Но во второй раз постигло меня там огромное разочарование, ибо ничто увиденное в новообретенной земле не указывало на то, что мы приближаемся к Сипанго или провинции, управляемой хотя бы князем-данником Великого Хана. Ибо теперь я действительно встречал царей — или царьков, — которых здесь называли *касики*. Но ходили эти цари нагишом (кто может вообразить подобную вещь!), а при них царицы с голыми титьками, и чтоб прикрыть то, что усердней всего скрывает женщина, — тряпица величиною с кружевной платочек, из тех, что любят карлицы, каких в Кастилии держат в замках для забавы и присмотра за инфантами и девочками знатных родов. (Монаршие дворы, где монархи — в чем мать родила! Непостижимая вещь для того, пред чьим взором слово «двор» немедля рисует укрепленные замки, герольдов, митры и бархаты с пурпурами, напоминающими римские: *Нерон со скалы Тарпейской / смотрит, как Рим пылает...* — как сказано в испанском народном романсе.) И перед этими монархами, если только можно назвать монархом того, кто ходит, едва прикрыв стыд, производил я мои обычные церемонии: подымал знамя моих христианских королей, срезал несколько ветвей и листьев моим мечом, возглашал три раза подряд, что беру во владение эту землю именем Их Королевских Высочеств, будучи готов — добавлял я — ответить своею сталью тому, кто меня на то вызовет, и все это свидетельствовал и удостоверял письменно Родригес де Эскобедо; но самое ужасное, в сущности, было в том, что после моих коленопреклонений, возглашений и высокомерных вызовов противникам, которые никогда и ниоткуда не появлялись, все оставалось равно как было. Ведь для того, чтоб взять во владение любую территорию на свете, надобно победить какого-то врага, подчинить какого-то суверена, покорить какой-то народ, получить ключи от какого-то города, принять от кого-то клятву в повиновении. Но здесь ничего подобного не происходило. Ничто не менялось. Никто не сражался. Никто, кажется, не замечал особенно наших церемоний, актов и возглашений. Казалось, они говорили друг другу — и порою с досадным смехом: «*Ну да, ну да, мы не против. По нас... так пусть продолжают!*» Дарили нам попугаев — и нам уж тошно было от столькох попугаев, зеленых, маленьких, с хитрыми глазками, которые никогда не выучат хоть слова на нашем языке! — столько клубков пряжи, что мы не знали уже, где их держать, иногда какой-нибудь кувшинчик весьма грубой выработки, а потом надевали наши красные береты, встряхивали колокольчиками и бубенчиками и, сильно всем этим забавляясь, разражались хохотом, хлопая себя по животам. И я вступал во владение их землями без того, чтоб они об этом хоть как-то догадались, и в особенности без того, чтоб это *вступление во владение* от имени... — и так далее, и так далее, и так далее (всегдашняя история!..) — принесло мне особые блага. (И я возвращался на свой корабль в лодке, медленно проплывавшей над коралловыми мелями, которые под здешним изменчивым солнцем представляли мне потонувшим миражем, где все казалось другим, и можно было подумать, глядя на

подобную игру цветов, что в ней волшеббно сочетали свои отблески изумруд и адамант, астерикс и хризопраз Индий, селенит Персии и даже линкурий, который, как известно, родится из мочи рыси — *lunx* по-латыни, — и драконит, который извлекают из мозга дракона... Но только «можно было подумать», ибо если погрузишь руку и ухватишь что-нибудь, то раскровенишь пальцы без всякой пользы, вытащив что-то, что, подсохнув, обернется чем-то похожим на кусочек гнилой ветки... И то, что считалось великолепной хризоколлой из азиатских земель, где муравьи сами извлекают золото из почвы, выходило тебе, к вящей твоей досаде, «кривоколом» — и пусть мне простят неудачную шутку.) Пять, шесть, семь *царей* этого острова явились воздать мне почести (по крайней мере я истолковал это так, хотя проклятые баски Хуана де ла Косы сказали, что они пришли только поглазеть на меня...) — цари из обычных здесь; цари, которые, вместо того чтоб блистать имперским пурпуром, имели на себе как единственное украшение жалкую тряпицу — стыд прикрыть. И эта процессия голых «величеств» заставляла меня предположить, что очень мы еще далеко от сказочного Сипанго из итальянских хроник. Ибо там на всех дворцах — крыши из золота, и в собраниях, где все сияет золотом и драгоценными камнями, христианские послы принимаемы Властителями, закованными в латы из золота, окруженными советниками и министрами в золотых туниках, и во время пиршеств, где яства расставлены на золотых скатертях, появляются павлины, чтоб танцевать павану под мелодические звуки инструментов, и прирученные львы — вроде того, что собачонкой ходил за святым Иеронимом, — которые так церемонно кланяются, и обезьяны-акробатки, сладкоголосые птицы, заливающиеся трелью по приказу хозяина, в то время как — чудо, описанное Марко Поло и Одериго из Порденоне, — чаши с вином перелетают, словно голуби, из рук Главного Дворецкого на пиршественный стол, без того чтоб пролилась хоть одна капля напитка; и те чаши — из золота, разумеется. Из золота, ибо все из золота в той стране чудес, которую я искал со щемлящим чувством, что я удаляюсь от нее с каждым днем пути. Быть может, если бы от Кубы я плыл более к Югу или, возможно, более к Северу от Изабеллы... А теперь еще эти мошенники-индейцы, которые лишь сбивают меня с толку: те, что с Испаньолы, возможно, чтоб отдалить меня от залежей золота, мне говорили всё, что вон туда, что дальше, что далёко, но не так далёко, что «горячо, горячо, горячо», как в игре в «пряталки»... — почти уж я у цели, подстрекая меня продолжать плавание; индейцы, которых мы взяли в плен, напротив, вероятно из страха удалиться слишком от своих островков, говорили мне, что, следуя таким советам, я прибуду в земли каннибалов, у которых всего один глаз на собачьей голове — чудища, питающиеся человеческим мясом и кровью. Но со всем тем я так ничего и не узнал о бесценном сокровище, какого искал. Ибо, хотя на этой Испаньоле было, казалось, гораздо больше золота, чем на Кубе, судя по украшениям здешних касиков и по тем кусочкам, что нам дарили, но жила, Матерая Жила, залежь, Большая Залежь — залежь, столь часто поминаемая и припоминаемая венецианскими путешественниками, — не обнаруживалась нигде. И эта залежь, Большая Залежь, Великая Залежь, сделалась для меня словно дьявольским наваждением... И теперь, когда смерть уже кружит возле, в ожидании исповедника, который слишком медлит прийти, я просматриваю желтые, еще пахнущие далекими селитрами страницы черновика Повествования о моем Первом Плавании и чувствую досаду, раскаяние, стыд, видя слово ЗОЛОТО, столько раз повторенное здесь. И особенно теперь, когда в ожидании смерти я облекся в одежду низшего сана францисканцев, бедных из прития бедности, из долга быть

бедным, обрученных, как святой Франциск Ассизский, с *Мадонной Бедностью* — *Madonna Poverta*... Словно какая порча, испарение ада запачкали этот манускрипт, где скорее, кажется, описаны поиски Земли Золотого Тельца, чем поиски Земли Обетованной для искупления миллионов душ, поверженных в смрадный мрак идолопоклонства. Я начинаю возмущаться самим собою, видя, к примеру, что в день 24 декабря, когда мне как францисканцу надлежало размышлять о Божественном Грядении Рождества Христова, я ставлю пять раз слово ЗОЛОТО в десяти строках, которые словно взяты из черной книги алхимика. Два дня спустя в день Стефана Первомученика вместо того, чтоб думать о его святоподвижнической смерти — под градом дорожных камней, более драгоценных, чем любое золото, — первого мученика религии, крест которой красуется на наших парусах, я пишу двенадцать раз слово ЗОЛОТО в том месте рассказа, где упоминается всего один раз имя Господа, и то чтоб не изменить привычному обороту речи. Ибо привычным оборотом речи становится упоминание только четырнадцать раз имени Всевышнего в обширном повествовании, где ЗОЛОТО упоминается более двухсот раз. И даже так «Господь» употребляется почти — я теперь с ужасом признаю это — как формула вежливости, вроде «господин», сопровождающая имена Их Королевских Высочеств в льстивых речах, или как умиловительный заговор — «благодаренье Богу», «по милости Божьей»... — и это когда не говорю с фальшивой набожностью, отдающей запахом серы и дьяволова копыта, что «*Господь укажет мне, где родится ЗОЛОТО*». И таким вот образом один только раз — в одно 12 декабря — я начертил как должно в своем тексте имя Иисуса Христа. Кроме этого дня, когда я весьма редко вспоминаю, что я христианин, то призываю *Бога* и *Господа* в такой манере, которая обнажает подлинное нутро человека, чей дух воспитан скорее на Ветхом Завете, чем на Евангелиях, и более привержен порывам гнева и милости полководца, Господина Сражений, чем самарянским притчам, в этом путешествии, где, по правде говоря, ни Матфея, ни Марка, ни Луки, ни Иоанна с нами нету. Оставленные в Испании святые книги не пересекли моря-океана, не пристали к новым берегам, где и не было сделано попытки ни окрестить кого-либо, ни спасти души, печально обреченные по неведению умереть, не узнав значения Креста, что сделан из двух деревяшек, обструганных и скрепленных плотниками, и установлен испанцами в разных местах новооткрытых земель. Евангелия, повторяю, остались дома, так и не будучи брошены войском священных стихов против религий, здесь бытующих, — хоть я и поостерегся говорить о последних, — чье присутствие замечаю в грубых скульптурах человеческого образа, которые, поскольку просто вырублены из камня, я оставил где стояли, не задавая лишних вопросов... Здесь, в этих моих бумагах, я говорил только лишь, не считая одного раза, о *Господе*, который вполне мог быть богом Авраама или Иакова, тем, что призывал Моисея голосом горящего тернового куста, — о *Господе*, предшествующем его собственному Воплощению, с полным забвением Святого Духа, отсутствующего в моих записках еще решительней, чем Магомет... Осознавая это теперь, в час, когда слабый шум дождя приглушает поступь мулов, вереницей проходящих по улице с грузом оливкового масла и кислого вина, я вздрагиваю от ужаса... Переворачиваю страницы моего черновика, отыскивая, отыскивая, отыскивая... Но нет, нет, нет. Не все было забвением Воплощения на этих страницах, ибо, назвав первый остров, открытый мною 15 октября, «остров Санта-Мария-де-ла-Консепсьон» в память о непорочном зачатии, отпраздновав выстрелами из бомбард — 18 декабря — тоже святой день, как-то в день 14 февраля,

уже на обратном пути, я доказал, что признаю Божественную Власть Пречистой, почитаемой всеми без исключения матросами-христианами. Страшно даже вспомнить ту ночь, когда усилился ветер и волны поднялись чудовищные, наталкиваясь одна на другую, *«которые захлестывали и задерживали корабль, так что он не мог ни продвинуться вперед, ни выйти из их плена»*. В разгар бури у нас потерялась каравелла Мартина Алонсо, что само по себе — в этом я исповедаюсь, да, обязательно должен исповедаться — не особенно тогда меня огорчило, ибо давно уж этот чванливый капитан непокорствовал, не повинуюсь моим приказам с таким оскорбительным самоволием, что несколько раньше, когда мы плыли вдоль берега Испаньолы, он у меня пропал на несколько дней, ища золото самостоятельно, в сообществе с другими смутьянами из его непокорной и ропотливой банды, всегда науськиваемой на меня Хуаном де ла Косой и другим зловредным трутнем — Висенте Яньесом... (Ах, испанцы, испанцы, испанцы... вы у меня уже вот где сидите с этой своей склонностью откалываться, разделяться, образовывать группы вечно несогласных!..) Так что тою ночью были мы во власти такой ужасной бури, что, думая, что корабли будут поглощены пучиною, приписал я подобное бедствие — и здесь это говорю — *«моей слабой вере и умалению надежды на Промысл Божий»*. И вот тогда — только тогда! — прибег я к верховному заступничеству Пречистой, в чьих недрах, как сказал Августин, «Бог стал Сыном в образе Человека». Выбрав по жребию тех, кто должен совершить паломничество, мы дали обет Гваделупской Божьей Матери принести к ней на алтарь пятифунтовую восковую свечу; такой же обет был дан Лоретской Божьей Матери, которая находится в Анконской марке, близко от Папы; а Святой Кларе из Могера дан был обет бдеть всю ночь напролет и заказать молебен. И еще мы все как один дали обет, что, пристав к первому же берегу, пойдем в рубище, процессией, молиться в любую церковь, посвященную Матери Божьей... Свершив это, я написал кратчайшее сообщение о моем путешествии, предназначенное Их Королевским Высочествам, закупорил в бочонок и велел бросить в море на случай, если корабли затонут. И к вящей досаде и боли моей, во время этой ужасной бури нашлись смутьяны, говорившие, что если мы пойдем ко дну, то потому лишь, что с малым моим опытом в морских делах я позабыл нагрузить балластом корабли, как положено, не подумав о том, что теперь возвращаются пустыми бочки, в начале плавания груженные вяленным мясом, солониной, мукой, винами — всем, что давно уж съедено и выпито. И поскольку последнее было печальной истиной, я принял унижение как кару, налагаемую на меня за малую веру мою, но был злорадно доволен и ничего не мог с собой поделаться, что негодяй Мартин Алонсо заблудился в этой страшной ночи и не сможет свидетельствовать против меня, если мы все-таки спасемся из когтей разбушевавшейся стихии... (Мартина Алонсо, унесенного ветром, прибило к берегам Галисии, откуда он написал Королям письмо, полное низостей; но угодно было Провидению, чтоб он испустил дух, когда направлялся ко двору, чтоб погребсти меня под тяжестью своих клевет. Пусть сгорит в адском пламени душа подобного мерзавца!..) Что же касается меня — и это новое бремя на совести моей в часы последнего испытания, — то не припомню, нет, не припомню — но это, быть может, от угасания слабеющей моей памяти, — чтоб я выполнил обет, данный Гваделупской Божьей Матери, ибо многие занятия, задачи и внезапности отвели мои шаги, отвлекли мой дух, как только я вернулся... И я думаю теперь, что непростительному этому проступку обязан я многими муками, какие предстояло мне принять в будущем.

Благодареньями и восторгами, знаменами и колоколами, приветствиями с крыш и возгласами с балконов, звуками органов, трубами герольдов, шорохом Крестного Хода, визгом флейт, цевниц и свирелей встретила меня несравненная Севилья как державного победителя по окончании долгой войны, во всем великолепии своего апрельского света. И после празднеств и развлечений, пиров и танцев дошла до меня лучшая из наград — письмо Их Королевских Высочеств, приглашающее меня ко двору, который в ту пору находился в Барселоне, и — что было для меня еще важнее — торопящее меня начать приготовления, прямо с этой минуты, к новой экспедиции в земли, открытые мною. Даже Цезарь, въезжающий в Рим на своей триумфальной колеснице, не мог бы чувствовать себя более гордо, чем я сейчас! За всем этим, читая между строк, я угадывал удовлетворение и похвалу Кого-то, кто, увидя меня героем новой эпической поэмы, считал мой успех в какой-то мере залогом любви, завоеванным в битвах рыцарем без страха и упрека, чтоб положить к ногам своей Дамы... В нетерпении увидеть ее вновь я поспешил пуститься в дорогу, с ящиками, полными трофеев, с попугаями, сколько их пока выжило — немножко охриплыми и облезлыми после долгого путешествия, приходится признать... — и, самое важное, с моей стайкой индейцев. Но должен сказать, что последние, с укором, застывшим в глазах, были единственной тучей — мрачной тучей, — наводящей темную тень на широкое небо, сызнова распахнувшееся предо мною, и теперь уже верно — к Закату. Ибо из десятирех, доставленных мною пленными, трое были близки к смерти, причем у здешних врачей не нашлось средств помочь людям, которые от малейшей простуды, какую мы лечим настоями, клистирами, банками и примочками, сваливались почти замертво, прощаясь с жизнью в агонии жара и лихорадки. Было очевидно, что и для моей троицы после часа аптекаря уже близился зловещий Час Плотника. Что же касается остальных, то они, видно, вступили на тот же путь, хотя лица их и оживлялись еще чуточку, когда я подносил им добрый кувшин вина, о чем я заботился с утра до ночи. И пусть не говорят мне, что я их поил часто, чтоб они были всегда пьяны — а вообще-то они так лучше переносили неизбежные страдания людей, оторванных от своего корня, — но дело в том, что их содержание становилось трудной задачей. Начнем с того, что козье и коровье молоко представлялось им питьем самым тошнотворным, какое может попробовать человек, и они изумлялись, как это мы глотаем этот сок животных, годный лишь, чтоб выкармливать животных же, которые, кроме того, внушали им брезгливое чувство, и даже, я б сказал, они испытывали страх перед этими созданиями с рогами и выменем, никогда не виденными ранее, поскольку не паслось никакого скота на их островах. Отказывались они и от вяленого мяса, и от соленой рыбы. Испытывали отвращение к нашим фруктам. Выплювывали, как несъедобные, капусту и репу и отворачивались от самого сочного рагу с овощами. Нравился им только горох, потому что был похож, хоть и мало, — говорил мне Диегито, единственный из всех них, кто сумел заучить несколько наших слов, — на тот *маис* из их земель, какого я мог привезти полные мешки, но каким всегда пренебрегал, считая, что эта пища не пригодна для цивилизованных людей и хороша разве что для кормления свиней и ослов. Вот потому-то и думал я, что вино, поскольку они уж так к нему прирастились, могло выручить их в этом упорном посту, придав им сил для нового путешествия, какое их теперь ожидало. Но неясно обстояло с одеждой, в какой должны они были предстать пред Суверенами. Не мог я показать их почти безо всего, как существовали они среди своей народности, из почтения к Их

Величествам. Но если я одену их на наш манер, то они не слишком-то будут отличаться от некоторых андалусцев со смуглой кожей или христиан в помеси с маврами, каких немало сейчас в королевствах Испании. Случайно повстречался мне в таком затруднении один еврейский портной, с которым я познакомился когда-то у ворот еврейского квартала в Лиссабоне, где у него была мастерская, и который теперь, превратившись из обрезаца в генуэзца — как столько других! — находился в городе. Он посоветовал, чтоб я нарядил их в красные штаны, расшитые золотой нитью («Вот... Вот...» — сказал я), широкие рубахи, слегка распахнутые на груди, которая была у них гладкой и безволосой, и чтоб головы их венчали подобия тиар, тоже расшитые золотом («Вот... Вот... — сказал я, — пускай блестит золото») и украшенные яркими перьями — неважно, если от птиц, что не водятся на тех островах, — которые красиво спадали бы, словно растут на затылке, на их черные гривы, порядочно отросшие за время путешествия, и которые, честно говоря, неплохо бы помыть и почистить скребницей, как лошадям, чтоб они стали шелковыми в день представления ко двору.

И вот пришел этот день. День праздника по всей Барселоне. Как фокусник, въезжающий в замок, чтоб поразить увлекательным зрелищем, вошел я во дворец, где меня ждали, со своей обширной труппой Театра Чудес из далеких Индий, чтоб дать спектакль — первый спектакль такого рода, представленный на большой сцене мира, — с труппой, что осталась в приемной зале, выстроенная в строгом порядке несколько дней назад — мною, проводившим репетиции и распределявшим роли. Со свитой герольдов и привратников вошел я в королевский покой, где пребывали Их Величества, медленно, торжественно, шагом победителя, не теряя спокойствия и не очаровываясь пышностью убранства и аплодисментами, приветствовавшими меня, — среди каких особенно приятно звучали для меня приветствия стольких раскаявшихся сейчас, что прежде были моими врагами. Моим компасом и маяком в этом проходе по алому ковру, ведущему прямо к королевскому трону, было лицо моей повелительницы, освещенное в этот миг самой лучезарной улыбкой. После того как я поцеловал царственные руки, она меня усадила — меня, чудака-генуэзца, генуэзца темных корней и родословной, что мне одному лишь ведома... — между Кастилией и Арагоном, и тут снова распахнулись настезь главные двери входа, и, несомые над головами людей, появились Трофеи. На широких серебряных подносах — очень широких, чтоб образцы казались более многочисленны, — ЗОЛОТО: золото в неочищенных кусках, величиною почти с ладонь; золото в тоненьких полумасках; золото в фигурках, служивших, безусловно, какому-нибудь идолопоклонству, о чем я пока благоразумно умалчивал; золото в бусинах, золото в зернах, золото в мелких пластинах — не столько золота, по правде, как мне бы хотелось; золото, которого мне казалось мало, вдруг показалось очень мало рядом с украшениями, гербами и шитьем, какие меня окружали, рядом с золотистыми тканями, жезлами жезлоносцев, золотым узором балдахина, — мало золота, в общем. Первые крупницы золота, по которым можно предугадать, что за этим первым золотом будет еще золото, еще золото, еще золото... Но теперь входили индейцы — когда я издал посвист не то львиного сторожа, не то галерного пристава, посредством которого заставлял их сделать то или это... — неся в руках, на плечах и предплечьях всех попугаев, какие у меня выжили, а их было больше двадцати, страшно беспокойных на сей раз из-за движенья и голосов в толпе присутствующих и еще более потому, что перед выходом моего кортежа Заокеанских Чудес я дал им много мякиша, намоченного в красном вине, из-за чего

они пришли в такое возбуждение, что я испугался, как бы они вдруг не заговорили и не стали повторять скверные слова, каких наверняка наслышались на борту моих кораблей и в последние дни нашего пребывания в Севилье. И когда индейцы опустились на колени перед Их Величествами, плачущие и стелящие, испуганные и дрожащие (прося, чтоб их освободили от рабства, в какое я их поверг, и чтоб их вернули в их земли, хоть я объяснил, что они взволнованы и дрожат от счастья быть простерты у трона Испании...), вошли несколько моих моряков, неся змеиные и ящерные кожи невиданной здесь величины, не считая ветвей, сухих листьев, увядших цветов, какие я показал как образцы драгоценных пряностей, хоть никто не взглянул на них, так заняты все были простертыми индейцами — которые всё плакали и стонали — и зелеными их попугаями, которые уже начали вырыгать на алую королевскую дорожку все вино, какое проглотили. Видя, что спектакль мой грозит провалиться, я велел вывести индейцев с их птицами и матросов с их растениями и, встав лицом к Их Величествам и вполоборота к блистательному сборищу, наполнявшему залу, — где стояла, кстати сказать, удушающая жара, отягченная запахом пота от пропотелых шелков, бархатов и атласов, — начал говорить. Медленно приступил я к рассказу о превратностях нашего путешествия, о прибытии в Индии, о встрече с их обитателями. Я припомнил, чтоб описать новые области, наиболее прославленные красоты областей Испании, прелесть — я знаю почему — полей Кордовы, хоть я, конечно, переборщил, когда уподобил горы Испаньолы высотам вулкана Тейде на Канарских островах. Я рассказал, как видел трех сирен, однажды 9 января в месте, где очень много черепах, — уродливых сирен, по совести сказать, с мужеподобными лицами, не таких грациозных, сладкопевных и шаловливых, как те, что наблюдал я близко, подобно Одиссею (чудовищная ложь!) у берегов Малагетты, в Гвинее. И поскольку важно начать говорить, а дальше само говорится, то мало-помалу, все шире поводя рукою, отступая на шаг, чтоб придать полноту звучания моим словам, я все более воодушевлялся, и, слушая собственную зажигательную речь словно со стороны, я стал сыпать лучезарными именами самых лучезарных областей истории и легенды. Все, что могло сиять, сверкать, пылать, искриться, блистать, подняться до фантастических видений пророка, приходило мне на язык, словно толкаемое изнутри дьявольскою силой. Внезапно остров Испаньола, преображенный мелодией моего духа, перестал походить на Кастилию и Андалусию, вырос, расширился, поднялся до легендарных высот Тарса, Офира и Офара, проложив границу, наконец найденную — да, найденную... — волшебного царства Сипанго. И там, именно там, была изобильная залежь, известная Марко Поло, и об этом явился я принести Весть этому королевскому и всему Христианскому Миру. Мы достигли Золотой Колхиды, но не в языческой мифологии на сей раз, а в осязаемой реальности. И ЗОЛОТО было благородное, и ЗОЛОТО было доброе: *генуэзцы, венецианцы и все люди, у кого есть жемчуга, драгоценные камни и прочие дорогие вещи, все везут их туда, на край света, чтоб обменять, превратить в золото; золото превыше всего; из золота создается сокровище, а имеющий его может с его помощью совершать все что ему угодно на свете и даже искупать души чистилища, чтоб ввести их в рай...* И через это мое плаванье, незабываемое мое плаванье, стало реальностью пророчество Сенеки. Пришли поздние годы...

Venient annis
saecula seris quibus Oceanus
vincula rerum laxet...

Здесь я прервал стих, ибо, к досаде своей, мне показалось — быть может, я ошибся, — что Колумба, незаметно взмахнув ресницами, взглянула на меня, словно говоря: *Quousquetandem, Christoforo?...* — *До каких пор наконец, Христофор?...* Поэтому, проглотив свой пафос, я перешел к основному разбору. И стал я по милости Их Величеств Открывателем и Придверником новых Неожиданных Горизонтов, так что теперь округлился, приняв форму груши или женской груди сосцом кверху — я быстро поймал взгляд моей повелительницы, — тот мир, что Пьер д'Альи, знаменитый канцлер из Сорбонны и собора Парижской богородицы, увидел почти круглым, почти сферическим, проложив мост между Аристотелем и мною. Со мною пришло подтверждение писаному в Книге пророка Исайи: стала уже реальностью земля, наполненная серебром, и золотом, и сокровищами без числа, на берегах широких рек, где ходят дивные весельные суда и большие корабли. И пришел час большого Раздела Добычи в стране, где народам, живущим там, будут отпущены согрешения. Так говорил Исайя. И чрез чьи уста раздавался сейчас голос Исайи?...

Когда я закончил, я преклонил колена с благородством движений, тщательно подготовленным накануне, и преклонили колена монархи, и преклонили колена все присутствующие, задыхаясь от рыданий, в то время как кантор, и певчие, и хор мальчиков королевской капеллы разливались в самом торжественном «Te Deum», какой звучал когда-либо под этим небом. И когда небесные голоса вернулись на землю, последовал приказ, чтоб мои семеро индейцев просвещены были в христианской вере, дабы приступить, как только обретут они достаточные познания, к их крещению. «Чтоб их не почитали за рабов, — сказала королева. — И да будут они возвращены в их землю с первым кораблем, который к ней отплывать станет...» И в эту ночь я еще раз увидел мою повелительницу в частном ее покое, где мы познали блаженство новой встречи после моего долгого и полного превратностей отсутствия, — и будь я проклят, если за долгие часы хоть раз вспомнил о каравеллах и об Индиях. Но перед рассветом, в час, когда усталые любовники, с глазами, открытыми в ночь, начинающую бледнеть, мешают слова с молчаньем, мне показалось, что Колумба, вернувшись к трезвому чувству реальности, какое я за ней хорошо знал, и обдумывая вновь события, не была так захвачена словами моей вчерашней речи, как я полагал. Она похвалила мой риторический стиль, кстати приведенные цитаты, изобретательность в употреблении образов, но как-то ускользала, уклонялась, недоговаривала, когда предстояло высказать прямо и открыто суждение о важности моего предприятия. «Но в основном... что мы скажем про вчерашнее?» — спросил я, чтоб разговорить ее немного. «Если откровенно, то скажем... то скажем... что для того, чтоб привезти семерых человечков, хворых, плаксивых и с гноящимися глазками, да листья и ветки, годные разве что для окуриванья прокаженных, и столько золота, что и на дупло в зубе не хватит, не стоило тратить два миллиона мараведи». — «А престиж вашей Короны?» — вскричал я. «Престижу мы довольно имели от изгнания евреев и отвоеванья Гранадского королевства. Высокий и законный престиж — в том, что видно, что потрогать можно, в том, что достигается законами, славными до самого Рима, и победами в битвах, остающимися в Великой Истории... Но твое если и придаст престижу, то не скоро. До сих пор оно есть ничто, как происшедшее в землях, какие мы еще и представить не можем, где ни одной битвы не выиграно, ни одного заметного триумфа не одержано, *in hoc signovinces...* — по этому знаку победишь... так что все покуда остается мотивом для песен слепцов, небылицей, которая распухает применительно ко вкусу

слушателей, как случилось с подвигами этого Карла Великого, про кого рассказывается, что он победоносно вошел в Сарагосу, унизив царя Вавилонии, когда на самом деле было так, что после вялой осады вернулся он побежденным во Францию, оставя свой тыл под командой рыцаря Рольдана, как его в наших романах зовут, который... да ладно!., ты сам знаешь, как это все кончилось...» — «Но я привез золото! — возопил я. — Все это видели. Там есть залежь, огромная залежь...» — «Если залежь так велика, то твои люди должны были тащить слитки, а не эти крохи, которые, как мне сказали мои ювелиры, и сотни мараведи не стоят...» Я говорил ей о невозможности в столь короткое время, что я провел *там*, предпринять настоящую работу по добыче золота; о необходимости вернуться как можно скорее, чтоб дать отчет о моем Открытии... «Я показывала привезенные растения специалисту по пряностям: там нет ни корицы, ни мускатного ореха, ни перца, ни гвоздики; значит, ты не доплыл до Индий, — сказала она. — Обманщик, как всегда». — «А куда я в таком случае доплыл?» — «В какое-то место, вовсе непохожее на область Индий». — «В этом предприятии я рисковал жизнью и поставил на карту свою честь». — «Не слишком. Не слишком. Если б ты не повстречался с этим Боцманом Якобом на Ледяном Острове, ты не отправился бы наверняка. Ты знал, что, *так или иначе*, что бы ни случилось, у тебя впереди какая-то земля». — «Земля волшебных сокровищ!» — «По показанному этого не скажешь». — «Так какого дьявола вы мне тогда писали, торопя, чтоб я готовил второе плаванье?» — «Чтоб насолить Португалии, — сказала она, мирно откусывая кусочек толедского марципана. — Если мы теперь крепко там не сядем, нас опередят другие — те самые, кому ты дважды, не слишком-то заботясь о коронах Кастилии и Арагона, чуть было не продал свое предприятие. Они уже шлют послания Папе, с тем чтоб потребовать в собственность земли, которые их мореплаватели даже издали не видали». — «Так что, мое путешествие было ни к чему?» — «Я этого не говорю. Но черт возьми... как ты осложняешь нам жизнь! Теперь придется фрахтовать корабли, доставать деньги, отложить войну в Африке, чтоб водрузить наше знамя — другого выхода нет — на землях, которые, по мне, так и не Офир, и не Офар, и вовсе не Сипанго... Постарайся привезти больше золота, чем привез теперь, и жемчугов, и драгоценных камней, и пряностей. Тогда я поверю во многое, что пока еще пахнет обманом в твоем вкусе...» Я вышел довольно раздосадованный, сознаюсь, из королевских палат. Некоторые ее слова больно укололи меня. Но огорчение мое было уже не тем, что прежде, когда ничто не способствовало моим намерениям. Океан снова расстилался предо мною. Через короткие месяцы я снова познаю радость плыть под раздутыми парусами, придерживаясь к ветру, курсом более точным и верным, чем раньше... И теперь у меня будет достаточно кораблей; теперь уже нет бунтаря Мартина Алонсо, теперь я буду командовать настоящими матросами — с моим титулом Адмирала, с моим назначением Вице-Королем и с обращением «Дон» перед моим именем... Я возвратился в подвал, где индейцев била дрожь под шерстяными одеялами, а попугаи, изрыгнув остатки вина, с глазами, мутными, как у гниющей рыбы, печально лежали лапками вверх, растопырив перья, словно их метлой выколачивали. Вскоро они умерли. Подобно тому, как умерли, через несколько дней после крещения — кто от простуды, кто от кори, кто от поноса — шестеро из семерых индейцев, представленных мною пред королевский трон. От Диегито, единственного, кто мне оставался, узнал я, что эти люди нас не любили и не уважали. Они нас считали коварными, лживыми, буйными, запальчивыми, жестокими, грязными и вонючими,

удивлялись, что мы никогда не моемся, тогда как они по несколько раз в день освежали свое тело в ручейках, ключах и каскадах своей земли. Говорили, что от наших жилищ несет прогорклым салом; дерьмом — от наших узких улиц; потом — от наших самых блестящих рыцарей, и что если наши дамы надевают столько нарядов, корсажей, уборов и украшений, то затем, верно, что хотят скрыть уродства и язвы, делающие их мерзкими, или, может, стыдятся своих грудей, таких толстых, что так и кажется, будто они сейчас выпрыгнут из выреза платья. Наши благовония и ароматы — включая ладан — заставляли их чихать; они задыхались в наших тесных комнатах, и наши церкви казались им местом ужаса и возмездия из-за стольких параличных, увечных, нищих, стольких карликов и уродов, что сталпливались у входа. Не понимали они и того, почему столько людей, не принадлежащих войску, ходили вооруженными и почему столько богато одетых сеньоров могли наблюдать, не устыдясь, с высоты своих расшитых седел на выхоленных конях, непрекращающееся и стонущее шествие язв, нарывов, культипок и лохмотьев. Кроме всего, попытки вдолбить им что-нибудь из нашего вероучения до того, как свершится над ними святое таинство, провалились. Я не скажу, чтоб они не делали усилий понять, — скажу просто, что они не понимали. Если Бог, сотворив небо и землю, и растения, и существа, какие ее населили, думал, что это хорошо, то они не видели, почему Адам и Ева, люди, созданные по образу божию, совершили такой уж грех, поев плодов с хорошего дерева. Не считали они, что полная нагота есть нечто неприличное: если мужчины *там* носили набедренные повязки, то затем лишь, чтоб защитить хрупкую, чувствительную и слегка мешающую при ходьбе часть тела от колючих кустарников, режущих трав, от когтей, жал и клювов животных; что же касается женщин, то лучше для них прикрывать свое естество клочком ткани, какой я у них видел, чтобы во время месячного нездоровья им не пришлось выставлять напоказ неприглядную нечистоту. Не понимали они и картин на мотивы Ветхого Завета, какие я им показывал: они не видели, почему Зло должно быть представлено Змеем, поскольку змеи на их островах не наносили вреда. Кроме того, вид змеи с яблоком во рту вызывал у них взрывы хохота, потому что — как мне объяснил Диегито — «змея фруктов не ест»... Скоро я снова подниму якоря и снова поплыву к берегам Сипанго, открытым мною, — и пусть Колумба, невыносимая в эти дни, потому что у нее, возможно, крови кончаются, говорит хоть сто раз, что это вовсе не Сипанго. Но что касается наставления индейцев в истинной вере, то пусть этим займутся мужи, более меня достойные подобной миссии! Завоевывать души — не моя задача. И нельзя требовать призванья апостола от того, кто обладает хваткой банкира. И то, что теперь от меня требуется — притом срочно, — это найти золото, много золота, как можно больше золота, ибо и здесь тоже на небесах написано — и это благодаря мне — призрачное видение Колхиды и Херсонесов.

Острова, острова, острова... Одни большие, другие крохотные; те неприступные, те приветные; лысый остров, клокастый остров, остров с серым песком и мертвыми лишаями; остров, чьи камешки катит, вздымает, бросает в своем ритме каждая волна; остров, изрезанный профилем гор, остров пузатый, как беременная женщина; остров островерхий, с уснувшим вулканом; остров, заключенный в радугу рыб-попугаев; остров за пустынной грядой, остров улиток на пористом камне, вечнозеленой мангровы, тысячью когтей вцепившейся в землю; остров, оправленный белой пеной, как инфанта, одетая пышными кружевами; остров из музыки кастаньет и остров в

зверином рыке; остров, чтоб сесть на мель, остров, чтоб потерпеть крушенье; остров без имени и без истории; остров, где поет ветер в пустотах гигантских раковин; остров, кораллами взрезавший воду, остров дремлющего вулкана; Остров Зеленомшистый, Остров Сероглиный, Остров Белосоляной; острова в таком плотном и сияющем созвездии — я насчитал до ста четырех, — что, думая, о ком думаю, я назвал их *Сад Королевы*... Острова, острова, острова. Более пяти тысяч островов окружают, судя по венецианским хроникам, великое царство Сипанго. Значит, я на подступах к этому великому царству... И тем не менее, по мере того как текут дни, я вижу, как удаляется цвет золота, ибо хотя драгоценный металл и мелькает еще кое-где в форме украшений, фигурок, бусинок, кусков — меньше ладони доброго генуэзца, — но все это лишь крохи, жалкие комочки, мельчайшие стружки большой жилы, которая все не показывается и которая, видно, так и не отыщется на Испаньоле, как я сперва думал, очарованный богатством этого обширного острова. И вот в записках о моем втором плавании я уже начинаю искать мотивы для извинения. Я велю сообщить Их Королевским Высочествам, что рад был бы послать им много золота, но не могу сделать этого из-за постоянных болезней, какие одолевают моих людей. Уверяю, что переданное им должно рассматриваться только как *образцы*. Ибо есть больше золота, наверняка много больше... И я продолжаю поиски, с надеждой, с жадностью, со страстью и каждый раз все с большим разочарованием, совершенно не понимая, куда пропала Изначальная Копь, Золотое Русло, Великая Залежь, Высший Дар этих пряных земель без пряностей... Сейчас, в этой комнате, где кажется, что темнеет раньше времени, в ожидании исповедника, который должен бы уж быть здесь благодаря малому расстоянию от деревушки, куда пошли его искать, я продолжаю перелистывать черновики моих донесений и писем. И, наблюдая самого себя через написанное мною когда-то, я замечаю, оглядываясь назад, как происходит какая-то дьявольская перемена в моей душе. Сердясь на этих индейцев, которые не открывают мне своего секрета, которые прячут уже своих женщин, когда мы приближаемся к их поселкам, ибо считают нас людьми бесчестными и развратными, — пред этими недоверами и задирщиками, которые уже время от времени пускают в нас стрелы, хоть и не нанося нам большого вреда, если сказать правду, я перестал видеть в них те невинные, благодушные, незащитные существа, столь же не способные причинить зло, сколь и считать наготу неприличной, какими идиллически обрисовал их моим повелителям по возвращении из первого путешествия. Теперь я все чаще называю их *каннибалами* — хоть и никогда не видал, чтоб они питались человеческим мясом. Индия Специй превращается для меня в *Индию Каннибалов*. Малоопасных каннибалов — подчеркиваю это, — но которых нельзя оставить в неведении нашей святой веры; каннибалов, чьи души должны быть спасены (вдруг я об этом забеспокоился!), как были спасены души миллионов мужчин и женщин апостолами, распространившими христианство среди язычников. Но поскольку совершенно очевидно, что никак невозможно распространить наше вероучение среди этих каннибалов здесь, из-за нашего незнания их языков, которые, как я вижу, становятся все более различны и многочисленны, то решить эту трудную задачу, которая не может не волновать церковь, нельзя иначе, чем переправив их в Испанию в качестве рабов. Я не оговорился: *рабов*. Да, теперь, когда я на пороге смерти, это слово ужасает меня, но в моих записках, что я перечитываю, оно начертано ясно, крупным и круглым почерком. Я прошу разрешения на *торговлю рабами*. Я утверждаю, что каннибалы, живущие на этих островах, *будут лучше любых других рабов*, указывая

для начала, что они очень неприхотливы в пище и едят много меньше, чем негры, которых такое множество в Лиссабоне и Севилье. (Уж если мне не попадается золото, думаю я, то это золото может быть заменено невозмещаемой энергией человеческого мяса, рабочей силой, которая превышает свою собственную стоимость в том самом, что производит, принося в конечном счете большую выгоду, чем призрачный металл, который одной рукой ухватишь, а другой выронишь...) Кроме того, чтобы мое предложение выглядело посolidней, я посылаю на одном из кораблей нескольких каннибалов — самых здоровущих, каких смог выбрать, — в сопровождении *женщин, мальчиков и девочек*, чтоб можно было поглядеть, как в Испании станут они расти и множиться, так же как происходит с невольниками, привезенными из Гвинеи. И я заверяю, что каждый год могли бы прибывать к нам сюда, с монаршего соизволения, по несколько каравелл, чтоб забрать немалый груз этих каннибалов, и что мы будем поставлять их незамедлительно, в каком угодно количестве, устраивая облавы на обитателей этих островов и собирая их в огороженном месте в ожидании посадки. И если мне возразят, что тем самым мы лишаемся нужных нам рабочих рук, я посоветую послать мне человек с тысячу и несколько сотен лошадей, чтоб приняться за обработку земли и начать выращивать в здешних условиях пшеницу и виноград и разводить скот. Людям этим надобно назначить жалованье, в ожидании, пока земля этих островов рождать станет, но, благодаря одной моей идее, остроумной выдумке, какую я имел тогда бесстыдство гордиться, таковое жалованье не должно быть им выдано деньгами — а чтоб королевской казною устроены были лавки для продажи материй плательных, рубах простых и курток-хубонов, полотна, распашных блуз, чулок, сапог и туфель, не считая лекарств и снадобий с прочими аптечными принадлежностями, сушеных и вяленых продуктов, провизии, заготовленной впрок, *не входящей в обычный рацион*, и продуктов Кастилии, какие *наши люди здесь охотно будут приобретать с вычетом из жалованья*. (Лучше б прямо сказать, что платить людям за труд одними нашими товарами послужит к огромной выгоде нашей, ибо так они никогда ни гроша не получают и, поскольку здесь к тому же деньги им совсем ни к чему, они завязнут в этом долге до самой смерти, подписывая счета за купленное...) Принимая, однако, во внимание, что охота на людей, предпринимаемая мною, не может быть осуществлена без того, чтоб вызвать сопротивление со стороны каннибалов, я прошу — береженого и Бог бережет — прислать *двести кирас, а также сотню пушек и сотню арбалетов*, со всем припасом и прочим... И я заканчиваю этот список постыдных предложений, составленный мною в городе Изабелла на тридцатый день января 1496 года, моля Бога даровать нам *крупную меру золота*, — как будто я в этот самый день не лишился навек милости Божьей, взяв на себя роль торговца рабами. (Вместо того чтоб молить о прощении и покаяться в своих грехах, ты, несчастный, просил у Бога *крупную меру золота*, как продажная девка в сумерках каждого дня, в виду долгой и неверной ночи, молит Провидение послать ей удачу в лице случайного гуляки, мота с тугим кошельком!..)

Но когда писал я к Их Королевским Высочествам, я и на сей раз лгал, засыпая их предложеньями, которые если и созрели в моем мозгу (потому-то я и должен был выслать этот авангард из нескольких невольников с их женами и детьми...), то об основном я в действительности умалчивал до времени моего возвращения — когда я пойму, наступать мне или отступать, исходя из настроения моих повелителей, которые неизвестно еще как ко всему этому отнесутся. Но события опередили меня самым

плачевным образом, доказав, что другие уже раньше подумали о том же, что я, сделав свершившимся фактом — кровавой действительностью — то, о чем размышлял я с холодным умом, ожидая королевского соизволения, чтоб предпринять действия, какие заставили бы позабыть о многих неудачах моего предприятия. И мое настырно спешащее перо тщетно пыталось удержать бурю, сгустившуюся надо мною здесь, на этих островах, и вполне могущую перелететь через океан, сбросив с пьедестала статую, какую я с таким трудом воздвиг — хоть она и незакончена и стоит непрочно, — на знаменитом Параде в Барселоне. Дело в том, что, возвратившись после открытия ближних островов, я нашел испанцев в беспокойстве, в полном забвении своего долга, увлеченных жестокой игрою, продиктованной жадностью. Они все были больны Золотом, отравлены Золотом. Но если болезнь их и походила на мою — ибо, ища золото исступленно, с остервенением, они всего лишь следовали моему примеру, — причины подобного помешательства были различны. Я не хотел золота для себя (по крайней мере пока что...). Я нуждался в нем главным образом затем, чтоб поддержать свой престиж при Дворе и доказать, что высокие титулы были присвоены мне справедливо. Я не мог допустить, чтоб говорили, будто мое дорогостоящее предприятие не принесло королевскому трону большей прибыли, чем «золото, которого и на дупло в зубе не хватит». Моя болезнь была болезнью Великого Адмирала. А эти поганые испанцы заражены были жадностью воров, которым драгоценный металл нужен для себя — чтоб хранить его, накапливать его, прятать и покинуть эти земли как можно скорее с тугим карманом, чтоб там, в пороке и бесстыдстве, удовлетворить свои собственнические аппетиты. В мое отсутствие, позабыв о моих распоряжениях — не повинаясь моему брату Бартоломё, которого считали, как и меня, иностранцем, — они рассыпались в хищнической охоте за золотом по всей Испании, нападая на индейцев, сжигая их поселки, избивая, убивая, пытая, чтоб добиться от них, где же, где же, где же находится проклятая скрытая залежь, которую искал и я, — не говоря уж о сотнях женщин и девушек, обесчещенных во время каждого набега. И сопротивление туземцев крепло с такой опасной скоростью — если у них не было такого оружия, как наше, то они лучше знали местность, — что мне пришлось послать вооруженные отряды в глубь острова. В долине, которую мы уже называли Королевской Долиной, испанцы взяли в плен более пятисот человек, которых заперли в огороженном загоне, межевой тюрьме с бойницами, чтоб стрелять в мятежников, хоть я вовсе не знал, что мне с ними делать. Их нельзя было выпустить на свободу, ибо они понесут призыв к мятежу в другие племена. У нас не было достаточно довольствия, чтоб прокормить их. Истребить их всех до одного — и некоторые из наших этого-то и хотели — показалось мне слишком жестоким решением, какое, возможно, будет строго порицаемо Теми, кто одарил меня моими титулами, — а я слишком хорошо знал карающие взрывы, на какие способна Колумба. Но пред свершившимся фактом и необходимостью отделаться — другого выхода не было — от этих пятисот пленников, которые в недобрый час оказались у меня на дороге, я решил — посоветавшись с братом — использовать непоправимое уже положение, попытавшись смягчить, приукрасить, оправдать нечто, означавшее не что иное, как установление здесь Рабства. Я стал доказывать многие преимущества подобных мер и под конец прибег к Евангелиям. И с Евангелиями вместо попутного ветра — хотя Короли еще не дали мне права на работоторговлю — я погрузил индейцев на два корабля, с помощью пинков, бичей и палок, не найдя лучшего выхода из столкновенья, угрожавшего моему авторитету. Кроме того — еще один обман, — эти

рабы были вовсе не рабы (как те, что к нам прибывали из Африки), а мятежники, восставшие против Королевской короны, пленники, печальные и неизбежные жертвы *войны справедливой и насыщенной* (sic). Увезенные в Испанию, они уже не представляли опасности. И каждый из них был для нас теперь *душа* — душа, которую, по смыслу проповеданного не знаю в каком Евангелии, искупали из тьмы здешнего идолопоклонства, угодного дьяволу, как все подобные религии, о каких я все чаще заговаривал в моих посланиях и письмах, утверждая, что масочки, украшающие тиары касиков, какие я здесь видел, имеют опасное сходство с профилем Вельзевула. (И поскольку первый шаг всего труднее, то вскорости получил от меня Бартоломе распоряжение нагрузить еще три корабля этой живой добычей, которая заменит пока что Золото, все не желающее попадаться на глаза...)

И вот однажды на рассвете, в день моего второго возвращения, когда команда хлопотливо высаживалась на берег в предвкушении бурного веселья, крепких вин и девок на всех, а я наряжался в парадную форму Адмирала, я вдруг, к величайшей радости своей, увидел Боцмана Якоба, который, после того как мы обнялись, сказал, что он здесь проездом, чтоб получить большой груз андалусских вин, предназначенный для скоттов Святого Патрика — пьянчуг, каких мало (несмотря на древнюю проповедь этого апостола Ирландии). «Я знаю, что ты был в Винланде», — сказал он мне, берясь за бурдюк вина, который я, чтоб поднять дух, уже наполовину опорожнил. «Винланд — хорошая земля, — сказал я, не отвечая прямо на его вопрос. — Но ниже есть еще лучше земли». И я снова обнял его, потому что очень радовался нашей встрече после стольких напастей, и неожиданное его присутствие здесь казалось мне добрым предзнаменованием, — я очень радовался, повторяю, как вдруг мою радость словно в укус окунули, когда я узнал, что вскоре за тем, как в Севилье была весьма выгодно продана партия моих индейцев, плененных на Испаньоле, последовал суровый, грозный королевский указ о запрещении процветающей коммерции, на которой я настаивал и которую я ввел. Кажется, Их Высочества, терзаемые сердечными угрызениями, собрали совет из теологов и канонистов, чтоб дознаться, дозволена ли подобная торговля, и те, что всегда были моими врагами, высказались, как всегда, в ущерб моим интересам. Так что деньги, полученные за два коротких дня продажи двух с лишним сотен рабов, были удержаны, конфискованы и возвращены. Кто уже увел своих индейцев с обещанием вскоре расплатиться, должен был теперь вернуть человеческий товар, чем освобождались от долга. И впредь мне строжайше запрещалось привозить на моих кораблях новых невольников для Испании, а значит, я должен был закрыть на островах лагерь, где их собирал, приостановив пленение мужчин и женщин — предприятие, так успешно начатое. Я плакал от досады и гнева на плече у Боцмана Якоба. Проваливалось единственное прибыльное дело, какое я выдумал, чтоб возместить отсутствие золота и пряностей! В это второе возвращение, которое в мечтах виделось мне покрытым славою, я оказался разоренным, развенчанным, опороченным и отвергнутым Их Королевскими Высочествами, и даже народ, доньне меня прославлявший, кликал теперь *обманщиком* (sic)!.. А матросы-то — уже в ожидании, уже готовы сойти на берег триумфальным и ярким парадом!.. Какими жалкими, нелепыми и смешными кажутся мне вдруг мой парадный костюм тореро, мои шелковые чулки, мой берет золотистого сукна, мои адмиральские отличия!.. И тогда воскресает во мне, как столько раз бывало в критических случаях, тот самый бродячий жонглер, что прячется

у меня внутри, со своей унылой, страдальческой маской, похожей на маску мученика из мистерий, какую надеваю я когда нужно. Я быстро сбрасываю парадное платье. И быстро накидываю строгое одеяние монаха нищенствующих орденов святого Франциска. И так, опоясанный веревкой, с босыми ногами, с всклокоченной головой, двигаюсь я с места. И так, со взором, затуманенным самой роскошной печалью, удрученный и почти плачущий, согнувшись в три погибели, с бессильно повисшими руками, встаю я впереди моих оторопевших матросов, чтоб сойти с корабля во всем великолепии скорби, словно кающийся на Страстной неделе. *Kirieleison...* — Господи помилуй... Но тут в первом ряду тех, кто толпится у самой воды, чтоб встретить мое возвращение, я узнаю лицо, осуждающе сморщенное в ироническую гримасу, того самого Родриго де Трианы, у которого я отнял десять тысяч реалов королевского вознаграждения, чтоб отдать их моей Беатрис, моей отвергнутой любовнице. Я пытаюсь избежать взгляда, слишком для меня избалованного, успев, однако, заметить, что моряк одет, словно в насмешку, в тот самый шелковый камзол, что дал я ему тогда, уже сильно потертый и залатанный, но все еще бросающийся в глаза своим красным цветом, цветом Дьявола. И я в ужасе спрашиваю себя, не является ли присутствие Родриго здесь в этот день знаком присутствия Того, кто, подстерегая меня, чтоб увлечь в свое Царство Мрака, уже сейчас начинает требовать от меня отчета. Уговора не было. Но есть уговоры, что не нуждаются в пергаменте и не скреплены кровью. Но начертанное в них остается навек неизгладимо и действительно, если кто-либо, путем лжи и обмана, внушенных Лукавым, наслаждается благами, в каких отказано простым смертным. Вопреки монашескому одеянию, в какое я сейчас облечен, плотью своею подобен я лже-Киприану, карфагенскому еретику, который заложил свою душу, чтоб выкупить потерянную молодость и бесчестно надругаться над чистотою юной девушки — девственной, как девственна и незнакома с Пороком Золота была земля, которую я отдал на поруганье разнузданной алчности пришельцев... *Kirieleison...*

...Еще путешествие и еще путешествие припомнились мне в часы, когда я собрался в путешествие, из какого не возвращаются, здесь, в этих печальных вальядолидских сумерках, что тускло освещают мне две свечи, принесенные служанкой с кошачьей поступью, которая удаляется, ничего у меня не спросив, увидев, что я погружен в тревожное чтение старых бумаг, разбросанных на простыне — уже похожей на саван — на этой постели, где мои локти лихорадочно трутся о грубую ткань одеянья моего ордена, в которое, быть может не по заслугам, пожелал я облачить истощенное мое тело... Еще путешествие и еще путешествие, и все не показывалась крупная мера золота — что за меняльничий, что за ростовщичий язык!.. — кощунственно выпрашиваемая у Господа, пред кем я принял обет бедности, просто подчиняясь правилу — частенько, сказать по правде, в наш век нарушаемому, — в завершение церемониала, на какой я обрек себя по воле моей повелительницы. Ни тебе крупной меры золота, ни крупной меры жемчугов, ни крупной меры пряностей, ни даже крупной меры барыша на невольничьем рынке в Севилье... И так, поскольку я пытался Золото Индий заменить Человечьим Мясом Индий, то, увидев, что ни золота не нахожу, ни человеческого мяса не могу продавать, начал я — ученик мага-кудесника — заменять золото и человекье мясо Словами. Весомыми, пышными, значимыми, звучными, яркими словами, выстроенными в блистательную процессию Мудрецов, Ученых, Пророков и Философов. Не найдя столь долго обещаемую и ожидаемую

Залежь, я проделываю фокус, заставив исчезнуть из поля зрения сей предмет, и напоминаю Их Королевским Высочествам, что не все то золото, что блестит. Португальская корона истратила огромнейшие суммы на весьма важные плаванья — без особой материальной выгоды, — которые возвысили ее славу пред целым светом. Я знаю, что мои путешествия много стоили и мало окупились. Но я напоминаю о миллионах — миллионах, быть может... — душ, какие благодаря им будут спасены, если пошлют туда хороших проповедников, как те, что помогали Джованни де Монте Корвино в его епархии в Камбалукке. И хоть привезенное золото «не было достаточно изобильно и для примеру», зато много трудов было положено (а это не менее важно) на *дело духовное и мирское*. А долг королей и монархов — поощрять подобные предприятия, не забывая о том, что царь Соломон отправил свои корабли в трехлетнее плаванье, только чтоб взглянуть на Сонную гору; что Александр послал эмиссаров на остров Тапробана, в других Индиях, чтоб иметь о них более обстоятельные сведения, и что император Нерон (и как мне пришло в голову упомянуть об этом мерзком гонителе христиан?) прилагал много усилий, чтоб узнать, где находятся истоки Нила. *«Властителям дано творить подобные дела»*. И потом... ну что ж!.. Не нашел я Индии специй, а нашел Индию каннибалов; и однако... — черт возьми! — ведь я встретил там не что иное, как Рай Земной. Да! Пусть по всем пределам христианского Мира распространится Благая Весть!.. Земной Рай находится против острова, которому я дал имя Тринидад в честь святой Троицы, в проливе Бокас-дель-Драгон — Пасть Дракона, где пресные воды, пришедшие с Небес, противоборствуют соленым, вернее, горьким из-за многих нечистот земли. Я видел его таким, как он есть, вне тех пределов, где таскают его туда-сюда обманутые обманщики — картографы, видел с его Адамами и Евами, здесь оказавшимися — сюда переместившимися — с Деревом меж ними двумя, со Змеем-сводником, пространством без зубчатых стен, с целой домашней зоологией из зверей ласковых и прилизанных и со всем прочим, на любой вкус. Я видел все это. Я видел то, чего никто не видел: гору в форме женской груди, или, вернее, груши с черешком — о ты, о ком я подумал!.. — посреди Сада Бытия, который находится там, а не в другом месте, принимая во внимание, что многие говорили нам о нем, так и не указав, где он помещается, ибо никогда не встречал я... *писаний латинских либо греческих, какие удостоверительно называли бы место во Вселенной Рая Земного, и не видал ни на каких картах земли, чтоб был он расположен согласно убедительным доводам. Иные полагали его там, где истоки Нила, в Эфиопии; но другие, посетившие все эти земли, не встретили тому подтверждения. Святой Исидор, и Беда Достопочтенный, и Страбон, учитель схоластической истории, и святой Амвросий, и Скотт, и все разумные теологи согласны в том, что Земной Рай располагается на Востоке, и так далее...* — «располагается на Востоке», повторяю, не забывая про *и так далее*, ибо *и так далее* тоже что-нибудь означает. Помещают, таким образом, на Востоке, которому не оставалось ничего другого, как быть Востоком, пока считалось, что существует лишь один возможный Восток. Но поскольку я достиг Востока, плывя в сторону Запада, то и утверждаю, что сказавшие это столь веско заблуждались, рисуя фантастические карты, будучи обмануты выдумками и баснями, ибо в том, что могли созерцать глаза мои, нахожу подтверждение того, что напал я на единственный, неподдельный, настоящий Рай Земной, такой, каким может вообразить его человек по Священному Писанию: место, где растет бесконечное разнообразие деревьев, приятных на вид, которых плоды хороши для пищи, откуда выходила огромная река, которой воды обтекают *землю ту*,

где золото — и золото, повторяю и настаиваю, залегающее там в огромном изобилии, хоть и не посчастливилось мне наткнуться на столь ожидаемую меру — мерил через меру, да с недомерком остался... И после обращения к Исидору, Амвросию и Скотту, теологам истинным, чтоб насолить тупоголовым испанским теологам нашего времени, которые всегда мне с такой враждою возражали, я устремился к научным высотам Плиния, Аристотеля и снова к пророчествам Сенеки, чтоб опереться на непререкаемый авторитет древних, покровительствуемых самою Церковью... И когда я описывал мое четвертое путешествие, мое плаванье вдоль берега земли, уже не имеющей образа острова, но Твердой Земли — истинной тверди земной, с высокими горами, скрывающими тайны, недоступные воображению, предполагаемые города, неисчислимы сокровища, — я почувствовал, что во мне снова зажигается дух алчности, что я обретаю новые силы, и тотчас же перед открывшейся мне реальностью я признал, что до сих пор был слишком тороплив, чтоб не сказать лжив, со своими триумфальными сообщениями: *«Когда я открыл Индии, то сказал, что это самое богатое и величайшее владение, какое есть на свете. И про золото, жемчуга, камня драгоценные и торговлю пряностями на ярмарках, и поскольку все это не появилось так быстро, как желали, я был весьма удручен. Но подобное огорчение только доказывает, что не надо раньше времени... ибо я видел на этой земле Верагуа больше признаков золота за первые два дня, чем на Испании за четыре года, и нигде, как в области сей, нет ни земель более прекрасных и более тщательно возделанных, ни людей, более робких и покорных... И Ваши Королевские Высочества суть столь же господа всему описанному здесь, как городам Хересу и Толедо; корабли ваши, что прибудут сюда, прибудут в свой дом...»* А что же делать теперь с подобным богатством? Да просто утолить страстнейшее устремление человечества — то, что рушилось во всех восьми Крестовых походах. Чего не добились ни Петр Пустынный, ни Готфрид Бульонский, ни Святой Бернард, ни Фридрих Барбаросса, ни Ричард Львиное Сердце, ни Людовик Святой Французский, должно быть достигнуто благодаря упорству, всегда встречавшему сопротивление, этого вот сына трактирщика из Савоны. Кроме того, сказано: *«Иерусалим и гора Сион должны будут вновь построены руками христиан»*, и *«аббат Иоахим Калабрийский сказал, что, кто совершит сие, должен изыти из Испании»*. Тот должен изыти из Испании — пусть все слышат. Он не сказал, что тот должен быть испанцем. И, говоря обо мне, он мог бы сказать, как Моисей в земле Мадямской: *«Я стал пришельцем в чужой земле»*. Но такие пришельцы и суть те, кто находит Земли Обетованные. Поэтому Избранный, Поставленный Свыше был я. И тем не менее путь был долог и тягостен: *«Семь лет пребывал я при Королевском Дворе Вашем, и, сколько ни говорил про это предприятие, все как один сочли его пустою забавою. А теперь даже портные мечтают об открывании новых земель»*. И поскольку как-то в день 7 июля месяца 1503 года, находясь в крайнем унынии и бедственности на острове Ямайка, подумал я, что постоянною моею похвальбою я слишком уж возвысил себя в собственной своей оценке, впадая в грех гордости, я смирил ее в конце одного послания моим Королям, сказавши: *«Я отправился в это путешествие не за именем и почетом; это правда, ибо не было уже от него никакой на то надежды. Я пришел к Вашим Королевским Высочествам с благим намерением и добрым рвением, и я не лгу...»* Я говорю, что не лгу. Я думаю, что в тот день я не лгал. Но теперь, углубясь в чтение пожелтевших листов, что лежат в беспорядке на простыне, по грудь натянутой на мое тело...

...Когда я блуждаю по лабиринту моего прошлого в этот последний час, то чувствую удивление от моей природной склонности к ужимкам фигляра, краснобайству комедианта, штукам фокусника на манер виденных мною в Италии в те времена, когда, бродя с ярмарки на ярмарку, заходили к нам в Савону паяцы и потешники, со своими фарсами, пантомимами и маскарадными шествиями. Я был балаганным зазывалой, когда возил от одного трона к другому мой Театр Чудес. Я был главным действующим лицом *sacra rappresentazione* — *священного представления*, когда представлял перед испанцами, прибывшими со мною, великолепный ауто Взятия во Владение Островов, которые и не знали, что их взяли. Я был блистательный распорядитель Большого Парада в Барселоне — первого большого спектакля Западных Индий, с настоящими людьми и зверьми, показанного публике Европы. Позднее — то было во время третьего моего путешествия, — увидев, что индейцы с одного из островов опасались приближаться к нам, я устроил зрелище на носу корабля, заставив нескольких испанцев плясать какой-то бурный танец под звуки тамбурина и кастаньет, чтоб было видно, что мы люди веселые и мирного нрава. (Но все вышло неудачно в тот раз, сказать по правде, поскольку каннибалы, нимало не прельстившись нашими моресками и чечетками, выпустили в нас все стрелы, какие нашлись в их индейских челнах...) И, сменив маскарадный костюм, я был Астрологом и Чудодеем на том песчаном берегу Ямайки, где мы оказались в таком жалком положении, без пищи, больные и окруженные в довершение всех бед туземцами, враждебно настроенными и каждую секунду готовыми на нас напасть. В добрый час пришло мне тогда в голову заглянуть в книгу заметок «Эфемериды» Авраама Закута, которую всюду возил с собой, я проверил знакомое место и, убедившись, что этой февральской ночью будет затмение луны, объявил тотчас нашим врагам, что если они подождут немного, то увидят великое и поразительное чудо. И едва подошло время, я выпрямился, словно на дыбе, и, махая руками, как крыльями ветряной мельницы, жестикулируя, как некромант, выкрикивая выдуманнные заговоры, приказал луне затмиться... и луна затмилась. Тут я сразу сошел в свою каюту, и, подождав, пока песочные часы отсчитают время, какое должно длиться чудо — как то было указано в трактате, — я снова явился перед потрясенными каннибалами, приказав луне показаться, что она и сделала незамедлительно, повинувшись моему приказу. (Может, благодаря этому фокусу я и жив до сих пор...) И был я Великим Инквизитором, беспощадным и грозным — не хочется и вспоминать, — в тот день, когда на берегах Кубы велел я опрашивать моряков, таят ли они какую-либо неуверенность в том, что эта большая земля есть Твердая Земля, континентальная нация, передняя область бескрайних Индий, которые я, как ожидалось, должен в дар — неплохой дар! — принести Испании. И я провозгласил через нашего писца и нотарию, что всякий, кто поставит под сомнение ту истину, что эта земля Куба есть континент, заплатит штраф в десять тысяч мараведи и, кроме того, ему отрежут язык. *Отрежут язык.* Ни больше и ни меньше. Но *Я-Инквизитор* добился чего хотел. Все испанцы — считая сюда и галисийцев с басками, у кого я всегда и во всем встречал отпор, — многожды поклялись мне в повиновении, полагая, что таким образом они сохранят то, что, по мнению Эзопа, есть самое лучшее и самое худшее из всего, что существует на свете. *Я нуждался в том, чтоб Куба была континентом, и сто голосов возгласили, что Куба есть континент...* Но скоро оказывается наказан человек, который использует хитрость, обман, угрозу или насилие, чтоб достичь какой-либо цели. И для меня наказания начались сразу и здесь, не ожидая никаких потом и там, ибо все было

сплошное невезенье, бедствие, искупление всех вин во время последнего моего путешествия, — когда я видел, как мои корабли взносились на гигантскую волну, как на гору, и падали в ревущую бездну, выплевываемые, глотаемые, исхлестанные, изломанные, покуда не были выброшены вновь в открытое море рекою Верагуа, которая внезапно вздулась от дождей, выталкивая нас прочь, словно отказываясь дать нам убежище. И эти дни непрерывных несчастий, после последних и отчаянных поисков золота на твердой земле, окончились горестным зрелищем кораблей, источенных червями, гнилостных язв, зловредных лихорадок, голода, отчаянья без края, там, где почти сквозь беспмятство услышал я голос сказавшего мне: «*О, глупец, мешкотный в вере и служении Богу твоему, Богу всех!*» — вырвав меня из беспросветной ночи моего уныния ободряющими словами, на которые я ответил обетом идти в Рим в одежде пилигрима, если только выйду живой из всех этих испытаний. (Однако невыполненным остался мой обет, как столько обещаний, какие я надавал...) И я вернулся к исходной точке своего пути, вышвырнутый, как говорится, из открытого мною мира, вспоминая как бредовые виденья *уродцев из Сипанго* — которых я поминаю в моем заповедании, составленном вчера, — которые в конечном счете так и не уразумели, что переходят на более высокую ступень, рассматривая мое появление на их берегах как чудовищное несчастье. Для них Христофорос — такой Христофорос, что ни единого стиха Евангелий не привел, составляя свои письма и реляции, — был в действительности Князь Безумия, Князь Крови, Князь Плача, Князь Мучения — всадник из Апокалипсиса. А что касается моей совести, образа, что высится сейчас надо мною, словно глядя из зеркала в ногах этой кровати, то я был Открыватель открытый — *открытый*, невольно, в моих реляциях и письмах перед моими владетельными господами; *открытый* в грехах перед Богом, когда задумывал постыдные дела, какие, попирая теологию, предложил Их Королевским Высочествам; *открытый* в самой сути перед моими людьми, которые с каждым днем теряли ко мне доверие, подвергнув меня высшему унижению, когда я был закован в кандалы своим поваром — это я, Дон, Адмирал и Вице-Король! — *открытый*, ибо мой путь в Индии, или полуденный Винланд, или Сипанго, или Катай, чья провинция Манзи вполне может оказаться той, что я узнал под именем Куба, — путь, проложенный мною слишком легко благодаря знакомству с сагой норманнов, в этот путь пустились теперь сотни авантюристов — даже портные, уверяю вас, поменявшие иглу и ножницы на весло! — рыцари без гроша, оруженосцы без господина, писцы без конторы, возницы без повозки, солдаты без службы, плуты с хваткой, свинари из Касареса, фанфароны в изодранных плащах, контрабандисты из Бадахоса, интриганы, втируши и угодники, бродяги всех сортов, христиане с именем, перемененным у нотариуса, крещеные, что шли пешком к купели, сброд, что делает все возможное, чтоб умерить мою высоту и вычеркнуть мое имя из хроник. Может, обо мне уж и не вспоминают, теперь-то, когда главное сделано, когда перейдены географические границы моего предприятия и даны имена городам — городами их кличут! — из десяти хижин под кровлей, загаженной птицами... Я был Открыватель открытый, ибо все тайны мои открыты; и еще я Завоеватель завоеванный, ибо начал существовать для себя самого и для других в день, когда прибыл *туда*, и с тех пор эти земли определяют меня, лепят мой облик, несут в воздухе, окружающем меня, жалуют меня, предо мною самим, эпическим величием, которое все уже во мне отрицают, и особенно теперь, когда умерла Колумба, связанная со мною в подвиге, достаточно населенном чудесами, чтоб его воспели в эпической поэме — но эпической поэме,

зачеркнутой раньше, чем написана, новыми темами новых романсов, предлагаемых жадному любопытству публики. Уже говорят, что мое предприятие было гораздо менее рискованно, чем у Васко да Гамы, кто, не колеблясь, вступил на дорогу, на которой бесследно исчезло несколько армад; менее рискованно, чем для великого венецианца, о ком двадцать пять лет ничего не было слышно и кого считали мертвым... И это говорят испанцы, всегда видевшие в тебе чужанина. Дело в том, что у тебя никогда не было родины, моряк; потому-то отправился ты искать ее *там* — далеко к Закату, — где ничто так и не определилось для тебя в понятиях реальной страны, где день был день, когда здесь была ночь, где ночь была ночь, когда здесь был день, и ты висел, качаясь, как Авессалом, зацепившийся волосами за ветви, между сном и жизнью, так и не узнав, где начинается сон и где кончается жизнь. И теперь, когда уж близок для тебя Великий Сон, какому нет конца, в каком протрубят трубы невообразимые, думаешь ты, что единственная родина, возможная для тебя — что, быть может, поведет тебя в легенду, если только родится когда-нибудь твоя легенда... — есть *та, которая не имеет еще имени*, которая не была вложена в образ силою никакого слова. *То* пока еще не есть *Идея*, не сделалось понятием, не имеет определенных очертаний, ни содержания, ни содержащего. Но у любого из уродцев *оттуда* больше сознания того, *кто он есть* на земле узанной и размежеванной, чем у тебя, моряк, со всем твоим вековым грузом науки и теологии. Преследуя виденье страны, так никогда и не найденной, расплывавшейся у тебя перед глазами, как очарованный замок, каждый раз, когда ты хвастался своими победами, ты был странником меж туманностей, видя вещи, еще не успевшие стать доступными пониманию и могущие быть объяснены лишь чрез сопоставления, выраженные языком Одиссеи или языком Книги Бытия. Ты странствовал по миру, какой готовился свернуть тебе голову, тогда как ты думал, что завоевал его, и какой в действительности вышвырнул тебя из своих пределов, оставив не *там* и не *здесь*. Пловец, заблудившийся меж двух вод, претерпевший кораблекрушение меж двух миров, ты умрешь сегодня, или в эту ночь, или завтра и станешь подобен герою вымыслов, Ионе, извергнутому китом, спящему из Эфеса, вечному жиду, капитану корабля-призрака... Но не будет тебе забыто, когда потребуется от тебя отчет в делах твоих там, где не слушают ни частных, ни кассационных жалоб, того, что ты, с твоим оружием, превосходившим на тридцать столетий то, что могло тебе противостоять, с твоими дарами из болезней, неведомых там, куда ты прибыл, вез на твоих кораблях алчность и распутство, жажду обогащения, меч и факел, цепи, колодки и бич, чье щелканье должно было раздаваться в угрюмой ночи рудников, и это там, где ты был встречен как пришелец с небес — так ты и сказал своим Королям, — одетый скорее лазурью, чем золотисто-желтым, носитель, быть может, спасительной миссии. И вспомни, моряк, Исаяю, к кому ты в течение стольких лет прибегал, ища слова-поручительства для твоих всегда невоздержных речей, для твоих всегда неисполненных обещаний: *горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!* И вспомни теперь Екклесиаста, страницы, которые ты пробегал столько раз; там говорится: *кто любит золото, несет на себе тяжесть своего греха, кто ищет богатства, станет жертвой богатства. Неизбежна гибель того, кто в плену золота.* И в громе, пронсящемся сейчас над мокрыми крышами города, снова взывает к тебе из дальних глубин Исаяя, заставив тебя содрогнуться от ужаса: *когда ты умножаешь моления твои, Я не слышу: твои руки полны крови.*

Я слышу на лестнице шаги: то бакалавр и монах из Общества Милосердия

возвращаются с исповедником. Я прячу мои бумаги под кровать и снова вытягиваюсь на простыне, туго завязав вервие моей рясы, сложив руки, недвижимый, как фигура на крышке королевской гробницы. Настал высший час откровения. Я буду говорить. Я буду говорить много. У меня есть еще силы говорить много. Я скажу все. Я выскажу все. Все.

Но пред подступившей неизбежностью говорить, в час правды, теперь наставший, я надеваю маску того, кем хотел быть и не был: маску, что должна будет стать единою с той, какую наденет на меня смерть, — последнюю из тех бесчисленных, что носил я в течение жизни без начальной даты. Пришедший из таинства мистерии, я приближаюсь сейчас — после четырех действий, в которых был аргонавтом, и одного, в котором был бедняком... — к страшной минуте сдачи оружия, роскошеств и лохмотьев. И хотят, чтоб я говорил. Но слова теперь застревают у меня в горле. Чтоб сказать все, поведать все, я б должен сознавать себя в долгу — «давай — получай», как говорится на жаргоне опытных менял, — по отношению к людям такой веры и такого образа чувств, что их великодушие послужило бы мне прибежищем. А так не было, и я вполне мог бы отнести к себе, — я, кто из честолюбия отрекся от Закона своих, — суровые заветы, поставленные в канун его смерти тому Моисею, кто, подобно мне, без числа, обозначившего день его рождения, был, подобно мне, вестником о Землях Обетованных: «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало; виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить; маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя». И еще сказал Яхве Созерцателю Далеких Царств: «Вот земля, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь...» Есть еще время задержать мое слово. Пускай моя исповедь сведется к тому, что хочу я открыть. Говорит Язон — как в трагедии «Медея» — то, что подобает ему рассказать из своей истории, языком звонкого драматического поэта, языком брони и молитвы, и сказанное им — многие стоны во имя полного отпущения грехов, и ничего более... Заблудшим вижу я себя в лабиринте того, чем я был. Я хотел опоясать Землю, но Земля оказалась слишком велика для меня. Пред другими распахнутся самые важные загадки, что еще бережет для нас Земля, за подходом к одному мысу на берегу Кубы, который я назвал *Альфа* и *Омега*, чтоб выразить, что здесь, на мой взгляд, кончается одно владычество и начинается другое, заключается одна эпоха и зачинается другая, новая...

...И вот исповедник уже ищет мое лицо в глубинах подушек, пропитанных потом лихорадки, и глядится в мои глаза. Подымается занавес над развязкой. Час правды, он и час расплаты. Я скажу лишь то, что обо мне может быть *начертано на мраморе*. Из губ моих исходит голос другого, что так часто жил во мне. Он знает, что сказать... *«Да сжалится надо мною небо, и да плачет обо мне земля»*.

III. Тень

Что ж ты не спросишь,
какие духи здесь нашли приют?

Данте. Ад, песнь IV

Невидимый — без тяжести, без измерения, без тени, странствующая прозрачность, для какой утратили свой смысл обычные понятия холода и тепла, дня и ночи, добра и зла, — уже много часов носился в отверстых объятьях четвертных колоннад Бернини, когда отворились наконец высокие двери собора Святого Петра. Кто плавал по

стольким морям без карт, не мог смотреть иначе как с досадой на множество туристов, которые в то утро заглядывали в свои путеводители и бедекеры, прежде чем нырнуть в глубину базилики и выбрать верный путь к самым знаменитым диковинам этого Дворца Чудес, который для него должен был стать Дворцом Правосудия. Отсутствующий подсудимый, далекая память, имя на бумаге, голос, перенесенный в уста других для его защиты или обличения, он оставался на расстоянии почти четырех веков от тех, кто будет теперь разбирать мельчайшие ходы и переходы его известной всем жизни, определяя, можно ли его рассматривать как великого героя — так видели его панегиристы — или как обычного человека, подверженного всем слабостям своего естества, как рисовали его некоторые историки рационалистского толка, неспособные, вероятно, уловить *поэзию поступков*, витающую за каменной оградой их документов, записей и картотек. Для него настала пора узнать, заслужит ли он в будущем статуи с восхвалениями на пьедесталах или нечто более важное и всеобъемлющее, чем фигура из бронзы, камня или мрамора, поставленная у всех на виду посередине площади. Удаляясь от Страшного Суда — на алтарной стене Сикстинской Капеллы, — еще не имевшего к нему касательства, он направился, по верному компасу, в закрытые для посещений публики залы Липсонотеки, реликвехранилища, где хранитель, ученый монах-болландист и поневоле, соприкасаясь с житиями мучеников, немного остеолог, одонтолог и отчасти анатом, был занят, как обычно, изучением, исследованием и классификацией предметов этих наук, а именно бесчисленных костей, зубов, ногтей, волос и прочих останков святых, хранимых в ящиках и ларцах. Хотя вообще-то умерших не волнует судьба их собственных костей, Невидимый хотел взглянуть, не нашлось ли здесь, среди всех этих реликвий, местечка для тех немногих костей, что, после того как прах переносили с места на место, от него остались, на случай если... «Сдается, нам предстоит акт большой торжественности», — сказал хранитель молодому семинаристу, своему ученику, которого упражнял в методах классификации Липсонотеки. «Так ведь сегодняшнее дело не является обычным делом», — сказал ученик. «Ни одно дело о причислении к лику святых не является обычным делом», — заметил хранитель своим всегдашним раздраженным тоном, не вызвавшим, правда, робости в его собеседнике. «Безусловно. Однако здесь речь идет о человеке, известном по всему земному шару. И постулат был внесен двумя Папами: сначала Пием IX, теперь Его Святейшеством Львом XIII». — «Пий IX умер раньше, чем протекли десять лет, требуемые Святой Конгрегацией Обрядов, чтоб приступить к рассмотрению документов и подтверждающих доказательств». — «Еще не было начато производством дело о Христофоре Колумбе, когда граф Розелли де Лорг просил об еще двух ореолах: один для Жанны д'Арк, другой — для Людовика XVI». — «Видишь ли, если беатификация Жанны д'Арк мне представляется вполне возможной, то к Людовику XVI она имеет такое же отношение, как к твоей потаскухе бабушке». — «Спасибо». — «Кроме того, надо положить предел этому внесению постулатов. У нас тут не фабрика святых икон». Постояла тишина, во время которой влетело несколько мух, в разведывательном полете, словно ища что-то, чего в конце концов не нашли. «Как вы смотрите на дело Колумба?» — спросил семинарист. «Плохо. В путанице, царящей среди швейцарских алебардщиков из его почетной охраны, голоса в пользу Колумба были сегодня утром один против пяти». «Жаль, если его отвергнут», — сказал юноша. «Ты побился об заклад?» — «Нет. Просто у нас нет ни одного моряка-святого. Сколько я ни искал в „Золотой Легенде“, и в „Актах Святых“ — „*Acta Sanctorum*“ Жана Болланда, и даже в „Книге венцов“ Пруденция,

не могу найти ни одного. У людей моря нет своего покровителя, какой был бы их рода занятий. У рыбаков много — начиная с тех, что с Тивериадского Озера. Но настоящего моряка, с соленых вод — ни одного». «Верно, — сказал хранитель, просматривая мысленно свои реестры, каталоги и книги записей. — Ибо святой Христофор никогда не имел дела с парусами. Лодочником был Несущий Христа, как мы знаем, и за то, что перенес, подняв на свои плечи, с одного берега реки на другой Того, кто не боялся быть унесен бурными водами, посох его, когда он воткнул его в твердую землю, вырос и зазеленел, как финиковая пальма». — «Это покровитель всех путешественников, путешествуют ли они на корабле, верхом на осле, по железной дороге или на воздушном шаре...» Оба принялись перебирать карточки и бумаги. И Невидимый глядя из-за их спин, увидел, как всплывают имена и еще имена — некоторые из коих были ему глубоко неизвестны — святых, к каким люди моря взывают во время своих бурь, бедствий и невзгод: святой Винцент, диакон и мученик, ибо однажды было так, что тело его чудесным образом держалось на поверхности бушующих волн, несмотря на то что тело его было нагружено огромным камнем. («Но ведь это он не по обету», — заметил семинарист); святой Косме и святой Дамиан, мавританские святые; «Наша родина — Аравия», — говорили они, ибо проконсул Лизий бросил их в море закованными в цепи; святой Климент, тоже брошенный в море, чей труп был найден на острове близ Херсонеса, привязанный к якорю («И они не были моряками», — сказал юноша); святой Касторий, погибший в море, вступив в схватку с тайфуном на дырявой лодке («Не по своей воле сел он в эту лодку»); святой Лев, принявший свои мучения в руках пиратов («От этого он не стал мореплавателем»); святой Педро Гонсалес, более известный под именем святого Эльма («Обратил в христианство многих моряков и зажег прекрасные Огни святого Эльма, что пляшут ночью на верхушках мачт. Но он был человеком далекой суши, родом из города Асторга, чьи сдобные булочки известны по всей Испании, потому что...») «Не будем отвлекаться, — сказал хранитель, — не будем отвлекаться»). И перечень продолжается: святой Кутберт, покровитель саксонских моряков («Тут пахнет северной сагой... Моряк из Кадикса или Марсея не станет связываться с викингом»); святой Рафаил Архангел («Ну как мог архангел носить матросскую бескозырку, объясните мне, пожалуйста!»); Николай, епископ города Мир в Ликии, кто, невидимый, выпрямил мачты тонущего парусника и, взявшись за колесо руля, привел его в надежный порт («Как-то он больше видится правящим санями и раздающим игрушки, чем идущим по воде»). «Тогда мы сели в лужу, — сказал хранитель Ватиканской Липсонотеки. — Ибо ни святой Доминик, ни святой Валерий, ни святой Антоний Падуанский, ни святой Воскрешенный, ни святой Рамон, ни святой Будок (первый раз слышу!), каких чтят моряки, никогда не были моряками». — «Вывод: Пий IX был совершенно прав. Нам нужен святой Христофор Колумб». — «Надо подготовить ларец для хранения останков». — «Беда в том, что народ бродячий и плавающий по морям исчезает без следа». — «Не осталось ли от него какой бедерной кости, коленной чашечки, пясти руки, полпальца хотя бы?» — «А это еще помеха. Тут такая путаница, что вовек не разберешься, ибо не было в мире костей, какие столько бы перевозились, переносились, разбирались, рассматривались, оговаривались и оспаривались, как эти». И, резюмируя узnanное из недавних поисков, обоснованных внесением недавнего постулата, объяснил ученый-болландист своему ученику, что Колумб, поскольку умер в Вальядолиде, был погребен в монастыре святого Франциска, принадлежащем этому городу. Однако в 1513 году его останки помещены были в монастыре Лас-Куэвас в

Севилье, откуда были взяты тридцать три года спустя, чтоб быть доставленными в Сан-Доминго, где покоились до 1795 года. «Но вдруг, можешь себе представить, подымают бунт негры французской части острова, устраивают чудовищные пожары, сжигают поместья и убивают своих господ. Испанские власти, боясь, что пламя восстания распространится шире, отправляют бранные останки Великого Адмирала в Гавану, в чьем соборе должно им оставаться, ожидая возвращения в Сан-Доминго, где намеревались воздвигнуть ему пантеон со скульптурами, аллегориями и всем прочим — нечто, достойное такого прославленного покойника... Но тем временем происходит театральный взрыв в стиле Рокамболя, сказал бы я, если только подобает упоминать о Рокамболе в этих ватиканских приделах». — «Не беспокойтесь, синьор, здесь каждый третий читал похождения Рокамболя». — «В соборе Сан-Доминго Христофор Колумб был не один: его погребальная урна соседствовала с урнами его сына-первенца Диего и сына Диего — дона Луиса Колумба, первого герцога Верагуа, и дона Христофора Колумба II, брата дона Диего Колумба. И можешь себе представить, вдруг, 10 сентября 1877 года, один архитектор, отвечающий за некоторые починки в соборе, находит металлический гроб, на котором стоит сокращенная надпись: „*От. Ам. Пере. Адм. Хр. К. А.*“ — что было истолковано так: *Открыватель Америки. Первый Адмирал Христофор Колумб, Адмирал.* Следовательно, останки, перенесенные в Гавану, *не были* останками того, кого мы сейчас причтем к лику святых...» «Если пройдет», — промолвил семинарист. «Однако — и в этом вся трагедия — внутри металлического гроба можно было прочесть начертанное германским готическим письмом: „*Знаменитейший и Досточтимый Муж Дон Христофор Колумб*“, без всякого *«Адмирала»*. И тут начинают всегдашние сплетники да мутники болтать, что, мол, это останки не Колумба I, а Колумба II, а останки, мол, Колумба I по-прежнему на Кубе, и один венесуэльский поп издает нашумевшую книжонку, окончательно запутавшую все дело, и тут начинается такое, что добавление от седьмого века к *Символу Веры* от четвертого — и то понятнее... В общем, так и не узналось, не являются ли кости Колумба I костями Колумба II, или, наоборот, кости Колумба II костями Колумба I, и пусть меня оставят в покое, пусть в этом разбирается Святая Конгрегация Обрядов, для того она и существует, а покуда пусть мне не приносят сюда ни одной ключицы, ни одной лучевой или локтевой кости, если не будет должным образом установлена их подлинность. У нас Липсонотека серьезная, и здесь не могут быть приняты позвонки, теменные, затылочные и прочие кости первого встречного, ибо во всем нужна субординация. А что касается меня, не могу ж я встать между двумя гробами и начать играть в считалку: «Чики-чики-чикалочки — один — едет — на — палочке — другой — на — тележке — щелкает-орешки». «Сюда, после смерти, и за золото не проникнешь, — согласился семинарист. — А ведь Колумб говорит, по свидетельству Маркса, что, мол, *золото есть нечто чудодейственное. Кто владеет золотом, будет иметь все что пожелает. Через посредство золота могут даже открыться душам двери рая*». — «Это верно, Колумб так говорил, но не цитируй мне Колумба, ссылаясь на Маркса. Это имя не должно произноситься там, где у стен есть уши. Вспомни, что после опубликования „Силлабуса“ некоторые книги здесь у нас весьма на плохом счету». — «Сдается, однако, что вы очень хорошо знаете Маркса, как, впрочем, и Рокамболя». — «Сын мой, по обязанности: я вхожу в комиссию по составлению „Индекса“ книг, запрещенных церковью». «Видать, не особенно соскучишься, составляя этот „Индекс“», — сказал семинарист с лукавым смешком. — Теперь я понял, почему «Мадемуазель Мопен» Теофиля Готье и «Нана»

Эмиля Золя стоят в этом «Индексе». «Вместо того чтоб говорить непристойности, пошел бы ты взглянуть, как продвигается беатификация Великого Адмирала», — сказал болландист в гневе и так топнул ногой, что туфля с пряжкой слетела с его ноги, едва не попав в цель. «Вот-вот! — подумал Невидимый. — Вот-вот!» И, внезапно опечаленный, направился торопливо, следуя по коридорам и поднимаясь по лестницам, к зале, где по знаку привратников начиналось представление торжественного Ауто Сакраменталь, которого он будет отсутствующим-присутствующим Героем.

Через дверь справа и дверь слева начали входить напыщенные фигуры из испанской духовной драмы, рассаживаясь со строгим соблюдением иерархии санов и обязанностей за длинным-длинным столом под скатертью алого муара и обретая каждая по жестам и позам, как на старинных церемониях, черты средневекового эстампа с изображением Суда Инквизиции. Посредине сели Председатель и двое судей, составлявшие коллегиальный суд; на одном конце стола — *Promotor Fidei*³⁵³, «выдвигатель сомнений», прокурор дела, Адвокат Дьявола, и на другом — Податель постулата, здесь это был не Розелли де Лорг, умерший несколько лет назад, но ученый генуэзский коммерсант Джузеппе Бальди, искусный алмазчик, весьма уважаемый и ценимый в ватиканских кругах за свою благотворительную деятельность. Гражданский Протонотарий Конгрегации Обрядов со своим аколитом расположились на промежуточных местах. Явились фолианты и связки бумаг в папках и портфелях, и после моления Святому Духу, чтоб вдохновил на справедливые суждения и благоразумные высказывания, процесс был объявлен открытым... Невидимый почувствовал, как его невидимые уши раскрылись и наострились, как уши волка, почуявшего опасность, и замер, весь внимание к тому, что будет сказано на этом трибунале, столь долго ожидаемом и собравшемся наконец, чтоб рассмотреть документы дела о причтении его к лику святых, которое с течением времени собрало голоса уже не только шестисот с лишним епископов, подписавших первый постулат, но и восьмисот шестидесяти, поставивших свою подпись под последним, третьим, — и весьма возможно, что этот окажется решающим. Председатель призвал постулирующего дать клятву воздерживаться от обмана во всех своих доводах, а также изложить мотивы, побудившие его стать Защитником Дела, опираясь на истины, искренне почитаемые им таковыми в глубине своей души и согласно своей совести. В размеренном ритме, с придыханиями на концах фраз, выделяя прилагательные, повышая голос на заключениях периодов, сделал Джузеппе Бальди страстный обзор того, что граф Розелли де Лорг изложил, с избытком приложений и доказующих документов, в своей книге, заказанной Пием IX. Покуда лилась эта речь, все более панегирическая и призывная, Невидимый был наверху блаженства. Как пред подобной картиной совершенств, добродетелей, мужественного благочестия, великодушия и щедрости, внутреннего величия; как пред подобной картиной чудес, им свершенных, к тому ж с покорством и смирением нищенствующего монаха; как пред явным доказательством того, что он обладал сверхъестественным могуществом (о чем услышал сейчас впервые), могли возникнуть у его судей хоть какие-то колебания, если, подобно тому как святой Климент смирял бури, святой Луис Бельтран, американец, апостолический посетитель Колумбии, Панамы и Антильских островов — *его Антильских островов*, — вырвал тысячи и тысячи индейцев из мрака идолопоклонства

353 *Promotor Fidei* — представитель конгрегации, полномочный вести обсуждение вопроса канонизации.

и как святой Патрик, — говорил Бальди, — *«апостол зеленеющей Ирландии, слышал крики нерожденных, что из утробы матерей призывали его в Гибернию, как окрестили римляне эту страну, он, Христофор Колумб, в продолжение ужасных восемнадцати лет, потраченных на тщетные хлопоты, нес в душе своей громовный зов половины рода человеческого?...»* Процесс начинался как нельзя лучше. И так велик был энтузиазм Подателя Постулата, что Невидимый начинал восхищаться самим собою: он открывал теперь, что то, что он приписывал действительному влиянию чужой веры в его предприятие, было его собственным свершением, делом рук его, его избранной воли, его умения *просить и получать*; и, что всего интереснее, по мнению некоего Леона Блуа³⁵⁴, многожды упоминаемого Джузеппе Бальди в этом панегирике, чудеса его превосходят те — более обыденные и ограниченные, если посмотреть глубже, — что состоят в том, чтоб излечить больного, заставить двигаться паралитика, выпрямить спину горбатому или воскресить какого-то мертвеца. Нет. *«Я вспоминаю о Моисее, — говорил Леон Блуа, — вспоминаю о Моисее, ибо Колумб есть Открыватель Творения, он делит вселенную меж: властителями земли, беседует с Богом во время Бури, и плоды его молитв составляют достояние всего рода человеческого».* «Браво! — восклицает Адвокат Дьявола, хлопая в ладоши, как подстрекатель у помоста, где пляшут фламенко. — Браво и браво!» Но возгласы его покрывает голос Постулирующего: *«Граф Розелли де Лорг не колебался поставить Великого Адмирала в последование за Ноем, Авраамом, Моисеем, Иоанном Крестителем и Святым Петром, жалуя его высшим титулом Посланника Божия».* (О великий, великий Христофорос — несущий Христа! Ты выиграл эту трудную партию, твой ореол уже у дверей, созовут Консистирию, будут у тебя алтари повсюду, и уподобишься ты гиганту Атласу, чьи могучие плечи подпирают землю, теперь уже на веки веков ту вселенную, какую ты сделал круглой, ибо благодаря тебе округлилась земля, что была ранее плоской, ограниченной, обкорнанной, с пределами, глядящими в неизмеримые бездны небосвода, который *тоже был внизу*, схожий и параллельный, и никто не знал с достоверностью, находится ли внизу то, что вверху, или вверху — то, что внизу!..) И достиг апогея восторг Невидимого, когда Джузеппе Бальди окончил свою речь, и словно сквозь туман, ибо невидимые слезы благодарности застилали его невидимые глаза, он увидел тени свидетелей, которых Податель Постулата пригласил для дачи показаний, к чему они и приготовились под скептическую — отчего такую скептическую?... — улыбку Адвоката Дьявола, кто по сути своей и не мог изображать на своем лице никаких улыбок, кроме коварных. «А нет ли здесь Ординария или, за неимением такового, полномочного священника?» — стал он допытываться. Председательствующий сухо ответил: *«Ненужный вопрос. Действительно, когда Проходит обыкновенный процесс беатификации, проводить его может только Ординарий, то есть обыкновенный судья в духовных делах или служитель, уполномоченный юридической властью епископа местности, где тот, чье житие рассматривается, умер или творил свои чудеса...»* — «Что зовется *Местный Епископ*», — вставил Адвокат Дьявола. «Напрасно вы нас учите тому, что мы и так прекрасно знаем, — сказал сурово Председатель. — Однако по этому поводу мы можем, как мне кажется, еще раз сослаться на авторитет графа Розелли де Лорга: *„Ни Епископ Места Рождения, — говорит он нам, — ни Епископ Места Смерти Христофора Колумба не могут присутствовать здесь...“*» — «Да, сдается, это им

³⁵⁴ Блуа, Леон (1846–1917) — французский писатель, автор книги о Колумбе «Открыватель Мира» (1884).

было бы несколько трудно...» — *«Знаменитый путешественник оставил Геную в возрасте четырнадцати лет, — продолжал Председатель. — И умер, оказавшись случайно в Вальядолиде, а останки его были перенесены в другое место. Его частная резиденция находилась в Кордове, куда он никогда не попадал. Его официальная резиденция — в Сан-Доминго, откуда он постоянно удалялся на долгое время. Так что никакой епископ не сумел бы сообщить нам хоть какие-то сведения».* — «Хорошо, всем известно, что никто не живет четыреста лет...» — «Мне кажется, что здесь оспаривается истинность Священного Писания, — сказал Протонотарий, будто бы внезапно проснувшись. — Ибо в пятой главе „Книги Бытия“ говорится, что Сиф жил девятьсот двенадцать лет, что Енос жил восемьсот пятнадцать, что Каинан достиг девятьсот десяти „и он умер“». «Черт возьми, пожалуй, уж пора было!» — воскликнул дьявол адвокат, вызвав задушенные с трудом смешки двух судей-адьюнктов. «К порядку, к порядку, — сказал Председатель. — Все, чего я прошу для ускорения дела, — это чтоб мы перешли к Потопу», — сказал ученый школы Вельзевула. «Эту шутку выдумал до вас француз Расин». «В комедии „Сутяги“, — заметил Протонотарий. „Вижу, вы недурно знаете ваших классиков“, — отозвался все с той же издевкой министр Велиара. — Однако вернемся к Колумбу: если он умер в Вальядолиде, как же тамошний епископ не оставил какого-либо письменного свидетельства, на которое мы могли бы опереться?» «Епископ Вальядолида ничего и не знал о смерти бедного чужеземца, кто, усталый и больной, забрел в этот город, чтоб бросить последний якорь», — сказал Бальди. «А нет ли свидетельства Местного Епископа оттуда, где он вершил чудеса?» «Я устал повторять, — сказал Податель Постулата, — что чудеса, свершенные Колумбом, были иного порядка, чем все прочие чудеса. Скажем так: они не ограничены определенным пространством; они всемирны». «Теперь понятно, почему папский декрет вносился особым путем», — сказал Адвокат Дьявола с жесткостью. «Каиафа!» — сказал кто-то позади Невидимого, помянув первосвященника Каиафу, осудившего Христа. И тот, обернувшись, увидел взъерошенного человека, с лицом, почти сокрытым под включенной путанью бороды, грязноватой по виду и запаху, который отчаянно вращал горящими глазами, хмуря кустистые брови и повторяя: «Каиафа! Каиафа!» Адвокат Дьявола напал теперь на Джузеппе Бальди: «Постулирующий в своем панегирике опирался исключительно на книгу Розелли де Лорга, которая, насколько я понимаю, является трудом вполне, возможно, честным по намерениям автора, но слишком страстным и недостаточно строгим с точки зрения истории. И прямым доказательством является здесь только что объявленный конкурс с премией в 30 000 песет тому, кто создаст лучшую, основательно документированную, достоверную, отвечающую современным требованиям биографию Колумба, для всемирных торжеств, посвященных четырехсотлетию открытия Америки, каковые должны состояться в скором времени. А знаете ли вы, кто, презрев книгу Розелли де Лорга, установил эту премию? Не кто иной, как достославный Герцог Верагуа, Маркиз Ямайки, Управитель Индий, Сенатор Королевства и трижды Испанский Гранд, единственный прямой потомок Христофора Колумба». «Негодяй! — взвыл взъерошенный человек и, подталкиваемый своим негодованием, перепрыгнул через два ряда сидений, упав в кресло возле Невидимого. — Выкормщик быков для корриды, который продает их для оживления цирковых зрелищ, отщепенец, у кого не хватает духу встать с мулетой тореро против собственных животных. Он предпочитает любоваться своими быками из-за барьера арены, ибо вскармливает свирепых гигантов,

чтоб они убивали других». «Премия в 30 000 песет...» — продолжает Адвокат Дьявола. «Это тридцать сребреников Иуды!» — кричит Леон Блуа, Вечный Возмутитель, — сейчас только Невидимый узнал его. «Замолчите! — кричит Председательствующий. — Или я позову алебардчиков». «Пускай история пишется теперь как угодно, — продолжает Постулирующий, — ничто не сможет умалить величия и всем очевидной святости замечательного космографа, к которому Шиллер обращался так: *„Иди без страха вперед, Христофор! И если то, что ищешь, не создано еще, Бог воздвигнет его из миранебытия, чтоб оправдать твою смелость“*». «Не такой уж он замечательный космограф, — возразил дьявольский адвокат. — А если не так, спросите у Виктора Гюго». И сразу показалось Невидимому, что Виктор Гюго подымается за перегородкой и говорит: *«Если бы Христофор Колумб был хорошим космографом, он никогда не открыл бы Новый Свет»*. («Но у меня было чутье моряка, которое стоило сотни космографии», — прошептал Невидимый.) «И пускай Виктор Гюго, в жизни не плававший дальше нормандского острова Гернсея, явится наставлять нас в морских делах!» — взревел тут Леон Блуа из леса своей бороды. А затем — это уж просто фарс! — к барьеру выходит Жюль Верн, с дерзкой и самоуверенной осанкой Робура Завоевателя. «Этого еще недоставало! — воскликнул тот, кому, волею судеб, приходилось протестовать. — Почему вы заодно его героев не позовете? Филеаса Фогга или детей капитана Гранта?» — «Достаточно, если будет присутствовать отец детей капитана Гранта», — с достоинством отозвался Жюль Верн. И продолжал: *«Истина в том, что в эпоху Колумба начал формироваться, на основе собранных фактов, ряд систем и доктрин. Настало время тому, чтоб один чей-то разум взялся усвоить их и обобщить. Все эти разрозненные идеи сосредоточились в конце концов в мозгу одного человека, обладавшего высшей степенью упорства и смелости»*. — «А Провидение? — перебил Леон Блуа. — Где этот отверженный оставил Святое Провидение?» Но романист словно бы и не слышал: *«Колумб был в Исландии... 355 и, возможно, в Гренландии»*. («В Исландии — да; но до Гренландии я не добрался», — прошептал Невидимый.) *«В течение всего своего путешествия Адмирал старательно скрывал от своих сотоварищей подлинное расстояние, какое они каждый день проходили»*. — «Если он счел полезным так поступать...» — промолвил Блуа. *«Покуда не раздался крик „Земля!“*. Но слава Колумба была не в том, что он доплыл, а в том, что он отплыл». «Идиот! Капитан Немо!» — взревел Блуа. Но с этого мгновения речь Жюля Верна становится сухой и точной, как у математика: *«Через это путешествие Старый Свет принял на себя ответственность за моральное и политическое воспитание Света Нового. Однако был ли он на высоте подобной задачи с теми узкими взглядами, какие исповедовал, со своими полуварварскими побуждениями, со своей религиозной рознью? Для начала Колумб взял в плен несколько индейцев, с целью продать их в Испании»*. «Призываю Трибунал обратить особое внимание на то, что Колумб установил рабство в Новом Свете!» — воскликнул Адвокат Дьявола. (Невидимый почувствовал, как холодеет его невидимое тело...) *«Было сообщено, что эти индейцы были людоедами. Однако ни в Баракоа, первомиспанском поселении на Кубе, ни в другом каком-либо месте мореплаватель не встречал людоедов»*. «Вот чего мы добились! — взвился, словно его какая муха укусила, посланец Вельзевула: — Я прошу разрешения Суда сделать,

355 Что Колумб был в Исландии — факт, относящийся к тому «маловероятному», что, по мнению Менендеса Пидалья, мы о нем знаем. — Прим. автора.

чтоб нам явился Брат Бартоломе де Лас Касас как свидетель обвинения». («Пропал я, — стонет Невидимый: — Теперь я и впрямь пропал»). И вот уже входит доминиканец, лысый, аскетического вида, с нахмуренными бровями, всем обликом напоминая монаха на полотнах Сурбарана, и обводит Трибунал взглядом мрачным и суровым. «Меланхолик! Маньяк! Обманщик!» — вопит Леон Блуа вне себя от гнева. И сразу же слышится поток оскорблений из уст каких-то существ, шумно входящих в залу. «Ипохондрик! Клеветник! Мешок с желчью! Змей в сандалиях!»... «Не дадим свидетельствовать все!» — визжит один голосом, похожим на звук трубы, под которую танцуют котильон. «Авессалом, восставший против отца! Уголино, пожравший трупы своих детей! Иуда Искариот, предавший Учителя! Куча отбросов!» — кричат остальные. «Кто они, эти дерзкие?» — спрашивает Председатель. «Это Ниспровергатели Черной Легенды об Испанском Завоевании, отцом которой называли защитника индейцев Брата Бартоломе, — разъясняет Протонотарий: — Их в последнее время развелось великое множество...» «Тише! Или я прикажу удалить смутьянов из зала, — говорит Председатель и, убедившись, что спокойствие восстановлено: — Есть ли какая-либо правда в утверждении, что индейцы были людоедами?» Брат Бартоломе берет слово: *«Для начала скажу, что индейцы принадлежат к расе самой высокой, по красоте своей и по духусвоему и разуму... Они в достаточной мере удовлетворяют шести основным условиям, выдвинутым Аристотелем, чтоб образовать республику совершенную и самостоятельную»*. («Теперь еще окажется, что они воздвигли Парфенон и подарили нам Римское право!» — восклицает Леон Блуа.) «Но все же едят они человечье мясо или не едят?» — вопрошает Председатель. *«Не всюду, хотя и верно, что в Мексике бывали отдельные случаи, но это скорее как следствие их религии, чем по другой какой-либо причине. В остальном же Геродот, и римский географ Помпониус Мела, и даже святой Иероним говорят нам, что антропофагия существовала также среди скифов, массагетов и скоттов»*. «Да здравствуют людоеды! Да здравствуют людоеды!» — кричат дружно Леон Блуа и Ниспровергатели Черной Легенды. «Если среди индейцев Америки были людоеды, — говорит невозмутимо Адвокат Дьявола, — у Колумба была двойная причина не везти индейцев в Испанию, ибо людоеды представляли бы постоянную опасность для детей, играющих в городских садах. И даже так могло случиться, что какой-нибудь из каннибалов прельстился бы сочными прелестями какой-нибудь красотки». «Обращаю внимание Трибунала на бесстыдство этого Адвоката Дьявола», — сказал Постулирующий. «Возьмите назад, синьор Прокурор, эти „сочные прелести красотки“», — сказал Председатель, хмуря брови. «Сочные прелести у красотки возьму, а косточки могу вам оставить...» — сказал Адвокат Сатаны. «Посмотрим теперь, может ли свидетель обвинения привести достаточно веские доказательства, что сей персонаж сознательно учредил рабство индейцев в Америке», — сказал Председатель. *«Достаточно вспомнить, что славной памяти Королева Изабелла, узнав, что люди Колумба продают рабов из Америки на рынке Севильи, весьма была тем раздосадована и спросила: КАКОВОЮ МОЕЮ ВЛАСТЬЮ ОБЛЕЧЕН АДМИРАЛ, ЧТОБ ОТДАВАТЬ КОМУ-ЛИБО МОИХ ВАССАЛОВ? И сразу же повелела разгласить по Гранаде и Севилье, что всем, кто привез в Кастилию индейцев, полученных от Адмирала, приказано под страхом смерти возвратить их немедля в родные места на первых же кораблях, какие туда отбудут»*. Слово теперь берет Бальди и начинает говорить сладким и умиротворяющим голосом: «Выдающийся французский философ Бонне...» «Он был моим учителем», — промолвил Леон Блуа. «...в своем трактате о

Страданий написал в конце главы XXIX слова, какие я привожу, чтоб вы над ними поразмыслили: *„Рабство было школою терпенья, кротости, отказа от себя. Одна лишь гордыня мешает Благодати проникнуть в душу, и только Смирение, устранив сию препону, открывает ей путь. Посему, в мудрости своей, человек древних времен находил в рабстве как бы необходимую школу терпенья и покорства, какая приближала его к Самоотречению, что есть добродетель души и конечная цель морали христианства“*». «Да здравствуют цепи!» — кричит Адвокат Дьявола. «Прошу разрешения Председателя трибунала напомнить присутствующим, что мы живем не во времена правления Фердинанда VII Испанского, но что данный процесс отправляет нас к эпохе Католических Королей», — сказал тут Протонотарий, только что проснувшийся, чтоб вновь погрузиться после сказанного в глубокий сон. «Поскольку мы находимся в эпохе Католических Королей, то тем более обязаны вспомнить, что Королева Изабелла, в знаменитой приписке к духовному завещанию от 1504 года, *настоятельно просит своего мужа и своих детей не допускать, чтоб индейцы, живущие в Испании или в пределах своих Индий, терпели какой-либо урон лично или в именье своем, и поставить так, чтоб обходились с ними по добру и справедливости*». Джузеппе Бальди с живостью обращается к суду: «Одну минуту... Одну минуту... Интересно отметить, что Католическая Королева *„настоятельно просила своего мужа и своих детей“*, так что приказ ее не относился к Адмиралу, которому она никаких указаний по данному поводу не давала...» «Остроумно! — восклицает Адвокат Дьявола. — Весьма остроумно! Почти как Колумбово Яйцо!» («И это вытащили», — прошептал Невидимый.) Джузеппе Бальди вздевает руки в притворном отчаянии: «Глупости! Детская сказочка! Никогда в жизни Колумб со своим сверхчеловеческим достоинством не унизился бы до подобного шутовства! Сам Вольтер... („Увы, если они Вольтера припутают, мне крышка!“ — стонет Невидимый)... сам Вольтер, еще раньше, чем Вашингтон Ирвинг, разъяснял, что это пресловутое Колумбово Яйцо было не чем иным, как Яйцом Брунеллески...» («Оказывается теперь, что их два!..») «Этой шуткой, годной для веселого застолья, гениальный итальянский архитектор хотел объяснить, как он задумал построить купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре». («Хорошо, что только это!..») «И надо еще посмотреть, так ли...» «Не стоит спорить о каком-то яйце, — сказал Председатель, — и вернемтесь, пожалуйста, к вопросу о рабстве». И снова пред Трибуналом поднялся Брат Бартоломе: *«Я вполне убежден в том, что, не будучи остановлен противоположною судьбою, как случилось под конец его жизни, он в весьма краткое время истребил бы всех жителей этих островов, ибо порешил нагружать ими все корабли, приходившие из Кастилии и с Азорских островов, дабы продавать их в рабство повсюду, где будут они принимаемы*». Теперь Леон Блуа обрушивается на Председателя: «Это процесс со злым умыслом... Я убежден... Я убежден... Какую цену могут иметь предположенья этого обманщика?» «Колумб брошен на растерзанье диким зверям!» — вопиют Ниспровергатели. «Нерон! Нерон!» — атакует один из них Адвоката Дьявола, который со смехом сжимает кулак, указывая большим пальцем куда-то вниз. «Имеются ли доказательства того, что Колумб установил рабство вполне умышленно? — спрашивает Председатель. — Ибо есть сведения, что виновником посылки индейцев в Испанию являлся один из его братьев. Было ли то известно Великому Адмиралу?» — «Слишком хорошо! Настолько, что он написал этому доброму брату письмо, советуя *доверху нагрузить свои корабли рабами, ведя точный счет доходам, получаемым от их продажи*». «Кто видел это письмо?» — вопрошает Бальди. И отвечает с

твердостью непреклонный Епископ Чьяпаса: *«Я видел — и начертанное его рукою, и с проставленною его подписью»*. «Негодяй! Лжесвидетель! Плут! Фарисей!» — кричит Леон Блуа, так отчаянно силиясь быть услышанным, что у него сразу пресекается голос и он чуть не задохся. *«Кто крадет хлеб, политый чужим потом, уподобляется убийце ближнего своего»*, — взывает грозно брат Бартоломе де Лас Касас. — «Кто здесь цитирует Маркса?» — спрашивает Протонотарий, внезапно извлеченный из глубин сна. «Екклесиаст, глава 34», — разъясняет епископ Чьяпаса... «Оставим все это и перейдем к вопросу о нравственности Искателя», — говорит Председательствующий. «Прошу разрешения, чтоб явился пред судом поэт Альфонс Ламартин как свидетель обвинения», — говорит Адвокат Дьявола. («Какого черта! Что может понимать автор „Озера“ в морских делах?» — глухо рычит Леон Блуа.) Элегантно затянутый в свой трибунский сюртук, со спадающей на лоб прядью, Ламартин изливается в пространной речи, из которой Невидимый с тоскою понимает лишь то, что касается *«его дурных привычек и его незаконного сына»*. «Этого мне достаточно, — говорит Адвокат Дьявола. — Ибо мы вплотную подошли к проблеме, самой серьезной из всех, какие должны быть здесь рассмотрены: к незаконной связи Адмирала с некоей Беатрис, которая была — и это общеизвестно — чем-то вроде... чтоб не пятнать памяти женщины, я не назову ее наложницей, сожительницей, любовницей, но, употребляя деликатное слово, бывшее весьма в ходу у испанских классиков, „его подружницей“». (Услышав имя Беатрис, расчувствовался Невидимый и поспешил приспособить к себе строфу, в которой Данте описывает свой трепет при виде своей Беатриче на берегах Леты: *«...лед, сердце мне сжимавший как тисками, / стал влагой и дыханьем и, томясь, / покинул грудь глазами и устами...»*) Джузеппе Бальди, Постулирующий, вскакивает с места, с театральной жестикуляцией прося слова: «Я в ужасе. Мы что ж, теперь будем марать грязью то, что было всего лишь очень земной, но чистой любовью... Да, синьор Адвокат Сатаны, прекратите-ка подавать нам своей наглой рукою знаки, достойные погонщика мулов, и послушайте лучше, что говорит нам об этой осенней идиллии великого человека граф Розелли де Лорг: *„Невзирая на его сорок с лишним лет, его вдовство, его бедность, его чужеземный выговор, его седину, пожелала стать спутницей его молодая девушка, обладающая редкою красотою и благородною душою. Она звалась Беатрис, и в ней обитали все добродетели и вся прелесть женщины из Кордовы... Но этот луч света, явившийся придать немного сил его исстрадавшемуся сердцу, ни на миг не отдалил великого человека от его миссии, predeterminedенной свыше...“*» «А не принести ль сюда несколько скрипок для аккомпанемента чувствительному романсу?» — спрашивает заносчиво Адвокат Дьявола. «Соблюдайте приличия! — восклицает Председатель. — Эта юная девушка, образ добродетели, кого великий человек любил и почитал...» «Так почитал, что сделал ей ребенка, — бросает, совсем уж грубо, Люциферов законник. — И Колумб настолько чувствовал себя в ответе за скандал, что, верно, пытаясь помочь ей, одинокой беззащитной вдове при живом муже и с маленьким уроженцем Кордовы на руках, из которого даже тореро не получился, в тот момент, когда Родриго де Триана издал свой знаменитый крик: „Земля! Земля!“, когда б лучше ему закричать „Заваруха! Заваруха!“...» — «Оставим в покое Родриго де Триану и разговоры об этих 10 000 мараведи, ибо в руках молодой матери имели они лучшее употребление, чем в руках какого-то матроса, который проиграл бы их в первом кабаке...» («Да, да, да... Пускай оставят в покое Родриго де Триану, ибо, если вслед за ним приплетут Пинсонов и моих слуг Сальседо и Арройала, которые за моей спиной показывали мои секретные

карты проклятому баску Хуану де ла Косе, то мое дело дрянью»). А теперь еще ядовитые слова Адвоката Дьявола, который с дьявольской улыбкой, по-дьявольски закрывает дебаты: «Мне кажется, что ребенок, плод любви — я хочу сказать, любви, обретшей плоть на брачном ложе, не освященном благословением, — становится обычно предметом особой нежности своих родителей. Поэтому Христофор Колумб всегда выказывал явное пристрастие к своему незаконному сыну, дону Фернандо... Но то обстоятельство, что отец особенно любит сына, зачатого вне брака, никак не делает его достойным ореола святости... Ибо, если бы так было, столько ореолов освещали бы землю, что на ней мы никогда бы не увидели ночных теней». «И это был бы великолепный способ городского освещения, — говорит Протонотарий, который во время этого процесса не раз проявлял себя как человек с положительно слабой психикой. — Это было бы гораздо лучше, чем изобретение янки Эдисона, который, кстати, зажег свою первую электрическую лампочку в тот самый год, когда умер Его Святейшество Пий IX, успев подать первый постулат касательно Великого Адмирала». «*Fiat Lux! — Да будет свет!*» — сказал в заключение Председатель. Исчезли фигуры Бартоломе де Лас Касаса, Виктора Гюго, Ламартина, Жюль Верна. Испарились — без ненужного шума на сей раз — Ниспровергатели Черной Легенды об Испанском Завоевании. Рассеялся легкий туман, населенный фантазмагорическими образами, которые затягивали мглой зал пред взором Невидимого. И очертания членов Трибунала вырисовались снова, более четкие, словно фигуры алтаря, на фоне настенной картины маслом, изображающей святого Себастьяна, пронзенного стрелами его мученичества. И вот уже встает Председатель: «Из всего рассмотренного и услышанного... Вы записываете, Протонотарий? (Протонотарий отвечает утвердительно, любуясь бумажными петушками, которые, от большого до маленького, выстраиваются в ряд на судебном столе, заполняя зеленый лист промокательной бумаги — крохотный лужок среди переливов красного муара. По едва заметному жесту аколита все понимают, что этот действительно взял на заметку все что надо...) Из сказанного и услышанного здесь, — продолжает Председатель, — удерживаются в памяти два серьезных обвинения против постулируемого Христофора Колумба: одно, весьма тяжкое, — в конкубинате, незаконном сожителстве, тем более непростительном, если вспомнить, что мореплаватель был вдовцом, когда познакомился с женщиной, которая должна была подарить ему сына; и другое, не менее тяжкое, что он установил и поощрял предосудительную торговлю рабами, продавая сотнями на городских рынках индейцев, плененных им в Новом Свете... Рассмотрев названные преступления, сей трибунал должен будет высказать конкретное суждение о том, заслуживает ли вышеупомянутый Колумб, постулируемый как Блаженный, такой счастливой судьбы, открывающей ему, на сей раз без контроверзы, доступ к канонизации». Помощник Протонотария обносит по кругу маленькую черную урну, куда каждый член трибунала бросает сложенную бумажку. Затем Председатель распечатывает урну и приступает к подсчету: «Только один голос „за“, — говорит он, закончив. — Следовательно, ходатайство о постулировании отклонено». Пытается еще протестовать Джузеппе Бальди, бесполезно приводя слова Розелли де Лорга: «*Колумб был святой, святой, ниспосланный волею Бога туда, где Сатана был царем*». «Ни к чему больше драть горло, — замечает едко *Promoter Fidei*. — Дело кончено». Закрываются папки и фолианты, складываются делопроизводственные бумаги, собирает Протонотарий своих бумажных петушков, надвигает на лоб судейскую шапочку Председатель, ибо

сквозной ветер вдруг пробежал по зале, и вмиг исчезает Адвокат Дьявола, подобно Мефистофелю, проваливающемуся в люк на представлении оперы Гуно. Кусая бороду от лютого гнева, направляется Леон Блуа к выходу, хрипя: *«Святая Конгрегация Обрядов не разнюхала даже величия Проекта. Что ей до миссии, ниспосланной свыше! С того момента, как Дело перестает быть ей представленным по обычной форме, с собранием документов, полным, сличенным, переписанным и подписанным, скрепленным епископской сургучной печатью, она в полном составе начинает возмущаться и суесться с единственной целью — помешать, чтоб Дело продвинулось. Да и кроме того... кто такой для нее, черт возьми, этот Христофор Колумб? Какой-то моряк, всего лишь... А разве Святую Конгрегацию Обрядов волновали хоть когда-нибудь морские дела?»*³⁵⁶ «Пропал я», — шепчет Невидимый, покидая свое кресло, чтоб направиться к главной двери, что должна вывести его, после долгих странствий по коридорам и галереям, наружу из гигантского города-зданья. Прежде чем покинуть помещение, он бросил последний взгляд на картину, изображающую мученичество святого Себастьяна: «Подобно тебе, я был пронзен стрелами... Но стрелы, пронзившие меня, были пущены в конечном счете индейцами Нового Света, которых я хотел заковать в цепи и продать в рабство».

Словно зачарованный внезапным совпадением образов, он замер, помедлив у этой картины, изображающей мучения пронзенного стрелами, и подумал о тех, иных стрелах — жестоких и сладостных стрелах, — которые с мифологических времен роковым образом ранят своих избранников, обрекая на муку неизъяснимую, на вечную агонию тех, кто брошен в «адский вихрь», в котором вечно будут мчаться Паоло и Франческа — вчерашние, сегодняшние и будущие. [«Обвиняя меня во внебрачном сожителстве за то, что я не повел к алтарю мою Беатрис, которую так любил, и оставил свое семя на ее плодоносной ниве, они не понимали, эти свирепые блюстителы церковного устава, собравшиеся здесь, чтоб осудить меня, эти оледенелые клирики, эти ленивые ватиканцы при постах и на рентах, выставившиеся передо мною, словно были сидящими справа от Бога, дабы судить людей, они не понимали, что я, подобно благородным мужам из Странствующего Рыцарства — а кем же я был, как не Странствующим Рыцарем Моря? — имел своею Дамой ту, кого ни разу не предал в мыслях, хоть и оставался соединенным плотью с той, что продлила мой род на земле. И в то время как с высоты помоста, весьма подходящего для представлений какой-нибудь труппы судейских комедиантов, спорили о *моем деле* эти Сановные — хмурые и придирчивые, — я понял, как никогда ранее, что есть у сердца резоны — кто сказал это?... — какие неведомы разуму. И внезапно припомнилась мне склоненная и скорбная фигура юного Рыцаря из Сигуэнсы, который тоже имел Даму, путеводную звезду своей судьбы, Высокую Владычицу из местности, именуемой Мадригал Высоких Башен... Превознося в душе своей — как Амадис Галльский несравненную Ориану — ту, кого видел впервые в военном стане Моклина, после взятия Ильоры, он полюбил ее любовью, вовсе не схожую с тем влечением, какое питал некоторое время к своей сигуэнской невесте! И с ее образом в мыслях, движимый тем же стремлением, какое воодушевляло его Даму на доблестное дело Реконкисты, быть может, чтоб возвыситься своею отвагою в Ее Глазах, он бросался в самые отчаянные схватки и пал в крестовом походе против мавров, чтоб успокоиться в конце концов в соборе Сигуэнсы, застыв в статуе из мрамора, обернутый своим походным плащом, с

³⁵⁶ Леон Блуа. Открыватель Мира, гл. X. — Прим. автора.

подрезанной на итальянский манер копной волос, — и крест ордена Сантьяго, изображенный на его груди, алел, словно капля крови, вечно сочащаяся из его душевной раны³⁵⁷. Как я завидую тебе, Юный Рыцарь, большой воитель, чем я, хотя на крышке твоей гробницы изображен ты с книгою в руках — с книгой, принадлежащей, быть может, перу Сенеки Старшего, в то время как я переводил, ища ясных откровений, заключенных в его „Медее“, пророческие строфы другого Сенеки!.. Ты и я — зачем отрицать, что я иногда ревновал? — любили одну и ту же женщину, хотя ты и не познал, подобно мне (или, быть может?... Как увериться полностью?... Кто проникнет в столь оберегаемую тайну?...), незабываемое наслаждение сжимать в объятьях королеву. Та, из Мадригала Высоких Башен, была нашей несравненной Орианой, хоть *эти*, что меня судили, пропыленные вершители справедливости, пресытившиеся каноническим правом, не поняли постоянства заботы, глубоко скрываемой, ибо надобно было, чтоб никто о ней не проведал, почему оба должны были молчать; а это, быть может, и побудило тебя жертвовать жизнью в прекрасных порывах мужества, тогда как я, верный чувству, ставшему с некоторого времени рулем и компасом во всех делах моих, так и не обвенчался с Беатрис, с моею, однако, любимую Беатрис. Ибо есть нормы рыцарской верности, каких никогда не понять этим недалеким казуистам, которые только что обвинили меня в незаконном сожителстве, разврате и не знаю уж в чем еще... Если б не причастился я идеалу, что нес в душе, я стал бы сближаться с индеанками — уж очень были они порой аппетитны в своей райской наготе, — как поступали столькие из тех, кто сопровождал меня в моих открытиях... А вот этого уж никогда и никто не сможет обо мне сказать, сколько б ни рылись в старых бумагах, ни любопытствовали по архивам, ни прислушивались к пакостям, какие дружно распространяли обо мне Мартин Пинсон, Хуан де ла Коса, Родриго де Триана и прочие мошенники, из кожи лезшие, чтоб запятнать мою память... Потому что было в моей жизни дивное мгновенье, когда взглянул я в высоту, в самую дальнюю высоту, отчего исчезло вожделенье моего тела, облагородился мой разум полным слиянием духа и плоти и новый свет рассеял мглу моих бессонных исканий...»]

И вот Невидимый снова, охвачен глубокой тоской, на площади Святого Петра... (Мимо него проходит, спешащий и хмурый, семинарист из Липсонотеки, бормоча: «Здесь нет ни минуты покоя. Только что завалили Колумба и уже приступают к беатификации Жанны д'Арк, у которой тоже не осталось костей для ларца, поскольку пепел ее был развеян по ветру в Руане... А теперь еще надо убедить в этом Протонотария, который думает, что Жанна д'Арк была задушена в Лондонской Башне... Ну и занятие, Боже ты мой, ну и занятие!..») И вдруг новый Невидимый присоединяется к прежнему — видимый лишь для него, — с обнаженным торсом, с трезубцем в руках, подобно Посейдону, как изображен для потомства на знаменитейшем портрете работы Бронзино. Таким образом Великий Адмирал Изабеллы и Фердинанда сталкивается впервые со своим соотечественником и почти современником — год туда, год сюда не имеет значенья — Андреа Дориа, Великим Адмиралом Венеции и Генуи. Оба Адмиралы и оба генуэзцы, они сердечно беседуют на своем особом диалекте. «Я скучал в моей гробнице в церкви святого Матфея и потому решил подышать воздухом на этой площади, — говорит Андреа. — По дороге

357 «Самая прекрасная статуя в мире», — сказал Ортега-и-Гассет. — *Прим. автора.*

достал роллю жевательного табаку. Хочешь попробовать? Нет?... Странно, тем более что ты достаточно повинен в том, что столько народу в нашей стране чихает от нюхательного, курит трубку или затягивается гаванской сигарой. Без тебя мы б так и не узнали, что такое табак». — «Все равно узнали бы от Америго Веспуччи, — сказал Христофор горько. — А как ты добрался из Генуи?» — «На поезде. Вентимильским экспрессом». — «И тебя пустили в вагон так вот, почти голым, таким вот аллегорически-мифологическим Нептуном?» — «Не забывай, что мы с тобой принадлежим к категории Невидимых. Мы суть Прозрачные. И найдется еще много таких, как мы, что из-за славы своей, из-за того, что о них всё еще говорят, не могут затеряться в бесконечном своей собственной прозрачности, удалясь от этого сволочного мира, где им воздвигают статуи, а историки нового образца из кожи лезут, чтоб выудить самые худшие превратности их личных жизней». — «Кому ты это говоришь!» — «Так что многим неведомо, что зачастую путешествуют на поезде или на корабле в компании гречанки Аспазии, рыцаря Роланда, живописца Фра-Анджелико или поэта Маркиза де Сантильяны». — «Невидимым становится всякий, кто умер». — «Но если его поминают и если говорят о том, что он сделал и чем он был, Невидимый „обретает людское“, если можно так сказать, и начинает беседовать с теми, кто произносит его имя. Но в этом, как и во всем, есть свой порядок, в зависимости от большего или меньшего спроса. Есть невидимые *класса А*, как, например, Карл Великий или Филипп II; *класса Б*, как принцесса Эболи или рыцарь Баярд; и есть случайные, гораздо реже требуемые, как этот неудачник — вестготский король Фавила, упомянутый в „Хронике“ Альфонса III, о ком только и известно, что он правил два года и что его съел медведь, или, переходя к твоему миру, тот Бартоломе Корнехо, который в Сан-Хуане на острове Пуэрто-Рико открыл, и с согласия трех епископов, первый публичный дом континента в день 4 августа 1526 года — памятная дата, заключающая в себе уже нечто ото „Дня расы“³⁵⁸, принимая во внимание, что там подвизались девушки, привезенные с Пиренейского полуострова, поскольку индеанки, в жизни не упражнявшиеся в подобном ремесле, не имели навыков, какие и тебе и мне хорошо известны... а, моряк?» «В истории Америки — а ее я считаю своей, хоть и носит она имя другого... — были мужи более высоких заслуг, чем этот Бартоломе Корнехо, — сказал Невидимый-Открыватель, сердясь. — Ибо в конце концов миссионеры-хронисты, такие, как Саагун, Мотолиния, брат Педро де Ганте...» — «Кто ж в этом сомневается? И еще существовал Симон Боливар!» Невидимое лицо Невидимого Христофороса болезненно исказилось в своей невидимости: «Я предпочел бы, чтоб ты не поминал Симона Боливара». «Извини, — сказал Дория. — Я понимаю, что не особенно приятно тебе слышать это имя. Он сломал то, что ты сделал». — «Вот именно: в доме повешенного не говорят о веревке». — «Хотя, если хорошенько подумать, а что как открытие Америки заинтересовало бы какого-нибудь короля Генриха Английского? Тогда Симон Боливар звался бы Смит или Браун... Равно как если б Анна Бретонская приняла твое предложение, то там, где сегодня говорят по-испански, говорили бы на каком-нибудь варварском диалекте из Морбигана». «Хочу напомнить тебе, — сказал Христофорос, уязвленный, — что ты, прежде чем сражаться на стороне Карла V, служил

³⁵⁸ «День расы». — 12 октября в Испании и некоторых латиноамериканских странах отмечается как национальный праздник; в ряде латиноамериканских стран — как День Америки (день открытия Америки Колумбом — 12 октября 1492 г.).

спокойненько королю Франции Франсиску I, который был его противником. Мы, генуэзцы, хорошо знаем друг друга». — «Уж так, уж так, уж так хорошо, что все мы знаем, кто здесь Адмирал Битв, а кто Адмирал Прогулок. Где развернулись твои сраженья?» «Там», — сказал мореход Изабеллы Католической, указав на Запад. «А мои развернулись здесь, на Средиземном море. С тою разницей, что, пока ты терроризировал своими бомбардами голых индейцев, не имевших иного оружия, кроме стрел, негодных даже, чтоб напугать наших волов в упряжке, я в течение ряда лет был грозой для кораблей Турка». Разговор принимал опасный оборот. Андреа Дориа сменил тему: «А как обстоят твои дела там, внутри?» (указав на главный портал базилики). «Меня провалили». — «Так и должно было случиться: моряк и генуэзец». И с пафосом продекламировал стихи из «Божественной комедии»: *«О, генуэзцы, вы, в чьем сердце минул / Последний стыд и все осквернено, / Зачем ваш род еще с земли не сгинул?»* «Провалили меня. — повторил Христофорос печально. — Ты, Андреа, был Великим Адмиралом, и память твою возжелали чтить только как память Великого Адмирала... Я тоже был Великим Адмиралом, но из-за стремления сделать меня слишком великим унизили мое величие великого адмирала». — «Утешайся тем, что много статуй воздвигнуто будет в честь тебя в этом мире». — «И ни одна из них не будет на меня похожа, ибо я вышел из тайны и возвратился в тайну, не оставив, ни в карандаше, ни в красках, видимых следов моего человеческого облика. К тому ж статуи — это еще не все. Как раз из-за излишних восторгов по моему адресу со стороны некоторых моих друзей меня сегодня и шибанули». — «Так и должно было случиться: моряк и генуэзец». «Шибанули меня», — слышалось снова, почти как рыданье. Андреа Дориа положил невидимую руку на невидимое плечо собеседника и, чтоб утешить его, сказал: «Какому идиоту пришло в голову, что моряк может быть когда-нибудь канонизирован? Хоть все жития святых просмотри — святого с моря там не сыщешь. Моряки не рождены для святости». Наступила долгая пауза. Обоим Невидимым больше уж нечего было сказать друг другу. «Чао, Колombo». — «Чао, Дориа...» И остался Человек-осужденный-быть-человеком-как-все на том точно месте площади, где, если смотреть в сторону колоннад Бернини, каждая колонна внутреннего ряда так искусно скрывает три другие, что все четыре словно сливаются в одну. «Игра воображения, — подумал он. — Игра воображения, как были для меня Западные Индии. Однажды, возле мыса на побережье Кубы, названного мною *Альфа и Омега*, я сказал, что здесь кончается мир и начинается другой: другое *Нечто*, другое качество, какое я сам не могу до конца разглядеть... Я прорвал завесу неведомого, чтоб углубиться в новую реальность, выходящую за пределы моего понимания, ибо есть открытия столь громадные — и тем не менее возможные, — которые, в силу самой своей огромности, сокрушают смертного, дерзнувшего на такое». И вспомнил Невидимый своего Сенеку, чья «Медия» была в течение долгого времени его настольной книгой, и уподобил себя Тифису, кормчему Аргонавтов, каким тот предстает в строфах, столь хорошо известных, звучащих для него теперь как предостережение: *«Над ширью морской Тифис дерзнул / Развернуть паруса и новый закон / Предписать ветрам... Теперь уступило нам море всем / Подчинилось законам.../Пучина доступна любому челну, / Исчезли границы на новой земле, / Построили страны свои города, / Ничего не оставил на прежних местах / Кочующий мир...»* И в то время как первый перезвон колоколов оглашал полдень Рима, он продекламировал самому себе стихи, что, казалось, относились к собственной его судьбе: *«Первый Тифис, поработитель моря, / Руль невежде-кормчему предоставил, /*

Умер он вдали от родного царства./ И, покрытый бедным холмом могильным, / Среди теней безвестных лежит донине...» И точно на том месте площади, откуда, если глядеть на полукружья колоннад, четыре колонны словно сливаются в одну, Невидимый растворился в воздухе, обнимающем и проникающем его, соединясь с прозрачностью эфира.